Елизавета ДЬЯКОНОВА

Дневник русской женщины



Биографии, автобиографии, мемуары

Дневник русской женщины

Елизавета Александровна Дьяконова

Аннотация
Елизавета Дьяконова. Дневник русской женщины
Елизавета Дьяконова: одна из многих?
Дневник одной из многих. 1886–1895
1886 год. Мой маленький дневник
1887 год
1888 год
1889 год
1890 год
1891 год
1892 год
1893 год
1894 год
1895 год
На Высших женских курсах. 1895–1899
1895 год
1896 год
1897 год
1898 год
1899 год

Дневник русской женщины. 1900–1902. Париж
1900 год
1901 год
1902 год

Аннотация

В 1904 году в журнале «Всемирный вестник» был опубликован дневник некой Елизаветы Дьяконовой – русской студентки Сорбонны. Представленный к публикации братом автора, Александром Дьяконовым, «Дневник русской женщины» привлек внимание читающей публики. «Дьяконова верна правде и реальна до последнего штриха», – писал Василий Розанов, высоко оценивший этот искренний документальный текст.

И хотя практически никто из современников первой публикации ничего не знал о жизни автора «Дневника», подробности ее трагической смерти, загадочные и ужасающие, скоро стали достоянием самой широкой общественности.

Елизавета Дьяконова (1874–1902), как в то время и многие девушки прогрессивных взглядов, окончила Высшие женские курсы в Петербурге, затем училась в Сорбонне, делала первые шаги на литературном поприще, вела независимую жизнь и путешествовала по Европе без сопровождающих. В 1902 году,

совершая одинокую прогулку в горах Тироля, при невыясненных обстоятельствах Елизавета трагически погибла. В ее дорожном сундуке была обнаружена рукопись «Дневника русской женщины», которая, хотя и не раскрывала тайны ее гибели, стала подлинным открытием для читателей начала XX века.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Елизавета Дьяконова
Дневник русской женщины

Тексты писем из раздела «Дневник русской женщины 1900–1902. Париж» частично переведены с французского.

© М. А. Нестеренко, статья, 2025
© Перевод. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2025
Издательство КоЛибри®

Елизавета Дьяконова: одна из многих?

I

В истории русской, да и мировой общественной мысли есть произведения, которые крайне трудно отделить от биографии их создателя. Более того, некоторые авторы творили свою жизнь как текст, бесстрашно выстраивая собственный миф, рискуя порой абсолютно всем. «Пропасть между словами и делами художника исчезла для нас, когда оказалось, что творчество лишь отражение жизни, и ничего более»[1], — писал Валерий Брюсов. Этот феномен, ставший известным благодаря символистам, получил название «жизнетворчество»[2]. Но он отнюдь не был их открытием:

И реальные критики 1860-х годов, и рус-

---

[1] Примечания: 1

Брюсов В. Я. Священная жертва // *Брюсов В. Я.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1973–1975. Т. 6. С. 98.

[2] Примечания: 2

Хансен-Лёве О. Концепции «жизнетворчества» в русском символизме начала века // Блоковский сборник. Тарту: Изд-во Тарт. ун-та, 1998. Т. 14.

ские романтики, которым они пришли на смену, и символисты, разработавшие теорию жизнетворчества, и современные семиотики были движимы идеей слияния искусства и жизни – за счет активной экспансии литературы в область «действительности»[3].

Жизнь Елизаветы Александровны Дьяконовой (1874–1902), автора знаменитого «Дневника русской женщины» как раз тот случай, когда биографический миф буквально затмевает сам текст. «Правда жизненная для автора уже подчинена художественному вымыслу», — напишет ее брат и публикатор Александр Александрович Дьяконов в 1911 году в статье к четвертому изданию «Дневника».

Уроженка Костромской губернии, Елизавета Дьяконова родилась в небогатой купеческой семье, рано научилась читать, с одиннадцати лет вела дневник и делала это непрерывно до самой смерти. После окончания гимназии была зачислена на Бестужевские женские курсы; вскоре прониклась идеями женского движения и в бу-

[3] Примечания: 3

Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи реализма. М.: Новое литературное обозрение, 1996. С. 7.

дущем мечтала посвятить себя именно женской эмансипации. В 1900 году Дьяконова поступила на юридический факультет Сорбонны, с тем чтобы ни много ни мало, «возвратившись в Россию, пробить женщинам открытую дорогу в адвокатуру». Однако этим планам было не суждено сбыться. Два года спустя, намереваясь отправиться на каникулы в Киев, Елизавета приехала в австрийский Тироль, чтобы встретиться там с теткой, а заодно попросить у той денег на дорогу. «Из разговора с нею я узнала, что экзамены она отложила до осени, едет теперь в Киев к сестре, а потом в Нерехту заниматься. Денег на дорогу до Киева у нее не хватает, „собственно, я к вам, тетя, за этим больше и приехала“», — вспоминала впоследствии тетка Елизаветы, Евпраксия Георгиевна Оловянишникова. События следующего дня так и просятся стать сюжетом триллера. Лиза ушла в горы на прогулку, с которой больше не вернулась. Обстоятельства ее гибели до сих пор не прояснены. Тело Дьяконовой было найдено без одежды, которая лежала невдалеке, связанная в узел. О причинах и подробностях трагического происшествия выдвигались разные предположения: подозревали и самоубийство, и неосторожность. Брат Елизаветы и публикатор

дневников Александр Дьяконов версию о самоубийстве отвергал. «Е. А. от природы обладала великим даром любви к жизни», — настаивал он.

Современный биограф Елизаветы Дьяконовой, писатель Павел Басинский, задается вопросом, имел бы «Дневник русской женщины» такую популярность, если бы не таинственные обстоятельства гибели автора: «Что было бы, если бы Дьяконова не погибла в Тироле, благополучно доехала бы до России и попыталась сама опубликовать свой дневник? Что, если бы „Дневник русской женщины“ ⟨…⟩ был принесен в редакцию „Всемирного вестника“ не братом русской девушки, *погибшей в горах Тироля и найденной совершенно голой на краю уступа водопада*, а самой студенткой Сорбонны Елизаветой Дьяконовой?»[4] Конечно, история не терпит сослагательного наклонения, но есть в этих рассуждениях важное зерно: загадочная смерть Дьяконовой безусловно содействовала популярности книги.

[4] Примечания: 4

См.: *Басинский П.* Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконовой. М.: АСТ, 2017.

II

Дневники Дьяконовой делятся на три части, соответствующие этапам ее жизни: «Дневник одной из многих. 1886–1895»; «На высших женских курсах. 1895–1899», «Дневник русской женщины. 1900–1902». Ведение дневника — практика, которой Дьяконова была верна на протяжении всей своей жизни. «Вся ее личность непосредственно слита не только с „Дневником русской женщины“, но и — в огромной части — с „Дневником на Высших женских курсах“», — пишет Александр Дьяконов. Он же проницательно подчеркивает перемену авторской интенции, отмечая, что его сестра разделяла дневники, написанные для себя (более ранние), и дневники, рассчитанные на читателя. «Дневник русской женщины» назван автором «повестью», а его героиня время от времени фигурирует под фамилией Попова. Сама Дьяконова дает понять будущему читателю: перед ним не вполне эго-документ и не художественная проза, а нечто третье — смесь автобиографического повествования и вымысла. Такой подход делает «Дневник» удивительно современным текстом. Это не только сочинение,

написанное «первой русской феминисткой»[5] (в действительности она не была первой, да и понятие «феминизм» в то время использовалось крайне редко), это сочинение, которое, пожалуй, с великой осторожностью можно назвать *прото-автофикциональным*, поскольку оно обладает характерными признаками этого жанра, заявившего о себе позднее. Современный термин «автофикшн» (от *фр.* auto — само-, fiction — вымысел) появился в конце 60-х во Франции для обозначения текстов, представляющих собой смесь автобиографии и вымысла; описание событий, которые действительно происходили с автором (или он их так позиционирует), дополненное некоторой долей фантазии. Автор подобного текста немного «подстраховывает» себя, прикрываясь тем, что это не совсем правда, то есть написанное им не мемуары или дневниковая запись. Согласно наблюдениям, высказанным Александром Дьяконовым, подобное определение вполне применимо к «Дневнику» его сестры:

> Стремясь достичь наибольшей художественной выразительности, Е. А. пишет

---

[5] Примечания: 5
Там же.

этот «Дневник» от начала и до конца в двух рукописях, неоднократно изменяет и дополняет повествование, переделывает заново многочисленные его эпизоды и пишет к ним варианты…

Ярким доказательством «художественного вымысла» могут быть все те страницы, где Е. А. описывает свой приезд из Парижа на родину. По достоверному свидетельству тех лиц, о которых говорит автор в этом большом отрывке, – некоторые сцены не соответствуют действительности, а характеристики действующих лиц даны иногда крайне преувеличенными. Все это, очевидно, сделано автором с заранее обдуманным намерением.

О «фикциональной» природе в особенности последней части дневника свидетельствует и наличие четкого плана будущей «повести».

В дневниках можно выделить ряд мотивов, которые позволяют говорить об их универсальном характере. В нем затрагиваются проблемы, которые будут знакомы многим: сложные отношения с матерью (к слову, одна из ключевых

тем современного автофикшна); недовольство собственной внешностью и как следствие неуверенность в отношениях с мужчинами («…Вот почему я никогда не думаю о мужчинах, — влюбленный урод смешон и жалок…», «Как приятно теперь жить с сознанием собственного безнадежного уродства! И мне хотелось разбить все зеркала в мире — чтобы не видеть в них своего отражения…»); размышления о положении женщин в России («Я уверена, что в будущем в России роль женщины будет интересна: в стране утвердится мысль о высшем женском образовании и явится целый ряд женщин, способных к участию в управлении страной»; «Как он не понимает того, что если женщина в среднем умственном уровне ниже мужчины, то это уж никак не вследствие природной неспособности, а вследствие того, что ее образование и развитие, как физическое, так и духовное, веками пренебрегалось?»); и — что кажется чрезвычайно значимым в контексте именно этого дневника, отразившего историю трагически и загадочно завершившейся жизни, — размышления о смерти и стремление к ней. Такова последняя запись в дневнике Лизы, сделанная 18 января 1902 года, и именно эти настроения последней части дневника наводили на

мысль, что причиной смерти Дьяконовой стало самоубийство:

> Страшно… Чего я боюсь? Боюсь перешагнуть эту грань, которая отделяет мир живых от того неизвестного, откуда нет возврата… Если бы он мог быть моим, моя измученная душа воскресла бы к новой жизни, но этого быть не может, следовательно, незачем и жить больше… Но если выбирать между этой жизнью, которая вся обратилась для меня в одну страшную темную ночь, и этим неизвестным… Жить? Нет, нет и тысячу раз нет! По крайней мере, покой и забвение… Их надо мне. А долг? А обязанности по отношению к родине? Все это пустые слова для тех, кто более не в силах быть полезным человеком… Родина, милая, прости…

Как бы то ни было, Елизавета Дьяконова умерла в возрасте двадцати семи лет, оставив после себя миф, превзошедший написанное ею. «Дневник русской женщины» составил невольную конкуренцию дневникам Марии Башкирцевой. Обстоятельства жизни авторов этих двух документов действительно подталкивают к

сравнению: Башкирцева — одаренная молодая художница, также ведшая дневники с детского возраста (но на французском языке), также рано умершая (от чахотки). С легкой руки Василия Розанова современники стали сравнивать два дневника, часто в пользу Дьяконовой, в то время как Башкирцева зачастую казалась читателям «порочной»: «Покойная Елизавета Дьяконова задалась тою же целью, что и Мария Башкирцева, — написать „дневник“, который послужил бы „фотографиею женщины“, но у Башкирцевой получились негативы, несколько драматизированных, театральных поз, тогда как Дьяконова верна правде и реальна до последнего штриха». Розанов же писал в 1904-м в «Новом времени»:

> Прочитайте два тома интереснейшего «Дневника» г-жи Дьяконовой! Во-первых, до чего все это русское, «Русью пахнет», если сравнить этот непритязательный «Дневник» с гениально-порочным «Дневником» полуфранцуженки Башкирцевой. Сколько здесь разлито души, дела, задумчивости, какие прекрасные страницы посвящены размышлениям о смерти. Сколько заботы о народе, детях, семье, –

заботы не фактической (по бессилью), но, по крайней мере, в душе.

Читателей, без сомнения, подкупали обаяние и искренность Дьяконовой, ее мучительная обращенность к своей внутренней жизни. «Типичность» с легкой руки самого автора («одна из многих») тоже импонировала аудитории. Здесь нет блистательной светскости Башкирцевой. Революционер и писатель Анатолий Фаресов писал в «Историческом вестнике»: «…Дневники г-жи Дьяконовой, независимо от фактического материала об умственной жизни русской молодежи, знакомят нас с оригинальной, идеалистически настроенной женской душой, полной мудрости и страданий…» В этом смысле Дьяконова действительно была «одной из многих» женщин поколения, желавшего перемен в общественной жизни, но ее яркая индивидуальность все же не позволит «Дневнику русской женщины» слиться с фоном эпохи. Прошло достаточно времени, чтобы заново перечитать и осмыслить дневники Елизаветы Александровны Дьяконовой.

Мария Нестеренко

Дневник одной из многих
1886–1895

1886 год
Мой маленький дневник

Нерехта, 31 мая

О боже мой! Что за день был сегодня! Этот день для меня важный, потому что я получила хороший аттестат — плод моих трудов за два года. Мне всего только одиннадцать лет, я поступила во второй класс Нерехтской Мариинской женской прогимназии. Итак, сегодня, в субботу, должна была решиться судьба 16 человек! Немногие из этого числа остались, всего пять-шесть, остальные вышли. После раздачи наград и аттестатов наступило время расстаться. Я живо помню, как мы собрались в умывальной и все заплакали. Только учителя и начальница смотрели на это расставанье равнодушно, а некоторые из публики насмехались над нами. Я была подругой Мани, и, прощаясь, мы так разрыдались, что, кажется, только каменный человек равнодушно смотрел бы на эту картину. Не такие мы девочки, чтобы не плакать о подругах, как думают учителя! Да, много слез было пролито, много было обниманий и целований — «Никогда я тебя не забуду, пиши,

ради бога, чаще», — слышалось сквозь слезы и рыдания Мани. Классные дамы чуть не плакали, глядя на нас. Милые подруги, все мы друг друга любим, но, может быть, никогда не увидимся!

Мама говорит, что меня отдадут учиться в Сиротский дом в Ярославль. Там живет моя бабушка, мне будет хорошо.

15 августа

Долго, очень долго я не говорила с тобой, мой миленький дневник. Целых $2^1/_2$ месяца. Такое время для меня очень долгое, а между тем я не могла писать, потому что боялась, чтобы не увидала мама или гувернантка. Если они увидят, то будет плохо. Ведь я пишу скверно, будут смеяться. Но надо писать. Сегодня мое рождение, с этих пор я буду писать аккуратно каждый день или каждую неделю. Мамочка завтра повезет меня в гимназию, я уже все уложила и готова в дорогу. Может быть, я вернусь домой, не знаю. Если не вернусь, — прощай, милая Нерехта, сестры и мама, дом, сад и река Солоница!

N. B. Как бы не забыть сделать себе для дневника новую тетрадь и очинить карандаш…

12 лет!!!

Ярославль, 18 августа

Милый дневник, меня приняли в 4-й класс! Мама рада, а я не знаю — радоваться ли мне или нет. Сегодня утром меня привезли сюда, в гимназию. Как скучно без мамы и без бабушки! Сестры, братья далеко. Я не испугалась множества девочек; напротив, мне стало легче, но все-таки без мамы жить трудно и скучно.

21 сентября

Познакомилась с одной воспитанницей 6-го класса, Маней Л. У нее есть большой секрет, который знала только Маня Б., а сегодня и я узнала, что она любит Маню Д. Милая Маруся, измучили мы ее совсем. На меня сейчас рассердилась, и я убежала сюда писать.

22 октября

Опять, опять я долго не писала, милый дневник! Самое название «дневник» происходит от слова «ежедневно», а я разве каждый день пишу? Много бы, очень, очень много надо написать сюда, но некогда. Все эти дни были полны со-

мнений, тревоги за себя и за других и радости, которой, впрочем, было немного… Зачем подруги скрывают от меня все, все? С тобой, мой милый дневник, с одним тобой могу я говорить! И знаю, что хоть от этого мне легче. Ты — тайна для всех, даже и для мамы…

1887 год

Нерехта, 4 января

Новый год. Мы его не встречали, мама за последнее время то довольна, то нет… Скоро мы уезжаем жить из Нерехты в Ярославль… Папа очень болен… Боже, что я там буду делать? Еще зиму прожить в городе ничего, кроме того, в учебном заведении, но потом, что там делать летом? Я так привыкла к чистому свежему воздуху, а в Ярославле?! В эти Святки вместо того, чтобы веселиться, наблюдаешь вокруг себя недовольных сестер, братьев, укладку вещей и прислугу, вечно занятую. Теперь все чаще и чаще приходится видеть, как пустеют комнаты…

…Сейчас ударили три раза в колокол, о. Петр, наш духовник, умер. Вчера еще кого-то хоронили. Господи, что же это? Зачем, зачем все эти покойники, пожар, выезд из родины? Больше всего боюсь: вдруг умрет папа, доктора говорят, что он дольше недели не проживет. Мне его очень жаль, мне страшно, сама не знаю чего… Не знаю, что теперь делать? Эта укладка вещей, внезапный переезд — все мне кажется смутным сном. Сознаю

я одно: не увижу я больше Нерехты, последний раз теперь дома…

10 января

Сейчас отсоборовали папу. Не могу передать того чувства, которое овладело мною, когда я вошла в его комнату. Мне хотелось плакать, но я не могла, что-то сдавило мне горло. Забывшись, я держала свечу почти над головой, и бабушка меня много раз поправляла. Как не совестно Наде, она стояла в другой комнате, пока соборовали папу, и все время плакала. Что это за нервы некстати. Уж лучше бы молилась.

Боже мой, зачем Ты меня не взял к Себе, ведь я такой человек, которого «убыль его никому не больна, память о нем никому не нужна», — невольно пришли на мысль стихи Никитина или Некрасова, не знаю[6].

12 января

Теперь, когда я уезжаю, может быть надолго, из Нерехты, я должна дать себе отчет в том, как я провела Рождество. Нельзя сказать, что весело, а

---

[6] Примечания: 6

Строка стихотворения И. Никитина «Вырыта заступом яма глубокая…». — *Здесь и далее примеч. ред.*

нельзя сказать, что и скучно. Весело быть не могло потому, что мы собирались уезжать и болен папа. Скучно же не могло быть потому, что я была рада увидаться с сестрами и братьями. Кажется, все были рады моему приезду, и день-два все шло хорошо; но, боже, что стало потом! Драки, ссоры, слезы, все это пришло в действие. Я часто ссорюсь с Валей. Ох уж эта Валя! Мне кажется, что она похожа на крючок: уколоть кого-нибудь язвительным словом, заметить что-нибудь, потом насмехаться — вот милые привычки моей младшей сестрицы. Что касается до моей другой сестры, Нади, то сплетни, пересказы разных городских кумушек составляют ее любимую сферу. Теперь, когда я заметила все дурные стороны моих сестер, надобно сказать и о своих. Я страшно вспыльчива, нетерпелива, упряма, и с этими тремя прекрасными качествами мне приходится жить среди таких сестер, которых характеры решительно не походят на мой: они обе не вспыльчивы, обе терпеливы, но… обе упрямы, даже, может быть, больше меня. Ну, теперь можно ли сказать, что я прожила здесь веселой? Ни в каком случае. Все дни, исключая счастливых часов, которые я была с мамой и в дружбе с сестрами и братьями, — были какой-то передрягой,

мучительной, бестолковой.

Прощай, дорогая, милая Нерехта, прощайте, все подруги, все те места, в которых я проводила счастливейшие минуты моей жизни!..

1888 год

Ярославль, 2 января

Снова начинаю дневник, целых 4 месяца ничего не писала… Мне нисколько не скучно дома одной, напротив — очень весело. Сейчас только что я кончила игру на рояле, и когда играла «Зеленый остров», то мне послышались слова: жизнь вся еще впереди. Это верно. Я начинаю думать, что всякий самый скучный этюд может что-нибудь говорить…

4 января

Сегодня год, как умер о. Петр. Как много изменилось за это время! И я сама стала не та, что прежде, а гораздо хуже. И как не испортиться характеру, ведь приходится постоянно сердиться то на братьев, то на сестер. Правда, я прежде была лучше, теперь я все возражаю маме. Но… не возражать ей невозможно, потому что мама противоречит сама себе на каждом шагу.

Мои милые братцы с каждым днем становятся хуже, в особенности Володя, он портит Сашу, я

это вижу, страшно за Сашу и… ничего не могу сделать. Да, ничего не могу, потому что мама запретила мне мешаться в дела детей. Но поневоле вмешаешься, когда видишь, что характеры их с каждым днем хуже. Пусть Володя делает, что хочет, мне не так его жаль, как Сашу, это любимый брат, и если он будет таков, как Володя, то ему придется плохо. Не знаю почему, у меня в голове сидит мысль, что Саша рано или поздно с ума сойдет.

С тех пор, когда я ласкаю и учу Сашу, эта мысль постоянно приходит мне в голову, и мне так хочется плакать.

Боюсь я, чтобы дневник мой не попался в руки мамы, что тогда будет!..[7]

Ярославль, 5 мая

Я начала вести дневник с 11 лет, значит этому занятию уже около двух лет, но проклятая лень мне мешает писать: я вела дневник с такими перерывами, что и сама им удивляюсь. Сегодня мне захотелось вырваться скорей, скорей из нашей квартиры в Нерехту; я не могла сидеть на месте

---

[7] Примечания: 7

Здесь кончается «маленький дневник» (примечание издания 1912 года).

и бегала до усталости, словно кто толкал меня, из комнаты в комнату. Вечер выдался хороший, я читаю. Только что кончила «Записки лишнего человека» Тургенева[8]. Последний его день, 1 апреля, навел меня на мысли о папе. Вот уже год и 3,5 месяца прошло после его смерти, а мне все еще не верится, что он умер. Я и все мы не говорим никогда «покойный папа», а просто «папа», как будто он всегда с нами. Действительно, когда я думаю о нем или гляжу на его портрет в гостиной, я чувствую, что папа жив, что он говорит и чувствует, как мы. Папа никогда не умрет; он всегда со мною, точно так же, как и Бог.

Сегодня за французским классом случилось происшествие: Наталья Францевна наказала апельсин. У Насти У-вой был апельсин; от скуки она вынула его из кармана, апельсин, разумеется, пошел по рукам, все начали нюхать его, лизать. Наконец беспорядок был замечен Нат. Фр., и после печального признания Насти, что беспорядок причинен апельсином, несчастного вытащили на стол и торжественно накрыли толстой грамматикой. В этом положении апельсин оставался до конца класса.

---

[8] Примечания: 8
Повесть И. Тургенева «Дневник лишнего человека».

7 мая

Ха, ха, ха, ха! вот смешное, глупое и печальное приключение! Сегодня, ехавши в баню, я и Надя потеряли по калоше! Это происшествие вызвало целую бурю: мама читала нотацию, Ал. Ник.[9] говорила, что только у Д[ьяконов]ых и могут случаться подобного рода вещи. Перед ужином мы вместе решили, что это проделка нечистой силы, наказание Божие за нерадение к молитве. Надя говорит, что сегодня она не помолилась внимательно, и если утром хорошо не помолиться, то непременно случится несчастие; что если много смеяться, то это не к добру, — я с этим вполне согласна. Я (вот грешница) уже с Рождества читаю только по три молитвы и решила наказать себя за небрежность: спать на полу. Валя слушала да и сказала: «Дуры, рассуждайте о том, как бесенок ваши калоши утащил, я уйду». Я и Надя решили, что в каждом человеке есть бес, который соблазняет человека на все дурное. Но ведь сегодня я была в бане; чистая — и вдруг спать на грязном полу!

Сегодня мама без ужина оставила за непослу-

---

[9] Примечания: 9
Александра Николаевна, гувернантка Дьяконовых.

шание; это полезно: нужно как можно меньше есть, теперь скоро экзамены. Добрая Саша-горничная сжалилась надо мной: оставила котлетку и предложила ее мне; но я испугалась, чтобы мама не увидела, и отказалась… съем завтра, она в шкафу стоит!.. Спорила с Володей: утверждает, что похож на папу, я говорю — на маму. Мысль о папе мне все чаще приходит в голову; что, если и я умру? А ведь бес во мне сидит, он меня столкнет прямо в ад! Страшно!

25 мая

Вот так дневник! Ведется через два, а то так и через 12 дней! А что, подумаешь, мешало? Мамы боюсь, лень мешает, читать вечером хочется. Вот семь слов. Коротко и ясно… Экзамены, экзамены! Страшное слово, а для меня в особенности. Сегодня я неверно решила уравнение. Кажется, готова утопиться при одной этой мысли! Господи! я гадкая, отвратительнейшая из всех в мире — прошу не отказать в одной помощи: дай из математики 3–, а из французского 3. Помоги, Боже, хоть на эти два балла! Внуши, Боже, всему Совету перевести меня. Я не совсем здорова, и слава богу — никто за мной не ухаживает. Напротив, все говорят, что я притворяюсь. Ну, последнее-то похуже первого,

да наплевать на эти нежности телячьи!.. Дети отвратительны; узнали, что у меня уши болят, — целый день свистят и ворчат; и то и другое сильно отзывается на больной голове! Гадкие! не люблю их. Теперь довольно, — голова болит от писанья.

26 мая

Вот счастие! Второй раз мамы дома нет, писать можно. Сегодня днем был доктор. Он прописал мне душ для продувания ушей, против глухоты. Потом велел употреблять ирригатор для промывания носа. Когда им пользуются, то наполняют составом, разведенным на два стакана воды по одной чайной ложке; когда начнут воду пускать в нос, то нужно говорить «а, не, мо, не». Очень это смешно! Доктор нашел меня малокровной, только не очень, а румянец объяснил нежностью сосудов в коже. Сказал, что нужно принимать железо и еще что-то такое, но мама не хочет. Я не особенно этим довольна, но притворяюсь покорною маме. Доктор узнаёт малокровие так: посмотрел мне в рот и заметил, что окраска языка и нёба очень бледна, потом в глаз; потом приставил трубочку к шее и послушал. Еще кашель, что я очень нервна и живо все делаю и скоро все бросаю; как узнал — для меня неразрешаемая

задача… Довольно о докторе. Завтра отправляюсь в Сиротский дом. Если провалилась — что тогда делать? Как явиться домой? — Нет, убегу непременно… Нужно взять денег на всякий случай, хоть один рубль. Убегу, убегу! Вечный стыд и позор и без этого будет на тебе, но если и убежишь — хуже позора провала нигде не найдешь.

27 мая

Урра! перешла в 6-й класс! Все рады, а я больше всех. В гимназии благодаря ужаснейшей свинье учителю N… нашла Катю Е. в отчаянии: она провалилась и, кажется, покушалась на самоубийство, да не удалось. За ней теперь во все глаза смотрят: сидит бледная как смерть и ничего не понимает. Ученица У., вероятно, скоро умрет; она чахоточная и пол… не могу написать: страшно сказать, до чего довело ее зазубривание всевозможных учебников; теперь она почти ничего не понимает, о своем положении ничего не мыслит. И Маргариту мне очень жаль: я страшно за последние дни сошлась с ней; теперь ее исключили, а впереди бедность, молодость, отчаяние и печаль, бесполезность близким людям и обществу.

«Любите друг друга, отцы. Любите народ Божий. Не святее же мы мирских за то, что сюда пришли

и в сих стенах затворились, а, напротив, всякий, сюда пришедший, уже тем самым, что пришел сюда, познал про себя, что он хуже всех мирских и всех и вся на земле. И чем далее потом будет жить инок в стенах своих, тем чувствительнее должен и сознавать сие. Ибо, в противном случае, незачем ему было и приходить сюда. Когда же познает, что не только он хуже всех мирских, но и перед всеми людьми за всех и за вся виноват, за все грехи людские, мировые и единоличные, то тогда лишь цель нашего единения достигается. Ибо знайте, милые, что каждый единый из нас виновен за всех и за все на земле несомненно, не только по общей, мировой вине, а единолично каждый за всех людей и за всякого человека на сей земле. Сие сознание есть венец пути иноческого, да и всякого на земле человека. *Ибо иноки не иные суть человеки, а лишь только такие, какими и всем на земле людям быть надлежало бы. Тогда лишь и умилилось бы сердце наше в любовь бесконечную, вселенскую, не знающую насыщения. Тогда каждый из вас может весь мир любовию приобрести и слезами своими мировые грехи омыть*[10]. Всяк ходи около сердца своего,

---

[10] Примечания: 10
С курсивом не согласна. *(Примеч. Е. Дьяконовой.)*

всяк себе исповедайся неустанно. Греха своего не бойтесь, даже и сознав его, лишь бы покаяние было, но условий с Богом не делайте. Паки говорю: не гордитесь. Не гордитесь пред малыми, не гордитесь и пред великим. Не ненавидьте и отвергающих вас, позорящих вас, поносящих вас и на вас клевещущих. Не ненавидьте атеистов, злоучителей, материалистов злых из них, не токмо добрых, ибо и из-за них много добрых, наипаче в наше время. Поминайте их на молитве так: спаси, Господи, всех, за кого некому помолиться. Спаси и тех, кто не хочет Тебе молиться. И прибавьте тут же: не по гордости моей молю о сем, Господи, ибо и сам мерзок есмь, паче всех и вся.

Народ Божий любите, не отдавайте стада отбивать пришельцам, ибо если заснете в лени и брезгливой гордости вашей, и пуще в корыстолюбии, то придут со всех стран и отобьют у вас стадо ваше. Толкуйте Евангелие народу неустанно… Не лихоимствуйте. Сребра и злата не любите, не держите… Веруйте и знамя держите. Высоко возносите его».

2 июня

На днях была в концерте. Играли прелюдию Мендельсона… Мне показалось, что все волны,

южные и северные, слились на собрание. Сначала заговорили северные волны, упрекая южных, а затем южные стали возражать северным. Дело дошло до спора: северные волны говорили о прелестях вечных снегов и льдов, а южные пели о красоте ночи, о солнце и звездах, отражающихся в морской воде. Наконец приплыли тихие волны рек в Средиземное море и рассказали им о жизни людей. Волны помирились, услыхав о раздорах и жестокостях людей, и, соединясь вместе, запели гимн Богу. Вот что, как показалось, говорила мне игра г. Б.

19 июня

С гувернанткой втроем отправились на бульвар. В саду играла музыка, в павильоне, однако, никто не танцевал. Несколько мамаш, два-три папаши сидели там, детей было не особенно много. Первая пошла танцевать П., за ней вся мелюзга зашевелилась и запрыгала. Следующая за вальсом полька была прелестна: все ребятки захотели попрыгать, явились несколько маленьких мундирчиков, которые говорили тоненькими голосками, — они оживили детей. Вскоре случился казус. Вдруг подходит к Наде учитель танцев и говорит: «Отчего вы не танцуете?» Надя что-то

пробормотала. Он подвел ей своего сына-гимназиста и что-то проговорил. Вдруг я услышала: «Я вашей мамаше скажу, что я вам представлял своего сына и вы отказались. Ведь вы умеете, отчего же не танцуете?» — «Нет», — отвечала Надя чуть слышно, вся пунцовая. Немного спустя подходит сын учителя к Вале. Та тоже отвечает отказом. «Хороши мои сестрицы», — шепнула я гувернантке, радуясь от души, что меня не видно и кавалер не может ко мне подойти. — «Буки!» — шепнула мне Александра Николаевна. Детский вечер кончился в 9 часов. Ал. Ник. была какая-то сумрачная. Господи, думала я, вот, видно, она теперь думает, как от нас отделаться! Ей нужно к брату-студенту, который сидел в саду, она бросила бы нас, она в уме бранит нас. Наконец я не выдержала: мысль, что Ал. Ник. хочет отделаться от нас поскорей, перешла уже в полную уверенность. Я предложила идти домой… Мама очень огорчилась, узнавши, что Надя отказала сыну учителя танцев.

25 июня

Ура! Едем в понедельник в Нерехту! Наконец-то! Даже не верится, — правда ли это, что мы уже второй год живем в Ярославле? Мы уехали

из Нерехты 23 февраля 87 года, на второй неделе Великого поста, в понедельник, и 16 месяцев уже не видали ее. Господи, вот так счастье! Мама всячески старается охладить нашу радость, рассказывая о холодных приемах родственников, о неудобствах жизни в гостях (тогда как мы едем домой), — но все старания окажутся тщетными: я всегда буду радоваться, если поедем в Нерехту, буду рада всякой новости о ней, буду всегда любить ее. Это маме известно, а между тем она чуть не плачет при мысли о том, что ее милые детки (не я в том числе, конечно) оставляют ее на целую неделю одну. Самая лучшая радость не обойдется у нас без дрязг. Ну, да что! Стоит ли писать пустяки? Одно слово: едем в Нерехту.

14 июля

Сегодня мы познакомились с Сергеем Николаевичем, братом Ал. Ник., и гуляли с ним в роще. Он мне очень нравится: человек очень умный и оригинальный, это я заметила и в Ал. Ник. Сергей Ник. был в партикулярном платье, чему я была очень рада, так как, хотя мне смешно и стыдно в этом сознаться, — я его боюсь в студенческом мундире. Право, во мне есть дикарь, и самый упрямый: чтобы познакомиться с С. Н., мне нуж-

но было собрать все присутствие духа, к тому же он оказался до того утонченно-вежлив, что я чуть было совсем не потерялась. Он все время говорил с мамой, а я все слушала, слушала. Ал. Ник. даже заметила: «Как вы внимательно слушаете, Лиза!»

Дело подруги Маргариты уладилось: она была у губернаторши и ей рассказала все обстоятельства. Губернаторша обещала похлопотать за нее, чтобы ей позволили держать экзамен в наш класс. Она теперь готовится, просила меня прийти к ней. Я была так рада…

На днях Ал. Ник. объявила, что скоро приведет не только Ку-вых, но и своего «братишку Шурку». Я чуть не задушила Ал. Ник. Скорей бы! Я очень плохо все записала, боюсь, чтобы мама не увидела. Однако пора спать: ведь уже 12 часов!

21 июля

Ух! Как испугалась сегодня: часа в 4 приходит мужик и говорит: утонул в Волге мужик в пьяном виде, бывший дворник; по приметам оказывается Александриным мужем. Саша побежала узнать, на месте ли ее муж или нет, так как за верность известия мужик не ручался. Пришла домой. Слава богу, муж на месте, жив и невредим оказался…

На танцы пошли сегодня все вместе. Александра Николаевна восхищается мной, постоянно говорит маме: «Как мило Лиза танцует, как она грациозна», — а та не верит: ведь это просто нелепость, — Лиза, неуклюжая, быстрая, резкая во всех движениях, и вдруг… грация?! Да еще где — в танцах?! Мне самой смешно; ведь, кажется, во мне нет ничего хорошего, красивого, грациозного, уж, видно, я такая родилась. Ал. Ник. после танцев меня спросила: «Ну, Лиза, ведь можно увлечься танцами? как вы теперь думаете?» Я колебалась с ответом: еще никогда не увлекалась ими, но «нет» не шло с языка. — «Посмотрю я на вас, как на аллегри[11] будете танцевать». — «Да разве я буду, — сказала я удивленно, — ведь у меня знакомых нет…» — «Будут, я вам представлю гимназистов и студентов», — решительно ответила она. «Вот те на! — подумала я, — до сих пор я не имела ни малейшего желания познакомиться с кем-нибудь из них, даже со страхом об этом думала, а тут… ну, да аллегри еще не скоро будет».

Приехала бабушка; я так обрадовалась, будто бы сама в Нерехту уехала. Привезла огромную корзину смородины, для варки и для еды.

---

[11] Примечания: 11
Лотерея на благотворительном балу.

24 июля

На уроке танцев было очень весело: учитель сказал, что сестрам нужно быть немножко поживее, а про меня сказал, что ничего. Еще в прошлый урок он предложил нам съездить с ним в рощу или за Волгу погулять. Ал. Ник. за нас отвечала: «очень рады, с большим удовольствием», а когда мы вышли на улицу, то решительно сказала: «не к чему заводить подобное знакомство». Мы промолчали. Но вот в субботу он опять повторил свое предложение. — «Во вторник бы, папа», — тихо сказала Жуня. Александра Николаевна немного замялась, но что-то ответила. Пришли домой и сказали об этом маме. — «Гм! этакое знакомство заводить!» — был презрительный ответ. Мне сделалось жаль Ф. Ф.: неужели отказаться от его приглашения только потому, что он учитель танцев? Мне к тому же очень нравится Жуня: славное у нее лицо — строгое, я такие очень люблю у девочек. Почему Ал. Ник. находит знакомство лишним? Все они такие хорошие, любезные, милые, Жуня дельная девочка. Мне стыдно за нас… Была у Маргариты, так как еще накануне получила от нее письмо с просьбой принести словесность. Я просидела у нее два часа, просила еще

прийти. Какая милая, добрая и простая! Теперь вся ее жизнь как на ладони перед мною…

31 июля

Бедная Маргарита! Она начинает сомневаться, позволят ли ей учителя держать экзамен? А если нет — она пропала. Мы с ней думали, думали, как уладить дело. Но куда ни кинь — все клин. Она рассказала мне свою историю. Она незаконнорожденная дочь дворянки, бывшей классной дамы; та привезла ее шести дней «к крестной» — так Маргарита называет свою приемную мать, обещалась платить деньги; поплатила 4–5 месяцев и исчезла. Ни писем, ни денег на воспитание. Так и осталась Маргарита у бедных мещанок. Отдали они ее в Сиротский дом на казенное содержание, думали, поддержка потом будет, и вот — выключают! Куда ей идти со свидетельством 4-го класса и 20 рублями в кармане (это ей выдаст казна)? Мы думали… думали… Я предложила ей поступить хоть в горничные (как это ни глупо с первого взгляда). «Ой, что это? А крестная-то? Она ведь меня так любит, так любит; ведь она этого не допустит!» — «Вот тебе на! Я думала, что она тебя не любит, ты ведь ей в тягость?!» — вскричала я. «В том-то и дело, что любит; если бы она отка-

залась от меня, бросила бы на произвол судьбы — лучше бы было, а то ведь жаль», — был ответ. Я рассердилась: ничем-то я не могу ей помочь, экая я дура! Кстати, ей приснился сон: крестная сказала ей: «18 августа почки распустятся, тогда ты и жить не захочешь». Странное предсказание! Вдруг оно сбудется! Господи, помоги ей…

Завтра уже первое августа! Ох, ученье, ученье, ученье! Снова старая песня на новый лад!

4 августа

Захворала мама; был доктор, сказал, что скоро ее нездоровье пройдет. С мамой нет у нас столкновений, а из разговоров только сегодня я поняла, сколько она вынесла. Кажется, маму воспитывали просто, не была она никогда в детстве энергичной, росла тихо, выезжала девицей — всё, как все делают, делали и будут делать, — где бы ей набраться таких знаний, практичности, энергии? А между тем мама, хотя и была нервна, не крепка здоровьем, столько вытерпела, с такой энергией вела свои дела, защищала свои и наши интересы, что я от удивления не могла слова вымолвить, пока мама мне все рассказывала. Она говорит, что когда выходила замуж, надеялась только на себя, а не на папу, потому что у него состояние

было вовсе не велико… И странно: бабушка и все наши родные — все знают, что сделала мама для нас, знают, что ей пришлось вытерпеть, и говорят об этом как о самой обыкновенной вещи. Что, если бы это пришлось сделать другим? — тогда толковали бы, хвалили бы, превозносили бы чуть не до небес. А наша мама сделала все, преждевременно потеряла здоровье, расстроила нервы, — и родные посмотрели на это так, как будто бы это и должно быть. «Свои не оценили, так чужие оценят и поймут, что мне это стоило», — сказала мама, и слезы показались на глазах ее. «Полно, мама, плакать», — ответила я по своему обыкновению несколько насмешливо; но если бы знала мама, что в эту минуту происходило во мне! Мне вдруг захотелось упасть к ногам ее и безумно молиться на нее целую вечность за то, что она сделала для нас, простить ей все, все, глядеть на нее и никому, никому не отдавать… чтобы она была вся моя, вся! Кажется, была бы моя воля, я взяла бы с собой одну маму, куда-нибудь унесла ее и молилась бы, молилась бы на нее и за нее без конца!..

22 августа

Пришла из гимназии точно бешеная. Действительно, как не разозлиться: от 9 до 10 урок, от 10 до 2 нет уроков, а от 2 до 3 и 3 до 4 опять уроки! Есть ли что-нибудь хуже, глупее, неблагоразумнее такого расписания? Ученица приходит в 9 часов, сидит в гимназии до 4 (7 часов!), и что же? Оказывается, что из 7 часов один полагается на обед живущим (приходящие в это время завтракают), другой — на отдых после обеда. Остается 5 часов, из них 2 ничем не заняты. Отчего? — вот вопрос, на который начальство не дает прямого ответа. Приходящие должны сидеть и ничего не делать (если дела нет), у живущих же дело всегда найдется. Просто бесчеловечно со стороны начальства так обращаться с приходящими. Пусть начинают уроки в 9 часов до 12, затем $1^1/_2$-часовой перерыв для обеда и отдыха, затем еще урок до половины 3-го, и довольно. Вот какое расписание нужно бы применить к делу. Тогда сидеть в гимназии меньше, и уроков больше, и раньше отпустят домой.

На днях в гимназии был акт, Валя получила вторую награду. Мама торжествовала. Давно ведь ее никто-никто не радовал успехами: вот уже два года. Мне хотелось бы перейти с наградой

для того только, чтобы мама порадовалась. Да ведь не перейти! Где нам, грешным, за наградой тянуться! А хотелось бы получить!

1 сентября

Ученье, ученье, до бесконечности: с 9 до 8 учись, учись, учись и учись! Вот препровождение времени. Нечего сказать, хорошо! Даже некогда дневник вести… Александра Николаевна сумрачная такая; поневоле досадно будет: учит, учит сестер, набивает им старательно голову и пропорциями, и склонениями славянскими, а на другой день — 2 из русского за то, что Надя не знала того самого склонения, которое отлично накануне ответила. Ведь вот странно: дома знаешь урок, как «Отче наш», в гимназии спросят — точно язык отнялся, все перепутается в голове: и подсказанное, и объясненное, и изученное — и поминай как звали! Эх, несчастное это ученье, право, несчастное.

Вот сейчас в газете читала о переутомлении учащихся. Это хорошо писать, что слишком много учиться вредно, — а на деле-то ничего ведь не изменено. Пишут: экзамены вредны для здоровья, бесполезны в отношении к знаниям, учиться нужно меньше, дома готовить уроков меньше, —

одним словом, пишут много, так много, что, напечатай все заметки об учении на отдельных листах, можно бы двадцать завтраков завернуть. А толку из этого мало. Вот кабы кто напечатал заметку о баллах, — это дело. Что баллы? Знаешь — значок 5, не знаешь — значок 2 или 1. Вот чем меряются наши знания; подумаешь — до чего глупо все это. А ведь двойка большое значение имеет: за нее оставляют на час, приятно ли сидеть, не евши до 5 часов? Я, грешный человек, сама это испытала: оставили, и, боже мой, до чего есть хотелось! Из-за одного этого будешь без двоек стараться учиться.

6 сентября

Что за сонное царство! Будни — гимназия, потом обед, чай, уроки и ужин. Праздник — ровно никто ничего не делает. И хоть бы сестры чем-нибудь дельным занялись, — все глупости; они хоть вместе, а я все одна.

9 сентября

Ученье в начале; учителя не пропустили еще ни одного урока; двоек еще мало, баллы получают покуда порядочные; классные дамы еще

не обозлились на всех и на вся, как это бывает в конце года и в середине. Теперь — самое приятное время. Покуда еще не много выучено, ничто не успело перепутаться в голове, пройденного не успели забыть. Теперь очень легко получать пятерки, но учителя такие странные: когда знаешь — ничего не спросят; как что забудешь, глядь-ка — на тебя уж смотрит и урок спрашивает. Собственно говоря, теперь это не настоящее ученье, не та, как говорится, «спешная работа», которая подойдет в конце года. Тогда учителя спешат скорей повторить курсы для экзаменов, усиленно вбивают в голову ученице хронологию, теоремы, словесность, диктовки, аксиомы, задачи, вычисления, переводы, правила, стихи, историю, физику, стилистику, драму, русскую и французскую поэзию, периоды, метафоры, метонимии — одним словом, решительно все, что могут вместить человеческие головы девочек, еще не развитых как следует. Покуда учителя все это вбивают в голову крепкими молотками в виде двоек и единиц, ученицы сидят, разиня рот и чуть не задыхаясь от усилий вместить в свою небольшую голову всю эту кашу, весь этот научный экстракт, набранный из всевозможных учебников и сваренный нашими учителями в

их кабинетах. Немудрено, что многие проваливаются. Однако, что же это я расписалась так об ученьи, ведь 12-й час. Спать пора.

20 сентября

Какое счастье! Веньку выбрали в присяжные, он сегодня не был. Хорошее учреждение это, брать присяжных. Отчего это только мужчин берут? Вот кабы Наташку да Шкалика нашего куда-нибудь, хоть в присяжные поверенные, спровадить. Никто не возьмет? Я сегодня написала сочинение, и теперь ничего в голову не идет…

30 сентября

Вот весь месяц — и я писала дневник только пять раз. Все некогда; покуда не пишешь дневника — столько мыслей в голову придет, а как сядешь писать — ровно ничего нет. Вчера я совершенно успокоилась насчет рисования. Дело в том, что учитель не выбрал меня рисовать, тогда как некоторые, рисующие хуже меня, выбраны. Я была этим очень обижена, но все молчала; наконец, вчера смотрю, С-ская рисует! Это было свыше моих сил. Такая несправедливость! Я едва удержалась назвать учителя в глаза… и ушла в

учительскую в самом возмущенном состоянии духа. Вдруг отворяется дверь из прихожей, меня позвали рисовать. Теперь, по крайней мере, не стыдно перед другими, да и сердце спокойнее.

11 октября

Что за жизнь! Ей-ей нет ладу.
Нет в избе покою;
Споры, брань, одну досаду
Терпим мы с женою.

Эти давнишние стихи можно с небольшими изменениями вполне применить к нам, т. е., по крайней мере, ко мне. И правда: в доме нет ладу, ссоры, брань, нотации… просто с ума сойти можно! И все это на меня, несчастную, сыплется беспрестанно, так что я даже не успеваю и вопроса себе задать: за что? почему? Всегда-то я во всем виновата, решительно во всем! Не понимаю, как это все выходит, что одна я причина всех зол и бедствий нашего дома? Нет ничего фальшивее, хуже моего теперешнего положения как в гимназии, так и дома. Но там, по крайней мере, хоть все знакомые лица, здесь же… право, точно между посторонними нахожусь. Я, правда, бываю иногда очень виновата перед мамой, бранюсь,

когда очень рассержусь, детей наказываю тоже, когда шалят, — но неужели все это такие ужасные вещи, что меня не переставая пилят за все это? Единственная моя отрада (если можно так выразиться) — книги; я читаю и забываю хоть часа на два всю ту цепь споров, ссор, выговоров, наказаний и т. д., которая опутала наш дом и никому из нее не позволяет выйти.

В дневник я «изливать свои чувства и мысли» не слишком-то себе позволяю: мама может увидеть, и к чему беспрестанно писать одно и то же? Только сегодня не удержусь, напишу все (но я не жалуюсь, боже меня сохрани от этого!), ведь не стерпишь, наконец. — Сегодня Ал. Ник. вдруг у меня взяла книги на неделю! Читать и то нельзя! Целую неделю без книг! Как вспомнишь (стыдно даже писать!), так и хочется разреветься как пятилетнему ребенку, вырвать у нее книги и убежать скорей куда-нибудь.

Господи, Боже мой, милый! Хоть бы Ты прибрал меня поскорее! Ну что за жизнь эта, опротивела она до того, что я не знаю, куда деться! Бог законом Своим запретил убивать себя; кабы не грех — сейчас бы в воду или под рельсы. Никого, ничего мне не жаль, хоть бы умереть поскорее! Тогда в доме тише станет, нотаций мама не будет

читать и нерв себе расстраивать, сестры не будут браниться, в доме было бы не житье, а рай. По мне отслужили бы панихиды, мне было бы очень весело[12], я увидела бы папу, Бога бы увидела, ангелов, святых… Папу целовала бы так, как при последних днях его жизни, были бы мы вместе. Вообще, если бы я умерла — хорошо бы было! Говорят, что те, кто боится смерти, — умирают, а те, кто не боится, — живут долго; я вот не боюсь смерти (по-моему, очень глупо бояться того, что рано или поздно совершилось бы), да и умереть хочу, а смерть не приходит. Господи, Господи! Умереть поскорее!

25 октября

В эти дни у меня мама захворала, и у меня неприятность, хотя самая ничтожная: в прошлый четверг я чернила в зале пролила, и меня наказали: стоять на час у колонны, да еще и чернильницу мою дорожную Дюсет противная взяла себе. Еще происшествие: в прошлый понедельник, 17-го числа, в 12 часов утра, произошло крушение царского поезда на Курско-Харьково-Азовской

---

[12] Примечания: 12

Я читала, когда панихиду поют, — душе покойника бывает очень весело. *(Примеч. Е. Дьяконовой.)*

железной дороге. 18 человек убито, но все царское семейство осталось живо и невредимо. У нас был отслужен по этому случаю благодарственный молебен. Читая в газетах о крушении, невольно можно воскликнуть: дивны дела Твои, Господи! Множество людей ранено, убито, а Государь и все семейство целы и невредимы. Кто осмелится сказать теперь, что Бога нет?

31 октября

По вечерам ежедневно читаю. После романа «Кудесник» кончаю «Рославлева». Вот странно: когда я собираюсь писать дневник, думаю, что напишу очень много; на самом деле, как только сяду писать, так все из головы и улетучится. Отчасти это и хорошо: если бы я действительно все, что думаю, записала, то давно бы и тетрадка вышла, и многословие было бы ужасное.

Еще раз повторю стихи: «Что за жизнь! Ей-ей нет ладу, нет в дому покоя; ссоры, брань…» Прекрасные стихи! В них, как в зеркале, отражается наша домашняя жизнь; а причиной всего этого опять-таки я, пренесносное создание, глупое, бессердечное, бессовестное! Такие создания не люди, а звери, и меня действительно дома теперь зовут зверем, сумасшедшей etc., etc. Все

это ясно как доказанная теорема, и из такого предложения, конечно, следует такой вывод: «на что же живет такой зверь, не только не нужный никому, а положительно вредный! Чтобы он никому не мешал, нужно его убить; а так как мы народ все же цивилизованный, то на подобное деяние никто не решится, и этому несчастному зверю приходится сидеть и ждать смерти, когда она придет». — Это математически верно, вывод положительно можно счесть шедевром удачнейших ответов. Да не думает тот, если кому попадется в руки сия страничка, что я пишу все это так, от нечего делать; нет, я пишу все хладнокровно, обдуманно, внутри меня ни одна черточка не пошевельнулась во время писания, я ведь отчасти и не человек. В прошлый раз я в лирику ударилась, а теперь пробую все это хладнокровно себе доказать, все рассчитала, так что все уже понятно. Ну, как теперь мне себя не похвалить, как не сказать: «умница, Лиза»?! Ведь я хоть и плохо математику знаю, однако в случае нужды лучше всякого учителя применить ее к делу сумею.

4 ноября

Сегодня нет ученья по случаю чудесного избавления от смерти Царя и его семейства. Была обедня, читали манифест, служили молебен и пели «Боже, Царя храни» в зале.

Читаю теперь Писарева. Говорят, будто его сочинения запрещены; я не знаю, но струсила порядком, когда пришлось проходить с книгой мимо классной дамы. Все, что я читаю в нем (5-ю часть), мне очень, очень нравится, хотя я и не везде с ним согласна. Причина, что его книга мне нравится, — весьма простая: Писарев пишет об образовании в университетах, гимназиях и т. п. Хотя издана эта книга в 66-м году, следовательно, всего 22 года тому назад, но в ней почти все о гимназиях можно применить к нашим. Для образца приведу такой отрывок, характеризующий преподавание у нас в гимназии русской литературы. «За теорией словесности следует история русской литературы. Эта история, как и все другие, представляет список имен, которые навсегда останутся для ученика лишними, ровно ничего собой не означающими. Жил-был Нестор, написал летопись; жил-был Кирилл Туровский, написал проповедей много; жил-был Даниил

Заточник, написал „Слово Даниила Заточника“; жил-был Серапион, жил-был, жил-был, и все они жили-были, и все что-нибудь написали, и всех их очень много, и до всех их нет никому дела, кроме гимназистов и исследователей старины. Когда дойдет дело до Ломоносова и Державина, тогда становится еще тошнее: приходится запоминать названия од и отрывки из них, до которых также дотыкаются только гимназисты и исследователи. А уж когда доберутся до Пушкина, тогда надо спешить, потому что учебный год приходит к концу, да и, кроме того, гимназистам не полагается знакомиться с новейшею литературою подробнее, чем со словами Даниила Заточника и с державинскою „Фелицею“». Вот эти строки; я сама сейчас их списала с книги, которая у меня в руках. В самом деле, хотя эти строки писаны 22 года тому назад и, следовательно, применялись только к тогдашним гимназиям, — их во всей неприкосновенности можно применить к нашей теперешней гимназии. Так, например, в среду нам очень хорошо объяснил учитель Гор-ев урок о том, каким образом появилась в России письменность, и задал 22 и 23 §§ из «Истории русской литературы» Галахова. Там все так хорошо написано, так понятно, кажется, взял бы и выучил

на 5+, и делу конец; ан нет, литература-то оказалась не такой податливой: попалось ученицам 6-го класса слово «символизм» — не понимаем. — «Лиза, объясни, пожалуйста». Я подумала и говорю — «образность». — «Что называется образностью?» В прошлом году я получила 5 за ответы, что называется образностью, метафорой и т. д., — а нынче только руками развела: пока мы учили это слово теоретически — знали, пришлось применить наши знания на практике — уже все забыть успели! — «Чему же вы учились? что вы делали в 5-м классе?» — спросят нас большие, ученые люди, маменька, папенька, гувернантки и т. д. — «Да, мы учили, — без запинки ответим мы, — теорию словесности, это полагалось курсом 5-го класса, а так как в 6-м учат историю словесности, то… теорию-то словесности мы уж забыли»… А Гор-ев из сил выбивается, старается хоть немного развить наши ослиные (в полном смысле слова) головы, советует читать, читать как можно больше. Ладно, говорим мы, будем читать. И действительно, берем и читаем Шекспира, Толстого, Пушкина, Диккенса, Тургенева (я привела здесь те книги, которые действительно читают воспитанницы нашего класса); кажется, все имена известные, громкие; сочинения пре-

красные… но ни сочинения, ни развитие нашего ума от этого не улучшается. Сам Гор-ев нам это сказывал: «Читайте вот таких-то и таких-то писателей; но, наверное, вы не поймете как следует сочинений „Ледяной дом“, „Записки охотника“, Шекспира: чтобы это понимать, нужны головы поразвитее ваших!» Сказал и ушел. Мы, понятно, оскорбились таким мнением о нас, закричали, зашумели, классные дамы в поведении сбавили, позлились; и тем дело кончилось. А между тем, действительно, понимают ли некоторые из нас, что читают — бог весть.

Спать пора; я устала писать.

10 ноября

Это решительно невозможно! позволять себе такую дерзость перед всем классом! Учитель говорит одной из хороших, даже более — из лучших своих учениц: «Самостоятельно ли написано сочинение?» и при всем классе! — «Я увижу, как-то вы напишете во вторник классное сочинение. Понимайте как следует: вы меня обманываете, сочинения пишете не сами, а вот во вторник я увижу, насколько вы способны мыслить». Когда он спросил меня, я сначала готова была закричать на весь класс: это дерзко, низко с вашей

стороны так ко мне относиться! Но ведь этого сказать нельзя; пришлось ответить: «Господи, унижение какое! Есть ли после этого правда? Я пишу сочинение, думаю, хотя очень мало, но все же думаю, моя работа оказывается одной из самых лучших, — и так оскорбить, насмеяться над ученицей при всем классе…» И это он говорит мне уже в третий раз! В четвертом классе он сказал про диктант; я была уничтожена, осмеяна перед всем классом; и помню, тогда я ответила дерзко и после ревела целый вечер. В пятом классе он то же сказал про первое мое сочинение; я решила непременно в другой раз ответить «не самостоятельно» и тем одурачить учителя при всех. А сегодня? это уже свыше сил! Мало того, что придется писать классное сочинение как будто на экзамен, — нужно еще оправдывать себя: вот, мол, я все сама делаю! Никогда, никогда я не была еще унижена так, до последней степени, насколько может быть унижен человек! Гор-ев отрицает у меня способность мыслить самой и еще с насмешкой говорит: вот во вторник увижу! И ничего, ничего нельзя сказать в свою защиту, нельзя даже сказать ему, что такое подозрение в высшей степени низко и подло, что он может говорить это ученицам плохим, а не хорошим; од-

ним словом — нужно подвергать себя насмешкам и замечаниям учителя, сколько ему угодно. И все это благодаря нашей нелепой системе школьного учения: полнейшее унижение, уничтожение личности и предание ее в руки машин в виде классных дам и образования — в руки хитрых педагогов. О, Господи, Господи, какое мученье!

12 ноября

Александра Николаевна — лучший человек в мире — выходит замуж. И какая я дура: ведь когда мы были на именинах, то жених сидел почти напротив меня, но — видно, у меня такая способность — я не вижу никогда никого из мужчин, если бываю где-нибудь у знакомых; так я его и не видала. Надя говорит, что он очень красив. Когда я спросила Ал. Ник., каков у нее жених, она как-то странно ответила: «О, он молодой, очень красивый, сходится со мною во всем». Значит, и он тоже — замечательно хороший человек. Похожи они друг на друга очень, как брат с сестрой. Я от всей души желаю счастья Ал. Ник. в ее будущей новой жизни; такого счастья, которое бы редким людям давалось; такого благополучия, какое на долю никакого человека не выпадало; такого согласия и мира, которые не у всех бывают. Кро-

ме всего этого, Ал. Ник. сообщила нам новость, почти такую же радостную: она останется и будет у нас репетировать! О, боже мой, этого счастья, этого благополучия мне и во сне не снилось!.. Милая, милая моя Александра Николаевна! Сегодня вечером мы даже не читали, а работали и разговаривали: точно прощались с нею; она ведь после обручения будет почти что жена, а это так странно кажется.

13 ноября

Видела я сегодня Ал. Ник. Я шла в гимназию; смотрю — парочка, веселая, молодая, счастливая. «Это она, — подумала я. — Но ведь, может быть, и не она, может быть, и другая барышня идет под руку со студентом». — «Это так неловко», — вдруг долетело до меня со знакомым произношением буквы «л»; сомнения нет — она! Я шла по другому тротуару; шла, не смея взглянуть на эту счастливую парочку, стараясь идти так, чтобы они меня не заметили, и была так счастлива, так счастлива! До самой гимназии они шли за мной, и я слышала их веселый смех и разговор. Так вот она, любовь-то, счастье-то! Я никогда еще не видала любви, такой, как в романе, и теперь вижу. Все это так ново, так странно для меня. Читаем

в романе: так просто, естественно кажется, а на деле не то. Когда я читала про любовь, я не понимала, как это любят, признаются в любви, делают предложения; но мне все казалось естественным: ведь роман. А как на самом деле увидела, то начала понимать, как все делается, хотя еще и не совсем. Когда Ал. Ник. сказала нам, что на душе у нее радостно и хорошо, что все кажется приятным и веселым, то я подумала: а хорошая, вероятно, штука эта любовь! Ведь тогда все кажется хорошим, а это должно быть очень весело. Представляю себя на ее месте, только без жениха, конечно, и не невестой, а так просто: ну, и я люблю не знаю кого, ну, положим, горничную Сашу или какую-нибудь из воспитанниц… и тогда мне все начинает казаться в розовом свете! Уж не полюбить ли мне в самом деле кого-нибудь из наших? Воспитанницы есть очень хорошенькие, поют хорошо, стройненькие, ведь полюбить можно. И вдруг тогда я буду счастлива… только способности-то и умения у меня на это нет, а то бы я постаралась.

22 ноября

Ура! Сегодня опять не учились! За здоровье Императора и Императрицы. Ура! «Боже, Царя

храни» пели, директор речь говорил, манифест читал; мы орали, кричали, толкались, щипались, даже подрались от радости. Когда пришли после в класс — домой собираться, — все зажали уши и начали орать «ура». Вот шум-то был! Господи, точно праздник какой сегодня утром. Солнце так ярко светило, зала огромная, а Царь с портрета так ясно глядит на нас, точно живой, а мы ему «Боже, Царя храни» поем. Ну как тут с ума не сойти?! Кажется, всю бы жизнь отдала, чтобы увидеть Царя! Ведь он нам прислал благодарность, нам, ничтожным людям, даже и не людям, а только гимназисткам, учащимся вообще. Как вспомнишь сегодняшнее утро — так сердце и запрыгает! Счастье-то какое, свет-то какой, шум, солнце, мороз, крик, благодарность Государя, все, все, решительно все, чем только может быть счастлив человек! И вот уже второй раз такое счастье за нынешний месяц: и Александра Николаевна замуж выходит, и спасение Государя, и один день не учились, и в довершение всех благ — благодарность Государя! Даже не верится — правда ли это?!

25 ноября

Господи! что со мной делается? Вчера вечером прочла я роман «Старый дом» и все думала о Борисе. Мне было ужасно досадно, отчего я не родилась в начале нынешнего столетия и не в высшем обществе; тогда я, наверное, увидала бы и познакомилась с ним непременно. А тут — ходи себе в гимназию, учись, а Борис хоть и не учился, а знал гораздо больше меня. Мне ему было завидно, я представляла себе его дом, обстановку, книги, его брата, как его везли в крепость, что он там делал, и вдруг — спросили из истории. Я ждала этого и выучила урок, но отвратительный рыжебородый Венька спросил — о, ужас! — Северо-Американскую войну, а учим мы Семилетнюю. Конечно, я сказала слова три и замолчала, а на уме, в мыслях все был Борис: представляю себе, как его допрашивает Великий Князь, а тут Венька говорит: «Что же вы дальше-то ничего не помните?» Ну, думаю, мучение! Ничего не поставил… За историей был французский. Я знала, что меня наверно спросят, и была спокойна, все думая о нем. Но случилось то, чего я уж никак не ожидала от самой себя. Нам задано было рассказать содержание трагедии Корнеля

«Сид». Я по-русски знала и не сомневалась, что отвечу по-французски. Не тут-то было: не успела сказать и половины — запнулась, по-русски знаю, по-французски выразить не умею. Покуда я размышляла, Наташка разоралась, поставила мне пару, велела писать урок. До такого срама я еще никогда не доходила; мало того, велела мне прийти в четвертый класс ответить урок вместе с П-вской (и та тоже). Ну, и ответили: как бомбы вылетели из класса и промчались по залу. Стыд-то какой! Но — il faut faire bonne mine au mauvais jeu[13] — и я следую этому мудрому изречению.

2 декабря

Александра Николаевна отказала своему жениху! Отказать человеку, уже обрученному с ней, уже имевшему на нее право, — это я не знаю что такое!.. Чувствую, что не могу уже смотреть на нее как прежде, мне кажется, что впереди ее стоит отверженный ею жених. Я никому ничего никогда, конечно, не скажу, но… нехорошо все-таки поступила Ал. Ник. Человек должен быть прежде всего человечен, а она поступила с женихом безжалостно. Она теперь такая веселая,

---

[13] Примечания: 13
Нужно сохранять хорошую мину даже при плохой игре *(фр.)*.

ласковая, все смеется, даже лицо ее как будто похорошело; но взглянуть прямо на нее — я не могу, не могу. А еще три недели тому назад я видела их вдвоем такими счастливыми…

14 декабря

Давно я не писала, не то лень, не то некогда было. Я ужасно люблю бывать у бабушки: там так тихо, тихо, хорошо. У нас в доме если тихо, то сонно все как-то, а у бабушки и тишина имеет свою прелесть. Бабушка вчера мне свою жизнь рассказывала, о маме, о дяде Коле. Теперь передо мной открыта вся жизнь семьи нашей. И, господи, сколько несчастья рассказывала мне бабушка, и все это так хорошо, естественно, что, право, заслушаешься… Кажется, будто две семьи — обе известные и уважаемые — сошлись для того, чтобы вместе соединить свое горе и страдание и удвоить его на маме. Обе бабушки испытали в своей жизни много горя, снося его твердо; и мама всегда справлялась с собою: всего два раза в жизни я видела в ней что-то похожее на отчаяние и слезы, но потом она становилась вновь молчаливой, терпящей…

19 декабря

Сегодня француженка побранила меня и назвала умницей, «способной девиц» за то, что я ей перевела m-me Stael[14]. Удивительная женщина была m-me Stael, ведь недаром называли ее гениальной. В наше время таких нет. Какая она была умная! Семнадцати лет, когда наши девушки начинают только о выездах думать, она уже издавала «Письма о Ж. Ж. Руссо». Хорошо сочинять; мне иногда самой хочется что-нибудь написать, да все лень, все кажется, что не умею.

Скоро отпуск! Не будешь ходить в 4 часа домой по темным улицам, в грязь и ветер, в слякоть и мороз. — «Домой, домой», — радостно повторяют воспитанницы, бегая из класса в дортуар, из дортуара в класс. «Домой, домой!» — раздается везде, по всем углам комнат нашего огромного учебного заведения. Вот, вся сияя улыбкой, растрепанная, с передником на боку, бежит воспитанница. В руках у ней целая груда книг и тетрадок, ей неловко бежать, но она летит стрелой, толкает подруг, вдруг наткнулась на кровать, и вся ноша рассыпалась. «Что это вы, — замечает недовольная

---

[14] Примечания: 14
Мадам де Сталь.

классная дама, — бежите как полоумная какая! Смотрите, где ваши книги? Как вам не стыдно!» Но у воспитанницы ни малейшего стыда, напротив: лицо ее делается еще более радостным, и она на выговор отвечает: «Как же, ведь домой, Вера Александровна!»

Вон там, у средней кровати, какая-то воспитанница. Около нее собралась целая группа: кто надевает ей платок, кто застегивает пуговицу, кто связывает узел. Все уже собрано, она одета, укутана платком, начинается прощание. «Прощай, Маня, милая, напиши, коли будет время, на Рождество», «Прощай, Манька, прощай, душка милая», — раздается вокруг. И все, хотя были бы самыми заклятыми врагами уезжающей, считают своей обязанностью проститься. — «Ведь ты с ней в ссоре, чего же целоваться-то лезешь?» — замечают воспитанницы. — «Я и забыла, Бог с ней; ведь за мной сегодня, милочка, в пять часов придут, на железную дорогу — и домой! Понимаешь ли?» — «Еще бы не понять», — отвечают воспитаннице другие, в подтверждение своих слов крепко целуя ее. «Домой, домой, домой», — раздается во всех углах и закоулках, читается на лице всякой воспитанницы… — «Да, — размышляет классная дама, стоя у окна дортуара

для наблюдения над сборами воспитанниц, — домой, конечно, приятно отсюда уехать недели на две; а что меня ожидает там, в родном уездном городке?» И в ее воображении мелькает неопрятная, грязная квартирка, в которой живет слепая старуха-мать, темные, холодные комнаты. Приедешь — счет от хозяйки квартиры за дрова, свечи, провизию, все это нужно оплатить, нужно к празднику что-нибудь купить, а жалованье не велико: всего 15 руб. в месяц. «Вот станет ли денег-то на уплату, — тяжело вздыхая, размышляет она, — я ведь себе нынче шубу, калоши купила, — немного осталось. И тут еще, наверно, от бедной племянницы письмо придет: Христом Богом попросит к празднику хоть три рубля прислать. Как тут откажешь? А пошлешь — нельзя будет ничего лишнего к празднику купить… Им все весело! — злобно улыбается классная дама, посматривая на воспитанниц: — все молодые, счастливые; а мне — никогда не быть уж такой, — говорит что-то внутри ее. И вдруг у нее является желание огорчить этих веселых, смеющихся девочек, наказать их чем-нибудь, отравить им счастливые минуты. — «Чего вы расшумелись, сию минуту все из дортуара!» — прикрикивает она на них. В ответ раздаются жалобные голоса, еще более

раздражающие классную даму. — «За что ты наказала сейчас этих девочек?» — спрашивает ее какой-то внутренний голос. И она нервно стискивает руки, стараясь не слышать этого веселого смеха и шума. А кругом — так кипит и шумит молодая, веселая, беззаботная жизнь; всем весело, всем, лишь у нее одной на сердце тоска страшная, безысходная. — Домой, домой!

23 декабря

Приснился мне папа вчера. Странное чувство испытываю я тогда, когда вижу его во сне: мне так хорошо, весело делается, только как будто жаль кого-то. Говорят, что это он напоминает мне, чтобы я за него молилась. Это правда. Когда я плохо или долго не молюсь за папу, он мне всегда приснится, такой ласковый, добрый, так что жаль сна бывает.

О Господи, Господи! Помилуй меня грешную, прости все грехи мои. Ведь Ты прощаешь грехи всем людям, — прости же, Господи, зверю скверному, гадкому, хоть одну сотую долю его грехов и прегрешений. Хотелось бы мне умереть, если не сейчас, не теперь, то 15 августа будущего года, мне тогда будет ровно 15 лет; хотелось бы мне умереть ровно в 6 часов утра, т. е. в тот час, когда

я родилась; хотелось бы, чтобы меня похоронили в ельнике, там, где мы часто гулять ходили, посадили бы елочку на могиле, но креста не надо ставить, можно из елки простенький вырубить; а если в ельнике нельзя, то пусть бы похоронили меня в дальнем углу нашего кладбища, там, где солнце почаще и подольше бывает. Гораздо лучше умереть, чем жить! Когда нынче летом я была на папиной могиле, то солнце так ярко светило, так хорошо было, что сейчас бы умерла, лишь бы надо мной солнце так же светило и тихо так было бы на кладбище…

Подписалась сама на журнал «Север». Он будет высылаться на мое имя, короче сказать, у меня будет собственный журнал. Рука так и дрожала, когда я писала адрес: Вс. С. Соловьеву[15]; мне казалось, что с моей стороны величайшая дерзость писать человеку, мало того — незнакомому, а еще и известному литератору.

P. S. Вероятно, долго не буду писать, может быть, времени не будет, может быть, лень, так что заранее об этом сама себя предупреждаю.

---

[15] Примечания: 15

Всеволод Сергеевич Соловьев (1849–1903) — писатель, редактор журнала «Север».

26 декабря

Сегодня Ал. Ник. говорила, что пора мне заняться ученьем как следует, и не ученьем только, а вообще всем. Сказала (совестно писать даже, точно сама себя хвалю), что во мне есть все данные для того, чтобы быть (не знаю каким) человеком, что я существо самобытное, оригинальное, не похожее на других, и наконец сказала: «Я как-то говорила с одним молодым человеком о вас, и мы решили, что вы не жалкая посредственность». Как мне совестно все это писать, но ведь я пишу сама для себя, а следовательно, и прибавлять что-нибудь от себя к описанию разговора была бы ложь перед самой собой. Ал. Ник. решительно угадывает мои мысли: она советовала мне вести дневник, и так, чтобы можно было впоследствии его издать. Ну уж это слишком! Во-первых, я и в дневнике-то почти никогда и не высказываюсь, а во-вторых, моя жизнь не для всякого интересна. «К чему вы себя готовите?» — спросила меня Ал. Ник. Ну что я могу ответить на это? Я, право, еще ничего не предполагаю сделать, но чувствую, что домашняя жизнь меня затянет так, что в одно прекрасное утро я что-нибудь сотворю такое, что… Но я об этом теперь перестала думать, и

слава богу…

Теперь хотелось бы мне и написать что-нибудь. Ведь я знала: стоит хоть немного написать, еще захочется; написала я «Домой», ну и еще что-нибудь напишу. — Дурра! Что за самонадеянность! — твердит мне рассудок. — А если хочется? — возражает сердце. Чтобы я была человеком самобытным, не похожим на других людей, чтобы из меня что-нибудь вышло — этого я, воля ваша, никак не могла даже и вообразить. Правда, когда вырасту большая, я буду вести совершенно иную жизнь, не похожую на жизнь других людей. Мне, например, очень хочется уехать в Америку, сдать там экзамен на капитана, получить в команду какое-нибудь судно и отправиться путешествовать; ну а человеком самобытным — совсем себя не воображаю. И все-таки, после этого разговора, предо мной точно что-то светлое, радостное, хорошее открылось; а слова — «надо послужить на пользу общества», — которые мне сказала Ал. Ник., я никогда, никогда не забуду. Ведь я читала, что римлянка 14 лет надевала тогу и делалась полноправной гражданкой; а у нас когда это право получается? — В 21 год или когда замуж выйдешь. Странно!..

1889 год

1 января

С Новым годом! С новым счастьем! Странно говорить «с новым счастьем», как будто каждый новый год приносит его с собой; тогда как с каждым годом все чаще и чаще случаются «новые» несчастья…

Встретили мы Новый год так, как, вероятно, ни одна семья в городе… Вечером я пришла в спальню мамы и сказала, что уже половина двенадцатого. «Хорошо, зови детей в залу», — проговорила она, лениво приподымаясь с кушетки… «В залу пожалуйте!» — растворила я дверь детской. Там стоял шум, смех и крик, было, очевидно, весело; но при моих словах как-то все притихли, бросили играть в карты и, оправляясь и как-то зажмуриваясь на ходу, потянулись в залу. Там действующие лица находились вот в каком положении: мама сидела прямо на диване, облокотясь рукой на подушку, на лице ее, как и всегда, мне почти ничего не удалось заметить, кроме усталости и желания спать; Надя сидела у стены на кресле, закрыв платком половину лица; Валя

помещалась наискось от нее на стуле; лицо у ней было опущено вниз, губы как-то насмешливо, презрительно передергивались; Володя помещался подле мамы на диване, перебирал руками пуговицы; Шурка сидел около дивана на стуле; «посадила меня мама и сижу, а то меня накажут», — говорила его поза и лицо. Я была напротив дивана. Мы все сидели и молчали, лица у всех мало-помалу начали принимать выражение какой-то заспанности, отупелости. Мама почти уже спала, но взглядывала поминутно на часы и тихо ворчала за что-то на Валю; наконец она посмотрела в последний раз на часы, было без 11 минут 12. «Вставайте!» — сказала она; мы все машинально встали. Мама перекрестилась, и мы все начали молиться; не успела я сделать и трех крестов, как раздалась команда: «Подождем, еще рано». Все опять сели; время шло быстро, осталось полминуты, и снова все встали, начали молиться; молились долго. Встала с колен мама, подошла к столу, взяла рюмку, мы все тоже. «Давайте чокаться», — сказала мама… На меня нашло какое-то отупение. Когда я чокалась с мамой, мне захотелось обнять ее, поцеловать и поздравить искренно; но, взглянув на холодные, тупые, ничего не выражавшие лица сестер, я

отказалась от моего намерения: поцеловать маму при них мне показалось невозможным. Стали расходиться. В детской я увидела сестер, вошедших туда с оживившимися лицами, — они уже исполнили тяжкую обязанность…

Эту встречу Нового года я навсегда запомню: в ней ясно отразились отношения мамы к нам и наши к маме, в особенности последнее. Всякий раз, когда мы собираемся вместе, — молчим, не понимая, для какой цели пришли. С детства и до отрочества мы были отделены от матери целым рядом нянек и гувернанток; мы не знали матери, она не знала нас. Мы не привыкли передавать маме с малых лет свои впечатления, думы и чувства; мама нас об этом и не спрашивала; позднее же сойтись было труднее. Я очень люблю маму, но никогда между нами не было разговора, как говорится, «по душе»…

12 января

Сегодня два года, как умер папа. Упокой, Боже, его душу и возьми меня поскорее. Жить здесь, на земле, мне незачем, только ссоры да раздоры поселяю в семье, а там, Господи, я хоть папу-то милого моего увижу. Боже Великий и Сильный, Боже Правый и Многомилостивый! Прости мне

грехи мои, хоть не все, всех их простить нельзя, их очень много! Великая я грешница, недостойна я, видно, милости Божией: все живу и не умираю, но смилуйся, Господи, надо мною, возьми меня к Себе поскорее!.. Вот в Евангелии и священных книгах читаю, что надо думать о спасении души; а я-то! Недавно читала в какой-то священной книге об адских муках: просто волосы дыбом встали. Царствию Божию не будет конца, и адским мукам тоже конца не будет! Я, наверно, попаду в ад за великие грехи свои и буду вечно там мучиться! Вечно! Господи, Боже! Прости Ты меня за то, что я хотела не грешить, да ничего не исполняю! Ведь если меня рассердить серьезно, так я готова иногда не знаю что сделать и с этим человеком, и с собой! А это грех страшный, великий! Надо стараться не грешить, Господи, помоги мне в этом!

Вспоминаю смерть папы; все случившееся в этот день я помню очень ясно, и все-таки мне кажется, что как будто все это я видела во сне… «Лиза, поди, посмотри папу-то», — шепотом зовет меня бабушка поздно вечером… Я вошла в комнату и увидела… Нельзя больше продолжать: надо Евангелие прочесть, — теперь час, когда умирал папа.

21 января

Боже мой! В пятницу из алгебры 3, сегодня — из физики 3. И это из тех-то предметов, по которым я в нынешнюю четверть по 5 получить хотела! Слов нет на языке человеческом, чтобы выразить мое мучение. Хуже этого, я не знаю, что может быть! Что теперь делать? Все мои планы разрушены до основания: хотела все остальное полугодие заниматься на круглое пять, всегда все уроки приготовляла, и вот! Поправиться мне в эту четверть уже невозможно; и в следующую — тоже, потому что знаю, что мне с собой не совладать. Спросят меня из физики; посмотрю я на учителя, припомню вторую четверть, и… прости-прощай твердо выученный урок: страшная злоба так и подымается во мне, я вся задрожу, забуду все и вся… пусть он говорит за меня, а я буду молчать… И из математики спросят: начну как следует, а потом — чем дальше в лес, тем больше дров, и дойду я наконец до того, что запутаюсь в ответе и не выпутаться! Вот тебе и надежды на этот год. Радуйся, Лиза, и веселись! Не для себя я хотела учиться на награду, — мне кажется это смешным, — а для мамы, чтобы ее утешить; теперь ни на какую награду совсем не имею надежды.

Одно только меня смущает: ведь если я, вопреки своему желанию, перейду без награды, то обязана для мамы кончить с золотой медалью, — а как я буду учиться? Вдруг и тут у меня будет провал? Что тогда делать?

К Ал. Ник. сегодня пристал какой-то человек с требованием денег, грозя в противном случае убить, и показал ей нож. Она, конечно, страшно испугалась, проходивший мимо господин защитил ее от этого человека. Что, если бы он мне встретился! Пусть бы он убил меня, мне все равно, я только отдала бы ему свои серьги, больше у меня ничего нет. А хорошо, если бы я его встретила! Убил бы меня, и дело с концом! И за тройку из физики мама не стала бы сердиться. Боже, отчего не посылаешь Ты смерть тому, кто ее просит? Мне смерть — предмет первой необходимости: меня не станут бранить, не заставят французских правил из Игнатовича учить, не будут из физики и математики спрашивать и тройки ставить; не будет Шкалик выговаривать, не буду я больше бояться — «вот спросят»…

10 февраля

Читаю «Исторический вестник» и даже жалею, что взяла его: зависть берет к иным людям. Вот,

например, воспоминания г-жи Головачевой-Панаевой. Сколько интереса! Сколько видела она, с какими образованными людьми находилась с самого детства! Еще ребенком она вращалась в театральной среде, потом вышла замуж за известного литератора И. И. Панаева, очутилась между литераторами. Она теперь, наверное, старуха, старше моей бабушки, а сколько она знает! Если ей с малых лет приходилось вращаться в той среде, где главное — искусство, требующее более или менее умственного развития, то как же тут не позавидуешь! У г-жи Головачевой отец и мать Брянские — артисты императорского театра, у них постоянно бывало большое общество, актеры и театралы, — есть что вспомнить, даже и с раннего детства. А потом — какое у нее бывало блестящее литературное общество! Островский, Некрасов и другие!.. А что мне вспомнить в прошлом? — В глухой провинции, ни одного интересного знакомства…

18 февраля

Сегодня умерла мамина няня. Царство ей небесное! Уже давно она хворала, но все выздоравливала, хотя и стара была — 89 лет. Многое она видала на своем веку, и все почти помнила.

Умная, добрая, славная была няня! — «Все мы умрем, да только не в одно время, — сказала Александра, — сколько ни живи, а два века не проживешь». Вот своего рода философия. Хотя я и очень редко разговариваю с прислугой, но почти после каждого из этих разговоров невольно задумаешься, как они объясняют так ясно и просто то, над чем ломают себе многие головы. У нас прислуга вся своя, нерехтская, не тронутая нынешней «лакейской цивилизацией». Вот, например, Александра, она несчастлива с мужем, но никогда на это не жалуется, ей и в голову не приходит, что можно было бы жить лучше: «ничего не поделаешь, уж на то Божья воля» — таков у нее ответ на вопрос, отчего это так, а не иначе. И с этим убеждением люди живут, родятся, растут и умирают; и нет у них никаких «почему», которые часто портят жизнь образованному человеку, и живут тихо, смирно, ничего не зная, и про них никто ничего не знает. Один Бог ведает всех людей и дела их…

19 февраля

Нет, верно, я всегда буду одна; скучно, что нет никого кругом, но я никогда не даюсь этой думе; и если бы я дала себе волю — тоска бы заела меня,

это уж я чувствую, только сдерживаю ее, — ну и цела. Теперь мне бы хотелось иногда, очень редко впрочем, с кем-нибудь поговорить, рассказать о чем-нибудь, посмеяться, и если бы была здесь А. Н. — мне бы никакой подруги не нужно было бы, потому что она единственный человек, которому я могу сказать все. О, как мне тогда было бы хорошо! Но, кажется, я начинаю «faire des chateaux en Espagne»[16]. Этому не бывать, ну и писать про это нечего.

26 февраля

Не хочется идти мне в гимназию, противны стены казенные. Поневоле возненавидишь их, когда бродишь одна в классе или в дортуаре: все холодно, мертво так кругом… Теперь, как говорится, все наши учителя «запороли горячку»: программы, повторения, билеты — все пошло в ход. Ох! Учимся, учимся, вот я, например, до 6-го класса дошла, и все-таки у меня голова — пустая бочка. Ведь как, например, мы готовимся к экзамену? Положим, сдали русский, а дня через три алгебра и геометрия. И вот, по выходе из класса, мы стараемся выкинуть из головы всю

---

[16] Примечания: 16
Строить воздушные замки *(фр.)*.

программу русского языка, чтобы снова набить ее математикой; кончится математика — вытряхивай все математическое, чтобы набить ее историческим, и так до конца экзаменов. Когда же они кончатся, то у учениц в голове получаются результаты: у неспособной — осталась в голове программа последнего экзамена, потому что ее не для чего уже было вытряхивать, и те обрывочки от программ других предметов, которые как-то успели уцелеть в ее голове; у способной — вся программа последнего предмета и обрывки программы предпоследнего, а про первые экзамены и говорить нечего, — почти что все бывает позабыто (когда забываешь — даже лучше, — в голове просторней бывает); у зубри-зубрящей все от зубрения в голову иногда заседает довольно крепко, и только, но своего они никогда почти ничего не могут прибавить к выученному. Ну да бог с ними, с экзаменами-то, ведь еще не настали!

Ал. Ник. сказала, что чахотка заразительна. Я была в восторге. Значит, стоит мне прийти к больной Лизе, поцеловаться с ней несколько раз, подольше посидеть — и заражусь. Я чуть было на стуле не подпрыгнула, но Ал. Ник. сказала, что можно заразиться, находясь постоянно с больным, и притом долгое время, а я ведь самое

долгое могу сидеть у Лизы — час!..

18 марта

Пятыми овладела бешеная стихомания: влюбляются и стихи сочиняют, сочиняют стихи и влюбляются… Дурочка Дуня и та тоже что-то про любовь сочинила, да рифмы подобрать не сумела и за ужином просит мою тетушку: «Сочини мне рифму на „ешь“. — «Горошку поешь», — говорит, а сама так и хохочет (у них горох был). — «Да нет, — кричит Дуня, — у меня в стихе: ты всех в себя влюбляешь». — «В таком случае можно: „и горошек поедаешь“»… — «А-а-а, — разревелась Дуня, — вы все надо мной насмехаетесь, я про вас классной даме скажу!» Так и не сочинила стиха Дунечка. И я, точно нарочно, вчера переложила элегию «Брожу ли я» на гимназические чувства и сегодня прочла ее в классе; всем понравилась, многие списали. После мне говорит Соня: «Лиза, милая, напиши стихи!» Думая, что она просит в альбом ей написать, — соглашаюсь. — «Да мне не то! Ты мне про меня, сама сочини, да подлиннее!» Я так и вытаращила на нее глаза: я — и вдруг стихи пишу! — «Ты ведь меня знаешь, и напиши про меня; ты так хорошо элегию переложила». Эх, не может понять человек, что перекладывать

и самой сочинять — две вещи разные. А в общем — к воспитанницам надо позвать немедля врача-психиатра.

25 марта

Подруга Соня свободно владеет формой стиха; как легко читать ее стихотворения! Всего их шесть, небольшие, в три, пять и шесть куплетов, и видно, что у Сони есть талант. Сестра Валька тоже сочиняет, попадаются иногда недурные строфы, но она еще не сочинила такого стихотворения, где бы не было ни одной неподходящей рифмы, ни одной глупости: слово «плач», напр., она рифмует «калач». А вот у меня таланта ни к чему нет, да я об этом и не думаю, и не жалею…

26 марта

Я часто воображаю себя умершей: лежит тело, моя бывшая оболочка, от которой я только что освободилась, я в воздухе невидима, но вижу и слышу все. Мое тело кладут на стол, совершают над ним панихиды, плачут (впрочем, это едва ли), кладут в гроб и зарывают в землю. Когда же зароют мое тело в землю, тогда я пойду отдавать отчет Богу о том, что я сделала в течение сво-

ей жизни… В смерти нет ни для кого разницы: умирает царь, умирает в тот же день и минуту и последний рабочий, — и души обоих одинаково летят к Богу, отдают Ему отчет о делах своих и идут потом каждая в место, уготованное им Богом… Завидовать некому: все временное; а когда сравнишь нашу жизнь с вечностью, то сделается страшно, страшно до того, что я раз чуть было не вскрикнула от ужаса, когда стала представлять себе вечность. Но сколько ни думай человек, он себе не может ничего представить бесконечным, такова природа людская, хотя и говорят «его никогда не забудут, память его вечна», но если бы действительно вздумали себе представить это «вечно» и «никогда», то никогда не представили бы. Человек не в состоянии представить себе, ужас объемлет его, когда он углубится в слово «вечно», и мы до того привыкли ко временному, что не способны стоять спокойно перед вечностью. Вот почему умирающие очень часто бывают тревожны: дух человека смущается при переходе в вечность. Только те и умирают спокойно, кто жизнь свою провел безупречно…

31 марта

Вот тебе и ученье: ведь с удовольствием бы стала рисовать, да если нет возможности. — Где это видано, чтобы ученицы говорили: «не хотим рисовать», а учитель их слушался! Господи, дай мне нож, и я зарежу его! Ведь такое зло сегодня меня взяло, искусала себе все руки, все пальцы, чтобы только сдержаться, на пол бросилась, руки стала о стол ударять изо всей силы…

15 апреля

Скоро пойдет умственная сумятица. Помогай, Господи, вкладывать всю чужую ученость в наши головы от начала исторических времен…

В Париже выставка открывается 6 мая. Вот бы поехать! Мама только головой качает: куда, говорит, с вашим состоянием тратиться! И чем больше мама так говорит, тем больше она убеждает нас жить в будущем скромно; и чем дольше мы так уединенно живем теперь, — тем сильнее мне хочется вырваться на волю, уехать куда-нибудь далеко-далеко от такой монотонной жизни. Во мне сидит какой-то бес, самый непокойный; иной раз я бегаю как сумасшедшая по всему дому,

страшно хочется мне убежать куда-нибудь, не сидеть смирно за книгой… А тут мама со своими нотациями, сестры с зубрением, горничные с книжками от лавок и Михайло со сдачей от говядины. — Эх, жизнь, жизнь…

30 апреля

Первый раз в жизни была в опере, давали «Жизнь за царя». Боже мой! Примадонна труппы поет, как немазаное колесо скрипит. А хористки, хористки! Ведь это ужас, так бы их всех без передников и наказала: с высокой прической и розетками на голове, напудрены, с подведенными глазами, с завитыми челками, у одной даже волосы распущены, и рожи, рожи! А сарафаны! На Марьице надет корсет и теперешний русский костюм, а у хористок, у всех без исключения — турнюры! Визгливые голоса хористок, скрипучее колесо Марьицы при подобных костюмах — эффект! Понравились мне мужчины, только, по-моему, Ване следовало бы не так румяниться и пудриться, а сделать бы себе лицо загорелое, более подходящее к деревенскому мальчику. Но после сцен мужчин на сцену вновь являются хористки — и прости-прощай приятное впечатление. Хохотать и злиться хочется, глядя на этих

несчастных певиц…

3 мая

Вчера был экзамен русский письменный; тема была простая: «Типы недоброжелателей науки по первой сатире Кантемира». Ее я плохо помнила, и сочинение вышло неважно. Плохи дела! И французский скверно, да и русский тоже! Ну что же делать, не реветь же из-за неудачи! Не могу не записать: одна из нас, описывая тип Сильвана, написала: «зачем учить геометрию? Наймешь извозчика, заплатишь ему деньги, повезет куда угодно!» — И это пишет 17-летняя девица! Каково? Чего, кажется, труднее связать слова Простаковой со словами Сильвана, а у нас и это ухитрились сделать. Я думаю, кости Фонвизина и Кантемира перевернулись бы в могиле, когда бы они могли слышать, как перевираются их сатиры!

5 мая

Вот сегодня ровно год с тех пор, как я начала вести заметки. Я вчера прочитала их немного сначала: смешное все такое написано… И вот год. Ничего дома не переменилось, ни одной

вещицы, порядок, день — все те же, что и вчера и прошлый год были! Я читала дневник Полевого (1837–1838); он в конце концов восклицает: «Что за жизнь! Это жизнь?!» И действительно, ему можно воскликнуть так, у него жизнь была каторгой работы журнальной. А мне отчего не сказать: наше житье отчасти и не жизнь, а что-то среднее между спаньем и едой; впрочем, этому я уже давно перестала удивляться.

Валя просила разбудить ее сегодня в два часа ночи, она никак не может выучить билетов из географии. Я, ложась спать, должна прийти к ней в комнату и разбудить ее, и для этого она вечером сунула мне в щелку двери следующие стихи:

Тебя, о Лиза, умоляю!
Я географии совсем не знаю!
Когда моя дражайшая Надюшка
Прекрасным крепким сном заснет —
Сейчас же мягкая подушка
И одеяло на пол перейдет.
Лишь только все угомонятся
И дрыхнуть станут, как сурки, —
Тогда ты можешь и подняться
И в нашу комнату взойти.

И вот, вся в черном или в белом,
Тихонько дверь ты отомкни,
Одним толчком, толчком лишь смелым
Меня ты, соню, разбуди.

Теперь сиди до двух часов, чтобы Вальку разбудить, а мне спать хочется…

13 мая

Вчера днем, помолившись в часовне, иду в гимназию переулком, а мне навстречу трое нищих — просят денег. Сперва я отказала, но потом нагнала их: «У меня нет денег, хотите взять мои сережки?» — «Давай, давай, матушка», — был ответ. Сама не помню, как отстегнула и сняла серьги — бабушкин подарок — и положила в руку одной старухи. «Они золотые», — сказала я ей и поскорее ушла вперед. Какое-то странное чувство испытывала я, когда ушла от них; определить это чувство я не умею, но оно с такою силою всю меня охватило, что я даже разозлилась. Отчего это бывает?.. Отсутствие серег моих никто не заметил, пока никто ничего не знает.

15 мая

Вчера похоронили Лизу… умерла от чахотки. Упокой, Боже, ее душу! Последний раз я ее видела в марте, и тогда уже видно было, что недолго ей жить, что она уже «не от мира сего», так странно говорила и смотрела, — рука, как палочка, самая тоненькая. Лиза, Лиза! И умерла-то ты среди казенщины, и никого близких при тебе не было. Говорят, что ее хорошо похоронили наши, много плакали; это немудрено: хорошая, славная была она. Досадно, что я не была на похоронах и даже не знала, когда она умерла! Надо как-нибудь летом собраться на кладбище, узнать, где она похоронена. Вот, мы на земле остались и экзамены держим, а Лиза-то ведь где теперь? Теперь она знает все, все, что на земле делается; ведь она жива, да только не здесь.

Я себе смерть так объясняю: живет человек, думает, говорит, все его действия мы видим; умер человек, т. е. вылетела от него душа, — и тело не движется, лежит. А душа-то ведь все та же. То, что мы называем «я», всегда будет живо и никогда не умрет; «я» это не эгоистическое выражение; по-моему, «я» это — сама душа, одушевляющая тело. Когда мы повторяем «я» несколько раз кряду

и смотрим в то же время на руки, ноги, плечи, — мы чувствуем, что не это, не это наше составляет «я», а что-то такое внутри нас, и что «я» только заключается в этой оболочке. Посредством «я» мы чувствуем, ходим, говорим, — словом, проделываем все то, что проделывают и все люди; но нет «я» — и мы ничего не можем сделать! Посредством «я» совершается все лучшее и все худшее в мире: «я» властвует над другими, «я» разрушает царства, города, истребляет народы. И вот, смерть извлекает «я» из тела, и какие бы великие дела ни творило бы «я», — все-таки тело его беспомощно, и оно уже не может действовать без «я», а это «я» отдает отчет Богу о своих делах и поступках. «Я», живое, вечное из вечных, живущее частью на земле — в теле, а частью в небе, — освобожденное от тела, часто приводит меня в ужас. «Я, я, я», до бесконечности живущее!

О, Господи Боже, как ничтожен человек пред этим вечным живым «я». Великий ужас объял бы человека, если бы он непрестанно помышлял о вечности этого «я» и сознавал бы вполне, что его «я» когда-нибудь освободится от тела. Это такой страх, такое чувство собственного ничтожества, что пред ним бледнеют самые жестокие муки, потому что «я» вечно, а земные мучения времен-

ны. Смерть — освобождение «я» от зла; я знаю, что «я» живо, никогда не умрет; что когда-нибудь мое «я» увидит в другом мире и это «я». И вот, странное чувство возбуждает во мне вид мертвого тела: другие плачут над ним, как будто человек и действительно умер, я же вижу только в теле ту оболочку, в которой «я» жило на земле; а так как «я» сохраняет все свои способности и познания, приобретенные на земле, то его-то и следует признавать собственно человеком, а тело только его оболочкой. Раз «я» живет вечно, то, следовательно, и человек не умер, а только «я» оставило тело. Поэтому-то мне и странно, при виде этой оболочки, лежащей в гробу, — видеть слезы об этом человеке: плакать можно только об «я» и просить Бога простить ему его согрешения, вольные и невольные. Вот и Лиза, ведь она живет теперь, но только в другом месте; и я когда-нибудь увижу ее и узнаю, каково ей.

Вчера, когда я узнала, что она умерла, я пошла поскорее к себе, помолилась и открыла Евангелие наудачу, чтобы потом истолковать то, что откроется. И открылось мне: Евангелие от Иоанна, глава 11-я, стих 26: «И сверх того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также

и оттуда к нам не переходят». После этого я еще два раза открывала Евангелие, но не попадала на более подходящее к смерти. Сейчас я открываю вновь Евангелие: от Иоанна, глава 16-я, стих 25: «Но Авраам сказал: Чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое от жизни твоей, а Лазарь злое; ныне же он здесь утешается, а ты страждешь». Как истолковать эти слова?

Лиза, Лиза! Вот и меня тоже зовут Елизаветой; и, молясь — упокой, Боже, душу новопреставленной рабы Твоей Елизаветы, — воображаю: так и надо мной будут читать молитву эту, петь заупокойные стихи. Господи, тогда-то мне хорошо будет!

Лиза, Лиза! И зачем только ты умерла?! Если бы я плакать умела, я бы не по-человечески заплакала, но плакать я не умею, как по-настоящему плачут. Вот злиться — умею, до того, что всех, кто разозлит, могу зарезать; руки себе до синяков кусаю и перочинным ножом режу, если разозлиться явно невозможно…

25 мая

Завтра экзамен «физичный», и последний. Да,

дела!.. Сегодня от тети[17] получено письмо из Берлина с 2 марками, по 10 пфеннигов каждая; и я не только не могла узнать содержание письма, но даже мне не позволяли взять хоть одну из заграничных марок. Дверь мамаши моей заперта сегодня… и подумаешь — из-за чего? — Только сказала маме: не проходи, пожалуйста, через мою комнату, надо ведь заниматься! Мама дошла до двери своей комнаты и через минуту же, точно маленькая, снова к двери. Тут уж я не вытерпела: так, мама, и учиться невозможно! И что же? Дверь в мамину комнату, прежде бывшая лишь приотворенною, — с шумом захлопывается на задвижку и уже весь день не отпирается. И чего-чего только к этому случаю не было пристегнуто: и что-то о манерах, и что-то о благодарности, и что-то о пирожном, и «я тебе покажу, что ты должна слушаться», на что я, помню, тихонько ответила: «пожалуй». В результате, конечно, брань, и уже не «дрянь-девчонка», а нечто посильнее, похуже и вообще для человеческого достоинства пооскорбительнее… Действительно, я могу быть ну хоть дрянью, но тем, чем Бог со-

[17] Примечания: 17

Евпраксия Георгиевна Оловянишникова (1851–1925) — жена ярославского купца и промышленника Ивана Порфирьевича Оловянишникова, после его смерти возглавившая семейное дело.

творил не людей, а свиней, и даже вообще никого не сотворил, — я не могу быть не только по законам человеческим, но и по закону природы. Я не слыхала от мамы и таких слов, и таких поступков уже давно, и странно, что ничего мне от этого не сделалось: все слушала спокойно, точно не мне говорят. А коли отвыкнешь от таких сцен — трудненько ведь к ним потом привыкать…

Завтра физика. Как-то придерется ко мне физикант: на все его вопросы и придирки я в нынешнем году торжественно молчала, за что получала аккуратно каждый раз 3. Я нахожу очень странным привычку человека спать ночью: сон пустая трата времени. Вчера я до четырех с половиною часов утра сидела, — и физики 10 билетов выучила, и целую книжку «Исторического вестника» прочла. А сегодня почему-то спать хочется. Делал бы человек дело день, делал бы его и ночь, да спал бы всего два часа; вот тогда и к экзаменам удобно было бы готовиться. Бьет уже 11 часов. Пора заниматься…

26 мая

Ура! Перешла в 7-й класс!! У меня всего две четверки экзаменационных, а на остальных 5. Про годовые — не говорю, потому что… Какая

суета, гам, шум, крик, возня — словом, все то, что мне так нравится, что я так люблю в гимназии. Каждая после экзамена бежала в дортуар укладываться: снималось казенное белье, передники, так что те, которые уходили сегодня, надев для приличия только казенное платье, были совершенно декольтированы и сидели на кроватях.

Я бродила, бегала взад и вперед, наблюдая воспитанниц. Вот идет одна из них, остановилась, вздохнула и говорит: «Слава богу, теперь и последние сдали, больше нечего уже бояться, совсем свободны; слава Тебе, Господи, слава Тебе!» — и начинает усердно класть земные поклоны перед висящим на кровати образом. Рядом с ней, вся обложенная вещами, на коленях перед раскрытой тумбой другая; третьей платье портниха принесла; та затягивается в корсет, надевает его, кругом с любопытством смотрят… Все больше и больше приходят с экзамена, вот наконец пришла и последняя. Теперь собралось судилище; сидим, толкуем. Вдруг вошла Людмила Иосифовна с листком фамилий и баллов, мы все бросились к ней, заорали, зашумели; я кричу — мне сколько? — «Пять!» Я разинула рот: у меня годовой 3, а на экзамене 5! И подпрыгнула от радости! Самый трудный для меня предмет сошел так прекрасно!..

Все бегают, смеются, я душила и тискала Маню… Кто-то сказал: «mesdames, ведь мы — седьмые, понимаете ли вы это?» Я только тут сообразила: ведь действительно седьмая! И все очень дивятся моим баллам: из физики, кажется, единственный в классе контраст, «поразительный», прибавляют восьмые. «С тобой, Лиза, мы уравновесились», — сказала мне П-ая, получившая три на экзамене. «Да, так давай уравновесимся и в 7-м классе: ты ведь будешь бить на золотую, хотя мне это совершенно все равно, у меня „честолюбия“ нет…» Господи, как приятно теперь. Экзамены кончены, на душе так легко…

31 мая

Для развлечения я теперь придумала написать, как я провела год живущей в Сиротском доме; — положим, это будет смахивать на «воспоминания», ну да ничего: ведь я не покажу своей тетрадки никому, а писать для себя совсем не грешно.

4 июня

Сегодня умер Иван Данилыч, наш хозяин. Царство ему небесное! Старый друг его, Иван

Антоныч Котласовский, часто бывал у него в последнее время и теперь бегает и плачет: последнего друга своего хоронит. Переходя двор, подошел он к окошку нашей передней, где были мы все, и когда мама выразила ему свое сожаление, он только сказал: «Все кончено… послал телеграммы везде…» — и старые голубые его глаза были совсем красны, и голос дрожал… Жаль его… Жил человек — и умер; «окна мелом забелены; хозяйки нет»[18]. А я ни на минуту не подумала об Иване Данилыче, надеясь, что не умрет.

Снились мне сны в эту ночь, и преглупые сны. Один такой страшный, я даже закричала: снилось мне, что лежу я на постели у самой двери моей комнаты; а за дверью стоит кто-то и просит у меня ключа от двери (она заперта), чтобы повеситься на моей стороне двери на продолговатой формы задвижке. Я ключа не даю и держу у себя под одеялом; и знаю, что этот кто-то не может у меня ключа отнять, потому что дверь заперта; а кто-то все просит и умоляет дать ключ. Наконец кто-то говорит: «А, ты не даешь, — сама достану…» — и начинает дергать дверь и даже хочет просунуть пальцы сквозь щель ее, чтобы

[18] Примечания: 18

Цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина: «Закрыты ставни, окна мелом / Забелены. Хозяйки нет».

отодвинуть задвижку. Боже, я испугалась и закричала… Проснулась — слышу, бьет 5 часов. Снова заснула.

И снится мне вновь, будто на море большая буря, я спасаю и собираю вещи какой-то немки, которую очень люблю; тружусь без устали и вдруг попадаю в дом, где все Дьяконовы. Как только я вошла в дом, мне тотчас дали жену; на ней черное платье и цепочка вокруг шеи от часов. Она меня будто бы любит, но вся эта масса жен и мужей интригует, сплетничает и наговаривает друг на друга; между ними есть какой-то старший, но я чувствую себя очень свободно, он оказывается моим мужем. Когда я иду мимо темноватой комнатки, кто-то из мужчин говорит мне: «у твоего мужа десять любовников: Мен, Лен, Зен, Пен…» Я останавливаюсь, ошеломленная вестью об измене мужа… и проснулась… Я помню все, что снилось, так ясно и ярко, точно все ощущения были наяву.

Странно. Ну и снится же такая чепуха! Не знаю, что и вздумалось мне записать эти сны, нелепы и дики они…

Я так думаю, что это от цветов: третьего дня я купила на бульваре два букета каких-то ночных фиалок, полевых цветов с сильным запахом, и

вторую ночь ставлю их около своей подушки.

15 июня

Ровно через два месяца будет рождение моей собственной особы: 15 августа и 15 лет! Чем больше — тем лучше: значительное количество лет внушает уважение и почет к своей особе других личностей, а этого должен желать каждый. Как бы мне хотелось умереть именно в этот день, ровно в 6 часов утра, когда я родилась, и если бы кто-нибудь прислал ко мне смерть на этот день и час, то сделал бы мне самый лучший подарок на рожденье. Но чего хочется, того всегда долго ждать приходится, это я замечаю уже давно. Вот хочется умереть, а жди, когда сама смерть придет; хочется книги — жди, когда пришлют из библиотеки; хочется платья — жди, когда материи купят и сошьют. Хуже всего, что смерть не идет; если бы можно было крикнуть: «эй, ты, пошла сюда, тебя мне нужно!» Хорошо было бы, а то — все жди…

27 июня

Год назад — поехала в Нерехту. От времени моего пребывания там остался дневник, писанный карандашом на четвертушках бумаги; я как при-

ехала оттуда (8 июня), так его и не развертывала, надо будет как-нибудь рассмотреть[19].

1 июля

Ну день! Сестры довели Александру Николаевну до отказа, и этим заставили маму унижаться, просить у нее, как милости какой, остаться, как будто мама сама была гувернанткой и просила не отказывать себе от места. Это гадко, мерзко, низко! Я, будучи на мамином месте, так унижаться бы не стала, а на детей обратила бы побольше внимания; а то у нас все на словах: и исправление, и старание, и все такое, а действием мама никогда не поучит хотя бы Надьку, упрямейшее существо в мире…

2 июля

Читаю я свой дневник и вижу расписание каждого дня. Это глупо, уж лучше совсем ничего не писать, чем каждый день одно и то же.

Я читала где-то, что если намочить платок эфиром и вдыхать его, то человек получает странные ощущения. Ложась спать, я и хочу сейчас

---

[19] Примечания: 19
Этой части дневника не сохранилось.

испытать это: помочу платок и лягу в постель. И эфир у меня, кстати, есть, его я вчера купила для задушения насекомых.

А-а, так ты не можешь, у тебя духу не хватает… Так будь же ты проклята трижды, проклятое создание!

4 июля

Прекрасная мысль пришла мне, когда я с мамой провожала Толгскую Божию Матерь: когда окончу курс в гимназии и если мама не согласится на дальнейшее продолжение моего образования, — я поступлю в монастырь! Чем дома жить да небо коптить, уж лучше служить Богу, тем более что меня в семействе ничто особенное удержать не может. Лучше монастыря и быть ничего не может, я теперь все о нем думаю. Вот какие иногда прекрасные мысли в голову приходят, и совершенно неожиданно.

8 июля

Горничная сказала мне, что сегодня за обедней в монастыре будут постригать монахинь, двух кажется. Я решила непременно идти туда: ведь, может быть, когда-нибудь и я буду так же по-

стригаться, отчего же мне и не посмотреть? Но, однако, ничего не было…

Досадно, что наследник покойного Ивана Данилыча вздумал подарить довольно порядочное количество его книг, между прочим Белинского и Тургенева, старушонке, верхней квартирантке, которая их никогда и в руки-то не возьмет! Гораздо лучше — продал бы их маме; новых книг она никогда не покупает, а по случаю купила бы.

9 июля

«Ах, какие у вас манеры!», «Вы не умеете держаться!» — терпеть не могу я этих восклицаний Ал. Ник., не понимаю их, ибо легче мне просидеть над физикой три часа и выучить десять теорем, чем понять; восклицания эти для меня совершенная terra incognita[20]. Человек идет по улице, кланяется, разговаривает, а про него говорят: «манеры хорошие, хорошо себя держит». Подавание руки, разговор, походка — все это имеет ведь свои названия, а в общем называется «манерой держать себя», так, что ли? В таком случае это похоже на сложение: каждое число имеет отдельное название, а сумма их — другое, так, что ли?

---

[20] Примечания: 20
Неведомая земля *(лат.)*.

Слова эти даже неудобны, но без них почему-то не могут обойтись как отцы, так и матери, как гувернеры, так и гувернантки; других, я уверена, нет совсем в мире…

12 июля

Ал. Ник. начинает говорить мне дерзости, и я насилу удержалась, чтобы не назвать ее как-нибудь: слишком уж далеко начинает заходить. Если после первого июля роль мамы по отношению к ней переменилась, однако — кто в ком больше нуждается? — Мама платит ей 30 рублей в месяц, а у нас гувернантки, знающие иностранные языки, получали 25 рублей, и если она откажется — ей скоро такого урока не найти, 30 же рублей в ее семье большие деньги…

Эта изящная барышня, образец прекрасных манер и деликатного обращения, говорит дерзости своим же воспитанницам, зная, что мы не можем ей отвечать тем же, защищаться, и выходит похоже на то, что самый большой человек бьет маленького невинного ребенка. Так поступать нечестно или, иначе говоря, — не по-рыцарски. Вообще, наш «образец» во многих случаях является «образцом нечестным, образцом на шпильках, но сверху прикрытым одеянием хороших манер

и изящества». Нечего сказать, хорошо! А еще мама говорит: «бери с Ал. Ник. пример!» Очень благодарна, но брать пример с таких «образцов» в отношении их дерзостей и оскорблений младших я никогда не буду. Вот тут-то и показывает себя человек!

19 июля

Сегодня я одно выражение Ал. Ник. сравнила с выражением пьяного мужика и сказала ей. Поделом! В другой раз так не заговорит. Вот и благородная барышня! Виден человек во гневе своем: изящество наружу, а колкость и дерзость внутри!.. Теперь она будет молчать и говорить только «прощайте» и «здравствуйте». Это очень скверно, я терпеть не могу, когда так говорят, но не извинюсь, не извинюсь. Никогда до нынешнего года я не писала и не думала о ней ничего дурного, а тут и пишу и думаю самые нелестные для нее штуки. Что делать — пишу правду! Защищаться младшему от старших всегда необходимо; я ведь уже в 7-м классе, мне скоро будет 15, а ей 22 — это почти одно и то же, — следовательно, она, да и никто, безнаказанно мне дерзости говорить не может. Вообще, я не мямля, не ребенок, а совсем взрослая женщина! Дома думают: «ты

— точно малый ребенок, любишь бегать, играть». Но, боже мой, разве взрослые женщины не играют и не бегают, когда соберутся между собою?! Это ведь не грех…

24 июля

Читала я сегодня вечером хороший роман Линева «Исповедь преступника». Если бы не предисловие, право, подумала бы, что все это выдумано, — до такой степени все странно, неожиданно и необыкновенно в этой исповеди. «Бывают же на свете люди, с которыми случаются странные вещи!» — где-то я прочла это выражение, и оно удивительно подходит к автору романа: все — романично и все — правда!

31 июля

Были за службой в немецкой церкви. Внутренность ее представляет продолговатую комнату, на одном конце округленную, и там стоят иконы, изображающие распятие Иисуса Христа, Тайную вечерю, и еще по иконе справа и слева; по сторонам длинные, снежно-белые скамьи; на стене висит черная доска с написанными белой краской цифрами. И все. Ни одной иконы более,

ни одной зажженной лампады; все тихо, уныло, казенно… мертво как-то! Когда мы вошли, — пастор стоял в особой пристройке, наверху стены, под балдахином, и говорил своей пастве с жаром, жестикулируя, иногда взглядывая в книгу. Усевшись на одну из задних скамеек, я внимательно слушала, о чем он поучал своих прихожан, и поняла-таки суть его речи: любовь к Богу, любовь к ближнему. Говоря о вере в Бога, — он указывал себе на сердце, и еще чаще стал повышать и понижать голос. Сказав в заключение обычное «Amen», пастор сошел вниз. Еще в середине его речи заиграл орган, и все сидящие запели хором; я так и замерла на месте, услышав это пение: до того тихо, стройно и звучно раздавалось оно под сводами церкви. Господи, как хорошо!.. Вскоре пастор подошел к столику перед иконой Распятия, который, очевидно, заменяет алтарь. Со скамейки сошла одна немка и, приблизившись к столу, стала перед ним на колени. Началось чтение по книге, вперемежку с пением и органом, потом орган заиграл надрывающий душу похоронный напев, и пастор, взяв со столика облатку, подал ее женщине; затем чашу, и дал ей пить. Это совершалось причащение. Мне даже стало страшно: по их понятию Дух Святый нисходит

на эти Дары, они причащаются и думают, что Бог принимает их службу. Жалко их! Ослепленные люди!

…Что будет через месяц? Великий Господи, сделай так, чтобы я умерла в этом августе! Ведь тоска, как подумаешь, что через месяц будешь одеваться, собирать книги, будут ходить учителя — фу-уй! Умирать время: довольно, кажется, жила, и хотя настоящей жизни не видала и ничего не знаю, но умереть все-таки мое первейшее желание. Настоящая-то жизнь — там, у Бога, и мы живем на земле пресмыкаясь.

13 августа

К вечеру вдруг сверкнула молния, но грома нет, и теперь, когда пишу, разразился ливень. Кругом темно, все стихает, и в природе разливается какая-то теплота… Еще 33 часа, и мне 15! Давно мне хотелось, чтобы цифры совпали, и наконец-то. Скоро время идет, и пусть идет оно быстро-быстро, не давая ни минутки нам назад оглянуться, чтобы подумать о прошлом, — все это глупости одни. О, была бы моя власть, было бы время действительно в образе старого старика, — я бы крикнула на него: ну, скорее, время, скорей, беги, беги, не уставая, быстро, вперед, не давай никому

раздумывать!.. — И бежало бы время, чем быстрее — тем лучше, тем ближе к смерти, к могиле.

Тетрадка кончается; напишу для конца что-нибудь о «кончине». Это было 7 лет тому назад; гувернантка у нас была Зинаида Андреевна. Было дело летом. З. А. сидела на складном стуле около беседки, держа в руках «Московские ведомости»; я стояла, опершись локтями на ее колени, и слушала, как она начала рассказывать горничной: «В одном селе упала с неба бумага, и будто бы эта бумага кричала: „вы все грешники и недостойны меня поднять“. Тогда нашелся один праведник, который ее поднял и прочел, что через семь лет будет кончина века». Тогда, помню, я подумала: через семь лет… мне будет уже 14… и эта цифра показалась мне огромной. За весь этот семилетний промежуток я иногда вспоминала об этом рассказе и считала, сколько лет осталось до кончины века. И вот — до сих пор ее нет. Экую, подумаешь, глупость люди выдумают…

15 августа

Вот, наконец-то 15-е! Цифры совпали! Недаром мне так хотелось 15 лет! Весь день прошел очень приятно. Подарила мне мама золотую браслетку с якорем и сказала: «Как этот якорь крепко при-

креплен к браслетке, так и дочь моя пусть любит крепко маму».

16 августа

Завтра молебен и, значит, — ученье… да что про него толковать, скучно. А нынешний год обязательно надо бы учиться; впрочем, я это давно знаю, следовательно — нечего и писать. Так и чувствуешь уже учебную обстановку, даже кажется, что Ал. Ник. на фотографической карточке строго смотрит на меня и говорит: «Ну-с, вы приготовили эту теорему, а там посмотрим несколько задачек». Этот год последний; дай Бог всего хорошего.

20 августа

Вчера был молебен… У отца Клавдия и о. диакона новые ризы, золотые с серебряными крестами. Еще две иконы на подставках по сторонам Царских врат тоже новые. Завтра ученье…

21 августа

Не грех ли для начала года
Так глупо время убивать?

Пробило 8 часов, Михаил открыл ставни, и тусклый свет дождливого дня как-то лениво проник в комнатку, скользнул за ширмы и тем заставил открыть глаза мою милость. «Ну-с, — подумала я (и едва не сказала вслух), — а ведь сегодня надо…» — и, взглянув на висевшее напротив форменное платье, принесенное еще с вечера, не докончила своей мысли: чего ж тут размышлять? Обряд одевания моего затянулся долго: день был скверный, лил дождь, все было как-то лениво, отчего же и человеку в такой день не полениться одеться быстро?

Вышла я в столовую, наскоро выпила чаю или молока и, взяв зонт и «календарь для учащихся», — быстро пошла по дороге к своей гимназии.

Двери были отворены, и на вешалках в передней висело уже множество шляп и одежд; Степан сидел на ларе и курил. Взбежав по лестнице, я прошла через залу и отворила дверь седьмого класса. Там слышался смех, болтовня и шелест сшиваемых новых тетрадей из казенной бумаги; некоторые из воспитанниц доканчивали очень полезную придуманную ими шутку: в крышку столика вбиты были четыре гвоздя, и на них крестообразно обвивались нитки; пространство между нитками и крышкой служило вместо

портфеля для вкладывания бумаги, тетрадей, нот, писем и т. д. Поздоровавшись со всеми, я, как деловой человек, осведомилась о новых книгах. — «Пиши, — сказала Оля, — таблицы логарифмов и руководство косматой географии Малинина и Буренина». Я записала буквально ее слова. «Да ты смотри, не спроси так в лавке по рассеянности, ведь могут тебе дать „косматую“ географию!» Кругом засмеялись. Я окончила записывать, больше делать было нечего, и я решила идти домой… — «Нет, не пойдете!» — вдруг вымолвил Шкалик, встретив меня в зале. Оторвавшись на минутку от журнала, он удивленно глядел на меня: «Оставайтесь здесь». «Неужели до 4?» — перебила я ее, совершенно недоумевая. «До тех пор, пока Надежда Ивановна не разрешит», — был ответ. «Не пустила», — возгласила я, вернувшись в класс.

Вошел Шкалик. «Приходящие будут здесь, а вы уйдете домой на завтрак в 12 часов, и чтобы в 2 часа опять прийти сюда». — «Зачем?» — «Да что вы, поглупели, что ли, за лето? — накинулась на меня Александра Андреевна, — ведь придут же учителя, а если их нет, то все же вы должны сидеть и ждать!» И рассерженный Шкалик убежал к своему безответно-покорному стаду — третьим.

Вот и сиди! Старая история.

Вскоре наши достали расписание и торжественно внесли его в класс. «Понедельник. Первая — математика, вторая — история, третья…» — раздался громкий голос читавшей, покрываемый удивленными восклицаниями остальных. Работу прервал звонок, напоминавший час моего освобождения, и я убежала без оглядки домой. О близости двух часов я не беспокоилась: еще вчера сказали нашим, что Гор-ев не придет, будет пустой час, и опоздать теперь минут на пять — не беда. Взяв с собою книги, грязною дорогою я дошла до гимназии, но, переходя перед ней улицу, запуталась в грязи, чуть не упала и с трудом наконец добралась до крыльца. Быстро прошла я в залу, где царствовала та зловещая тишина, по которой можно всегда угадать, что идет где-нибудь урок. — «Да ведь у вас Гор-ев!» — сказал мне кто-то. — Неужели?.. и, скромно войдя в класс и поклонившись учителю, я села на свое место. Гор-ев говорил о добром сердце Карамзина и, вероятно, от гордости, что он преподает в седьмом классе, — как-то особенно, кругообразно вертел бровями и так моргал глазами, что я подумала, не сошел ли он с ума. Толкуя долго и много о Карамзине, он навел на большинство скуку, но я

слушала внимательно, потому что хотела выучить без записки, в чем и успела. По окончании урока Шкалик вновь набросился на меня. — «Вы почему опоздали? Я вам в поведении сбавлю, а в следующий раз будете оставлены на час. Вы думаете, что седьмые, так на вас и управы нет!»

Произошла опять путаница в расписании; мы стали ждать французского… Учитель не являлся, я присоединилась к нашим, и мы болтали о пустяках до 4. Уже будучи на улице и сообразив, как и что было, я вспомнила очень меткие стихи аркадского принца:

Не грех ли для начала года
Так глупо время убивать?

Да, правда, и это потерянное время воротить было совершенно невозможно…

23 августа

Разбираясь у мамы в книгах, я взяла себе несколько прекрасных французских книг, и между прочим «La vie de Iesus par Ernest Renan»[21], страшно обрадовавшись этой находке. Но мама тут как тут: пришла, увидела и взяла, сказав, что

---

[21] Примечания: 21
Ренан Э. «Жизнь Иисуса».

рано читать! Но ведь мне уже 15 лет! У меня все-таки остались: «Эмиль» Руссо, «Коринна» Stael, «Приключение Телемака» Фенелона, Жюль Верн — все в оригиналах; эту книгу я как-нибудь после отыщу у мамы…

29 августа

Э, да я, кажется, 6 дней не писала? И хорошо, а то к чему каждодневные скучные строчки. Начала посещать свою «старую дуру». Действительно, чем наша гимназия не «старая дура»? Там все из ума выжили, начиная с начальницы и кончая швейцаром. Надежда Ивановна благополучно допускает всех дочек своих к наградам и золотым медалям, отнимая их у других воспитанниц; шьет своей любимой Наде платья, очень мало заботясь о других живущих, их поведении и учении; говорят (и подтверждают), что она берет подарки и покровительствует кое-кому…

Шкалик злится, бегает, наказывает, суется везде и не в свое дело, преподает французский язык, а сам не умеет передать легонького рассказца на этом языке; говорят (и подтверждают), будто бы пить иногда любит, — что именно — каждый может догадаться… Другая классная дама П*** разделила свой класс по поведению на «мрамор-

ных, золотых, серебряных, тряпичных», кажется, «медных» и дала каждой из них подчиненную младшего класса, «дочку», приказав ей звать ту, которой дана, «мамой». Mais que-ce que c'est donc?..[22] Дюсет скверная подражательница двум первым: ругается, толкается, кричит — словом, совсем не то, чем должна быть воспитательница… «Машка дура» — ходячая глупость и простоватость, ее проведет всякая приготовишка, а глупа до того, что подобно Жене Д-шевской играет иногда в мячик с мальчишками; и вовсе не по педагогическим взглядам об участии воспитательниц в детских играх, а от своей глупости… Ну, могут ли все эти быть воспитательницами здравомыслящих русских молодых девочек?! Четыре других… — все молоды, невесты, шумят и смеются, — нужно ли их слушаться?!

О преподавателях не говорю. Русская словесность — по запискам, остальное все по книгам; ни живой мысли, ни живого слова! Учитель физики, объясняя новый урок, когда касается дело геометрии, поспешно объявляет, что это дело учителя математики, а не его. Урок от этого делается менее понятен, но зато «физик» не при-

---

[22] Примечания: 22
И как это понимать?.. *(фр.)*

бавил себе лишнего дела, которое принадлежит «математику». Все предметы, по-моему, должны находиться в связи между собою: русская словесность, славянский язык, история и география; математика, физика, космография и география; французская литература, французская история; Новый, Ветхий Завет, катехизис; история Русской и Вселенской церкви обязательно со всеобщей и русской историей и географией. Вот тогда была бы действительная польза; тогда часовой урок мог бы обратиться в двухчасовой, все бы стали стараться знать, чему их учат. Теперь же — каждый предмет сам по себе, и когда пришлось раз Гор-еву в пятом классе, по поводу басни «Гуси», спросить — в котором году был спасен Рим, по какому случаю, с каким народом велась война, — все молчали, а учили недавно. Эх, никто ничего не понимает, замечать и знать не хочет…

Наконец — Степан, старик-швейцар, целые дни ругается с дочерью, чуть ли не дерется с ней, невежа, никому из учениц не подает пальто…

И вышла гимназия «старая дура».

8 сентября

Вызвали вчера из космографии, я очень плохо отвечала; хорошо, что меня прервал звонок. Да!

говорят, что физика и космография легки (в этом по традиции убеждены воспитанницы) и из них получали 5, а я рискую «два» получить и провалиться… А еще твердят: золотая медаль! Где мне! Вот подавайте мне терпения, прилежания, хоть по $^1/_2$ фунта на каждый день, да еще сделайте так, чтобы и урок мне всегда нравился, — тогда, наверное, медаль будет; ну-с, а без этого — прошу не взыскать: если не понравится урок, я и читать его не стану… Вообще, все уроки нужно учить только перед классом: тогда память свежее будет.

14 сентября

Была вчера у всенощной: всегда почему-то мне за ней вспоминается Лиза, — где она теперь? Почему, несмотря на все могущество знания человеческого, никто в мире мне об этом сказать не может?! Где она, Лиза, с которой так часто я встречалась, смеялась, шалила, — и теперь? Каково ей и когда я уйду туда же? Боже мой, если бы, вместо ученых трактатов о земном, человек знал бы хоть что-нибудь о будущем, небесном, — было бы в миллион раз лучше… Где она?!

17 сентября

Вот смешно: Ал. Ник. попросила меня подготовить из французского во второй класс ее Зину. Мне — и вдруг учить! Чтобы меня поучить — это с удовольствием, но самой учить — даже и во сне не снилось. Правда, лет шесть тому назад я учила «всем предметам» и усердно объясняла правила арифметики (быть может, потому, что я их сама плохо знала) своей кукле, но то было уже ох как давно! С тех пор у меня совершенно пропала охота заниматься педагогикой; я не чувствую к этому делу ни малейшей охоты… А если я живого человека в педагогическом жару побью немножко? Ведь я люблю, чтобы понимали сразу, и когда сестры просят вторично объяснить — всегда молчу…

30 сентября

Вот и 5 из космографии, хотя урок прочитала только один раз и с первой лавки подсказали величину солнца. Да-с! Дела-то, очевидно, к «золотой» подвигаются: из русского — 4, из арифметики спросят — 2 обязательно получу. Боже, у нас один «русский» учитель, и мы не знаем, как

от него-то отделаться, а в 8-м кл. целых 3: один — русская литература, другой — русский элементарный и третий — педагогика. И разве может мужчина читать и разуметь педагогику? Ведь ее знают только мамы, да и то далеко не все. Когда же настанет то прекрасное время, когда во всех женских учебных заведениях не будет видно ни одного синего фрака? Когда же наконец женщину станет учить женщина? Ведь так гораздо лучше: к мужчине не со всяким вопросом обратишься, с ним все-таки не свободно, да и ему не всегда ловко; с женщиной — дело другое. О господи, уж если мы до такого времени не доживем — пусть хоть внучки наши не увидят в своих заведениях синих фраков… Исполни мое прошение, Господи!

12 октября

О, Боже мой, если бы Ты мне помог на самом деле сделать то, что мне так хочется! Мы не можем служить и занимать важные должности, но есть одна область, где не нужно мужчин, а где все дело должно принадлежать женщинам… Но для этого надо мне еще шесть лет ждать… Долго! Долго!..

Соня пишет роман в прозе «Погибшая молодость». Я не читала его, но, судя по заглавию, кажется, похож на те малоизвестные романчики,

вроде «Восходящая дверь» или «Мертвецы мстители», которые наполняют ежемесячные книжки малораспространенных журналов. И стихотворения ее отсылать в редакцию пока нельзя: новые, без сомнения, будут гораздо лучше. А у меня «Четвертый класс» еще не двигается: потеряла тетрадку, но мама сегодня пришила новую, и завтра начну писать дальше.

17 октября

С чего начать? Господи, какой день сегодня! Сто лет пройдет — не забуду, да и никто, наверное, не забудет. Обедня была торжественная, пели прекрасно; о. Клавдий сказал краткую отличную речь. «Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих»; он говорил о жертвоприношении Исаака и просил Бога принять нынешнюю молитву всей России. После обедни начался молебен, служившийся по особо составленному для этого дня Святейшим синодом чину. Что это был за молебен! Век бы слушала и не ушла из церкви. «Да не хвалится мудрый мудростью своею, сильный силою своею, богатый богатством своим», — читал отец диакон. Господи, приими молитву нас, людей простых, темных, незаметных… Дивно было, когда запели

«Слава в вышних Богу»: слова этой, обыкновенно вечерней, молитвы (что придает ей большую торжественность) производят странное, торжественное, светлое, прекрасное впечатление…

Из церкви мы пошли на парад. На площади было много народу, и я не могла видеть все то, что там происходило. Слышно было только пение, и как только оно раздалось — заиграли «Коль славен»: две молитвы поднимались к ясному, синему небу, точно два звука от всей массы народа летели к Богу, сливаясь в один нежный, чистый и звучный… Что это была за минута! После молебна началась закладка часовни. Я все ждала, когда же крикнут «ура». Но вот унесли старые, изорванные знамена полков, через минуту шапки замелькали в воздухе, и крики «ура» понеслись по площади…

25 октября

На нашем балу танцевала я много, весело мне было и… за это получила замечание, что дурно держу себя. Я очень удивилась и обратилась к Шкалику за объяснением. «Нечего объяснять: вы стояли впереди, а больше ничего и не спрашивайте, идите, идите!» — был ответ. Так вот в чем дело! Я стояла в первых рядах группы танцевав-

ших воспитанниц и шла вперед, потому что вся толпа двигалась так же. Если я в чем и виновата, то, пожалуй, в том, что пригласила родственника губернаторши; ведь он все же посторонний, а я, как-никак, все же ученица… А если меня часто приглашали, то не виновата же я в этом; своею внешностью никогда не занимаюсь, или ровно настолько, чтобы каждый день быть умытой, одетой и причесанной, да и то подозревают в употреблении чего-то неподобающего — кольд-крема или глицерина. Жду, что будет завтра в дежурство Шкалика. Но что будет, когда мама узнает это замечание?!

31 октября

В поведении в вывод 5–; из франц. оказались три единицы… Мама все узнала о моем поведении на балу, и ради того, что она простила, не прогнала меня от себя, — я все готова от нее теперь перенесть; даже буду охотно учить Игнатовича для N. Noyer, буду учить усердно теоремы и делать алгебраические задачи. Милая мама! А я какая гадость, глупая девчонка!

22 ноября

Думаю написать «Царство математики», и для этого просила Ал. Ник. назвать мне возможно большее количество имен математиков знаменитых, древних и новых, и их «ученые разговоры». Но — вообще нужно заметить — она не может ответить на мои вопросы; и теперь уже сознаю, что за два года я выросла, а она нет, что я ее догоняю. Если она знает арифметику лучше меня, умеет учить малых ребят — это еще не резон говорить мне: «Как вы смеете так со мной обходиться? Я вовсе не хочу фамильярности с вами». В романе «Дача на Рейне» педагог не такой был, а доктор философии, да и тот позволил своему воспитаннику говорить себе «ты», был с ним хороший и добрый, а не гордился и не говорил Роланду «не фамильярничайте», хотя имел тысячу раз более прав поднять перед ним свою голову, чем Ал. Ник. перед нами…

О многом судит она как-то странно. Вы, говорит, знаете, что обязанность каждого человека — не грешить, а когда он не грешит, то старается каждому делать приятное; вы не должны раздражать своими вопросами других, это грех. Хитро, ловко придумано, но тут ясное противоречие: очень

ведь часто человек, желающий делать приятное другим, — льстит, для приятности этой берет себе на душу даже очень большое количество грехов. Я это и сама ясно вижу и читывала в священных книгах у бабушки. Что же это она, не понимает, что ли?

То же о театре: нам о. Клавдий говорил, что в нем бывать грех, а она говорит — нет; даже отвергает, что ад вещественен, хотя этому и есть не опровергнутые доказательства в книге «О смерти», сочинения какого-то Измаила, епископа в Бабаевском монастыре. Я спорю, доказываю — не верит, ну точь-в-точь как некоторые мои одноклассницы, которые также это отрицают…

1 декабря

Недавно читала «Воспоминания о поездке на Афон» Страхова («Рус. вестн.», 1889 г.); когда читаешь «письма» Святогорца — на душе так отрадно, точно праздник какой-то, даже и теперь, когда пишу, не выразить всего словами. Чудное место, судя по описаниям, эта гора — вся озаренная вешним солнцем и природою. И среди нее люди и Бог… Спросили бы меня, где Богу быть подобает на земле, скажу: на Афоне. Там только служат Ему так, как должно служить, и среди наиболее

лучших рабов Своих Он пребывать должен…

Вот приближается Рождество, и мне невольно на ум приходит эта гора: как там проводят праздник и как у нас? Как ничтожны все наши удовольствия, заботы и желания пред одной молитвой жителей горы Афонской. Ведь из этих-то забот и удовольствий состоит вся наша жизнь, следовательно, также и она сама жалка, пошла и низменна. А те молятся до конца жизни своей, мысли их чисты и ясен ум. Мы — червяки, они — птицы! И часто мы, люди, ползаем весь свой век в житейской грязи, и ни на один миг в нас не проснется дума о том, что из этого будет?.. Остается только пожелать умереть на Афоне — там так приятна и смерть.

1890 год

1 января

С Новым годом! По примеру прошлого года я и на этот раз поздравляю себя… День хороший, очень тепло. Суворин в «Маленьких письмах» совершенно верно заметил: «если бы воскрес Алексей Михайлович и ему бы сказали, что готовятся встречать Новый год, то он нисколько не удивился бы: в его время встречали 1 сентября, и заметил бы только: „что это холода рано наступили и снег выпал“». Совсем поздняя осень, да и та холоднее.

7 января

Господи, отгони от меня мирские мысли! Читая из книг и газет описания придворных балов, театральных представлений — постоянно воображаешь себе все великолепие их обстановки, роскошь жизни и изысканность обращения. Нам, серенькому люду, который весь свой век прожил в провинции с ограниченными средствами, — недоступна та среда, представлять которую

— моя страсть: меня туда тянет… Не знаю почему, но я люблю или все блестящее, известное, или же таинственное, неведомое; а такая середина, в которой я живу теперь, — нет, совсем не по душе она мне. Но что за глупость — любить и думать о том, чего тебе не достичь, стремиться туда, куда никогда не попадешь! Вот страсть! И чего это я? Сознаю, что глупо до крайности, но как пьяницу трудно отучить от вина, так и меня от моей привязанности к недостижимому… Господи, дьявол вселился в меня, помилуй меня, окаянную грешницу… Нет, решительно надо идти в монастырь…

5 февраля

«Паки Голгофа и Крест, паки гроб и плащаница» — так, кажется, начинается одна из известных проповедей. У нас — «паки рыдаше и плач, паки гроб»: умерла милая Лена Борисова. О. Клавдий при погребении сказал проповедь, пояснив нам ее счастье в смерти. Как она была хороша в гробу! Как невеста лежала она вся в кисее, с большим венком вокруг головы; красивый и при жизни профиль — у мертвой казался еще изящнее, темные брови и ресницы так нежно выделялись на бледном лице, губы слегка посинели, но еще

сохраняли розоватый цвет, что придавало лицу несколько живой оттенок. Впервые пришлось мне «прощаться», и сердце у меня страшно забилось, когда я подходила к гробу. Увидев красивое, спокойное лицо покойной, — я вся задрожала, сразу почувствовав всю ничтожность пред этим мертвым телом, и, пробормотав: «невеста, невеста», — расплакалась не хуже малого ребенка. Я вдруг узнала ничтожность моего «я», мне показалось, что я пигмей перед Борисовой, а она невеста. Вот она теперь увидится с Михайловской, встретятся они. Когда-то и мы все, весь наш класс сойдется там! Более половины из нас тогда уже будут старухи, а Борисова с Михайловской, бывшие старше многих из нас, — молодыми… А день был ясный, солнечный, кругом все было так оживленно, что я после невольно подумала: «спящий в гробе, мирно спи; жизнью пользуйся живущий…»[23] Эх, суета!

3 марта

Соня влюблена, и, кажется, серьезно. «Боже мой, что только иногда выкидывают дети!» — так ворчал старый адвокат из романа Мавра Иокая…

---

[23] Примечания: 23
Строки стихотворения В. Жуковского «Торжество победителей».

Вот что Соня сказала мне сегодня: «Он надо мной такую силу, такую власть имеет, что скажи он в воду броситься — и я брошусь; для него всем пожертвовать готова, и если нужно для него голову отрубить — я дам».

В первый раз в жизни вижу перед собой влюбленную, говорю с ней и нахожу, что любовь — прелюбопытная штука: вот какие чувства и мысли приходят тогда на ум.

12 марта

Важная новость в мире политическом: кн. Бисмарк, гениальный «железный канцлер», объединитель Германии, вышел в отставку. 6 марта подал о ней прошение Вильгельму II, 8-го получил ее, с назначением генерал-инспектором кавалерии и с возведением в сан герцога Лауэнбургского. Все в Германии поражены этою отставкою, хотя когда Бисмарк подал прошение — все в Берлине были уверены, что Вильгельм согласится. Газеты приводят причины прошения Бисмарка. Одни уверяют, будто бы между Бисмарком и Вильгельмом возник спор по поводу речи, с которой император хотел обратиться к иностранным делегатам, приглашенным им же в Берлин по поводу рабочего вопроса. Бисмарк,

как руководитель внешней политики, просил сделать в ней некоторые изменения, находя иные места неудобными для произнесения пред иностранными делегатами, — Вильгельм будто бы не согласился на эти изменения, и Бисмарк подал в отставку. Другие находят, что Бисмарк и император давно расходились в политических взглядах, и третьи, наконец, утверждают, что Бисмарк уже стар, чтобы руководить политикой, и как будто бы не подходит по своим убеждениям к императору, «полному свежих сил». Последняя причина приводит меня чуть не в бешенство. Ведь Бисмарк — гений, известный всему миру: нет на земном шаре такой земли, такой столицы, такого сколько-нибудь значительного города, где бы не знали хотя бы его имени; о его заслугах пред отечеством знает всякий образованный человек; масса же, известная под названием «читающей публики», соединяет с его именем понятие о чем-то грозном, величественном, сильном; и Бисмарк не стар: несмотря на свои 70 лет, он два года назад, 25 января 1888 года, произнес такую речь, что вся Европа задрожала, в чем признаются те же газеты, которые называют его устаревшим. А кто поручится, что император, «полный свежих сил», будет таким же гениальным, как Бисмарк?

О Вильгельме говорят, будто бы он намеревается быть «сам своим канцлером», т. е. дать место имперского канцлера такому человеку, который был бы просто исполнителем его личных распоряжений. Что Вильгельм II не из гениальных государей — доказывают его поездки с политическими целями, его визиты другим государям; его жажда к делам, естественно, происходит от молодых лет и, пожалуй, от избытка «свежих сил», которых ему некуда девать, но Вильгельм не будет вторым железным канцлером, не будет вторым Бисмарком.

«Бисмарк уволен от должности имперского канцлера, президента прусского Совета министров и министра иностранных дел. Князь Бисмарк фон Шенгаузен навсегда сходит с политической арены, и если бы когда-нибудь — чего вовсе нельзя безусловно отрицать — бывшему канцлеру пришлось снова выступить на нее, то явился бы герцог Оттон Лауэнбургский», — говорит «Новое время». Как долго гремело это имя! Не помню, когда именно в первый раз я услыхала это слово: газеты я начала читать с 7 лет, к политике же пристрастилась с прошлого года, когда телеграммы, вследствие сообщений о Рудоль-

фе и Марии Вечера, стали очень интересны[24]. Когда я подросла, то вполне свыклась с именем Бисмарка; и теперь, прочтя об его отставке, — я была очень удивлена и поражена, в первое время мне показалась даже невозможной такая мысль; я воображала его смерть, похороны — на занимаемом им посту, воображала его памятники, но не отставку. Но невозможное, по моему мнению, оказалось возможным и уже совершилось. Мне ужасно жаль канцлера…

Не глупо ли? маленькая, никому не ведомая фигура сидит и расписывает о политике целые страницы своего дневника… Ну, никто не прочтет.

Сегодня отправила стихотворение Сони в «Север»…

17 марта

Странный человек ученица Мирославская: ни одной фразы не скажет просто — все лите-

---

[24] Примечания: 24

30 января 1889 года 30-летний наследник австро-венгерского престола кронпринц Рудольф застрелил свою 17-летнюю возлюбленную баронессу Марию Вечера, после чего покончил с собой. Незадолго до самоубийства Рудольф, женатый на бельгийской принцессе Стефании, пытался добиться у римского папы развода, чтобы жениться на баронессе, но получил отказ. В предсмертной записке влюбленные объяснили свой уход желанием «взглянуть на загробный мир».

ратурно, как-то вычурно-романично. Такую речь, как ее, даже слушать было дико; а когда я сказала, что рассержусь, если она не даст мне прочесть свои тетрадки, — она не дала договорить и бросилась ко мне на шею со словами: «О, как я тебя полюбила!» Фраза очень театральная, романическая, но произнесена была совершенно искренно. Она, по ее словам, чувствует себя какой-то особенной с детства и сомневается, есть ли у нее дарование; это было высказано вновь в самых книжных оборотах речи, отчего казалось ужасно неестественным, и я посоветовала ей говорить более живым языком. Сомневаться в своем даровании — хорошо: чем меньше уверенности, тем лучше. Надсон сам возвел себя в таланты, а Буренин указал ему, что он только дарование, да и то невысокого разряда; поэт, уже больной, не мог вынести спокойно его нападок и умер. Пример очень поучительный для начинающих писателей. Кстати, у Мирославской, как и у Сони, любимые поэты Надсон и Пушкин. «И здесь Надсон! — воскликнула я. — Недаром же высказался один критик, что он своей поэзией „попал в самый центр гимназических идеалов и вожделений“!» А кому нравится Надсон, следовательно, нравится и лирика. О, эта лирика! Она,

кажется, заполонила собою всю теперешнюю поэзию. «Пессимистическая просебятина» — выражение грубое, но верное. Каков бы поэт лирики ни был, но в его произведениях главный элемент — собственное чувство, в большинстве случаев склонное видеть во всем темную сторону…

6 апреля

Весна. Волга прошла, зеленеет трава. Как только начинает таять снег — здесь мне становится душно, скверно, тянет в Нерехту. О, если бы я могла там прожить все лето! Как только весна, — так особенный бес, который сидит смирно всю зиму и осень, начинает во мне шевелиться, я места себе не нахожу… так и убежала бы куда-нибудь…

Смешно мне вспоминать, что я думала прежде: в 12 лет я толковала о «цели в жизни» и чуть не плакала, доходя до отчаяния, что у меня ее не было; в 13 лет я плакала горькими слезами о том, что праздная, бессодержательная жизнь в доме — по окончании курса меня «затянет»; в 14 лет я, отбросив все мысли о «цели в жизни» и о жизни, меня ожидающей по окончании курса, — прожила весь год счастливо, со спокойным сердцем; в 15 лет я имею «цель в жизни» и, как человек практический, придумала несколько выходов в

случае, если не достигну того, что хотелось бы мне сделать. Что я не достигну — это очень вероятно: «много надо времени и много надо денег». Фраза эта беспрестанно у меня на уме…

Заметка. Моя дальняя родственница поступила в женский монастырь в Ростове, была умной старухой и сделалась игуменьей. Оба ее сына также поступили в монахи, один из них умер, другой — ученый-иеромонах, живет в Афинах. Теперь я успокоилась: монахи и монахини в числе наших родственников есть, и еще не простые, а игуменья и иеромонах. Слава богу! Увидеть бы когда-нибудь этого иеромонаха, расспросить его, отчего он поступил в монастырь и как сделался ученым; отчего он живет в Греции, каков там язык, жители, нравы, монастыри и монахи, какова была его мать, отчего она поступила в монастырь — словом, все о жизни этого семейства хотелось бы знать. Спрошу бабушку.

1 мая

О, мой дневник, послушай, что расскажу я тебе: вчера была в концерте Есиповой[25]. Когда она

---

[25] Примечания: 25

Анна Николаевна *Есипова* (1851–1914) — пианистка и музыкальный педагог.

играет, — даже сомневаешься, человек ли это за роялем или другое, сильное и высшее существо. «Венгерская рапсодия» Листа в ее исполнении «чудо силы и беглости руки». До сих пор мне никогда не приходилось слышать такой чудной, прекрасной игры. Что пред ней все наши учительницы музыки!

11 мая

Пробило половина пятого, и я, одевшись, отправилась в гимназию. Снимая пальто в прихожей, я с ужасом заметила мужскую шляпу: пришел, пришел… Все седьмые в полной парадной форме сновали взад и вперед по зале с учебниками и программами; года и имена разных исторических деятелей слышались отовсюду. Я опять плохо приготовилась к экзамену, русская, средняя, новая и древняя истории перепутались в голове. — «Который час?» — «Шестой!!» — «Приехал вице-губернатор, приехал!!» — с тревогой раздавалось кругом. Ну, думаю, совсем плохо мое дело, и, бросив книги, я достала из кармана свои фотографические карточки и стала раздавать их кому следует. Мигом около меня собралась толпа… Время шло незаметно, и вскоре мы начали выстраиваться перед дверями портретной,

по алфавиту, чтобы без шума разместиться по скамьям. Извольте стоять перед затворенной дверью и мучиться приятным сознанием того, что вот-вот сейчас тебя вызовут и достанется скверный билет! Наконец двери растворились, и быстро, тихо, как мыши, мы пробрались за наши скамьи и очутились перед грозным ареопагом… Директор громко прочел первые фамилии.

Я сидела восьмою по счету и перелистывала листы истории, стараясь прочесть невыученное и просматривая любимые билеты. Программа наша изуродовала до неузнаваемости древнюю, среднюю и новую историю. Трудно было сократить ее больше, чем сократили мы. Достаточно сказать, что из древней истории (в 11 билетах!) мы знали немного о греках, спартанцах и римлянах; из средней — мы выпустили все главы о славянах, историю Австро-Венгрии, Франконский дом и падение Константинополя, заключив остальное в 9 билетах; из новой истории без всякого стеснения вычеркнули Тридцатилетнюю и Семилетнюю войны и знали только одну историю Франции, начиная с Франциска Первого. Русская история была пройдена вся, но в программе в последнюю минуту нашли нужным вычеркнуть об Александре II и войну 1877 года (очевидно, билеты эти

были признаны негодными к употреблению). «Что вы делаете с историей?!» — хотелось мне воскликнуть, когда я дрожащей рукою ставила скобки на этих билетах. С таким-то запасом знаний готовилось выпустить нас в педагогический класс наше начальство и учителя…

— Дьяконова! — вызвал наконец директор, и я, стараясь не выражать на лице смертельного страха, взяла билет… на нем стояла цифра 6. Я подала билет учителю: из всеобщей истории. В программе значилось: «Начало Пелопоннесской войны. Никиев мир. Алкивиад». И онемела от ужаса: билет был не читан… Дают ли переэкзаменовку по истории, мелькнуло у меня в голове… Положение было очень скверное: на выпускном экзамене вынуть неученый билет! Приходилось рисковать хорошим аттестатом… «Я не могла некоторых билетов приготовить по домашним обстоятельствам»[26], — тихо сказала я учителю, который громко повторил мои слова всему ареопагу. Все обратились к учителю: «Она в году отлично училась, позвольте ей вынуть другой билет». Я вынула 20-й. — «Опять из всеобщей», — сказал учитель, тревожно взглядывая на меня… — «Сто-

[26] Примечания: 26
И это отчасти правда. *(Примеч. Е. Дьяконовой.)*

летняя война. Жанна д'Арк». Этот билет я знала хорошо, но — странное дело — 6-й билет произвел на меня такое сильное впечатление, что я забыла все о Столетней войне и безнадежно посмотрела на учителя. «Отвечайте из русской истории о Михаиле Феодоровиче!» — громко сказал он. У меня горло сжимало до того, что я отвечала тихим, прерывающимся голосом. Меня остановили: «Расскажите о Дарии Гистаспе». С трудом припомнив эту статью, я заговорила быстро, насколько могла: еще немножко, и я громко разревелась бы, как малый ребенок. — «Довольно»… Я вышла из класса в зал, и тут только вздохнула свободно… — «Mesdames! страсть как режутся» — и подобного рода замечания так и лились кругом…

Экзамен кончился, все бросились к учителю. — «Сколько мне?» — «5–». — Экзамен небывалый: никогда так ясно не выражались снисходительность учителей и мошенничество экзаменовавшихся…

28 мая

Урра! Серебряная медаль!! Аттестат!! Мама очень довольна, и я тоже: за лень медаль получить — это даже очень хорошо. «Вот сладкий

плод ученья!»[27] Теперь скорее в Нерехту, а пока дочитаю «Божественную комедию», — жаль, что не знаю по-итальянски…

29 мая

В своей проповеди, обращенной к оканчивающим курс, о. Клавдий увещевал всех жить благочестиво, говорил о самообразовании и молитве. А мне так и представилось, что на пустой середине церкви вальсирует одна из нас, как доказательство того, что некоторые из нас будут делать… Ирония? Нам бы учиться и учиться еще года 4 или 5, чтобы по выходе считаться образованными, а тут — самообразование предлагают.

Воспитанницы, куда вы разойдетесь, в какие стороны вас раскинет судьба? Будете ли вы богатыми невестами производить фурор в ваших захолустьях, будете ли вы просто жить дома, т. е. ничего не делать, или бегать по грошовым урокам? Может быть, будете сельскими учительницами и сгинете без вести в дальних селах; или замуж выйдете и на базар ходить будете с корзинкой на руке и грязно одетой прислугой позади? — Во всех случаях судьба ваша скверная, и

---

[27] Примечания: 27
Цитата из поэмы А. Пушкина «Борис Годунов».

не такую мне нужно… Господи, услыши молитву мою, вонми гласу моления моего. Я пойду в монастырь, если только сделаю то, что хочу сделать.

1 июня

Как хороши были вечера, которые я проводила одна в Нерехте. Бывало, встанешь перед окном своей комнаты наверху и смотришь: внизу раскинулся темною массой город, не видно реки из-за темноты, за городом молчаливо чернеет лес. Нерехта спит, кругом все тихо, в маленьких домишках почти нигде нет огня. И тоскливо как-то становилось: нигде я так ясно не видела всю ничтожность человека, таких людей, как мы… На большой равнине, где-то в средней полосе России, меж зеленых лугов, затерялся городишко Нерехта; люди настроили себе крошечных домиков, живут в них, спят спокойно… А ночь величавая смотрит с неба на землю, покрыв ее темным покрывалом, и люди кажутся маленькими черными точками… тоска, тоска страшная… Как ни думай, человек — муравей, нуль, ничто, несмотря на всю свою премудрость, все науки и изобретения; и с таким приятным сознанием придется прожить всю жизнь, до смерти…

Как часто играет судьба! Я нередко думаю, от-

чего я не родилась принцессою или от родителей, принадлежащих к высшему свету? О, тогда бы мне можно было возвыситься! У меня есть два желания, и одно из них — попасть в этот заколдованный круг, знакомый мне лишь по газетам и мемуарам… Нет, довольно думать о том, чему никогда не исполниться: ты будешь монахиней с четками в руках и псалтирем на аналое своей кельи… А до монастыря, т. е. до старости, надо много трудиться и учиться…

6 июля

Вернулась с дачи около Москвы, где гостила у тети. Какой там чудный лес! Небо голубое, деревья высокие, солнце светит, кругом — ни души, все тихо, и если бы можно было — я оставалась бы там целыми днями…

На дачу часто приезжали гости — купцы и комиссионеры. За обедом, когда собирались все вместе — молодежь и они, — не было слышно никакого разговора, тем более смеха и шуток; все молчали, лишь изредка перекидываясь фразами вроде «он купил на 40 тысяч меди… и дешево». Молчание это не казалось мне странным или принужденным: я, по рождению русская купчиха, попав в круг людей коммерческих, где мне

надлежит быть, сразу поняла, что купцу или приказчику — людям занятым — нет вакации, как то бывает для интеллигента, а поэтому они и устают больше, им не до болтовни…

Скверное впечатление производит Москва летом: пыльный воздух, грязно, шум. На улицах вывесок столько, что я удивилась, — где же живут покупатели для такого множества магазинов? Нет почти дома без вывески, часто очень неграмотной. От прежней, древней Москвы, столько раз описанной в романах, не осталось камня на камне: это другой город, выстроенный на месте старого. В одном стихотворении сказано: «Москва, как много в этом слове для сердца русского слилось»[28]. Это правда; но вид Москвы, с ее летней духотой, суетой и шумом, не способен возбудить ни малейшего чувства. Только входя в Кремль, невольно проникаешься благоговением: там везде тишина, все соборы дышат чем-то спокойным, давно минувшим; невольно вспоминаешь, чем была прежде Москва, какие в ней совершались события, и ниже склоняешься пред какой-нибудь иконой в сознании своего ничтожества.

---

[28] Примечания: 28
Неточная цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

22 июля

Странное впечатление производит единоверческая церковь: везде старинные иконы и живопись на старинный лад; глазу негде отдохнуть от этих сухих линий, этих неестественно выгнутых рук, ног и голов у изображенных святых. В богослужении нет почти ни одной не искаженной молитвы; поют даже такие, которые кажутся лишенными всякого смысла, напр.: «Милость мира, жертва и пение», вместо «жертва хваления». О, как велик бессмертный патриарх Никон! Слушая эту службу с диким, режущим ухо пением, я невольно изумилась: какой же силою воли должен был обладать человек, чтобы заставить современных ему людей служить по исправленным книгам… Стоявшие вокруг меня старообрядцы и старообрядки внимательно следили за каждым словом, точно боялись, чтобы не пропустили ни одного слова из этих старых книг. Порядок всюду наблюдается образцовый: войдя в церковь, берут маленькую подушку и, перекрестившись, кладут земные поклоны в разные стороны, держа подушку в обеих руках; подходя ко кресту, сперва идут мужчины, потом женщины, все с четками; за службой стоят, поджав руки, почти не крестятся,

а в землю не кланяются совсем.

3 августа

Невозможно описать всю красоту Волги. Хороша она днем, освещенная ярким солнцем, кипящая жизнью; тогда она тянет к себе отдохнуть, развалиться и нежиться на зеленой душистой траве ее берегов. Ночью — ее природа величественно-прекрасна. Ночь имеет в себе что-то торжественное, таинственное, какова бы она ни была: бурная, грозная, с дождем и ветром — возбуждая особенный страх, тихая, звездная, ясная — принося благоговейное чувство. И часто останавливаешься пораженною, смотря на освещенную луною Волгу, покрытую отблесками тысячи синих переливчатых огней… В природе живет что-то, невольно заставляя говорить каждого: тише! Это — чудная красота неувядаемой природы. «А ночь — Небесные силы — какая ночь совершается в вышине!»[29] — воскликнул бессмертный писатель. Иные ночи именно «совершаются», как таинство: есть нечто торжественное и таинственное в ярком мерцании звезд. Но мне в такую ночь еще хочется сесть на

---

[29] Примечания: 29
Цитата из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души».

коня и скакать безумно куда-нибудь, только бы не видеть проснувшегося душного города.

4 августа

Читаю теперь Надсона. Модный поэт, его любит, кажется, вся молодежь; начитавшись критических этюдов Буренина, я смотрю на него с предубеждением. В сущности, Надсон не повинен в своей славе, раздутой десятками его поклонниц из маленького огонька в большой костер, и так как вся его жизнь сложилась неудачно — он был бы без нее несчастлив: получив плохое образование, он не знал корифеев иностранной литературы, был болен, беден, не особенно развит умственно — и среди всех этих несчастий ему протянула руку Фортуна, он стал знаменитостью. Его смерть оплакивали тысячи, и долго, может быть, в глухих захолустьях России будут увлекаться таким поэтом. Надсон — калиф на час; час его пока еще не пробил, конец, может быть, еще не близок, но время сделает свое дело. Надсон — поэт чувства; это чувство так и сквозит, плещет через край во всех его стихотворениях; он искренен — это несомненно; искренность чувства, выраженного в гладких стихах, да еще сама жизнь Надсона, по-моему, главным образом

и положили начало его славы. От избытка чувств — он даже не ставил заглавий над стихами, и достаточно прочесть алфавитный указатель, чтобы составить себе понятие о поэте: «Я пришел к тебе», «Я жду тебя», «О любви твоей, друг мой», «Умерла моя муза», «Друг мой, брат мой» — вот названия, встречающиеся на каждом шагу. Стихотворения Надсона отчаянно молоды, чересчур, до смешного; в них нет силы, той железной силы, которая придает такую красоту стиху; он примиряет, но сам не может поднять руку с оружием — у него нет для этого мощи. Изящное по задушевности тона стихотворение «Страничка прошлого» напоминает личность поэта, и не в его пользу: сразу вспоминаешь, кто написал эти стихи, и другие читаешь уже осторожно, не увлекаясь. Оттого так приятно, среди бездны этого «чувства», наткнуться на стихотворение вроде «Песни Мефистофеля»: кажется, что писал его другой поэт, только не Надсон. В заключение скажу, что посмертные стихотворения, за малыми исключениями, не следовало бы печатать, — почти все они состоят из десяти строк и все не окончены. Мастерски написанное одно стихотворение

Полонского — «На смерть Надсона»[30] — лучше всей поэзии поэта; читая это произведение одного из Мафусаилов современной русской поэзии, чувствуешь не рифмованное нытье, а глубокое сожаление старца о даровитом юноше.

15 августа

Сегодня мне исполнилось 16 лет! Я вполне горжусь своими годами: приятно сознавать, что в некотором роде уже совершеннолетняя…[31] Теперь читаю романы. За $1^1/_2$ месяца прочла их не меньше 10 книг, все французские. Глупы они страшно, но не могу отстать от них. Передо мной лежат Руссо, de Stael, а в руках «Les exploits de Rocambole»[32] — и классики забыты, забыта ночь, — я не существую, а живу с каким-нибудь Rocambole или sir Williams… И эту страсть преодолеть не могу.

---

[30] Примечания: 30

Имеется в виду стихотворение Я. П. Полонского «Памяти С. Я. Надсона (19 января 1887 г.)».

[31] Примечания: 31

Согласно российским законам XIX века, в 16 лет для женщин наступал брачный возраст, гражданское совершеннолетие достигалось в 21 год.

[32] Примечания: 32

Понсон дю Террай, авантюрный роман «Похождения Рокамболя».

30 августа

Встречала о. Иоанна Сергиева, о котором в последнее время так много говорят и пишут[33]. Я видела его близко, и меня поразили полузакрытые, необыкновенно яркого голубого цвета глаза: они смотрели куда-то вдаль, не замечая никого из многочисленной толпы, нежно-розовый цвет лица, юношеский румянец и голубые глаза о. Иоанна невольно поражали: он казался молодым, тогда как волосы и борода указывали настоящий возраст. Выражение лица у него было кроткое; благословляя народ, он говорил: «здравствуйте, други мои», «велико имя Святой Троицы». Его слова были для меня странными, необыкновенными: кто-то «не от мира сего» явился с приветом в грешный мир.

1 сентября

На уроке в нашем восьмом классе. Учитель педагогики сказал: «Человек после недолгого занятия наукой чувствует легкий аппетит;

---

[33] Примечания: 33

Иоанн Кронштадтский, в миру Иоанн Ильич Сергиев (1829–1909), — священник, религиозный писатель, с середины 1880-х годов пользовавшийся славой проповедника и чудотворца.

если же занятия будут слишком усилены, то тело разрушится, и человек умрет». Вызвал повторить одну из нас: — «После занятия мы чувствуем аппетит». — «А если мы будем дольше заниматься?» — «Аппетит усиливается». Мы рассмеялись. — «Зубная боль есть боль телесная?» — «Нет, нервная», — был ответ…

12 сентября

Была у Аристовой; играл ее учитель Балакирев[34], и она собрала некоторых своих учениц слушать его. Боже мой, как может играть человек! Он делал с роялем что хотел: он говорил, пел, плакал, звенел под его руками! О, несравненный артист! Когда он окончил, я встала, у меня ноги дрожали, в ушах звенели последние аккорды — и я даже не поблагодарила хорошенько мою учительницу. Мне снилась ночью его игра и он сам, седой, великолепный старик. Я люблю его всей душой за его игру… О, если бы услышать его еще раз!

---

[34] Примечания: 34

Милий Алексеевич *Балакирев* (1836–1910) — русский композитор, пианист, дирижер, педагог, глава «Могучей кучки».

16 сентября

Слушала фонограф Эдисона[35]. Я ожидала, признаюсь, большего: мне казалось, что я услышу голос и музыку, как в театре, но на деле не то: фонограф с точностью воспроизводил звуки, но очень глухо, иные даже едва слышно. Получалось впечатление, как будто за три комнаты играют или поют. Но хуже всего воспроизводит фонограф человеческий голос: нужно было напрягать слух, чтобы уловить слово. Зато музыку, особенно высокие ноты, слышно отлично… «Человечество идет вперед!» Эту казенную фразу можно смело сказать, услыша фонограф. Я, право, не знаю, чем лучше быть: Пушкиным или Эдисоном? Патти[36] или профессором? Чем лучше, что лучше, о господи, право, не знаю!..

22 октября

Когда я умру? Что ждет нас там, в другом мире?

---

[35] Примечания: 35

Первый фонограф был представлен в Москве в 1879 году.

[36] Примечания: 36

Аделина *Патти* — итальянская певица, колоратурное сопрано. В начале 1890-х годов запись ее голоса воспроизводили при демонстрации фонографа в русских городах.

Будем ли мы действительно жить вечно, как сказано в Евангелии? Я не могу этому верить: жить вечно слишком страшно, но и уничтожиться без всякого следа тоже не хочу. Как же быть? Я думаю, думаю, и ничего не могу решить… «Жить вечно», какой ужас! Если вдуматься в это слово, можно с ума сойти; я иногда думаю долго и потом чуть не кричу от ужаса… Ах, если бы можно было убить душу, а тело оставить на земле жить и наслаждаться.

23 октября

Прочла два романа Гюго: «Человек, который смеется» и «93-й год». Первый из них произвел на меня сильное, поразительное впечатление. Пошлы и ничтожны кажутся с двумя этими странными, но прекрасными произведениями другие прочтенные мною романы, где говорится только о любви. Сейчас начну читать Стендаля «Красное и черное».

25 октября

Вчера был акт. Я ужасно боялась выходить за медалью и дрожала, стоя в первом ряду. Хорошо помню только ту минуту, когда ко мне

протянулась рука губернаторши с раскрытым футляром, на темно-синем бархате которого резко выделялась большая серебряная медаль. На акте присутствовало многое множество лиц в парадных мундирах с золотым шитьем. Я полагаю, что их пригласили более для красоты вида: мундиры очень хороши, а из некоторых изящных «знаков отличия» я с удовольствием сделала бы брошку…

Что сказать о бале? Это был последний гимназический бал в моей жизни. Время провела я весело; жаль, что было мало хорошеньких лиц между нашими кавалерами, гимназистами и студентами, но нельзя быть особенно требовательной в наши неэстетические времена. Танцевала я немного… Вспоминаю прошлогодний безумно веселый бал. Тогда я действительно веселилась до самозабвения, до исступления, бог знает до чего. Я понимаю такое веселье и вполне ему сочувствую. Хорошо иногда увлечься чем-нибудь до того, что забудешь все, даже собственное «я». Думаю, то же самое испытывают пьяницы, когда напьются. В первый раз в жизни я забылась — это было в прошлом году. Я получила замечание, следовательно, подобное самозабвение неприлично. Верно сказано, что труднее всего

управлять самим собою. А я иногда совсем не умею сдерживаться…

18 ноября

Нельзя ли уйти хотя на неделю из дома? Три года продолжается эта жизнь; прежде я возмущалась — теперь чувствую смертельную усталость… И в этой бессмысленной сутолоке жить еще 5 лет![37]

Педагогика никак не дается, она мне расстраивает нервы, я — как разбитое фортепьяно. Быть тем, к чему нет призванья, не заставишь; меня же ломают, но я не поддаюсь. Я высоко ценю истинных педагогов и всегда узнаю их, но чтоб самой быть им — никогда! Это слишком трудно, почти невозможно.

2 декабря

На здешней сцене было представлено «Горе от ума»; боже, во что превратилась эта гениальная комедия! Софья говорила как старая сентиментальная дева, Чацкий орал, позировал, то и дело ударяя себя по бокам. Говорят, будто бы артист от

---

[37] Примечания: 37
То есть до 21 года.

волнения перед началом пьесы упал в обморок, даже хотели спектакль отменить, что было бы гораздо лучше. Остальные исполнители были карикатурами тех, роли кого они исполняли. Внешняя обстановка и костюмы довершали редкий «ансамбль»: Софья была одета в платье прошлогодней моды, Чацкий — как сидевшие в партере мужчины, Лиза — в коленкоровом зеленом платье французской субретки… Студенты неистово хлопали в ладоши, шум и гам стоял невообразимый. Мне было скучно…

1891 год

1 января

С Новым годом!.. Я встречу их здесь еще четыре, и затем… куда? За границу? Чем лучше быть — профессором или купцом? Всего лучше быть губернаторшей, тогда бы я много сделала для нашей гимназии. Сегодня мне весело…

1 февраля

Утром посмотрела на себя в зеркало — на меня смотрел урод! Да, это печальный факт, я чуть не бросила зеркало, но сколько ни искала хоть привлекательной черты на лице своем — не находила, и все более убеждалась в своем собственном уродстве: предо мной была одна из тех физиономий с грубыми чертами, которые я положительно ненавижу… А скоро бал. Мучительное сознание собственной неловкости и незначительности уже теперь охватывает меня… Скверно, скверно!.. После бала я буду на положении Настеньки из

«Тысячи душ»[38] в ее первый выезд в свет, с тою только разницею, что с ней хоть один танцевал, а со мною никто не будет…

4 февраля

Была вчера на вечере. Как было весело! Я много танцевала и даже в первый раз в жизни шла под руку с гимназистом! Мне было и страшно и весело! Легкая, бессодержательная, чисто бальная болтовня, кругом толпа, запах духов, цветы… от всего этого у меня с непривычки к концу вечера заболела голова… Мои опасения за туалет были совершенно напрасны, и если он не был так хорош, как мне хотелось, то это только потому, что я слишком была требовательна… Я была бы рада опять ехать туда на вечер, если бы его повторили…

23 марта

Как давно не раскрывала тетради. Теперь я гораздо более люблю думать, чем браться за перо; для меня дневник уже не место излияния моих мыслей и чувств, как прежде, а так — тетрадка,

---

[38] Примечания: 38
Роман А. Ф. Писемского.

которую раз, много два в месяц возьмешь в руки и запишешь кое-что, если есть время. На днях с П. кончили писать комедию «Провинция»…

19 апреля

Неужели это не сон и «Крейцерова соната» в моих руках?[39] Ах, как весело! Снова начинаю верить в свою счастливую звезду. Звездочка! свети мне чаще и ярче, свети так, как светила сегодня, будь умница… Как хорошо! И какой я наклею нос моей почтенной наставнице — «Не читайте, Лиза, этого произведения, если даже оно и попадется вам в руки». А я делаю как раз наоборот…

И то, о чем я даже не мечтала, считая невозможным, исполнилось так просто и легко. У знакомого адвоката заговорили, между прочим, о «Крейцеровой сонате», и я призналась, что мне и думать нечего ее прочесть (я вообще равнодушно относилась ко всем толкам и разговорам об этом произведении, именно вследствие невозможности прочесть его самой). П. П. засмеялся:

---

[39] Примечания: 39

«Крейцерова соната» Л. Н. Толстого подвергалась неоднократным цензурным запретам, однако расходилась во множестве неофициальных копий.

«Да вот, она у меня, не хотите ли посмотреть?» Я удивилась, едва скрыв свое смущение. — Хоть бы «посмотреть» — и то хорошо. — Принес. Я осторожно полистала; вероятно, на моем лице изображалась смесь удивления и почтения, которое я чувствую ко всем произведениям Толстого. Заметив это, кругом засмеялись. Шутя, я уверяла всех, что буду помнить, по крайней мере, как держала в руках эту тетрадку. Мне очень хотелось попросить ее прочесть, но я не смела, считая это невозможным. Вдруг, к моему великому удивлению, П. П. предложил мне дать ее прочесть. Я обрадовалась и на вопросы — не узнает ли мама — сказала, что никто ничего не узнает. — «Мы с вами вступаем в заговор», — смеясь заметил адвокат. Я простилась и ушла с драгоценным свертком.

22 апреля

Только что кончила читать «Крейцерову сонату». Я читала ее, наслушавшись разных суждений и толков, которые сводятся к одному: окружающая жизнь становится противной и гадкой вследствие страшно тяжелого впечатления от произведения. Содержание, само по себе, действительно ужасно. Рассказ Позднышева — это целая

поэма страшных страданий, почти беспрерывных нравственных мучений. Невольно удивляешься, как это люди выносят такую жизнь? Но и Позднышев не вынес ее до конца, иначе — он сошел бы с ума. Тонко и глубоко затронул Толстой все стороны души человеческой… Но, может быть, вследствие моего полного незнакомства с отношениями мужчин и женщин, незнания жизни и каких-то страшных пороков и болезней, — на меня «Крейцерова соната» не произвела чрезвычайно сильного впечатления, и, прочтя ее, — я не усвою себе «мрачный взгляд на жизнь»…

14 мая

Я писала в прошлый раз о «Крейцеровой сонате», но мне так хотелось спать, что я прервала свои рассуждения. Может быть, это и хорошо?

Я помню, когда читала «Анну Каренину», то зачитывалась ей до того, что все забывала: мне казалось, что я не существую, а вместо меня живут все герои романа. Такое же ощущение испытывала я, читая «Крейцерову сонату», она притягивала меня к себе как магнит. Это чисто физическое ощущение. «Крейцерова соната» не только не произвела на меня «ужасного» впечатления, а наоборот: я и прежде любила произведения Тол-

стого, теперь же готова преклоняться пред ними. Многие писатели описывали и семейную жизнь и стремились дать образец народной драмы — и никто из тысячи писателей не создал ничего подобного «Крейцеровой сонате» и «Власти тьмы». Я жалею, что мое перо не может ясно выражать моих мыслей. Я могу сказать, но не написать; говорить легче… Пока жив Толстой, пока он пишет, — нельзя говорить, что наша литература находится в упадке: Толстой сам составляет литературу. Теперь то и дело раздаются сожаления: талантов нет, посредственностей много, ничего хорошего не пишут. Ну и пусть талантов нет и посредственностей много: гений один стоит всех талантов и посредственностей. Оттого-то они и редки. В нашей литературе в один век явилось три гения; явится ли столько же в будущем столетии? — Навряд ли. — Так имеем ли мы право жаловаться? — Нет, нет и нет… Может быть (!), я буду иметь случай прочесть «Исповедь»[40] Толстого. Вот бы хорошо!

---

[40] Примечания: 40

«Исповедь» Л. Н. Толстого также была запрещена цензурой до 1906 года и распространялась в копиях.

18 мая

Экзамены кончились, и всеми нами овладело какое-то грустное настроение. Не было и тени радости. Нам было грустно, оттого что скоро придется расстаться друг с другом и многие из нас вступят в жизнь. Это «вступление» в настоящую жизнь не для всех приятно, главное же — никто из нас не знает, что кого ждет впереди. И теперь всем было как-то тяжело и скверно; заглядывая глубже, можно думать, что нам было бессознательно грустно от неясного предчувствия ожидающей нас будущности. Эта будущность темна; поприще наше, к которому нас подготовляли, — трудно и неблагодарно и непосильно многим из нас. Мы проживем — и не останется от нас на земле даже камня, по которому могли бы узнать о нашем существовании. Нам предстоит темная, безвестная жизнь; вот уж справедливо можно сказать: «над миром мы пройдем без шума и следа…»

О, как была бы я рада окончанию курса, если бы мне завтра же исполнилось 21 год! Но я должна потерять четыре лучшие года для настоящего вступления в жизнь. «Ужасно, ужасно, ужасно!» — могу я воскликнуть, как Гамлет…

23 мая

Сегодня мне П-ская объяснила все для меня непонятное, и я впервые в жизни узнала столько гадости и мерзости, что сама ужаснулась. Она мне объяснила смысл слов — изнасиловать, фиктивный брак, проституция, дом терпимости… это ужасно мерзко, отвратительно… Так вот в чем состоит любовь, так воспеваемая поэтами! Ведь после того, что я узнала, любовь — самое низкое чувство, если так его понимают… Неужели Бог так устроил мир, что иначе не может продолжаться род человеческий… К моему величайшему изумлению, оказалось, что и здесь, в Ярославле, существует дом терпимости, несчастные женщины проживают там с желтыми билетами… О позор, стыд, унижение! Как их мне жаль! Лучше бы им не родиться никогда… ведь это — ужас! У меня теперь точно глаза открылись. Бог все премудро устроил, но из этого люди сумели сделать величайший, безобразнейший из грехов; Он справедливо наказывает таких людей страшными болезнями, и болезней этих не надо лечить, — это наказание. Но где же нравственность? Где священники и церкви? Просто голова кружится…

30 мая

Вчера в последний раз мы одели форменные платья, в последний раз сделали официальные реверансы, собравшись в зале, и получили свидетельства… Сердце сперва готово было разорваться от тысячи разнообразных ощущений: весело и грустно, жалко и страшно… Но потом… В последний раз, расставаясь, может быть, навсегда, крепко обнявшись, мы сказали друг другу «прости». Тяжело было прощаться с друзьями, с которыми провели вместе столько лет, и мне вдруг стало очень жаль гимназии, классных дам, товарищей, всего, к чему привыкла за пять лет и что от души полюбила. Мне вспоминаются стихи Тютчева: «Прости, о родина, прости!»…

Проходите скорее, 4 года! Что я буду делать в ожидании совершеннолетия — это еще вопрос, а о том, что буду делать после, — о, это я уже решила! Вот тогда… но нет, не буду писать. Трудиться на скромном педагогическом поприще я решительно не считаю себя способной; надо искать другого пути, и я его найду… Все мы пойдем разными путями жизни, и пусть они будут счастливы для нас…

Смешно теперь читать эти таинственные недомолвки! А ведь мною уже давно решено идти на курсы. Только привычка к скрытности и опасение, что дневник попадется в посторонние руки, мешали мне высказывать свои задушевные мысли и желания.

31 июля

Перед тем как поместить в газете объявление об уроке — мною овладело раздумье: что я хочу сделать? Ведь объявления об уроках помещаются только нуждающимися в них бедными людьми. А я-то? Мое желание иметь урок — разве это не каприз? Мне он нужен только для того, чтобы иметь свои деньги, карманные деньги, которых мама давать мне не соглашается. Знакомых у меня нет, следовательно, уроков мне доставить никто не может, я и придумала поместить объявление.

Что сказал бы на это мой гордый и самолюбивый отец? В поисках уроков есть всегда что-то унизительное… О, наверно, папа запретил бы мне и думать об этом, если б узнал, что его родная дочь, не менее гордая, чем и он, сама решилась поместить объявление, как самая последняя городская учительница…

В руке у меня был клочок бумаги с написан-

ным объявлением; стоило разорвать его — и все кончено… Такие мысли волновали меня, но… Рубикон был перейден…

2 августа

Объявление начинает приносить «плоды»: бабушка пришла в ужас, мама очень недовольна, говорит, что я прославилась на весь город, молчит, грозы пока нет, но для меня хуже всего это молчаливое гонение. Все и всё против меня. Теперь я готова сознаться, что поступила довольно необдуманно, не сказав никому ни слова; за эту выходку мне придется поплатиться.

На семейном совете решено: прекратить печатать объявление и не пускать меня на Французскую выставку в Москву.

30 октября

Как давно я не писала дневник! Почти 3 месяца! Это занятие почему-то не доставляет мне никакого удовольствия, как прежде. Жизнь моя — полнейшее однообразие, утомительная, монотонная… Всему причиной мать: она губит мою молодость, она затягивает меня в болотную тину своего болезненного существования. Теперь меня

держат взаперти. Нет, это невозможно! Кажется, что не хватит сил для такой жизни…

1892 год

8 января

Как сон, прошли эти дни Святок — я веселилась. Теперь я все-таки успела ближе познакомиться с обществом, хотя меня держат слишком строго, наблюдают за мной постоянно, находя, что я еще очень молода для частых выездов. Действительно, я моложе всех барышень, у меня нет такой представительности и самоуверенности, но ведь это приобретается привычкой… Мне уже смешно себя вспомнить прошлогодней гимназисткой, которая дрожала как осиновый лист, подавая впервые в жизни руку гимназисту.

1 марта

Боже мой, до чего гадка моя жизнь! Ты, в руках Которого наша жизнь, — неужели Ты не можешь послать мне избавления? Я не знаю, что теперь выйдет из меня: характер мой стал несносен, и все более и более разгорается во мне ненависть к этой жизни…

Жить так, чтобы не знать, что будет с тобою

завтра, — вот что увлекает меня; лучше работать и ходить босиком, но быть спокойной в душе, нежели носить туфли, ничего не делать и постоянно волноваться о самой себе. Христианство запрещает самоубийство, но будь я язычницей — меня уже с 14 лет не было бы на свете.

Мир прекрасен, но если всякое стремление к нему из своего крошечного мирка запрещено и осмеивается — тогда жизнь не жизнь, а какой-то тяжелый, бесцельный сон. Для чего я теперь существую, что, в сущности, делаю, на что уходит этот год моей жизни? — Вот вопросы, на которые я могу дать правдивый ответ, но мне его больно сказать…

10 марта

Я начинаю, так сказать, снова мой дневник. Все, что написано мною раньше за все эти четыре года, представляет только внешнюю, малоинтересную связь событий. Я делала это из боязни и скрытности, но теперь все это оставлю. Я даже рисовалась иногда в дневнике, но… повторю слова Марии Башкирцевой: «к чему лгать и рисоваться?» — в особенности мне. Написав свой дневник, Мария Башкирцева думала оставить «фотографию женщины» и ошиблась: ее

дневник, выходящий из ряда обыкновенных, не может представить «фотографию женщины» — в нем она писала искренно и правду, что я делаю очень редко относительно себя самой, скрывая бóльшую часть того, что думаю.

Итак, я начинаю новый дневник. Всякий, кому он попадет в руки, подумает: «И с чего эта такая маленькая, безвестная девушка начинает вести дневник, как будто бы он кому-либо представит интерес». Но я веду его только для себя, и мне незачем скрываться…

13 марта

Это как бы предисловие к моему дневнику. Я буду писать о себе, еще одной «фотографией женщины» будет больше. Но я женщина изломанная, если можно так выразиться, я полна противоречий самой себе, у меня неровный характер. Прежде всего, — что я такое? я и сама не могу сказать. Находятся люди, называющие меня странной. Это неправда: я очень обыкновенна; даже моя наружность — мое отчаяние, — с каждым днем я все более убеждаюсь в простой, но неприятной истине — что я урод или очень некрасива. А такое сознание в 17 лет ужасно. Я обожаю красоту, в чем бы она ни выражалась. Во

мне нет также той привлекательности, которая заставляет и некрасивых казаться красивыми; я не интересна, и никогда ни один мужчина не найдет удовольствия в беседе со мною. Говорят, что я много читала, — и это вздор: читала кое-что без разбора, что попадалось под руку. О моих способностях все и всегда были почему-то высокого мнения, но я совершенно не знаю математики, хотя и кончила с медалью курс гимназии. Судьба дала мне огромное честолюбие, большие планы… но совсем не дала данных для исполнения всех и удовлетворения зверя, грызущего мое сердце. Боже меня сохрани быть завистливой, но я иногда не могу не жаловаться на эту злую мачеху… Если бы случилось так, что я должна была обеднеть, — то могла бы жить, как Диоген, в бочке. Это известно маме, которая ужасно боится 3 %: если их будут выдавать, то доходы наши должны очень уменьшиться. Я вся состою из крайностей, а потому и думаю двойственно: если это так, то так, а если иначе, то иначе, мне все равно. Я чувствую, что жизнь в нашей семье заставит меня возненавидеть семейную жизнь. Я никогда не выйду замуж, в чем для меня нет беды. Мое одиночество в семье заставляет меня сильно страдать, меня никто не любит; должно

быть, — лишний человек в семье. Это чувство ужасно, и я постоянно молюсь, чтобы как-нибудь избавиться от такой жизни. Напрасно: Слышащий всех — не слышит меня. Впрочем, я, кажется, богохульствую, чего не должно быть в дневнике молодой девушки. Можно быть пессимисткой, только не по отношению к религии. Однако я не смотрю слишком мрачно на жизнь: она очень интересна и занимательна для всякого, и я сомневаюсь, что из двух лучше: умереть, не зная и не увидев жизни, или же умереть, вполне изведав ее со всеми ее дурными и хорошими сторонами. В первом случае — полное неведение; во втором — знание великой науки — науки жизни…

2 апр. Вел. четверг

Сегодня в церкви, под звуки печального пения, я вдруг почувствовала, что не могу дать ответа на вопрос: что такое Бог? Давно перестав думать о Нем, — не понимаю Его. Глаза мои наполнились слезами, горло сжало, мне стало страшно, и я упала на колени, упрекая себя за неверие, — грех, в котором до сих пор никогда не была виновата в детстве, ибо мысли о Боге для меня были самыми лучшими.

Начали читать Евангелие. «Да не смущается

сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Это краткое изречение мне кажется почему-то полнее, выразительнее и торжественнее других… Именно так: «да не смущается сердце ваше»… Эти слова, как и всегда, произвели на меня впечатление: казалось, что Сам Бог говорит нам, и мой смущенный ум сразу успокоился…

8 апреля

Время бежит неудержимым потоком… Когда я думаю о смерти и о следующей за ней вечной жизни — то испытываю такой невыразимый ужас, что не могу успокоить себя ни молитвой, ни чтением Св. Писания, ни научными размышлениями, — и живу со смущенным сердцем… Как жалок ум человеческий, если он не может иметь понятия о вечности! Ведь мы не задумываемся о той вечности, которая сотрет и изгладит весь след нашей «вечности», нашего «бессмертия». О, людской род, достойный слез и смеха! Как мало ты думаешь о смерти!.. Хорошо подобно Паскалю видеть всегда пропасть рядом с собою. Это может от многого уберечь. Но не все люди — Паскали, и не все святы.

15 апреля

Приехала из Нерехты, была там только два дня, и они пролетели как сон. Милая Нерехта! твой воздух действует на меня благотворно, я оживляюсь при одном твоем виде; самый звук твоего названия приятнее мне всякой музыки. О, скорей бы лето! Я опять уеду отсюда, из этой мучительной каторги, именуемой семейною жизнью! В ней нет для меня ни умственных, ни нравственных интересов…

16 мая

Сейчас я думаю, что такое представляет мой дневник? Это журнал «одной из многих». Да! много нас описывают в романах, но… мне кажется, что все-таки в них есть доля фальши. Может быть, найдутся наивные люди, которые спросят: кто это «мы»; я отвечу: «мы» — девушки, окончившие и не окончившие курса гимназии, желающие продолжать свое образование далее, но не находящие в семье ни сочувствия, ни поощрения, а, наоборот, сильное сопротивление… Прибавить к этому мои безумные мечтания, мое страстное желание учиться, и вы поймете, каково мне жить.

Почему всякое, даже самое маленькое желание заниматься — у мужчины встречается с похвалой и одобрением, а у женщины — с недоверчивой усмешкой и порицанием? Почему девушки с мечтами о «курсах» встречаются очень часто, курсисток же, однако, немного? Говорят, эмансипация в России сделала большие успехи, но мне кажется — нет: кто знает, какие таятся воззрения на женское образование в глубине исконно русских семей, в глубине сердец матерей? Статистика показывает одно, а жизнь — совсем другое.

Ростов, 1 июня

Есть что-то невыразимо приятное во встрече и разговорах с чужим, но родным по чувству человеком. Это освежает ум и мысли, чувствуешь себя вполне счастливой, когда тебя понимают… Здесь я без счету раз ездила в церковь и за акафисты, и за обедни, и за всенощные, с удовольствием посещала монастыри Троицы, Яковлевский и др. Церкви Ростова отличаются богатым убранством, из монастырей Яковлевский — где почивают мощи св. Димитрия — мне очень понравился; несколько печальный напев монахов за акафистом — «радуйся, Димитрие, Ростовский чудотворче» — производит грустное,

благоговейное впечатление… По-моему, посещение церкви — дело столько же набожности, сколько и привычки: есть люди, не могущие обойтись без обедни утром, как иные — без театра вечером. Горячо молясь за длиннейшим акафистом или Херувимской, я порой начинала мечтать… Человек никогда не должен забывать, что он сотворен по образу и по подобию Божию и что он смертен. Имей каждый эти две мысли в голове постоянно, вдумывайся в их смысл, и мир избегнул бы большинства зол своих. Но… мы все ослеплены сиянием того мира, над которым человек же признан царем…

16 июня

Когда я пишу эти строки, — слезы навертываются на глаза и рука невольно дрожит. Я видела весь ужас смерти… Мой крестный был безнадежен, и вчера утром, когда я пришла к нему, — жена его встретила меня с заплаканными глазами: «Он умирает». Я бросилась в спальню и… чуть не вскрикнула от страха и жалости: он лежал с открытыми глазами и ртом, никого не узнавая и тяжело хрипя. Я откинулась в угол, испуганно посмотрев на это страшное зрелище: смерть уже была здесь… ужасно было ее приближение.

Доктор сказал, что больной еще может прожить около суток: мозг уже был поражен, но отчего последует смерть, от наростов в мозгу или от кровоизлияния, — неизвестно…

Томительно потянулись часы… И вся погруженная в думы, прислушиваясь к тяжелому хрипению умиравшего, ходила я из угла в угол по комнате… В первый раз в жизни я видела так близко наступление смерти и обратилась к религии. Есть что-то утешительное в вере… Надо веровать. Вот уже скоро душа покинет свое тело… что будет чувствовать она, какова будет жизнь души после смерти, что ждет ее? Я вся замирала под гнетом этих мучительных вопросов — смерть и вечная жизнь грозно встали передо мной — и мысли спутались в моей голове…

К вечеру призвали священника: начали читать отходную. Это чудные, страшные молитвы, эти святые слова заставляли меня плакать, и, стоя на коленях, при мерцающем свете лампады, в темной комнате, я заливалась слезами. Плакали все, и смерть была близко…

Наступила ночь, страшная ночь. С крестным сделалась перемена: хрип перешел в стон, и этот беспрерывный стон привел меня в ярость. Я металась по комнате, бросалась ко всем иконам,

прося Бога или о смерти крестного, или об его выздоровлении. Я была зла на всех и на себя за то, что не была в состоянии помочь ему. Наконец, утомившись от гнева и молитв, все еще слыша стоны, я немного прилегла на диван и заснула. Проснулась, вскакиваю и бегу: крестный все так же. Мне вдруг представилось, как через несколько часов в зале будет стоять гроб, как будут петь панихиду… Я вздрогнула невольно, и мне опять стало страшно…

А смерть безвозвратно брала свое: крестный перестал уже стонать, только прерывисто и тихо дышал… В спальне было темно. Собравшись все в ней, мы стали молиться. Крестный дышал все тише и тише; вот он тяжело вздохнул, открыл рот, сказал что-то, слышно было, будто кровь перелилась по всему его телу, еще один вздох… Мы замерли. Я откинулась в угол и рыдала неудержимо. Так стояли мы несколько минут. Крестный не шевелился, глаза его остановились… Открыли стору, и яркий свет озарил темную комнату: перед нами лежал мертвец. Невыразимое чувство ужаса, охватившее меня в момент смерти крестного, — заменилось вдруг спокойствием, покорностью неизбежному. Мои рыдания утихли, и я чувствовала, что более не заплачу. Только

при переносе тела на стол я вскрикнула от испуга, когда раскрытые глаза и рот его обратились ко мне…

О, мой милый, мой дорогой крестный! Как жаль мне тебя, твоей несчастной жизни и твоей смерти!

17 июня

Жизнь идет своим чередом…

Меняя каждый миг свой образ прихотливый,
Капризна как дитя, и призрачна как дым —
Вокруг трепещет жизнь тревогой суетливой,
Великое смешав с ничтожным и смешным…

Завтра уже крестный будет тихо и спокойно лежать в могиле, а мы снова уйдем в свою маленькую, ничтожную жизнь. Я не хотела бы умереть, не оставив после себя никакого следа на земле; это желание безумно с моей стороны, но… что же делать, я пишу правду. Пусть хоть немножко моя личность не будет забыта, пусть хоть в этом

дневнике сохранится отчасти мое «я» со всеми волнующими его мыслями. Впрочем, я маленький человек, и кому могу быть интересной?..

27 июня

Все эти дни я была в странном настроении и никак не могла избавиться от страшной тоски, которая овладела всем моим существом. Постоянно читая старинную книгу — «Глас трубный, зовущий на суд», — я всеми мыслями была в мире загробной жизни. Это мистическое настроение, смешанное с каким-то страхом смерти и вечности, в которую рано или поздно войдем и мы, доходило иногда до такой степени, что я думала, не схожу ли с ума. Но в то же время я удивительно спокойно относилась ко всему окружающему: все наши дрязги и заботы житейские казались такими ничтожными, мелкими пред вечностью, что мне было стыдно волноваться из-за них. Теперь понимаю христианскую философию… Если бы теперь я стала нищей, — ничто не нарушило бы мое ясное настроение.

Нерехта, 28 июня

Я в Нерехте! Опять на родине, дышу ее зна-

комым воздухом, гуляю в нашем милом саду, который год от году все более и более разрастается. Чудо как хорошо здесь! Я буквально не помнила себя от радости, когда приехала сюда, и как маленькая бегала по комнатам. Каждое зеркало отражало сияющую розовую физиономию и блестящие серые глаза, они улыбались мне, и я сама себе показалась хорошенькой…

В ясной синеве неба сияет солнце, кругом тишина, и у меня на душе, вечно взволнованной, спокойно и ясно, как это небо. Без страстей и горьких дум я живу здесь и наслаждаюсь, мне все дорого, все мило…

Надев длинную блузу, я завязываю ее шарфом выше талии, собираю свои белокурые волосы высоко на затылок большим узлом, расчесывая их спереди, и получается фигура начала нынешнего столетия, фигура прабабушки в молодых годах, с высокой талией, с наивным улыбающимся лицом… Ребячество!

Ах, если бы вы знали, какие здесь чудные вечера! Я жалею, что не поэт, что я не могу описать всю эту прелесть засыпающей природы, эту ночь, которая спускается на землю тихо и незаметно, точно боясь людей напугать своим внезапным приходом… Я долго гуляю в саду, смотрю на небо,

звезды сверкают одна за другой, а тень от кустов и деревьев становится все гуще и гуще, шелестит тихо ветер, кузнечики стрекочут в кустах, становится темно… И поздно вечером я возвращаюсь домой…

Как прав был поэт, сказав:

Сохраняется дольше в глуши
Первоначальная ясность души[41].

Я похожа на Антея, который с прикосновением к матери-земле получал от нее новые силы…

29 июня

Один великий философ сказал правду: познай самого себя. И это оказалось трудным: человек все знает, только не может пустяка — знать себя. Точно так же иногда властители мира владеют миллионами людей и не умеют владеть собой. Казалось бы, чего проще? Знать себя и владеть собой может каждый человек. А между тем есть ли на свете такой человек, который и то и другое знал бы в совершенстве?

---

[41] Примечания: 41
Цитата из поэмы Н. А. Некрасова «Саша».

30 июня

Холера!.. Бедствие это надвинулось в наши края… Матушка глушь уездная — наша Нерехта — чистится, осматривается санитарами, совсем по-столичному. Строится барак за городом, в поезде железной дороги ходит белый вагон. В церквах читают особые молитвы, служат молебны, совершают крестные ходы. Я была у Троицы в селе. Народу — масса, священник читал специально для «народа» написанную простым разговорным языком проповедь. Любопытно знать, какое впечатление произвела она.

1 августа

Жестоко ошибаются те, кто считает жизнь пустой, ничтожной, скверной, да и вообще все, которые недовольны жизнью, потому что от человека же зависит сделать ее бессодержательной или прекрасной и высокой…

В эти дни я кончила немецкие переводы и думаю приняться за лекции о сущности религии Фейербаха. Судя по введению, они будут интересны. «Учитель Лингвист» спокойно отдыхает на бабушкином столе, а итальянская статья тщетно

старается обратить на себя мое милостивое внимание: заниматься пока еще лень.

4 августа

С берега Кострома — точно русская купчиха расползлась в ширину. Самое замечательное в ней — Ипатьевский монастырь. Я была там, но признаюсь, не вполне довольна его посещением: как простым смертным, нам можно было войти только во дворец и церковь, осмотреть только поверхностно, слушая объяснения сторожа, вроде: «вот комната Михаила Федоровича, здесь его спальня, зала». Видела также гробницы Годуновых. Я очень люблю старину, а тут каждый предмет переносит мысль за сотни лет, в другой мир, к другим людям. Какое-то смутное чувство охватило меня, когда я вышла из монастыря: он очень древний, все в стенах его дышало стариной, а в трех шагах от него — современный плавучий мост, покрытый грязью и извозчиками. Сразу из старины попадаешь в наш век — это и производит на меня ошеломляющее впечатление.

7 августа

В нашем роду сохранилась вот какая легенда.

Это было очень давно. Один из прадедов как-то много задолжал и не хотел расплачиваться с кредиторами. А в старину векселей не давали, верили на слово. Вот он и придумал, чтобы не платить, отречься от своих долгов, показать под присягой, что у него их никогда и не было. А так как все нерехтяне знали, что он много должен, то удивлялись, как он решается дать ложную присягу. И священники это знали, но думали, что он все-таки опомнится, — ведь присягой не шутят. Повели его присягать на гору, за Нерехту, в присутствии массы народа. Он, не смущаясь, стал присягать, но в эту минуту над его головою разверзлось небо, и среди молний голос произнес: анафема, анафема!.. С тех пор, говорят, род был проклят, а потому его теперь и преследуют несчастья.

Я горько плакала, впервые услышав этот рассказ, но и теперь отчасти верю ему… Такие легенды, помимо всего ужаса, имеют свою тайную прелесть: есть что-то действительно увлекающее и страшное в них. Грозный фатум обращается в Божие предопределение, и вера в судьбу как бы оправдывается указанием свыше.

12 августа

Когда я думаю, что вот уже скоро год, как я теряю время, и что впереди предстоят еще годы терпения, — страшное отчаяние охватывает меня. Я хочу одного, и только одного: учиться. Я чувствую, что слишком мало знаю и слишком неразвита, чтобы вполне вступать в жизнь. Все другие желания и страсти не существуют для меня; природа же нарочно создала меня так, что благодаря моей внешности все мечтания о счастье, любви — не для меня. Что толку в том, что у меня розовый цвет лица, красивые губы, белые зубы, тонкая фигура — все это еще не составляет привлекательности. Когда я слушаю рассказы моей приятельницы Сони о том, как в нее влюблялись, когда я вижу, что ее лицо разгорается, глаза блестят, и вся она в эти минуты смотрит настоящей красавицей — тогда я думаю, что представляю ей живейшую противоположность: чем больше она одушевляется — тем я становлюсь холоднее, она увлекается — я насмешливо улыбаюсь, и, право, не будь у меня такая мещанская наружность, я была бы похожа на Мефистофеля…

Что, в сущности, человек? т. е. такой обыкно-

венный человек, как и мы все? По-моему, это даже менее, чем ничто. Я удивляюсь, как это люди не понимают своего ничтожества: они создают себе свой особый, маленький мирок, в котором ставят кумиром свое «я», и стараются других подчинить ему. О, сколько недоверия и презрения испытываю я к таким людям… Я прежде не понимала, как можно жить своим трудом, без состояния, а теперь — отнимите у меня все, что я имею, и я пожалею только об одном, что с потерей средств я потеряю возможность изучать науки, но зато у меня разовьется другая сторона — человеческая. Важно, очень важно воспитать в себе эту сторону характера, потому что тогда научишься относиться ко всему спокойно и беспристрастно.

«Во имя Озириса, почивающего в Абутохе, я пишу истину» — так могу и я сказать, как древний египтянин в каком-то романе. Только разница в том, во имя чего я пишу эту истину. Я пишу потому, что чувствую непреодолимое желание, ничем не победимую привычку доверяться бумаге, все мои чувства занося сюда. Дневник — мой alter ego — живет со мной. В силу обстоятельств я не могу доверяться людям…

24 августа

Погода чудная, август хочет казаться маем. Я сидела сегодня в саду, на моей любимой полянке под липой; на мне обычное синее платье, на голове легкий белый платок с кружевами; грациозно прислонившись к дереву, я сижу на складном стуле и, обняв одной рукой толстый сук, поднимаю голову и начинаю… мечтать… Но как мне было грустно! Я плачу от радости, когда уезжаю сюда, и сколько горя, расставаясь с Нерехтой… С каждым стуком колес уходящего отсюда поезда — мое сердце замирает, слезы неудержимо бегут из глаз… Стоя у окна вагона, я вся сосредоточиваюсь на виде исчезающего города, оторви меня кто-нибудь от него в ту минуту — мне кажется, что я умру… Скоро меня уже не будет здесь…

Я опять смотрю и на небо, и на знакомые деревья, кусты и цветы, с моего места мне отлично все видно, и при мысли, что скоро-скоро я должна все это оставить, что я не увижу этой знакомой, дорогой картины, — страшно сжимается мое сердце, и, забыв все, я чувствую, как слезы душат меня…

Но закон и жизнь неумолимо ясно говорят мне одно: ты должна жить, как тебе прикажут, до двадцати одного года…

25 августа

Я теперь самостоятельна и должна сама о себе заботиться. Закон определяет с 17 лет положение сироты в имущественном отношении. В августе прошлого года мне исполнилось 17 лет, а в январе меня отделили, т. е. я подала заявление, и мне назначили попечительницу. Я получила в свое распоряжение все % % со своего капитала. Этих процентов, как и следовало ожидать, оказалось немного; конечно, жить можно, но в обрез, «прилично», но с расчетом во всем. Это очень хорошо, — надо только уметь распоряжаться этой небольшой суммой. Все равно, ведь и в 21 год, когда я получу капитал, — он не увеличится. Следовательно, немного ранее начать знакомство с житейской экономией — полезно.

28 августа

Моя милая родина, моя милая Нерехта! Скоро-скоро расстанусь с тобой! Сентябрь уже близко, и время отъезда наступает. Когда подумаю о нем — сердце замирает от горя. Прощай, тихая, светлая жизнь!..

Наконец решусь сказать здесь мою заветную

мечту, мою единственную тайну. До этого года я думала по совершеннолетии поступить на курсы, но мысль о потерянных годах заставляет меня поступить в один из швейцарских университетов. Какие знания нужны для этого, какие требования и формальности — ничего не знаю, я иду ощупью, на авось, с отчаянной смелостью слепого… Что-то будет? А пока в ожидании занимаюсь. Вот эта мысль — источник моего существования. Передо мной есть звезда, и я к ней иду… О, мое счастье! когда нужно — приди ко мне!..

Ярославль, 6 сентября

Чем чаще я сталкиваюсь с здешним обществом, тем более сознаю, что оно мне чуждо. С ледяным спокойствием наблюдая за ним, ясно вижу невозможность сблизиться и не делаю попыток к знакомству. «Что я Гекубе, что Гекуба мне?» Что мне общество и что я ему? И с приближением сезона, когда все заняты толками о кружке, о военном клубе, о туалетах — я сижу дома и думаю о предстоящих занятиях языками, музыкой, принимаюсь за латынь, хотелось бы поучиться и по-итальянски…

Как-то в газете я прочитала, что К-ская[42] заключила фиктивный брак, с целью уехать за границу для учения. Это меня поразило: такая мысль мне бы и в голову не могла прийти. Но зато и я не К-ская… Однако пример заразителен: что, если бы и мне сделать то же! Но здесь никто и не согласится, это невозможно. Притом я ведь получу свободу, но как долго ждать! А между тем к маме стали уже приходить свахи. Вот беда-то! что за народ!

7 сентября

Ах, если бы душа могла говорить! тогда она рассказала бы вам мои мученья… Пересмотрев латинскую грамматику и книгу упражнений Шульца — пришла в отчаяние. Нет! мне никогда не справиться с этою массою правил и слов, никогда не выучиться этому языку! Боже мой! Я занимаюсь с Володей всего четвертый вечер, прошла и написала шесть переводов, — ведь это пустяк, а мне уже 18 лет! А ему!!! И он все это будет знать, а мне не узнать никогда, никогда!

---

[42] Примечания: 42

С. В. Ковалевская, урожденная Круковская (1850–1891), математик, ради получения возможности продолжить образование вступила в 1868 году в фиктивный (позднее ставший фактическим) брак с В. О. Ковалевским.

Есть отчего быть в отчаянии…

— «Cur non respondes?»[43] — пресерьезно спрашивает меня Володя. — «Taceo et non respondeo»[44], — с уверенностью говорю я, потому что эти глаголы сходны с французскими taire и répondre[45]. О, почему ранее меня не учили ничему серьезно?..

15 сентября

Я представляю, кажется, человека, запертого в клетку, — не выйти ему из нее, так и мне выхода нет… Слышащий всех не слышит меня… И от бессильного отчаяния, страшной злобы, — я еще удивляюсь, как не разорвалось у меня сердце. Но жалобы бесполезны; только здесь можно свободно предаваться им, бумага — не человек, никому ничего не скажет. Впрочем, впереди у меня есть цель, к которой я иду, нужно быть терпеливой…

По-моему, разрешив вопрос — в чем цель жизни? — человек уже исполнил ее наполовину:

---

[43] Примечания: 43
Почему ты не отвечаешь? *(лат.)*

[44] Примечания: 44
Ничего не говори и не отвечай *(лат.)*.

[45] Примечания: 45
Умолкнуть и ответить *(фр.)*.

стремиться к достижению ее — составит и наполнит жизнь. Часто он так и умрет, не дойдя до цели, но и то хорошо, что он хоть шел к ней, хоть недаром жил. И до тех пор, пока я не буду вполне образованной, — у меня и быть не может другой цели…

19 сентября

…Очень редко, при взгляде в зеркало на свое свежее, розовое лицо с серыми глазами, которые, по выражению Сони, — смотрят «открыто и ясно», — мне думается, что я могу быть не хуже других, т. е. не некрасивой. Но здравый смысл, которого на все остальное мне часто не хватает, тотчас же останавливает всякие дальнейшие самообольщения: что издали кажется красиво, вблизи у зеркала теряет свою красоту. Впрочем, глупо жалеть о том, что не красавица: не всем же родиться прелестными, надо быть кому-нибудь и уродом. Но вот еще что: одна из гувернанток учила меня почти целый год кокетству, убеждая, что дело не в красоте, а в том, чтобы иметь право на внимание мужчин. Об этом-то последнем я никогда не заботилась, а она удивлялась и читала мне целые лекции. Я слушала, хлопала глазами и пропускала мимо ушей. Я знаю, что на это

неспособна, у меня нет той смелости, без которой кокетство, по-моему, невозможно. В глубине души я сознаю, что могу быть и оригинальной и интересной, умею поддержать всякий вопрос на общественные темы, могу ловко вывертываться из затруднения, когда разговор принимает нежелательный для меня оборот, могу говорить целый час, ничего, в сущности, не сказав, если нужно — притворюсь непонимающей, тонко сыграю роль беззаботной девушки, но все это мне редко приходится применять на деле. И притом это мое собственное сознание, а себе никогда нельзя доверять вполне. Точно так же я не доверяю и людям: излишняя откровенность всегда повредит. Вот почему дневники и всевозможные журналы стоят лучшего друга…

Я нахожу большое удовольствие писать дневник; для меня это привычка, потребность. Пусть статистики, дорожащие каждой минутой, высчитывают, сколько времени потратит человек в течение всей своей жизни на бесполезное исписывание страниц, — от меня далек подобный расчет. Но мне иногда припоминаются стихи:

Не унижай себя; стыдися торговать
То гневом, то тоской послушной

И гной душевных ран надменно выставлять
На диво черни простодушной.
Какое дело нам – страдал ты или нет,
На что нам знать твои волненья,
Надежды глупые первоначальных лет,
Рассудка злые сожаленья…[46]

Однако я успокаиваюсь тем, что эти стихи не для меня, а для тех, которые действительно напоказ думают и пишут. Когда же пишу я — делаю это только для себя. И кто будет иметь жестокость порицать меня?

30 сентября

Тоска страшная… Я сегодня не выдержала и залилась отчаянными, горькими слезами. Моя болезненная мнительность и чувствительность пробуждаются при малейшем поводе… Как скверно и тяжело быть вечно одной! Но, милая Лиза, тебя некому успокоить — ты сама успокойся. Рассудок — прежде всего. Никакие сентиментальности не должны заменять его.

---

[46] Примечания: 46
Цитата из стихотворения М. Лермонтова «Не верь себе».

О, если бы все это бросить, от всего освободиться! Я чувствовала бы тогда, вероятно, то же самое, что чувствует Н. М. Пржевальский, отправляясь в далекие путешествия. Но мне говорят: «не лучше ли вам выйти замуж?» О, я не так глупа, как думаете вы, свахи и кумушки… Лучше вынести эту домашнюю тюрьму три года и потом получить свободу, нежели из-за минуты отчаяния заплатить целой жизнью… А как я дорожу этим правом — свободно располагать своею личностью! Бог один знает, какое оно для меня недоступное сокровище.

Завтра Покров Пресвятой Богородицы. Боже всех, Бог Милостивый и Великая Святая Душа, — покрой нас, несчастных, Святым Твоим омофором!

13 октября

Мне кажется, что моя теперешняя жизнь должна несомненно отразиться в будущем и влияние ее будет гибельно. О, неужели я сойду с ума?! Боже, спаси меня… Я стараюсь всеми силами твердо стоять и не колебаться, усвоить себе тот философский взгляд на жизнь, благодаря которому Диоген жил в бочке и отшельники жили годами в пустынях. Но молодость берет свое, мне хочется

жизни, света, дела и знаний, словом — всего, чего я лишена и никогда не достигну, если буду так жить…

«Мать» — жестокое слово, которое для меня звучит горькою насмешкою, — отнимает у меня все, даже свою любовь ко мне, как своему ребенку. Но Бог с ней, если она меня не любит!

Читаю теперь «Государя» Макиавелли. Эта ужасная книга могла быть написана только в свое время. Читая ее, можно воскликнуть: «и до такой гадости, подлости мог дойти человек!» Эта книга — возмутительнейшая насмешка над человеком, она внушает мне глубокое отвращение и негодование. Автор ее полагает, что государь (Il principe) — какое-то особенное существо, которое, в силу неведомых никому прав, может располагать по произволу человеческой жизнью, справедливостью, честностью — всеми благородными чувствами. Когда я прочла похвалу действиям Цезаря Борджиа — я бросила книгу на пол. Меня возмущает, что один человек только потому, что он носит название Государя, имеет право располагать всем. Нет сомнения, что эта книга была достойной своей эпохи. Рассуждения Макиавелли на первые три книги Тита Ливия очень интересны; конечно, нельзя не согласить-

ся, что все советы Государю внушены глубоким знанием истории и людей; они дышат практической мудростью, но она-то и бьет через край!

Льстецы, льстецы, старайтесь сохранить

И в самой подлости оттенок благородства[47].

А здесь его и нет. Впрочем, это было, пожалуй, счастливое, наивное время, где всякий говорил откровенно, не скрывая своих дум. Мы, должно быть, стали утонченнее. Будь такая книга написана в наше время — автору не поздоровилось бы от нападок прессы и общества…

24 октября

Иногда, увлеченная Св. Писанием и примерами жития святых, — я решаюсь вести добродетельную жизнь, а иногда — совсем наоборот. Почему я такая? Но… Впрочем, вы не знаете, как я честолюбива; этого я не говорю *никогда и никому,* но в действительности — безумные мечты овладели мною уже с 13 лет. В этом глупом возрасте я уже мечтала о приключениях, о возможности поездки

---

[47] Примечания: 47
Цитата из эпиграммы А. С. Пушкина «Сказали раз царю».

в Абиссинию, чтобы выйти там замуж за негуса; в 15 лет я мечтала образовать женский университет в России и, вся поглощенная этой мыслью, таинственно заявляла в дневнике: «много надо времени и много надо денег…» Я все отдала бы за славу. И вот, мечтая таким образом, я в то же время вижу, как это все глупо, и голос рассудка твердил мне: «перестань»… но могу ли я?

Теперь читаю Коран Магомета, и это оригинальное произведение не производит на меня ни малейшего впечатления. Я одолеваю его с усилием, а все-таки читаю; ведь это, по меньшей мере, оригинально: читать Коран. О нем все знают, но немногие имеют понятие. Святые книги написаны не простым языком, а каким-то особенным слогом, который производит на нас неотразимое впечатление; такое же впечатление должен был произвести и Коран на арабов; хотя ему до Евангелия — как до звезды небесной далеко. Евангелие слегка напоминает восточный колорит языка.

Москва, 12 ноября

Сейчас вернулась из Большого театра, слушала «Жизнь за царя». Это лучшая из русских опер: все, что есть высокого, благородного в душе человече-

ской, — пробуждается, когда ее слушаешь. Театр, его обстановка, публика, костюмы — от всего этого у меня кружится голова, я положительно не могу писать, иначе выйдет какая-то восторженная чушь…

13 ноября

Я очень огорчена, смущена, вообще поставлена в недоумение: тетя заметила, что у меня совершенно детские манеры и я не умею держать себя солидно, по годам. Но что же мне делать? Для себя, в глубине души — я серьезна, положительна, но в глазах других — чувствую, что я какой-то смешанный, пестрый человек: одним кажусь серьезной, другим — ребенком (это для меня оскорбительно), третьим — умной (чего нельзя сказать). Что же это такое?..

16 ноября

«Сафо» Ермолова играла бесподобно. Меня поразил ее голос: глубокий, гармоничный, сильный — он проникает в душу, невольно приковывает все внимание. А лицо! — вся драма изображалась на нем, все, что не выражалось словами, — можно было читать в ее чертах. Это гениальная артист-

ка. Ее забросали цветами, сыпался дождь букетов, она улыбалась и посылала публике воздушные поцелуи. Как бы мне хотелось быть на ее месте!..

20 ноября

«Так жизнь молодая проходит бесследно!» Боже, дай мне другой жизни! Дай власти и славы, научи меня смирению, кротости, терпению и терпению.

Так и рвется душа
Из груди молодой,
Просит воли она,
Просит жизни другой!!![48]

Но бесполезны жалобы, просьбы и слезы… Впрочем, теперь пока здесь я счастлива и совсем забываю о доме и о своих.

22 ноября

Вчера умер Фет. Тот самый Фет, стихами которого я зачитывалась, считая чуть ли не бессмертным. Майков, Полонский, Фет — вот три писателя, на которых держится, как я думаю, вся

---

[48] Примечания: 48
Цитата из стихотворения А. В. Кольцова «Песня».

наша современная поэзия — и уже одного из них не стало! Что толку в том, что в России много поэтов! никакие Фруги и Надсоны не заменят и строчки Фета, возьмите их десятками тысяч, все же они — не он.

А 27-го праздновалось 50-летие со дня первой постановки «Руслана и Людмилы» Глинки. В Петербурге этот день прошел торжественно, а здесь и не вспомнили о нем. «Ах, Москва, Москва, золотая голова» — поется в песне, но на этот раз можно сказать: медная ты голова, так как только медный лоб не может понять значения этого дня для русской музыки.

3 декабря

Слушая оперу «Вражья сила», я впервые вполне ощущала, как музыка может выражать все движения души человеческой, как мои чувства сливались с грустными звуками русских мотивов… «Вражья сила» — это наше русское, родное: один вид кузнеца Еремки, народное гулянье на Масленице, эти песни и ряженые — все, все решительно нравится мне…

Может быть, вы будете удивляться, что я пишу почти исключительно о театрах? Что же делать! Театр производит на меня сильное впечатление,

я увлекаюсь и наслаждаюсь им.

7 декабря

Я буквально не вижу дня, жизнь здесь очень интересна, и, как вы видите, — мой дневник не наполняется всевозможными размышлениями. Сегодня, напр., снова была в театре. Каюсь, я не читала «Дмитрия Самозванца» Островского — и напрасно. Как трогательна и ужасна по простоте своей сцена царицы Марфы, сколько в ней нежности и тонкой любви материнского сердца. — «Где сын-то мой?» — спрашивает она в порыве неудержимого горя, и как поток слез начинается ее рассказ о смерти Дмитрия… Последнюю сцену выслушала с трудом: при громе пушек, среди возмущенной толпы смерть Самозванца ужасна, и невольно я в душе ощущала страх…

Ярославль, 13 декабря

Какая здесь тишина после шума и оживления Москвы! Приехав сюда, я в первый же день наслушалась безобразных сплетен, возможных только в провинции. То ли дело — Москва! Там человек незаметно исчезает в общей массе, он может жить спокойно, занимаясь чем хочет, одеваясь

как угодно, думать, как хочет, вообще — жить своею жизнью, не заботясь о мнении других, и если он не знаменитость — о нем никто не заговорит, его не заметят. Я испытала это удобство — быть незаметной, невозможное в провинции…

20 декабря

Сегодня, через полтора с лишком года по окончании курса — я получила диплом. Неужели для того, чтобы прочесть эти официальные строки с обозначением всех баллов и прав, — мне нужно было учиться семь лет? Неужели этот «прекрасный» диплом, эти «одобрительные» аттестаты и свидетельства выданы мне для того только, чтобы им лежать где-нибудь в сундуке «под крепким замком»?

О, если бы я, повинуясь порыву сердца, могла высказать все, что я думаю, о чем страдаю! Если бы я могла плакать теми отчаянными слезами, когда разрывается грудь от рыданий… Напрасно! мне не дадут свободы, — и ни слезы, ни угрозы не в состоянии сломить силу предрассудков, которыми, как каменной стеной, окружена моя жизнь.

На дипломе написано: № 15 229. Нас целая армия, всегда и везде мы останемся неизвестными, пропадаем в массе; наша судьба быть маленьким,

серењким человечком, червяком… Вот кто мы, которые, как и я сейчас, живем своей крошечной личной жизнью, строя из личных несчастий чуть ли не общественные катастрофы…

Над миром мы пройдем без шума и следа,

Не бросивши векам ни мысли плодовитой,

Ни гением начатого труда…[49]

24 декабря

Рождественская ночь! Торжественная и прекрасная, она пройдет для меня прозаично. В мои лучшие годы, когда дружба необходима мне, — нет никого, кому бы я могла сказать свои думы.

Печален я, со мною друга нет,

Кому бы мог пожать от сердца руку…[50]

Как пусто все кругом!

---

[49] Примечания: 49
Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Дума».

[50] Примечания: 50
Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «19 октября».

31 декабря

В сущности, я очень несчастна… в смысле счастья. Мои мечты и надежды не исполняются, домашняя жизнь так тяжела. Еще 12-летней девочкой, по смутному предчувствию, я твердила стихи:

> *Так и рвется душа из груди молодой,*
> *Просит воли она, просит жизни другой…*[51]

Значит, я тогда уже чего-то искала, заливаясь горькими слезами при мысли, что у меня нет цели жизни. О, детство, детство! Vita brevis, ars longa…[52]

О Боже мой! помоги мне! Дай мне больше разума, силы воли, у меня их так мало! Надо иметь веру. И я готова рыдать от отчаяния и молиться со всей силой веры, на которую способна. Прежде я умела молиться, целыми часами стоя на коленях перед лампадой.

Скоро-скоро старый год канет в вечность…

---

[51] Примечания: 51
Неточная цитата из стихотворения А. Кольцова «Русская песня».

[52] Примечания: 52
Жизнь коротка, искусство вечно… *(лат.)*

Тысячи людей с радостью и надеждой говорят «с Новым годом!». И я должна радоваться: еще шаг вперед по пути к моему совершеннолетию, а вместе с тем и к удовлетворению единственного желания — учиться.

— С Новым годом, господа! И, пожалуй, с новым счастьем! Оставив в стороне личную жизнь, отчего не пожелать всем добрым людям всякого счастья? Ведь понятие о нем до бесконечности разнообразно…

1893 год

7 января

Однажды я подумала, что мне можно выйти замуж за старика, не моложе 67 лет, очень богатого, умного, образованного, тонкого эстетика, знатока всего изящного, который бы меня вполне понимал и относился бы скорее как отец, нежели муж. По-моему, с таким человеком можно рассчитывать на 10 лет полного счастья, а потом… пожалуй, мне больше и не надо. Счастье очень хрупко, и если выпадет его лет 10 — и этим человек должен быть доволен. Но… нет идеалов в наш век, о них можно лишь мечтать, — так и мне не найти моего идеала…

Это я говорю между прочим. В сущности же я давно решила не выходить замуж за русского, а за француза. Не говоря уже о франко-русских симпатиях, — мне еще недавно пришлось узнать из книги, что от браков с иностранцами, т. е. от смешанных, родятся наиболее умные дети. А ведь, как хотите, очень приятно иметь умных детей…

30 января

Я окончила читать дневник Марии Башкирцевой. Он не произвел не меня ни малейшего впечатления. Личность автора — в высшей степени несимпатична. Отыщите хотя одну привлекательную сторону ее характера, укажите искреннее, сердечное движение в этой книге! «Я» переливается на всех страницах тысячами оттенков, от мрачного до светлого и наоборот. Не понимаю, как могли заинтересоваться этим дневником за границей: Гладстон[53] отозвался о нем как об одном из величайших произведений конца этого века; другие превозносят эту книгу до небес, потому что в ней будто бы «весь отразился век, век нынешний, блестящий, но ничтожный»[54], и Мария Б. была его самой типичной представительницей. Бедное XIX столетие! Оно отразилось в самолюбивом, слабом и безнравственном человеке! Неужели оно, подходя уже к концу, не заслужило более лучшего сравнения?.. М. Б-ва,

---

[53] Примечания: 53

Уильям *Гладстон* (1809–1898) — действовавший в то время британский премьер-министр.

[54] Примечания: 54

Цитата из драмы М. Ю. Лермонтова «Маскарад».

конечно, искренна в своем дневнике, она рисует себя такой, какой она есть; ее нельзя назвать талантливой, даровитость — вот ее блеск; но чудовищен этот ужасный эгоизм, под блестящей, прекрасной внешностью. Если дать прочесть эту книгу монаху, он скажет: «заблудшая, несчастная душа» и, пожалуй, будет прав. Горько видеть, как увлекаются в наше время подобными книгами…

Вы не подумайте, что я пишу это от женской зависти. Мало ли на свете людей, более стоящих зависти! Я знаю, что в глубине души своей я, в сущности, тоже нездоровый человек, мое нравственное существо, с одной стороны, истерзано, измучено безобразной домашней жизнью, с другой — как-то разбрасывается в разные стороны. У меня никого нет… нет в целом мире человека, который мог быть мне другом, у которого я нашла бы себе поддержку. Но если судьба предоставляет идти одной по своей дороге — нужно ли, смею ли я жаловаться на одиночество?

У меня есть книги, у меня есть разум, — вот кто может и должен быть моим другом. Надо заставить сердце молчать, тогда рассудок свободнее определяет.

1 февраля

Мне кажется, что, если бы я попала с самых ранних лет к хорошему воспитателю и меня учили бы всему, что мне хотелось знать, надлежащим образом направляя мое умственное развитие, — из меня вышло бы что-нибудь замечательное, и, если бы в наше время для нас, женщин, мечтания о великих делах, служении обществу были бы осуществимы — я увлеклась бы ими… Но меня оставили без внимания, а действительная жизнь так однообразна, так притупляюще действует на нервы, что возможно сойти с ума, не находя себе удовлетворения… Я теперь изучаю немецкую и французскую литературы, играю сонаты Бетховена, читаю Гёте и Белинского, учусь латыни, занимаюсь рукоделием, хожу за обедню, за всенощную. И только? и больше ничего? Так знайте же, — ни-че-го! И это называется «жизнью»… Порой на меня находит дикая злоба: я недовольна тем, что родилась женщиной; при взгляде на меня никто не поверит, что эти строки принадлежат такому маленькому, тоненькому существу с девической улыбкой и открытым взглядом серых глаз…

10 февраля

Перечитывая дневник за последние дни, я вижу, что это ни более ни менее как отчаянный крик неудержимого горя. Я с виду спокойна, равнодушна и бесстрастна, в глубине души призывая на помощь все, что есть во мне христианского, стараясь «смириться». Вот чего стоит мне это бесстрастие! «Надо покориться!» — Надо?! Когда хочется видеть весь мир, знать все, когда мечтаешь до головокружения о будущем?! Я бросаю перо и падаю на колени перед иконой Божией Матери…

10 марта

В эти дни по вечерам потихоньку, чуть не с запертыми дверями, я с увлечением читала «Петербургские трущобы» Крестовского, и сейчас, с первым ударом полночи, прочла последние строки романа. Сколько гадости и мерзости в нем! Я много прочла подобных французских романов, еще более сложных, но ни один из них не произвел на меня такого угнетающего впечатления. Быть может, потому, что все это наше русское, родное, где могут происходить подобные

безобразия, жить такие существа, как Касьянчик, Капельник и др. Роман, конечно, не бывает без интриги, но правда в нем есть… Разврат! О, это ужасное слово! Я бы хотела иметь миллионы, чтобы уничтожить его, освободить этих ужасных, жалких женщин… Однако все это одни наивные мечтания ребенка, я это отлично сознаю.

И погромче нас были витии,
Да не сделали пользы пером;
Дураков не убавим в России,
А на умных… тоску наведем…[55]

3 апреля

За эти дни из мелочей нашей жизни я постепенно пришла к заключению, ужасному для меня по своей прямолинейности и простоте: в семье я оказалась чужою! Лишний, ненужный человек, никто из семьи не любит его. Все к этому шло медленно, систематически, постепенно… Боже мой, как страдает мое несчастное сердце, как разрывается грудь от рыданий, которых я не стыжусь, потому что никто их не видит… Если бы вы знали это чувство, которое захватывает человека!

---

[55] Примечания: 55
Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Убогая и нарядная».

Но я слишком поддаюсь настроению, здравый рассудок должен быть всегда при мне. Что же теперь делать? Ах, — бросить все и бежать, бежать скорее! Как счастливы люди, не знающие всех этих мелочей жизни, невидимых драм, так часто разыгрывающихся среди нас незаметно и тихо. Но мы еще посмотрим! За минуту я плакала, теперь — не нужно слез! Не все еще в жизни состоит из одной семьи. Где-то я читала: «жизнь — борьба, с которой храбро надо драться...»

17 апреля

Я начинаю реже писать. О чем писать? Моя жизнь так убийственно однообразна, так несложна, что не стоит и задумываться над ней. А я сама? — Ведь таких миллионы, и все они думают, стремятся, мучаются, радуются и в конце концов умирают. Такова жизнь большинства нас, женщин: мы родимся только для того, чтобы, дав жизнь другим существам, заботиться о них, стушеваться за этими заботами и тихо, незаметно умереть.

Прямо передо мной портрет Наполеона I; я люблю подолгу смотреть на это прекрасное лицо, на эти необыкновенные глаза, и кажется мне, что лицо оживает, глаза загораются, и вот-вот

он встанет передо мною, мой обожаемый герой, пред которым невольно преклоняешься. Сила этого гения имеет для меня какую-то чарующую прелесть. Пусть говорят мне, что он презрительно отзывался о женщинах, — в наше время последний недоучившийся мальчишка может сказать то же, но без всякого права и основания. И если бы я жила во время Наполеона и была француженкой — я воздвигла бы ему храм…

Рядом с Наполеоном — карточка о. Иоанна Кронштадтского. Даже в этом мой смешанный, пестрый характер дает себя знать: в моей душе могут мирно уживаться и безграничное поклонение Наполеону, и почитание и вера в о. Иоанна…

19 апреля

Я плакала, читая «Страдания Вертера». Последние строки — «Милые, как они резвятся! Вместо моей сказки расскажи им историю несчастного друга» — невозможно читать без слез. Боже, как счастлив тот человек, который может создавать великие произведения, которые по прошествии ста и более лет живут, говорят прямо сердцу и невольно возбуждают людей к чему-то лучшему, высшему будничной жизни! Гении — счастливейшие избранники всего человечества. Смеясь

над невозможными любовными увлечениями или относясь к ним свысока-снисходительно, — я, читая Вертера, плачу над теми же страданиями, над той же любовью. Значит, есть в этом романе то, что трогает самые холодные сердца. Или мне, живущей исключительно головой, так незнакомо человеческое сердце, что истинное изображение глубоко трогает меня? — Не знаю… Но теперь нет Вертеров. А Шарлотты? Они-то, может быть, есть, но ведь Шарлотта без Вертера была бы ничто.

26 апреля

Сейчас я раскрыла наудачу Св. Писание и прочла в послании Иакова, гл. 4, стих 1: «И откуда брани и свары в вас?» и стих 2: «Желаете, и не имате, убиваете и завидите, и не можете улучите, сваряете и борете, и не имате, зане не просите». Меня это поразило: точно нарочно я искала этой главы, раскрытой наудачу. Есть что-то освежающее, утешающее в священных книгах, чего я не нахожу ни в каких других. Возьму читать Четьи минеи. С детства я не брала этих книг в руки; а маленькой — чтение их доставляло мне величайшее блаженство.

9 мая

В газете д-р Ласковский из Женевы дает предостережение девицам и женщинам, стремящимся к высшему заграничному образованию, что оно «представляет почти непреодолимые трудности», и «из 100 молодых девиц всего только 2 получили научную степень на естественном и медицинском факультетах», а остальные или умерли, или разъехались, не окончив курса. Ужас охватил меня: действительно, иметь твердое намерение ехать учиться — легко, но каково исполнить его? Как надеяться на свой ум, на свои способности, силы которых испытаны только в среднем учебном заведении, да еще в провинции. Я должна с гордостью признаться, что никогда не верила тем похвалам, которые мне расточали с детства: у меня, к счастью, было или много здравого смысла, или скромности. Впрочем, я не верила чужим оценкам моего ума и способностей больше всего по привычке критически относиться к суждениям других относительно себя. Обо мне так много судили неверно, что в конце концов я уже ничему не верю… Мои мечтания об университете! Но я осуществлю их!

10 мая

…Когда мой кузен расчесывал прекрасные волосы Вале — я с горечью вспомнила о своей длинной, но тоненькой косе; когда он взял ее руки в свои и стал их расхваливать — я со злобой смотрела на свои тонкие, некрасивые и слабые руки, неспособные почти ни к чему, на свою худую, неправильную фигуру… и один Бог знает, что творилось в моей душе. Гадко мне ревновать, и не об этом я думаю. Нет: похвалы наивного и простого мальчика тому, что действительно привлекательно, только ясно показывали мне, что если он не находит во мне ничего, то и никто другой не найдет этого. Урод! Урод! Я знаю, что я могла бы ему понравиться, если бы стала кокетничать, но гордость запрещала мне это. Не унизительно ли стараться обращать на себя внимание? Боже, за что же я такая несчастная?! Я плачу; но напрасно… Бедная Лиза!

18 мая

…Темная ночь, на улицах ни души, слышно, как моросит мелкий дождь… Перечитывая свой дневник, я нахожу, что он похож на записки

отчаянного пессимиста. И это — в контраст моей оптимистической роже?! Черт возьми, бывают же на свете противоположности!

10 июня

В Романове, накануне крестного хода, на который сходится масса народа из разных уездов и деревень, в соборе, полном молящихся, вдруг раздались крики: «Пожар, спасайтесь!» Ударили в набат. Произошла паника; все бросились бежать к выходу, а на лестнице сидело множество деревенских женщин, отдыхавших до всенощной; охваченная ужасом толпа, толкая друг друга, искала спасения через их головы…

Несчастные деревенские бабы! Я хорошо знаю их привычку тесными рядами усаживаться на лестницах церквей и на паперти, и поэтому-то главным образом они и пострадали при катастрофе: по ним бежала толпа, их головы топтали тысячи ног, и несчастные, не успев опомниться, встать, — были убиты.

Что произошло далее — нельзя описать… Убитых оказалось 136 чел., из них 126 женщин. Причина этой трагедии: когда работники затопили в соборе недавно выстроенную печь — послышался запах гари и дыма, и вдруг кто-то

крикнул зловещее слово… Священники продолжали богослужение, успокаивали народ, говоря, что никакого пожара нет, но с обезумевшей массой нельзя ничего было сделать, — и вот столько жертв, столько ужасных смертей! Боже мой, до чего еще темен наш бедный народ, если среди него могут случаться такие несчастия!

Спрашивается, где же была полиция? что делает городская администрация? Возмутительно и то, что даже не были посланы телеграммы в большие столичные газеты, а между тем находят же возможным и интересным сообщать об отъезде какого-нибудь французского полковника куда-нибудь на велосипеде. Как будто бы русским читателям интереснее знать имя спортсмена, нежели читать о подобных возмутительных и ужасных случаях! Как будто бы не своя рубашка к телу ближе! Как посмотришь на народ да послушаешь таких рассказов, так ясно станет, среди какой тьмы невежества и неразвитости блуждает русский крестьянин! Разве подобные происшествия мыслимы в Западной Европе? А тут — среди белого дня, в благоустроенном городе, повинуясь только слепому ужасу, — масса бежит, бросается из окон, убивается и убивает других до смерти. Может ли еще более озвереть

человек? Все те единичные преступления, о которых мы знаем, не могут произвести такого мрачного впечатления: здесь были сотни убивающих, сотни убитых… и, может быть, убившие — в свою очередь были убиты. Как только закроешь глаза — невольно представляется мне все это: трупы, стон умирающих, крик… Вот уж подлинно «стан погибающих», только не «за великое дело любви»…

Нерехта, 7 июля

С тех пор как я прочла статью Гнедича в «Русском вестнике» — «Вопрос о единобрачии мужчин», я уже не верю нынешним женихам и их любви. Меня возмутила не самая статья, а выписка из комедии «Перчатка» Бьернсона, где невеста возвращает жениху данное ему слово, потому что он знал до свадьбы других женщин. И вот вместо сочувствия несчастной невесте отовсюду поднимаются вопли негодования, и сам жених на вопрос возмущенной девушки — решился бы он жениться на падшей до замужества — тоном оскорбленной добродетели читает ей же (!) нотации, что всякий мужчина из его круга почел бы это за позор для себя… Им все можно, а женщинам они не прощают и еще считают

позорным союз с подобной себе: они же ее развращают, и они же смеют отворачиваться от нее, делаясь впоследствии «образцовыми» мужьями и отцами семейств. И это везде, везде! и в России, и за границей! О боже мой, боже мой! Точно что оторвалось у меня на сердце, я хотела плакать, но не могла…

Невольно я подошла к полке книг и перечла вновь «Крейцерову сонату». Каким глубоко нравственным произведением показалась она мне! Еще более я поняла величие гения Толстого в его откровенных признаниях, сознании испорченности, в призыве молодежи к нравственности! Это было известно всем, но Толстой первый осмелился говорить, и за это его обвиняли чуть ли не в разврате. Разговаривая со мной о «Крейцеровой сонате», мужчины все порицали это произведение с разных точек зрения, учеными словами и выражениями, и ни один из них не сознался, что Толстой прав. Они возмущались… О, как все это гадко!..

28 июля

Погода стоит чудесная. Я гуляю по тенистым аллеям сада в самом непозволительном костюме: рубашке и юбке, предоставляя свои открытые

плечи, руки и шею жечь солнцу и «прохлаждать» ветру. У нас в доме мужчин нет, и этот костюм в такую жару, уверяю вас, незаменим и прелестен по своей откровенности. Идиллия!.. Мне нравится ощущение солнечного тепла, и когда все другие охают и не знают, куда деваться от жары, — я с удовольствием иду по солнцу, чувствуя себя точно в паровой ванне: и горячо, и приятно… А вокруг меня благодать какая! Кузнечики трещат, цветы кивают головками, ярко светит солнце, небо голубое, воздух чистый и тишина всюду, тишина… Черт возьми, как это хорошо!.. Здесь я совсем обленилась, и лекции Фейербаха не раскрываются уже третью неделю. Раз в год, по приезде сюда, я отдыхаю, буквально забывая все.

6 августа

Поехали на богомолье в монастырь на Песочной. Было очень приятно ехать с восходом солнца, при свежем, прохладном ветре просыпавшегося утра. Я очень люблю всякие путешествия вообще, а на этот раз ехала еще на богомолье — и была в прекрасном настроении духа. В монастыре, повинуясь своей привычке, меня потянуло искать старинные памятники на кладбище, и вскоре среди скромных плит я нашла очень

оригинальный старый памятник, на котором с одной стороны был выбит в мраморном медальоне бюст мужчины екатерининских времен, с другой — красовался медный медальон с изображенной в профиль женской головой в греческой прическе, — это были, очевидно, муж и жена; под мужниным медальоном — герб и краткая надпись: «Конной гвардии ротмистр… Овцын, родился… умер 1805 г.», более ничего. Я долго не могла оторваться от этого интересного мавзолея: ни муж, ни жена не отличались ни красотою, ни знатностью, но однако оба хотели оставить потомству свои незамечательные физиономии. Суета сует!..

К вечеру нас позвали исповедоваться, но я отказалась, потому что, относясь к говению очень серьезно, я не могу себе представить исповедь и причастие так вдруг, без всякой предварительной подготовки к ним. А ехать на Песочную на два дня затем только, чтобы исповедаться и приобщиться, да еще в то же время погулять, шутить и смеяться, — я этого не могла применить к себе. И странно было мне видеть, как сразу, точно по команде, лица молодежи стали серьезными, сосредоточенными — и это выходило делано и фальшиво…

Ярославль, 16 августа

Я даже не дописала фразы в последний раз: перо падало из рук, я заснула…

Как всегда, мне очень жаль было покинуть родную землю.

Вчера был день моего рождения; уже два года жизни прошли бесплодно, незаметно, хотя за это время я многое увидела, узнала, не говоря уже о наружности, которая стала немного поприличнее. Ах, одно это сознание собственной негодности может довести до бешенства; к тому же я не выношу своего затворничества, насильственного спокойствия — оно вовсе не по моему характеру. Но… еще два года, и я свободна. Дай, Господи, терпение!

12 сентября

На сельскохозяйственной и промышленной выставке северных губерний меня очень привлекает и интересует отдел промышленности. Не сказывается ли в этом мое купеческое происхождение? Хотя мы уже числимся только почетными гражданами, но наши родные, все больше очень самостоятельные купцы, и целый

ряд моих предков, с какой стороны ни поглядишь — с бабушкиной, с дедушкиной, отцовской, материнской, — все торговые люди… Мне наиболее нравится в этом отделе резной иконостас удивительно тонкой и изящной работы… Я была на Французской выставке, и, конечно, наша местная промышленность далеко не так ушла вперед, чтобы можно было чему-нибудь удивляться; иные экспонаты были даже смешны, а платья, напр., во всяком случае не допустили бы выставить в окне московского магазина, но для провинции и это сойдет с рук. На выставке есть также павильон с плодами земными необыкновенной величины. Чего-чего тут нет: и репа, и морковки, и огурцы, цветная капуста, земляника, крыжовник — целое царство плодов и овощей. Глядя на эту благодать, глаза разбегаются. Такой павильон можно одобрить: он выстроен как раз вовремя — в холерную эпидемию, соблазняя всех назло докторским предписаниям не есть фруктов и плодов! В кустарном отделе стоит деревянный велосипед, изобретенный крестьянином. Мужичок очень симпатичной наружности стоит около своего бициклета и очень толково объясняет всем, как он выучился на нем ездить. Удивительный русский мужичок: он не платит 300 р. за

свое удовольствие, не выписывает себе стального коня из Англии, а из простого дерева строит подобную машину и катается себе, я уверена, не хуже многих наших велосипедистов…

Сказать откровенно, мне более всего нравятся на выставке приезжие помещики, съехавшиеся сюда из шести губерний. Они такие огромные, рослые, у них чудные фигуры и свежие лица, все в своеобразных костюмах не здешнего покроя, и наши ярославцы кажутся в сравнении с ними какими-то довольно жалкими пигмеями. Есть что-то сильное и здоровое в одном их внешнем виде, в манерах, разговорах; видно сейчас, что это люди земли, помещики, все им знакомо и всем они интересуются. В промышленном и кустарном отделах их почти не видно, зато в сельскохозяйственном и в ресторане…

20 сентября

Я прочла «Дон Жуана». Байрон удивительно соединяет в его лице невинность и порок; детскую ясность души с испорченностью рано развившегося юноши; поэма проникнута поэзией и цинизмом… и можно только удивляться этому «безгранично гениальному» произведению, как говорит Гёте. Мне кажется, в лице Дон Жуана

порок никогда не имел более привлекательной формы, нигде еще не описывалась любовь и падение так поэтично и вместе с тем так цинично, свободно и резко. Много раз читала я всевозможные циничные описания у Золя, но у него совсем нет поэзии: одна грязь, иной раз отвратительная по своей правде. А в «Дон Жуане»? — Вот отрывок: «Итак, свершилось! Сердца их соединились на уединенном берегу; звезды, венчальные свечи их свадьбы, проливали ослепительный свет на их пленительные лица. Океан был свидетелем, а грот их брачной постелью. Соединенные собственными чувствами, они не имели иного священника, кроме уединения. Они — муж и жена! Они — счастливы! Их молодые глаза видели ангелов друг в друге и рай — во всей земле». Когда я прочла последнюю песнь «Дон Жуана», я машинально взялась за «Онегина». Как похожи эти два типа и в то же время какая между ними разница!

22 сентября

Я сейчас раздевалась, чтобы лечь спать. Заплетая косу, я подошла к зеркалу, зажгла свечку. Рубашка нечаянно спустилась с одного плеча… Боже мой, какая жалкая, уродливая фигура!

Худые, детские плечи, выдавшиеся лопатки, вдавленная, слабо развитая грудь, тонкие, как палки, руки, огромные ноги, неприличных для барышни размеров. Такова я на 20-м году моей жизни. Я чуть не плакала от отчаяния. За что я создана таким уродом? Почему у сестер красивые, прелестные плечи, шея, волосы, маленькие ножки, а у меня — ничего, ничего?! И ведь никто не верит, что я считаю себя совершенно искренно уродом. О, дураки! они судят только по лицу, пока не обезображенному оспой… Да, только в одном дневнике можно откровенно признаться, невольно смеясь над собой: что может быть смешнее маленького урода, который много о себе думает, с сумасшедшими мечтами, всевозможными планами, жизнь которого вертится около своего «я», и… на которого, как и следует ожидать, никто не обращает внимания? Это может быть только смешным и глупым. Такова-то и я. И вот почему я никогда не думаю о мужчинах, — влюбленный урод смешон и жалок… Как приятно теперь жить с сознанием собственного безнадежного уродства! И мне хотелось разбить все зеркала в мире — чтобы не видеть в них своего отражения…

29 сентября

Странно, я постоянно должна скрывать все, что высказываю здесь. В наше время так мало ценят самую любовь; а естественное желание иметь близкое, родное существо, с которым постоянно хочется быть в общении, — такое желание прямо могут осмеять. Счастливцы вы, те, у кого есть друг — мать, сестра или брат! Мои же друзья — только книги и этот дневник…

7 октября

Прекрасен восторженный порыв всей Франции при встрече русских моряков. Никакой союз государей не может быть прочнее союза народного, не официально заключенного, но который тем прочнее, чем прочнее его духовные нити. Прием государя государем всегда окажется принужденным, восторги «народа» — по необходимости; когда же народ — сам радушный хозяин, — встреча выходит дружественная, братская, простая и величественная. Начитавшись описаний франко-русских торжеств, я готова теперь влюбиться во всех французов сразу и еще тверже решила выйти замуж за француза: мне нравится добрый

характер, живость, экзальтация и великий гений этого прекрасного народа.

12 ноября

В прошлом году в этот день я была первый раз в жизни в Большом театре, шла «Жизнь за царя». А теперь? — «Уж нет волшебной сказки». Я закрываю глаза, мысленно переношусь в прошлое и вижу опять все, слышу эту чудную музыку; мне кажется… Но что бы ни казалось, а я все-таки здесь…

В доме появились свахи; они взялись за дело очень усердно и по-старинному: предлагают «показать» меня женихам… О господи, мало, видно, еще подлости и гадости людской на земле! Наши женихи и обожатели, нажившись вдоволь со всякими… идут теперь справляться о приданом, о нашей нравственности, чтобы жениться «как все порядочные люди»!.. Я встала на колени и, вместо молитвы, горько заплакала. Но разве от слез люди станут лучше? Пусть смеются надо мной, пусть называют наивной девочкой, которая может молиться, прося Бога избавить ее от участи ей подобных…

20 ноября

Кончила читать (тайно от мамы) первую часть «Духа Законов» Монтескье, наслаждаясь новым, совершенно незнакомым мне предметом, увлекаясь ясностью изложения, проникаясь глубоким уважением к сущности сочинения и к его гениальному автору. «Недостаточно заставить прочесть, надо заставить мыслить», — говорит Montesquieu, и теперь у меня вся голова наполнена этой книгой. Сравнивая это произведение с «Государем» Макиавелли и время обоих авторов — один из них мне кажется дьяволом, другой чудным, светлым ангелом.

20 декабря

Если бы вы знали, какая у меня пустота в голове! Не знаю, отчего это: от влияния холодной погоды или от неимения мыслей. Если человек посмотрит на небо, он яснее поймет свое ничтожество; если он посмотрит в траву, где копошатся мириады насекомых, — он сознает себя царем природы. Откуда же такое странное противоречие? Отчего человек так полон контрастов? Я думаю, что мой дневник скоро будет похожим

на ряд отрывочных фельетонов, и какой-нибудь досужий насмешник может назвать его «фельетончиком моей жизни». Что ж, мало разве людей, вся жизнь которых представляет легкий, бессодержательный фельетон? Но моя жизнь бедна внешними событиями. Я описываю только свою личную жизнь и только для себя самой, конечно… Сестры подсмеиваются над моим занятием, которое обратилось в прочную привычку доверять все бумаге.

27 декабря

«Рыбаки» Григоровича… Как я была бы счастлива, если бы могла хоть однажды встретиться с автором. Чем-то нетронутым, свежим пахнуло на меня, забытое детство вновь стало предо мной, и вспомнила я, как увлекалась этой прекрасной идиллией еще маленькой девочкой.

Трудно передать теперь то чудное впечатление, которое сохранилось во мне: я инстинктивно чувствовала что-то светлое, прекрасное в этом произведении и долго жила этой радостью. Такого впечатления, перечитывая «Рыбаков», конечно, уже не получилось, и только о прошлом задумалась я…

29 декабря

Странно, во мне точно два человека: один — домашний, который живет в семье, болтает вздор, ссорится с матерью, а другой — живет совершенно особенно, своею внутренней жизнью, отдаваясь то радости, то печали. Это — мирок моих книг, учебников, мечтаний, сентиментальных бредней, мирок моих мыслей, моих чувств и впечатлений, который мне некому показывать, моя фотография, — одним словом, мой дневник. Первого человека видят во мне все и вовсе не одобряют; о втором никто не догадывается, да и знать никто не захочет: кому какое дело до меня? Я так и живу раздвоенно.

1894 год

1 января

Вот и опять Новый год. Вчера я гадала, лила олово, и мне вылился свадебный венец — все были в восторге. Но неужели это гадание действительно предвещает то, над чем я смеюсь: такая перспектива нисколько не привлекает меня…

Наверное, ни одна молодая девушка не проводит так этого вечера: в большом кресле, полураздетая, с распущенной косой, озираясь при малейшем шуме; украдкой увлекаюсь я Карлейлем, его замечательной книгой «Герои и героическое в истории».

7 января

Боже мой, до чего я дошла! Я назначила свидание студенту-репетитору, у которого тайно ото всех, через брата, доставала себе читать все последние книги[56]. Мое холодное бесстрастие девушки, поведение которой в отношении мо-

---

[56] Примечания: 56
В дальнейшем фигурирует в записях как «В.» и «студент».

лодежи безразлично, чисто как вода, — куда оно делось? Что, наконец, он подумает обо мне? Ведь, может быть, он не понял моей единственной мысли, заставившей меня решиться на подобный поступок: страха перед родными, если они обо всем узнают, и любви к чтению, потому что книги очень интересны и я их нигде, кроме него, достать не могу. Но, впрочем, безразлично, — пусть я окончательно упаду в его глазах; перед собой я сознаю, что не совсем виновата, что мне есть еще оправдание в этом смелом поступке. Будь что будет!

9 января

Обстоятельства мне благоприятствовали: мы встретились на катке, и я ему сообщила новый план для тайного чтения книг, без посредничества Шурки. Он его одобрил и долго говорил о той странной обстановке, в которой живет наша семья. Случайно разговор коснулся брака; мой собеседник очень удивился, когда я заметила, что отношусь к нему совершенно безразлично. «Вы рассуждаете как старуха! Слишком рано вы разочаровались в людях. Непременно надо вам

принести Макса Нордау»[57]. — «Что ж, если я так рассуждаю — этому меня научает жизнь», — грустно сказала я. — «Но потом вы можете очень раскаяться». — «Это почему же?» — «Да потому, что вы вдруг встретите человека, которого полюбите…» Я ожидала это возражение и приготовилась к нему. «Полюбить? Mercі! — засмеялась я, — этого никогда не случится». — «Отчего?» — «Я ни в каком случае не могу рассчитывать на взаимность, а любить так, одной, — против этого восстанет мое самолюбие». — «Но ведь в этом же вы не властны», — уверенно ответил студент. «Будто бы? Напрасно так думаете: это зависит от самообладания…» Я немного позировала перед ним; не знаю почему, но мне иногда доставляет удовольствие казаться хуже, чем есть в действительности.

11 января

Он принес мне «Исторические письма» Миртова, литографированные… Как я боюсь… но смелым Бог владеет! Вечером мама пригласила

---

[57] Примечания: 57

Макс Нордау (1849–1923) — врач-психиатр, писатель, публицист, был популярен на Западе и в России в конце XIX — начале XX века. Одним из объектов критики М. Нордау был Л. Толстой как автор «Крейцеровой сонаты».

его к чаю. Я узнала в нем человека несколько свободомыслящего, отрицающего богатство храмов Божиих (это «излишняя роскошь»), не признающего святых, сомневающегося в их действительной святости и в том, точно ли их души в раю или же где-нибудь в другом месте. Я много читала об атеистах в книгах, уверена также, что все студенты безбожники, но говорить с ними о религиозных убеждениях, к счастью, мне не приходилось. И сегодня, забыв свою обычную сдержанность, говорила много и слишком увлекаясь, так что со стороны, пожалуй, могла показаться ему даже смешной…

12 января

Печальный день… Папа, где бы ты ни был, знай, что я всегда помню и люблю тебя! Под звуки старинных мотивов, которые мама играла сегодня вечером, закрывая глаза, — я опять как будто очутилась в Нерехте, маленькой двенадцатилетней девочкой, в то памятное Рождество, когда мы приготовились покинуть ее навсегда… Тогда умер папа. Он был четыре года душевнобольным. Ясно помню, что в это время он ходил по дому, не узнавая уже никого из окружавших… Но папа продолжал любить нас: я его не боялась даже в

самые ужасные моменты его буйных припадков и неистовых метаний… И он бывал всегда кроток при встрече с нами…

13 января

В дружеской беседе подруга Катя пыталась склонить меня к равнодушному отношению к мужчинам, не оставшимся девственными до брака. — «Ты удивляешься? Но — увы! — все без исключений они таковы». — «Но ведь это же гадость, Катя, это нечестно!» — проговорила я, и слезы так и брызнули у меня из глаз. «Какая ты нервная, милая, — они же не могут оставаться чистыми, себя сдерживать, они лечатся от этого». — «И все-таки, — бессознательно повторила я, — это гадко! Они до брака удовлетворяют свою чувственность, а после эти самые подлецы требуют от нас безукоризненной чистоты и не соглашаются жениться на девушке, у которой было увлечение до брака. Нет, уж если поведение супругов должно быть одинаково, тогда и мужчины должны жениться на проститутках… Я убеждена, как и ты, что каждый мужчина — скверный человек, и поэтому спрашиваю тебя — стоит ли любить таких? Я потребую от своего жениха того, чего он не может мне дать, — дев-

ственной чистоты, чтобы он был подобен мне; иначе говоря — никогда не выйду замуж… Пусть меня считают глупой идеалисткой, но мне невозможно подумать, мне гадко будет вступить в брак с человеком, у которого я заведомо буду десятой женою по счету. Это так скверно и так невыносимо, что я лучше лишу себя счастья иметь детей и поступлю в монастырь… Допустим, наконец, что жить без любви невозможно, — так я всеми силами постараюсь вырвать эту любовь из моей души, но не отдам ее какому-нибудь современному приличному подлецу, потому что это — унижение, как ни старайся ты его оправдать… Таковы мои убеждения, их не вылечишь никакими книгами…»

Наш разговор был прерван…

19 января

Сестры сейчас мне сказали, что мама устроила шпионство за мной: сама входит в мою комнату, когда меня нет, посылает прислугу подсматривать, как бы я не встретилась со студентом. С «Историческими письмами» в ящике комода я не могу быть равнодушна к этому; на этот раз попадусь не только я, но и он… Боже мой, наверное, душа Вечного жида была спокойнее, нежели

моя теперь…

4 февраля

Хочу просить студента принести мне лекции государственного права, именно те, где читается о гражданском управлении России. Мы, русские девушки, к стыду нашему, даже не имеем об этом понятия, курс наших гимназий краток, и так мало стараний сообщать нам сведений о своем отечестве; огромное большинство, почти все женщины среднего круга, в особенности из купечества, совсем не знают, как управляется страна, а ведь это вопрос очень живой и серьезный. За границей общественные вопросы с большим интересом изучаются всеми. Наша француженка m-lle Marie, не особенно развитая особа вообще, с поразительным увлечением ратует далеко от родины о своих депутатах и выборах; там всякий сознает себя гражданином своей страны, в них развивается с малых лет сознательный патриотизм, и что может быть лучше этого?

Ложась спать, я подумала, что ведь никто и никогда не любил меня так, как могут любить и любят других, что я даже никогда никому не нравилась, и мне стало грустно. А зеркало безжа-

лостно отражало мои обнаженные худые, тонкие руки, всю мою хрупкую, худощавую фигуру, мои длинные волосы и жалостную розовую физиономию… Впрочем, это говорит во мне только самолюбие и женское тщеславие, что за любовь в наш век?..

Возвращусь к разговору с Катей, о котором я писала недавно… Повторяю, я потребую от будущего мужа, идя с ним к алтарю, своей чистоты. Мне все, наверно, скажут, что я требую слишком многого, но я могу сказать одно: мысль, что я для мужа, каков бы он ни был, буду не первая, а десятая жена по счету, что он отдавал себя уже ранее другим, после чего пришел ко мне, — эта мысль приводит меня в ужас и отвращение, я не могу ее перенести. Мне скажут опять, что я хочу невозможного; но ведь мужчины приходят же в ярость при мысли, что их жена ранее принадлежала другому. Вот такие мучения Отелло и я должна буду испытывать, с той только разницею, что для него неверность жены была в сознании, а для меня испорченность моего будущего супруга — ужасная действительность. Теперь мне всякий претендент становится противен; чувства любви, о котором нам твердят, что оно свято, высоко, прекрасно, — в них и не допускаю: оно свято для

девушек, но вы-то, современная влюбленная молодежь, ведущая всех невест к алтарю, вы не можете его испытывать. Это чувство может быть действительно высоко, когда оно не унижено, не оскорблено развратом, когда женщина для мужчины еще не предмет наслаждения и чистое отношение к ней совершенно не потеряно; в таком случае любовь — настоящая любовь, а всякая другая, которая приходит после к человеку, уже потерявшему свою чистоту, узнавшему женщин, — только оскорбляет «святое» чувство. Всякий из них способен влюбиться, но полюбить так, как в первый раз в жизни, — он не может, ибо человек потерял уже свежесть и нетронутость чувства. Он, конечно, любит жену, детей, примерный семьянин, все удовлетворятся этим, — но в моей душе подымается мучительное чувство, муж мне гадок, противен… Подумайте, сколько глубочайших жизненных драм скрывается во всем этом.

Ах, женщины, женщины! прежде чем добиваться своих прав, эмансипации, не лучше ли было бы вам достичь своего самого естественного права: супружеской равноправности в смысле нравственном, потому что в этом самом жизненном вопросе женщина играет очень унизительную и

обидную роль. От нее требуют святейшей непорочности грязнейшие развратники, а если она нарушает однажды верность мужу, то в нее бросают грязью все те, которые нарушали ее сто один раз. По-моему, равноправность в вопросе брака должна существовать прежде всяких других: если я виновен — я не могу и не требую от тебя невинности, потому что сам не безгрешен; я не виновен — будь и ты такая же; а если только ты виновна, то я могу и должен тебе простить, потому что тысячи твоих сестер прощают подобный же грех тысячам моих братьев. — Вот как должны рассуждать и думать те современные подлецы, которые, испортившись вконец, осмеливаются протягивать нам руку.

Могут засмеяться надо мною и сказать, что этого осмеливаюсь требовать я, урод, на которого ни один мужчина не обратит внимания. Да! именно такой урод, никем не замечаемый, и осмеливается заявить свои права… — «Ты рассуждаешь так потому, что никогда никого не любила», — говорят мне знакомые. Да; но после того, как я узнала всю бездну низости и порока, в которую погружена наша молодежь, — у меня пропала вера в эту любовь; и если даже предположить необходимость этого чувства — неужели же я не

буду в состоянии задушить его, овладеть собой? У меня все-таки есть свое самолюбие.

9 февраля

О, до какого унижения дошла я! В присутствии постороннего лица в нашей семье мне вдруг нанесли невыразимо тяжелое оскорбление… Я вырвалась из комнаты, почти задыхаясь от рыданий прибежала к себе, надела платок и жакетку и, не помня себя, выбежала на улицу… Я понимала одно: бежать, бежать скорее из нашего проклятого дома, где родная мать — хуже злой мачехи, где моя гордость взрослой дочери и женщины была унижена до такой степени, до какой я не желаю моему злейшему врагу… И я пошла. Слезы гнева и нервные рыдания душили меня; под темной вуалью и большим белым платком нельзя было видеть моего лица…

Я решила бежать; но документов у меня не было — это пресекало мне путь… Скитаясь до сумерек по городу в страшном отчаянии, я хотела ночевать у чужих… И вдруг вспомнила бедных сестер: как мне их жаль, как горячо я люблю их…

Было уже поздно. Побег из дома все более казался невозможным, и с болью и страхом в душе — я пошла к дому…

10 февраля

Униженные и оскорбленные! Как теперь близки все вы моему сердцу!.. Нет слов для выражения моего бессильного отчаяния, злобы и целой бури всевозможных чувств, которая поднимается во мне при одном воспоминании о вчерашнем позоре! И в то же время я испытываю стыд, когда подумаю, что все наши семейные отношения вдруг выступили в настоящем свете… точно спичкой осветили темную комнату… Господи, услышь молитву мою, помоги и дай моей измученной душе мир и спокойствие…

12 февраля

Мне кажется, что тот день всегда будет для меня вчерашним днем. Я не только не забываю этого страшного удара, но чувствую его еще больше с каждым днем. Я не могу никого видеть, не выхожу из своей комнаты; при встрече у меня бьется сердце, и я вся дрожу…

Прочла «Марию Стюарт»[58] в оригинале. Эта страстная трагедия как нельзя более соответ-

---

[58] Примечания: 58
Трагедия Ф. Шиллера.

ствует моему теперешнему настроению. Читая монологи Марии Стюарт, кажется, что они написаны не пером, а кровью — так все ярко, страстно, живо… У Гёте — совсем другой язык. Шиллер производит на меня большее впечатление, нежели он, и не потому ли, что Гёте я часто не понимаю, тогда как Шиллер говорит прямо сердцу.

Гёте был бог и в своем божественном спокойствии, казалось, забывал иногда о существовании людей; Шиллер был тоже бог, но в то же время и человек: высоко стоя над толпою, он знал и понимал все глубины человеческого сердца и сам жил его жизнью, его радостями и страданиями. Первому роду гения человечество удивляется и больше боится, чем любит; второму большинство не удивляется, вовсе не боится, но любит такого гения, как Шиллер, всем сердцем.

Мне кажется, что у нас, русских, Пушкина можно сравнить с Гёте, Шиллера — с Лермонтовым, но только отчасти, потому что Лермонтов слишком мало написал. Из всех русских писателей я Пушкина люблю более всех и перечитываю его бесчисленное множество раз.

13 февраля

Мне необходимо забыться… и потихоньку, вместе с m-lle Marie, я поехала за город на фабрику Карзинкиных. Огромные здания из красного кирпича, кругом угрюмые кучки рабочих — все это мне вдруг напомнило что-то старое, давно забытое. Вспомнилась наша собственная фабрика, только в меньших размерах, куда иногда я ходила с отцом… В праздник здесь работы не было, и мы только вошли на минуту посмотреть в новом корпусе паровую машину-гигант, приводящую в движение всю фабрику. С почтительным удивлением смотря на колоссальные винты, массивные колеса и составные части какой-либо машины, — невольно чувствуешь свое ничтожество перед такою силою и еще яснее сознаешь, что тут господин — мужчина, а мы — какие-то беспомощные, слабые создания…

Фабрика Карзинкиных отчасти представляет симпатичное явление последнего времени, когда дошли до сознания, что нужно не эксплуатировать труд рабочих, а разумно пользоваться им, создавая при этом такую обстановку, в которой труд не был бы борьбой за существование, а нормальным условием жизни. Отрадно было видеть

городок труда, устроенный по правилам гигиены и порядка, где трудящийся люд, кроме денежной платы, получает и квартиру, и увеселения, и возможность учить своих детей. Недалеко то время, когда подобных фабрик будет еще более и на них перестанут смотреть как на источник заразы всякого рода, а наоборот — они станут маленькими центрами просвещения и народного образования. Тогда фабрики будут иметь двойное значение: кроме промышленности, они будут развивать народ, образовывать его…

18 февраля

В эти дни я так легко возбуждаюсь, что у меня начинаются головные боли, и я решила наконец больше не думать об этом. Вчера, собрав все мое самообладание, размыслив хорошенько о случившемся, невольно подумала, что я — ничтожное, жалкое существо — смею придавать слишком много значения своим маленьким личным неприятностям и что мстить мне за себя в этом случае не приходится: «Мне отмщение, и Аз воздам» — сказал Тот, Который все и всем прощал. Я очень верю этим словам: они часто сбываются в жизни там, куда не доходит правосудие, и в тех даже ничтожных делах, которые совершаются

в семьях…

Теперь мне необходимо овладеть собой, побороть мучения и хоть для виду — покориться. Между тем это почти невозможно: мой непокорный характер менее всего покорен мне самой. О, тысячу раз правы те, кто говорит, что победа над самим собой — труднейшая из побед. Человек может властвовать над всеми, но над собой часто совсем не в состоянии. И как трудно прощать другим!

25 февраля

Приятное впечатление осталось у меня после посещения на фабрике Карзинкиных приюта яслей, куда матери относят детей своих на время работы…

Две большие светлые комнаты; одна вся уставлена белыми колыбельками с грудными детьми, которых укачивают няни; другая, побольше — для маленьких, которых матерям нельзя оставить дома одних. В ней встретила нас целая ватага крошечных фигурок, одетых в красные платьица и белые передники, все босиком — они кругом сидели на полу и играли вместе. Это было так мило и непривычно для глаз; так трогательно было видеть детские личики, их смех, улыбки и

милую болтовню! Чем-то хорошим, нежностью и тишиною веяло отсюда. Когда мы вышли из яслей на двор и пошли осматривать новую фабрику — под оглушительным стуком машин, — мне не верилось, что я всего-то какой-нибудь час была в этом тихом приюте.

Но что мне более всего нравится на фабрике — это ее атмосфера, полная смысла и деятельности: чувствуется, что здесь люди живут, а не прозябают, что они заняты делом и работа их живая, а не мертвая. На меня это произвело большое впечатление.

1 марта

Великий пост. Я не люблю изменять раз установленных привычек по отношению к церкви. У меня их немного, но я держусь их крепко. Воспитанная в семье, где еще сохранились отчасти прежние старые требования относительно говения и поста, — я сохраняю их и нарушение буду считать грехом. По-моему, и то и другое необходимо исполнять. Не говоря о требованиях церкви, к которой принадлежим мы, говение полезно современным людям как средство раз в год опомниться от нашей суеты: приготовляясь к исповеди, мы обращаемся к нашей душе, совести,

вспоминаем, раздумываем, что мы сделали, и хотя нам, конечно, трудно исправиться, — все же мы возвращаемся из церкви с сознанием своих грехов и как бы обновленные их прощением. Так, по крайней мере, исповедь действует на меня. Ах, как бы посмеялись над этими строчками все мои знакомые молодые люди! Таков уж нынешний век… В сущности, мне следовало бы быть настоящей атеисткой, судя по моей семье: отец никогда не был особенно верующим, совершенно равнодушно относясь к церкви; мать — вследствие своей очень самолюбивой натуры — тоже равнодушна к религии и ее обрядам, насмехается над священниками, а по праздникам читает французское Евангелие; нас же, детей, воспитывала в духе религиозном, сама не подавая никакого примера. Что, казалось бы, могло выйти из такого воспитания? Но у нас в семье еще живы две бабушки, две старинные русские купчихи, которые свято соблюдают наши дедовские обычаи по отношению к церкви; обе имели на меня большое влияние, поэтому из меня и вышла верующая.

16 марта

Случайно прочла в журнале «Русский вестник» повесть Данилова «В тихой пристани». Она

написана очень обыкновенно, но автор взял не избитую фабулу романа, а поместил свою героиню в монастырь, и рассказ ведется от ее лица в форме дневника, где она описывает монастырскую жизнь и свое душевное настроение. Страницы ее дневника — тихие, ясные, и я так увлеклась миром монахинь, что опять начала думать о поступлении в монастырь. Время от времени я подумываю о нем. Отчего бы и нет? Будь у меня более спокойная натура — я бы, наверное, поступила. В людях я… как бы сказать? — не то что разочарована, а все-таки думаю о них довольно плохо. Одна мысль о замужестве мне ужасна, а если и живут на свете совершенно честные люди, — они не посмотрят на меня, жалкого урода.

Прочитанная повесть произвела на меня такое сильное впечатление, что я думаю, нельзя ли мне этот последний год до совершеннолетия провести в монастыре в качестве послушницы? Я бы зарылась в свои книги, богослужения, посты и молитвы… Но мечтать можно до бесконечности, а кроме того, я сбиваю всех с толку противоречивыми намерениями — то на курсы, то в монастырь, — высказывая их совершенно искренно.

18 марта

На исповеди о. Владимир спросил меня: «Не имеете ли каких грязных помыслов, встречаясь с мужчинами?» Этот суровый вопрос вызвал с моей стороны недоумение: «Какие же это помыслы?» Но строгий священник не довольствовался моим неведением и продолжал: «Да, разные помыслы… не приходят ли они вам на ум?» — «Нет», — отвечала я, очень смутно соображая, что и мужчин-то не встречаю почти нигде, а у нас дома тем более… В церкви всю всенощную я чувствовала, как в душе моей воцаряется мир. Теперь, прочитывая Апостол на завтрашний день, я наткнулась на строки, смысл которых буквально тот же, что и слова о. Владимира: «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное».

6 апреля

Читая «Дневник Амиеля»[59], спокойнее ста-

[59] Примечания: 59

Анри-Фредерик *Амьель* (1821–1881) — швейцарский писатель, поэт, философ. В 1894 году его дневник был опубликован с предисловием и под редакцией Льва Толстого.

новится на душе. «Всякий человек подобен укротителю диких зверей, а эти звери — его страсти. Вырвать им клыки и когти, взнуздать их, приручить, сделать из них домашних животных, слуг, хотя бы и рычащих, но все-таки покорных, — в этом личное воспитание». «Не презирай своего положения: в нем ты должен действовать, страдать и победить. На всякой точке земли мы одинаково близки к небу и к бесконечному». «Доставлять счастье и делать добро — вот наш закон, наш якорь спасения, наш маяк, смысл нашей цели. Пусть погибнут все религии, только бы оставалось это: у нас будет идеал, и стоит жить». «Одно необходимо: отдаться Богу. Будь сам в порядке и предоставь Богу распутывать моток мира и его судеб. То, что должно быть, — будет. Чтобы совершить путь жизни, может быть, ничего более не нужно для человека, кроме веры в добро». «В религиозное настроение входишь через чувство добровольной зависимости и радостной покорности принципами порядка и добра. В религиозном возбуждении человек сосредоточивается, он снова находит свое место в бесконечном единстве, и чувство это свято».

Какие чудные, замечательные страницы! Каждое слово проникает в душу, говорит в одно и

то же время и уму и сердцу, возвышает нас, отрывая хоть на время от сутолоки жизни. Такое впечатление производит на меня этот «Journal d'un ame intime». Амиель говорит о религии, о долге; у этого профессора философии, швейцарца по происхождению, читаешь такие страницы, которые следовало бы прочесть нашим великим писателям и учителям Церкви: так глубока его вера, такой искренностью и любовью к человечеству дышат строки дневника. Его можно назвать «зеркалом прекрасной души» (несколько видоизменив название, данное Гёте дневнику Оттилии). Я теперь вполне понимаю, как можно быть счастливым и как истинные философы понимают счастье. Мы, люди, в большинстве стремимся к счастью — сознательно и бессознательно, — но, к сожалению, немногие понимают, в чем именно состоит истинное счастье, и немногим оно дается; между тем — прочтите «Дневник Амиеля», и если, кроме ума, у вас есть и сердце, которое может и хочет жить, — вы найдете эту дорогу. Какова бы ни была жизнь Амиеля в действительности — жизнь его души, оставленная им в дневнике, была прекрасна. Она была прекрасна, потому что была полна верою, религией долга, сознательна и полезна. Немногим удается провести ее так!

7 апреля

Какая же я, однако, женщина! Сегодня тетя прислала мне из Москвы черную шляпу, и вот сейчас, вечером, я не могла удержаться, чтобы не примерить ее еще и еще раз; я бросила «Историю всемирной торговли» Этельмана, которая меня очень заинтересовала, и подошла к зеркалу. «О, женщины, ничтожество вам имя!» — так восклицает Шекспир. Уж не ради этого ли пристрастия к мелочам и любви к нарядам он так называет нас? Если из-за этого, то, пожалуй, он прав. Ведь все наши наряды, тряпки, конечно, ничтожество, необходимые мелочи жизни, которыми нужно заниматься ровно настолько, чтобы не быть смешной педанткой или Диогеном в юбке; посвящать же им все время, думать и относиться к ним серьезно — это действительно делает женщину ничтожной. Я поэтому редко переношу разговоры о нарядах и вообще не особенно люблю ими заниматься; но не могу удержаться от удовольствия, которое мне доставляют надетые новые платья, шляпы, и всегда с интересом пробегаю хроники моды. А почему? Да потому что я… все-таки же женщина!

10 апреля

Когда подумаешь, что пройдет сто лет, и все мы, наша жизнь, все окружающие нас друзья, родные, знакомые, даже толпа на улицах — все это умрет, исчезнет, не оставив после себя даже и следа, как исчезла, напр., в прошлом вся жизнь таких же людей, как мы, когда подумаешь об этом — сразу как-то своя личная жизнь, свои страдания покажутся мельче, ничтожнее, отойдут гораздо дальше. То несчастье, которое в данную минуту занимает нас всецело, вовсе уж не будет казаться так велико, если продлится даже несколько лет. А через сто лет? — Все, все опять другое, новое, нам неизвестное. Что значим мы, мелкие людишки, в этом вечном всесильном perpetuum mobile[60] времени? Но мы все-таки ценим себя и не думаем, что через короткий период времени от нашей жизни, ее радостей и страданий не останется даже воспоминания, — они исчезнут бесследно. Как, значит, мы любим увлекаться и жить настоящей минутой! Верно, человека не переделаешь…

---

[60] Примечания: 60
Вечный двигатель *(лат.).*

18 апреля

Пасха… Наступал вечер, когда мы сели в лодку. Волга была так тиха и спокойна, что казалась неподвижной, а кругом — печально замирающий, красивый ландшафт… И среди тишины и прелести природы — по реке вдруг понеслись грустные звуки малороссийской песни, которую пел нам студент… «А за что ж ты, Даша, Гридю отравила?» — слышится мне, и я не могла в те минуты выразить овладевшего мною чувства: оно исчезало, сливаясь с протяжным, бесконечно приятным мотивом. Кончилась песня, и мне стало грустно.

Чего мне было жаль? Чего мне хотелось? — Я не теряла никого и ничего; жизнь моя все та же, и во всяком случае я не о ней сожалею… Ах, отчего мы не можем понять иногда причины этого неопределенного стремления к чему-то, куда-то, зачем-то, а между тем, я уверена, что каждый человек ощущал порой в себе это желание…

Чем больше я присматриваюсь к студенту, тем более нахожу, что он — взрослый ребенок, хороший, умный, но… все-таки ребенок. Все мы забавляемся с ним как дети. Он называет меня злой, капризной, я смеюсь и очень довольна… И

этот вечер вместе с сестрами мы провели очень весело, много шутили, но… особенное чувство, уже давно забытое, точно вновь проснулось во мне, и мне нисколько не было ни смешно, ни весело. Если б я была другая, то не задумалась бы объяснить это тем, что влюблена, но для меня это невозможно, и я не такая. Так почему же это, почему?

23 апреля

Склонность анализировать все и всех — нельзя назвать счастливым свойством характера: в большинстве случаев в жизни встречаешь более дурного, нежели хорошего, и все «аналитики» естественно видят ее более мрачной, чем другие, живущие, не разбираясь в своих ощущениях, не отдавая себе отчета в своих чувствах. Эти последние обладают счастливым свойством — бессознательной радости и довольства. Оно, конечно, в большинстве принадлежит нам, молодежи; и не в этом ли кроется та тайна молодости, которой завидуют старики и которой им никогда не вернуть? Я бываю иногда так счастлива…

30 апреля

Конверсия! конверсия! Ее правительство преподнесло нам в виде красного яичка к Христову дню. Мама плачет, мы терпим убытки. Призванный чиновник сказал, что у нас, девочек, у каждой убытку по 85 р., и мы беззаботно улыбаемся. Меня эта конверсия тревожит исключительно с одной стороны: как бы теперь мое поступление на курсы не затруднилось. Мама и раньше твердила мне, что трудно жить в Петербурге на мои средства, а после конверсии окончательно решит, что я там буду — нищей. Я начинаю привыкать к новым условиям, и мне даже доставляет удовольствие ограничивать себя теперь, ввиду уменьшения дохода. Так, напр., я перешиваю уже сама свои платья, переделываю накидку и, чтобы избавить себя от мелких расходов на портниху, не покупаю новых вещей. Я сижу с иголкой в руках, с этими обыденными мыслями, мои книги заброшены. Ни Шиллер, ни Дарвин так и не раскрываются. Мне, право, кажется забавным видеть себя точно в новой роли: скромной рукодельной девицы.

8 мая

В чудный весенний день я сижу одна в саду, наслаждаясь тихим вечером и природой. Мне кажется она еще более очаровательной в вечерний час: неподвижны деревья, и листья на них будто вырезаны нежным рисунком на темнеющем небосклоне; в замирающей тишине таинственно шепчутся лепестки уснувших цветов, лениво порой всколыхнется трава… Все принимает неясный, грустный оттенок… И чувствую я, что и сама начинаю жить этою грустью, неопределенное стремление охватывает меня всю, и хотела бы я в эти минуты вполне слиться с природой, освободиться от своего тела, чтобы исчезнуть, уничтожиться — там, где-то далеко, в вечном шуме деревьев, в сиянии луны, в темном небе… Только в такие минуты, поздно вечером могу я мечтать и думать, чувствуя себя вполне хорошо. Часто я даже не могу выразить словами своих ощущений. Теперь, с наступлением лета, начинается опять моя обычная «тоска по родине», меня тянет домой, в Нерехту.

10 мая

Не хочется спать в такой благодатный майский вечер… Я беру моего неизменного, вечно молчаливого друга и начинаю писать. Многие, почти все, смеются над таким занятием, называя его пустым и бесцельным препровождением времени. Конечно, в этом есть доля правды: жизнь огромного большинства настолько неинтересна и незначительна, что кажется смешно наполнять страницы разговором о себе. Но я могу найти для себя оправдание: если большинство называет это пустою и бесцельною тратою времени, — не теряют ли они время гораздо худшим образом? Я беру среднюю массу, людей провинции, городов, так называемый интеллигентный круг, — не теряют ли они время за картами, сплетнями, биллиардом, посещением гостиных, гуляньем в общественных местах и т. п. для всех в наше время доступными удовольствиями? Если это так, то я имею полное право «терять время» по-своему; но, кроме того, признаюсь, привычка писать дневник — обратилась у меня во вторую натуру. Где бы я ни была, что бы ни делала — всегда, возвращаясь домой, невольно открываю ящик комода и вынимаю эту тетрадку. Во всяком

случае, такая привычка — самая безобидная и безвредная из всех, какие только могут существовать. Кому какое дело, сколько я извела бумаги, и кому мешаю я, исписывая страницы по вечерам, одна в своей комнате…

20 мая

Студент увлечен моей младшей сестрой, я настолько не нравлюсь ему, что он не считает нужным даже скрывать это. Что ж, бог с ним! Впервые познакомившись довольно близко с молодым человеком, теперь я вижу, что мне, уроду, нечего ожидать внимания и вежливости от молодежи, если я не вызываю у нее эстетического чувства… Какие, в сущности, пустяки иногда волнуют меня!..

29 мая

Они шли вдвоем по аллее, такие молодые, красивые, стройные: Валя шла опустив голову, он старался смотреть ей в глаза, и обоим было весело; а я стояла за деревьями и смотрела на них. Вдруг что-то кольнуло меня: я вспомнила, что еще нынче зимой он так же разговаривал со мной, хотя немного интересовался мной… а

теперь? Слезы навернулись у меня на глаза, и я побежала к пруду, обошла его и, став у забора, могла немного овладеть собой.

Что это? Или я завидую Вале? Эта зависть — такое гадкое, скверное чувство, в особенности по отношению к родной сестре! Нет, нет! Я еще не настолько испорчена. Если вследствие излишней пылкости воображения мне казалось, что он относится ко мне иначе, нежели теперь, — от этого пострадало лишь мое самолюбие, а так как я хорошо владею собой, то сумею его скрыть от всех. Я встретилась с ним, жизнь нас случайно столкнула, а потом, завтра, — мы разойдемся, может быть, навсегда. Наверно, он сохранит обо мне воспоминание, как о своей хорошей знакомой… В сущности, мне даже хотелось бы, чтобы он полюбил Валю и женился на ней. Была бы хорошая пара, и тогда я могла бы назвать его братом. Но довольно мечтать!

Читаю «Историю цивилизации Англии»[61]. Но мне кажется, что я еще совершенно необразованна; многому надо учиться, чтобы хорошенько понять ее; на каждом шагу встречаю я собственное невежество и готова прийти в отчаяние.

---

[61] Примечания: 61

Г. Т. Бокль (1821–1862), «История цивилизации в Англии».

Скоро ли, скоро ли исполнится мое желание, поступлю ли я на курсы?

14 июня

Карно убит![62] Его убили при приветственных кликах народа, которому он только что произнес прекрасную, задушевную речь и которым всегда управлял так разумно, безукоризненно-тактично… Насколько я люблю этот народ — настолько же и сожалею… Какая бессмысленная, адская, зверская жестокость! Анархисты — не люди; это проказа рода человеческого, отродье дьявола. Чего хотят эти звери? Что может быть бессмысленнее и ужаснее убийства любимца нации, идеально-безупречного гражданина, вся жизнь которого была посвящена на благо отечеству? Что сделал он какому-то безвестному проходимцу? И вот этот зверь среди толпы народа убивает… Нет, мне не найти достаточно слов для выражения негодования! Я решительно не могу ни о чем другом думать и с трудом могу это скрыть. И теперь — я хотела бы обнять всю Францию, утешить ее,

---

[62] Примечания: 62

Сади *Карно* (1837–1894) — президент Франции, был убит в Лионе итальянским анархистом, мстившим за смерть казненного по приговору французского суда террориста О. Вайана.

как сестру! Но… я могу только писать!

Здесь, вдали от города, все события отходят на другой план, а дачная жизнь с ее бесконечными прогулками занимает почти весь день… Я очень люблю гулять в огромном саду гр. Шереметева; он напоминает известное нам только по книгам прошлое, когда наше старинное русское барство жило широкою вольною жизнью, среди бесчисленных крепостных.

Широкие аллеи, обсаженные липами, подстриженными и ровными, сходятся, образуют площадки и опять убегают вдаль; старинные мраморные статуи конца прошлого или начала нынешнего века, почерневшие от времени Флоры, Венеры, Парисы — все, очевидно, изделия своих доморощенных скульпторов; большие куртины с цветами, красивые пирамидальные тополи в горшках и лестница дома, ведущая в сад, вся уставленная цветами, два мраморных монумента в память посещения Кускова Екатериною II и Александром III — все это представляет очень красивую картину, в особенности при солнце… Но мне нравятся больше дальние аллеи этого роскошного сада, где нет никаких украшений и цветов, и крытые липовые аллеи, где вечно полумрак и тишина. Здесь я люблю думать од-

на и, углубляясь в сад дальше и дальше, слышу только чириканье птиц и вечный шум деревьев. И так хорошо, что не хотелось бы уходить!.. Я иду одна и начинаю мечтать... Столетние деревья, безмолвные свидетели прошлого и настоящего, точно рассказывают друг другу свои воспоминания, и мне кажется, что я вижу идущих по этим аллеям придворных в роскошных костюмах прошлого века; пудреные парики и фижмы, шелест шелковых платьев, французская речь... А вот и знаменитая беседка из раковин, где Екатерина II играла в карты. Подходишь к запертым дверям и смотришь — сквозь стекла можно хорошо видеть ее внутренность: стены, потолок, колонны, статуэтки — все сделано из раковин или усыпано ими. Вечером, при освещении, это должно быть прекрасно, как сказочные дворцы. Но сколько потребовалось труда, чтобы создать такую беседку? Эта египетская работа могла быть исполнена только в то время, когда труд был даровой...

Когда смотришь на эти исторические памятники и гуляешь по саду, где царит образцовый порядок, видишь старинный барский дом, весь наполненный картинами и портретами, — все мне, современной «буржуазке» из интеллигенции, внушает невольное уважение к этому

старинному дворянскому роду. Что бы ни говорили о том, что человек сам себе создает имя и нечего уважать титулы, — все-таки историческое имя обширного рода с целым рядом своих традиций невольно внушает уважение. И вся эта разряженная буржуазная толпа, наполняющая сад по праздникам, кажется тут решительно неуместной: яркие современные туалеты дачниц, не имеющие в себе ничего изящного и утонченного, режут глаза в этих старинных аллеях, которые видели на своем веку императрицу, ее аристократическую свиту…

3 июля

К тете сюда приехал близкий друг нашей семьи, которого я знаю почти с детства. В нем я всегда уважала доброту характера и стремление к самоусовершенствованию. Живя постоянно в разных городах, я с удовольствием с ним переписывалась. Теперь, воспользовавшись случаем, мы в первый же вечер уединились ото всех на террасе и разговорились совершенно откровенно.

Разговор касался преимущественно нравственной стороны жизни, ее задач и цели… — «Вспомните, Петя, как вы однажды спросили, размышляю ли я когда-нибудь над молитвой

Господней? Задавая другим такие вопросы, я решаюсь спросить вас, как вы лично относитесь к ним?» — «Конечно, я стараюсь по возможности разрешать их в жизни, хотя это иногда бывает и трудно»… — «Хорошо. Однажды вы сказали, что смотрите на женщину не как на игрушку или развлечение, а как на человека вполне вам равного; прав ли поэтому автор „Крейцеровой сонаты“?» Я чувствовала, что задаю такой вопрос слишком поспешно, что я сбилась с задуманного пути, но я шла напрямик… — «Позднышев, конечно, говорит правду, хотя он сам был не менее испорчен, нежели другие», — ответил Петя. — «А все-таки он требовал от жены, чтобы она была чиста и невинна, не так ли?» — «Да, конечно». — «Ну а вы, стоя пред алтарем, бываете ли такими же… неиспорченными, — я немного запнулась, говоря это слово, и невольно мой голос дрогнул, — как ваши невесты?.. Лично вы, — продолжала я вдруг с отчаянною смелостью, — такой?» — «Нет, я испорчен», — произнес Петя совершенно спокойно. Меня точно острием ударили в сердце. Я хотела что-то сказать, но не могла, и вдруг, закрыв лицо руками, разрыдалась горько и неудержимо.

Мой идеальный, честный, глубоконравственный друг, каким я его себе представляла, теперь

рассыпался в прах, и ничего от него не осталось! Точно был человек, и не стало его. Мой прекрасный сон — исчез, а с ним и мое убеждение, что существуют на свете идеальные люди. Я не могла сразу опомниться; хотя вполне сознавала, что мои слезы неуместны…

Петя молча принес воды. «Выпей, Лиза, успокойся», — повторял он. Через минуту я опять овладела собой. «Не надо воды…» — тихо сказала я, не глядя на него, и отвернулась к подоконнику, где лежали развернутые газеты. Строчки мелькали перед глазами, и точно сквозь сон я слушала отрывочные фразы Пети. — «Ты, Лиза, еще не знаешь жизни… надо тебе сказать, что существуют обстоятельства… Впрочем, ты подумаешь, что я, говоря это, стараюсь оправдаться…» Я молчала и смотрела в газету, — мне уже не нужно было слушать его. Эти оправдания я знаю наизусть, знаю и жизнь; я думала только, что Петя с его возвышенными стремлениями, религиозностью, нравственными качествами — является исключением из окружающих лиц; но вот и он — такой же, — с полным спокойствием говорит о своем падении, и ни слова раскаяния нет в его словах… О, глупая наивность в двадцать лет: ведь нет уже таких людей, и тебе их никогда не встретить! Но

Петя не понял ни моих слез, ни моего молчания. Если б он знал, что в эту минуту он видел перед собой человека, который оплакивал свой исчезнувший идеал? Это очень глупая фраза, а между тем это правда. Иметь идеал — смешно, по меньшей мере, но я не боюсь насмешки… И Петя вдруг стал для меня уже другим человеком, похожим на всех…

18 июля

Сегодня рано утром тетя поехала со всей семьей в Обираловку встречать о. Иоанна, который ехал в Москву. Я давно, года три, его не видала и, конечно, воспользовалась случаем получить его благословение. В Обираловке ждать поезда пришлось минут 20. Мы взяли семь билетов первого класса, чтобы, войдя в вагон о. Иоанна, ехать с ним вместе в Кусково, и стояли на платформе в ожидании поезда. Народу на станции все прибывало, а когда подошел поезд — было уже тесно. Торопясь войти в вагон (поезд стоял всего две минуты), я видела только благословляющую руку, которую ловили и целовали десятки других… На площадках вагона нас, имевших билеты, не пускали в вагон к о. Иоанну. — «Не приказано, да как же я могу?» — говорил кондуктор, вертясь

во все стороны между пассажирами и убеждая их войти в соседний вагон. Никто его не слушал. Тетя, окруженная детьми, кормилицей и няней, и я рисковали упасть под поезд, стоя на площадке, где нельзя было повернуться. — «Сейчас поезд тронется, уйдите, пожалуйста, пускать не приказано», — кричал в отчаянии кондуктор… Но тетя настойчиво добивалась, чтобы ее пропустили в вагон. — «Вызовите ко мне Софью Яковлевну (Борхардт), скажите ей, что я Ол-ва, у меня сын — крестник о. Иоанна, я его личная знакомая». Сначала эти слова не произвели никакого впечатления на неумолимого кондуктора, но когда Софья Яковлевна вышла к тете и расцеловалась с ней — двери вагона отворились, и мы вошли.

В небольшом купе на диване сидел о. Иоанн. Он немного постарел с тех пор, как я видела его в последний раз; его кроткие лучистые голубые глаза остались те же, только выражение лица было измученное, сильно усталое. Золотой наперсный крест с синей эмалью, темная шелковистая ряса на лиловой подкладке и старенькая соломенная шляпа… Мы вошли все и по очереди подходили под благословение. Я пристально смотрела на о. Иоанна и мысленно просила его помолиться за меня и за маму. Что-то благого-

вейное, особенное, казалось мне, носилось в воздухе, и чувствовалось, что мы находимся в присутствии необыкновенного человека, ближе стоящего к Богу, нежели мы все, вместе взятые. Я жадно следила за каждым словом и движением о. Иоанна. Видно было, что он очень утомлен, постоянно зевал, глаза его невольно смыкались… Вслед за нами к нему привели нервнобольную, которая, получив благословение, упала на скамью в сильном припадке. Ее крики раздались по всему вагону. Все замолчали. О. Иоанн встал и положил ей руку на голову. Больная начала кричать еще более. Продержав руку несколько времени, о. Иоанн прикрыл ей лицо платком и велел унести, а сам, расстроенный этой тяжелой сценой, подошел освежиться к открытому окну. Едва он вернулся на место, как в купе быстро вошла женщина с маленькой девочкой. «Благословите, батюшка, на новую жизнь, хочу девочку отдать в приют куда-нибудь»… — «Разве не ваша это дочка?» — спросил о. Иоанн. — «Не моя, не моя, приемыш, сирота круглая, так вот благословите, батюшка, поместить куда-нибудь». — «Ты говоришь, сирота?» — переспросил о. Иоанн, почти не слушая женщину, очень неприятную на вид. — «Круглая сирота, батюшка»… О. Иоанн вы-

нул из кармана деньги, отделил две красненьких бумажки и отдал женщине левою рукою. — «Вот ей», — сказал он, в то время как правою благословил какого-то мужчину, который, целуя его руку, всунул туда деньги и что-то проговорил…

В Кускове станция была переполнена народом. У окна вагона была лавка, и о. Иоанн, высунувшись до половины, пожимал протягиваемые ему со всех сторон руки. Мы поскорее выбрались из толпы… Я шла домой, вся под впечатлением свидания с о. Иоанном. Этот тихий и кроткий священник олицетворяет собою идеал служителя Божия, и вся его необыкновенная личность дышит смирением и бесконечною добротою. Я видела его сегодня, в вагоне, благословляющего, утешающего, подающего милостыню сироте, ласкающего детей, и таков он всегда, где бы он ни был… И немудрено, что наш народ, от сановника до крестьянина, чтит о. Иоанна… Это живое напоминание нам о том, какими мы должны бы быть…

19 июля. Москва

Вторично осматриваю Третьяковскую галерею — на меня сразу нахлынула такая масса художественных впечатлений, что даже закружилась

голова… Картины Репина, Айвазовского, Верещагина, — все, что есть прекрасного в нашей живописи, все лучшие художники, о которых я читала только в газетах, — были здесь пред моими изумленными глазами… Многие считают лучшею картиною всей галереи Репина «Иван Грозный у тела своего сына». Картина эта замечательна и действительно производит сильное впечатление: лицо Грозного выражает бесконечный дикий ужас пред своим злодеянием, и оно, главным образом, приковывает к картине. Вы смотрите пристально на нее, невольно заражаетесь этим ужасным выражением Грозного, вас тянет к картине, и в то же время страшно — кажется, что боишься войти в эту комнату… Говорят, что некоторым делается дурно при виде этой картины…

Ярославль, 2 августа

Какая была чудная звездная ночь, последняя ночь, которую я проводила в Кускове! Таня и я сидели на балконе, пораженные красотой, и долго, прижавшись друг к другу, любовались ею. Кругом было так тихо, — а в темном небе беспрерывно блестящим метеором пролетали падающие печальные звезды… И величественная

ночь спокойно смотрела на землю…

А теперь я опять здесь, в пыльном и душном городе. Не буду повторять одно и то же, т. е. не буду высказывать сожалений о прошлом…

7 августа

Я пока стою в стороне от действительной жизни, только наблюдаю и думаю. Моя жизнь — пока еще не жизнь. А ведь мы переживаем опасное, хотя и очень интересное время. Читая «Вырождение»[63], я часто говорила об этом с кузиной Таней.

Жизнь теперь так сложна и запутанна, что человек, измученный в борьбе за существование, мало-помалу мельчает физически, передавая потомству всевозможные пороки, болезни, вырождается нравственно. Современный человек, изношенный физически и нравственно утомленный, оказывается негодным как для дальнейшего существования, так и для произведения потомства, пригодного для будущего. Как самый яркий признак болезни общества на Западе появился анархизм. И вот среди этой больной, нервной массы раздаются голоса тех, кто понимает, к чему

---

[63] Примечания: 63
Самое известное произведение Макса Нордау.

приведет такая жизнь: «Вернитесь назад! бросьте эту ненормальную жизнь, полную всевозможных излишеств и пороков, возвратитесь к прежней простоте». Лучшие писатели Европы, начиная с Л. Толстого, проповедуют нравственность и единобрачие мужчин. И теперь на нас, представителях молодого поколения, лежит выполнение задач будущего, т. е. мы должны воспитать следующее поколение уже иным, чем мы сами: здоровое, сильное как физически, так и нравственно, смелое, выносливое, с правильными понятиями обо всем. В этом-то будущем поколении должна возникнуть великая сила сопротивления порокам и болезням общества, и, быть может, в его власти будет изменить условия жизни… Так думали мы, молодые девушки, сидя вдвоем над книгою. Удастся ли только выполнить нам это?

15 августа

Сегодня мне исполнилось 20 лет. Стыдно и грустно думать, что столько лет напрасно прожито на свете… Чем дольше мы живем, тем менее мы мечтаем, тем менее осуществимы наши грандиозные планы. Жизнь знакомит нас с действительностью, и мы постепенно спускаемся с облаков. Помню, как девочкой 15 лет мечтала я

о создании в России женского университета, совершенно похожего на существующие мужские по программе, думая посвятить свою жизнь на приобретение необходимых средств, для чего хотела ехать в Америку наживать миллионы; и достаточно было двух лет, чтобы понять несостоятельность подобных мечтаний. Теперь же я думаю только о том, как мне поступить на будущий год на Высшие женские курсы. Сегодня мама отказала мне в разрешении, и я не знаю, что предпринять. Совета и помощи — нечего и думать искать: я никого не знаю, о курсах здесь понятия не имеют, и когда я говорю о них — выражают сомнение в их существовании. Одно из первых затруднений — конечно, денежное; второе — мои недостаточные знания, полученные в гимназии, в-третьих — нет разрешения, в-четвертых — препятствие родных… Боже мой, до какой степени несвободен свободный человек! Можно ли уродливее обставить свою жизнь? Человек, рожденный свободным, — сам себя лишил этого драгоценного блага, создав массу затруднений, при которых родится, живет и умирает, да еще при жизни заботливо увеличивает их…

8 сентября

С Валей вдвоем мы говорили о браке, и никто не мешал нам задавать друг другу откровеннейшие вопросы. Я спросила ее, когда она узнала, в чем состоит брак? — «В тринадцать лет». — «Кто же тебе объяснил это?» — «Да никто; я узнала отчасти из разговоров прислуги, отчасти из книг, ведь в Библии же писано об этом»… Моя сестра, несмотря на свой 17-летний возраст, читала все романы Золя и Гюи де Мопассана, и я помню, как часто мы возмущались бездной порока и разврата, описываемой так откровенно Мопассаном, невольно чувствуя отвращение к этим «порядочным молодым людям», которые на нас женятся… — «Знаешь ли, когда я думаю о В.[64] — мне легче на душе; ведь все-таки не все люди такие», — сказала Валя. — «Ты думаешь, что он еще невинен?» — «Да, конечно. Он — такое дитя природы и ведет строгую, умеренную жизнь; он мне кажется таким чистым…» Я засмеялась. Валя остановилась: «Что ты?» — «Успокойся, милая, он нисколько не лучше других, и это ничего не значит, если он „дитя природы“, по твоему мне-

[64] Примечания: 64
Студент, он окончил курс и уже уехал отсюда. (*Примеч. Е. Дьяконовой.)*

нию». — «К-а-ак? Он, думаешь ты, испорчен? О нет, Лиза, не разочаровывай меня, я хочу верить, я не могу…» Валя смотрела на меня умоляющими глазами, и все ее хорошенькое личико выражало страх перед тем, чего она не хотела знать.

Ее чистое, молодое существо готово было возмутиться моими словами, которые разрушали ее веру… — «Погоди, Валя, не возмущайся. Я тебе сейчас объясню. Есть два рода молодых людей. Одни — предаются разврату, не стыдясь своего падения, и говорят о нем совершенно спокойно без малейшего угрызения совести, как о доблести, как о естественном и необходимом. — Тут мой голос едва не дрогнул: вспомнила Петю. — Это худшие люди, они поступают гадко и нечестно. Другие же, падая вследствие воспитания или ложных условий нашей жизни, даже вследствие своей натуры, все-таки сознают, что они поступают гадко, и поэтому если и предаются женщинам, то потом чувствуют угрызения совести. Эти — относительно честные люди и лучшие, из которых мы можем выбирать. Конечно, я с тобой согласна, что есть люди непорочные, но я их не встречала ни разу в жизни…» — «Лиза, я согласна с тобой, — прервала меня сестра, — но пусть другие, только не он, я в него верю… пощади, я не хочу тебя слу-

шать»… Я пожала плечами: не мне разбивать эту веру; пусть когда-нибудь она на деле узнает, как я узнала от Пети. И мне стало грустно…

9 сентября

Была я у бабушки; она возмущается нынешними девицами: «Вы всё узнаете прежде времени; девицы, а уж всё знают про замужество! Поэтому Бог счастья и не дает. И совсем не след читать эту „Крейцерову сонату“; прежде девицы никогда ничего не знали, а выходили замуж и счастливы были; а нынче все развитие, образование. Совсем не надо никакого образования, тогда лучше будет!» Бабушка полагает все зло в «Крейцеровой сонате» и в образовании! Вот тема для юмориста!

15 сентября

Не надо увлекаться мечтами! Надо просто смотреть на жизнь. В чистой взаимной любви, в любви к человечеству вообще, в познании самого себя и постоянном стремлении к самоусовершенствованию — вот самые прочные основы к счастию. Мы, люди, беспрерывно стремимся к счастию, но все разно его понимаем; кажется, что

вся наша жизнь проходит в вечном стремлении вперед, к чему-то лучшему, и как поэтому разнообразны страсти и желания! Каждый человек — особый мир…

25 сентября

Я начала читать А. Смита; пока прочла лишь предисловие — страшно трудно. Но теперь только начинаю ясно сознавать могущество науки. Нет силы в мире ей равной, никакие люди, полководцы и литераторы, не могут сравняться в могуществе с учеными. В самом деле, кто более велик — Александр Македонский, Наполеон или Эвклид и Адам Смит? От завоеваний Александра Македонского не осталось и следа, а геометрия Эвклида, философия Платона живы и будут жить. В 1812 году мы гнали французов — теперь они с восторгом приветствуют нас. Великая французская революция вспыхнула, потухла, — и от нее, как и от ее героев, не осталось и следа; но учение Адама Смита произвело революцию в науке, перевернуло все системы и указало миру новый путь, по которому с тех пор должны идти народы, если хотят быть экономически состоятельными. Что лучше: с внешним блеском и славой управлять одною страною и народом,

чтобы потом исчезнуть бесследно, или же в тишине и бедности открывать мировые законы силою ума и мысли? — Все проходит; наука же — единственное относительно вечное, которое существует на этой земле…

1 октября

Усердно читаю А. Смита, но, к сожалению, не все понимаю. Я поражена этой книгой: это гениальное произведение объясняет все так просто, и у читателя с изумительной ясностью создается система политической экономии; кажется, точно огромное здание воздвигается перед глазами. Я читаю эти книги быстро, торопясь, чтобы моих занятий не заметила мама, и поэтому принуждена небрежно пробегать второстепенное, стараясь усвоить себе только главное.

6 октября

В артистическом кружке я зевала от скуки. И любители, и сцена, и вся обстановка вечера казались мне какими-то мизерными, жалкими. С тех пор как я с замиранием сердца входила в ту же залу — три года назад, — в ней ничего не изменилось: то же ухаживанье кавалеров

— офицеров и студентов, то же глупое кокетство со стороны барышень, одни и те же сплетни, светские разговоры, а в общем — бесконечная пустота, пустота… провинции. Здесь нет ума, изящества, простоты, того, что делает общество интересным, и я вполне довольна, что стою в стороне от него…

20 октября

Государь очень болен; все боятся, что он умрет. Принцесса Алиса[65] поспешно выехала в Ливадию[66], о. Иоанн Кронштадтский тоже приехал туда, был принят Государем и молился вместе с ним. Всюду служат молебны; все озабочены, и только и разговора, что о возможной смерти Государя. Газеты всей Европы единогласно выражают сожаление о болезни Государя, которого называют Миротворцем. Если бы не его воля, то была бы война. Но с кем? Я ведь ничего не знаю, да и вообще мы мало знаем о внешней политике и о том, что делается в высших сферах. Весьма вероятно, что и была бы война; слухи о ней ходили

---

[65] Примечания: 65
Будущая императрица Александра Федоровна (1872–1918).

[66] Примечания: 66
Летняя царская резиденция в Крыму.

здесь особенно в 90–91 годах. Но я почему-то была твердо уверена, что войны не будет. Хорошо, если бы все европейские монархи следовали примеру нашего Царя…

Сегодняшния газеты говорят, что в Ялте, Ливадии, Ариадне, Ай-Тодоре масса народа, везде все занято придворными, великими князьями и княгинями. Да, теперь там, на юге, сосредоточены интересы всей России. Как бы хотелось мне хоть на минуту перенестись туда! Все бы видеть, знать и иметь возможность писать обо всем, потому что теперешнее время очень и очень интересное.

Все эти дни я усердно занимаюсь и преподаванием, и собственными уроками, и работой и только по вечерам читаю «Основания политической экономии» Милля.

21 октября

Государь скончался вчера, в 2 час. 15 мин. пополудни. Мы в это время только читали телеграммы из Ливадии об опасном его положении. Александра III не стало! Не нужно говорить о том, как поражены все, вся Россия. В лице этого Императора Европа потеряет одного из самых твердых правителей, сторонников мира, который не хотел ни с кем вести войны и политика которого

заставила уважать Россию. При нем произошло франко-русское сближение; дружба России возвысила Францию перед лицом всей Европы, и популярность Александра III в этой стране беспримерна. Закладка Великой Сибирской дороги, учреждение Министерства земледелия — вот дела, которые в памяти каждого русского останутся неразрывно связаны с именем Александра III, и его сохранит история под именем Миротворца… Замечательно похожи судьбы России и Франции: она в этот год потеряла своего президента, мы — своего Государя. Даже в частной жизни двух правителей находим тождественность: старший сын Карно был женихом, когда убили его отца; а к нашему Наследнику приехала его невеста…

22 октября

Живя в ограниченном кругу, я так далека от общества, его интересов, политического движения, что рассказы одной знакомой были для меня новостью… Оказывается, что нигилистическое движение, которое я считала давно уже подавленным, существует… В разговоре мы даже не называли этих лиц, а говорили просто «они» и «эти»… — «Вот, что скажет теперь фабрика Карзинкиных, туда уже отправили полицию», —

сказала Л-ская… — «Фабричный народ — самый опасный, там часто бывают бунты. К тому же они всегда стараются распространять свое учение прежде всего между фабричными. А ведь у Карзинкиных такая масса народа»… Я слушала с интересом: вот отголоски общественного мнения; вот первое, что всем приходит на ум после перемены власти…

25 октября

…Современному государству оказывается труднее всего соблюдать мир, т. е. то нормальное положение, в котором народы должны жить по законам божественным и человеческим. Прежде было наоборот: думали, что вести войну гораздо труднее, и имена великих полководцев записывались в историю. Теперь же случилось то, чего никто не мог ожидать, и такой вывод мог бы казаться нелепым, если бы не был на самом деле: ведя войну с первых веков существования мира, люди в конце XIX века дошли наконец до сознания, что война есть величайшее зло, что ее надо избегать, что богатство страны зависит не от количества завоеванных земель, а от собственного мирного прогресса. Все захотели мира, поднялись толки о разоружении. И… никто не решился

первый последовать своему же убеждению: одна страна зорко следит за вооружением другой, подозревая друг друга в желании нарушить общий мир. Все твердят о нем, и… поэтому война может вспыхнуть каждую минуту: чем сильнее общее желание мира, тем труднее соблюдать его. Боже, до чего это нелепо и противно всякому здравому смыслу!..

Я помню турецкую войну чуть-чуть, как сон; начиная с детства, я росла, так сказать, в мире и настолько сроднилась с ним, что даже мысль о войне мне представляется чем-то диким, невозможным. Долгое соблюдение мира приносит пользу не только материальную, в виде успехов цивилизации, но и нравственную: мир прекрасно влияет на душу человека, внушает ему нелюбовь к войне. — «Мы никому не делаем зла, не воевали ни с кем, зачем же, почему и с кем будем мы вести войну теперь?» — совершенно естественно спрашиваем мы, молодое поколение. И действительно, в нынешней молодежи не видно воинственного направления; даже дети и те не играют в солдаты — любимую игру прежних поколений. Я никогда не видела игры «в солдаты», не слыхала команды по-военному. Детские же игры часто отражают действительность…

29 октября

Не заключается ли истинное счастье, которое мы можем испытывать здесь, на земле, — в душе человека? Нельзя ли найти его в самом себе? Полная гармония душевных сил, всего настроения человека, сознание исполненного долга, данного каждому из нас на все время жизни, — не в этом ли заключается истинное счастье? Но мы, грешные люди, никогда не можем жить вполне правильно, следуя заповедям Того, Который указал нам путь к счастью: оно слишком высоко для нас, и мы его считаем недоступным нашему пониманию. Надо спуститься пониже. Снисходя к человеку, можно сказать, что и в старании самосовершенствования найдет он для себя счастье:

Усовершенствуй то, что есть:
Себя, свой дар, свой труд, и вот —
Живой предмет твоих забот —
Твоя единственная честь, —

сказал Полонский, и сказал вечную истину. Ею, так сказать, движется мир.

4 ноября

Никогда в жизни время не проходило так монотонно и однообразно для меня, как теперь. Ужасающе долго тянутся зимние дни… Я и сестры живем буквально как затворницы, не видя никого посторонних. Семейная жизнь представляет картину самую безотрадную, тяжелую и ничего хорошего не предвещающую. Неврастеник-мать ненавидит и преследует нас, как умеет, посеяв неприязнь между всеми… И мы, три сестры, стоим в этом омуте грязи житейской и инстинктивно чувствуем, как непомерно вырастает наше терпение. Откуда взялось оно — не знаю; но у меня теперь спокойнее на душе.

Я часто повторяю стихи А. де Мюссе:

Créature d'un jour, qui t'agite d'une heure,
De quoi viens-tu plaindre et qui te tait gémir?
Ton âme t'inquiète et tu crois qu'elle pleure;
Ton âme est immortelle, et le temps va venir;
Ton âme est immortelle, et la mort va

venir![67]

Все житейские испытания так ничтожны в сравнении с вечностью. Я часто восхищаюсь твердостью характера и силою души героев и с восторгом думала: если бы и мне свершить что-нибудь такое же! Наверное, и я смогла бы! — Но время великих подвигов прошло; в особенности же нам, провинциальным девушкам, мечтать о них!.. Надо уметь терпеливо переносить маленькие страдания, petites misères de la vie[68]; твердость характера может выработаться чаще всего при этих житейских условиях. Но, Боже! неужели же Ты навсегда отвернулся от нас? Нет, если не близко время, когда мы будем свободны и наша жизнь не изменится, — то есть же и то освобождение, о котором говорит де Мюссе.

---

[67] Примечания: 67

Стихотворение было опубликовано в биографическом очерке «Альфред де-Мюссе», в журнале «Русская Мысль» за 1893 год (Кн. XII) с таким вольным переводом: «На что ты жалуешься, о чем ты стонешь? Твоя душа томится, а ты думаешь, что она плачет, — твоя душа бессмертна и твои слезы высохнут. Больная мысль гнетет твое тело, голова твоя клонится, ноги сгибаются, пади на колени, жалкое создание: твоя душа бессмертна и смерть придет. Твои кости в гробу обратятся в пыль, твое имя, слава, — все умрет, но не твоя любовь: твоя душа бессмертна и не забудет ее, если она дорога тебе».

[68] Примечания: 68

Маленькие горести бытия *(фр.)*.

13 ноября

Рубинштейн умер![69] Вот великая потеря для России и целого мира. Говорят, что покойный композитор был очень потрясен смертью Государя, который любил его. А. Г. умер внезапно от паралича сердца. А я надеялась когда-нибудь услышать этого царя музыки. Когда я читала о Бетховене и Моцарте, то представление об этих гениях всегда сливалось с представлением о нынешнем — Рубинштейне. Имена великих людей имеют какое-то обаяние, которое сливается с их личностью; когда слышишь их — невольно представляешь себе возвышенное, идеальное, противоположное нам. Так я думала всегда о Рубинштейне, и глазам не верила, когда прочла о его смерти. Невольно кажется, что смерть не существует для таких людей.

14 ноября

Теперь необходимо обратить внимание на народное образование, которое находится у нас, сравнительно с Западной Европой, в жалком

---

[69] Примечания: 69
А. Г. Рубинштейн (1829–1894) — композитор, дирижер.

состоянии. Все у нас неудовлетворительно, начиная с рабского положения школы, народных учителей и учительниц и кончая неправильным взглядом самих крестьян на образование, которое они дают исключительно мальчикам, тогда как огромная масса женского населения до сих пор еще вполне невежественна. Давно пора сделать народное образование обязательным и увеличить расходы на него. Известно, что Западная Европа тратит на образование одного человека ежегодно около 2 рублей, у нас же тратится около… 20 коп.! Поэтому нигде в Европе не поражает разница между образованным человеком и народом, как у нас. До тех пор, пока ничего не будет сделано для народного просвещения, — мы будем подвигаться вперед очень медленно.

17 ноября

На днях в первый раз была в суде. Судебная обстановка производит впечатление довольно хорошее, и я с интересом следила за процессом.

Разбирались два незначительных дела о кражах. Один из подсудимых — молодой, с глуповатым и грустным лицом мужик, уже два раза судившийся ранее, — утверждал, что он невиновен. Несмотря на хорошую защиту, его все-таки

обвинили, приговорив за кражу пальто в 6 рублей ценою в арестантские роты на $1^1/_2$ года. Бог знает, что думал в эту минуту бедный осужденный мужичок, но он сохранил свой прежний покорный вид и тихо вышел из залы.

За ним ввели молодую девушку, в белом платке и арестантском платье, — она обвинялась в убийстве своего ребенка. На ее растерянном, измученном страхом и совестью лице ясно можно было видеть, что она вот-вот сейчас во всем сознается, что она готова лучше теперь же идти в ссылку, чем подвергаться процессу суда. Широко раскрытые глаза с мольбой смотрели на председателя, который суровым голосом стал ее допрашивать. Девушка не имела силы отвечать, а председатель еще более строго окрикнул ее; тогда она невнятно что-то пробормотала. Но мучения несчастной не должны были кончиться на этот раз: эксперт не явился, и разбирательство дела было отложено. Бедная женщина почти лежала на скамье. Ее увели. Она вышла из залы совсем отупевшая, точно не сознавая, что с ней делается.

Обыкновенная история: соблазнили, бросили; родила ребенка, есть нечего — и убила его. Невероятно, чтобы ее осудили. Однако этого можно

ожидать: в нашем суде царствует правда, но не милость.

19 ноября

Десятый раз перечитывала «Отцов и детей». Я знаю почти наизусть этот роман. В нем мои симпатии постоянно привлекает Анна Сергеевна Одинцова, ее холодность и спокойствие; мое самолюбие удовлетворяется тем, что Базаров, все отрицающий, ни во что не верующий, циник и нигилист, — полюбил именно такую женщину, и несчастливо. Она оказалась неизмеримо выше его. «Странный этот лекарь! — повторила она про себя. Она потянулась, улыбнулась, закинула руки за голову, потом пробежала глазами страницы две глупого французского романа — и заснула, вся чистая и холодная в чистом и душистом белье». — Так часто засыпаю и я, чувствуя себя вполне похожей на эту героиню. Сегодня же я читала то место, где Одинцова, украдкой посматривая на Базарова, думала: «нет, нет… нет…» и я чуть не вскрикнула — до того подходила эта мысль к моему постоянному настроению… «Ее спокойствие не было потрясено (признанием Базарова), но она опечалилась и даже всплакнула раз, сама не зная отчего, только не от нанесенного

оскорбления. Она не чувствовала себя оскорбленною; она скорее чувствовала себя виноватою». О, великий знаток женского сердца, как он умел живо и ярко изобразить все движения нашей души, все неуловимые порывы, которых мы иногда сами не понимаем.

Я теперь думаю, каким чудесным образом сохраняет меня судьба! Если бы кто-нибудь признался мне в любви, — что же вышло бы? Ведь я так далека от подобной мысли, совершенно неразвита в этом отношении и, наверное, испугалась бы до полусмерти…

20 ноября

Давно уже и часто приходилось мне сталкиваться с практическою стороною жизни. Происходя из купеческой семьи, я с детства слыхала разговоры о фабриках, деньгах, акциях, игре на бирже, торговых операциях и т. д.; наполовину не понимая этих разговоров, касавшихся незнакомых мне предметов, я, однако, живо интересовалась ими. Часто думая о том, как складывается жизнь общества, я постоянно удивлялась, почему мне не позволяли добывать деньги: раз я получила образование — я могу и должна трудиться так же, как и другие.

Но предрассудки стояли выше всего, и никто в нашей семье не хотел признавать нравственной необходимости труда…

Размышляя таким образом, я чувствовала, что мне не хватает почвы для моих суждений, не хватает основательных знаний, — словом, самого главного. Тогда, не зная, к кому обратиться за советом, я нечаянно прочла в «Истории цивилизации Англии» о сочинении Смита: «Богатство народов». И то, что я узнала из Смита, заинтересовало меня еще больше.

Теперь я достала из нашей жалкой библиотеки Милля: «Основания политической экономии». В этой науке так много жизненных вопросов, так много узнаешь нового; и то, над чем я никогда не думала и не обращала внимания, — оказывается предметом внимательного изучения. С первых же страниц открывалась передо мною история человечества (не такая, какую мы учили в гимназии и которая мне никогда не нравилась), его трудовая жизнь, которая привела его к прогрессу. Жизнь вообще, жизнь всех народов есть труд, и из этого закона, из этого вечного стремления масс и отдельных лиц к улучшению своего положения произошла целая наука под названием «политическая экономия». Да, какие огромные

последствия имели слова Творца мира, Который сказал первому человеку, по изгнании его из рая: «В поте лица своего будешь есть хлеб твой». От этих слов произошло все, чем мы пользуемся теперь. Первый человек начал трудиться по необходимости поддержать свое существование, и весь мир до сих пор идет и до конца будет идти по той же дороге. Если глубже вдуматься во все, что теперь есть у нас, в гениальные изобретения, открытия, науки, даже искусства, — все произошло от этой первоначальной жестокой необходимости.

Читая Милля, я нашла также и подтверждение своих мыслей о необходимости труда для лиц, обеспеченных, как мы, т. е. живущих доходом на капитал. Оказывается, что мы, беря у общества все, сами не даем ему ничего и поэтому называемся «непроизводительными потребителями». Я теперь вполне поняла, почему матери стараются выдать дочерей замуж: женщина, имея детей, приносит обществу пользу уже тем, что она воспитывает будущих его членов, следовательно, и у нее есть труд, необходимый для каждого человека. То же и девушка, на которую с давних времен все старались не обращать никакого внимания: ее ум, затронутый уже образованием,

не может примириться с этою жалкою жизнью и невольно ищет предмета, к которому он мог бы приложить свои силы, жить для чего-нибудь, повинуясь вечному закону труда.

Вот мой вывод, основанный как на законе жизни, так и науки: всякая девушка, как бы богата она ни была, должна трудиться, если у нее нет никаких обязанностей, если она вполне свободна. Я не говорю о мужчинах, потому что они почти все трудятся, — им открыт весь мир для деятельности. Но для нас, когда число женских профессий чрезвычайно ограничено и конкуренция страшно велика, — необходимо расширить права женщины, дать ей более солидное образование, открыть женские университеты или, по крайней мере, медицинские институты, филологические, естественные, чтобы, получив высшее образование, женщина могла приносить более пользы на избранном ею пути. На нынешних же «воспитательниц» и «учительниц» — городских и сельских, — каких выпускают сотнями наши гимназии, просто жалость смотреть: развития — почти никакого; одни маленькие обрывочки знаний, чрезвычайная умственная ограниченность, наконец, крайне молодой возраст — 18–19 лет. И таких-то посылают в народ, в школы, на

крошечное жалованье, для народного просвещения! Можно сказать, что не много же будет для него сделано, если контингент учительниц будет такой же, как теперь. А между тем на наше прямое и естественное желание дополнить свое образование хотя бы на Высших женских курсах смотрят как на ересь; слово «курсистка» — почти бранное; даже само поступление на эти курсы обставлено так, что массе оно не доступно. — Вот несправедливости, вот ошибки общества, которые ему рано ли, поздно ли придется исправлять, иначе оно может поплатиться. Все идет вперед. Я не требую, чтобы женщины имели вполне одинаковые права с мужчинами, чтобы оба пола вместе служили в присутственных местах, управляли государством; нет, для этого и мужчин достаточно. Но дайте женщинам более широкую сферу деятельности, право человека вообще; его право на развитие ума и сердца дайте тем, кто не имел возможности вступить в брак и должен сам зарабатывать себе пропитание. А если между такими женщинами окажутся из ряда вон выходящие по уму и таланту — не притесняйте их и дайте им все средства развиваться свободно. Женское воспитание и образование предоставьте всецело женщинам, как высшее, так и низшее.

Пусть у нас будут женщины-профессора, врачи, воспитатели, учителя. Смею думать, что и за всем тем остается достаточно женщин, которые будут выходить замуж.

23 ноября

Нечаянно попался мне на глаза дневник за прошлый год. Это было как раз в то время, когда В. начал приносить мне книги потихоньку от мамы. Год прошел, и ничего уже нет! Не осталось ничего, кроме воспоминаний о пережитом прошлом, воспоминаний, о которых никто из нас никогда не скажет друг другу. Тем лучше! Дай Бог всякому душевного мира и спокойствия…

Чувства редко бывают вечны, а любовь — в особенности. Вообще, на земле человеку дается все, с целью показать, что из всего того, что он имеет, — ничего нет постоянного. И все его старания сделать земное «вечным» разбиваются безжалостно то «рукою времени», то людьми же, то обстоятельствами, то ходом всемирной истории (как кажется человеку), а в сущности — рукою Провидения…

30 ноября

Чем ближе приближается день моего совершеннолетия — тем чаще приходится слышать разговоры о моем будущем, т. е. о поступлении на курсы. Я сама всегда избегала этого разговора и даже тщательно скрывала от посторонних мое намерение, зная, что в Ярославле ничего сказать нельзя: тотчас же скажут, что я уже уехала на курсы, или сочинят какую-нибудь сплетню. Кроме того, не в моих правилах толковать о чем-либо, чего я хочу и что еще не исполнилось. Если поступлю — скажу, если нет — лучше молчать о несбывшемся намерении. Поэтому все мои мечтания не шли далее моей комнаты и страничек этой тетрадки.

Действительно, до тех пор, пока я не получу бумаги, извещающей о моем принятии на курсы, — ничего с уверенностью сказать нельзя: 1) комплект слушательниц ограничен 400, следовательно, число вакансий небольшое; 2) без разрешения родителей туда не принимают. В августе будущего года мне исполняется 21 год, но так как прошение надо подавать заранее, то разрешение родителей для меня обязательно, а мама до сих пор еще не говорит наверное, даст

она его или нет. Предчувствую, что тут дело просто, без обмана, не обойдется! Но весна еще не настала, — тогда будет пора для решительных объяснений.

Недавно был у нас дядя[70], и несчастные курсы вновь выступили на сцену. — «Вы желаете учиться?» — спросил он меня своим обычным добродушным тоном. Я молчала, но мама тотчас же рассказала за меня, что я ужасная дочь, и т. п. «Совершенно лишнее дело идти вам на курсы, — авторитетно согласился с ней дядя, — туда идут те, кто без средств, а вам на что?» Этого возражения я не ожидала, но если дядя, как человек коммерческий, переводил разговор на практическую почву, — я решилась взять ему в тон: «С какой же стати мне жить весь век сложа руки? Я хочу трудиться, как и все, а для этого нужно учиться, чтобы знать больше, закончить свое образование». Но дядя стоял на своем: «Если желаешь трудиться, — набери ребятишек и учи их грамоте». — «Да я с удовольствием буду их учить, только дайте мне самой прежде доучиться». — «Замуж надо тебе, вот что, — решил сразу

[70] Примечания: 70

Иван Порфирьевич Оловянишников (1846–1898) — московский купец, владелец колокололитейного производства, поставщик Двора; муж Е. Г. и отец М. И. Оловянишниковых.

дядя, — жениха хорошего, „умного“ какого-нибудь» («умными» он насмешливо называет людей с высшим образованием). Все мои возражения не привели ни к чему. Но вдруг Валя, до сих пор молчавшая, налетела из своего угла на дядю: «Вот вы против курсов, дядя, а между тем посмотрите, как время идет вперед. Наша бабушка умела читать и писать, а своих дочерей она уже в гимназию отдавала; они не кончили курса, но мы, их дети, уже кончили курс. Следовательно, вполне естественно, что мы хотим идти на курсы, а наши дочери — те должны будут получать беспрепятственно высшее образование. Ведь требования образования идут вперед». Дядя только посмотрел на девочку (как он нас называет) и, должно быть, удивился ее смелости. Так он и уехал от нас, наверно в глубине души сожалея о том, что у нас нет отца, который мог бы нас воспитать как следует, т. е. не дал бы нам возможности забрать подобные опасные идеи в голову и выдал бы нас всех замуж за «хороших» людей.

2 декабря

Что дает мне право на 24 часа в сутки абсолютно свободного времени? Скажут: вполне естественно, сударыня, у вас есть «средства к жизни». Но

ведь мужчины, как бы они ни были богаты, живут и все-таки работают, служат, учатся. Почему же нам, девушкам обеспеченным, предоставляется дом, тряпки, женихи, и… больше ничего? Как давно об этом говорят и пишут, как давно спорят о предрассудках общества, но все-таки в этом отношении оно совсем не идет вперед! Некоторые интеллигентные родители, правда, понимают, что девушке можно и нужно учиться и работать, но в нашем кругу зажиточной буржуазии это понятие пока плохо прививается.

По происхождению я — чистая купчиха, ярославско-ростовско-нерехтская, но по званию не принадлежу к этому сословию; но все мои родственные связи в нем, и поэтому я не могу, мне трудно создать для себя связь с так называемой интеллигенцией. — А в нашем купеческом кругу встречаются такие картинки, которые показывают, как мы недалеко еще ушли от времен Островского. Здесь жизнь девушки ограничивается тем, что по окончании гимназии она возвращается домой и в семье должна ожидать замужества. Ей говорят: «Ты богата, у тебя все есть, за тобой столько-то тысяч приданого, тебе дали образование, в свое время выйдешь замуж, а пока — наслаждайся приятной, беззаботной жизнью

девицы!» — Так рассуждают все благоразумные родители. Хорошо, если и дочь их не идет дальше этого в своих желаниях; но если она разовьется и захочет учиться дальше, если, наконец, сознавая пустоту своего праздного существования, захочет труда умственного (а не хозяйственного, который обыкновенно предлагают нам, как лекарство от «глупых книжек»), — что тогда? — Тогда столкнутся два начала: старое и молодое. Воля родителей крепка, ее не нарушишь, предрассудки — тоже. И вот — у обеих сторон на душе вовсе не весело, и жизнь, по наружности такая богатая, беззаботная, — в сущности оказывается вовсе не такой приятной, как думают все…

7 декабря

Познакомилась со студентом Э-тейном и впервые рассказала постороннему человеку, на какие курсы хочу я поступить и какие препятствия представляются мне. Я говорила с мужеством отчаяния: мне решительно не к кому обратиться за советом. Какова же была моя радость, когда он отнесся ко мне с полным сочувствием и даже дал адрес знакомой курсистки. Из моих слов Э-тейн ясно видел всю мою беспомощность, и невольно, в ответ на его мысли, которые я угадывала, —

рассказала ему, как строго, замкнуто проходит моя жизнь, как трудно мне знать что-нибудь и как относятся мама и мои родные к моему желанию. — «Да это целый роман, — смеясь, сказал он. — Героиня за четырьмя стенами, не знающая действительной жизни». — «Да, героиня без героя», — подтвердила я. Очевидно, ему мало были знакомы нравы купеческого круга, и я увлеклась своим рассказом о наших предрассудках. — «И вы могли вести такую жизнь? Знаете, я бы на вашем месте сбежал, честное слово!» — возмутился студент. — «Но бежать ведь совершенно бесполезно: все бумаги были у мамы, меня все равно не приняли бы на курсы…» — «Ну, вы написали бы письмо какому-нибудь студенту с просьбой избавить вас от такой обстановки». — «Как? что вы говорите? писать студенту? — искренно удивилась я (подобная мысль и в голову не могла мне прийти — до того во мне сильны привитые воспитанием понятия о приличиях). — Да зачем же?» — «Да затем, что он по человечеству должен был бы помочь вам, как всякий благородный человек». — «Но… писать студенту, ведь это неприлично», — возразила я. — «Э, бросьте вы там ваши прилично и неприлично; идти напролом — вот и все! И если вы добьетесь своего — поступите на курсы, — то,

так сказать, уже во всеоружии», — заключил Э-тейн. — «Это как же?» — «Очень просто: языки знаете, материально вы обеспечены». — «Ну, нельзя сказать, чтобы вполне», — прервала я, вспомнив свои опасения, что на 700 рублей я едва ли проживу в Петербурге. — «Все-таки рублей на 500 в год можете рассчитывать?» — «Могу», — сказала я, и мне стало совестно, что мне не хватит средств. Ведь живут же люди! — «Ну вот; желание учиться у вас, конечно, есть, иначе вы бы и не шли на курсы?» — «О, конечно! — воскликнула я. — Я, кажется, весь день буду сидеть за лекциями, только бы поступить!» — Он засмеялся: «Ну, не просидите, это невозможно. Повторяю, вы поступите во всеоружии». — «Ну, какое это всеоружие! У меня нет никаких знаний». — «Но за ними-то вы и идете…»

Трудно передать то радостное настроение, которое овладело мною: мне вдруг показалось все так хорошо, так весело! Вернувшись домой (с адресом!), я легла в постель и долго не могла сообразить, правда ли это было, или весь этот разговор — сон. А на душе было так светло, как никогда. Точно крылья выросли. Я опять начала надеяться…

9 декабря

Была сегодня у бабушки. Она, кажется, уже примиряется с моим намерением и весьма благосклонно спрашивает меня о курсах. Милая бабушка! Нет сомнения, что мое печальное семейное положение заставляет ее иначе смотреть на все: она ясно видит, что мне в семье оставаться невозможно. Отчуждение матери от нас, ее дочерей, дошло до крайности, — мы редко встречаемся, не говорим с ней ни слова.

Еще более: недавно она пришла ко мне: «Вот вы жалуетесь на меня, что я не говорю вам ничего; есть жених, получает 160 рублей в месяц, ищет невесту; не хочешь ли выйти замуж?» Я молча указала маме на дверь комнаты братьев, которые слышали все ее слова, но она как будто не видела моего жеста и продолжала еще громче: «Получает 160 рублей… мне хвалили его…» Я встала и тихо, чтобы не слыхали дети, сказала: «Прошу раз навсегда не говорить мне ничего подобного. Дайте мне лучше разрешение поступить на курсы». Этого было достаточно, чтобы мама ушла, и ее изящная, девически-стройная фигура с красивым тонким лицом исчезла за дверью. Через несколько минут ко мне вошла младшая

сестра. — «Сейчас мама сказала мне: Лиза не хочет идти замуж, не хочешь ли ты? Я, разумеется, ответила, что не желаю и хочу учиться». Этого достаточно, чтобы понять, до чего дошло пренебрежение матери к нам, молодым девушкам; недостает еще одной, последней ступеньки, и наша связь с нею порвется.

Да простит мне Бог, но я уже давно перестала любить мать, как должна бы любить и как любила в детстве. Теперь мы, можно сказать, круглые сироты. Отца у нас нет, мать существует для нас только фиктивно, но никак не нравственно. Что будет дальше? Нашу небольшую семью, среди полного довольства, положительно преследуют нравственные несчастия. О, как я ценю теперь жизнь небогатых людей, которые не живут в больших квартирах, не шьют себе дорогих платьев, не держат лошадей, но в семьях которых царят мир и любовь, где все члены не смотрят в разные стороны, а взаимно понимают и любят друг друга! Как желала бы я устроить такую семью из нашей, но это невозможно…

20 декабря

Прочла «Исповедь» Руссо. Почти до конца читала ее с большим интересом: весь тон этой

книги, искренность признаний невольно трогает и увлекает; интерес ослабевает только в конце, когда Руссо наполняет страницы мелочными подробностями и рассуждениями о своих друзьях. Его подозрительность, его постоянная жалоба на изменяющих ему без причины друзей — все это придает книге, вначале такой занимательной, характер чего-то мелочного, недостойного великого человека. Осуждая своих друзей, Руссо постоянно увлекается описаниями этих подробностей; предназначив свою книгу для потомства, он с равным увлечением описывает как о себе, так и о старухе ле Вассер, о своих ссорах с нею, о записочках г-жи д'Эпина… Но поразительнее всего кажется мне невольное признание Руссо, на основании чего бросил он своих пятерых детей: «Я рассудил, что если я не могу сам дать им воспитание, какое бы хотел, то лучше отдам их обществу…» — говорит он совершенно спокойно, убежденный в своей правоте. Так говорит человек, написавший «Эмиля», произведший переворот в системе воспитания! Я, право, готова поверить тем, кто думает, что можно уважать писателя ради его творений, презирая его как человека. Руссо за свой поступок с детьми достоин презрения, но его искренность, с какою он

признается и раскаивается в нем, может отчасти смягчить вину его. В конце книги он говорит: «Кто рассмотрит мой характер, мои нравы, мои привычки, склонности, удовольствия и после этого назовет меня бесчестным человеком — тот достоин виселицы».

Руссо не лучше и не хуже многих — с той только разницей, что он прямо признает за собой те вины и ошибки, которые всегда скрываются другими. Он говорит, не стесняясь, и о своем первоначальном падении, и о своих дальнейших отношениях к женщинам, и о минутной связи с проституткой, и о своем поступке с детьми, — и все эти факты не возмущают нравственного чувства читателя так, как иногда возмущается оно новейшими произведениями Золя и Мопассана, читая которые знаешь, что это — не реальные факты, а лишь творение воображения, воздействующего на действительность. То, что было в жизни, нравственные катастрофы, — всегда заинтересовывает, возбуждает сострадание, но никак не гнев. Почему это? Я думаю — потому, что личность Руссо — в самой сущности своей нравственная; его чувствительность местами придает исповеди сантиментальный тон, но эти же чувствительность и нежность сердца

возвышают его характер и делают трогательной искренность его признаний.

Мне пришлось читать дневник Марии Башкирцевой, молодой девушки, чистой и невинной. Она тоже искренна, но чтение ее дневника оставляет скорее тяжелое впечатление: холодный, блестящий эгоизм на всех страницах, она ни в чем не виновата, она очаровательна при своей красоте, уме, таланте… Но… нет! высшей справедливостью дышат до сих пор слова: кающийся грешник лучше многих праведников.

Наблюдая жизнь, необходимо каждому развить в себе снисходительность к людям, способность извинять, оправдывать их поступки, в то же время стараясь не отступать от своих убеждений. И это мне удается, в особенности во всем, что касается нравственности, любви, увлечений. Поэтому-то я состояла и состою поверенной всех моих подруг, масса чужих тайн и романов мне доверяется без всякого любопытства с моей стороны. Теперь я хорошо понимаю, каким образом я приобрела доверие тех, кто в гимназии видел во мне только какое-то отвлеченное существо «не от мира сего», вечно занятое книгами: по окончании курса я сошла со своих облаков к людям, присмотрелась к их жизни. Я не хвастаю,

по меньшей мере, глупо восхвалять самое себя; я не считаю это даже за достоинство; я просто стараюсь, по мере возможности, быть ближе к людям. Поэтому признания Руссо, несмотря на его поступок с детьми, за который он достоин презрения всех людей, — все-таки не потеряют своей привлекательности для тех же людей.

21 декабря

Все более и более, с глухим отчаянием сожалею я об этих трех безвозвратно ушедших годах! Поступив на курсы, я кончу их не ранее 25 лет — стыд подумать! Учиться до таких лет, ничего самостоятельно не делая, а ведь жизнь так коротка! Она пройдет, и не увидишь ее; не надо терять ни одной минуты без пользы, без дела — я же теряю годы!! О, Боже, Боже, здесь не выразить словами того мучения, которое овладевает мною!

Я до того увлекаюсь этими мыслями, что мне кажется — мое желание никогда не исполнится, что я не доживу до этого времени и умру нынешней весною. Расстроившись до последней степени, я начинаю чувствовать себя скверно; сердце замирает. Машинально прижимаю к нему руку и думаю, что у меня развивается порок сердца, что мне надо бы советоваться с доктором, но

это уже бесполезно, и нынче весной, как раз в то время, когда надо будет посылать прошение, — я умру! И тотчас же представляю себе, как я буду умирать, не высказывая малодушного сожаления о жизни и скорой смерти, что́ должна буду я сказать сестрам и братьям при прощании… Картина выходит до того трогательная, что слезы навертываются на глазах от жалости к самой себе и своей погибшей жизни.

Смешно, право, а между тем мое душевное состояние в последнее время именно такое. Никто не подозревает его: я овладеваю собой в присутствии других…

Теперь я возмущаюсь на самое себя, что была покорна, позволив матери так жестоко разбить мою молодость… Я могла бы наполнить жалобами море, а не листы этой тетрадки! А между тем возмущаться — то и не нужно и грешно: надо вспомнить Бога, крест страданий, требования религии, но не так-то легко мне совладать с собою… Недаром же с молодых лет по вечерам я простаивала долгие часы на молитве, обливаясь слезами, прося у Бога лишь одного — прощения в своих грехах, и каялась до того, что забывала все окружающее: мои глаза видели только икону, какая-то сила влекла меня к ней, и казалось мне,

что я уже не в комнате, а подымаюсь куда-то выше и выше. Неизъяснимое наслаждение охватывало меня всю, и чем больше я молилась, тем легче становилось мне, и я ложилась спать совершенно спокойная и счастливая, еще не вполне опомнившись от этого страстного покаяния. И теперь, как и прежде, я молюсь так же страстно, обращаюсь к Богу с моими отчаянными мольбами и слезами… И все-таки у меня не хватает терпения, исчезает покорность судьбе…

Ах, когда подумаешь, сколько качеств надо иметь, чтобы называться истинным христианином, — окажется, что мы все более чем наполовину язычники.

Нерехта, 10 декабря

Как здесь хорошо! Едва только я вышла из вокзала и поехала по полю, едва завидела белые колокольни родного городка, — сердце опять забилось сильнее, опять охватило меня радостно-взволнованное чувство, которое испытываю всегда, приезжая сюда… Здесь мирно и тихо встречу я Новый год…

1895 год

8 января

Я встретила Новый год у себя на родине. Никогда я так не молилась, никогда у меня не было такой глубокой мольбы к Богу, как на нынешний год. Чего хотела я? — Я молилась о счастье сестры, если ей суждено быть счастливой, просила счастья им обоим; себе просила я — исполнения моего желания, осуществления моей заветной мечты, моей цели, к которой я иду. Две просьбы только, не велико число, но велико их значение: это была молитва о двух жизнях. И чувствую, что не только две, но даже и одна из них, может быть, не исполнится…

13 января

В семейном кругу вновь заговорили о курсах. Мама не только не дает позволения, но прямо старается восстановить родных против меня всем, что может пустить в ход: слезами, притворством, отчаянием, любовью ко мне, дальностью расстояния, etc. Такие доводы производят влияние. Видя,

что я отказываюсь от папирос, предложенных дядей, меня серьезно и не без колкости спросили: «А как же будешь там-то, на курсах? ведь все курсистки курят…» Я могла только улыбнуться. «Далеко не все», — сказала я, едва удерживаясь от смеха. Но… мне не поверили и в дальнейшем говорили со мной мало и пренебрежительно. Дядя же, добрый и милый дядя, который нас так любит и обращается как с маленькими девочками, — усадил нас около себя и прямо заявил: «Ну вот; посижу с вами теперь, пока вы еще не уехали на курсы, пока вы еще хорошие девочки…» Совершенно тронутая слезами мамы, бабушка растерянно повторяла: «Уж очень далеко уедешь, Лиза; ну на что тебе эти курсы?..»

Ах, тяжело; вижу, что без борьбы не выйду я из моего болота. Предрассудки — такая глухая стена, которую необходимо не разбирать, а прямо ломать силою, чтобы скорее увидеть свет…

19 января

Обе сестры П-вы в высшей степени симпатичные девушки. Младшая, Маня, учится на курсах; она сообщила нужные сведения о них и обещала узнать, могут ли принять меня без разрешения родителей, ввиду того, что в августе я буду со-

вершеннолетняя. Таким образом, моя судьба, так сказать, висит теперь на волоске — от ответа Мани зависит все; потому что разрешения мама по доброй воле не даст никогда: она играет комедию, обещая подписать бумагу, и, как ловкая актриса, переходит тотчас же на драматическую роль, — слезы и отчаяние при виде пера и чернил. Да простит мне Бог, но ведь это, в сущности, притворство, нервный каприз неврастеника, который заставляет приносить в жертву своему произволу жизнь других…

Слушая серьезный разговор 19-летней девушки, я невольно чувствовала, что ее постоянно окружает интеллигентная среда, в которой быстро развились ее ум и способности. Наконец-то я познакомилась с таким человеком, который мне всегда был необходим! Только теперь, только сейчас! Боже, как бы охотно я кончила курс вместе с нею, возвратилась бы опять на надоевшую мне школьную скамью, чтобы только иметь возможность быть знакомой с ней несколькими годами ранее…

Когда Маня рассказывала о переписке, которую она ведет с молодыми людьми, о двоих свободных знакомствах, — я невольно сравнивала себя: а я-то? — В 19 лет мне едва-едва разрешено было

знакомство со студентом и позволено, в виде особого снисхождения, иногда поболтать с ним о всяком вздоре в присутствии мамаши. Только в отношении моего умственного развития я всегда была самостоятельна; но во внешней жизни со мной обращались как с малым ребенком, постоянно ставили в узкие рамки, и теперь я действительно похожа на робкого, застенчивого дитятю. Бывает же возможность изуродовать так человека!..

И я чувствовала себя в этот вечер очень скверно: как бы приниженной перед Маней, сознавая при этом собственное невежество. Ах, как хотелось мне хоть на время оставить всю эту обстановку, среди которой я выросла, и с головой окунуться в ту, такую привлекательную для меня, жизнь! Пусть в этой среде девушки не имеют бриллиантов, молодые люди плохо одеваются, но зато общество их вдвое, втрое интереснее нашего, где в гостиной — приличная скука, но всегда модные туалеты… Скорей, скорей за книги! Забыться!..

23 января

Я так устала, так устала, что даже равнодушно отношусь к моей собственной судьбе; а между тем в ближайшие дни должна ожидать ее ре-

шения. Но меня это даже и не интересует, точно дело касается постороннего лица, а не меня…

Недавно мне приснилось, что я умираю: кто-то перерезал мне жилу на ноге, — это была моя казнь, — кровь полилась; я упала на колени, закрыла лицо руками и повторяла только: «Господи, помилуй меня!» Я чувствовала, что с каждой минутой теряю более и более силы, как вместе с кровью, которая лилась ручьем, жизнь мало-помалу исчезала. В глазах пошли зеленые круги, я зашаталась… «Это конец», — промелькнула у меня последняя, неясная мысль; все кругом померкло, и я полетела в темную бездну… Я в ужасе проснулась: о, слава богу, это только сон! Сколько раз снилось мне, что я умираю, но никогда еще сон не был так жив и никогда наступление смерти не рисовалось так ясно. Отчего? — Недавно я с увлечением прочла «Историю жирондистов»[71]; описание последних дней жизни и смерти этого несчастного короля врезалось в память: я живо воображала это время и старалась испытать в себе душевное состояние короля при известии об осуждении его на смерть в 24 часа. Под влиянием этих мыслей мне мог

---

[71] Примечания: 71
Четырехтомный труд Альфонса де Ламартина (1790–1869).

присниться такой сон.

31 января

…Как женщина я не существую для мужчин; но и они как мужчины — не существуют для меня. Я вижу в них только учителей, т. е. людей, которые знают больше меня и знакомство с которыми может быть приятно и полезно, если я могу извлечь для себя какую-нибудь пользу. Но раз они не могут быть учителями, раз они не стоят гораздо выше меня — тогда они для меня не существуют; я могу быть знакома с ними, но для меня они не представляют ни малейшего интереса. Я давно твердо убеждена в этом; последние дни только подтвердили мои мысли…

2 февраля

Да будет благословен сегодняшний день! Мне кажется, что я снова начинаю жить! Несмотря на сильный ветер и снег, я пошла на каток. Там меня встретил Э-тейн и поехал со мной. — «Знаете ли, я ведь имею сообщить вам приятное известие», — сказал он. «Какое?» — удивилась я. «Маня пишет мне, что она справлялась у директора курсов и узнала, что вы можете посылать бумаги теперь

без разрешения родителей, если в августе вы совершеннолетняя». — «Быть не может!» — радостно воскликнула я. — «Вы не верите? — засмеялся он, — так вот, я вам прочту письмо». Мои сомнения сразу исчезли… «Как я счастлива, как я вам бесконечно благодарна!» — повторяла я, чувствуя, что в душе моей подымается буря восторга. «Ну позвольте; радоваться тому, что вы видите себя близко к цели, конечно, можно, но я-то сделал для этого немного». — «Это для вас, а не для меня, — возразила я. Мною овладевало возбуждение. — Вы становитесь для меня человеком, с которым будет соединено воспоминание о самой лучшей, самой большой моей радости», — сказала я студенту. Тот молчаливо улыбнулся…

Мое надломленное, утомленное до бесконечности существо вдруг узнало в себе новую силу. Точно больному дали лекарство, от которого он выздоравливает…

Надежда — прекрасное слово! Да, я могу теперь надеяться; я снова могу жить!.. И мне хотелось болтать без умолку, смеяться так, как я давно уже не могла смеяться.

Я каталась недолго. Было темно, когда я шла домой; но обычно длинная дорога не казалась мне длинной, и темные сумерки казались светлее

солнечного дня.

18 февраля

Вопреки моим ожиданиям, о. Владимир вовсе не был строг в этот раз на исповеди. Отвечая на его вопросы, я говорила чаще «нет», вместо обычного «грешна», потому что он спрашивал меня о вере, о Промысле Божием, стараюсь ли помогать несчастным словом и делом, а в этом я не могу признать себя грешной. Но под конец я сообразила, что нельзя же на исповеди говорить чаще «нет», нежели «да», и, смутившись, уже без раздумья, ответила на вопрос о. Владимира: «Не берете ли что-нибудь потихоньку?» — «Грешна», хотя припоминаю теперь, что не взяла ничего…

Ежедневно читаю «Жизнь Иисуса Христа» Фаррара и думаю теперь, что гораздо труднее исполнить на деле то, что в мыслях кажется таким хорошим, добрым и поэтому легким. Решившись по возможности быть лучше, в особенности в отношениях семейных, я сегодня едва-едва не отступила от такого доброго намерения. Прежде всего — видишь маму и вспоминаешь все, чем она оттолкнула нас от себя, видишь ее жесткий характер; потом дети начинают говорить грубости, без всякого повода с моей стороны, мешают,

и… мой характер готов вспыхнуть, как шведская спичка. Но надо же когда-нибудь научиться владеть собой; неужели же у меня нет воли, нет самообладания?

А знаете ли, чего мне сегодня захотелось? Смешно сознаться даже самой себе. Видя, как дети[72] ласкаются к сестрам, обнимают их, — мне вдруг страшно захотелось испытать на самой эту детскую братскую ласку, которой я никогда еще не видала по отношению к себе. Сестры относились совершенно равнодушно к этим «нежностям», как они их называют; но я… чего мне так хотелось, того, наверное, не увижу никогда! Дети как-то стоят ближе к сестрам и любят их несравненно больше, нежели меня; им и в голову не может прийти, что я старшая сестра, потому отношусь к ним строго, что люблю их разумною любовью и желаю, чтобы из них вышли порядочные люди… Впрочем, говорят, что дети ласкаются только к хорошим людям, они инстинктивно чувствуют, кто их любит. Во всяком случае, здесь нет ничего хорошего для меня; я, значит, по существу дурной человек. Что ж, это, быть может, и правда!

---

[72] Примечания: 72
Младшие братья Елизаветы Александр и Владимир.

24 февраля

Петя прислал мне свою карточку; она была завернута в бумажку, и на ней было написано: «Лиза, посылаю свою карточку и прошу на меня не сердиться. Желаю всего хорошего, Петя». И этот тоже просит на него не сердиться! Как странны люди! Одним словом, одним разговором часто могут они причинить больше зла, нежели поступками, и не заметят этого; разве только мимоходом бросят вам: «не сердись»… — За что? В сущности, и Петя по-своему прав, а виновата опять-таки я, вообразив его не тем, чем он есть. Единственным извинением моим служит неопытность, уединенная жизнь, которую я веду, полное незнание людей, слишком живое воображение…

26 февраля

Начались мои хлопоты относительно необходимых документов для поступления на курсы. У меня есть все, за исключением трех: политической благонадежности, свидетельства о безбедном существовании и позволения родителей. Последнее — увы! — мне получить невозможно. Я отправилась к губернатору. Разго-

вор был весьма короток: «Вы кто такая? Для чего вам нужно свидетельство о политической благонадежности? Кажется, за вами ничего дурного не известно, подайте прошение». Чиновник особых поручений обещал, что свидетельство вскоре пришлют ко мне на дом.

27 февраля

Труднее оказалось достать свидетельство о безбедном существовании. В отношении денежном я всецело в зависимости от сиротского суда и прямо должна была обратиться к нему, но побоялась, что там мне не выдадут свидетельства о моих средствах, ввиду того что я — несовершеннолетняя. Мне посоветовали обратиться в полицию: если полиция выдает свидетельство о бедности, то может выдать и о безбедном существовании. Я согласилась с этим, и вот — начались мытарства.

По страшной слякоти добрались мы с сестрой до «части», в самом конце города. Там очень красивый человек после краткого допроса сказал, что нужно обратиться в полицейское управление. Пришлось с одного конца города вновь отправиться на другой. В управлении по чугунной лестнице мы вошли в грязный коридор, где какой-то чиновник провел нас через темные ком-

наты за тот стол, где он занимался. Обстоятельно расспросив меня, зачем мне нужно это свидетельство, он с недоумением сказал, что подобный случай встречается первый раз. «Я нахожусь под попечительством», — скромно заметила я. — «В таком случае вам надо обратиться в Сиротский суд; а впрочем, сделайте так: приходите завтра утром сюда и переговорите об этом с полицеймейстером: он вам скажет, куда обратиться. Если сюда — то прошение уже написано и вы его тотчас подадите, а если в суд, то тогда приходите ко мне и я вам напишу прошение…»

28 февраля

Когда в назначенный час меня ввели в маленькую комнатку, где занимался какой-то чиновник, — все служащие в один голос говорили мне, что подобный случай встречается впервые и полиция подобных свидетельств не выдает. Вышел полицеймейстер, невысокого роста, средних лет, в очках и с пышной рыжей бородой, расчесанной по обе стороны. — «Вам нужно подобное свидетельство в знак того, что вы будете исправно вносить плату?» — сказал он. — «Да». — «Но как же полиция может выдать вам такое свидетельство о безбедном существо-

вании? Ведь ей же неизвестно, какие вы имеете средства; притом — сегодня вы живете безбедно, завтра — нет; сведений о вашем имущественном положении мы не имеем. Единственно, что может вам выдать полиция, это — свидетельство о том, что вы не обращались за помощью ни в какие благотворительные учреждения. Но такое свидетельство для вас недостаточно, потому что в том, какое вам требуется, нужно удостоверение о ваших средствах». Вновь мне пришлось заметить, что нахожусь под попечительством. — «Тогда — чего же лучше, обратитесь в Сиротский суд. Он вам выдаст такое свидетельство». — «Но мне там могут отказать, ввиду того что я еще несовершеннолетняя. Нельзя ли полиции навести справки в Сиротском суде и выдать мне свидетельство на основании тех сведений, которые она оттуда получит?» — «Сиротский суд может отказать полиции в справке, потому что это ее не касается. Советую вам обратиться прямо к секретарю Сиротского суда, он вам все скажет». Я поклонилась и пошла в ту комнату, где сидел мой вчерашний знакомый. Этот благодетельный человек написал мне очень подробное прошение, сострадательно подтвердив, что полиция не может выдавать подобных свидетельств.

Делать нечего — пошла в Сиротский суд. Мне лично не хотелось обращаться с просьбой к секретарю, из опасения, что он, зная моих родственников, может рассказать им о таком неожиданном посещении. Каково же было мое удивление, когда я совершенно неожиданно встретила с его стороны самое живое сочувствие. — «Желаю вам успеха. Вам, конечно, надо поскорее иметь это свидетельство? Бумага будет готова дня через два. С таким делом нечего медлить, — чем скорей, тем лучше. Желаю успеха. Прошение составлено очень толково. Кто вам писал?» — спросил он. — «В полиции, — отвечала я, — потому что я сначала туда обратилась». — «Ну, вам там выдать его не могли, надо было прямо сюда». В восторге, что мне удалось так легко и просто устроить дело, я уже собиралась уходить, как вдруг секретарь, перевернув страницу и увидев только мою подпись — несовершеннолетняя наследница Е. А. Д., — удивленно спросил: «А где же подпись вашей попечительницы?» Этого я не ожидала. — «Подписи нет, и мама никогда не подпишет подобной бумаги», — решилась сказать я. — «В таком случае Сиротский суд не может вам выдать этой бумаги! Почему же ваша матушка не соглашается подписать ее? Разве она против этого?» — «Да,

мама не дает своего согласия на поступление на курсы». — «Но почему же? Это — такое благое дело, что я сам, если бы была возможность, отпустил с радостью своих дочерей! Удивительно не давать согласия на такое хорошее дело; ведь в тысячу раз лучше учиться, нежели сидеть здесь, в провинции, сложа руки и ничего не делая!» — «Ах, я уже четыре года прошу этого позволения, и напрасно. И если я могу подать прошение теперь, то лишь ввиду моего совершеннолетия, которое исполнится в августе. Все дело в том, что бумаги надо посылать раньше, иначе я, конечно, не стала бы и обращаться за этим свидетельством в Сиротский суд». — «Значит, весь вопрос только во времени? Жаль, жаль! Едва ли Сиротский суд найдет возможным выдать такое свидетельство без подписи попечительницы! Ведь вот здесь недостает только этих слов: „против выдачи этого свидетельства ничего не имею“, и бумага завтра же будет готова. Я так привык видеть все бумаги за подписью попечительницы и не заметил сначала, что ее здесь нет…» — «Но я не денег же прошу у суда, мне они не нужны, мне необходимо только удостоверение, что я могу платить в интернат и за учение», — умоляющим тоном сказала я. — «Я понимаю, вас без этой бу-

маги не примут, потому что плата в интернате значительна. Но что же делать, если по закону Сиротский суд без разрешения матери не может выдать вам такого документа! В противном случае нам всем может попасть!» — «Что же мне теперь делать?» — с отчаяньем вскрикнула я. Добрый секретарь глубоко вздохнул: «Очень, очень жалею, я сочувствую вам, потому что нахожу ваше желание прекрасным. Постараюсь сделать для вас все, что могу. Вы все-таки подайте это прошение и приходите дня через два за ответом: или вам выдадут свидетельство, или возвратят обратно прошение…» Простившись, я вышла из суда совершенно растерянная, ничего не соображая…

Самые худшие предчувствия оправдались… Опять, опять препятствие! Опять отказ! Нет нужной бумаги! Боже мой, что же теперь делать? Ведь слова секретаря, его обнадеживание были только прикрытием слишком жестокого отказа… Этот добрый человек сразу приобрел мою полную симпатию за свое прекрасное, гуманное отношение ко мне, личности совершенно ему чуждой, и тем больнее было для меня, слушая слова участия, знать, что не сегодня завтра — он же возвратит мне обратно прошение… С этими грустными,

жестокими мыслями тихо шла я домой и не выдержала: слезы отчаяния показались у меня на глазах, и шедшие по улице прохожие с удивлением смотрели на мое взволнованное лицо.

Итак, второй раз мне приходится висеть на волоске! Боже всемогущий, да неужели же нет у Тебя жалости ко мне? Где же справедливость? Мне, 20-летней девушке, отказывают в выдаче необходимого свидетельства для продолжения образования потому только, что мать из предрассудков, из странной прихоти, из ненависти к дочерям — скорее допустит меня выйти замуж за первого встречного и погубить себя на всю жизнь, нежели подпишет хотя одну бумагу, касающуюся курсов! — Dura lex, sed lex![73] И я на себе испытываю всю прелесть этой жестокости, которая в данном случае, можно сказать, прямо бессмысленна. Справедливость получается самая несправедливая: если позволение матери — все, то необходимо, отдавая детей под опеку, наводить справки и о матерях, чтобы они не злоупотребляли своими правами.

---

[73] Примечания: 73
Закон суров, но это закон! *(лат.)*

3 марта

Сиротский суд отказал мне в выдаче свидетельства… Я уже заранее знала, что это так и будет, и поэтому спокойно выслушала секретаря, сообщившего мне об этом. — «Нельзя ли устроить так, чтобы за меня поручился кто-нибудь?» — спросила я. — «Вам есть еще два выхода, — отвечал он, — или вы можете написать директору курсов, что вы представите свидетельство об имении вами средств после совершеннолетия, потому что тогда Сиротский суд выдаст это свидетельство, или же можете написать, что вы в денежном отношении зависите от Сиротского суда и чтобы дирекция навела у нас справки о вашем состоянии. Тогда, на официальную бумагу директора, мы ответим, что у вас имеется такое-то состояние». — «А это верно, что Сиротский суд ответит на запрос директора, не откажет ему?» — «Конечно, должен ответить. Почем мы знаем, для чего директору курсов нужна справка?» — «Но именно потому-то, что Сиротский суд не знает, для чего директору нужна справка, он может и отказать ему», — подумала я, но не высказала этого сомнения, считая неудобным задерживать секретаря своими расспросами, так как к

нему беспрестанно подходили какие-то люди с бумагами. — «Позвольте от души благодарить вас...» — «Очень, очень сожалею, что ничем не могу помочь вам. Сиротский суд на мои доводы отвечал мне: мы призваны охранять семейный строй, но не разрушать его». Я поклонилась и ушла.

Тяжело было на душе. И странное дело: чем тяжелее становится мне, чем более я вижу препятствий, — тем сильнее мое желание. Я чувствую, что становлюсь тверже и решительнее, и буду сопротивляться до тех пор, пока могу, пока хватит сил. Теперь я уже закрываю глаза на все и иду вперед, думая только о достижении моей цели. Занятия немецкой литературой и историей, за которые я было принялась, не идут на ум: несмотря на все спокойствие, с которым я стараюсь относиться к своей неудаче, я не могу заниматься. Я строю всевозможные планы на случай другой, последней неудачи — отказа принять меня на курсы, думаю о поездке в Петербург, словом — вовсе не об истории Греции и Рима, Шиллере и Гёте.

Сегодня дома разговаривала с сестрами о моих делах и рассказала им все, что и как думаю. Это немного облегчило меня. А почему? — и сама не

знаю. Сестры ничем не могут мне помочь, ни советом, ни делом: лица у обеих выражали только огорчение при виде моей неудачи.

8 марта

Итак, — что предпринять теперь? Я почти решила ехать в Петербург, лично просить директора или кого-нибудь из «власть имущих» принять меня. Это единственное средство, чтобы не мучиться в ожидании ответа — какого ответа?! Если там мне откажут, — получив нужные сведения у знакомой швейцарки, m-lle Noyer, — начну собираться в Швейцарию…

Мне не хочется терять еще год. Довольно, довольно! Когда я подумаю об этих $3^1/_2$ годах, я прихожу в ужас и отчаяние при мысли, что не сумела как следует распорядиться ими. Никаких знаний я не приобрела, читала так мало и не такие серьезные сочинения, какие надо бы читать. Я упрекаю себя за то, что не купила себе книг, тратя все деньги на наряды, поездки, театр, довольствуясь книгами здешней библиотеки… Словом, я недовольна моею прошлою умственною жизнью, всем, решительно всем моим существом! «Надо бы так-то, надо бы сделать то-то…» — твердишь самой себе, — и сожаление

о безвозвратно-прошлом наполняет душу таким скверным сознанием собственной негодности и неспособности, что я рада бы бежать на край света, лишь бы уйти от упреков своей же совести…

Да! Только теперь могу я понять цену спокойного и радостного чувства довольства собою, сознания, что «я сделал все, что должен был сделать».

10 марта

Вспоминаю весну 1883 года. Двенадцать лет прошло! Не знаю отчего, но эта весна особенно припомнилась мне. Тогда я была восьмилетней девочкой, и, помню, веселой, беззаботной, как птичка. Помню прекрасные весенние дни, папин кабинет, весь залитый солнечным светом, и себя перед письменным столом, читающую роман Золя, какой — позабыла, должно быть, «Дамское счастье», потому что упоминалось имя «Дениза». Милая, родная Нерехта, счастливое время! — Все прошло, жизнь изменилась, и теперь уже нет ни девочки, ни папиного кабинета с большим письменным столом, заваленным книгами и газетами, ни тихой, ясной и прекрасной весны, как тогда!

11 марта

Получила из полиции свидетельство о политической благонадежности. Очень опасалась, чтобы не вышло истории с мамой, когда принесет бумагу полицейский, но все обошлось благополучно. Помощник пристава принес свидетельство, когда меня не было дома, и сказал горничной, чтобы я пришла в часть вечером. Я заранее уже подготовила Вассу не докладывать ничего маме, когда принесут бумагу, и если она спросит — отзываться незнанием; поэтому, когда она начала допрашивать Вассу, кто звонил, — та ответила: «Не знаю; какой-то офицер спрашивал барышню, велел ей прийти в 8 часов». — «Куда?» — спросила мать. — «Не могу знать», — отвечала моя верная дуэнья. Когда я возвратилась домой, мать меня встретила вопросом: «Какой это офицер приходил за тобой?» — «Подруга Маня уезжает сегодня, — смело лгала я, — он приходил сказать, чтобы я пришла ее проводить. Можно мне идти сейчас?» — «Можете». — «Ты за мной не присылай прислуги, меня проводят», — продолжала я лгать. — «Хорошо», — сказала мама вполне спокойно и села ужинать. Я же, почти бегом, глухими переулками, отправилась на конец города,

в часть. Было темно, и ни одна из ярославских барышень не согласилась бы идти в такое время по таким улицам, где на каждом шагу трактиры и где рискуют встретиться с будиловцами. Но я не думала ни о чем и пришла в часть еще задолго до назначенного времени.

Меня вежливо пригласили присесть и подождать. Комната была полна народу. Мужики робко жались у стен, пристав разговаривал с каким-то мужчиной, в другом углу двое писали, у дверей стоял старичок в мундире. Мне было очень любопытно наблюдать за всеми: в первый раз в жизни видела я такую картину. Пристав не имел ни минуты покоя. Отпустил мужчину — зазвонил телефон: нашли мертвое тело ребенка, и он с кем-то разговаривал об этом деле. Затем к нему привели в качестве свидетеля извозчика. Я внимательно выслушала допрос мужика; записав его показания, пристав отпустил его. Не успел он сесть — пришла баба с жалобой, опять звонил телефон, приходили полицейские, входили и уходили мужики и бабы, получая какие-то бумаги, а я все ждала. Наконец явился помощник, я подписала заранее приготовленную расписку, взяла свидетельство и ушла, утомленная до крайности. Что-то будет?

16 марта

Прочла последний рассказ Толстого «Хозяин и работник». Едва только он появился в печати, как уже единогласно признан критикой за шедевр даже между произведениями великого писателя. Действительно, — можно ли написать лучше, проще, возвышеннее? В нем — и сила, и великая христианская идея. Кажется, словами не передать того впечатления, которое производит этот рассказ, написанный тем удивительным языком, которым владеет только Толстой: будто живешь вместе с этим хозяином и Никитой, так и видишь их перед собою, в особенности Никиту, в его драном кафтане, идешь с ним в конюшню, запрягаешь лошадь, едешь, плутаешь по полю… Такое точно впечатление производило на меня когда-то описание скачек в «Анне Карениной»… Фигура хозяина выступает не вдруг, а постепенно; сначала мы видим только хитрого мужика-богача, который думает только о торговле и барышах, но под влиянием смертной опасности, пред лицом неминуемой гибели, — в хозяине вдруг пробуждается «нечто», и это «нечто» все растет и растет, захватывает все его существо и заставляет наконец спасти Никиту, а самому погибнуть. Подобное

превращение хитрого барышника, у которого на уме только «роща, валуки, аренда, лавка и кабаки», — в человека, «полагающего душу свою за други своя», может казаться неестественным: так велико расстояние между христианином-идеалистом и деревенским барышником. Но для гения Толстого это расстояние совсем не велико, и превращение Василия Андреевича совершается так естественно и просто, последние минуты его жизни так трогательны, что читатель даже нисколько не удивляется его перерождению. Чтение этого рассказа возбуждает лучшие чувства, и поэтому самое произведение, несмотря на свою простоту, — возвышенное. В нашей литературе нет рассказа, равного этому по силе и глубине мысли, простоте содержания и совершенству формы. О, если бы хотя $^{1}/_{100}$ наших писателей могла писать так!

27 марта

Вот оно, дорогое для меня письмо Мани: «Дорогая Лиза! Вы, я думаю, на меня сердитесь, что я так долго не ответила Вам, но я была страшно занята в эти дни, занималась латинским, поэтому-то мне все и не удавалось сходить на курсы и разузнать то, о чем Вы просите. Простите, голубчик, меня за

это, так как я понимаю Ваше нетерпение и браню себя за такую медленность в ответе. Директор курсов сказал, что свидетельство о безбедности Вы можете подать позднее, когда вам исполнится 21 год; прошение же и все бумаги подайте раньше… Вас непременно примут, так как, во–1) вы кончили с медалью, а во–2) поступаете в интернат. Кроме всех этих бумаг, надо собственноручно написать свою автобиографию, т. е. когда и где Вы родились, где учились, когда кончили курс, что делали по окончании курса и т. д. Это новое правило, до этого года ничего подобного не было. В половине мая приеду домой и все Вам расскажу лично. Не падайте духом, Лиза, и верьте, что, когда человеку чего-нибудь сильно хочется, он всегда добьется. Ваше стремление на курсы, конечно, увенчается успехом. Только будьте тверды и не отступайте ни на шаг от задуманного. Курсы, а главное — жизнь в Петербурге, общение с людьми, в самом лучшем смысле интеллигентными, дадут Вам много…»

Ее сестра Анюта принесла мне это письмо, когда я была у знакомых. Я не могла удержаться, ушла от гостей в другую комнату и распечатала письмо. «Ведь этим письмом решается моя судьба!» — думала я, и руки мои дрожали так сильно,

что я не сразу вынула письмо из конверта. И по мере того, как я его читала, все светлее становилось на душе, я вдруг успокоилась… Мне стало до того хорошо, что, возвратясь к гостям и забыв все приличия, забыв о том, что неловко говорить в малознакомом обществе о своих личных делах, — бросилась к Лидии: «Лида, какое письмо я получила! Ведь теперь я знаю наверное, что могу поступить на курсы!»

В комнате сидели студент и одна барышня, не кончившая гимназии. Тотчас же завязался разговор о курсах. Молодые люди напали на меня: барышня со всем азартом невежества, студент — со всею самоуверенностью и беззастенчивым апломбом мужчины. Я молчала и про себя смеялась… не над барышней — ей, как не кончившей гимназического образования, естественно было рассуждать так, — меня смешил студент. Вдоволь наговорившись и прочитав мне длинную нотацию о глупости моего намерения, он тем не менее вздумал осведомиться, зачем я еду, на какое отделение поступаю и почему? Но, узнав вполне его взгляды, я вовсе не желала высказывать этому господину мои личные убеждения и отвечала уклончиво, давая понять, что нужно прекратить этот неприятный разговор.

Это письмо открывает передо мною новое будущее, новую жизнь!

1 апреля

Не далее как несколько часов тому назад я виделась с В… Я получила от него вчера утром письмо, в котором он писал, что приедет сегодня. Уже издали заметила я его высокую фигуру, когда мы шли навстречу друг другу… Он крепко сжал мне руку и, сказав «спасибо», тотчас же начал объяснение, результатом которого явилось назначенное на завтра последнее, решающее свидание с Валей…

Ей я сказала: «Ты должна прямо и честно объясниться с ним. Это будет самое лучшее. От него будет зависеть принять во внимание твое намерение поступить на курсы — и он тебе это скажет…»

2 апреля

…Валя была страшно взволнована и едва могла говорить… — «Он сделал мне предложение… мы пришли к соглашению. Я даже не ожидала, что он решится сказать маме, что женится под условием моего отъезда на курсы в нынешний же год. Он

хочет теперь, чтобы я сначала узнала жизнь, пожила в Петербурге… А чтобы мама не испугалась четырехгодовой отсрочки, мы решили немного схитрить и сказать ей, что венчание отлагается только на год, на время которого я уезжаю учиться. Вот как хорошо мы все устроили… И вдруг… сейчас он говорил об этом с мамой… и… она… не соглашается», — разрыдалась Валя… Нам было страшно тяжело.

Вечером разговор с матерью был целой путаницей тупого, закоснелого эгоизма и жестокости, которой она нимало не скрывала перед нами. — «На такое условие я никогда не буду согласна. Она — моя дочь и должна жить со мною. Я ее никуда не пущу учиться. Свадьба должна быть без всяких условий, тогда муж будет ее попечителем и я не буду касаться дочери». Сказав эти слова, мама более не спускала глаз с В. и сестры, ни минуты не оставляя их вдвоем: она боялась, чтобы они, по ее словам, «не дали друг другу слова…».

4 апреля

Ох, сколько пережила за эти три дня! Мама теперь устранена от дела совсем: ей сообщили, что условия ее приняты и свадьба «состоится»… Но В. твердо решил не отступать от своего на-

мерения дать сестре полную свободу по выходе замуж. — «Я не возьму ее с собой… Пусть тотчас же после венца, так как ей неудобно оставаться здесь, едет со мною в Петербург и там живет до начала учения. Я ее устрою на курсах, а сам потом уеду домой…» Он говорил это просто и уверенно, и лишь едва удалось мне подметить грустную нотку в его голосе, как говорят люди, пришедшие к какому-либо окончательному решению. Нет сомнения, он говорил о браке, но о таком, который сначала должен быть фиктивным. Меня тронуло такое благородство человека, а Валя ценит его безгранично… Теперь осталась одна практическая сторона дела… Свадьба предполагается через год…

5 апреля

Уехал В. Прекратились наши волнения, свидания и переговоры. Я испытываю удовлетворение в том, что теперь все зависит от них обоих и мне можно устраниться… Как бы ни кончился год ожиданий, — это будет уже личное дело сестры…

В нашу общую жизнь, однообразную и монотонную, как серенький осенний день, вдруг ворвался солнечный луч и упал на младшую сестру. И блеск этого луча озаряет ее бессознательно,

даже против воли…

6 апреля

Встретилась с Петей у нас в доме. Выбрав минутку, я села в стороне от других, рядом с ним. «Спасибо вам за карточку; но только вы напрасно написали, что извиняетесь. Вы вовсе не виноваты передо мною… У всякого могут быть свои мнения…» Я говорила тихо, с тем особым, теперь мне хорошо знакомым, чувством надломленности, если можно так выразиться: мне было и безразлично, и очень грустно. — «Нет, если я извинялся, значит я находил это нужным. Тогда, кажется, я наговорил много лишнего», — отвечал Петя. «Я не признаю вас виновным; чужое мнение надо уважать… — совершенно спокойно, не смотря ему в лицо, произнесла я. — И не будем спорить… Пусть каждый останется при своем…» — «В таком случае остается повернуться друг к другу спиною и разойтись, как будто бы мы друг другу чужие», — оскорбленным тоном возразил Петя. — «Нет, я допускаю только полную свободу мнений». — «Тогда отчего же не возобновить переписки?» Я тотчас же решительно отказалась. Я чувствовала, что вполне владею собой, только говоря с ним холодно и равнодушно; и если бы

во мне проснулась искренность — я потеряла бы самообладание и высказала бы ему все, что он причинил мне своим ответом на мой вопрос. А этого он не должен знать: моя гордость возмущается при одной мысли, что человек, меня не понимающий, узнает мою душу и с недоумением пожмет плечами и отойдет, пожалуй даже с насмешкой… Нет, нет! — Не надо!..

17 апреля

…Когда директор гимназии объяснялся в моем присутствии с мамой по поводу нравственно возмутительного поступка с ее стороны — я не могла быть спокойной; мое дыхание захватило, и стыд, мучительный стыд овладел мною. Я не смела взглянуть на говорившего; я хотела провалиться сквозь землю, исчезнуть сию же минуту; но мучение пересилило — и я зарыдала, не стыдясь своих слез, не считая за малодушие и слабость с своей стороны… — «Знаете ли вы, как называется подобный поступок? — говорил директор матери. — Вы точно сами не понимаете, что сделали и как меня оскорбили. Я бы мог искать удовлетворения другим порядком, но я этого не хочу, помня евангельское изречение: „не ведают бо, что творят“. Поэтому-то я и приехал к

вам и говорю с вами в присутствии вашей старшей дочери, чтобы объяснить ваш поступок. И как после этого вы можете жаловаться на ваших сыновей, что они подделывают подписи в тетрадях, когда они воспитываются в таких понятиях? Ваша дочь плачет, и это вполне понятно: она видит, каков этот поступок...» Мать все время сидела молча, неподвижно, с таким видом, как будто бы все происходившее не касалось ее. Такая невозмутимость, такое бесстыдное равнодушие к собственной открытой и уличенной нечестности, соединенной с оскорблением другому лицу, не могли не поразить директора. Он пожал плечами: «Вы не поняли, как оскорбили меня. Вот перед вами человек молодой, не испорченный, вы видите, как он к этому относится. С вашей дочерью делается истерика». — «А со мной, вы думаете, не бывает истерики?» — спросила мать, из всего сказанного обратив внимание только на последнее слово, и сразу перескочила на свою любимую тему разговора — свои болезни. Директор только руками развел перед такой нравственною тупостью. — «Я говорю не о вас, а о вашей дочери, о том, какое впечатление производят на нее подобные поступки с вашей стороны. Я никому ничего не скажу, я хочу сохранить это в тайне и

поэтому приехал сюда». Он поклонился матери, не подавая ей руки. Я все время стояла, не смея поднять глаза. Он подал мне руку, низко опустив голову, не глядя на него, я пожала ее…

Когда я пришла в комнату сестер — они уже отчасти слышали, отчасти сами догадались, о чем был разговор, — и мы молчали, подавленные, уничтоженные этим неожиданным испытанием. Это было хуже, чем горе, — это был позор, стыд за близкого человека, который явно поступил нечестно, обнаружив каменное равнодушие неврастенички, для которой все существование заключается в ее чудовищном эгоизме. О, Боже мой! Да за что же все это? Разве я таки виновата перед Тобою? Позор бесконечно хуже горя: горе с течением времени может утихнуть и не причинять сильной боли; но следы позора не изгладятся ничем…

18 апреля

Лишь только проснулась — первая моя мысль была о том, что случилось вчера… Если бы тогда я могла говорить, я должна была бы просить у него прощения за мать и благодарить за такое благородное отношение к нам… Но я тогда не могла ничего сказать. Не написать ли ему письмо? Я

пошла к сестрам, они согласились. Я сама отнесла письмо в гимназию…

21 апреля

Когда я вспоминаю о том, что было на днях, — мне иногда кажется, что все это неправда, сон, кошмар… Но ведь это уже случилось! — И слезы неудержимо сбегают по лицу… Я прекратила всякие сношения с матерью, ограничиваясь ответами «да» и «нет», когда это необходимо. А она заговаривает таким тоном, как будто бы ничего не случилось… Да! у нее нет сердца, нет никакого чувства! Я, конечно, не имею права судить мать, но ведь все, что я ни говорю о ней, — правда. Ах, как тяжело, как бесконечно тяжело! Теперь мне хочется захворать, чтобы хотя на время потерять сознание всего окружающего, хотя на время забыться… и так бы до лета, когда я могу уехать отсюда…

Прочел ли директор мое письмо? Быть может, он разорвал его, не читая, если швейцар не сказал ему моего имени…

1 мая

Мне интересно наблюдать Валю. Я теперь схо-

жу со сцены, которую заняла было на время, сажусь в ряды зрителей и наблюдаю… Должно быть, мне судьба быть зрительницей… Удивительно: ведь есть же такие люди, которые, не зная любви, весь век свой живут спокойно, вдали от нее, не имея понятия о романах. Но мне, мне… судьба дает иные роли: то наперсницы, как в старинных французских драмах, то посыльного, то секретаря, то советника, то ходатая по секретным делам, — и это почти во всех романах, которые мне встречались за небольшой сравнительно период времени, от 15 (когда одна моя подруга впервые решила, что я уже не «ребенок» и что мне «можно все сказать») до 20 лет.

11 мая

Что за глупое чувство — скука! Стоит только хоть на минуту поддаться ей, — и она овладеет тобой так, что не знаешь, как от нее и избавиться. Тогда все средства бессильны. Вот сегодня, сейчас, мне отчаянно скучно. Ни политическая экономия, ни газета, никакое чтение не помогут прогнать эту скуку…

Я брожу по комнатам и… сержусь… На что? — На то, что мне не пришлось ехать кататься на лодке в такой чудный майский вечер и я осталась

дома, одна… Или мы, женщины, так мелочны, что такая ничтожная случайность в состоянии производит на нас такое впечатление? — Не знаю… Но в эти прекрасные дни, когда вся природа точно празднует свой праздник, когда вечера на Волге так чудно-хороши, — меня охватывает такое непреодолимое чувство… бежать, идти, ехать куда-нибудь! Мне хочется свежего воздуха, движения… А из окна моей комнаты я вижу пыльный двор и какой-то несуразный сад, полный народу, в котором нет ни одного уютного, хорошенького уголка, ни одного местечка, где можно было бы с удовольствием посидеть, полежать на спине и посмотреть вверх, на небо…

Мне скучно! Я брожу, как тень, из угла в угол и не знаю, куда девать собственную особу. В такие минуты она кажется совершенно лишней… Счастливы те люди, которые не знают никогда скуки! Это — труженики, которые спокойно могут радоваться свободной минуте, чтобы отдохнуть от своей работы… Хоть я и редко бываю в подобном настроении, но нахожу, что оно так скверно, что лучше было бы, если бы никогда его не испытывать.

Труд! работа! Но… если я не знакома еще с настоящим трудом, — я все-таки знаю, что мне

сейчас надо заниматься, надо, пользуясь свободным временем, прочесть статьи Лессинга, надо бы яснее и тверже усвоить различие реалистической школы политической экономии от… Но вот не хочется же! Лессинг преспокойно лежит нетронутый, а Иванюков летит под стол… Мне стыдно и… все так же скучно!

Как хорошо уметь владеть собой! Как хорошо взять себя в руки, сказать: «Ну, довольно! За дело!»

16 мая

Недавно с Петей мы видели «Горькую судьбину». Игра Стрепетовой произвела на меня сильное впечатление. Симпатичный и прелестный образ несчастной Лизаветы до сих пор еще стоит передо мною. Поэтому, когда Петя заговорил сегодня об этой пьесе, я живо почувствовала вновь бесконечную жалость к этому существу, которое по своему сердцу стояло несравненно выше своей среды; меня охватило и негодование против барина-«интеллигента», жившего с Лизаветой по взаимной любви, который, при столкновении с действительно чистою натурою — мужиком грубым, но благородным, — обнаружил всю дрянность своей натуры, всю тряпичную бес-

сильность своего характера, полную негодность, словом — ничтожество. Никогда не забыть мне его трусливого метанья по сцене, когда, терзаясь и мучаясь сознанием своей вины, без надежды ее исправить, — он раскрывал перед зрителем свою полную беспомощность. И тем яснее и благороднее рядом с ним казался его крепостной мужик, сначала сделавший все, что мог, по своему наивному, но честному, бесхитростному разумению, и под конец не выдержавший: проснулась в нем его сила — месть, она потребовала удовлетворения, и прямо и просто, как и все, что он делал, — Ананий задушил ребенка…

Все это я живо высказала Пете и, увлекшись, назвала этого барина подлецом. — «Ты так думаешь? Но ведь он — несчастный, глубоко симпатичный, нравственный человек». — «Как? этот поступок вы называете нравственным?» — с удивлением спросила я. — «Да, нравственным. Он полюбил ее, она его полюбила, это честно и нравственно». — «Но она же была не свободна». — «Ничего не значит. Любовь разве спрашивает об этом? Вспомни, что Лизавета не любила своего мужа, она была несчастна, и он — тоже». — «Нет! Вы называете нравственным то, чего никак нельзя назвать так. Допустим даже, что Лизавета не лю-

била своего мужа; но она вовсе не была особенно несчастна: она относилась к нему хотя и пассивно, но все-таки жила спокойно. Ее чувства спали. Явился барин, этот образованный, развитой человек. Он угадал ее нежную душу, понял, полюбил ее и, конечно, первый признался ей… Я уверена, что самой Лизавете, как женщине, крестьянке, подобная мысль не могла бы прийти и в голову; и он заговорил с нею о своей любви, прекрасно зная, с кем говорит, и без труда получил ее взаимность. Этот развитой человек поступал подло, вполне сознавая, что делает подлость: он, барин, отнял у своего мужика единственное существо, которое было дорого и мило его же крепостному; радость его жизни, его любовь, его жену. Это, по-вашему, нравственно?» — «Но что же было ему делать, если он ее любил?» — «Он должен был любить ее, сколько хотел, но издали, никогда не говоря ей о своем чувстве; он должен был бежать от нее, вырвав с корнем эту страсть…» — «Нельзя требовать невозможного. Человек не в силах преодолеть себя, свою любовь. Вот ты не испытала этого чувства и поэтому судишь так строго…» — «Я не столько строго сужу, сколько возмущаюсь тем, что вы находите это нравственным. Ну, скажите, если бы вам пришлось быть

в подобном положении, — вы отняли бы жену у мужа?» — «Если она меня полюбит, отчего ж? Она оставит мужа и придет ко мне, и это будет вполне нравственно». — «Значит, несчастный муж, если он любит свою жену, останется…» — «Ни при чем, — хладнокровно перебил меня Петя. — Она меня любит, и я ее люблю: так и должно быть, это хорошо и нравственно». — «А долг, а честь, а совесть — этот невидимый закон, который ужаснее всех?» — хотелось мне воскликнуть, но… я только пожала плечами. Если у человека понятие о чести и нравственности искажено до такой степени — бесполезно говорить с ним… — «Далее спорить, Петя, бесполезно, — тихо сказала я. — Ведь вы не можете уже теперь иметь правильного понятия о том, что честно и нравственно… не можете рассуждать правильно» (я удивилась, как спокойно сказала я эти слова, ясно намекавшие на то, что причиняло мне такое суждение)… Он понял мой намек: «Да, мои взгляды несколько иные»… — И он, не смущаясь, посмотрел на меня… Я даже не шевельнулась.

Удивительно! Почему же я так хладнокровно отношусь теперь к нему? Это не было то мое прежнее пассивное состояние, — это было здоровое спокойствие, ровное состояние духа. Почему

же? — Не могу себе ответить. Но я чувствую себя очень хорошо: точно прежде ничего и не было… На днях я опять увижу Петю… и снова удивлюсь на самое себя: буду такая же, как и в этот раз…

21 мая

Да, такая же… Сижу себе в зале, он напротив меня, я молчу, и, вероятно, мое лицо приняло грустное выражение, потому что Петя спросил: «Что с тобой? Отчего ты такая?» Привыкнув видеть меня всегда оживленной, все убеждены, что я не могу быть иной. — «Сегодня мне было скучно, и я устала от немецких переводов…» — «Ты сейчас можешь заплакать…» — «Было бы отчего!» — равнодушно ответила я, чувствуя, что во мне что-то вдруг поднялось… Это скоро прошло…

28 мая

Вчера послала документы на курсы. Нет у меня позволения родителей, нет и свидетельства о безбедном существовании, и вся надежда теперь только на то, что директор примет во внимание мое близкое совершеннолетие. Но… сомнения берут верх, иногда мне кажется, что кто-нибудь посоветует маме воспользоваться своим правом

попечительницы и потребовать мои бумаги обратно… Я в отчаянии от этого подозрения!

Читаю теперь «Психологию» Гефтинга. Там разбираются различные душевные состояния, между прочим страх и надежда. Два противоположных чувства не могут одновременно уживаться в душе; одно исключает другое, и потом это другое в свою очередь берет верх и вытесняет первое. Вот в подобном же положении нахожусь я теперь… Положим, я могу не бояться: давно уже решено, что последний исход — ехать за границу. M-elle Noyer даст мне рекомендательные письма к своим друзьям и знакомым, поможет устроиться в Швейцарии. Но ехать туда — значит порвать надолго все сношения с семьею, родными. Кроме того, у меня нет никакой научной подготовки, и я не имею понятия о курсах тамошних университетов, тех факультетов, которые открыты для женщин. Медицина, изучением которой больше всего занимаются студентки в Швейцарии, меня вовсе не интересует; к математическим наукам я испытываю ужас и полнейшее отвращение (еще с детства). Если возможно — я непременно поступила бы на юридический факультет и по окончании образования занялась адвокатурою. Я желаю быть защитницей угнетенных и бед-

ных, работать из чистой, бескорыстной любви к истине и справедливости. Но ведь это — мечты, потому что женщина лишена таких прав. Разве в России мыслимо выступить на адвокатское поприще? — Пока — нет и нет… Меня также интересуют и науки о человеке, науки исторические, философия, литература, которые преподаются на историко-филологическом факультете. Следовательно, раз двери суда закрыты для женщин-адвокатов, — я выбираю его.

29 мая

Сестра сказала мне, что ей едва ли придется поступить на курсы, потому что В. будет ее мужем. Так как я была убеждена, что их брак будет на время фиктивным, то я с удивлением спросила ее: «Почему ты так думаешь?» — «Это же видно из его письма: он пишет о поцелуях…» — «Ну так что ж? Он хочет сделать тебя своею женою», — спокойно заметила я. — «Как? Да неужели же ты не знаешь, что это и есть настоящий брак? Разве ты не понимаешь, что если он будет меня целовать, то это и значит, что мы сделаемся настоящими мужем и женою…» Широко раскрыв глаза и не веря своим ушам, слушаю я Валю. 18-летняя девочка, читавшая все прелести Золя, Мопассана и других,

им подобных, «Крейцерову сонату», горячо рассуждавшая о нравственности и уверявшая меня, что она уже давно «все знает», — эта девушка, дав слово В., не знала… что такое брак! Иногда я заговаривала с ней по поводу читаемых романов, и моя сестрица всегда так горячо и авторитетно рассуждала, так свободно употребляла слова, относящиеся к самой сути дела, что мне и в голову не могла прийти подобная мысль. И вдруг, случайно, почти накануне свадьбы, я узнаю от нее, что она еще невинный младенец, что она… не понимает и не знает ничего. — «Валя, послушай, ну вот мы с тобой читали, иногда говорили об этом… Как же ты понимаешь?» — «Конечно, так, что они целуются… от этого родятся дети, — точно ты не знаешь», — даже с досадой ответила сестра. Я улыбнулась. — «Что же ты смеешься? Разве есть еще что-нибудь? Разве это не все? Мне одна мысль о поцелуях противна, а вот ты смеешься. Какую же гадость ты еще знаешь?» — с недоумением спрашивала Валя…

Каково было мое положение! Кто мог предполагать, что Валя, читая, не понимала самой сущности, даже не подозревала о ней. Впрочем, она не читала никаких медицинских книг, сказок Боккаччо, где с таким наивным цинизмом

описывается то, что теперь даже Золя и Мопассан заменяют многоточием, — и, сообразив по-своему, думала, что узнала «все», и рассуждала о браке весьма свободно. Таким образом, выходя замуж, сестра была похожа на овцу, которая не знает, что ее через несколько времени заколют. Я слыхала и раньше, что ужаснее этого нет ничего…

Вечером пришла к нам Маня, и я, мучаясь всеми этими соображениями, жалея о наивности сестры, спросила ее совета. Она прямо сказала мне, что я должна, как старшая сестра, заменить ей мать. И вот, смущаясь и стыдясь того, о чем должна буду говорить, злясь на самое себя, — одним словом, в скверном, нерешительном состоянии, я усадила Валю подле себя и тихо-тихо объяснила ей все. Валя была поражена… Перед ней отдернули занавесь жизни, и, смутно соображая, — она поняла. В первую минуту для нее это было невероятно, полно ужаса и отвращения…

Как тяжело, но жизнь все делает по-своему!

Нерехта, 5 июля[74]

---

[74] Примечания: 74

Перерыв дневника — 29 мая — 5 июля — объясняется поездкой автора по Волге, о чем сохранились отрывочные заметки и впечатления в записной книжке.

Я бежала из Ярославля как трус, бежала от самой себя. С возвращением домой — мне пришлось бы опять жить по-прежнему, а значит, и думать. А я не хочу! Я гоню от себя все мысли о будущем… О боже! Ведь приговоренные к смерти спят спокойным сном накануне казни, их будят и ведут прямо с постели на эшафот. И я буду спать! Пусть и меня разбудит только это ужасное слово, которое будет написано на бумаге, присланной из Петербурга…

Родной уголок всегда действует на меня так хорошо, так успокаивает. Знакомые места снова вызывают в памяти яркие воспоминания, которые кажутся далекими и туманными, когда редко-редко проскользнут в моей «городской» жизни. Здесь каждое окошко в доме, каждый кустик в саду, сотни мелочей — все так близко сердцу; иногда, сидя в саду, закроешь глаза — и прошлое станет до того живо, что кажется мне, будто я опять в коротеньком платьице бегаю по этим дорожкам и вот-вот меня позовет гувернантка… Кругом тишина, полное спокойствие, какая-то нетронутость… Если и бывает скучно, то все-таки это не наша домашняя, мучительно-тоскливая скука, а тихая, усыпляющая…

Надо как можно меньше думать о себе — и

тогда будет легче.

13 июля

Мне стыдно теперь проводить все время за моим любимым занятием — чтением. Прежде, читая целыми днями, я всегда думала, что это — самое лучшее и полезное занятие; но теперь мне даже совестно сидеть все время за книгой: кругом меня кипит работа. Мне становится невыносимо, хочется что-нибудь сделать самой, и я бегу в старый, запущенный сад, помогаю собирать ягоды, варю варенье и опять собираю. Эта чисто ручная работа доставляет своего рода удовлетворение, и я вожусь в саду с ягодами целыми часами, на самой жаре. Сухие ветки царапают лицо, руки, платье рвется между кустами, трещат и ломаются сгнившие сучья… — и я возвращаюсь домой с полною корзинкою вишен. Потом берусь за книгу. Тогда читаешь с наслаждением, чувствуя, что отдыхаешь, и пораньше ложишься спать, чтобы завтра вновь приняться за то же. Это не особенно интересно, но все-таки лучше полнейшей праздности.

17 июля

Сегодня в саду я замечталась до того, что забыла обо всем, и нечаянно вспомнила о будущем… Но на этот раз я не прогнала этой мысли, она подкралась совсем неожиданно, и что-то светлое и радостное было в ней. Мне было хорошо. Я стала воображать, что будет, когда я приеду в Петербург… И жизнь показалась мне вдруг такой интересной, такой, что у меня даже дух захватило от нетерпения и радостного волнения, и этот «Эмиль», которого я перед тем читала, — потерял для меня всякий интерес.

А если ехать за границу? — Ну и поеду! На авось, наугад — все-таки поеду; найдутся добрые люди, которые посоветуют, куда поступить. Только бы поскорее!..

21 июля

Присланное мне письмо В. не было особенно интересно, и я рассеянно его пробегала, как вдруг в конце несколько строк: «Во время нашего свидания на Пасхе я видел, что с Вами случился какой-то переворот, что Вы уже не та, которую я знал раньше. Что именно произошло, я не знаю

и из коротких бесед вынести не мог, но я только ясно видел, что что-то такое произошло и Вы теперь можете спокойно пойти даже на пытку, самую изысканную. Тут не то разочарование, о котором Вы мне писали на каникулах, а что-то более тяжелое». При чтении этих неожиданных фраз — все пережитое за этот год в одно мгновение нахлынуло на меня, точно волна… Замерло сердце, я задрожала от боли, вскочила, уронила письмо — и стояла так, ничего не понимая, не видя. Я опомнилась, когда почувствовала, что глаза застилает, что лицо мое влажно от слез… Я с трудом овладела собой; мне было стыдно и досадно, и я выбранила себя за это крепким словцом…

«Вы теперь можете спокойно пойти даже на пытку, самую изысканную» — это он угадал. Я так привыкла скрывать ото всех свое душевное состояние, что мне и в голову не могло прийти, что могут хоть что-нибудь заметить… Или это сквозило помимо моей воли? Но я уверена по-прежнему, что глубже заглянуть ко мне в душу, проще понять меня как человека — никто «из них» не догадается.

26 июля

«Если бы ты жила со мной в наших консерваторских квартирах — из меня бы вышла знаменитость, — сказала мне сегодня подруга Соня. — Ты имеешь такое влияние на меня, ободряешь, — ведь мы, артисты, часто падаем духом; нам необходимо возвышаться, говорить о творчестве, как ты со мной, — а у нас почти у всех такие узкие, практические интересы». — «Неужели, Соня? — удивилась я. — Неужели вас не интересует музыка, поэзия, философия? Ведь это вас так близко касается…» — «Полно, пожалуйста. Прибежит к тебе в комнату товарка, начнет жаловаться на то, что теперь так много пианистов, что ее затрут; или сберутся вместе, и начнутся разговоры, как и кто сшил себе новую кофточку, какие-нибудь сплетни. И я тоже, когда поступила, думала, как и ты, а в действительности оказалось все как нельзя более прозаично. Вот ты теперь рассказываешь мне о Шиллере и Гёте, и я так рада: я очень мало читаю, совсем нет времени, а между тем это меня интересует, и когда поговоришь с тобой, лучше себя чувствуешь. Артисты живут нервами, нас надо возбуждать; свои же товарищи скорее заставляют упасть духом маленькими разговорами

и жалобами».

Мне даже стало стыдно и неловко перед Соней: она слушала с таким интересом, а я… о, как мало я знаю! Как немного могла я сообщить ей о Гёте, Ламартине, Шиллере, о которых зашла речь; любой студент мог бы рассказать ей гораздо лучше. Но мне было приятно высказывать свои мысли и впечатления: я видела, что она меня понимает, восхищается и учится в то же время. Редкие артисты обладают многосторонним развитием и образованием; в большинстве случаев им некогда заниматься чем-нибудь посторонним — их время все занято. Так и Соня: ей за массой занятий совсем некогда читать, и она не имеет понятия даже о классических иностранных писателях, имя и произведения которых знакомы всякому читающему человеку. Но она сознает этот пробел и стремится его избежать. Это замечательно даровитая натура.

27 июля

Очень часто я думаю о себе. Поэтому жизнь моя, как ее ни рассматривай, в сущности, «праздная жизнь», а я — эгоистка.

Человек не должен жить исключительно для себя: он не для того создан, он не один в мире.

Жизнь есть направленный к определенной цели осмысленный труд. «Все мы призваны затем, чтобы свершить нашу долю труда и исчезнуть», — сказал Дюма-сын, и эти слова подтверждаются всем, что видишь вокруг себя, — массой жизней. Природа человека требует деятельности, и от него зависят ее смысл и направление. «Цель жизни» — вот вопрос, над которым я задумывалась еще в 12-летнем возрасте, инстинктивно чувствуя, что иначе не может быть, что необходимо жить для чего-нибудь. Тогда я была так молода, что решение подобного вопроса было мне не по силам, и я плакала при мысли о том, что у меня нет «цели жизни». Смешно теперь вспомнить об этом: разве могла она явиться у такого ребенка, каким была я, когда ничего еще не знала, кроме учебника и стен казенного заведения? Позднее я увлекалась, строя воздушные замки, неосуществимые планы… Я хотела основать женский университет, посвятив этому делу всю свою жизнь, и уже высчитывала, сколько миллионов надо нажить, чтобы на эти средства основать его… Только когда я стала старше — я поняла, что подобный замысел мне не по силам; но отказаться от своей мечты — сделать что-нибудь для женского образования — я не могла. И вот я

стала очень честолюбива: начитавшись книг о знаменитых женщинах, которые имели большое влияние через мужей, я мечтала о замужестве с каким-нибудь влиятельным или выдающимся человеком; я видела в браке лишь средство для достижения цели, своих планов, которых я, как женщина, не могла бы иначе осуществить. О себе же, о том, что я представляю, способна ли я на что-нибудь, я и не думала: я ценила себя дороже, чем стоила на самом деле. Глупое, мечтательное честолюбие!

Несбыточные мечты, химерические планы, все это — плод моего живого воображения. Сидя в четырех стенах, за книгами, я мало обращала внимание на действительную жизнь.

Но теперь — пора! Взглянем трезво на жизнь, всмотримся в действительность, как она есть, не увлекаясь ничем. Без труда, деятельности — жизнь немыслима, бессмысленна… Мужчины всегда имеют перед собою широкое поле деятельности. Но женщины в том отношении не все свободны. Те из них, которые связаны семейными обязанностями, пусть исполняют свой долг, и хорошо тем, которые отнесутся к своему делу честно и свято. Но есть и свободные: их жизнь, их время принадлежат им; некоторые трудятся

из нужды, другие проводят всю жизнь в праздности… Я свободна… если не сейчас, то через две недели буду свободна… Я хочу продолжать свое образование и пока думаю только о достижении этой цели. Но уже мне многие задают вопрос: «К чему это? Что ты будешь делать потом?» Я отвечу им вновь стихами Полонского:

Усовершенствуй то, что есть:
Себя, свой дар, свой труд, и вот —
Живой предмет твоих забот —
Твоя единственная честь[75].

Я хорошо знаю положение женского труда: при ограниченности женских профессий достать себе какое-нибудь занятие положительно невозможно. Одна из самых общих дорог — педагогическая. Хотя теперь все говорят, что учительниц больше, нежели учеников, но я не пойду туда, где их много, надо идти туда, где нет. У нас есть интеллигенция, но у нас нет образованного народа, масса которого так и блуждает во тьме невежества, безграмотности. У нас так мало школ, так мало расходуется на народное образование! О жестоком материальном положении учащих

---

[75] Примечания: 75
Цитата из стихотворения Я. Полонского «Завет».

и говорить нечего. Кроме того, во многих ли школах преподавание ведется так, как нужно? многие ли учащие заботятся о развитии детей, не ограничиваясь одною выучкою чтению, письму? Между тем народное образование — дело первостепенной важности, и трудно мечтать студентам и людям из интеллигенции о введении в России конституции, когда масса населения безграмотна. Сначала надо развить народ, — а это будет не ранее, как несколько поколений пройдут при усиленном труде на пользу народного образования. Когда мне иногда случается слышать подобные «либеральные» речи — всегда становится смешно и хочется сказать: Г.г., бросьте переливать из пустого в порожнее… Уж если хотите говорить, то лучше сожалейте о том, что стоит сожалеть. Наш народ, во всяком случае, скорее пожалеет о своей «темноте», безграмотности, чем о политической свободе. Ему скорее нужна наука, соответствующая потребностям его жизни, нежели конституция. А интеллигенты мечтают себе и под сурдинкой — ропщут на порядок вещей. Оттого-то у нас так велика пропасть между образованным человеком и народом.

А несчастные бабы! почти все женское население сел и деревень безграмотно. «Бабе не

нужна наука, ей не в солдаты идти» — вот чем в большинстве случаев мотивируется нежелание мужиков отдавать в школу дочерей. Но ведь на женщине держится семья; и если теперь среди мужиков все чаще и чаще встречаются грамотные, то женщины все еще стоят на одной точке, ни на шаг не двигаясь в своем умственном развитии. Я видала иногда деревенских баб, которые жили у моей бабушки в кухарках, и мне всегда резко бросалась в глаза какая-то туповатость, неуклюжесть и бестолковость, что делало бабу положительно несносной в глазах горничной «из городских», которая иначе и не называла их, как «деревенщиной». — «Баба! что с нее спрашивать!» Как будто бы она не человек, и нет у нее разума, и нельзя ее обучить ничему. Справедливо замечено, что народ, который пренебрегает женским образованием и воспитанием, не пойдет далеко. Ребенок наследует умственные способности отца и матери. Что же она ему даст, когда, веками забитая, приниженная, едва-едва может связно выразить свою мысль?

Довольно с нас интеллигенции; пора подумать о народе. Всеобщее обязательное обучение! — вот вопрос, который был нынче поднят и обсуждался газетами и журналами весьма усердно. Как было

бы прекрасно, если бы этот закон осуществился на деле. Но едва ли… Во всяком случае, не скоро; до него, пожалуй, и мы умрем, и еще поколение пройдет. Потребуется огромная затрата средств на открытие и содержание народных школ и учащих. И если теперь можно принести где-нибудь действительную пользу, то это именно в деле народного образования, потому что и время, и жизнь требуют его. Это, конечно, труд незаметный и скромный, но полезный — в самом полном смысле этого слова. Только бы хорошенько подготовиться к нему, продолжить свое образование, а потом — по этой дороге — вперед!!

Ярославль, 6 августа

Я читала у Гефтинга, что человек не может жить в одно и то же время противоположными чувствованиями: «со слезой в очах и с ясною улыбкой… и на весах души развесив ровно и счастье и печаль…» Когда я приехала сюда, — именно это смешанное настроение охватило меня: я переходила от страха к надежде и наоборот до того, что мне казалось, что я живу и тем и другим, точно двойною жизнью, точно они обе были у меня в груди, — и сердце готово было разорваться от тысячи противоположных чувств…

Какое глубокое мучение!

Довольно! так жить более нельзя… Через девять дней надо сообразить… когда уезжать отсюда в случае неудачи, к кому обратиться за рекомендательными письмами, достать заграничный паспорт. Если не примут — уеду! Надо ехать… Господи! Господи! Хотя я повторяю: да будет воля Твоя! — но все-таки Ты помоги мне!

В эти дни я хотела заниматься, но не могу: все напоминает мне еще более о моем положении… И я брожу из угла в угол, как тень, стыдясь за себя, и все-таки ровно ничего не делая. Возьму в руки иголку — смеюсь сама над собой: с каким большим багажом вещественным и с каким скудным умственным! Сяду за рояль — думаю: совершенно бесполезное времяпрепровождение, я не способна к музыке. Наконец, сегодня взялась-таки за Руссо, и он меня развлек. Какое прекрасное произведение: «Emile», как много в нем хороших и верных мыслей!

10 августа

Когда недавно В. приезжал сюда на несколько дней, он сказал Вале, что он такой же, как и она, т. е. не знает «других сторон жизни». Следовательно, любовь его чистая, идеальная. — «Иначе

я никогда не осмелился бы». — «Я очень рада», — сказала сестра. Вместо ответа В. поцеловал ее руку… Наконец-то на наших глазах состоится идеальный брак — союз одного мужчины с одною женщиной, такой, которого требуют законы нравственные и религиозные… Как это хорошо! И не без внутренней радости подумала я, что отчасти способствовала этому браку, что я передала ему сестру.

Валя хочет поступить на курсы, и В. в продолжение четырех лет учения не должен пользоваться правами мужа. Люди опытные говорят, что это положительно невозможно; и Валя уже теперь сомневается, может ли он остаться таким же, как и она, до 29 лет, постоянно видя ее… Но, взвесив все жизненные обстоятельства, я нахожу, что шансы его и сестры — равны: сестра, когда задумала поступить на курсы, и слышать не хотела о замужестве — и он был несчастен; теперь она согласна, но с условием, исполнить которое он дал клятву. Пусть они повенчаются, пусть сестра в этом случае поступит, как иногда я поступала в решительных случаях: закрыв глаза, бросится плыть по течению…

12 августа

О, долго ли протянется эта мучительная неизвестность? Хоть бы на один конец: да или нет, но только скорее, скорее узнать…

Я не могу ничем заниматься. Работа утомляет меня, а книги читаю машинально. От всего можно уйти в книги, забыться, — прежде я всегда так и делала. Но теперь, при всем желании, никак невозможно: научные книги только напоминают мне, что я «на волоске», и вместо того, чтобы размышлять или резюмировать прочитанное, — невольно руки опускаются с книгой, а в голову опять лезет вопрос: что же? чем же кончится? какой же ответ я получу?.. Бросишь книгу, закроешь глаза, схватишься обеими руками за голову — и сидишь так где-нибудь, стараясь прогнать от себя эти мысли…

Неизвестность — хуже всего. Если бы я получила ответ, то каков бы он ни был — все-таки было бы лучше; я знала бы, по крайней мере, что мне делать, куда ехать. А теперь — ничего.

Всего двенадцать дней, как я здесь, а мне кажется, что двенадцать недель. Мучительно медленно тянутся дни, один за другим, не торопясь; они точно сговорились идти как можно медленнее…

Мне хотелось бы уехать куда-нибудь, в особенности на 15-е число. Но я уже получила отказ в моей просьбе: совершеннолетие старшей дочери в некотором роде составляет событие, которое нельзя оставить пройти незаметно, и к тому же большой праздник. А мне, право, не до обедов и гостей, которые придут в силу раз установившегося обычая… Я убежала бы на край света, если бы это было возможно!.. И очень жаль, что у меня крепкие нервы: если бы я заболела на все это время — было бы гораздо лучше: лежала бы себе преспокойно, за мной ухаживали бы, и время прошло бы быстро и незаметно.

Скорее бы… конец. Каков бы он ни был!

У меня не хватит мужества прочесть ответ, в случае получения. Чувствую, что не могу… Пусть уж лучше сестры.

14 августа

«Вы живете рассудком и страстью, — сказал мне сегодня случайно встретившийся в соборе за всенощной офицер, с которым мы познакомились во время нашей поездки по Волге. — Я заметил, что вы совсем не живете душевною жизнью, а между тем это необходимо. Не принимайте слова „страсть“ вместо любви, нет, ведь это можно при-

менять ко многому. В вас сейчас видна страсть…» Конечно, он подразумевал под этим словом мою живость, вспыльчивость; он сказал бы вернее: страстность. «Если я живу рассудком, то это даже лучше: жизнь того требует», — возразила я. — «Нет; вы не правы. Живите сердцем; относитесь душевнее к людям, и вам сразу станет лучше, и вы будете спокойнее. Вот тогда, на пароходе, я заметил, что между вами, сестрами, нет той задушевности, которая должна была бы быть». — «Но, однако, мы все живем вместе, как одна; мы всегда стоим друг за друга…» — «Все это прекрасно; тем не менее между вами нет именно задушевности, которая сейчас же высказывается в обращении. Относитесь друг к другу сердечнее — это даже должно, потому что вы близки между собой». — А ведь он совершенно прав, подумала я: мы вовсе не относимся друг к другу нежно и сердечно. Мы не привыкли к этому; да сестры и не любят. А сколько раз хотелось мне обратиться к ним так, как советовал Былеев! И всегда меня останавливали то суровым: «что за нежности?», то насмешкой, то прямо нежеланием… Замечание офицера было до такой степени верно, он так тонко подметил оттенки нашего обращения, что я ничего даже не ответила ему. — «Вот примите мой совет, — про-

должал он, — верьте, что я говорю справедливо. Вы живете только умом; а между тем вы живете с людьми — полюбите их». — «Но я и так люблю людей; я отношусь и стараюсь относиться к ним вообще хорошо», — ответила я. — «Это вы делаете опять-таки рассудочно: вы дошли до этого умом, а надо дойти сердцем; так, чтобы вы действительно любили людей, думали о них больше… Еще я тогда же заметил, что вы скупы». — «Это каким же образом?» — засмеялась я. — «Помните, на пароходе ваш слуга подал счет, и я заметил, что, расплачиваясь, вы мало дали ему на чай: он не поблагодарил вас. А между тем вы должны бы были подумать, что он — человек бедный, что он этим живет». — «А, так поэтому? — воскликнула я, немного озадаченная такой тонкой наблюдательностью. — Не спорю, конечно, что, должно быть, я мало дала, но только потому, что, право, об этом не думала. Давать мало нехорошо с моей стороны, но все-таки я могу сказать в свое оправдание, что поступила вовсе не из какого-либо расчета». — «Допустим; но из этого видно, что вы не думали об этом человеке, о его бедности, о том, что ему, быть может, нужны деньги». — «Я не хочу спорить с вами; вы можете иметь мнение обо мне, какое хотите. Сама же я могу сказать о

себе только одно: я отношусь к деньгам довольно равнодушно. Конечно, меня нельзя назвать доброй, но нельзя также назвать и скупой, — а так себе, как огромное большинство: серединка на половинку». — «Да, серединка… — задумчиво повторил Былеев. — Но опять повторяю: относитесь к людям сердечнее, с большим участием. Верьте, от этого вам будет гораздо лучше, вы даже здоровее сделаетесь, поправитесь, а то вы теперь такая худенькая, выглядите совсем девочкой». — «Ну, едва ли от этого я могу сделаться толще», — улыбнулась я. — «Нет, кроме шуток; это превосходный рецепт. Живите сердечною жизнью; полюбите кого-нибудь…» — «Э, опять за старое!» — с неудовольствием подумала я, вспоминая его разговор на ту же тему на пароходе. Вновь начнутся старые, надоевшие мне рассуждения, извольте их слушать. И я сказала недовольным и скучающим тоном: «Ну, опять…» Он не обратил на это внимания. Тогда, желая дать ему понять всю нелепость этого предложения, я описала свою жизнь, в которой не было ни повода, ни места для подобного чувства. Но его было трудно урезонить: он настаивал на своем, говоря, что сердце не знает препятствий. Я решилась упомянуть и о моей наружности, о которой я слышала столько

насмешек, и о молодых людях, которые всегда старались избегать моего общества. «Вы говорите неправду, — преспокойно возразил Былеев. — Вы хорошенькая, я это говорю без малейшего желания сказать вам комплимент, я это даже слыхал от других лиц». Мне было до того скучно, что не хотелось спорить, но и советы офицера показались мне, как говорится, «ни к селу ни к городу». А он между тем продолжал уверять меня, как хорошо найти себе человека, которого можно любить, как это случается со всеми и что это — закон природы… Пользуясь моментом, я постаралась свести разговор на сестру. «Вы не подумайте, что я совсем отрицаю любовь; нет, я признаю, что она существует только для избранных натур, а так как я принадлежу к массе — мне нечего и думать о ней». — «Я не согласен. По-моему, она существует для всех людей. Кто же вам сказал так?» — спросил он. — «Жених сестры…» Узнав, что В. такой же, как и сестра, офицер возразил: «Из этого еще не следует считать его идеальным». — «Допустим, но, во всяком случае, брак этот будет идеален, в смысле союза одного мужчины с одною женщиной. Я это высоко ценю». — «Да знаете ли вы, что есть люди, чистые телом и развращенные душою и сердцем до последней степени? Невинность

— это плод воспитания, и ее, мне кажется, нельзя ценить так высоко… Я видал людей, которые хотя и были „такие“, но в сущности были все ужасные пошляки…» — «Я прекрасно знаю, что вы всегда найдете себе оправдание, потеряв свою честь. (Моему собеседнику было 35 лет, и свою молодость он проводил далеко не свято, по собственному признанию.) Конечно, и между вами встречаются хорошие люди, но все-таки я всегда буду сочувствовать такой любви и такому браку, потому что и он и сестра равны, их брак будет чист пред Богом и пред людьми. Согласитесь, что девушке естественно предпочесть человека, вполне равного ей…» — «Значит, вы не могли бы полюбить испорченного человека? не пошли бы за него?» — вдруг спросил меня Былеев. Я пожала плечами, но он настойчиво требовал ответа. — «Гм! Уж если меня когда-нибудь судьба поставит в такое безвыходное положение, можно сказать — прижмет к стене, то я выйду не иначе, как по самому хладнокровному расчету, взвешу все „за“ и „против“…» — фантазировала я, в глубине души недоумевая, зачем я отвечаю на такой вопрос, который должна была бы оставить без ответа. — «Ну, а если вы полюбите такого человека?» — не унимался офицер. — «Тогда… тогда… (я чуть не

расхохоталась, — до того показалось мне смешно его предположение) я и виду никому не покажу… Лучше сама себя изломлю! и скорее умру, чем выдам себя!» — храбро ответила я, в то же время думая: ну к чему я наврала, лучше было бы прямо сказать ему, что этого никогда быть не может.

Былеев уезжал на другой день в Москву. Мы простились с ним у ворот нашего дома.

Вечером, лежа в постели и подумав о нашем разговоре, о том, как относиться к людям, — я невольно упрекнула себя, зачем не поблагодарила его за этот добрый совет.

15 августа, 1-й час ночи

Сегодня день моего совершеннолетия. Утром мама, крепко обняв меня, поздравила, заплакала и вдруг начала целовать без конца с какою-то страстною нежностью… Я стояла неподвижно, опустив руки… Я, которую до глубины души трогает всякая неожиданная ласка, — чувствовала, что внутри ничто не шевельнулось, что нет ответа на эти ласки. Я не сделала никакого движения, чтобы высвободиться из объятий мамы, и только время от времени, по какому-то чувству приличия, которое все же не позволяло мне не отвечать ничем на эти ласки, — машинально целовала ее

руку… Уж теперь я не могу… полюбить ее вновь. Слишком много вынесено, слишком часто ко мне были жестоки; перед тою же матерью, которая, поддавшись минутному настроению, обнимала и целовала меня, — мне приходилось плакать мучительными слезами горя, и в ответ встречала я злую, холодную насмешку. Миновало теперь это время, мне уже не больно, слез больше нет, — но зато и рука моя не поднялась обнять маму… Я вежливо благодарила ее за подарок и поздравление, почтительно целовала ее руку; — я была искренна, как всегда; язык не повернулся сказать те слова, которых не было на сердце.

Не передать словами мое состояние духа весь этот день! Это была даже не радость. Нет, это было глубокое чувство внутреннего освобождения, которое переломило меня до такой степени, что на душе не оставалось места ни для чего другого. Точно грубый покров разрывался во мне — и нежная ткань души просила жизни. Я чувствовала, что стою на рубеже прежней и предстоящей новой жизни — и не могу еще осмотреться сразу; и почти не могла дышать — в груди было тесно, воздуха не хватало… Хотелось остаться только наедине с собой…

И мне было тяжело принимать участие в общем

веселье, я не могла разговаривать, вся поглощенная одною мыслью: что будет завтра и потом?..

Я не имею понятия о том, как освобождают от попечительства по достижении совершеннолетия, какие нужны для этого формальности, когда будет раздел. Мое положение остается все еще очень неопределенным, потому что я должна ожидать от мамы всего. Но завтра к секретарю Сиротского суда уже явится «совершеннолетняя наследница», — как значится в бумагах.

Вчера я была за всенощной и молилась так, как редко приходится: без слов, даже мысленно не высказывая ничего, я стояла перед иконой и грустно смотрела на нее… И чем больше я молилась, — тем сильнее становилась уверенность, что все кончится хорошо, что я поступлю, что меня непременно примут.

На Высших женских курсах 1895–1899

1895 год

С.-Петербург, 22 августа

Я пишу в небольшой комнате, которую мы с сестрой наняли в каких-то номерах сегодня утром, приехав с вокзала Николаевской жел. дороги.

Третьего дня, возвращаясь домой, я увидела сестру, бежавшую ко мне навстречу: «Лиза, иди домой скорее, пришла бумага с курсов!» — «Ты видела конверт?» — спросила я. — «Да, пакет большой». — «Ну, значит, бумаги возвращены, меня не приняли», — сказала я и хотела бежать поскорее, но ноги не слушались и подкашивались.

Я вошла прямо в залу, в комнату мамы; толстый пакет лежал на столе. — «Что это тебе прислали?» — спросила мама. Я ничего не ответила и, взяв пакет, побежала к себе в комнату; заперлась…

Руки у меня опустились, я села в кресло… Не надо было и вскрывать конверта, чтобы убедиться в его содержимом. Машинально разорвала я его, — мой диплом и другие документы упали ко

мне на колени; выпала и маленькая бумажка, которой извещали меня, что я не принята на курсы «за неразрешением моей матери». Я сидела неподвижно. Удар грома, молния, упавшая у моих ног, не могли бы теперь заставить меня пошевельнуться.

Я встала, легла на постель… Мне вдруг показалось, что в комнате стало ужасно тихо: слышно, как муха пролетит. Я чувствовала, что глаза мои влажны, но слез не было… Я лежала неподвижно, точно меня придавили свинцом, точно меня кто сильно ударил… Что ж теперь? Ехать за границу, ехать в Петербург?..

А сестры наверху с тревогой ожидали меня.

Сколько прошло времени — не знаю, но я все-таки встала, пошла к ним и молча подала им бумажку. Те прочли и молча опустили головы. Я начала говорить, что сейчас пойду к матери в последний раз просить ее согласия и сказать ей, что я еду в Петербург. Как ни старалась я быть спокойной, но голос мой дрожал и прерывался. — «Если она не даст согласия, то я поеду за границу; тогда… только вы не говорите, что я вас бросила», — не выдержала я и закрыла лицо руками. — «Лиза, полно, не плачь», — успокаивали меня сестры. — «Нет, Валя, ведь ты еще не

замужем, а мне хотелось бы, чтобы ты вышла при мне. Тогда я могла бы быть спокойна за тебя и за Надю», — сквозь слезы сказала я. — «Ну, не волнуйся: о нас нечего беспокоиться; надо думать о тебе», — утешали меня сестры.

Времени терять было нельзя, я пошла к матери; но разве когда-нибудь ее железная воля могла быть сломлена? Холодный отрицательный ответ; ироническое: «Поезжай, куда ни сунься, без согласия матери тебя не примут…» Оставалось решить, когда ехать в Петербург. Решила завтра. Весь вечер пролежала у себя в комнате в каком-то полусонном состоянии и не могла ни двигаться, ни говорить.

Но вечером, часов в 9, за полчаса до отхода парохода, я вдруг решила ехать, чем скорее, тем лучше. У мамы в это время сидел чиновник из Сиротского суда; дети убежали играть. Мы были втроем на антресолях. Минута была самая благоприятная. «Надя, я еду! — сказала я сестре, — одевайся». Наши сборы были недолги. Потихоньку спустились мы с лестницы, чтобы незаметно уйти черным ходом. Но в коридоре нас ждала горничная: мама, очевидно, подозревала что-то и велела ей сидеть внизу у лестницы. — «Пожалуйте к мамаше», — сказала мне моя

дуэнья. Я быстро и решительно вошла в залу. Мама сидела с чиновником. По моему дорожному костюму она сразу поняла, в чем дело. — «Куда ты едешь?» — «В Петербург», — твердо отвечала я, сама удивляясь странной звучности своего голоса. — «Как, и не простившись со мной?» — продолжала мама тем же удивленным тоном. Я отлично видела притворство и ничего не отвечала. — «Зачем ты едешь?» — продолжала мама, как будто нарочно разговаривая при постороннем о семейном деле. — «Мне пора…» — сказала я и повернулась, чтобы выйти. — «Как ты можешь… без спросу…» — слышала я вслед… и все это не скрывая, при постороннем… О-о! если б этот звук мог выразить стон души человеческой, который был готов вырваться у меня, когда я вышла из залы.

Надо было торопиться. Быстро сбежали мы по черному ходу вниз, мимо изумленных горничных; пробежали по двору.

Луна ярко светила. Мы не шли, а бежали по улице, торопясь нанять извозчика. Наконец через полчаса мы были на пристани; несколько минут спустя были уже на пароходе и ехали в Рыбинск.

Никогда не забуду я этой ясной, холодной августовской ночи. Мы ехали более суток… дорога длинная, скучная… Я старалась спать как можно

больше. Иногда только в голове проносились какие-то обрывки мыслей: «вот приеду в Петербург, поговорю с директором… почему он в марте позволил мне подать прошение, а затем вдруг отказал в приеме за неразрешением матери? Как он узнал, что у меня есть мать? Если ничего не удастся, выправлю себе заграничный паспорт…»

…Сюда мы приехали вчера утром. Я не обратила ни малейшего внимания на столицу, которую видела в первый раз в жизни. Прямо из номера я поехала в Исаакиевский собор; что-то подсказывало мне: поезжай сначала туда, иначе ничего не выйдет. Я быстро вошла в собор, упала на колени в темном углу и пробормотала горячую, бессвязную молитву; потом бросилась на первую попавшуюся конку… С непривычки мне было очень неловко пересаживаться с одной конки на другую; наконец, сойдя со второй, с помощью какого-то доброго человека, я пошла на 10-ю линию, д. № 33. Два швейцара в ливреях стояли у крыльца. Я поднялась по каменной лестнице в большую прихожую. В доме шла переделка; всюду виднелись столы, вещи, вынесенные из других комнат, стояли ведра с краской и валялись кисти.

Я спросила, можно ли видеть директора. — «Он

только что уехал, — ответил швейцар, — пожалуйте в канцелярию к его секретарю». Нечего было делать; надо было хоть что-нибудь узнать, и я отправилась в канцелярию. Молодой человек сидел у письменного стола и писал. Он весело и любезно осведомился, кто я такая, и, узнав, как меня зовут, воскликнул: «А, это вы! Знаете ли, у нас из-за вас возникло целое дело!» Я с недоумением посмотрела на него. — «Дело в том, что вы были приняты...» — «Позвольте, как же это? — прервала я его. — 20-го числа я получила бумагу с отказом». — «Вот именно. А между тем вы были приняты, и вам послана повестка 9 августа. Но мы получили письмо от вашей матери: она перехватила эту повестку и написала нам, чтобы директор не принимал вас, потому что она, вследствие разных домашних обстоятельств, запрещает вам поступать на курсы. Тогда мы выслали вам бумаги обратно, с отказом». Я слушала молча... мне нужно было сохранить приличное спокойствие, надо было собрать всю силу воли, чтобы на лице не было заметно того, что происходило у меня на душе. А между тем... о боже мой! Страшное негодование на низкий поступок матери, на ее бессердечие, казалось, лишило меня способности соображать и думать. А-а! Так

вот как! Да! ведь это ее манера действовать из-за угла, потихоньку наносить удар тогда, когда его меньше всего ожидают. Ну что же? Хотя я знаю свою мать настолько, что должна была ожидать и этого, — но все-таки такой удар был неожидан…

«Вы могли бы указать в прошении другой адрес», — сказал мне секретарь. — «Вот этого я не догадалась». — «Но ведь вы совершеннолетняя?» — «Да, как видите, Сиротский суд мне уже выдал свидетельство о безбедном существовании». — «Эх, дело-то какое! Ведь у вас серебряная медаль, помилуйте! вы были приняты… Сегодня еще здесь был о вас разговор с директором. Вас, пожалуй, придется принять… вот только вы переговорите с директором. Право, такой исключительный случай. С одной стороны — письмо вашей матери, с другой — все права на поступление…» — «Скажите, можно сегодня видеть директора?» — спросила я. — «Ввиду таких исключительных обстоятельств, как ваши, вы, как приезжая, можете явиться к нему на квартиру, и он вас примет. Он теперь остановился у брата — Невский, 163… Вы можете застать его дома часов в пять». — «Благодарю вас». — «Не стоит, объяснитесь с директором. Да, вышло целое дело…» — весело повторял секретарь, видимо

довольный тем, что у них на курсах вышло «целое дело».

Я поехала домой. Мне вдруг показалось очень интересным ехать по петербургским улицам и смотреть на все, что попадалось на пути. Я приехала в свой номер в самом оживленном, приподнятом настроении и, наскоро пообедав в какой-то кухмистерской, отправилась к директору. Найти его квартиру было вовсе не трудно. Директор обедал, но все-таки вышел ко мне. Это был господин средних лет, брюнет, с проседью; круглое лицо, прямой пробор на голове, ласковые темные глаза и модная бородка клином. Узнав мою фамилию, он слово в слово повторил рассказ секретаря и, сказав то же — «такой редкий, исключительный случай», — велел мне на другой день явиться на курсы к 12 часам. Было только 6 час. вечера, когда я вышла от директора. Что было делать целый вечер? Я пошла по Невскому… Какое мне было дело до этой толпы, беспрерывно мелькавшей у меня перед глазами?..

На другой день, съездив с сестрой в Петропавловский собор, я приехала на курсы. Целый час пришлось дожидаться директора: он ездил с докладом к министру. Двери канцелярии постоянно отворялись, являлись барышни с неизменным

вопросом: «Позвольте узнать, принята я или нет?» — и секретарь то отвечал утвердительно, и тогда барышни уходили веселые и довольные, то отрицательно, — тогда следовал печальный вопрос — почему же? Одной при мне возвратили документы, другой, замужней, директор отказал потому, что муж ее не имел служебного положения в Петербурге…

Наконец директор сказал мне: «Пожалуйте. Все, что я могу для вас сделать, — посоветовать обратиться к попечителю округа с прошением, в котором вы изложите все обстоятельства дела. Он человек добрый, быть может, он и сделает для вас что-нибудь». Он дал мне адрес М. Н. Капустина[76] и сказал, что я могу его застать дома в три часа. Придя в номер, я написала прошение и поехала. Извозчик попался довольно бестолковый, он не мог найти квартиры по данному адресу; пришлось справляться в участке, и городовой проводил меня и сестру до дверей квартиры.

Нам отворил лакей чрезвычайно добродушного вида. Первым его словом было: «Сегодня его превосходительство не приказывали никого

---

[76] Примечания: 76

Михаил Николаевич Капустин (1828–1899) — ученый-юрист, действительный тайный советник, на тот момент попечитель Санкт-Петербургского учебного округа.

принимать». — «Мне невозможно ждать! — воскликнула я. — Я приезжая, мне каждый час дорог, и я не могу ждать до завтра». — Добродушный человек сразу вошел в мое положение и решил принять меня на свой риск, ввиду того, что я приезжая. Попечитель должен был приехать не ранее 4 часов. Мы погуляли в Летнем саду, и в 4 часа я пришла опять. Дверь была отворена; лакей сбегал наверх и через минуту сказал: «Пожалуйте! Его превосходительство очень занят: у него инспектор и еще кто-то…»

Я вошла в небольшую гостиную; лакей понес мое прошение в кабинет, откуда слышались голоса. Мое прошение прочитали вслух, и не успела я поднять глаз, как высокий и худой старик очутился предо мною. — «Видите ли, сударыня, дело такого рода… я ничего не могу сделать. Хотя вы и совершеннолетняя, но послушание родителям тоже дело необходимое. Все, что я могу для вас сделать, — написать вашей матери письмо, уговорить ее позволить вам учиться. Может быть, она и послушает меня, старика». И прежде чем я успела что-нибудь сказать, он уселся за стол и велел мне сказать адрес. Крайне неловко было прервать его, пока он записывал, а между тем я знала, что его превосходительство делает совершенно бес-

полезную попытку. Он записал адрес. — «Ну вот, теперь я напишу вашей матушке, а вы подождете здесь ответа. До понедельника». — «Ваше превосходительство, я не могу жить здесь так долго; к тому же это все равно бесполезно: в силу раз установившихся предрассудков, она не сдастся ни на чьи просьбы…» — «Гм… Но все-таки я напишу, а она пусть ответит мне телеграммой. Надо ждать до субботы». — «Ваше превосходительство, все равно это бесполезно. Если вы не примете меня здесь — я уеду в Швейцарию, мне ничего более не осталось», — говорила я, и голос мой зазвенел, в нем слышалась энергия отчаяния: я чувствовала в себе силу, защищая свое право. — «О, какая же вы самостоятельная!» — удивился попечитель. — «Позвольте, — вдруг вспомнил он. — Знаете ли, что и в медицинский институт должны поступать с позволения родителей; я сейчас покажу вам правила». — «Неправда, ваше превосходительство, — достигшие 21 года принимаются без позволения родителей», — быстро ответила я, совсем забыв, с кем я говорю. — «Не может быть, я покажу вам правила». Он вошел в кабинет и вынес оттуда книжку. В дверях стояли три господина в синих фраках, которые вышли из кабинета и молча смотрели на эту сцену. Его

превосходительство быстро прочел § и вдруг запнулся: «лица, не достигшие 21 года, должны предъявлять позволение родителей. — Гм… вы правы… да… до 21 года… Такой редкий, исключительный случай…» Он был озадачен и, очевидно, сам растерялся, не зная, что со мною делать.

Он усадил меня у окна в кресло; сам сел напротив. — «Расскажите мне, кто вы такая?» В кратких словах рассказала я ему о моей семье. Он удивился: «Да откуда же вы такая самостоятельная?» — «У меня есть средства после отца, и поэтому я поеду за границу, если меня здесь не примут». — «Извините, но который вам год?» — «15 августа мне исполнился 21 год». — «Скажите! Каково нынешнее молодое поколение, — обратился попечитель к господам, неподвижно стоявшим все время у дверей. — Так и рвется к образованию! Нам, старикам, стыдно. Ну хорошо; я поговорю о вас с министром; приходите завтра, постараюсь сделать, что могу…» — добродушно проговорил попечитель, ласково беря меня за руку. — «Ваше превосходительство!..» Я не могла сказать более ни слова, и слезы так и хлынули из глаз. — «Ну, ну, успокойтесь, приходите завтра», — проговорил он, провожая меня в переднюю.

Дошло до министра! Что может выйти? Дальше идти некуда, надо возвращаться обратно… Но я все-таки не оставлю этого дела: если сейчас получу отказ, если мое право на продолжение образования не будет признано… тогда я прямо от Капустина еду в редакцию газеты «Новое время» и рассказываю там все… Пусть эта история будет предана гласности; я обращаюсь к общественному мнению, к мнению печати, которая, конечно, должна обратить внимание на возможное повторение таких случаев и на отношение к ним «власть имеющих». Пусть потом делают, что хотят, я буду уже за границей.

24 августа

Сижу в Летнем саду и пишу. Сейчас надо идти к попечителю. Но мне уже все безразлично… Я так утомлена этими мытарствами, что мне совершенно все равно, каков бы ни был ответ попечителя. Надо собираться ехать в Швейцарию, и я уже думаю о том, где и как достать заграничный паспорт.

Вечером

Я принята! О, наконец-то, наконец я добралась

до пристани. Курсы для меня — пристань, с которой я отправляюсь «в плавание по волнам моря житейского». Когда сегодня я шла к попечителю — странное дело: несмотря на то, что я уже ни на что не надеялась, я думала: неужели мое случайное знакомство с Э-тейном, потом с одною из слушательниц курсов и моя переписка с нею — неужели и это было напрасно? Тогда, зимой, я сочла это за добрый знак, а теперь? Казалось невероятным, чтобы это было напрасно. Все это явилось так случайно, и именно в последний год, когда мне было особенно нужно. И еще: я заметила, что мне ничего в жизни не дается сразу, а непременно пройдя через несколько препятствий, даже до смешного: несмотря на точный адрес М. Н. Капустина, я и то не могла сразу найти его квартиру…

Размышляя таким образом, я незаметно дошла до квартиры. Попечитель был занят: в его кабинете слышался женский голос. Я ждала, стоя у стены в гостиной. Через несколько минут нарядная дама промелькнула мимо меня в прихожую, попечитель вышел вслед за ней в гостиную. — «А-а, это вы? пожалуйте сюда», — проговорил он, уходя в кабинет.

Я вошла вслед за ним в большую светлую

комнату; посредине ее стоял письменный стол, напротив него большая, занимавшая почти всю стену горка с книгами. По стенам висело несколько портретов в золоченых рамах; между ними, напротив дверей, портрет самого попечителя в полной парадной форме. На этот раз он был во фраке с звездами, но без лент. Взяв длинную трубку, он уселся на софу у дверей и усадил меня напротив. — «Ну-с, вы меня извините, что я закурю трубку, ведь я человек старый, — и он спокойно развалился на кресле. — А я, знаете ли, все-таки написал письмо вашей матушке; быть может, она послушается меня, старика». Я невольно подумала: экий упрямый старичок, сделал-таки по-своему, ведь я уже вчера говорила ему, что это бесполезно. — «Ваше превосходительство, ведь это же напрасно: чем выше лицо, которое к ней обращается, тем более удовольствие для нее отказать». — «Ну, знаете ли, я все-таки написал. А если она не согласится, я вас приму, — как-то мельком сказал он, переходя к письменному столу. — Присядьте». Я села в почтительном расстоянии. — «Не здесь, не здесь, я ведь глух, садитесь сюда, к столу». Я села. Его превосходительство взял мое прошение и начал что-то писать на нем. — «Ну, скажите, почему

же вы уверены, что она не согласится и после моего письма?» — «Ваше превосходительство, я отвечу откровенно, чтобы дать вам вполне ясное понятие о том, как у нас смотрят на курсы. Когда я просила свою мать дать согласие, она сказала мне: будь девицей… известного поведения, — сказала я, постеснявшись употребить подлинное ее выражение… — Как видите, при таком предубеждении трудно идти против; и притом, по мнению моей матери, раз я имею средства, я не должна учиться, а сидеть дома и ждать женихов». — «Ну, замуж вы всегда успеете выйти, вы еще молоды. Вы можете на этот счет успокоить вашу матушку». — «Да, но в нашем сословии интеллигентный человек или служащий не считается женихом, если не имеет своего состояния». — «Но я все-таки скажу вам, что мы очень обязаны нашим родителям, что они — неоплатный долг. И ваша мать, когда вы были ребенком, много делала для вас; и теперь, быть может, еще делает. Вы будьте к ней почтительны. Скажите, в каких отношениях вы с ней находитесь?» Этот неожиданный вопрос смутил меня. — «Как вам сказать, ваше превосходительство, я не знаю…» — «Ну вот видите, сами не знаете. А вы должны быть все-таки почтительны, не раздражайтесь ее сопротив-

лением. Вы, так сказать, не будируйте против вашей матушки». — «Я сделаю все, что от меня зависит, ваше превосходительство». — «Ну вот. Постарайтесь. А я вам скажу, что ваше желание учиться мне очень симпатично. Я попечитель округа и очень рад видеть стремление молодежи к образованию. Это очень, очень симпатичное желание». Он встал и подал мне мое прошение, на котором во время нашего разговора не переставал писать что-то. — «Вот ваше прошение, можете передать директору». Я удивилась, развернула бумагу, там было написано: «Г-ну директору Высших женских курсов. С согласия его сиятельства, господина министра, разрешаю принять в число слушательниц, с помещением в интернате». — «Так меня примут?» — радостно воскликнула я. — «Да, да, ваше желание мне очень симпатично». — «О, ваше превосходительство, как я вам благодарна! — сказала я, и слезы невольно показались на глазах. — Боже мой! Как я вам благодарна! Но (я вспомнила характер моей мамы) извините… если моя мать напишет вам резкое письмо… вы не рассердитесь на меня и не велите исключить?» — взволнованно заговорила я. — «Ну мало ли я получал в жизни резких писем, — спокойно и добродушно ответил

прекрасный старик. — Не беспокойтесь, конечно вас не исключат». Говоря это, он двигался взад и вперед по комнате и разбирался на столе, не глядя на меня, стараясь не замечать выражений благодарности, точно он не хотел, чтобы кто-нибудь знал о том, что он поступил хорошо. Он подал мне руку и прервал меня: «Теперь, когда вы приняты, вы должны поддерживать репутацию курсов». — «Я буду подчиняться всем правилам, ваше превосходительство». — «Вот именно; политикой не занимайтесь и вообще ведите себя так, чтобы не уронить достоинства курсов». — «Я буду считать за честь учиться на них», — сказала я, стоя уже в передней. — «Да, именно, считайте за честь; следуйте моим советам», — быстро кончал наш разговор попечитель, хотя давно уже простился со мною.

Взволнованная вышла я на улицу; в прихожей дожидалась меня Надя и там, слыша, что я плачу, и вообразив, что меня не приняли, и сама заплакала. Но одного взгляда на мое лицо достаточно было, чтобы убедиться в противном.

Сегодня в 12 часов я пришла к директору и молча подала ему конверт с прошением попечителя и остальными документами, которые были мне возвращены. Он любезно поздравил меня с

поступлением. — «Но все-таки вы постарайтесь убедить вашу мать; это во всяком случае неприятно; вы будьте к ней почтительны». Я обещала директору исполнить все. Сегодня выехала с сестрою в Москву.

Интернат Высших женских курсов, 8 сентября

Вот я и здесь. Сидя спокойно за высокими казенными стенами, беру моего молчаливого друга и опять начинаю по-старому беседовать с ним. С чего же начать? Столько разных впечатлений, все так не похоже на прежнюю мою жизнь.

Вся неделя от моего приезда в Ярославль и до отъезда в Петербург прошла в приготовлениях к отъезду; только здесь я почувствовала, как я устала… Мне необходимо было спокойствие, бесконечное спокойствие. Мне хотелось как можно долее сохранить его, и я ни о чем не говорила маме, так что она была уверена, что всякие хлопоты были бесполезны. Должно быть, я очень изменилась за эти дни: хотя и ничего не говорила, но мое бледное лицо выдавало меня и вызывало удивление родных и знакомых. За день до отъезда я вошла в комнату мамы, чтобы в последний раз говорить с ней. Вышла сцена: слезы, крики, упреки,

брань. Я все время молчала. На другой день надо было ехать. Вечером меня позвали прощаться в первый раз; мама выбранила меня и выгнала из комнаты. Через час потребовала опять к себе; я пришла, мама сухо протянула мне руку для поцелуя, не сказав ни слова. Я уже совсем оделась ехать на вокзал; горничная пришла в третий раз: «пожалуйте опять к мамаше». Я вошла в спальню; мама, уже собиравшаяся ложиться спать, с распущенными волосами, с плачем обняла меня: «Прощай, прощай, ты уезжаешь, мы с тобой более не увидимся, прощай!» — «Полно, мама, напрасно ты думаешь, что мы больше не увидимся: я приеду на Рождество». — «Нет, прощай, прощай, прощай! Ты бросаешь мать, бог с тобою!»

Все это казалось мне сценой. Должно быть, я уже от всего пережитого напряжения так устала, что была не способна чувствовать что-либо, и отнеслась ко всему спокойно. Мама поступала, как поступают все нервные люди, и эти быстрые переходы вовсе не имели глубины чувства… Но расстаться с сестрами было нелегко. Меня провожали все — и они, и братья. Милые! так хотела бы я видеть их всех теперь возле себя.

Я приехала в Москву к тете. Эта в сущности добрая и любящая женщина встретила меня по

наружности холодно: «Ты все-таки уезжаешь?» Но по доброте своей она не могла не пожалеть меня: «На что ты решаешься? что ты делаешь? Подожди, заведешь ты там разные знакомства и непременно, даже против воли, впутаешься в какую-нибудь историю. Знаем мы этих студентов, и поэтому мне очень, очень жаль тебя, что ты решаешься так огорчить свою мать и ехать в Петербург». Скромно опустив глаза, слушала я эти речи. Мне было и смешно и жалко, и я не возражала тетке; да и бесполезно было бы возражать: надо доказывать своим примером, а не словом несправедливость их воззрений.

4-го я приехала сюда. Днем был молебен; приехал и М. Н. Капустин и некоторые из профессоров. Мы все подходили к кресту мимо директора и попечителя. Я стояла одна в этой шумной толпе. Ни души знакомой кругом. Я перекинулась двумятремя словами с некоторыми из слушательниц; у всех их были свои землячки, только что приехавшие, или знакомые, у меня не было никого.

В интернате был страшный беспорядок: совсем не ожидали громадного наплыва слушательниц, и комнаты были еще не готовы; но и готовые предназначались не для слушательниц первого курса, а для второго: им, как жившим в старом

интернате, отдавалось предпочтение перед новичками. Они еще не съезжались, и вот временно нас поместили в эти комнаты.

Весь день прошел как-то бестолково. Невозможно было вынуть свои вещи и разобраться, если помещение это было временное. Книги мои были уложены и заперты, достать их было нельзя, — что хочешь, то и делай в четырех стенах. Я отправилась осматривать свое помещение. Интернат представляет собою большую гостиницу, устроенную просто и удобно, по всем правилам гигиены; везде чистота; нарядные горничные снуют по коридору. Всем приезжим было предложено жить у родственников и знакомых, буде они найдутся, несколько времени, за недостатком помещения в интернате. Так как у меня никого не было, то меня и поместили временно; это не совсем-то рекомендовало деятельность комитета, хотя они и оправдывались «неожиданным наплывом», что было довольно наивно с их стороны; мы должны были подвергнуться всем прелестям неудобств неустроенных помещений. Первую ночь я провела в сырой и нетопленой комнате; было страшно холодно.

На другой день начались лекции, т. е., собственно говоря, была читана одна по русской истории.

Я вошла в аудиторию с чувством какого-то ожидания, свободно, без всякого благоговения, но отнеслась ко всему с спокойным интересом. Я уселась на скамье повыше; шум и крик стояли в аудитории. Вдруг все стихло. На кафедру вошел профессор русской истории С. Середонин. Это еще не старый человек, очень некрасивый, с короткими руками и каким-то скрипучим голосом. Он прочел вступительную речь. Едва он начал говорить — я впилась глазами в его лицо, ловя каждое слово, и так и застыла в этом положении до конца лекции. Предмет был интересен, а читал он плохо; ему сильно мешал картавый выговор и какой-то страшный звук голоса.

Он говорил о движении исторической мысли, начиная с первого писаного учебника русской истории. Тут впервые услышала я о «Синопсисе», трудах Татищева… И первая же лекция показала мне мое круглое невежество: я ничего не читала по русской истории, и поэтому вся лекция для меня была новостью.

В этот день лекций больше не было. Я пошла в библиотеку, взяла каталог и, при виде массы книг, пришла в отчаяние: никогда во всю жизнь не прочтешь и сотой доли всего, что надо бы прочесть, никогда! И я не знала, за что взяться;

растерявшись, я начала спрашивать заглавия книг — одно другого лучше: увидела в каталоге Токвиля — оказалось, не выдают без разрешения профессора; я рассердилась и спросила «Жизнь Иисуса Христа» Ренана… Библиотекарша с удивлением взглянула на меня. Кончилось тем, что я взяла какое-то сочинение Тьерри и, придя к себе в комнату, в отчаянии бросилась на постель. Ничего я не знаю! ничего! и это в 21 год!

9 сентября

Так много нового; так много людей; вся обстановка до такой степени не похожа на ту, в которой я жила не дольше, как неделю-две тому назад, что мне кажется, что я попала в другой мир. И вот я стараюсь изо всех сил разобраться в этой массе нового, массе новых лиц, которая меня окружает; выбрать из небольшой среды тех, с которыми познакомилась, наиболее интересных, развитых, общество которых было бы и приятно и полезно… Я разговариваю, иногда даже вступаю в спор (впрочем, он никогда не бывает особенно интересен или значителен), стараясь угадывать людей по мнениям, которые они высказывают… Иногда это оказывается вовсе не трудно; я сразу определяю человека. (Конечно, приблизительно:

знать до тонкости — вовсе не каждого интересно, только некоторые люди заслуживают такого внимательного изучения, а масса… зачем терять время?) Конечно, гимназистки, только что окончившие курс, не могут представить никакого интереса; я стараюсь знакомиться с такими, которые уже не первый год кончили гимназию.

Правильное чтение лекций еще не началось; и пока есть свободное время, я осматриваюсь и разбираюсь в людях. Теперь я заметила одну особу очень умную, начитанную и развитую, но с ней трудно сойтись; она хотя слегка и сентиментальна, но не старается знакомиться с кем бы то ни было; держится в стороне и усердно занимается по пособиям, указанным профессором. Это — сочинение Бестужева-Рюмина: «Русская история», т. I, «Биографии и характеристики», статьи Милюкова в «Р. М.» за последние 2–3 года; Коялович: «Из истории русского самосознания». Я тоже занимаюсь по этим же пособиям, но далеко не так, как она: она и лучше образованна, да и среда была очень благоприятная для ее развития (она дочь инспектора историко-филологического института в Нежине). И поэтому она работает, а я просто занимаюсь, читаю, составляю конспекты. В одной из этих книг читаю: «Когда Погодин,

будучи студентом 1-го курса, спросил профессора, что читать ему по русской истории, тот сказал: читайте „Нестора“». И я, следуя своей несчастной привычке сравнения, сейчас же привожу наш пример: а мы что читаем? Нам не рекомендовали «Нестора»…

Жизнь в интернате идет пока очень тихо и однообразно; в 11 движение везде затихает, в коридоре гасятся огни, все, за немногими исключениями, ложатся спать и встают часов в 8.

Немудрено, что это время, когда и живешь не на своем месте, и лекций нет, да и знакомство пока малоподходящее, — такое время, как эта неделя, — право, представляет картину какого-то брожения. Я вспоминаю о своих, и мне делается иногда просто скучно без них, и тоска одиночества тяжело ложится на душу. Зато, когда подумаешь о лекциях, взглянешь на расписание, висящее в коридоре, чувствуешь такое ожидание: вот-вот откроются двери куда-то… и перед нами раскроется новое, неведомое… а что именно? что? — и сердце невольно замирает, и хочется, чтобы все началось скорее.

12 сентября

Сегодня мама прислала свое согласие, форменное разрешение на имя директора. Сегодня же я получила от сестер письмо, в котором они сообщают, почему она согласилась. Оказывается, она все-таки не поверила моим словам, что меня приняли, и, послав отказ в ответ на письмо попечителя, была уверена, что меня не примут. Спустя несколько дней она опять получила от Капустина письмо (только теперь случайно узнала я, что он решил добиться согласия мамы таким образом: время от времени писать ей письма и уговаривать ее, несмотря на ее отрицательные ответы), и так как я еще раньше сказала ей, что в случае чего — еду за границу, то она вдруг испугалась такой близкой возможности моего отъезда, и вот, в силу всех этих обстоятельств, согласие было написано, подписано и отправлено тогда… когда, в сущности, уже его и не нужно было. Но все-таки я была рада. И директор очень доволен. Когда мне рассказали о Капустине, что он был у нас на курсах, говорил с директором обо мне и решил писать маме, — я удивилась благородному характеру и доброте этого человека. Что я ему? А между тем он столько для меня сделал; он человек занятой,

заваленный делами, хотел писать какой-то неизвестной ему даме, мало того, что он меня принял, он хотел вполне удовлетворить и нравственное чувство. Стою ли я всего, что он для меня сделал? В первый раз в жизни встречаю я такого человека, в первый раз и, наверно, в последний. Если для меня сделает что-нибудь человек, вполне мне равный, я буду ему благодарна; если такой, для которого я что-нибудь сделала, — неудивительно. Но тут Капустин и я; сравнение немыслимо. И еще находятся люди, которые утверждают, что благодарность — тяжелое чувство. Я этого не понимаю. Если бы я была обязана человеку, вполне мне равному, я бы с нетерпением выжидала случая доказать ему свою признательность; теперь — я обязана человеку, стоящему неизмеримо выше меня во всех отношениях, который никогда не может нуждаться во мне… ну что же остается, как не чувствовать благодарность, глубокую, беспредельную признательность, почти благоговение? А могут разве быть тяжелы такие чувства — лучшие движения души человеческой?..

Вечером я была у Капустина, благодарила его за участие. Он вышел ко мне, поговорил немного о письмах. — «Ну вот и прекрасно. Все-таки она (т. е. мама) согласилась; гораздо лучше начинать

всякое дело с материнского благословения, с ее согласия». Он спросил о лекциях: начались ли? — «Ведь весело, право?» — «Еще бы, ваше превосходительство!» — «Вот теперь все хорошо; ну, учитесь. До свидания». Он подал мне руку, и я отправилась домой очень довольная, что видела попечителя.

16 сентября

Я была в гостях у одной дамы, с которой познакомилась, когда ехала в Петербург в первый раз. У нее дочь очень образованная и интересная особа, курсистка 70-х годов. Она мне много рассказывала о курсах. Оказалось, что много из того, что я слыхала в провинции и от родных и чему не верила, считая это или сплетнями, или же пережитками 60-х годов, — оказалось, что все это имеет свое основание. Г-жа Щ. рассказывала мне, как у дверей комнаты одной курсистки нашли сундук с известного рода бумагами. Сундук был принесен студентом. Курсистку, конечно, взяли, но судьба ее неизвестна. Рассказ этот меня возмутил потому, что такие господа прежде всего сами спасаются, а невинные из-за них страдают. Она мне рассказала и о случае на балу в пользу недостаточных слушательниц: какие-то господа

стали говорить речи, а распорядительницу бала потребовали к градоначальнику. И это меня возмутило: я вообще против тех, которые только говорят. А тут они, зная прекрасно, что курсы могут закрыть из-за всякого пустяка, захотели скомпрометировать бал, который доставляет средства нуждающимся!

На днях, после лекции, нас собралось человек 10–12, и разговор зашел о курсовых порядках. В большинстве было заметно недовольное, будирующее настроение, — директора бранили, интернат тоже. Относясь ко всему хладнокровно, я спросила: за что же, господа, вы недовольны директором? Что он вам сделал? На этот вопрос никто не мог дать ясного ответа, но недовольны были все из-за небольшого беспорядка в приемной: не было вывешено правил и часы приема не обозначены, о них заявлял устно швейцар всем приходящим. Но из-за этого еще не стоило волноваться. Слово за слово, мне стали возражать; я хотела доказать, что некоторые интернатские порядки имеют свое основание, и рассказала им случай со слушательницей. Это их не убедило, и симпатии оказались на стороне студента. Тогда я увлеклась; говоря против таких господ, я сказала, что они больше говорят, чем делают, и… сдуру

рассказала им и о бале. Я вспылила, и невольно у меня вырвалось восклицание об этих ораторах: подлецы, дурачье! сами не знают, что говорят, лишь бы только говорить! и о тех, кому они могут повредить своими речами, не думают! Им-то хорошо, университет не закроют, а к курсам-то придерутся из-за пустяка. И, кроме того, они не знают разве, что бал дается с благотворительною целью?!

Поднялся страшный крик; все стали с мест и дружно напали на меня. Трудно было разобрать возражения, но весь этот крик был протестом против моих резких слов.

— Как вы можете так говорить! Вы не имеете права называть так лучших людей! Да знаете, если бы вы были студентом и вы бы сказали это, вам бы дали пощечину.

— А я бы дала ему две! — резко возразила я. — Чем это они являются лучшими людьми? Они говорят, и только говорят, и больше ничего!

— Ну и пусть говорят! Иной раз речью больше сделаешь! Пусть даже невинные страдают — в таком деле простительно забыть о других! Вот у вас какие убеждения!

— Для чего же вы ехали в Петербург? — накинулась на меня одна из самых юных курсисток. —

Вот мы ехали не только для того, чтобы ходить на лекции да заниматься наукой, это слишком мало; надо узнавать людей, жизнь, слушать и сходиться с такими людьми…

— Да, — спокойно ответила я И-вой, — я ехала в Петербург учиться, заниматься; также и узнавать людей, но не для того, чтобы слушать эти речи, — слегка презрительно докончила я.

Опять поднялся шум. Вся эта молодежь оказалась такою идеальною, такою верующей в прекрасные слова и жаркие речи, что мне оставалось с честью ретироваться.

— Г-да, очень приятно видеть, что вы все такие идеальные; что вы так горячо относитесь ко всему тому, о чем я говорила. Но я не гонюсь за тем, чтобы идти вперед; я скромно пойду позади. Что ж делать, вы — идеалистки, я — нет. Во всяком случае, приятно видеть, что вы все в этом отношении очень идеальны…

Все притихли… на мои слова им было нечего возражать: я, сразу поняв их и чтобы прекратить бесполезный спор, нарочно повернула разговор, как будто бы беря всю вину на себя.

Мы разошлись. Но я сделала большую глупость, сразу высказав им свои убеждения именно на этот счет: лучше бы молчать; впрочем, об этом не

стоит жалеть. Что за беда, если и высказалась? по крайней мере, пусть знают…

17 сентября

Но зато как мне было стыдно сегодня, когда ко мне пришла М. Е. и я рассказала ей об этом эпизоде. Тихо, серьезно, без всякого упрека за мою горячность, она объяснила мне, в чем было дело, — и на балу, и у курсистки. Оказалось, что факты были переданы неверно. Никаких речей не произносилось студентами, а говорили профессора, и полиция встревожилась совершенно напрасно. Курсистка сама взяла сундук, и там оказались незначительные бумаги. Далее М. Е. рассказала мне о людях, о которых я знала только понаслышке и так смутно, что совсем не имела понятия о них и их деятельности… Эти люди работают на пользу народа, занимаются им, развивают его… Они рискуют, конечно, всем и отдаются этому делу всецело, из чисто идеальных стремлений сделать хорошее, доброе дело. И на курсах находятся сочувствующие им. И вот, неожиданно для себя самой, я увидела, что все слухи, которые передавались в провинции, имеют свое основание. И все это оказалось так близко здесь!

Я молча слушала М. Е. Что мне было сказать? Она сообщила мне столько нового, что надо было подумать и разобраться в мыслях. Я до такой степени невежда во всем, что касается современного положения дел, что страшно было бы мне и пытаться возражать ей на ее мнение, что все это положение нужно изменить во что бы то ни стало. Но мне кажется, что, во всяком случае, не так, как хотят эти люди. Чего хотят они? восстания, революции? Они хотят этого для блага народного… Но только не надо забывать, что сдвинуть 120-миллионный народ, да еще такой, как наш русский, — надо много силы, энергии; надо быть или Петром Великим, или Стенькой Разиным. А они хотят действовать постепенно, подготовить почву, просвещая народ… И то благо, что они нашли нужным прежде его просвещать, и не задаются безумными мечтаниями дать конституцию безграмотному народу. А задались бы такою целью — было бы хуже. По силам ли берут они задачу? Когда вспомнишь о 120 миллионах, когда вспомнишь, что наша интеллигенция сравнительно с массою народа — ничтожна и так далеко ушла от него, — невольно становится сомнительно: может ли что-нибудь сделать горсть людей с массою?

26 сентября

Наконец-то я слышала Гревса[77] — этого любимого профессора наших слушательниц, которого ожидали с таким нетерпением и который наконец приехал и вчера читал вступительную лекцию. За полчаса до начала аудитория уже переполнилась народом: всюду, где только можно было встать и сесть, даже на кафедре, так что профессор вошел, с трудом пробираясь между слушательницами. Он средних лет; худощавый брюнет с длинным и тонким лицом, с темными глазами, очень болезненный на вид. Войдя на кафедру, он закашлялся и долго не мог начать; форточка была отворена — ее затворили; он оправился и обратился к нам: «Возвращаясь, после годичного перерыва (он прожил целый год за границей), к обычным занятиям в дорогой для меня среде, я обращаюсь с приветствием к вам, с пожеланием успеха в ваших занятиях. Но прежде чем приступить к чтению лекций, мне хотелось бы выяснить вам вашу задачу, которую вы будете выполнять в общественной деятельности

---

[77] Примечания: 77

Иван Михайлович *Гревс* (1860–1941) — специалист по истории Римской империи и Средневековья, краевед, педагог.

или в семейной обстановке, — вы — интеллигентные представительницы русского общества будущего 20-го столетия…» — такими словами начал И. М. Гревс свою прекрасную речь. И он выяснил нам эту задачу; запишу приблизительно содержание его речи. Роль интеллигентной личности в обществе. Общество, как сумма факторов интеллигентных, имеющих свое развивающее влияние. Интеллигентный человек для своего развития должен заниматься наукой. Может ли масса действительно служить обществу, как свет? (сумма интеллигентных факторов в обществе — то, что по-франц. наз. светочами — les lumiéres). Современный взгляд на науку Брюнетьера в «Revue des Deux Mondes»: «Банкротство науки», — который отвергает значение наук, потому что они не дают ответа на вопросы филологические, о происхождении религии и др.; он признает и несостоятельность когда-либо ответить на эти вопросы и за разрешением их советует обратиться к религии: мистическое настроение общества. Два течения в современном взгляде на науку: отрицание умственного труда

(Лев Толстой: сказка о труде головою[78]) и экономический материализм в истории.

О значении идеи в истории и ее призвание к работе прогресса. Идейное начало в истории общества. «Будем стремиться хорошо мыслить» — вот основной принцип нашей морали, медленный прогресс общественного строя. Прогресс проникает туда, где с ним соединяется мысль. Надо работать над устранением препятствий для развития прогресса в обществе; эти препятствия состоят в косности общества, фанатизме религии, деспотизме государства. Мысль — руководитель прогресса. Изучение истории. Что нужно знать человеку? Человек — существо общественное и религиозное (в философском смысле слова). Вопросы о сущности мира, бессмертии души и т. д. Наука беспредельна: надо надеяться, что когда-нибудь она будет в состоянии ответить и на эти вопросы, когда-нибудь она перешагнет за пределы, которые ей ставят теперь как непреодолимые преграды. То, что древним казалось недоступным в области науки, — вполне возможно в наше время; так, надо надеяться, что все

[78] Примечания: 78

Речь идет о «Сказке об Иване-дураке и его двух братьях: Семене-воине и Тарасе-брюхане, и немой сестре Маланье и о старом дьяволе и трех чертенятах» Л. Толстого.

вопросы, кажущиеся неразрешимыми теперь, будут разрешены впоследствии. Могущество мысли и величие человека, как мыслящего существа (изречение Паскаля: человек, как слабый тростник: капля воды, порыв ветра могут убить его; но, даже умирая, он все-таки будет царить над природой, потому что, умирая, он будет сознавать, что умирает). Стремление человека к идеалу: zum höchsten Dasein mmer nachzustreben. Человеческий и общественный прогресс; чтобы осуществить первый, надо работать для последнего. Свет нужен для прогресса. «В науке мы найдем общечеловеческие и общественные идеалы». Громкие аплодисменты покрыли последние слова профессора. Он поклонился и поскорее вышел, а то мы, конечно, продолжали бы шуметь и хлопать.

Я вышла из курсов и некоторое время шла, ничего не видя перед собой. Вот мы услышали впервые с кафедры голос не профессора только, но и человека, который обращался к нам с теми прекрасными словами, услышать которые мы смутно надеялись, поступая сюда; сам выяснил нам нашу задачу жизни, которую большинство из нас еще не ясно видит пред собой… Какой прекрасный человек! С каким участием говорил

он с нами; с какой готовностью он предлагал нам свою помощь — всем желающим заниматься. Он не оратор, говорит очень нервно, по листочкам с заметками, перебирая их один за другим, иногда заминается, поправляется; но голос его звучный, и самая нервность его чтения придает его речи выразительность. Я была не совсем согласна с его мнением о том, что наука может дать ответ даже на высшие запросы человеческого духа, но все-таки это была прекрасная речь, такая, с которой надо было начинать всем профессорам. Такие речи более всего могут возбудить в молодежи все лучшие чувства и мысли, которые часто спят в ней до тех пор, пока их не разбудит хорошее слово или дело.

28 сентября

Вчера внезапно скончалась Надежда Васильевна Стасова[79]. Она выехала из дома по делам наших курсов и, поднимаясь по лестнице к одной из своих знакомых, за которой должна была заехать, — упала, пораженная ударом. Швейцар,

---

[79] Примечания: 79

Надежда Васильевна Стасова (1822–1895) — российская общественная деятельница, возглавляла женское движение в России; организатор борьбы за высшее образование женщин, закончившейся открытием Владимирских и Бестужевских курсов.

не зная, кто она и к кому шла, посадил ее на извозчика и отправил в Мариинскую больницу. Знакомая Н. В. дама ждала ее; наконец вышла и спросила у швейцара, не заезжала ли за ней дама? Швейцар ответил, что никто не заезжал, только с полчаса тому назад он поднял какую-то даму на лестнице. Знакомая Н. В. по описанию узнала ее и тотчас же поехала в Мариинскую больницу, откуда и дали знать братьям покойной. Они ее очень любили и, говорят, просто убиты горем. Нам объявил о ее смерти директор после лекции логики, на которую собираются все 4 курса словесниц и еще математички, всего — более 400 человек. Большинство первокурсниц, в особенности приезжих, очень мало или совсем почти не знали Н. В. Стасовой; поэтому речь одной из старших слушательниц о ее жизни и деятельности явилась как нельзя более кстати.

Директор выразил скромное желание, чтобы мы избрали от себя депутаток для присутствия на похоронах; но мы, как только он ушел, решили, что пойдем все. Начались приготовления: пока в зале собрался хор певчих репетировать панихиду, в IV аудитории считали и собирали деньги на венок. Времени было очень немного: скоро лекция Гревса. Он приехал прямо с панихиды

и сказал краткую речь, посвященную памяти покойной, в которой охарактеризовал ее энергичную деятельность на пользу высшего женского образования. Как распорядительница Высших женских курсов, Н. В. в течение 10 лет ежедневно являлась на курсы в 10 час. утра и бывала до 4. Когда курсы были преобразованы и Н. В. должна была устраниться от роли распорядительницы, она все-таки продолжала деятельное участие, как член комитета Общества доставления средств В. ж. курсам. Всегда и везде она проявляла свою необыкновенную деятельность и горячее участие к слушательницам курсов, ничто не удерживало ее от участия в общественной деятельности, и так как у нее не было семьи, то она посвящала всю свою жизнь на служение делу высшего женского и народного образования (она была одна из первых организаторов воскресных школ, которые возникли в 60-х годах). Гревс закончил свою речь предложением почтить память покойной вставанием. Только после этого он начал свою лекцию…

А после началась беготня… Нас собралось человек 20–30; одни сочиняли надпись к венку, другие записывались и записывали желающих дежурить, спорили, кричали, шумели. Я записалась

на дежурство у гроба. Пришла член комитета О. К. Нечаева, предмет нашей общей симпатии, и начались разговоры о Стасовой, о ее смерти и т. д. Совсем усталая за день, я вернулась домой и через час отправилась на панихиду, на которой быть все-таки не пришлось: опоздала.

29 сентября

Сегодня была панихида у нас; пришли члены комитета, профессора. Председательница комитета Е. И. Лихачева сказала небольшую речь, в которой опять говорилось то же, что вчера мы слышали от Гревса. Я не слыхала среди слушательниц ни выражений сожаления, ни бесполезных восклицаний. Мы все отнеслись к этому известию просто и серьезно, тотчас же постарались сделать все, чтобы почтить ее память. Эта смерть носит точно какой-то деловой отпечаток.

Прямо с панихиды я поехала на дежурство. В первый раз в жизни пришлось исполнять мне эту должность. (Я оделась в черное платье; собрала свои длинные волосы в косу, подогнула ее и прикрыла черным бантом.) Ровно в три часа я встала у изголовья гроба, в числе других шести дежурных из бывших и настоящих слушательниц.

Мертвая тишина царила в небольшой комнате. Все зеркала и картины, за исключением прекрасного портрета покойной работы Репина, были завешаны белым. Белые стены залы, серебряный глазетовый гроб, белые свечи, перевязанные белыми с черной полосой бантами, белое платье покойной, серебряный покров, поразивший нас массой венков, и среди этой торжественной тишины и спокойствия — шесть черных, неподвижно стоящих фигур. С нами поочередно дежурили и члены комитета Общества доставления средств В. ж. курсам; в нашей очереди была баронесса Искуль — одна из петербургских красавиц, в придворном трауре.

Я стояла и думала: зачем это? К чему это дежурство? Какой смысл в том, что мы стоим здесь, у гроба? Это — несомненно знак нашего уважения к покойной. Но это только внешнее выражение, ей оно не нужно.

Что нужно ей? Ведь, если мы хотим выразить свою благодарность кому-либо, мы постараемся сделать что-нибудь нужное для него. А разве нужны ей эти неподвижные черные фигуры у гроба, сменяющиеся через час, через два? Это — красивая декорация, и ничего больше.

Если бы среди нас нашелся человек верующий

или если бы похороны носили всецело церковный, исключительно религиозный характер, то нам предложили бы не дежурство, — а те же два часа молиться у гроба. И как же мало охотниц нашлось бы! Что действительно было бы полезно для покойной, то, может быть, не встретило бы сочувствия.

С непривычки стоять, да еще неподвижно и в такой обстановке, — первые полчаса мне показались бесконечно долгими. Вот можно было бы составить целое рассуждение о внезапности смерти, о том, что человек еще в понедельник не мог никак предположить, что в пятницу он будет в гробу, и все для него кончено, и навсегда, и куда он уйдет, что ожидает его «там», — но это было бы повторением общих мест. Но, несмотря на то, что эти общие места всем и каждому известны, — всегда повторяешь и слышишь повторения тех же размышлений. Видно, про любовь и про смерть одинаково можно сказать: Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu[80].

Братья покойной — три высоких старика, седые, с особым величавым «стасовским» типом, очень симпатичны. Трогательно было смотреть

---

[80] Примечания: 80

Цитата из стихотворения Гейне «Юноша девушку любит...»: «Старая история, но новая всегда» *(нем.)*.

на одного из братьев, как он убит горем. Бедный старик! Он, наверно, думал: когда моя очередь?

30 сентября

Были похороны. Масса народа. Мы встали в шесть часов, чтобы поспеть прийти на вынос. От нас был большой фарфоровый венок на белом бархатном щите, с надписью: «Незабвенной Надежде Васильевне последнее спасибо слушательниц Высших женских курсов». И надпись, и венок — хороши. Народу собралось в небольшой квартире столько, что повернуться негде. Вчера и сегодня в числе посетителей я видела Лесгафта, Веселовского, Петрова, Трачевского, дам нашего комитета. Мы просили позволения нести гроб до Александро-Невской лавры, и семья покойной ничего не имела против этого; но полицией запрещены подобные проявления уважения и желания отдать последний долг человеку, так много потрудившемуся для общества. Поэтому все пошли за колесницей, наших более 100 человек, толпа народа, масса венков. Всю дорогу пел хор слушательниц. После отпевания нам позволили нести гроб до могилы на руках. Я быстро пробралась вперед и, несмотря на то что тут были бывшие слушательницы, все-таки

взялась за ручку гроба, — и потом пожалела, что так поторопилась: мне было решительно не по себе стоять почти рядом с родственниками, которые прощались с покойной, видеть это горе… В такие минуты посторонние лица кажутся лишними. Мы вынесли гроб и на руках донесли его до могилы; впереди слушательницы выстроились вереницею с венками. Я уступила мое место нести гроб товарке, а сама попала в такую давку, что никак не могла близко пробраться к могиле, и слышала не все речи. Но об этом не стоит жалеть. Мне не нравятся речи на могилах: это как-то не идет. Все-таки я сначала слушала с любопытством; говорили дамы, интересно было знать, что они скажут? Первой выступила г-жа Гарднер; плачущим голосом и невнятно она говорила что-то об общественных заслугах Н. В. После нее Е. Н. Щепкина тихо и бесцветно произнесла речь, довольно-таки гимназического характера, о лишении прав учиться (Н. В. Стасова была одна из участниц движения 60-х годов). Тема заслуживала бы более тщательной обработки, меньшего числа общих мест, вроде: «мы подходили к жизни (кончившие гимназию 25 лет тому назад) с горьким вопросом, на который нам не было ответа: что мы такое?», «ужасное положение — лишение

права учиться». (Последнее положение не совсем даже верно: женщин в то время не лишали права учиться, но этот вопрос просто не поднимался ни в жизни, ни в печати. Вопрос был создан, тогда стали обсуждать его. Вот теперь, когда Высшие курсы есть, то закрытие их было бы в буквальном смысле «лишение права учиться».) А главное, ораторша говорила очень тихо, без всякого выражения, так что общий тон получился донельзя бесцветный. Зато г-жа Калмыкова превзошла всех. Громким, энергичным тоном, даже с завыванием, перечисляла она заслуги Н. В. перед русским обществом (Н. В. была одна из первых участниц в деле открытия воскресных школ), ее энергию, ее самоотверженный труд на пользу народного образования; она выкрикивала слова сожаления и театрально, охрипшим и уставшим голосом (речь была очень длинная) воскликнула: «Света, больше света! вот что должны мы сказать на могиле Н. В.!» — Это вышло совсем некрасиво: и без того было очень длинно и не особенно хорошо, но крикливый голос и последнее театральное неумелое восклицание испортило все. После этого я не старалась слушать двух речей (и не влезала на решетку памятника, чтобы лучше слышно было); но, как оказалось потом, одна из

них была произнесена нашей слушательницей Виноградовой с 3-го курса, это было бы интересно послушать. Все говорят, речь была коротка и содержательна, значит недурна.

Я много требую от речи на могиле: чтобы она была хороша и уместна. Ее нужно говорить только в крайних случаях, когда уже действительно настроение общества ищет выражения в словах; речь должна в немногих кратких, но стильных выражениях выразить взгляд общества и напомнить перед ним заслуги умершего; а так как в большинстве случаев эти заслуги известны всем собравшимся, то гораздо лучше в речи выразить настроение, пожелания или что-нибудь вроде этого, но в очень и очень кратких и содержательных выражениях. Поэтому мне более понравилась речь г. Ольхина, который, выступив после Виноградовой с обращением к молодежи, коротко, но очень ясно высказал пожелание, чтобы этот хороший пример не оставался без подражания. Он сказал всего несколько слов сильным и звучным голосом — и этого было вполне достаточно.

Наконец стали заделывать могилу, но мы долго не расходились, ожидая минуты, когда можно будет украсить могилу венками.

Я вынесла из этих похорон какое-то смутное впечатление… Когда говорились те две речи, которых я не слушала, то, чтобы отдохнуть немного, я вышла из толпы на помостки. Кругом стояла масса народу; здесь, конечно, ничего не было слышно, — и все разбились на группы. Знакомые подходили к знакомым, весело разговаривая; временами слышался сдержанный смех; передавали друг другу разные новости… Кто толковал о своих делах, кто о том, что профессора не присутствовали на похоронах… Я смотрела на равнодушные и веселые лица этой публики. Около меня стоял старик; он рассказывал, сколько лет был знаком с Н. В., самым равнодушным тоном, точно он пришел на похороны совершенно незнакомого ему человека. Он говорил очень оживленно, и около него собралась кучка знакомых. Кто-то опять заговорил о профессорах. Старик подхватил: «Да, да, конечно, можно сказать: где же вы, наши учителя, где вы? Что вас нет около этой могилы? Да только что из этого выйдет?» — и он, и знакомые его сдержанно рассмеялись. Я взглянула в сторону могилы. Ее окружала сплошная стена публики; на некоторых лицах видно самое напряженное внимание… Там было тихо, какие-то отрывочные звуки долетали до меня:

говорились речи. Мало-помалу группы расходились по кладбищу…

Невольно думалось: вот там, за этой живой стеной, у могилы стоят те, которым смерть действительно причинила утрату; они поражены горем… Их окружает толпа любопытных, которая жадно слушает речи, а за этой толпой другая, которой за недостатком места невозможно ничего слышать, и вот эти люди собрались сюда, точно в какое-нибудь общественное место, и, исполнив свою обязанность, отдыхают и болтают, и всем весело, и все так равнодушны, и не слыхать искренних слов сожаления…

Что же это? Для чего же собралось сюда столько народу? Скажут, конечно, Н. В. была видный общественный деятель, надо почтить ее память… И вот они «чтят»… Венки, речи такие, которые не могут понравиться ни со стороны слога, ни со стороны содержания, ораторы — должно быть, женщины — плохие ораторы, — а немного далее могилы — равнодушная толпа, которая собралась сюда только для того, чтобы исполнить обязанность «почтить своим присутствием»… а на самом деле погулять и поболтать. Те, которые стояли близко, слышали, конечно, все речи… те вынесли из них что-нибудь, хотя бы воспоми-

нание об этой замечательной женщине; слушая эти речи, они, быть может, еще раз прониклись уважением к ней, и, может быть, один из десяти даже помолился за нее… Ну а остальные-то? Что они делали и зачем они приходили?

И я сама была тоже очень равнодушна. Конечно, я не разговаривала, не гуляла по кладбищу; я стояла, смотрела, слушала, но никакого особенного сожаления не испытывала, в особенности когда говорились речи. В них как раз выражалось сожаление о потере такого общественного деятеля, но само-то общество, его отдельные лица, за немногими исключениями, нисколько о ней не сожалели. Я размышляла о том, что такая деятельность может служить нам примером; я чувствовала глубокое уважение к ней, но не сожаление. Вся эта парадная обстановка, все эти венки, речи придавали похоронам какой-то гражданский характер, который мне, привычной к исключительно церковному и семейному характеру похорон, резко бросился в глаза. Этот гражданский характер не носил в себе ничего печального, напротив, он придавал похоронам праздничный и парадный оттенок. По крайней мере, я ушла с этих похорон точно из какого-либо общественного собрания.

Нет, не хотела бы я таких похорон, ни за что, никогда не хотела бы! Стать полезным членом общества я желаю не менее кого-либо другого, но только без такого изъявления общественной благодарности. Не хотела бы я ни венков, ни речей, ни этой толпы…

Я вспоминаю скромные, чисто семейные похороны, вспоминаю наше маленькое провинциальное кладбище, вспоминаю искренние молитвы и слезы, простые, безыскусственные, но часто трогательные проповеди наших немудреных священников, всю эту простую обстановку; нашу провинциальную толпу, которая идет чуть ли не на все похороны из наивного любопытства, из желания поплакать и поахать, из желания помолиться… Но ведь и толпа эта, можно сказать, еще некультурная, с нее и спрашивать нечего.

Недавно я читала в каком-то романе описание похорон известного литератора. Оно произвело на меня тяжелое впечатление. А теперь — я сама была на подобных же похоронах.

8 октября

Я каждый день бываю на лекциях… только… ах, какое мучительное чувство сознания собственного бесконечного невежества! Когда я встречаю

одну из наших слушательниц — Д., — становится больно, стыдно за себя самое. Она — полный контраст со мною: она ровесница мне, в один год со мною кончила гимназию с золотою медалью, и все четыре года, потерянные для меня, — для нее были прекрасною научною подготовкою к поступлению на курсы. Она занималась русской историей, греческим языком, математикой, переводила Сент-Бёва, много читала, знакома со славяноведением, одним словом — между нами она сразу выделилась своими знаниями и такою, наверно, пойдет до конца. У нее было все: и прекрасная библиотека, и ученая среда, в которой она выросла, а у меня-то что было? Мне очень бы хотелось сойтись с ней, но она, кажется, не симпатизирует мне. Почему? Должно быть, оттого, что мы расходимся в некоторых взглядах. А жаль: она — человек симпатичный и умный.

Вообще, я здесь ни с кем особенно не сблизилась. У меня есть знакомые, есть «хорошие отношения», но не больше. Я, собственно, довольна курсами: лекции, профессора, вся обстановка — нравятся мне, но иногда чувство какой-то тайной неудовлетворенности охватывает меня. Я чувствую, что мне не хватает и не хватает чего-то… По привычке я ищу ответа на этот вопрос…

Мне не хватает… людей таких, которые знали бы меня, мне хотелось бы познакомиться с людьми очень умными, интересными, которые, несмотря на свое умственное и нравственное превосходство, не избегали бы знакомства с такими, как я. Мне хотелось бы сойтись ближе с такими людьми, вместе читать, вместе думать, вместе интересоваться, вместе изучать разные вопросы… Но где же все это? Меня мало удовлетворяет общее развитие тех, которых я знаю; таких, как Д., у нас почти нет, она — исключение, но вот именно это-то исключение, очевидно, не имеет ни малейшего желания обратить свое внимание на мою скромную особу. А посмотришь — ведь все хорошие люди, или так называемые славные девочки (которые только что окончили гимназию), или славные девушки; попадаются и такие, у которых уже свой установившийся взгляд на жизнь, хорошие стремления, все взгляды хорошие, честные… Жаль только, что мне — мало того, чтобы человек был только «славным» человеком… таких я и раньше много видала (конечно, здесь, на курсах, эти люди гораздо лучше). Я пробую отнестись строже к себе самой, думаю, что, должно быть, я сама неразвита и поэтому не имею права… впрочем, нет, именно вследствие

того, что я неразвита, я имею больше права желать, чтобы окружающие люди способствовали моему умственному развитию.

15 октября, 1-й час ночи

Я была сегодня у одной из наших слушательниц, С-вой. Когда она на днях сказала мне, что у нее в это воскресенье соберутся барышни, мне почему-то захотелось, чтобы она пригласила меня… Было ли это простое любопытство, или же мне не хотелось просидеть все воскресенье дома — не знаю; вернее и то и другое. Я потом была недовольна собой: зачем я в субботу, после лекции логики, подошла к С-вой и заговорила с ней, точно зная, что если она меня увидит, то непременно пригласит к себе в воскресенье. Так и случилось; я обещала быть непременно и сегодня, оторвавшись от сочинений Кавелина[81], отправилась к ней.

Кроме меня, было двое мужчин: офицер и какой-то немец, статский; какая-то иностранка и княжна А-дзе, мать которой заведует мастерской Человеколюбивого общества. С-вы — богатые

---

[81] Примечания: 81

Константин Дмитриевич *Кавелин* (1818–1885) — русский историк, публицист, психолог.

сестры, круглые сироты, живут почти постоянно в Петербурге, имеют свой круг знакомых, и вот я сегодня очутилась в этом небольшом кружке петербургского общества. Начался оживленный разговор; офицер, видимо ухаживавший за княжной, говорил с ней без умолку все время, штатский подсел к ним и внимательно, безмолвно слушал… Скачки, театр, балет, воспоминания о Ницце, Париже, Италии, имена теноров, балерин и певиц… технические термины скачек… восторженное оханье и аханье по поводу предстоящих симфонических концертов… мимоходом брошенные замечания по поводу приезда знакомых, смех, восклицания… — словом, передо мною в какой-нибудь час развернулась незнакомая мне страничка светской жизни людей, у которых и времени девать некуда да и средства есть.

На меня, конечно, никто из этих лиц не обратил ни малейшего внимания. Я села в стороне и молча слушала светский разговор, для которого светская жизнь, очевидно, представляет богатый материал, неисчерпаемый источник. Все, о чем они говорили, было для меня почти terra incognita. Я за границей не бывала, а все воспоминания ограничивались одними охами и вопросами: вы были там-то? и опять: ах, вы не

видали, и т. д. На симфонических концертах я не бывала; в театре — тоже; о скачках и балете понятия не имею… всех этих теноров, балерин — не видывала и имен не слыхивала.

А на другом конце салона С-ва старалась занимать иностранку. До меня долетали французские фразы, и содержание разговора было такое же, как и тот, который я слушала. Я вспомнила барона Ondit, остроумного фельетониста «Нового времени», который так метко рисует салонные великосветские разговоры в своих фельетонах. Я никогда вполне не доверяла им и думала, что он склонен к преувеличениям. Но сегодня — право, каждое слово, каждая фраза, словом, весь разговор так и просился под перо этого остроумного и блестящего фельетониста. Я сидела и спрашивала себя: ну, довольна? видела петербуржцев? слышала светские разговоры? Ну что же, что же ты могла вынести, что может дать тебе эта болтовня? Два часа просидела я, не зная, как уйти, и стесняясь встать прощаться с незнакомыми людьми. Офицер говорил одну банальность за другою; невольно думалось: ну что же? к чему же весь этот разговор? что вынесут эти люди от подобно проведенного вечера? И мне становилось жаль моей комнаты, письменного стола

и Кавелина, который был так брошен (я пошла к С-вой, не дочитав начатой статьи), а… ради чего? Подумаешь — стыдно становится… Между тем С-ва очень симпатичная девушка, и, раз познакомившись, нельзя не бывать у нее. Надо будет выбрать для посещений те дни, когда не бывает таких светских людей.

21 октября

В понедельник вечером я совершенно для себя неожиданно уехала в Гельсингфорс с Витей. Мне решительно безразлично: спать в вагоне или у себя в комнате, и поэтому я проснулась только за полчаса до прихода поезда в Гельсингфорс. Было очень холодно, и густой туман стоял над городом, когда поезд подошел к вокзалу. Стали выходить из вагонов; на платформе послышались восклицания, разговоры на незнакомом языке; формы городовых, железнодорожных служащих резко отличались от наших своим щеголеватым фасоном: фуражки с маленьким круглым верхом очень изящные — и тоже совсем заграничные… Мы отправились бродить по городу. Зашли в первую попавшуюся булочную — там хозяйка ни полслова не понимала ни по-русски, ни по-немецки. Она вызвала свою дочь; молодая девушка

сделала книксен и начала кое-как по-немецки объясняться с нами, так что мы в конце концов могли напиться кофе, купить разных мелочей и справиться, что можно осмотреть в Гельсингфорсе в праздник и в какие часы. Оказалось, что Атенеум и другие музеи были открыты. Мы решили отправиться в Атенеум, но так как было еще рано, то продолжали прогулку по городу. Мне хотелось увидеть памятник Рунебергу[82].

Я подошла к первому попавшемуся извозчику и, совершенно позабыв, что он меня не поймет, спросила: «Скажите, пожалуйста, как пройти к памятнику Рунеберга?» При звуке незнакомых слов извозчик с недоумением посмотрел на меня, но, услыхав последнее, он сразу понял и оживился. — «Рунеберг, Рунеберг?» — вопросительно произнес он. Я утвердительно кивнула головой. Извозчик привстал на сиденье и молча протянул руку: вдали, в тумане неясно вырисовывалась фигура статуи. С непривычки мы сразу и не заметили, что были так близко от нее. Мы вышли на Эспланаду, посмотрели величественный памятник, сквер, который имел весьма печальный вид, как и все вообще сады осенью… Народу на

[82] Примечания: 82

Йохан *Рунеберг* (1804–1877) — финский поэт шведского происхождения, автор стихотворений национально-романтического содержания.

Эспланаде была масса. Я с любопытством присматривалась к новым типам лиц, совершенно не русских, прислушивалась к незнакомому говору. Все кругом было так ново и интересно. Пройдя Эспланаду, мы направились к рынку, и тут я остановилась в изумлении: живая картина, открывшаяся предо мною, казалось, была мне знакома и раньше: где-то я видела и эти столы, и этих торговок в темных кофтах, фартуках и опорках, и эту толпу, которая так резко отличалась от русской, и этих мальчуганов в своеобразных костюмах, шныряющих между столов… Я видела все это на картинах; даже это серенькое небо и густой туман, поднимавшийся с моря, казались знакомыми мне! Так хорошо они гармонировали с общим, немного бледным колоритом всей картины. Рынок очень близко от моря, но его за туманом невозможно было видеть.

Так как был царский день и в русской церкви должна была быть обедня, то мы вздумали опять поговорить с извозчиками. На этот раз попробовали по-немецки: «Die russische Kirche?» Извозчики переглядывались между собой и бормотали совсем что-то непонятное… — «Svenska,

finska»[83], — повторяли они, глядя на нас.

Наконец я догадалась: они говорили нам, что говорят только на этих языках и других не понимают. Положение было затруднительное: мы, конечно, не знали дороги, чтобы идти пешком, а расспрашивать было невозможно: окружающее простонародье тоже ничего не поняло бы. И вот, мы уже хотели отказаться от этой мысли, как вдруг один из извозчиков, очевидно сообразив, куда нам нужно, подъехал к нам, утвердительно кивая головой на слово «Kirche». Финляндские власти уже начали прибывать в собор, когда мы приехали. Огромная, простая новая церковь и хороший хор певчих вседостойным образом представляли нашу церковь в чужой стране… В тот же день, поздно ночью, мы вернулись обратно.

25 октября

Середонин образовал практические занятия на нашем курсе таким образом: он желает привлечь к участию в них возможно большее число слушательниц и поэтому не дал сразу тем для рефератов, а предложил читать группами сочинения известных авторов по школам, начиная со

---

[83] Примечания: 83

«Русская церковь?» — «Шведский, финский» *(нем.).*

школы родового быта, а потом излагать вкратце содержание этих сочинений. На первый раз он дал 11 книг, из них — семь, относящихся к школе родового быта: Эверс, Рейц, Кавелин, Соловьев, Тюрин, Хлебников и Сикорский, и 4 — к школе общинного. Некоторые, желающие излагать эти сочинения, — тут же заявили об этом профессору. Я не могла удержаться, подошла к кафедре и хотела было просить себе Эверса: «Древнейшее русское право», но, к счастью, меня предупредила Д., — она решительно заявила, что хотела бы излагать эту книгу, и я, конечно, уступила ей, как человеку, несравненно более меня знающему. Пока я соображала, какую же мне взять другую книгу (ведь все названия этих сочинений и почти все имена авторов, за исключением Соловьева и Кавелина, были мне вовсе не известны), меня позвала Иса-ва. — «Вы хотите излагать Кавелина? Я его взяла, да мне некогда писать; хотите, я вам отдам?» — «Давайте», — сказала я, соображая, что Кавелин — точно бы был юрист и что это имя весьма известное, и подошла к кафедре взять книгу у профессора. Статья, которую предстояло мне изложить, называлась «Взгляд на юридический быт Древней России»; в связи с ней нужно было излагать и другую: «Разбор сочинений Те-

рещенки», в VI т. сочинений того же автора[84]. Середонин ушел, кончив свои объяснения по поводу занятий. Мы оживленно толковали, все торопились высказывать свое мнение по поводу таких занятий, основанных на совершенно новых началах и казавшихся всем такими интересными, а главное — не трудными. (Середонин имел в виду и это: он прямо сказал, что начинать с рефератов было бы для нас затруднительно.)

Я пришла домой, положила Кавелина на стол и, занявшись другими книгами, совершенно забыла о нем. Я хотела сначала, прежде чем браться за него, прочесть какое-либо сочинение по теории родового быта, чтобы потом, подготовясь, начать читать и Кавелина. Но я искала сочинений и не находила; и вот, как раз во время этих поисков, ко мне подошла Д. и попросила… приготовить все к 25-му. Положим, что времени до 25-го было больше недели, но ведь за это время я должна была не только написать, но также дать книгу профессора прочесть и другим, желавшим ознакомиться с учением Кавелина. А таких набралось масса. Эверс и Рейц — для всех оказались скучными и сухими авторами, все интересовались

[84] Примечания: 84
Константина Дмитриевича Кавелина.

статьей Кавелина, набросились на нее: кто имел возможность достать книгу на стороне — доставал, моя же должна была послужить чуть ли не для всего нашего интерната. Так как я и без того пропустила много времени, то надо было торопиться; статья Кавелина оказалась такой интересной, так прекрасно написанной и, главное, — в ней была изложена вся теория родового быта, что я без предварительных сведений, по одной этой статье, могла составить ясное представление об этой теории.

Я живо прочла ее; оставалось… изложить. Только усевшись за письменный стол, я сообразила, какую глупость я делаю, и растерялась. За что я бралась? И могла ли так самоуверенно поступать? Сумею ли я написать хоть строчку? Если я не сумею изложить как следует содержание этой статьи, которой так заинтересован чуть ли не весь курс, то что же будет? Это значит осрамиться перед всеми… Я чувствовала, что струсила не хуже последнего школьника перед экзаменом. И в то же время я возмутилась своей глупостью. Если я не сумею — то ведь это будет так глупо! Боже мой, неужели же я не могу, не способна даже и на это? Ведь здесь я только излагаю, не вношу ничего своего… Неужели я так отупела за эти

четыре года, что не напишу ничего? Я с ужасом чувствовала, что стою на краю какой-то пропасти и вот-вот упаду… Я мучилась и в то же время усердно писала: времени терять было нечего…

Чем больше читают Кавелина, тем более о нем говорят, и я с тоской и страхом слушаю эти разговоры. Мне кажется, что все знают, как плохо у меня изложена эта статья, и заранее приготовляются возражать мне, а потом будут с насмешкой указывать на такую самоуверенную выскочку. А отказаться от Кавелина было невозможно… и поздно! Д. своим спокойным, самоуверенным тоном заметила, что статью Кавелина изложить очень легко. Я спросила, читала ли она эту статью? Оказалось, что читала. Я смутилась еще более. Я боюсь критики Д. более, чем всех остальных, вместе взятых, потому что другого такого развития, начитанности и памяти — у нас вряд ли найдешь. Ах, боже мой! Что-то будет завтра? Сердце так и замирает, как подумаешь. И добро бы я взялась излагать малоизвестного автора, — тогда все пошло бы ладно. А то ведь — Кавелин! с ним всякая знакома, у многих есть конспекты, и вот они будут проверять…

И ведь вышло же так, что я, помимо всякого желания, случайно взяла именно Кавелина!

Кабы я знала… так теперь у меня не лежали бы исписанные листы в ящике письменного стола, я спала бы спокойно и, не торопясь, сидела бы над каким-нибудь Тюриным. Главное: я никому и виду не показываю, что боюсь, хуже гимназистки боюсь… Я сохраняю вполне спокойствие и отделываюсь неопределенными ответами на вопросы… — «А вам не страшно будет читать с кафедры?» — Эх, дело не в кафедре, а в том, что я буду читать с кафедры. Как раз об этом-то никто и не спрашивает; все полагают совершенно резонно, что раз взялся, так, значит, успеешь… Ан — не тут-то было…

О, завтра, завтра! Единственная надежда, что времени — один час — не хватит для трех изложений. Середонин сказал, что изложение должно быть кратко, не более 10 минут. Но при всем моем желании я никак не могла изложить так кратко. Все мысли Кавелина так верны, имеют такое существенное значение, что почти невозможно излагать статью так, чтобы все чтение заняло не более 10 м., в таком случае пришлось бы выпустить половину.

Итак: с одной стороны, мое изложение противоречит желанию профессора, с другой — неизвестно, как отнесется к нему большинство, с

третьей — оно противоречит моему искреннему желанию — не читать его (раз оно написано — volens-nolens[85] — надо прочесть).

1 ноября

А с четвертой стороны — все обошлось благополучно. Я волновалась, входя на кафедру (аудитория была полна), и руки мои задрожали так сильно, что я разозлилась сама на себя… но чем больше я читала, тем становилась спокойнее: начала — так надо же кончить. Я читала громко и ясно, но очень быстро и нервно сначала, и совсем хорошо под конец, когда вполне овладела собою. Профессор стоял рядом со мной и делал пометки. На первый раз все наши чтения не вызвали никаких замечаний; зато на второй — завязалось нечто вроде оживленной беседы: спрашивали, толковали по поводу прочитанных теорий, отыскивали их слабые стороны. Дело, очевидно, начинает налаживаться; хорошо, если бы продолжали и далее так же усердно интересоваться, как теперь.

---

[85] Примечания: 85
Волей-неволей *(лат.)*.

3 ноября, 1-й час ночи

Жизнь на курсах идет своим чередом… несколько однообразно, тихо, но зато так спокойно! Временами меня охватывает это прекрасное чувство тишины и покоя, я чувствую его, как только может чувствовать путешественник, после многих препятствий добравшийся до цели своего путешествия. И тогда как милы кажутся мне стены моей высокой комнаты, за которыми я сижу и до которых не доходят те дрязги житейские, среди которых я жила эти годы… Временами кажутся они мне сном… Да полно, были ли они? неужели были? и прошли? и неужели я в прошлом году была в это время дома? неужели я жила? — Не верится… кажется, что это был тяжелый сон, от которого я наконец проснулась…

Все тихо; в интернате, в наших комнатах, одна за другою тушатся лампы; все ложатся спать…

Gute Nacht! Schlafet bis der neue Morgen
Bringet euch die neuen Sorgen[86], —

хочется мне сказать всем этим молодым де-

[86] Примечания: 86
Спокойной ночи! Спите, пока новое утро
Не принесет вам новых забот *(нем.)*.

вушкам.

4 ноября

В видах облегчения сближения курсисток между собою, у нас организовалась целая сеть небольших так называемых кружков общения. Цель их, по теории, весьма похвальная: каждый кружок ставит себе задачей объединить и сблизить курсисток разных курсов (назначено по три с каждого курса) на почве изучения какого-либо вопроса. Это, конечно, представляет большой интерес для первокурсниц, потому что мы едем сюда именно затем, чтобы учиться, и большинство неопытных мечтает встретить ту интересную умственную атмосферу, которой я пока не нашла, и, не находя ее, в большинстве случаев разочаровывается чуть ли не во всем. Так, по крайней мере, я слышала от слушательниц старших курсов, которые, желая помочь нам, указывали именно на это разочарование как на один из мотивов для учреждения кружков. На двух первых собраниях я не была, за что получила два замечания от председательницы (4 к.), на третье отправилась. Так как каждый кружок собирался для совместного изучения какого-нибудь вопроса, то, конечно, каждый задается разными целями; мой кружок

(в нем тоже назначено было 12 человек — по 3 с каждого курса) пожелал заняться изучением государственного строя западноевропейских держав, для того чтобы свободно читать и понимать газетные известия и вообще иметь понятие о том, как живут, какие партии и учреждения «там»... Программа занятий была выработана на первом заседании; о ней я получила некоторые указания от председательницы кружка; на втором собрании уже приступили к изучению международного права (мы занимаемся под руководством Семевского).

Когда я наконец явилась на третье собрание, то уже несколько членов кружка собрались. С моего курса, кроме меня, никого не было, и я очутилась как в лесу, среди совершенно незнакомых лиц. Я поклонилась, назвав свою фамилию, и ожидала, что каждая в свою очередь сделает то же. Не тут-то было: все остались на своих местах, ограничившись одним наклонением головы; никто не шевельнулся, и единственный знакомый мне человек — председательница — сама очутилась в затруднительном положении: она не знала всех собравшихся и никого не могла познакомить со мною. Делать было нечего: решив, что надо же знать хоть одного человека в лицо и по фамилии

из своего же кружка, я попросила представить меня и назвать хоть некоторых по фамилиям; председательница представила меня двум-трем, те поклонились, говоря: «что за церемонии?» Я села на диван и осмотрелась: небольшая чистенькая комнатка, простая обстановка; все сидели у большого стола; перед председательницей лежала книга Коркунова «Основы международного права». Дверь ежеминутно отворялась: входили незнакомые курсистки, молча делая общий поклон, и садились поодаль. Наконец все собрались; не было только одной из устроительниц кружка, самой интересной личности — Глаголевой. Я много слышала о ней и, понятно, была не прочь познакомиться. Перед началом чтения М-ки сообщила кружку результат своих переговоров с В. И. Семевским о занятиях международным правом. В. И. отнесся к этой попытке критически и прямо сказал: я сомневаюсь, чтобы вышел какой-нибудь толк, потому что для таких занятий требуется основательное знание иностранных языков. — «А мы, — продолжала М-ки, — как раз их и не знаем… почти никто. Ну еще по-французски туда-сюда, а по-немецки… Ну да, впрочем, как-нибудь справимся. Давайте, господа, распределять, кто о чем будет писать…» И начались разговоры: кому

писать о государственном устройстве западных держав, кому о партиях… Я молча слушала, наконец решила спросить: какие же державы будем мы изучать? — «Германию, Францию, Америку, Швейцарию, Англию…»

— А Россия? разве ее государственное устройство…

— Если вы интересуетесь этим, то сами можете прочесть, — заметил кто-то.

Этого было достаточно… даже слишком. Я не знала, сердиться ли мне, возмущаться ли или презрительно улыбнуться. Так рассуждать могли гимназистки V класса. Я сочла совершенно бесполезным тратить слова на возражения: для меня достаточно было и того, что я услыхала.

Председательница начала чтение главы «Законы о печати». Я слушала рассеянно, так меня поразило подобное равнодушие к своему; уж если «необходимо» изучать, то во всяком случае начать надо со своего, а никак не с чужого. И потом — такой пренебрежительный тон, такая нетерпимость к чужим мнениям… Читали очень недолго. Подали чай. Все сидели молча, разговор не клеился… Наконец через полчаса все разошлись.

Я ушла домой с намерением при первой же воз-

можности выйти из этого кружка. Оставлять его после первого же раза мне не хотелось, я все-таки решила не спешить и сначала присмотреться ближе к ходу занятий. Отношения членов к предполагаемым рефератам обозначились на первом же собрании: их брали лениво, отговариваясь неимением времени, словом, что называется, «спустя рукава»…

22 ноября

О, как давно я не писала! Решительно не было возможности остаться наедине сама с собою, некогда углубиться в себя, некогда думать… словом, жизнь захватила меня. Днем на лекциях, вечером — или занимаешься, или идешь в театр, или на публичную лекцию; поздно вернешься домой, усталая от дальней ходьбы, и валишься на постель спать, с массою интересных мыслей и впечатлений… Сколько нового! бесконечная панорама жизни развертывается перед тобою, приглашая тебя принять участие в этом беспрерывном движении вперед и вперед…

Я была на трех публичных лекциях Исаева: «Настоящее и вероятное будущее нашего народного хозяйства»; эти лекции дали мне понятие о современном неудовлетворительном состоянии

народного хозяйства. К сожалению, конец их не соответствовал моим ожиданиям: вместо того чтобы нарисовать картину положения, к какому мы придем, если будем вести свое хозяйство, как теперь оно ведется, профессор очень осторожно коснулся вопроса о том, как надо изменить его и что из этого выйдет. А ведь это «надо» так легко может остаться только словом.

Заседание Комитета грамотности, на котором я присутствовала, было очень бурное: все время шли прения. Разбирался вопрос об ассигновке 2000 руб. ежегодно на предпринятое Комитетом статистическое исследование положения школьного дела в России. Нашелся один оппонент, недавно вступивший в члены Комитета, который доказывал, что подобная трата денег совершенно излишняя, что у Комитета грамотности есть более прямые задачи, это — грамотность. Из всего собрания нашелся только один, который возразил этому ярому стороннику исключительно грамотности настолько дельно и метко, что его приветствовали громкими аплодисментами. В зале была масса публики, преимущественно из учащейся молодежи — студентов всех заведений и нас тоже со всевозможных курсов. Замечательно, что среди студентов я не встретила ни

одного мундира лицеиста, или правоведа, или вообще изящно одетого студента: молодежь была в стареньких мундирах, у иных даже рубашки простые и волосы лохматые и вообще внешность непривлекательная, но с какою жадностью прислушивались они к каждому слову каждой речи! Какое напряженное внимание было на их лицах, в их глазах! Как жарко они аплодировали удачным возражениям, хорошей речи или докладу! — И чувствовалось, глядя на эти простые лица, что в них, во всей этой молодежи, здесь собравшейся, есть сила, что все они — сторонники народа, его будущие учителя и защитники от притеснений, чувствовалось, что они здесь — недаром, а если кто и пришел для «времяпрепровождения» — тот, наверно, ушел со стыдом на душе…

Да, в этой зале делалось хорошее дело… неотложная, необходимая работа. И мои убеждения здесь, в столице, получают все более и более подтверждений de facto. В настоящее время, при таком положении вещей, наиболее симпатичная и, главное, плодотворная, необходимая деятельность — в деревне, в селе, в городе — для народа. И теперь я вижу, что это на самом деле так. Если бы только не препятствия на каждом

шагу, можно было бы сделать и еще больше, чем теперь сделано.

26 ноября

Как много пришлось узнать и передумать за этот, сравнительно небольшой, промежуток времени. Писать — некогда; живешь изо дня в день: днем на лекциях, вечером — или занимаешься, или жадно читаешь то, что раньше казалось недоступным… Хотя у нас есть и инспекция, хотя директор в начале года, когда мы только что приехали, и предупреждал нас, что иногда бывают обыски (мы повесили было носы и, с тоскливым недоумением глядя друг на друга, спрашивали: да зачем же это? ведь у нас ничего нет!), — но и к нам проникают заграничные «нелегальные» (как здесь выражаются) издания… Я прочла кое-что и поэтому теперь хотя немного ознакомилась со всем «тем», о чем как-то смутно слыхала у себя дома. Прочтенные мною немногие вещи дали мне более ясное и точное понятие, чем если бы мне кто-нибудь вздумал все «разъяснить»; я предпочитаю знакомиться с деятельностью «этих» людей и их жизнью, их убеждениями непосредственно по их сочинениям, чем из рассказов и разговоров посторонних. Тяжелое

раздумье охватило меня, когда я ночью дочитывала последние страницы одной брошюры, где рассказана история возникновения и деятельности революционных партий. Что это? Тяжелый, смутный сон или печальная действительность? И это все было, и это все правда? Да что же это такое, или эти люди действуют как в угаре от собственных идей?.. Разве так нужно работать на пользу народа? Разве не безобразно, не возмутительно средство, к которому прибег Стефанович, чтобы возмутить народ? Мне стоило усилий сдержать крик негодования, который готов был вырваться из груди, когда я читала те строки, где так откровенно рассказано это дело. Сердце переполнилось бесконечною жалостью к несчастной, темной массе, которая была игрушкой в руках этих людей… Чего они добились? Только того, что правительство стало еще строже и уж ни в каком случае не было либерально. Народ взяли под опеку; соприкосновения интеллигенции с народом стали бояться, заподозревая в каждом интеллигенте, идущем в народ, как бы ни были честны и благородны его убеждения, — врага правительства, который сообщит массе либеральные идеи.

Время шло… Освобожденный народ все еще

неграмотен и темен, невежествен до бесконечности… Надо его просвещать… Нужны школы, нужны учителя, люди образованные. Но правительство уже научено опытом, каково влияние «интеллигентов» на народ. Уже не разбирает, что с тех пор успело образоваться новое поколение интеллигенции, искренно желающей работать на благо народа, для его просвещения, не преследуя никаких иных целей. «Подозревая» каждого интеллигента — правительство боится давать ему в руки народную школу. И в результате вопрос о народном образовании неразрывно связан с политикой, чего ни в каком случае не должно было бы быть. Печально! И вот учреждаются церковно-приходские школы. Что это за школы — всякому известно. Дали было народу школу земскую, которою он был доволен, — нет, не подходит, — дают ему церковно-приходскую. Даже выдумали нечто новое и совсем уже неподходящее — церкви-школы. Это было хорошо и уместно в XIII–XIV веках, когда образование неразрывно было связано с монастырями и вообще все носило церковный характер; в современной же жизни такое учреждение — вопиющий диссонанс… Кроме того: уж если так, то, чтобы не лицемерить, надо учредить подобные же и средние школы

для всех классов общества; уж если воспитывать в религиозном направлении — так всех без исключения, руководствуясь высшею целью, не земными благами. А то — взяли под опеку только народ и обращаются с ним как с малым ребенком, в то самое время, когда все остальные классы общества живут более или менее свободно, а главное — могут жить умственною жизнью, развиваться… Народу предоставляется возможность — научиться только читать и писать, да еще в таких школах, большинство которых существует только на бумаге!

Бесспорно, наше государство тесно связано с Церковью. Да ведь никто из людей, истинно понимающих народ и пользу народную, и не станет отрицать важности и пользы преподавания религии и ее влияния на нравственное развитие человека. Но не надо навязывать духовенству, и без того заваленному массою дела, еще лишнюю тягость. Школа является для него именно лишнею тягостью, которой некогда заниматься, и немудрено, что они кое-как существуют и не приносят никакой пользы. А дело г-жи Штевен, одно оно, как ясно показало всей читающей России, в каком положении находится у нас теперь дело народного образования. Как все печально, как

мало дает надежды на лучшее будущее!.. Больше всего мне жаль тех, кто действует бессознательно или бывает игрушкой в чужих руках. А такою игрушкою всегда является темная масса. Если бы только людям, знающим народ и понимающим его, была предоставлена свобода действий, если бы всюду открывались земские школы или в тех же церковно-приходских был расширен курс преподавания и были бы хорошие учителя! Вот те скромные желания, пока. Осуществите их, предоставьте народу возможность и учиться, и развиваться нравственно. Развитие ведет к нравственному совершенствованию, к поднятию благосостояния. О народном хозяйстве я еще ничего не знаю, но и здесь — желательно, чтобы возможно больше было сделано.

28 ноября

За последнее время я замечаю, что некоторые вещи на меня производят сильное впечатление… Я даже не ожидала ничего подобного… Я прочла недавно в сборнике для самообразования статью Семевского по крестьянскому вопросу, и так как я по этому предмету еще ничего не читала, то была так поражена, мне вдруг с такою поразительною ясностью представилась картина «сыновей

несправедливости», как называю я крепостное право, — что я, как уничтоженная, бросилась на постель и долго не могла заснуть, чувствуя сильное возбуждение. Мне хотелось сейчас же идти к народу, сделать для него — хоть что-нибудь сделать… Я чувствовала, что на мне точно долг какой-то лежит по отношению к несчастному, веками угнетенному народу, которому наконец-то дали свободу… Да, за то, что он был веками угнетен, закрепощен, за эту возмутительную несправедливость, какая только могла существовать, все должны послужить ему теперь, в свою очередь…

29 ноября

В нашей временной квартире постоянный шум и движение, несмотря на то что нас живет всего 8 человек. Живя в небольшом обществе, конечно, легче ближе познакомиться, чем в большом интернате. Все это хорошие люди; все более или менее усердно занимаются, интересуются предметами, читают… Но… почему же их общество опять-таки не может удовлетворить меня? Я со всеми в хороших отношениях, но и только; стараюсь искать в них чего-нибудь, что бы они могли дать мне, — а они ничего не дают. Несмотря на

то что занятия всюду — и справа и слева (я живу в средней комнате, вдвоем), — все-таки нет той освежающей умственной атмосферы, которая, казалось, должна бы создаться. Мелочность и чисто женская придирчивость развиты здесь ничуть не меньше, чем в любой необразованной женщине. Не слыхать ни одного интересного разговора или спора; меня поражает отсутствие каких-либо высших жизненных запросов или научных интересов, когда мы сходимся все вместе за чайным столом. Так себе, болтаем пустячки, а иногда даже несносный вздор; со стороны послушать — даже тошно станет. Ведутся самые обыкновенные житейские разговоры о погоде, о том, кто где был, что где случилось; кто-нибудь придерется к другому, завяжется спор, невинный, но шумный; крикливые голоса двух сестриц П-рь резко выделяются на общем фоне; шум, гвалт, а из-за чего, подумаешь? Часто предлагаются вопросы уже совсем институтского характера, вроде того: кто всех красивее? или: как вам нравится такая-то? (впрочем, слово «нравится», конечно, относится к наружности). Подобные интересные вопросы возбуждают соответственные разговоры… А о нетерпимости — и говорить нечего. Она здесь так сильно развита, что я бук-

вально отвыкла выражать искренно свое мнение о чем-либо. Мне столько раз возражали, и так грубо, так резко, что я уже не рискую заводить разговоры о чем-либо, тем менее о том, что меня интересует. Словом, я, оставаясь со всеми в хороших отношениях, ушла в свою раковину… Тяжелее всего то, что всегда приходится быть на виду, и как бы ни была расстроена — все-таки должна сдерживать себя, чтобы (боже упаси!) не ответить кому-либо на навязчивые вопросы (буде их предложат) слишком односложно, или нервно, или с явным нежеланием продолжать разговор. Сейчас же обидятся, придерутся; найдутся охотники поддержать; и вот мне, вскоре после того реферата, который меня так расстроил, что я на назойливые вопросы — «как, ну, что, расскажите» — односложно ответила: нечего рассказывать, — уже пришлось выдержать целую бурю негодования, которая поднялась после этого краткого ответа. — «Как! вы не хотите отвечать? Как это нелюбезно с вашей стороны!» — «Да чего от Дьяконовой ожидать! Ведь уже про нее давно известно, что она на курсах всех обрывает! — Ее даже боятся, я знаю нескольких, которые жаловались мне на ее грубость… — Немудрено, если с вами никто не захочет сойтись… вы оттолкнете

своею грубостью…» — щедро сыпались обвинения из уст «развитых» девиц, которые никак не могли сообразить самой простой вещи, что я так была расстроена, что человеку прямо не по себе, что он не может же быть всегда, во всякую минуту готов к их услугам. Тогда, за мною вслед, пришла в нашу общую квартиру одна сестра П-рь — и крикливо, как торговка, размахивая руками, начала рассказ о реферате; все слушали с любопытством… — «Вот, г-да, кто расскажет, так уж расскажет» — и все, как стадо баранов, повернулись в ее сторону; — и я услышала похвалу П-рь, которая, очевидно, предназначалась как шпилька по моему адресу.

Чтобы прекратить все подобные заявления, я скрепя сердце сказала, когда П-рь кончила: «Господа, как видите, реферат был настолько плох, что мне прямо было неприятно о нем рассказывать!..» Никто не слыхал моих слов, потому что уже начался другой спор…

И вот сегодня, когда я наконец опять увиделась с М. Е., придя в ее тихую, милую комнатку, когда я опять могла видеть и говорить с близким человеком, — я не выдержала, и невольно у меня вырвались рыдания, и, упав головой на колени М. Е., я расплакалась, как ребенок.

Она испугалась:

— Да разве можно быть такой нервной, Лиза? Здесь, в Петербурге, это невозможно; вам надо лечиться…

— Нет! уверяю вас, что я вовсе не нервная. Это я только так… потому что у себя, в интернате, никогда не показываю им ничего, и меня никто не считает нервной, — с трудом говорила я, стараясь овладеть собой.

Это и в самом деле глупо. Что за вздор — нервы. Эх, если бы была возможность, я вылечилась бы своим способом: холодная ванна каждый день; потом гимнастика… Жаль, что здесь нет ни того, ни другого. А то это лучше всяких лекарств. Но самое лучшее — уметь владеть собой. Что за глупые созданья мы, женщины! Неисправимы! Слезы и нервы — очевидно, прирожденные средства нашего пола.

30 ноября

Недавно у нас была вечеринка. Я и раньше весьма скептически относилась к ней; мне, когда я присмотрелась к своим интернаткам, казалось, что на ней не может быть весело, что непременно будет чего-то недоставать… Но то, что я услышала, то, что было преподнесено собравшимися в

виде «литературно-музыкально-вокального отделения», превзошло все мои ожидания: нельзя было хуже петь, читать и играть, чем это сделали шестеро из девяти исполнительниц. Стыдно было за них, смешно и стыдно перед собравшимися профессорами, которых мы приглашаем на эти вечеринки (это единственный мужской элемент, который допускается). Первые два ряда были заняты ими, и редко когда на долю такой достойной публики выпадало такое недостойное исполнение. Но хуже всего были сами слушательницы: после каждого номера, не разбирая, они хлопали изо всех сил, кричали: бис… Толпа и на этот раз показала себя тем, что она есть: недисциплинированная, обрадовавшаяся случаю пошуметь; — хлопать начали всему, что слышали с эстрады, не отдавая себе отчета, хорошо ли, нет ли, и тем еще более поощряя беззастенчивую смелость бездарностей, которые терзали слух то завыванием, читая стихи, то играя на рояле, то пением. Зато тем резче среди ничтожностей выделялись три исполнительницы. Одна из них обладает почти оперным голосом, и я, стоя за роялем, ясно читала на лицах профессоров восхищение, когда она пела. У нас, конечно, есть и такие, которые хорошо играют, поют, но имен-

но все наиболее способные и отказались… Из скромности, должно быть? В таком случае очень жаль…

Концертное отделение кончилось; профессора и мы перешли в нижнюю залу, где были приготовлены столы с чаем. (Эти вечеринки устраиваются в пользу касс, которые существуют на каждом курсе; билет стоит 25 коп., чай 3 коп.) Распорядительницы-кассирши встречали профессоров при входе в зал; они же со своими помощницами продавали чай, булки. Конечно, для профессоров это угощение было бесплатно…

«Что же будет дальше?» — спросила я себя, видя, как зала постепенно наполняется народом, что мало-помалу образуются группы и расходятся к столам. — «Давайте занимать Середонина», — раздалось вдруг над моим ухом. Я обернулась — передо мною стояла Д-ва, очевидно знакомая с Середониным. Мне было решительно безразлично: скучать ли весь вечер одной или идти «занимать» профессора. Я предпочла последнее, надеясь поближе познакомиться хоть с одним из наших профессоров. Мы вместе подошли к Середонину; она, девица чрезмерно бойкая и юркая, смело атаковала его сразу массою вопросов, на которые он не успевал отвечать. — «Г-н

профессор, а вы почему так поздно пришли? Это нехорошо, не годится», — говорила курсистка. — «Извините, я опоздал, но я не мог иначе… в другой раз буду раньше, непременно», — вежливо извинялся Середонин. — «Ну, смотрите, не извольте же», — капризно-фамильярным тоном барышни продолжала Д-ва. Разговор грозил принять чисто светский бессодержательный характер гостинной болтовни, потому что она говорила без умолку, не давая сказать ни слова профессору, который из вежливости не решался оставить нас. Надо было это прекратить. Я тихо спросила Середонина о каком-то вопросе по истории; заговорили о ней, о лекциях; мы подошли к столу, предложили ему чаю и уселись тут же. Другие первокурсницы, привлеченные любопытством, подошли к нам, за ними — еще, около нашей группы образовался тесный кружок, который точно отрезал нас от залы, так что ни видеть, ни наблюдать уже не было возможности. Середонин, очевидно, чувствовал себя очень непринужденно в нашем кружке; разговор носил то отчасти научный характер — и тогда становился наиболее интересным, то светской болтовни — как только новые лица вступали в разговор. В общем, — он плохо рекомендовал первокурсниц, потому что

часто, очень часто разговор принимал совсем гимназический характер; с Середониным говорили таким тоном, каким гимназистки обращаются к своему учителю, когда встречаются с ним не на правах ученицы, но «барышни». Ах, какой вздор говорили они! Какие глупые вопросы задавали! Наконец, когда Д-вой опять удалось заговорить с Середониным, — все уже пропало: пришлось поддерживать до такой степени ненужную и неинтересную болтовню, что я в глубине души была рада, когда к Середонину подошла его невеста (одна из слушательниц IV курса) и велела ему ехать домой. Среди нас послышался недовольный ропот, но невеста на то и невеста, чтобы жених находился в ее распоряжении. После ухода Середонина я посмотрела на часы: был уже 1-й час — пора домой. Многие уже расходились. Я прошла еще раз по зале: наши бродили по комнате, разбившись на группы; в одном углу толпа окружала Гревса. Многие профессора уже уехали. Больше нечего было смотреть, нечего делать. Я отправилась домой и долго сидела на постели, раздумывая над всем виденным и слышанным… Даже как-то не верилось: да полно, неужели все это было у нас, здесь, на курсах?..

6 декабря

Завтра в Дворянском собрании вечер в пользу Общества доставления средств нашим курсам. Приглашены известные артисты: Фигнер, Тартаков, еще кто-то и артистки. Заранее предвидя, какая скука меня ожидает на вечере, когда по окончании концерта начнутся танцы, я решила быть действующим лицом, т. е. что-нибудь «делать» — по хозяйственной части, продавать, помогать кому-нибудь; это, мне кажется, все же лучше, чем, не имея ни души знакомых (а курсисток, наверно, потеряешь в толпе, да у них есть свои знакомые), слоняться бесцельно по зале или подпирать ее стены, когда перед твоими глазами будут кружиться пара за парой. Впрочем, говорят, в третьем году на вечере профессора говорили речи, между ними — Гревс, Семевский… Было интересно, и хорошие мысли возбуждались в молодежи, но зато распорядительницу бала потребовали к градоначальнику. Эх, жизнь!..

«По нынешним временам», вместо того чтобы слушать прекрасные, увлекательные, пылкие речи, я буду продавать прохладительные напитки в качестве помощницы распорядительницы. У нас распорядительниц выбирали баллотировкой.

Подумаешь, невесть какое важное дело! Стоит ли для того, чтобы выбрать трех человек поизящнее, порасторопнее, — писать билетики с фамилиями, потом их раскладывать, потом считать, потом объявлять результаты голосования… Хотели даже выбирать и помощниц (по две у каждой распорядительницы), да вовремя спохватились: ведь это было бы уже совсем пустой потерей времени…

Я чувствую, что буду недовольна собой… К чему я взялась за это дело? — Ведь я могла бы уехать тотчас после концерта. Но я же знаю, что не уеду: странное свойство человеческой натуры — противоречить самой себе.

Меня уверили, что продавщицам надо быть одетыми в светлые платья. Я выписала из дому свой единственный вечерний туалет, к слову сказать очень нарядный и изящный, и завтра — к своему собственному удивлению — обращусь из скромной, просто одетой и гладко причесанной курсистки в изящную барышню. Да, я буду зла на себя… и тем более что заранее знаю, как наши интернатки щедры на комплименты, чисто институтские аханья и восклицания по поводу платьев… — «Господа, Дьяконова будет очень интересна на вечере… она будет в розовом пла-

тье, — вы не видали? какая прелесть!» — слышу я уже и теперь. Но в общем все-таки очень мало слышишь разговоров о вечере и туалетах (и слава богу, а то, кажется, сбежала бы), и в этом проявляется характерная черточка: у нас если и занимаются тряпками, то именно en passant[87], в крайней необходимости, не делая из этого события в жизни или предмета разговора на целый вечер. Мне даже стало смешно на самое себя: почему-то многие уже и теперь дают мне советы насчет прически, завивки, так что я пресерьезно раздумывала, стоит ли завиваться на вечер, не будет ли это с моей стороны излишнее, — настолько заниматься собой, тратить много времени… не лучше ли, не более ли соответствует моему теперешнему положению — скромная и простая гладкая прическа? — «К такому платью ваша всегдашняя прическа не идет», — решила за меня одна из наших интернаток.

Однако завтра ботаника, вставать надо в 9 часов утра, и потом придется рано ехать на вечер к своему посту… Пожалуй, устану до последней степени.

---

[87] Примечания: 87
Мимоходом *(фр.)*.

10 декабря

Был вечер, сошел весьма удачно, как это, впрочем, и всегда бывает; наш вечер дает Обществу для доставления средств В. ж. к. около 4 тысяч чистого дохода. Я приехала рано и уехала поздно… Впервые увидела я всю, так сказать, подкладку этих благотворительных вечеров, все приготовления, хлопоты по устройству столов, их украшений и т. д., одним словом — как делается все то, на что публика менее всего обращает внимания… Сколько раз, напр., пила я чай на каких-нибудь вечерах, и никогда, конечно, не думала о том, что этот стакан был кем-нибудь налит; а на другой день после бала бледная, утомленная экономка, раздавая завтрак в столовой, рассказывала: «Вернулась я, барышни, домой в $6^1/_2$ час. — дела-то сколько было! Одних лимонов 500 штук разрезали… Устала — страшно, а сегодня в $8^1/_2$ встала…»

Ровно в 4 часа окончился вечер; лакей, важный и бритый, торжественным шагом прошел по всем залам молча, звеня в колокольчик; мне он показался тенью отца Гамлета среди этой пестрой, нарядной, веселой толпы. В зале погасло электричество; полутемные опустевшие комнаты, за

несколько минут еще ярко освещенные, полные народа, — казались теперь такими мрачными, неуютными… Публика вся исчезла вниз, в раздевальные; распорядительницы за своими столами торопливо пересчитывали вырученные деньги и потом вереницей потянулись к кому-то сдавать счета. За контрольным столом «комитетская» дама в кокетливом туалете принимала деньги и записывала… Мы, помощницы распорядительниц, зевали, стоя тут же, и собирались уезжать… Прислуга суетилась, убирая посуду; полусонные лакеи бродили, как тени… И мне вдруг бросился в глаза весь беспорядок, в котором стояли стулья, облитые скатерти на столах, грязные стаканы из-под чаю…

У меня нет никого знакомых; даже ни одного студента, хотя почти у всякой курсистки их наберется несколько человек. Сидя за столом, машинально наливая стаканы оршада, лимонада и получая деньги, я думала: нельзя сказать, чтобы это было весело… вот у других продавщиц знакомые помощники-студенты, они разговаривают очень оживленно, видно сейчас, что им весело… А тех, которые продают цветы (для этого нарочно выбрали трех самых изящных блондинок), наверно, окружили знакомые… Хотела ли

я быть на их месте, сидеть в первой комнате, в зеленой беседке? — Нет; потому что и меня тогда окружали бы, как окружают их теперь, путейцы, техники, студенты, артисты — пришлось бы и мне так же мило улыбаться, вести ту же пустую, незначительную болтовню о погоде, о театрах, о вечерах — одним словом, «светский» разговор… И тогда была бы я недовольна, и теперь нельзя было сказать, что я была очень довольна. Я наконец разозлилась на себя за свою требовательность: что же лучше? Сидеть в зеленой клетке и продавать цветы и свои улыбки или же просто продавать питье за своим небольшим столиком, вовсе не будучи окруженной, но зато и не ведя утомительной болтовни? Ведь последнее все же было лучше. Итак, вечер прошел для меня — ни весело, ни скучно, как я и думала.

В самый разгар нашей торговли к нашему столику подошел студент и попросил позволения присесть на свободный стул. Я, конечно, позволила; он уселся и задумался. Я сидела рядом с ним; мне то и дело приходилось продавать, получать деньги, передавать стаканы помощникам-студентам, говорить с ними и со своими товарками… и все в присутствии совершенно постороннего человека, который откуда-то взялся, сидит,

молчит… Это меня стесняло; мне становилось неловко, что в нашу дружную компанию попал чужой человек, и я мысленно пожелала, чтобы он или скорее ушел, или хоть заговорил из приличия. И он действительно задал какой-то вопрос относительно вечера… Мы разговорились; потом он встал и предложил мне оставить на несколько времени мою обязанность и пойти отдохнуть. Я пошла с ним бродить по залам… мы ходили, разговаривали, и ничего: разговор клеился. Наконец он представился и, в свою очередь, спросил у меня мое имя и фамилию. Так мы познакомились, и он даже попросил позволения навестить меня в интернате. Я согласилась, удивляясь в душе такому быстрому ходу знакомства с человеком, о котором полчаса тому назад и понятия не имела; но в то же время сообразила, что ничего не потеряно: или это знакомство не состоится, если он придет, не застанет меня дома и не осмелится прийти в другой раз, — или просто забудет о моем существовании и его просьба о позволении бывать у меня окажется пустыми словами — тем лучше, я буду осторожнее относительно подобных субъектов; если же, паче чаяния, он и вправду придет и дома застанет — тогда я буду иметь возможность доставать через него книги из университетской

библиотеки. Как я теперь присмотрелась к нашей жизни, то вижу, что студент, в сущности, необходим именно для книг, для того, чтобы он доставал билеты, вообще — для услуг. Говорю так потому, что к нашим интернаткам постоянно ходят студенты, люди очень интересные, и наши тяготятся их посещениями, которые у них отнимают время для занятий, но все-таки поддерживают знакомство именно ради «услуг». А так как я тоже сомневаюсь в том, чтобы была возможность познакомиться с интересными людьми, то надо желать более доступного, ну хоть кого-нибудь для «услуг», и главное — ради книг! Как они мне нужны! И как трудно их достать…

13 декабря

Была у заведующей интернатом, члена комитета Ольги Константиновны Н. Это — очень симпатичная молодая женщина. Ей, как принимающей живое участие в делах курсов, конечно, известна моя история, единственная в своем роде, которая так ярко освещает благородную и гуманную личность М. Н. Капустина. О. К., познакомившись со мной, отнеслась ко мне в высшей степени симпатично, и мне довольно часто приходилось разговаривать с нею на курсах. Она пригласила

меня бывать у нее, и я собралась только сегодня. О. К. живо интересуется нашей жизнью, занятиями и моей предстоящей поездкой домой на праздник. Этот мой приезд, по ее мнению, да и по мнению многих, должен доказать моей матери всю неосновательность ее предрассудков, ее предубеждения против курсов. О. К. начала меня расспрашивать о моей семье, и достаточно было немногих слов, чтобы она задала мне вопрос, который я слышу уже во второй раз: «Скажите, да откуда же в вас явилось такое желание учиться? Как при таких обстоятельствах в вас явилась мысль поступить на курсы?» Вопрос лестный для меня, но в то же время он меня и удивил. — «Может быть, из вашей гимназии кто-нибудь был на курсах?» — «Нет; из 2-й гимназии, где я воспитывалась, никто не поступает на высшие курсы; я — первая, поступившая оттуда». — «Так, значит, и не из гимназии вы вынесли подобную мысль?» Я до такой степени сроднилась со своим стремлением, с мыслью о необходимости продолжать свое образование, что подобный вопрос даже приводит меня в недоумение… И в самом деле? Как мне ответить на вопрос: как, при всех неблагоприятных обстоятельствах, могло во мне зародиться подобное желание? С каких пор? Я в

точности не помню… помню только, что я, уже будучи 14-летней девочкой, решила, что в 21 год буду на курсах. А как пришла мне в голову мысль о высшем образовании — я никогда не задавала себе подобного вопроса; я считала, что это так естественно, так просто, что тут и спрашивать нечего и удивляться нечему… Приблизительно только я могла ответить О. К., что меня всегда поражала узость взглядов женщин, недостаток умственного развития, а главное и единственное, что я могла изредка наблюдать, — разговоры мужчин и женщин. Первые меня всегда более интересовали тем, что были содержательнее пустой женской болтовни, переливания из пустого в порожнее. Я стала сравнивать тех и других: читая книги, изучая литературу, биографии писателей, а главное — образование мужчин и женщин, я увидела, что образование необходимо для умственного развития, что мужчина по окончании гимназии идет в университет, а для женщины — три дороги на выбор: или место учительницы в селе или городе, или бесцельное сиденье дома до замужества, или же беготня по грошовым урокам. И все это начинается для них в такое время юности, когда перед мужчинами открываются двери университета, когда он учит-

ся, читает, думает, идет вперед, масса новых идей возбуждается в нем, — а мы обречены довольствоваться скудными обрывками гимназических знаний, элементарных понятий, почерпнутых из учебников. Я всегда склонна была критически относиться к своему образованию, к гимназическому преподаванию… Само собою разумеется, что в разговоре с О. К. я не так подробно развила свою мысль; я ограничилась только очень краткими словами… и не успела я кончить, как раздался звонок, затем другой, и в комнату вошли обычные посетители сред О. К.

Завязался общий разговор о курсах, о недавнем вечере, о том, сколько получено доходу, о петербургском женском клубе и т. д. Этот женский клуб разрешен не как клуб, но под именем Русского женского взаимно-благотворительного общества; но, очевидно, судя по началу, это — первая попытка женщин создать свой клуб на манер американок. Как взаимное благотворение, общество наметило несколько задач, между прочим — учреждение дешевых квартир для бедных интеллигентных женщин, доставление им занятий, организацию дешевой столовой, чтение лекций по разным специальностям — для женщин. Общество будет иметь свою читальню;

вход в собрание ежедневный для всех членов. Одним словом — очень и очень похоже на клуб, даже с избранием старшин, дежурных. Мужской элемент не допускается, несмотря на то что ему страшно хочется и он употребляет все старания, чтобы попасть туда. О. К. была раз в собрании членов этого общества и говорит, что там очень весело и оживленно. Говорили и о женском медицинском институте. Боже мой! Вряд ли когда-нибудь настолько полезное и необходимое учреждение встречало столько препятствий для своего возникновения: до сих пор не решено окончательно, где же строить институт? — Отводят где-то место, но это пока еще только слух.

14 декабря

На днях утром я пошла на лекцию богословия. Добрый батюшка[88] вошел, смиренно сам прочел молитву: Царю Небесный (он сначала было просил нас самих читать ее перед каждой лекцией, но, видя, как два или три раза произошло замешательство, вследствие того что никто не решался читать, теперь всегда сам читает, войдя в аудиторию) и начал защищать учение

---

[88] Примечания: 88
Протоиерей Александр Васильевич Рождественский (1872–1905).

Библии от взглядов разных ученых и их теорий… Он старался доказать, что Библия не противоречит науке, что сами ученые, несмотря на то что некоторые из них отрицают существование Бога, необходимость религии, все-таки должны признать, должны вывести из изучения истории человечества, что в человеке всегда жила могущественная потребность в религии, в стремлении узнать Бога, объяснить себе явления природы, ее возникновение; человеку всегда была присуща мысль о вечности, о том, что со смертью не все в нас исчезнет, а останется нечто. Человек всегда старался проникнуть в тайны неизвестного, за гробом… Батюшка говорил заикаясь, путаясь в словах, и поэтому… как слаба казалась его защита веры! Я слушала внимательно и с интересом, но для тех, кто и вообще не особенно симпатично относился к религии, — для тех убеждения и доводы батюшки были, конечно, очень слабы, тем более что изложение вовсе не отличалось красноречием, а физический недостаток еще более портил всю лекцию.

Через два часа, в той же аудитории, Гревс читал интересную лекцию о христианстве, как историческом явлении, имеющем огромное значение в истории народов. И здесь впервые

я услышала речь о христианстве не с той обычной строго религиозной точки зрения, с какой я обыкновенно привыкла смотреть на него. Не касаясь вопросов религии, Гревс разбирал вопрос об изучении этого исторического явления. Этим вопросом стали заниматься сравнительно очень недавно, начиная с 50-х годов нынешнего столетия. Само собою разумеется, что в числе писателей, занимавшихся этим вопросом, Гревс выше всех ставил Ренана и его «Les origines du christianisme»[89], разбирая содержание каждой книги. Ренан рекомендовался нам для чтения, Ренан назывался великим гением; благодаря его деистической теории — как сказал профессор — человечество прогрессирует, и, таким образом, ему удастся когда-нибудь прийти к познанию истинного Бога… Бедный батюшка!

А вечером я читала лекции Милюкова: «Введение в курс русской истории». Там мне бросилось в глаза то обстоятельство, что наша Церковь оказывается вовсе не так тесно связанной с государством, если рассмотреть исторический процесс.

---

[89] Примечания: 89
«Происхождение христианства».

15 декабря

Завтра уезжаю домой. Устала до последней возможности; почти сплю за тетрадкой. Домой! Как-то меня встретит мама? Говорю — неизвестно, настолько мало ее знаю. А меня все ждут с нетерпением. О, как я буду рада видеть их всех, сестер, братьев! Сколько я могу им рассказать, сколько надо сообщить…

Уже глаза слипаются… не могу писать больше…

Ярославль, 25 декабря

Вот уже целая неделя, как я дома, и не вижу, как время идет… Первые радостные минуты встречи со своими, потом — бесконечные разговоры и рассказы. Дома, конечно, ничего не изменилось. Но мама удивила меня своим отношением ко мне: она встретила меня очень ласково и, кажется, была очень успокоена, видя, что я нисколько не переменилась, что ничего ужасного со мною не случилось и что курсы не оказали на меня никакого «вредного» влияния. Вполне игнорируя курсы, она тем не менее с любопытством расспрашивала меня о моем житье в интернате,

и так как то, что я рассказывала, было вполне успокоительного характера, то ей не к чему было придраться и она была спокойна. Но зато она с необыкновенной для меня щедростью принялась заботиться о моих туалетах, находя их слишком плохими. Рассчитывая существовать в Петербурге исключительно на собственные средства, я, конечно, не могу теперь одеваться так, как одевалась прежде. И вот, маме надо было найти хотя бы одну, по ее мнению, неприглядную сторону моего существования; не находя ее в моих рассказах, но найдя ее в моем туалете (к слову сказать, вполне приличном), она обратила теперь на нее все свои заботы, и, к великому моему удивлению, заботится о моих платьях совершенно так, как будто бы у нас не было отдельного имущества, а она обязана нам все делать. Я прихожу в ужас от такой беспощадной траты денег, но маму убедить — невозможно. С непривычки мне кажется обидным принимать от нее столько подарков, даже невозможным, неестественным, смешным быть одетой на «чужой счет», как я выражаюсь. А главное — мне ничего не надо; я неустанно твержу это маме, и этим, кажется, только больше подливаю масла в огонь.

Странная женщина — моя мать! Или — стоит

поставить себя раз вполне самостоятельно, то она в свою очередь начнет относиться по-человечески? Удивляюсь. Когда подумаешь обо всем, что пришлось вынести из-за нее в эти годы, — горечь и злоба подымаются в душе; когда же видишь перед собой ее теперь, по отношению ко мне — доброю и ласковою, по отношению к сестрам и младшему брату — деспотичною, по отношению к старшему брату — слепо любящею и подчиняющеюся, — то чувствуешь к ней какую-то жалость… Она тратит на меня деньги… и я, не привыкнув брать их когда бы то ни было, чувствовала себя неловко, когда она не захотела принять деньги за мое содержание… Родные, конечно, будут порицать меня за подобное отношение; для них как нельзя более естественно, что мать дает деньги дочери, тем более что она дает, не урезывая себя, а прямо оттого, что у нее есть лишние. А мне — стыдно. И в то же время, если не надеть сшитого ею платья — я знаю, что для нее это будет большою обидой… Фу, какое глупое положение!

Я была так рада видеться с сестрами; мне так хотелось передать им все, что я узнала, все, что видела и слышала, в особенности Вале, которую я заранее считаю будущей слушательницей. Мне

хотелось, чтобы она, поступая, была бы уже au courant[90] относительно всего, с чем мне неожиданно пришлось столкнуться, и я посвящала ее во все те стороны нашей жизни, какие мне приходилось наблюдать. А между тем — в ней произошла перемена, которой я никак не ожидала: она стала как-то уже чересчур благоразумно смотреть на жизнь; говорит, что все клятвы В. относительно их фиктивного брака — наивный вздор, одни слова; и теперь, собираясь выходить за него, уже твердо уверена, что ей придется сделаться женою своего мужа, и, печально поникнув головой, прибавила: «Может быть, и на курсы мне не удастся поступить». — «Ну уж этого не может быть! Ты поступишь! — вскричала я. — Мы с тобой будем вместе…» Но сестра неотразима. Отчего же это? Или мы обе были так наивны нынче весною, что верили в возможность осуществления фиктивного брака? Но для меня и теперь — при сильной воле это можно сделать; все же утверждают, что невозможно, немыслимо… Никто не верит в возможность идеальных отношений…

---

[90] Примечания: 90
В курсе *(фр.).*

1896 год

1 января

Новый год! В первый раз в жизни встречаю я его как самостоятельный человек, более или менее свободный; в первый раз в жизни прошлый «Новый год» внес в мою жизнь новое, то «счастье», о котором я столько лет мечтала, к чему я так стремилась, надеждой на которое жила… Новый год застает меня уже как слушательницу курсов… и отчасти — новым человеком. О, если бы я могла действительно сделаться новым человеком, человеком в лучшем смысле этого слова!

7 января

В конце декабря В. приехал сюда и теперь проводит все дни со своей невестой. Свадьба его и сестры предполагается в апреле. Он — счастлив; сестра же напоминает мне ребенка, которому дали интересную и замысловатую игрушку, под названием «жених», и он не может натешиться ею. Со всем тем она прелестна, наша Валя, полуребенок, полуженщина. Рядом с ним она

кажется такой пассивной… Несмотря на все уверения В., что он будет исполнять все ее желания, что он будет у нее «под башмаком», — думается мне, что наоборот: Валя будет слушать его… Как подумаешь, что во всем этом деле она была, в сущности, пассивным лицом, что она больше плакала, чем действовала, — мне становится ее жаль. Но чем далее, тем более сестра привыкает к В. и к своему положению невесты. Ее начинает интересовать предстоящая жизнь; домашняя обстановка с каждым годом становится все тяжелее и невозможнее; до совершеннолетия ей еще долго ждать, и перспектива в недалеком будущем получить свободу, стать самостоятельным человеком — начинает ей улыбаться. В. она начинает называть всякими уменьшительными именами… Меня удивляет его сдержанность: в нашем присутствии он обращается с сестрою как и с нами, церемонно называя ее по имени и отчеству и ничем не выдавая своего чувства. А между тем — стоит мне уйти, и он, по словам Вали, сейчас же переходит на «ты», целует ее руки… Я стараюсь, чтобы они как можно больше бывали наедине, ухожу в свою комнату, читаю…

9 января

Я никогда не забуду своего проступка, которому нет извинения и за который совесть постоянно будет упрекать меня. Дня за три до Рождества я получила письмо от Ю. П. Щ-ной, которая просила меня разузнать о здоровье ее внучка — кадета здешнего корпуса. Я отправилась туда, встретила в приемной воспитателя, который и сообщил мне, что мальчик болен воспалением в легких, но теперь поправляется, так как кризис уже был и кончился благополучно. — «Да вы не хотите ли сами видеть мальчика?» — спросил он меня. Я почему-то подумала, что мальчик, наверно, будет стесняться незнакомой девушки, вдобавок посещающей его в лазарете; кроме взаимной неловкости, ничего не выйдет из этого свидания, а между тем воспитатель дал о нем самое успокоительное известие. — Зачем же я пойду в лазарет? — решила я и отказалась, попросила передать ему коробку конфет и уехала. Написала обо всем Ю. П. В Новый год получаю от нее письмо. Опять просит сходить, узнать о мальчике, отпустят ли его к родным для поправления здоровья (мальчик — кавказец и плохо переносил наш климат). На другой день я пошла в корпус. На этот

раз нужно было видеть директора. Не успела я договорить своего вопроса, как он прервал меня: «Евфорицкий скончался сегодня». — «Как? — я была поражена. — Да ведь я же недавно была здесь, справлялась о нем, и мне сказали, что ему лучше?» — «Да, и было лучше; но мальчик был очень слабый, у него не хватило сил поправиться, и он умер просто от истощения. Вообще, наш климат южане трудно переносят. У меня на руках еще 5 или 6 таких мальчиков, и я за них не ручаюсь...» — «Когда же он умер?» — «Сегодня, в три часа». Я взглянула на часы: было половина пятого. Приди я двумя часами раньше или вчера же, — я застала бы мальчика в живых. — «Можно его видеть?» — спросила я. — «Пожалуйста; пройдите в лазарет... тела не тронут до приезда доктора».

Мы прошли по длинному коридору в небольшую, слабо освещенную палату, в которой стояли всего две постели. На одной из них лежал мальчик, прикрытый одеялом, в спокойной позе спящего человека. Это и был маленький покойник. Я подошла к постели. Лица его не было видно; он лежал спиною ко мне... Черная, гладко остриженная детская головка... Ничего ему больше не было нужно, бедному маленькому

человеку, оторванному от семьи, от родного юга и случайно брошенному на наш север (как сын военного, он учился на казенный счет). Не нужно было бесполезных сожалений, не нужен был ему и мой приход… Мне надо было прийти к нему раньше, мне надо было принять участие в бедном ребенке, который так тосковал по родине и у которого здесь не было ни родных, ни знакомых. А я? Поверив словам воспитателя, не справившись у доктора, не побывав в лазарете, — я преспокойно уехала домой, как будто бы и впрямь исполнила долг свой… А потом? Да ведь первые дни праздника я и не подумала о нем; затем поехала в Нерехту на два дня… Я проводила время среди своих, а мальчик — все эти дни угасал тихо, медленно и одинокий. Если б я стала навещать его… почем знать? Ведь это была бы единственная светлая сторона его жизни в казенных стенах лазарета; если бы я приняла в нем участие — я была бы единственным более близким ему человеком, заменив ему хоть отчасти родных.

Но я ничего для него не сделала. Умея сочувствовать гуманности и горячо принимать к сердцу все вопросы, касающиеся ее, я, как только на практике представился случай для применения человечности и сочувствия, сама пропустила

его. Вот что значит мало любить людей! Если бы я была добра, то в этом случае поступила бы как должно, по влечению сердца… А я… верно, нет во мне этой доброты? И вспоминать теперь не могу, как возмутительно равнодушно, безразлично было мое поведение в этом случае.

Мне кажется, что я никогда не забуду этого лазарета, кровати и лежащего на ней мальчика. Пусть эта картина будет моя живая совесть… Ах, нет ничего тяжелее, нет ничего хуже упреков совести! Вот уже неделя прошла с тех пор, а я их чувствую так же живо, как будто это было вчера!

Да, правы, пожалуй, все, которые меня не любят (по моему мнению), правы все, которые видят во мне одни недостатки и строго судят меня. Правы они! Ничего лучшего я не стою! Ничтожная, мелкая, дрянная душонка! Скверная натуришка! Эх, туда же, говорю о развитии, учусь… а коснулось дело самого простого житейского случая, в котором представлялась возможность сердечного отношения к человеку, — и я спасовала, да еще как! Вот вам и развитие! Я чувствую себя страшно виноватой, и мне нет извинения; я должна просить прощения у Ю. П., рассказать ей обо всем. Но… что же из того? — получу прощение, да от этого мне будет не легче…

С.-Петербург, 25 января

Началась моя обычная жизнь, от которой я оторвалась больше чем на месяц; все это время я ровно ничего не делала, ничем не занималась, почти ничего относящегося к курсу не читала. Как это случилось? я и сама не знаю: домашняя ли обстановка имела на меня такое влияние, или бестолковое распределение дня, от какого я было совсем отвыкла, или позднее вставание, или бесконечные разговоры, или же, вернее, моя любовь (в данном случае оказавшаяся излишней) к литературе, заставившая меня читать некоторые произведения, которые я не могла прочесть здесь, — но, во всяком случае, я виновата, и никто больше.

Следствием такого времяпрепровождения было то, что я хотя и чувствовала себя прекрасно в своем семейном кругу, но в голове сделалась какая-то пустота, которую, казалось, ничем не заполнишь: ни мысли в голове — какое скверное сознание… И я дошла до того, что могла целые дни просиживать, сшивая себе воротнички и рукавчики (стыд!)… Только в разговорах с сестрами время шло так хорошо, что иногда мне хотелось еще остаться. Но, с другой стороны, когда празд-

ники кончились, началась наша будничная, томительно-однообразная, монотонная жизнь: сегодня, как вчера, а завтра — как и в прошлом, как и в третьем году… Когда, проснувшись утром, я уже не видела брата, ушедшего в гимназию, а на антресолях у сестер сидела ученица, я почувствовала, что мне пора ехать, что надо приняться за дело. Туда, туда! скорее выбраться из этой стоячей воды! Я решила не дожидаться конца отпуска и выехала раньше. И хорошо сделала: лекции уже начались. Но вместо занятий научных пришлось все время заниматься делами В. С той минуты, когда он пришел ко мне на курсы, всю свою личную жизнь я совершенно забыла, мое время мне уже не принадлежало: состояние духа В. в первый день, как я его увидела, было очень тревожное.

Незадолго до приезда В. у сестры явился еще влюбленный и писал ей трогательные послания, прося ее повременить со свадьбой, если она выходит без любви, и дать и ему, быть может, надеяться на счастье… Бедная Валя! она плакала, читая это письмо, так же как и в прошлом году, читая письмо В., и, ни слова не говоря нам, не находя опоры в самой себе, она написала своему жениху такое послание, что он, себя не помня, приехал в Ярославль. Они объяснились. В. гово-

рил мне, что он готов был порвать все, узнав, что сестра колеблется, едва только появился другой претендент на ее руку, и увидя ее полную бесхарактерность в данном отношении. Грустно и смешно подумать: сестра поступала совершенно по-детски, — и невольно становилось жаль ее. Свидание с В. поправило дело: она увидела его около себя, опять начались длинные прогулки, разговоры, все это настолько укрепило ее симпатию и привычку к В., что она совершенно забыла о своем другом поклоннике. Дитя, дитя! милое, хорошее дитя! И при всем этом — она наша сестра вполне. Она вовсе не влюблена в В., не увлечена им, и нельзя сказать, что его любит, нет: она такая, как и мы, и это чувство незнакомо ей. Но между ею и В. есть столько общего, он так близок к нашей семье, эта история его любви, которая продолжается вот уже около двух лет, — все это настолько возбудило ее симпатию, привязало ее к В., что теперь она только ему и доверяется вполне, привыкнув к нему… И вот, предо мною постепенно раскрывается состояние души человека, который от равнодушного отношения постепенно переходит к хорошему, спокойному чувству симпатии, доверия, привязанности: скоро она готова будет сделаться «его»… Такова

теперь Валя, выходя за В. От него будет зависеть дальнейшее его счастье: если он сумеет воспользоваться этим хорошим к нему отношением и еще более привлечет сестру к себе, — тогда счастье его упрочено. За сестру нечего бояться: она не принадлежит к числу тех героинь романов, которые, выйдя замуж по спокойной привязанности, вдруг ни с того ни с сего влюблялись в первых попавшихся людей, сумевших возбудить в них страсть. Она — не из таких; допустим, что подобные натуры не так поэтичны, но что делать: ведь мы все в подобном случае прозаики, и весьма обыкновенные, дюжинные женщины.

В. приехал сюда искать места, не имея хотя бы рекомендательных писем; бедный мальчик, конечно, не получил места, и вдобавок его продолжало мучить поведение сестры, которая после его отъезда вновь виделась со своим поклонником. Она не хотела так поступать, но у нее не хватило духу отказать ему разговаривать с нею (тот, к счастью, опомнился, понял всю невозможность своего поведения и более не говорил с нею о своей любви). В. чуть было не наделал глупостей — хотел ехать обратно в Ярославль. Мне нужно было его удержать, успокоить, уговорить и утешить, если можно, что я и делала, как

умела. Иногда мы проводили время в воспоминаниях прошлого, и все перипетии этой истории как бы вновь вставали перед нами; говорили о сестре, о Малороссии, о нем самом, или же оба молчали: он, погруженный в свои вечные мечты о Вале, я — о них обоих и о нашем положении, из которого Валя может выйти сейчас только посредством замужества… И тогда мне хотелось еще с большей уверенностью довести это дело до благополучного конца. Сестре теперь нечего колебаться: пусть сначала выйдет замуж, а потом — поступит на курсы.

В первое время, когда я приехала сюда, когда я наслаждалась, так сказать, своим положением свободного человека, мне становилось мучительно жаль Валю, когда я раздумывала над ее положением. Она не увидит такой жизни; ей не придется жить так, как мне, независимо… ей не жить тою свободною, чисто студенческою жизнью, какою мы живем: она будет на курсах уже замужней женщиной. И в эти минуты мне становилось ее до боли жалко, и хотелось мне порвать все или же сделать так, чтобы отложить свадьбу на несколько лет… Мне становилось как-то больно при одной мысли, что сестра уже не будет носить одну фамилию с нами, что она

уже не будет принадлежать нам. Поступи я годом раньше на курсы, испытай сначала эту жизнь, быть может, я не стала бы устраивать брака сестры с В.; я сказала бы: подожди, пока кончишь курсы. Но я понятия не имела о курсах и о здешней жизни; я дала начало, потом, когда все постепенно улаживалось и устраивалось, — мне ли было разрушать все? А между тем сознаю, что если бы по приезде на Рождество я поддалась такому сожалению, поверила своему чувству, то, пожалуй, могла бы отговорить сестру выйти за В.; могла бы сделать так, что она дожидалась бы 21-го года и потом поехала сюда. Я убедила бы сестру, потому что знала то настроение, с которым меня ждали дома. Но… мне ли было разрушать? И почем знать: быть может, она в обществе В. скорее найдет удовлетворение, быть может, жизнь ее с ним будет для нее более интересной…

Только однажды, осенью, я поверила этому чувству, написав Вале такое письмо, из которого она не могла ничего понять; потом на ее вопросы я отвечала, что писала под влиянием минуты, а приехав домой, видя ее веселою и довольною с В., я как-то сразу успокоилась. О, если бы только «все кончилось благополучно»…

В. уехал. Принимаясь за занятия, я чувствовала,

что отупела до такой степени, что боялась взяться за что-нибудь: мне все казалось, что я уже не могу ничем заниматься, что у меня такая плохая память…

11 февраля

Была на студенческом «чаепитии», которое ежегодно устраивается в день университетского праздника. Бедная молодежь! Раз в год ей разрешается собираться в неограниченном числе, приглашать профессоров, литераторов, слушать и говорить речи. Раз в год! Это немного. Я думала, что на этом вечере никто из посторонних, за исключением гостей, не бывает; но оказалось — что несколько билетов даются распорядителям для передачи знакомым курсисткам наших и иных курсов. Я еще не бывала ни на одной студенческой вечеринке, о всех их слыша такие отзывы, которые отбивали всякую охоту пойти и посмотреть на них. — «Неинтересно… ни речей, ни разговоров, танцы и пение…» — говорили наши и уходили неудовлетворенные. Но это «чаепитие» было таким собранием учащейся молодежи, на которое, действительно, интересно было пойти и посмотреть, и послушать.

8-го, утром, я получила небольшой оранжевый

билетик, на котором была написана фамилия распорядителя и адрес: Бассейная, кухмистерская Вишнякова, 4. Подходя к дому, я заметила, что подъезд был украшен какою-то драпировкой; молодежь прибывала: то в одиночку, то группами. Поднимаясь по лестнице, я уже слышала шум и гвалт. Отворив дверь в прихожую, я чуть не остановилась на пороге: предо мною была такая масса студенческих мундиров, что в глазах зарябило. Для дам была приготовлена отдельная раздевальня. Там был уже полный беспорядок: шубы лежали кучами на полу, калоши, шляпы, муфты — все это складывалось вместе, где и как попало. Трюмо, казалось, смотрело на нас с насмешкой, точно удивляясь: как оно попало в эту заваленную платьем комнату, где царствовал полнейший беспорядок и где в нем отражались не изящные бальные наряды, а темные, строго закрытые платья и гладкие прически…

Я вошла в первую комнату: студенты толпились у входа и проводили в зал. На нас, курсисток, они не обратили ни малейшего внимания. Я пошла дальше. В зале толпа медленно двигалась взад и вперед; легкое облачко табачного дыма стояло над нею. Я нашла двух знакомых курсисток и присоединилась к ним, чувствуя себя как в лесу среди

этой огромной, чуждой толпы. Сесть было некуда, все чайные столы были уже заняты; груды сухарей и бутербродов, стоявшие на столах, быстро таяли; из соседней чайной, в которой разливали чай, барышни то и дело сновали со стаканами в залу. Мы стали у стены и начали… ждать. Кто будет говорить речи и где, на каком месте, — мои спутницы, тоже в первый раз бывшие на вечере, не могли ответить. Но вот толпа мало-помалу начала останавливаться, собираться в кучки, точно в ожидании чего-то. Раздались голоса: «Сло́ва, сло́ва! — ш-ш!..» — пронеслось в толпе, и все мгновенно притихли. Никто не говорит. Шум вновь поднимается, снова крики: слова, шиканье, молчание… Я пробралась к центру комнаты и, следуя примеру предусмотрительных людей, влезла на стол, чтобы лучше видеть и слышать ораторов. Едва только я успела занять такую удобную позицию, как кто-то провозгласил: «Леонид Егорович Оболенский просит слова». — «Сло́ва! сло́ва!» — было ответом. На стуле появился человек средних лет, среднего роста, с окладистой бородой, лысой головой и умным, симпатичным лицом. Он говорил твердым, звучным голосом: «Господа, то, что я хочу сказать сегодня, будет как бы продолжением той беседы, которую многие

из вас слышали… (он намекал на заседание Историч. об-ва, бывшее незадолго до Рождества, на котором поднялись горячие споры и на котором я не была), — но на этот раз я взгляну на вопрос с другой точки зрения…» И заговорил о примирении между марксистами и народниками на почве практической деятельности, оставляя спорную почву — теоретические убеждения. Он говорил горячо и умно, его речь была совсем чужда узкой партийности, в ней была видна широта взгляда, гуманность, — одним словом, она имела идеалистический оттенок и по всему этому не могла не понравиться мне. Слушая эту речь, я чуть не с отчаянием чувствовала, что ничего не понимаю. Увы! я ничего не знала ни об учении Маркса, ни о народниках, не читала новых работ наших молодых писателей-экономистов; имена Струве, Яроцкого были мне знакомы только понаслышке; я даже не читала журналов за последнее время. Но надо было стараться понять, что возможно, о сущности этих направлений из речей. Кончил первый оратор; рукоплескания. На его месте появился проф. Яроцкий. Не успел он сказать нескольких слов о роли интеллигенции в обществе, как с другой стороны, почти рядом со мной, поднялся высокий рыжеватый господин в очках

— Струве и, отчаянно заикаясь и останавливаясь на каждом слове, стал возражать первому…

«Вы говорите о примирении… вы советуете соединиться для совместной работы, как будто говоря о том, что человек руководствуется теоретическими убеждениями. Какова же должна быть практическая деятельность, если человек не будет руководиться своими убеждениями, и каковы же будут его убеждения, если он не будет проводить их в жизнь?.. Ни о каком примирении не может быть и речи…» — вот та основная мысль, которую я могла уловить из этой беспорядочной, полной перерывов и заминок речи. Струве, быть может, хороший писатель, но как оратор он лучше бы сделал, если бы не говорил вовсе.

Это было началом спора между народниками и марксистами. Заговорили какие-то студенты, возражая то народникам, то марксистам. Главным пунктом споров была речь Оболенского: кто хотел идти на «примирение», кто не хотел. Слышались слова: народ… его благо, его польза, все те слова, о которых столько раз читала в книгах. Спорили горячо, но убедить друг друга все-таки не могли, и каждый остался при своем; молодежь жадно слушала, награждая ораторов шумными

аплодисментами.

А народ, из-за которого шли здесь такие горячие споры, — он, наверно, спал теперь крепким сном после тяжелого трудового дня, в своих маленьких деревушках, затерянных среди необозримой снежной равнины… и, наверно, ему и не грезилось, да и в голову прийти не могло, что в эту ночь, там, далеко, «господа» судят и рядят о его положении и говорят мудреными, учеными словами. Любопытно, что сказал бы нам деревенский мужик, если бы он мог попасть на это собрание? Почесал бы он в затылке и ушел или, уловив слово «помочь», понял бы его в смысле денежном?

Еще интереснее было бы привести на это собрание заводчика или фабриканта-миллионера, который послушал бы марксистов: усиление капитализации, рабочий пролетариат. — Что бы он сделал? Или, уверенный в своей силе, он с презрением посмотрел бы на людей, толковавших на разные лады о капитале, не имея ни его, ни фабрик и заводов, а между тем хотевших произвести такую-то эволюцию? Или же он струсил бы и ушел поскорее, со злобой в душе? Во всяком случае, от него в 9 случаях из 10 нельзя было бы ожидать сочувствия…

Но вот какой-то студент вскочил на стол и, обращаясь к присутствовавшим, просил сказать речь другого характера, не исключительно экономического, потому что человек живет не одним телом, но и душою, — и нельзя сосредоточить все внимание на одной материальной стороне жизненных вопросов. Это было как бы началом другой половины речей: идейного содержания. Послышались голоса, вызывавшие популярного профессора Кареева, но вдруг раздались оглушительные аплодисменты, и на столе появилась сухощавая фигура старика с вдумчивым выражением глаз и длинною седою бородою. Это был проф. Лесгафт, известный всей здешней учащейся молодежи. Он сказал коротенькую речь о житейской философии, которую всякий человек создает себе, и советовал обратиться к философии мужика, которому все так хотели помочь и которого все так мало знают. Его проводили гораздо меньшими аплодисментами, — явное доказательство, что речь почтенного профессора оказалась ниже ожиданий. Потом появилась львиная голова Кареева; говорит он хорошо, хотя и пишет, чересчур «размазывая». На этот раз он сказал всего несколько слов о значении науки, не желая никому возражать, потому что, по его

словам, атмосфера была и без того «насыщена электричеством». Да, правда, нельзя сказать, чтобы настроение было мирное…

Но все эти речи, все споры, все обращения к молодежи наводили на мысль: к нашей молодежи обращаются теперь, с такими же словами обращались и 10, и 20, и 30 лет тому назад; те же слова, те же идеалы… почему же, однако, обо всех этих прекрасных идеях говорят и до сих пор, как будто они в жизнь не проводятся? Ведь прежняя молодежь, по выходе из университета, должна была бы дружно стремиться к их осуществлению? Или молодежь так скоро отказывается от юношеских убеждений по окончании курса? Ведь в большинстве случаев люди в зрелые годы сожалеют о годах молодости, об утраченных идеалах, твердят о разочаровании…

Вот на эту мою мысль и ответил один симпатичный оратор, который напомнил молодежи, чтобы она увлекалась этими идеями не только в стенах заведения, но и в жизни проводила их, не страшась страданий.

Последнюю речь говорил Мякотин. Это была самая лучшая из всех слышанных. Она была хороша тем, что расширяла и объединяла все сказанное предшествующими ораторами: пусть

марксисты и народники, сходясь в практическом отношении, работают вместе на пользу народа, руководясь наукой и не пренебрегая изучением жизни; в то же время для более полного изучения своих теоретических убеждений они могут, они должны спорить, стараться научно выяснить себе основные вопросы. — Никому так много не аплодировали, как этому оратору.

Я уехала тотчас после этой речи, решив, что более никто говорить не будет, потому что ничего никто лучше не скажет, — так и было. Я вынесла хорошее впечатление от этого вечера в умственном отношении: слышанные речи мне многое дали, но никак нельзя было быть довольной отношением студентов к нам, слушательницам. Хорошо было тем, которые пришли со знакомыми, но я, да и другие, у которых их не было, чувствовали себя как будто совсем чужими в этой огромной толпе. Не только не было заметно товарищеского, предупредительного внимания, но даже не было оказано никакой вежливости; наше присутствие они точно игнорировали: рядом с нами стоял большой стол, за которым сидело много студентов, и ни один из них не предложил нам стула, хотя они должны были видеть нас, так как мы стояли неподалеку у стены. Если бы я не

встретила знакомых курсисток, я так и провела бы весь вечер одна… никто не подошел бы ко мне, как это обыкновенно делается на тех вечеринках и вечерах, где хозяевами бывает молодежь, которая заботится о гостях; на этот же раз хорошее товарищеское отношение было бы как нельзя более уместно. Не было также и таких речей, которые вызвали бы восторг молодежи, придали бы ей тот энтузиазм, который так к ней идет. Речам аплодировали, но нельзя сказать, чтобы очень много и долго; или никто из ораторов не сумел так затронуть старые темы о науке, о благе народа, о значении интеллигенции в обществе, чтобы действительно зажечь сердца молодежи? Должно быть, в наше прозаическое время не может быть ничего подобного…

18 февраля, воскресенье

Все ушли… как тихо!.. Я дорожу этими редкими минутами тишины и спокойствия; тогда остаешься наедине сама с собою.

19 февраля, вечером

Сейчас вернулась с заседания, устроенного в память 19 февраля 1861 года в большом интерна-

те. Так как, несмотря на все старания молодежи, праздник в этот день до сих пор еще не установлен, то мы решили отпраздновать его по-своему: для чтения было приготовлено несколько книг, и одна из слушательниц IV курса обещала прочесть реферат о крестьянской реформе. В 8 часов вечера в верхнем зале интерната было уже довольно много курсисток: они сидели за длинным столом, уставленным казенными лампами под зелеными колпаками; все имело очень деловой вид; так и хотелось положить по белому листу бумаги около каждой из нас и поставить колокольчик, чтобы заседание вышло настоящим, и мне вдруг страшно захотелось встать, говорить, вести заседание так, как я видала в Комитете грамотности. Но вездесущая Д-аш первая сказала несколько слов по поводу цели нашего собрания и прочла несколько страниц из «Эпохи великих реформ». Вслед за этим были прочитаны два стихотворения, и оба довольно скверно, по поводу освобождения крестьян. Наконец, пришла Г-ва и прочла свой реферат, который по своему содержанию нисколько не мог привести нас в более веселое настроение: она указывала всю оборотную сторону медали, все недостатки реформы и нарисовала картину современного печального

экономического положения крестьян. Для меня в общих чертах это, конечно, было не ново, но о подробностях я не имела ни малейшего понятия и слушала чтение с интересом. Этим рефератом, собственно, и закончилось все относящееся к этому дню. Г-ва предложила прочесть, как дополнение, статью из какого-то журнала о впечатлении, произведенном на крестьян манифестом об освобождении, — все заговорили: «Читать, читать!» Но вместо журнала появилась крошечная «интересная» брошюрка, и этого было достаточно, чтобы забыть о статье… Все притихли, слушая чтение, точно замерли в позах напряженного внимания. В эту минуту мы, без сомнения, представляли очень характерную картину: слабо освещенная комната (лампы на столе уже давно были потушены), и мы все, разбросанные группами около большого стола у дверей, у камина, в самых разнообразных позах, слушающие с напряженным вниманием. Все так и просилось если не на картину, то на фотографию. Брошюрка была довольно длинная, и когда ее кончили, то о статье никто уже и не заикнулся… Стали петь. Я впервые услышала студенческие песни и была приятно удивлена прекрасными голосами наших хохлушек. Небольшой хор (нас

всех было человек 50–60) пел очень стройно и с увлечением: свежие, звонкие голоса невольно захватывали и настраивали как-то возбужденно. Сначала пели, конечно: «Из страны — страны далекой», потом Я-ва затянула шутливую сатирическую песенку, с залихватским припевом, из которого я могла только разобрать: «черная галка, чистая полянка, ты, Марусенька, черноброва, чего не ночуешь дома?!» Каждый куплет этой бесконечной веселой песни возбуждал общее одушевление и смех, а хор после этого еще веселее подхватывал свое: «черная галка» и т. д. Мне даже весело стало: слова песни звучали так задорно, припев положительно захватывал. Но кончилась эта песня — и понеслись широкие густые звуки: «Укажи мне такую обитель…»

Наконец хохлушки запели свои родные песни… Есть что-то невообразимо грустное в их напевах, меланхолически-нежное; не знаю, как назвать это, но оно действует неотразимо. Мне вдруг стало так грустно, так живо вспомнилось все прошлое, вся жизнь нашей семьи…

25 февраля

Я так редко пишу… теперь, когда моя жизнь изменилась, когда я добралась до пристани. Каза-

лось — тут-то бы и писать, писать без конца, обо всем, и всю свою внутреннюю жизнь раскрывать в молчаливых беседах со своим неизменным молчаливым другом. Но выходит наоборот: я беру его все реже и реже, случайные записи принимают чисто внешний характер. Я живу, жизнь захватывает меня; дни летят за днями, а тетрадка лежит себе в портфеле, точно забытая, ненужная… Даже затрудняюсь, как писать. Я занимаюсь целыми днями, и все недовольна собою, и все мне кажется, что я делаю мало; иногда меня охватывает безумное сожаление о прошлом, об этих четырех годах, — и это хуже всего. Положим, они — в смысле житейском — не совсем потерянные: за это время я — могу сказать — окрепла духом, развилась, хоть немного, но узнала жизнь и людей; на курсы я поступила не юной неопытной девушкой, а человеком со сложившимися уже убеждениями, со своими выработанными взглядами, но зато мое умственное развитие, мое круглое невежество во всех отраслях знания приводит меня в отчаяние. Читаю ли я историю, занимаюсь ли славяноведением или логикой, — внутренний голос твердит мне: ты могла бы это все узнать раньше, — тогда у тебя были средства на книги, ты могла бы учиться по ним, а ты —

предпочитала истратить их на тряпки и брать ненужные уроки. Возможно было знать! надо было только приобрести нужные книги. А что делала я? — и опять передо мною мучительное заключение: те четыре года — потерянное время. С какою завистью смотрю я на Маню Пр-ву, которой едва 18 лет и которая в такие годы — уже столько знает, столько работает. А я? В 18 лет влачила бесцельно-праздное существование обеспеченной барышни, терзаясь своим бездействием, не видя ниоткуда ни помощи, ни утешения и, можно сказать, — блуждая во тьме собственного невежества, — читала без разбору все, что имела возможность прочесть… И вот результат: я — на курсах; на первых уже порах написала совершенно неверно, чисто по-детски, изложение данной профессором статьи и ясно увидела в этом всю свою неразвитость и неспособность.

О боже мой, да что же я такое? Я стремилась к образованию, будучи совершенно неспособна, ниже всякой посредственности? Ведь мои способности, о которых мне столько твердили в детстве (я положительно могу одобрить себя за то, что всегда относилась крайне критически ко всем выражавшимся мне похвалам, искренно считала себя вполне недостойной их), моя память — они,

должно быть, ослабели, притупились во время моего тяжелого 4-летнего домашнего плена, в продолжение которого им, к несчастью, было так мало пищи и слишком много таких житейских дрязг, что они могли только систематически притупляться. О, бедная Лиза! Несчастное, жалкое существо! Как я подумаю… о, нечеловеческий стон готов вырваться из груди, и хочется упасть на землю и ничего не видеть, не слышать, не чувствовать, не понимать… Ах! Воспоминаниями и упреками не поможешь делу, не вернешь прошлого… Мама! Если бы только она могла и хотела знать, каков ее деспотизм, каковы ее предрассудки!

Ну, впрочем, что ж я? Безвозвратно прошлое, непоправимо сделанное. К чему терзать себя еще теперь? Или мало было мне мучения и раньше?

Да, первое время я была так счастлива, так спокойна, мое прошлое точно заслонилось настоящим настолько, что и не видать его было. Но теперь, когда занятий стало больше, нет-нет да невольно и вспомнишь прошлое.

27 февраля

Я теперь обращаю внимание на одну сторону своей жизни, о которой прежде никогда не дума-

ла, но разговоры о прошлом лиц, встречавшихся мне здесь, невольно заставили меня обратить на нее внимание. Это — то, что я совсем не вращалась в обществе, не приходила никогда в близкое соприкосновение с ним, что у меня не было знакомых молодых людей, которые бывали бы у нас. Слушая рассказы некоторых из наших слушательниц, таких же молодых девушек, как и я, их воспоминания о прошлой жизни, об их знакомых, иногда даже об их увлечениях, я как-то невольно думаю: а ведь в моей жизни ничего подобного не было… вот вся она передо мною — однообразная, монотонная, бледная внешними событиями, богатая — горем одним, но зато постоянным, и неприятностями, мелкими, неизмеримыми для глаз, но портившими всю жизнь, и лишь с одною хорошею стороною — совместною жизнью сестер и братьев.

Как-то раз одна из наших интернаток в минуту откровенности, разговорившись о своей жизни, довольно ясно намекнула, что ей пришлось уже многое пережить, и потом спросила меня: «А вам пришлось испытать что-нибудь подобное?» Я ответила отрицательно. Она удивилась. «Значит, вы всю жизнь прожили как под колпаком, не встречаясь с людьми?» — спросила она. — «Да,

в данном случае — не пришлось», — невольно усмехнулась я и мысленно добавила: «Да и не придется», потому что здесь моя однообразная студенческая жизнь, с ограниченным кругом знакомства, опять-таки своих же товарок-курсисток, пройдет так же однообразно и спокойно и даже, пожалуй, без всяких сближений со студентами, как и в этот год; а пройдет это время, и если мне удастся осуществить свое намерение — получить место в деревне, — так будет еще менее случаев для каких бы то ни было знакомств.

Это — немножко скучно, но что же делать? Если жизнь так складывается… не всем же все дается. Читая всевозможные рассказы, романы, этюды, где говорится о печальном положении женщины, которую никто никогда не любил, я отношусь к этому как нельзя более хладнокровно. Что ж? Ведь не всем же; а если я не принадлежу к этому избранному числу — значит так и надо, так и лучше… Но жизнь никогда не может оказаться скучной и печальной, если ее наполнить разумною, интересною деятельностью и руководиться при этом любовью к людям вообще.

Однако вот что действительно было бы хорошо и удобно — иметь хоть одного знакомого студента, только человека интересного, с которым

можно было бы обо всем поговорить и которого можно было бы приспособить для доставки книг, а иначе не стоит. Но я уверена, что это и не случится, именно потому, что мне этого хочется, — моя судьба такая. Ну что ж! велика важность, и без него можно обойтись… Нельзя же чересчур много требовать от жизни, в особенности мне, — которой ничего не дается сразу.

Скоро экзамены, в половине марта. Так как свадьба Вали предполагается в самый разгар экзаменов, то я рассчитала, что мне было бы выгоднее сдать сначала возможно большее число их. Я наметила два, по латинскому и русскому языкам, и теперь отчаянно боюсь, хуже последнего семинариста: а если не приготовилась, а если не сдам? (Так как я совсем не посещала этих лекций…)

1 марта, вечер

Интересно, что сказали бы наши интернатки, если бы знали, что я сегодня исповедовалась и завтра буду приобщаться…

Насколько я могла подметить из случайных разговоров с моими сожительницами, — одни из них относятся скептически-равнодушно к существованию Бога и вообще к религиозным вопросам, другие с мучительным недоумением,

третьи — признают Его, но совсем не признают нашей религии, с ее обрядами, создавая себе свои теории; все же вообще — относятся с полнейшим индифферентизмом к религии так, как она есть теперь, к ее обрядам, к ее содержанию.

В прошлом году, в Ростове, я случайно встретилась с молодым и симпатичным священником, который на мой вопрос: что же надо делать для того, чтобы правильно веровать, чтобы отличать религию истинную от ложной, — ответил: «Надо изучать свою веру…» Эти слова меня поразили своею неожиданностью, и, однако, этот ответ был как нельзя более естественным. Правда, как же такое простое соображение не пришло мне раньше в голову? Ведь изучаем же мы музыку, языки, тьму всяких ненужных предметов по окончании гимназии, а о вере не думаем? На школьной скамье мы заучивали машинально то, что нам дают учебники и толкуют учителя; Закон Божий — мы считали учебным предметом наравне с арифметикой и прочими, с ним представление о религии даже как-то не связывается. По окончании среднего учебного заведения кто выходит замуж, кто так себе живет, ничего не делая, кто трудится, кто учится, но никто не думает о вере: то, что мы вынесли из гимназии, — у одних обращается в

простую, немудреную веру без рассуждения, у других она исчезает под влиянием обстановки или вследствие собственных убеждений.

Поступив сюда, я с интересом ожидала лекций богословия, над которыми слышала столько насмешек. Я думала, что так можно рассуждать только с предвзятой точки зрения, что в богословии нет ничего достойного насмешки, и когда о. Рождественский взошел на кафедру — я вся обратилась в слух и ожидание. Но увы! лекции богословия с внешней стороны были прямо невозможны: батюшка до того заикался, что трудно слушать при всем желании, приходится напрягать все внимание, и в конце концов, кроме утомления, ничего не выносишь. К тому же батюшка часто пропускал лекции. Я бросила ходить на богословие, но теперь читаю его пред экзаменом, читаю, стараясь найти в нем все, о чем мне твердили раньше: что это просто чепуха, которую учить не стоит, что лекции никуда не годны, что богословие заставит скорее потерять веру (как говорил нам Введенский), чем укрепить ее. Я читаю и действительно нахожу некоторые места, которые ни в каком случае не могут убедить человека с пошатнувшейся верой, не могут ничего доказать; но я не могу смеяться над этими

страницами, потому что нахожу и такие, которые мне кажутся совершенно истинными. Таковы те, где говорится о религии как о необходимой потребности человеческого духа, те страницы, где рассматривается, хотя отчасти, история религии. Но со всем тем все богословие строит свои главнейшие основания так, что они доступны только вере и неверующего убедить не могут. — Доказательств, доказательств! — требуют многие, когда им начинают говорить о Боге, бессмертии души и т. д. Доказательства же богословия основываются на форме всеобщего существования религий, из этого оно выводит заключение о божественном происхождении человека, о прежних непосредственных отношениях с Богом. Интересны, далее, разборы доказательств Декарта, Лейбница; лучшим же и наиболее убедительным из всех является кантовское доказательство, основанное на категорическом императиве. Он так ясно, так убедительно говорит человеку о бытии Высшего Существа, так возвышенно… Но ведь сам Кант отрицал религию во всех ее внешних проявлениях и, следовательно, с точки зрения богослова в этом отношении не прав.

Когда мне говорили, что на курсах в Бога не верят, и предсказывали, что я непременно сде-

лаюсь неверующей, — я всегда была уверена, что этого не будет, что мои религиозные убеждения тверды и их не так легко поколебать не только курсисткам, но даже самим курсам, даже лекциям профессоров. Когда я оборачиваюсь назад, то вижу, что я верила прежде, как-то не рассуждая, не вдумываясь хорошенько, на что, собственно, я опираюсь и что меня руководит в моей вере: верила — ну и верила, совершенно машинально, в силу, должно быть, бессознательно отразившейся на мне веры предшествовавших поколений, которые веровали так же просто, как и сами жили. И вот теперь я читаю эти лекции серьезно, внимательно следя за каждым словом, стараюсь поставить себя на место неверующих, спрашиваю себя: а это доказало бы мне? произвело бы на меня впечатление? Но стать всецело на их точку зрения мне не удается. Я не могу отказаться от веры. Я чувствую, что что-то есть во мне, что составляет часть меня самой, что отбросить я не в силах, что живет во мне с детства. Или во мне есть та мистическая жилка, заставлявшая меня в детстве зачитываться житиями святых в огромных Четьих минеях, которые брала моя бабушка у о. Петра «почитать» и которые увлекали меня мечтать о пустынях, где спасались святые

подвижники, о путешествии туда, о келии где-нибудь на скале, где я непременно хотела жить после, «когда вырасту большая».

Теперь я поняла, *что* надо выделять при слове «вера». Ведь если во всем следовать учению Церкви, то мало еще просто признавать существование Бога. За ним идет целый ряд догматов, Библия — в ней учение о происхождении мира, человека. Но вот в этом-то наука и сталкивается с религией и противоречит ей. Разве современная естественная наука не утверждает теории постепенного развития? Геология — та считает существование Земли десятками тысяч лет; сравнительное языкознание не станет руководствоваться в своих изысканиях сказанием о строении Вавилонской башни и смешении языков. Религия же в Библии дает нам ответы на все эти вопросы в строго религиозном духе. Наконец, нам известно и учение о Божественной личности Иисуса Христа и учение о Нем как об исторической личности, отрицающее Его божественное происхождение и которое наш батюшка, наверное, опровергнул бы по пунктам. Вот те самые резкие, в глаза бросающиеся противоречия, с которыми мне пришлось столкнуться…

Итак, мало одного основного вопроса: верить

или не верить в Бога? Если верить, то как? Следовать ли учению Церкви или создавать себе свои выработанные теории? Если следовать учению Церкви, то принимать ли и внешнее выражение этой веры в религиозных обрядах? Если принимать, то все ли обряды, какие из них нам кажутся более важными, имеющими внутренний смысл, и какие кажутся излишними, а иногда и устаревшими, непригодными при современном уровне умственного развития общества? Вот те вопросы, на которые наталкиваешься при виде всех вышеприведенных противоречий и взглядов, высказываемых мне некоторыми из знакомых курсисток. Хотя у меня их и очень немного, но какое разнообразие во взглядах и убеждениях! От убежденной материалистки все ступеньки до наивно детски-верующей. И насколько мне удалось подметить, неверующие, или настолько сомневающиеся, что их сомнение граничит с неверием, отрицающие все обряды, всю внешнюю сторону религии — и есть наиболее развитые, наиболее интересные и образованные. Так что здесь я вижу справедливость мнения, которое не раз приходилось читать: что интеллигентная часть общества отличается если не полным неверием, то полнейшим религиозным

индифферентизмом. Это очень печально. Вот мне и нужно ответить себе на эти вопросы, если я признаю Бога… Впрочем — есть еще один: почему я верю? И вот я отвечаю… не сразу. Почему? — должно быть, для меня, как и для всего человечества вообще, во все времена, это составляет необходимую потребность духа, существенную часть меня самой, моего «я». Сознательно я признаю существование Высшего Существа, Творца всего сущего; я не сомневаюсь…

Ярославль, 30 апреля

Совершилось… Вчера состоялась свадьба сестры… Она стояла под венцом, прелестная в своем белом атласном платье, длинной белой вуали и венце из флердоранжа, тоненькая и стройная; рядом с ней стоял В., такой высокий и эффектный при ярком свете свечей; оба они так похожи друг на друга и составляли красивую пару. Вечером проводили их на вокзал. Поезд тронулся; молодые вышли на площадку; Валя махнула платком раздругой… и поезд медленно исчез в темной дали… С этого момента для нее началась новая жизнь.

Новая жизнь! Наша Валя — и замужем! Так дико, так странно звучит это слово… Увы! это правда, правда, — ее нет, и из каждого угла ан-

тресолей, кажется, смотрит ее отсутствие… Как мне тяжело! Сегодня с утра встала и бродила весь день. Я испытывала такое ощущение, точно потеряла близкого человека, и именно потеряла (не в смысле смерти): человек этот исчез…

Боже! как мучилась я в последнее время!.. В. дал Вале слово, что она будет на курсах, что он получит место в Петербурге, — так было в прошлом году, когда Валя дала ему свое согласие под этим условием. Места он не получил: что же оставалось делать Вале? — Отказывать ему накануне свадьбы она считала нечестным… Теперь я начинала жалеть сестру; взвешивая все обстоятельства, я находила, что сестра жертвовала слишком многим: ведь до свободы ей оставалось всего полтора года. В. брал слишком много, едва ли сознавая это. Сравнивая их, я находила даже, что он ее не стоит, что она слишком хороша для него: красивая, с небольшим, но независимым состоянием, очень неглупая от природы и с сильным стремлением к умственному развитию, с хорошим характером — моя сестра представляла собою очень интересную девушку. В. выбрал именно ее, лучшую из нас. Глухое озлобление поднималось во мне против него, и я чувствовала, что как-то враждебно отношусь к нему. И в то

же время я не могла и не смела ничем выражать своего горя; я расстроила бы сестру, только разбередила бы больное место.

Ах, зачем я годом раньше не попала на курсы! Тогда я рассуждала бы иначе, и если бы свадьба и состоялась, то позднее. Я упрекаю себя, зачем, не имея понятия о том, что меня там ожидает, я рассуждала в прошлом году так, что следствием всех этих переговоров является свадьба Вали. О, если бы я только могла знать! Если бы предо мной хоть на мгновение мелькнула эта курсовая жизнь — Валя не была бы теперь замужем…

Последний месяц я жила полною умственною жизнью, пользуясь всем, чем имела возможность, занималась, сдавала экзамены, посещала публичные лекции, заседания Вольно-экономического общества, школу Технического общества; передо мной вдруг распахнулась такая интересная страничка жизни, что я читала ее беспрерывно до конца, не замечая ничего окружающего… Я дышала полною грудью, время летело с ужасающей быстротою, иногда мне бывало безумно весело; но потом еще хуже, еще ужаснее бывали минуты, когда я вспоминала, что я лишила всего этого Валю, что не жить ей никогда такою жизнью, беззаботной — с одной стороны, захватывающей

интересом — с другой… Не жить никогда мне с нею одною и тою же жизнью, не ходить на лекции, не слушать вместе любимых профессоров… В такие минуты я не знала, куда деться, куда уйти от себя самой…

И теперь уже я была лицом к лицу с действительностью. Я сознавала, что мое личное чувство против него смешивалось с чувством горечи и сожаления о сестре, и все вместе делало то, что у меня становилось как-то легче на душе, когда я смотрела на него враждебно… Я холодно поздоровалась с ним по приезде и не говорила почти ни слова; он, в свою очередь, вовсе не был расположен объясняться, считая себя во всем правым… Наконец я не выдержала… Поздно вечером, когда мы молча сидели втроем в комнате сестры, я заговорила о лекциях, которые хотела дать ей; я говорила ободряющим тоном, чтобы не расстраивать Валю, но не выдержала, и слезы навернулись у меня на глазах. Я отвернулась, не желая, чтобы В. видел мое волнение. Он тихо встал и вышел в другую комнату. Пользуясь его отсутствием, я села рядом с Валей и тихо-тихо, едва слышным шепотом, начала ее утешать, говоря, что, пока я на курсах, пока у меня есть лекции и книги, я все буду давать ей, чтобы она

имела возможность заниматься так же, как и я.

Валя слушала молча… Слезы были у нее на глазах… Совсем потеряв всякое самообладание, я плакала так же, как и Валя, и невольно в словах моих звучало сожаление… Вдруг громкое, какое-то судорожное рыдание вырвалось у Вали, и она упала головою на стол… В. вбежал в комнату: тут только я сообразила, что сделала, — и сердце так и остановилось… Он нежно ее успокоил и начал что-то тихо говорить ей; я вышла… Отвратительное малодушие! Разве можно было ему поддаваться?

Когда В. уходил, я переговорила с ним одна, в прихожей. Он выразил сомнение, что она могла плакать о том, что не попадет на курсы. — «Ей нет запрета: хочет — пусть идет, — я переведусь в Петербург, прикомандируюсь кандидатом при окружном суде: без жалованья, конечно, не смеют отказать в прикомандировке…» Я могла только покачать головой, — уж который раз надеется он попасть в Петербург. Конечно, сестра могла бы ехать учиться и одна, но я настолько знаю ее натуру, что могла заранее поручиться: она не оставит В., хотя бы из жалости к нему, так как знает, как тяжела будет для него разлука с нею… В., по-видимому, не мог стать на место Вали, чтобы

вполне представить себе ее горе; а мои мечты о совместной жизни с сестрой, о дружных занятиях, о всем том, что мы будем вместе изучать, — моя радость при мысли, что я буду не одна, а с сестрою, с близким мне человеком, — все рушилось, как карточный домик от легкого ветра…

Я не говорила с сестрой ничего более, да и она сама точно избегала разговоров со мною… Оставался только день до свадьбы; он, как и все предыдущие, был посвящен беготне и суете. Все хлопоты по свадьбе взяла на себя Надя с какою-то ревнивою ответственностью, не желая уступить мне из них и сотой доли. Мама относилась ко всему с холодной сухостью, не изменяя себе даже и для такого события. Она сделала Вале все приданое белье, она принимала и угощала гостей, но по отношению к сестре осталась прежнею. Хоть я и знаю ее отношение к нам и знаю, что она не изменит себе ни в чем, но все же мне было тяжело видеть подобное отношение к сестре. Кажется, я бы легко перенесла, если бы она относилась так ко мне, но к Вале… — все это только прибавляло горя…

И когда, на другой день, сестра стояла под венцом такая тоненькая, такая прелестная, детски-милая, с задумчивым выражением темных

глаз, устремленных куда-то вдаль, — я находилась среди подруг-барышень, стараясь спрятаться от взоров любопытных, и слезы неудержимо катились из глаз. Я плакала как ребенок, дав себе волю, забыв, где я нахожусь, и видя только одно: благодаря моему участию, на моих глазах совершается то непоправимое, вследствие чего Валя теряет возможность быть со мною там… Я плакала о ней в последний раз, потому что больше я не могла бы плакать… да больше я и не смела бы… Конечно, было бы лучше владеть собою, но, видно, и моим нервам есть пределы. Я даже не думала, что любопытные из публики могут это заметить и потом рассказывать всем…

В. держался хорошо, со своей обычно-ленивою манерой. Он дал Вале первой вступить на атлас… После окончания венчания о. Владимир сказал речь новобрачным, в которой меня поразили слова: «если вы предстали здесь, пред алтарем, — значит здесь ваша доля, и ни в каком другом месте». Что это? Ведь точно нарочно он давал ответ на мой безмолвный вопрос судьбе.

Потом был семейный обед у бабушки… Вскоре мы переодели Валю в дорожное платье и проводили молодых на вокзал… Для Вали началась новая жизнь…

9 мая

На днях получила первое письмо от Вали, сегодня — второе. Она в восторге от Киева; из первого письма видно, как ее все занимает — и путешествие, и ее новое положение, и муж, услужливый и нежный, ухаживающий за ней, как за ребенком. Читая это письмо, такое веселое, счастливое, я испытала невольно радостное чувство. Слава богу, она счастлива, лишь бы она была счастлива… Надо, чтобы первые дни ее новой жизни не омрачались никакими тучами… Я не скажу ей ничего больше о Петербурге, время залечит ее горе; средства к образованию всегда у нее будут, а пока пусть живет радостно, забыв о прошлом и не думая о будущем…

Во втором письме Валя пишет об отъезде в город П., а оттуда в имение мужа, и ей невольно приходит на мысль, что она должна будет жить в провинции, а не там, где мечтали мы обе. Так грустно и покорно говорит она, что старается себя утешить тем, что ее горе — ничтожно в сравнении с массою страданий всего человечества: «в этом все мое спасение, чтобы не плакать от отчаяния по тому, что так еще недавно похоронила. А плакать мне теперь уже нельзя, чтобы не

мучить его».

Что же мне было делать, прочтя эти строки? Плакать опять? Слез уже не было… а то, что тяжело лежит на сердце, — останется, и дольше, чем будет печалиться Валя. Ее новая жизнь унесет ее, а я, которая испытала жизнь там, — чувствую острее, чем она, всю ее потерю, хотя никогда не скажу ей этого; чувствую еще больше и потому, что я так же ждала возможности жить с нею вместе, столько же мечтала о ней, сколько и она, а между тем невольно видишь себя виновницей того, что она лишена этой возможности…

В. должен искать место где-нибудь не в глуши, а то провинциальное общество вовсе не представляет собою подходящей среды для самообразования и развития. Если бы Валя попала в хорошую интеллигентную среду — другое дело, я могла бы только радоваться, и сама уговаривала бы ее не падать духом и не отчаиваться при мысли о том, что она не будет жить в Петербурге. Но ведь еще неизвестно, в каком провинциальном городке они будут жить: если они останутся в П. или переведутся в какой-нибудь городок еще похуже? Если Вале придется знакомиться с провинциальными дамами, у которых интересы — последние сплетни, кухня и моды? У нас,

в Ярославле, и то можно пожаловаться на неинтеллигентность общества, — что же сказать о глухой южной провинции? И вдруг Вале придется там жить… может быть, это было бы и хорошо, но не в ее годы, не с ее пристрастием к столице… Впрочем… вот что значит русский человек: чуть было не сказала: «авось как-нибудь все устроится…» Магическое «авось»!

В. сам пишет мне, что не хотел бы переводиться в провинциальную глушь; как честный человек, он жалеет, что запрячет туда Валю… И это его сознание меня немного утешает…

13 мая

Сегодня я перечитывала свои заметки, начиная с августа месяца; я не писала дневника за последнее время своей жизни в Петербурге… Я жила, особенно в последний месяц, — что называется, «вовсю», насколько это можно сказать о нашей жизни; иногда хотелось взять тетрадку, написать о виденном и слышанном, но приходилось заниматься до 2–3 часов ночи, сдавая ускоренные экзамены, а там — пойдешь к соседкам по комнате, выйдешь с ними на балкон, засидишься, наконец — ляжешь спать, когда уже совсем светло, и спишь как убитая до 10 часов,

а потом — опять заниматься… Где тут писать? А между тем сколько можно было бы написать…

В апреле мне удалось побывать на заседании Вольно-экономического общества, на лекции А. И. Введенского — «Об условии допустимости веры в смысл жизни», в школе Технического общества для взрослых рабочих, на лекциях Е. И. Ламанского «О значении денег в народно-государственном хозяйстве»… Из всех этих лекций, заседаний, посещения школы я вынесла столько впечатлений, передо мною снова развернулась такая интересная картина жизни, возбудившая во мне столько новых мыслей, — что я чувствовала себя точно в ином мире, где я плавала как рыба в воде; я дышала полною грудью, а напряженная жизнь, которую мы все вели во время экзаменов, то беззаботное веселье, которое невольно охватывало после каждого сданного экзамена, длинные разговоры, научные споры, которые наконец-то стали завязываться у нас под влиянием экзаменов и изученных предметов, — вся эта жизнь так соответствовала моему настроению.

Из одного посещения школы Технического общества я вынесла не меньше, чем если бы слушала полгода лекции какого-нибудь предмета: могу сказать, что я в первый раз в жизни

видела с такою ясностью силу просвещения. Эта школа принадлежит к числу тех немногих школ Технического общества, в которых на вечерних занятиях проходится в три года гимназический курс (без древних языков) взрослыми рабочими. Их принимают по окончании сельской школы, требуется только уменье грамотно писать и считать. В этой школе Е. Н. Щепкина читает историю; я давно просила у нее позволения приехать посетить школу, но она сначала не позволяла, очевидно не желая допустить туда малознакомого человека. Наконец она позволила мне, и я приехала по Шлиссельбургскому тракту в с. Смоленское. Я вызвала заведующего школой, Поморскую, которая и провела меня в класс. Шел урок химии. В низенькой комнатке, с грязными стенами и потолками, на старых-старых партах сидело человек 25 взрослых учеников, одетых очень прилично. Молодой человек (преподаватель — горный инженер) вызвал к доске одного из взрослых мужчин и начал его спрашивать урок; тот отвечал тихо и робко, осторожно выводя на доске химические формулы…

Я сидела и только удивлялась, никак не предполагая, чтобы подобные вещи могли быть у нас, в России. А между тем ученик за учеником

выходили к доске, отвечали и писали формулы, из которых я, увы! ничего не понимала… По окончании урока я подошла к группе учеников и заговорила с ними; они отвечали на мои вопросы вполне свободно и непринужденно и, заметив, что я интересуюсь их школой и ими самими, с охотой давали объяснения и рассказывали, где кто из них работает, на каких фабриках и заводах. Когда я сказала им, что в Ярославле есть тоже большая фабрика, они прежде всего осведомились: «а велик ли рабочий день?» Я, к сожалению, не могла хорошенько ответить им на этот вопрос, но кто-то из группы ответил: «Известно, как и везде, часов 12». Все это были ученики 2-го класса, соответствующего 5–6-м классам гимназии. Слушая эти ответы, глядя на простые, но серьезные лица этой молодежи, совсем как-то забывалось, что говоришь с простыми рабочими; я была точно среди интеллигентов, студентов, кого хотите, только не среди простого народа, не среди мужиков. После химии был урок русской истории. Преподавательница Ек. Ник. Щепкина читает отлично, живо и ярко обрисовывая события эпохи (время Екатерины II, ее учреждения); такое преподавание не везде встретишь и в гимназиях; но и аудитория показала себя вполне достойной пре-

подавания: нужно было видеть, как горели глаза слушателей и с каким напряженным вниманием они ловили каждое слово, следя за нитью мысли, жадно вслушиваясь особенно во все, что касалось крестьянства. После урока они окружили Е. Н. и засыпали вопросами: кто из царей и что сделали для пользы крепостных? кто первый облегчил их положение? и т. п. Е. Н. обещала им все рассказать потом, не желая забегать вперед. — «Ну а я знаю, кто больше всех сделал: Александр II, вот это молодец!» — сказал один из самых взрослых рабочих, с умным и тонким лицом.

Чего бы я не дала, чтобы быть на месте Е. Н., читать, так же пробуждать сознание хотя у небольшой группы, развивать ум рабочих, эту силу, дарованную всякому, но которая веками спит у народа, придавленного сначала рабством, а теперь привилегированным положением высших классов, — и, пробудив эту чудную силу, наконец увидеть перед собою простых рабочих людей, вполне сознательно смотрящих на мир, думающих, понимающих, а не только грамотных, но все-таки сильно неразвитых «заводских» и «фабричных»; это ли не прекрасная задача и награда за труд?

Невольно думалось, глядя на эти симпатичные,

честные лица: вот они не будут пьянствовать, не найдут удовольствия в кабаке или пьяной беседе, для них доступно понимание Пушкина, Гоголя, Жуковского, всей русской литературы, для них интересна история отечества. Они — будущие, может быть, лучшие отцы семейств, чем простые рабочие, не посещавшие школ общества, они — лучшие рабочие, которые уж не позволяют обращаться с собою как с безгласными существами, но зато и работа их с помощью приобретенных познаний по механике, физике, химии лучше других.

Я уехала из школы с самым отрадным, хорошим чувством в душе. По дороге со мной ехал в город один из учеников — слесарь с чьего-то завода. Все время разговаривая с ним, я опять получила то же впечатление: в живом, интересном разговоре не чувствовалось совсем различия положений и образования. Он рассказывал мне о школе, о своей жизни, о преподавании, которым был, видимо, очень доволен, и, в свою очередь, расспрашивал меня о том, где я училась, зачем приехала в Петербург… Я совсем не заметила, как доехала до Невского. Прощаясь, с невольным уважением я протянула руку этому молодому человеку.

22 мая

День за днем тянутся, как вечность… Мне кажется, что я живу здесь не месяц, а несколько месяцев… Иногда мне становится невыносимо тяжело. Когда мы жили втроем — еще кое-как сносно было, но теперь наша жизнь производит на меня самое скверное, угнетающее влияние. Здесь нет ни одной курсистки с нашего курса, нет ни одного интеллигентного знакомства, и наша домашняя обстановка, живя в которой можно не видеть ни одного постороннего лица, кроме доктора и бабушки, весь порядок дня, бестолковое и неудобное его расположение, с обязательным ужином в 8 часов, после которого все, кроме нас и братьев, ложатся спать, а вся остальная часть квартиры погружается в полный мрак и тишину, — все это, после моей петербургской жизни в интернате среди людей, кажется вдвое тяжелее…

Я теперь ясно вижу, до чего вредно влияла эта обстановка на мой, в сущности, не такой дурной, как это думают, характер. От природы я не зла и с детства была необыкновенно чутка ко всему, но этой чуткостью почти всегда пренебрегали, обращаясь со мной не в меру резко и строго… В результате получилась масса мучений, и я об-

ратилась точно в mimosas en-sitiva[91]: робко и застенчиво, но доброжелательно относясь к людям, я не сторонюсь от них и с теми, которые мне симпатичны, не прочь сойтись… Но… стоит не понять меня, стоит в ответ на первые шаги с моей стороны — не сделать шагу со своей стороны, — и я моментально переменяюсь, становлюсь сдержанна, равнодушна, холодна, как камень. Или же наоборот: на первых порах знакомства, когда я еще не успела рассмотреть человека и поэтому не желаю сходиться с ним ближе, я держу себя очень сухо, так что это даже замечают… Но если человек, при более близком знакомстве, окажется симпатичным, то потом он же меня не узнает — так изменяется мое прежнее холодное обращение. Я вспыльчива: рассердившись, могу иногда говорить резко, а потом, в глубине души, мне всегда бывает очень стыдно, и я готова прийти просить прощения.

Я могла бы вынести всякую жизнь, если бы были нормальные семейные отношения, но у нас нет и этого утешения. Грубый и резкий характер мамы, ее страшная раздражительность, при помощи которой она «воспитывала» нас, не

---

[91] Примечания: 91
Ветку мимозы *(фр.).*

обращая внимания ни на нашу молодость, ни на то, что мы — тоже люди, — все это, как я теперь вижу, повлияло и на характеры ее детей: наполненная заботами о своем «я», вечной злобой на нас и чуть не на весь мир, — ее жизнь, можно сказать, изуродовала нашу, положив на нее свою деспотическую руку…

Да, мы прошли жестокую школу воспитания, не зная ни ласки, ни любви, ни нежности материнского сердца, которые имеют такое могучее влияние на ребенка. Говорят, что мама — больной человек, ей простительно; нет, непростительно даже и больной матери терзать своего ребенка… Ах, вспоминать тяжело эти прошлые дни нашей жизни, если смотреть со стороны отношений мамы к нам. В то время у меня была гимназия, которая занимала большую часть моего времени, а потом… уж лучше прогнать от себя эти воспоминания.

16 июня

Вот уже половина июня! Май тянулся с ужасающей медленностью, июнь бежит изо всех сил. Потерянное время! Я ничего почти не делала, а между тем мучусь сознанием своего невежества и сожалением об этих несчастных 4 годах,

которые прошли даром. Теперь, казалось бы, надо вознаграждать потерянное время, читать, учиться… И вот я начинаю… читаю Страхова: «Мир, как целое», Джаншиева: «Эпоха великих реформ», но распределение моего дня таково, что для систематических занятий как-то не находится времени: утром я занимаюсь со своей маленькой ученицей, а остальное время уходит на чтение журналов, прогулки и катанье на лодке. По временам делается так тяжело, так тяжело на душе, точно какой-то гнет положили на нее, и я чувствую его почти физически…

Маня П-ва приехала, и я на днях была у них… С тех пор как я узнала, что она отозвалась обо мне своей сестре: «мы — разные люди», я чувствую, что этими словами мне нанесена тяжелая обида. Какое горькое чувство подымается во мне, когда я вспоминаю, *как* я смотрела на Маню, поступая на курсы, с каким восторгом и уважением относилась к ней: смотря на нее снизу вверх, знавшая все ее превосходство, — я была готова учиться у нее, слушать ее, говорить с ней обо всем, словом, найти в ней, на курсах, старшего товарища, который помог бы мне разобраться в новой жизни и обстановке, меня окружавшей. Не тут-то было! М. Е. прежде всего была занята своею жизнью,

своими делами и как приехала, так и погрузилась в них, только раз побывав у меня. Против ожиданий, я была предоставлена себе самой. Мне никогда не удавалось даже поговорить с ней об интересовавших меня научных вопросах, и я, хотя и чувствовала необходимость помощи человека, более меня знающего, — все-таки должна была справляться с затруднениями, как умею сама, или сообща со своими однокурсницами, не многим более меня знающими. Я также никогда не говорила с нею о моих убеждениях, но некоторые из ее взглядов я знала, и из моих возражений она могла вывести заключение, в чем я с нею не согласна. Это — политические и религиозные убеждения.

Я прямо заявила ей, что не люблю либеральничанья на словах, а это-то как раз и развито у нас; такое либеральничанье заходит очень далеко… в словах и мечтаниях наших слушательниц. Послушать их — весь мир перевернуть надо, — и на место всех «отживших» форм правления водрузить знамя социал-демократической республики. Все это, может быть, и очень благородно и возвышенно, но, к сожалению, мыслимо только на словах, а не на деле. Притом подобные очень быстрые рассуждения грешат отсутствием

серьезности, основательности, знания народной жизни и истории вообще. Видно, что говорят люди со всем пылом молодости; зная, что вот это плохо, — предлагают тотчас же радикальную меру для исцеления, не справляясь, подходит ли она по характеру к народу, его развитию, его истории или нет. Мне до сих пор смешно вспомнить один разговор двух наших курсисток «из крайних» с юным горняком, как постепенно, шаг за шагом, критикуя все и вся, коснувшись даже Французской республики, которую обе признали негодной, они закончили разговор выразительным жестом, выражавшим, что надо все переустроить на новый лад — социал-демократический! Это было так детски-наивно, до курьеза: обе говорившие так молоды, и весь разговор так ясно показал мне всю неосновательность, поверхностность их суждений, даже легкомыслие, с которым они говорили о таких вещах, чтобы иметь суждение о которых нужно было быть пообразованнее и мыслить более философски.

Второе — убеждения религиозные. М. Е., конечно, неверующая, насколько я могла понять из тех немногих слов, которые она высказала мне о религии… Мы различно понимали ее сущность. И все-таки М. Е. была мне очень симпатична, дели-

катно относясь к моим убеждениям, так же, как и я; я думала, что все это — ничуть не помешает сделаться нам добрыми знакомыми, тем более что во всем остальном мы одинаковы: вместе сочувствуем хорошему, вместе учимся, любим науку, самое горячее наше желание — принести в жизни посильную пользу другим…

Но оказалось не то… М. Е. сразу решила, что мы — разные люди. Ведь это было больно мне слышать! Вся моя гордость была возмущена… Так вот как! Вот почему М. Е. так мало видалась со мною, заходя ко мне только «по делу», которое заключалось в передаче мне двух-трех десятков книжек по политической экономии, изданных для народа (к слову сказать, написанных очень грубой подделкой под народный язык). Я брала их, бережно сохраняла до востребования, а потом М. Е. приносила другой сверток… и так было раза два, «без дела» она не являлась. Нечего сказать, хорошо же было ее ко мне отношение: говорить про человека «разные люди» и потом идти к нему же в случае серьезной надобности; знать разницу наших взглядов — а за сохранением тайны и компрометирующих предметов все же обращаться ко мне. Ведь М. Е. знала, что я не особенно сочувствую этим общедоступным из-

даниям для народа. Положим, книжка написана горячо, ясно видно благородное стремление заступиться за меньшого брата, открыть ему глаза на его положение. Но в том-то и дело, что нельзя горсти людей воздействовать на массу. Мужик и рабочий и без этих книг понимают, когда его притесняют… и нельзя рассчитывать, что подобные брошюры расширят его самосознание… Я прежде всего ставлю сознательность действия, обдуманность его. А тут надеются, что прочитал простой человек несколько брошюр — и готово… Каковы же будут его убеждения, если он нахватается их с чужого голоса, да еще из книг! Нет, господа, ведь народ разовьется самостоятельно и настолько, что потребует сам себе некоторых прав, — тогда не нужны будете вы со своими брошюрами, хотя бы их составляли с наилучшими и благороднейшими целями…

Да! «разные люди»! С тех пор как я узнала об этом, я не могу держать себя с М. Е. вполне свободно, чувствую себя мучительно-неловко, какое-то тяжелое чувство лежит на душе… Когда я встречаюсь с ней, мне хочется уйти от нее подальше… Мне обидно за себя самое, за воспоминание о том, как я смотрела на нее, о моем отношении к ней… и еще больнее, когда видишь, как она со мной

поступала. Эх! вот еще урок, полученный мною от жизни. Долго ли придется мне получать их? Недаром говорится: век живи, век учись.

5 июля

Я никогда не забуду коротенького разговора с близкой знакомой нынче зимою. Собираясь ехать на елку, она попросила меня причесать ее; я заметила, что у нее волосы, вопреки большинству женщин, после родов не вылезли, а поправились, и мы перешли на более интимный разговор… Я спросила Аню, очень ли было ей страшно, в этот первый раз? — «О, это были такие страшные мучения; я молила Бога, чтобы мне умереть поскорее». — «А долго?» — с невольным состраданием спросила я. — «Я мучилась пять часов; но это считается еще хорошо; бывает гораздо дольше…» — «А теперь ты опять?» — Аня вздохнула: «Что делать, милая. Я вот хотела сына кормить… да и не пришлось. Отчего же я так и похудела: я кормила его, не зная, что уже месяц, как беременна. Пришлось оставить. Ведь мы выходим замуж, значит уже не можем свободно располагать собой; у нас есть мужья… а что касается нас, женщин, то уверяю тебя, что почти все мы относимся равнодушно *к этому,* хоть бы и

вовсе не было, *это* уже не такая необходимость». Она опять вздохнула, как бы не договорив своей мысли: «а между тем приходится».

Да, этот разговор остался у меня в памяти. Ведь он так ясно показал положение женщины в данном случае, положение узаконенное, признанное всеми за вполне естественное, а с нравственной точки зрения — очень печальное, тем более что, очевидно, никому и в голову не приходит задуматься поглубже над ним. В самом деле: женщина рождает ребенка среди страшных страданий, жизнь ее висит на волоске, она находится в прямой зависимости от искусства акушерки, а потом — от ухода. Живое существо явилось на свет, цель брака — поддержание рода — исполнена; природа сама назначила женщину быть кормилицей собственного ребенка: надо кормить это существо. Женщина готова исполнять свои обязанности… но… является муж со своими правами: жена не имеет права отказаться. Следствие: новая беременность, новый ребенок в перспективе, и надо бросать кормить первого, не докончив. Значит, первоначальная цель, самый смысл брака забывается, и он является только узаконенным способом для удовлетворения животных чувственных инстинктов. А ведь известно, что

частые роды истощают женщину, обезображивают ее стан и влияют на здоровье. Какая масса разных женских болезней, какая масса страдающих ими женщин во всех слоях общества. А сколько смертей от родов! Я читала где-то, что у одного дикого племени существует обычай после рождения каждого ребенка отделять жену от мужа в течение двух лет, во время которых она кормит ребенка; поэтому женщины и дети этого племени отличаются прекрасным здоровьем. Вот поучительный пример просвещенным европейцам. Уже не говоря о двух годах, — хотя бы на год, необходимый для кормления ребенка, наши мужчины воздерживались от сожительства с женами, ради блага их собственных детей, ради здоровья своих жен! Но вот этот вопрос не затрагивается никогда… Сильная половина рода человеческого, как власть имеющая, не желает поднимать его, хотя бы потому, что у них самих есть жены… А женщины? они молчат и, подчиняясь, родят ребят одного за другим, всяких: и больных и здоровых, и сами хворают и умирают. И прекрасная первоначальная цель забыта давным-давно; ее место заняла другая: удовлетворение чувственных инстинктов, а рождение детей является уже следствием этой цели. И на

это не обращают внимания, об этом не говорят и не пишут.

Мужчины удивительно мало ценят, или как-то совсем не ценят, чего стоит женщине произвести хотя бы одного ребенка. Мне так и вспоминается фраза Медеи из древней трагедии, где она, опровергая общее мнение мужчин о «тихой жизни» женщин у мужей, восклицает:

хотела б лучше трижды
Я под щитом стоять, чем в муках раз
Дитя родить…

Древняя героиня, пожалуй, права: интересно, что бы сказал мужчина, если бы ему предложили 5–6 раз в жизни испытывать страшные мучения, быть на краю гроба в течение нескольких дней, и потом, как следствие этих болезней, нести в некоторых случаях тяжелые последствия. Кто согласился бы? А ведь подобное приходится испытывать каждой замужней женщине. Но я взяла среднее число рождаемых детей; не нужно забывать и исключений, — например, их было 11: значит — 99 м. «положения», т. е. более 8 лет и 3 м. (конечно, с промежутками), 66 недель, т. е. 1 год 3 месяца и 2 недели — на положении больной и выздоравливающей… 11 раз рисковать

жизнью! Это что-нибудь да значит.

А мужчины, записывая в летописи свои самые мелкие подвиги на войне, никогда не забывают прибавлять: «без счету раз рисковал жизнью». Нет, гг., вы рискуете жизнью далеко не все и не всегда (потому что не всегда же бывает война и не каждый день представляются опасные подвиги), а женщины, — где бы и кто бы они ни были, — все подвержены неизбежному закону природы, очень тяжелому, подчиняясь которому они рискуют жизнью и умирают, но никому и в голову не приходит прославлять их геройство и мужество и т. п.

Смотря так легко на брак, так же смотрят и на детей: многие ли отцы занимаются воспитанием своих детей? Они заняты всем, чем угодно, только не этим важным делом, только не тем, чтобы сделать из своего потомства таких детей, глядя на которых матери могли бы сказать, что такие страшные страдания, по крайней мере, не пропали даром; родился человек, вырос «родителям на утешение, Церкви и отечеству на пользу», как говорим мы в школьной молитве, — и выходит то, что теперь, куда ни посмотри, — родители недовольны детьми. Какая масса этого недовольства, какая сложная путаница психологических

тонкостей, разных отношений, мучений и т. п.

По временам приезжая в свою семью и отлично зная, по расспросам и рассказам, первое поколение — бабушек с обеих сторон, материнской и отцовской, — я могла восстановить в своем воображении их жизнь и теперь наблюдаю интересные переходы жизни, волны которой все несут вперед… Мы происходим с обеих сторон из купеческих семейств, где искони веков жили по традициям, не сложным, но которые держались так крепко, что задавили бы своею тяжестью всякого, кто рискнет сдвинуть их с места. Много было патриархального в этой жизни, много своеобразного в высшей степени… Но время идет вперед, оно уже кое-где сломало старинные устои этой жизни, но зато там, где они еще держатся, — жутко и тяжело приходится жить современному молодому поколению.

9 августа, на Волге

Я возвращаюсь с выставки; пробыла в Нижнем 11 дней и за все это время, к великому моему сожалению, не могла, не имела никакой возможности записывать день за днем все виденное и слышанное. Теперь придется разбираться в этом хаосе впечатлений, а ведь человеческая природа

так устроена, что утомляется от слишком частых и новых впечатлений. Для чего человек так ограничен? Отчего он не устроен так, чтобы иметь возможность сразу видеть и усваивать все? — Попав на выставку, невольно выскажешь такое сожаление. Я еду усталая и с отрадным чувством чего-то, что можно определить словами: ну вот, побывала, видела…

Да, побывала и видела… всю нашу Русь-матушку, собранную тут со всего необъятного ее пространства, со всеми ее богатствами, со всею ее бедностью, со всею ее ученостью и со всем ее невежеством, ее жизнь — со всеми новейшими приспособлениями гигиены и комфорта и со всей прелестью первобытного состояния. Все это видишь тут на небольшом пространстве, за ярмаркой, посещая красивые и изящные павильоны, — ходишь и учишься. Я осматривала выставку не систематически по какому-нибудь отделу, а те отделы ее, которые представляли наибольший интерес, или же чисто специальные, как, например, машинный, военный, военно-морской. Такая система была, конечно, не совсем удобна, потому что объяснения давались в разные часы, иногда и одновременно в нескольких отделах; вдобавок «Известия» врали на каждом шагу,

обозначая неверно часы объяснений то в том, то в другом отделе. Все это невыгодно отзывалось на распределении времени, в течение которого мы должны были осматривать выставку. С первого же дня я увидела, что хорошо осмотреть в неделю — немыслимо; можно пробежать по всем отделам, но осмотреть кое-как — значит не видать ничего. Поэтому, несмотря на то что внимание задерживалось на каждом шагу, — не было возможности видеть все так, как хотелось, дольше останавливаться и чаще приходить.

Когда я пришла в горный отдел, около студента горного института уже собралась группа посетителей, которые и слушали объяснения «добычи платины», как выговаривал студент. Я не буду описывать подробно способы добывания золота, серебра, так как память моя, в последнее время перед поступлением на курсы, как нарочно, стала никуда не годной; довольно часто я даже не могла хорошо усвоить объяснения выставленных машин; мне, как неспециалисту, было весьма затруднительно слышать незнакомые термины, а так как бóльшая часть машин стояла без движения, то, конечно, при всем желании понять то или другое усовершенствование мне не всегда удавалось. Зато, присматриваясь к таблицам, вы-

вешанным очень многими экспонентами, можно было выводить заключения об огромном развитии горной промышленности за последние 14 лет; некоторые отрасли явились впервые на выставке, как, например, добыча ртути, марганца; карты ясно показывают, какие подземные богатства хранятся у нас на юге России, Кавказе, Урале, Алтае… У нас есть даже бриллианты, — этого я уже никак не ожидала, и с удивлением смотрела на роскошное колье, выставленное в одной из витрин (если не ошибаюсь — гр. Строганова или вообще какого-то аристократа). То и дело попадались на глаза фотографические снимки недавно построенных заводов или же диаграммы, показывавшие быстрый рост промышленности какой-либо из отраслей горного дела. Пора взяться за ум! И русские, кажется, понемногу берутся: не все предоставлять иностранцам пользование нашими природными богатствами… Завод Юза основан англичанином, бр. Нобель — тоже не русские… — долго ли мы будем идти позади? Вот уже 200 лет, как мы все учимся и учимся у иностранцев; недаром, впрочем, сложилась русская пословица: век живи, век учись… Объяснения студента меня очень заинтересовали, и я осталась довольна этим посещением.

В павильоне Каспийско-Черноморского нефтепромышленного общества скоро должно было демонстрироваться бурение нефтяной скважины. Я туда. Там было уже довольно много народа, машина приведена в движение, и с потолка медленно спускался в скважину продолговатый цилиндр, края которого внизу были разрезаны винтообразно; цилиндр опускался в яму все ниже и ниже, скоро опустился совсем, — и два восточные человека стали посредством палки, продетой в рукоять этого цилиндра, вращать его внутри ямы: с каждым разом заворачивание делалось труднее и труднее, видно было, что цилиндр уходит глубоко в землю. Наконец вращение прекратилось, машина снова приведена в движение, и цилиндр поднимается на поверхность, весь облепленный жидкою грязью, с него ручьями течет вода; рядом с этой ямой тотчас открывают другую, и цилиндр опускают туда, чтобы очистить от грязи… Я пересмотрела расставленные по стенам этого павильона калейдоскопы, с 4 фотографиями каждый: были снимки заводов, разных помещений, перевозки нефти, ее нагрузки и проч.

Скоро я была уже на спасательной станции, где давал объяснения матрос. Он говорил очень

гладко и хорошо, видно было, что он все это знает наизусть; переходя от одного экспоната к другому, надевая на себя один за другим пробковые нагрудники и объясняя их достоинство, сравнительно со спасательными кругами, он ни разу не запнулся, точно читал по книге, только изредка прорывались у него выражения, указывавшие в нем простолюдина: «евонный», «эфтот». Это было даже оригинально: он говорил очень толково о приборе, употребляющемся на дежурных крейсерах около шхер Балтийского моря в случае тумана для предупреждения об опасном месте кораблей, которые за туманом не могут видеть сигналов; «тогда берут ручку прибора, поднимают, опускают вниз — и, вследствие напора воздуха, производится звук; и евонный звук настолько громок, что слышен за 12 верст». Для наглядности он поднимает и опускает ручку довольно большого прибора, и раздается ужасающий рев, заставляющий невольно вздрагивать публику… Интересны в этом павильоне экспонаты различных спасательных принадлежностей — пробковые нагрудники, пробковые койки, между прочим — небольшой прибор, состоящий из тонкого, плотно скрученного шнурка и привязанного к нему небольшого якоря с четырьмя

загнутыми концами, вершка в $^1/_2$ длиною. Такая вещичка очень невелика и помещается в картоне, а между тем ею очень удобно спасать утопающих: стоит бросить этот якорь в воду, и острые концы его зацепятся или за волосы, или за одежду, обувь, и тогда, притягивая к себе шнурок, можно легко вытащить утопленника. Лодки, расставленные тут же, конечно, не могли меня очень интересовать; слушая непонятные для меня технические морские названия, я только смотрела на них, любуясь их стройностью и изящным видом.

Красивый и чистый перезвон иногда раздавался на выставке, собирая толпу любопытных около колокольных павильонов, среди которых выдавался по красоте и изяществу весь белый, с посеребренными колоколами, павильон моего дяди И. П. Ол-ова.

В первый же день я почувствовала усталость после нескольких часов ходьбы и напряженного внимания…

10 августа

Наиболее интересовавший меня отдел на нашей выставке был, конечно, отдел народного образования. Я была в нем часов пять подряд и

все-таки осмотрела только половину: не было физической возможности разобраться, хотя бы отчасти, в этой массе тетрадей, альбомов, а справа, слева, спереди и сзади — всюду окружали меня диаграммы, карты, фотографии, кучи работ учениц и учеников…

Из всех мужских гимназий я ранее была знакома с деятельностью 1-й тифлисской, директором которой состоит брат известного писателя, Л. Л. Марков, и, судя по описанию его брата, гимназия действительно стоит на высоте, не многим доступной. Я убедилась в этом, рассматривая альбомы гимназии, читая отчеты директора и сочинения воспитанников об их экскурсиях, напечатанные в этих отчетах. Мне кажется, что тифлисская — одна из самых первых, если не первая гимназия в России. Не в пример массе прочих гимназий, подавляющих своим классицизмом и строгостью всякое развитие учеников (чем, например, отличается наша ярославская), она старается развить mens sana in corpore sano[92]: наряду с изучением классиков, школа приучает учеников к ручному труду, а для внеклассного чтения при гимназии есть прекрасная библиоте-

---

[92] Примечания: 92

В здоровом теле здоровый дух *(лат.).*

ка, при пансионе — и читальня; для развлечения воспитанников устраиваются музыкально-вокальные и литературные вечера, гимнастические утра, прогулки. Все это представлено на выставке в фотографиях, наглядно показывающих образ жизни гимназии и типы ее воспитанников различных народностей.

Наши ярославские гимназии, кажется, не были представлены; да и хорошо, впрочем, сделали, — о них ничего нельзя сказать хорошего, одинаково плохи как мужская, так и обе женские; в первой царит классицизм, во вторых — сухой педантизм и формализм, а полное отсутствие мало-мальски развитых и преданных своему делу воспитательниц делает наши женские гимназии учреждением чисто казенным, но отнюдь не воспитательным и развивающим. Из гимназии выходят то тупицы, то в высшей степени ограниченные и неразвитые девушки, которые, пройдя курс, через год его забывают, а так как развитие не может стоять неподвижно на одной точке, то, следовательно, — они пятятся назад; обеспеченные девушки выходят замуж, из них выходят хорошие хозяйки и провинциальные дамы, а иногда и плохие матери; если они небогаты — ведут трудовую жизнь, из них выходят учительницы,

весьма ограниченного ума и относящиеся только формально к своим обязанностям; если же они берутся за гувернантство, то тогда не надо хуже: я лично испытала всю прелесть рутинного воспитания девушками неразвитыми и понятия не имеющими о воспитании. Неудивительно, что исключения редки, и то еще хорошо, что они есть; это значит, что гимназии еще не совсем забивают; впрочем, наиболее развитые развиваются уже вне влияния гимназии.

Наконец я отыскала наши курсы. Скромная витринка с фотографиями нашего интерната и аудиторий; небольшая полочка с книгами отчетов Общества для доставления средств В. ж. к., сверху — план здания курсов, — вот и все, чем представлено единственное в России высшее женское учебное заведение. Ни научных работ слушательниц, ни модели здания… все выставлено так скромно, точно старается спрятаться от взоров любопытных. Около витрины сидела девушка, что называется, серенькой наружности, с виду немолодая, с темными, гладко-гладко причесанными волосами, положенными в маленькую косу на затылке, в очках, в черном поношенном платье, сшитой блузе с юбкой, и опоясанная ремешком. По внешности она соответствовала

именно тому классическому, если можно так выразиться, типу курсистки, представление о котором коренится еще в 60-х годах и который приводит в ужас провинциальных дам, вызывает гримасу неудовольствия у г.г. мужчин, которые, наверно, воспользовались этим случаем, чтобы наглядно убедиться, что их шаблонные представления об учащейся женщине как о существе «неженственном» — оправдались блистательно. Она до того подходила под это у большинства укоренившееся представление о внешнем виде курсисток, что мне даже досадно стало: неужели не могли посадить никого другого? Если уже побеждать общественные предрассудки, то доказывая по возможности наглядно всю их неосновательность. Так и тут: можно было выбрать кого-нибудь из нас, по наружности хотя бы и некрасивую, но уже и не такую шаблонно-типичную, — без очков и не в этом костюме… Может быть, эта девушка и мила и умна, — слов нет, и мы, т. е. слушательницы, на наружность, конечно, не обращаем внимания; но тут дело касается публики, приехавшей сюда из всех краев нашего отечества, из далекой провинциальной глуши, где господствуют подчас самые невозможные взгляды на женщин. Теперь поспорь кто-нибудь

с провинциальными дамами, попробуй доказать, что их опасение изменения наружности дочери, в случае ее поступления на курсы, неосновательно… они все возразят и по-своему будут правы: «нет, мол, сами видели, каковы они, курсистки…» И досадно, что приходится обращать внимание на такие мелочи, но с общественными предрассудками ничего не поделаешь: отголоски 60-х годов, когда русские женщины, по несчастью увлекшись эмансипационным движением, впали в крайности, хотя и ненадолго, живы и до сих пор.

В павильоне Церкви-Школы меня очень заинтересовал миссионерский отдел, против сектантов и раскольников. Я с интересом смотрела карты местностей Южной России, сплошь зараженные штундой, слушала объяснения г. Скворцова (редактора журнала «Миссионерское обозрение») и рассматривала фотографии выдающихся вождей сектантства. Какие умные, вдохновенные лица! Каждое из них поражает своим энергическим выражением: глаза так ясно говорят о благе душевной жизни, лицо — сама мысль… Невыразимая жалость к этим людям наполняет сердце, когда посмотришь на фотографии. Сколько усилий ума, работы мысли, сколько

дарования нашло себе такой исход! Сколько бы принесли эти люди пользы, если бы в момент зарождения самостоятельной работы мысли были поставлены под твердое руководство и нашли бы себе удовлетворение у своих руководителей. Но в том-то и дело, когда пастух дремлет — стадо может разойтись в разные стороны. Наше духовенство — прямой по положению нравственный руководитель народа — по своему тяжелому материальному положению само так забито и придавлено, что осуждать его за то, что оно вовремя не заметило такого движения в своих приходах, — как-то язык не поворачивается, хотя прежде всего обвиняют его. Я поговорила об этом с г. Скворцовым, и он дал мне свою книжку «Существенные признаки и степень вредности мистических и рационалистических сект» и даже предложил заняться миссионерством, так как он хочет устроить теперь нечто подобное из сельских учителей и учительниц.

Отдел церковно-приходских школ… Но что сказать о нем? Конечно, видно было, как устроители постарались показать их на высоте задачи. Отчасти им это удалось; но сколько школ действительно существует и сколько их числится на бумаге — показано не было. Жаль, что с церков-

но-приходской школой связывается известная тенденция, — школы, в сущности, должны быть только школой, а не служить еще и местом распри за название… Приходская библиотека — самая невинная, какую, наверно, позволено будет иметь при каждой школе.

Даже беглый обзор научно-учебного отдела ясно показывает, какое движение в пользу народного образования происходит теперь… Мы все-таки идем вперед… quand même!..[93]

За недостатком времени — прекращаю описание виденного. Выставка производит сильное впечатление: она, так сказать, представляет Россию в миниатюре, всю ее работу, все ее успехи и недостатки. И то и другое есть и ясно видно; но еще виднее то, что мы работаем, что Россия развивается… хотя бы и не так благополучно, как хотелось бы всякому, не так быстро, а все же она движется… Иногда, смотря на бедный отдел народных школ, невольно вспомнилась богатая обстановка и научные пособия американской школы. Но я вспомнила весь ход нашей истории, стараясь доказать себе всю непоследовательность моих рассуждений.

---

[93] Примечания: 93
Все же *(фр.)*.

Петербург, 9 октября

Вот уже девятый день, как я не знаю, что со мною делается.

Как это случилось? Я помню, что в Покров, вечером, сидела, по обыкновению, над книгой, потом — задумалась… Мне вспомнилась последняя лекция геологии Мушкетова, в которой он излагал канто-лапласовскую гипотезу происхождения мира и его предстоящую погибель, по этой же гипотезе, вследствие охлаждения солнца…

Вдруг, как молния, в голове мелькнула мысль: «К чему же, зачем в таком случае создан мир? Ведь все равно, рано или поздно, он должен погибнуть? Зачем же он создан?»

Я вздрогнула и вскочила с места… Вся моя жизнь, жизнь всего мира вдруг показалась мне такою величайшей бессмыслицей, такою жалкою, такою ничтожною… Что же мы-то представляем на этой планете? в силу чего мы существуем на ней?

Голова пошла кругом… Это ужасное — зачем? — выросло до колоссальных размеров, все закрыло предо мною и придавило меня своею тяжестью… На земле столько страдания… рано или поздно — оно все равно погибнет… весь мир погибнет…

О, если бы я была материалистка! если бы я не верила в бессмертие души! С какою радостью, одним выстрелом из револьвера разрешила бы я задачу жизни! Я бы умерла со спокойной и гордой улыбкой, в твердой уверенности, что я, часть природы, исчезну бесследно, сольюсь с ней и что я вправе это сделать, если хочу.

А теперь? раз я верю в бессмертие души, что мое собственное «я» никогда не уничтожится, — что мне от смерти? Ведь я же знаю, что и после нее буду существовать… Из земной жизни, которая мне все-таки известна, я перейду… в худшее ли, лучшее ли — все равно, неизвестно. Душа моя бессмертна. В силу чего же явились мы на земле и для чего?

Я пробовала разобрать вопрос с этической и религиозной точек зрения.

Я вспомнила лекцию Введенского «Условие допустимости веры в смысл жизни», где он доказывал, что смысл жизни заключается в исполнении нравственного долга, который предписывает нам служение всеобщему счастью. Но, так как всеобщее счастье на земле неосуществимо, что доказывается сочинениями философов и поэтов всех времен и всего мира, то мы вправе верить, что оно осуществится в посмертной

жизни, что «исполнение мною нравственного долга искупляет всякое зло, испытываемое не мною, а другими… что это зло превратится даже в добро и что оно примирит с испытанным злом не только того, кто сам претерпел его, но и всех тех, кто, служа нравственному долгу, вел как бы бесплодную борьбу для освобождения мира от зла». Таким образом, он доказал, что при понимании смысла жизни в служении нравственному долгу, а этого долга — как служения всеобщему счастию, — вера в смысл жизни оказывается логически непозволительной без веры в бессмертие, ибо всеобщее счастье неосуществимо, если нет бессмертия. Он доказал так ясно и логически правильно возможность веры в бессмертие души, что я, всегда верившая в него, но считавшая это областью веры, почти невозможной для доказательства каким бы то ни было путем, — пришла в восторг от такого ясного, простого доказательства с логической точки зрения.

Я верю и в нравственный закон. Но все-таки это не разрешало вопроса: становясь на точку зрения Введенского, принимая во внимание исполнение нравственного долга с верою в искупление этим исполнением зла земной жизни в посмертной, — я не могла ответить себе на свое «зачем?», почему

же вся жизнь устроена так…

Разве нельзя было бы обойтись без земной жизни? — ведь в силу этого мы должны жить на земле целую жизнь, зная, что в конце концов весь этот мир, в котором мы живем, в котором преследуем столько целей, планов, испытываем столько горя и страданий, — разрушится? Неужели же такая наша жизнь так необходима для осуществления всеобщего счастья, в том виде, как говорит Введенский? В силу какой случайности явились мы на земле — существа, одаренные разумом и бессмертною душою? Не говорю уже о вопросе о происхождении зла на земле…

С религиозной точки зрения… Мне было еще тяжелее. В самом деле: нас ожидает бессмертие, но какое? — Праведникам обещается вечная блаженная жизнь, грешникам — вечное мучение. Но ведь и в Писании сказано: «Много званых, но мало избранных…» Праведников немного, значит после конца вселенной счастье будет доступно только немногим, массу же ожидает вечное мучение. Но не все же так виноваты, не все настолько грешны, чтобы подвергнуться ему: если немного праведников, т. е. лиц с высоким нравственным развитием, то среди массы найдутся и люди средние, т. е. не ожесточенные грешники,

но и в силу разных обстоятельств не настолько высокие духом, чтобы подняться до праведности. А учение Церкви не дает ответа на вопросы, что станет с этими людьми. Она просто делит всех на праведных и грешных, и в результате выходит опять то, что счастливы будут только немногие; а масса, испытавшая столько и здесь, на земле, — окажется обреченной на вечные муки в будущей жизни…

И мне невольно вспомнилась статуя Залемана, изображающая усталое, вечно стремящееся вперед человечество, с надписью:

Il tanto affaticar che giova?[94]

(Данте)

Помню, как меня охватила бесконечная усталость, когда я остановилась перед этой статуей… и мне захотелось самой сейчас же уничтожиться, с закрытыми глазами медленно погрузиться в нирвану… исчезнуть, слиться с природой как часть ее.

И опять это ужасное: почему же все это устроено так, а не иначе? — встало предо мною. Старый, забытый вопрос, который занимал меня одно вре-

---

[94] Примечания: 94

Из множества усилий что на пользу? *(ит.)* Цитата из поэмы Франческо Петрарки «Триумфы».

мя, когда я была еще подростком и размышляла о будущей жизни: почему же все-таки немногие будут счастливы, отчего Бог устроил все так? — этот вопрос встал вновь предо мною во всей своей ужасной ясности.

Я чувствовала себя подавленной, уничтоженной… Часы шли — я их не замечала…

Поздно вечером я подняла голову, посмотрела на икону, хотела было опуститься на колени и… не могла. Вся моя вера — точно заволоклась густым туманом, за которым исчезла. Ни слов, ни мыслей, ни настроения — ничего у меня не было на сердце для молитвы в эти минуты.

Я легла спать. Рука не сделала обычного движения — крестного знамения… Все точно замерло во мне…

На другой день я встала с тем же вопросом; за что бы я ни бралась — всюду меня он преследовал, и мне казалось еще бессмысленнее как свое, так и существование других.

И так все эти дни. Я почти не могу ничем заниматься, на сердце так тяжело… Теперь передо мной лежала раскрытая книга — «Боярская дума» — и какое мне было дело до всех этих бояр, окольничих, думных дьяков?..

И, упав головой на стол, я плакала горькими,

неудержимыми слезами… и не стыдилась своих слез… Я была одна со своим отчаянием, никто меня не видел, да и кто бы мог мне помочь?

Как завидовала я всем материалистам! Как счастливы они своим сознанием, что нет никакого бессмертия, что они могут умереть с полным сознанием того, что уже не будут жить после смерти!

Я решила обратиться к Введенскому: может быть, он хоть что-нибудь сумеет ответить на мой вопрос…

13 октября

Прошло уже несколько дней… Я спрашивала Введенского. Конечно, он ничего не мог ответить мне на такой вопрос, прямо сказав, что я спрашиваю его, в сущности, о невозможном. Я почувствовала, что сделала большую глупость, тем более что за эти дни я уже и не ожидала от него никакого ответа… Но думаю, воспользуюсь случаем и спрошу его, нет ли такого сочинения в духе материалистов, которое могло бы разбить всякую веру в бессмертие. Он засмеялся. — «Такого сочинения нет… ведь вы уже слышали, что материализм, как и дуализм, не доказуем, следовательно, теперь, после моих лекций, никакое

материалистическое сочинение не докажет вам, что не существует возможность веры в бессмертие». — «Но мне хотелось бы отделаться от этой точки зрения, потому что в таком случае гораздо легче жить и легче умереть…» — «Попробуйте… прочтите: „Stoff und Kraft“ Büchner[95] или „Wissenschaft und Völkerglaube“[96]. В первом — вы найдете, так сказать, всю суть материализма; книга очень распространенная, ее вышло уже 19 изданий. Только она вам теперь ничего не докажет… Попробуйте прочтите…» — сказал он спокойным и уверенным тоном. Решив воспользоваться случаем до конца, я спросила его, почему при мысли о вечности, при одной попытке представить себе ее, которая мне никак не удается, меня охватывает ужас… отчего это? Или оттого, что мы не можем вообразить себе вечное существование, или просто зависит от индивидуальности? — «Оттого, что мы действительно не в силах представить себе вечность; вы хотите представить себе невозможное, вы истощаете себя понапрасну, от этого и происходит ужас. Вечность можно мыслить, но представить себе ее

---

[95] Примечания: 95
«Сила и материя» — труд немецкого материалиста Л. Бюхнера *(нем.)*.

[96] Примечания: 96
«Наука и вера» *(нем.)*.

нельзя. Попробуйте вообразить круглый квадрат, т. е. невозможное. Будете стараться вообразить и тоже в конце концов придете в ужас». (Я потом сообразила, что можно было возразить ему, что круглый квадрат, в сущности, бессмыслица и что его нельзя сравнивать с вопросом о вечности; но из-за выражения — не стоило спорить, результат был бы все тот же.) Это был единственный вполне удовлетворительный ответ, и я осталась довольна, что спросила его об этом, так как вопрос о вечности тоже мучит меня. Мы говорили наедине, и весь наш разговор продолжался лишь несколько минут; потом я поклонилась и ушла.

Вчера я слушала вступительную лекцию по естествознанию у одного молодого лектора, нынешней весною кончившего курс в университете. Он — знакомый нашей В-ой и предложил устроить чтение лекций у себя на дому для желающих, которых набралось человек 25. Не скажу, чтобы лекция меня заинтересовала. Штука давно известная: начинается с изложения теории материи, затем переход к атомизму, словом — материализм чистой воды. Мне эта уверенность в существовании материи и невообразимо мелких атомов казалась почти что смешной. Привыкнув к строгим логическим выводам Введенского, я

находила странным изложение, начинающееся с понятия материи и не доказывающее научно, строго логически ее существование.

18 октября

Я спрашивала невозможное…

Недавно, в воскресенье, я занималась, усердно читая «Боярскую думу». Но в конце концов я все-таки отодвинула книгу в сторону… Звонили к обедне… Это напомнило мне время, когда я сама ходила в церковь…

Вернуться опять к вере?.. принять то христианское миросозерцание, которое дают нам с детства, дают готовым, со всеми его высокими нравственными идеалами? Но что мы потом из него делаем? Разве вся та масса, которая известна под названием «христиан» и «верующих», действительно христиане и верующие? Что из того, что мы посещаем церковь, говорим, что верим в Бога, и даже исполняем предписываемые обряды? Разве многие вдумываются в истинный смысл религии, в те высокие нравственные идеалы, которые она представляет нам и которые были так живы в первые времена христианства?

Прошли века. Святая Церковь официально признана со всеми ее уставами, обрядами, учениями,

все цивилизованные нации — христианского вероисповедания; как же она понимается в различных слоях общества? низший класс, масса, верует, чувствуя, что есть что-то Высшее, что не верить — нельзя, что это так надо; они усваивают себе все обряды, в большинстве случаев не зная их смысла. Веруют немудро, но твердо. Если и пробуждается самостоятельная мысль, она никак не может найти удовлетворения в окружающей среде; но мысль, раз пробужденная, требует исхода, возникшие вопросы требуют ответа… И кто скорее ответит, к тому пойдет простой человек. Отсюда развитие всевозможных сект… Далее, — как верует общество, «интеллигенция» всякого рода, обладая средствами образования? — Мы, люди «развитые», в большинстве — «все верующие» — ходим в церковь, вздыхаем о своих грехах, даже сокрушаемся о них и… продолжаем все-таки жить, «как все», т. е. по установленному шаблону, к которому религия приспособлена очень удобно и легко. Родятся у нас дети, по церковному обряду их крестят, затем «воспитывают» опять-таки по раз установленному шаблону: там учительницы, гимназия, университет и служба для мужчин, гимназия и замужество для девушки. После «устройства» молодого по-

коления мы с радостью смотрим на их счастье, если они им пользуются, и печалимся, когда их постигают неудачи. Затем — мы продолжаем жить своею личною жизнью, занятою делами, удовольствиями, общественными отношениями… И так — все время до конца жизни. Иногда — мы умираем, нас хоронят по обряду Церкви, за нас молятся… и все… и это все? — да. И во всей этой жизни, которою живет масса общества, нет ни искорки понимания истинного смысла той религии, которую они, по собственным словам, исповедуют. Тот высший идеал, который она проповедует — стремление к нравственному совершенствованию, — совершенно игнорируется всеми, а между тем в этом-то и весь смысл. Кто задумывается в наше время над этим вопросом при воспитании детей, при прохождении всего жизненного пути, кто руководствуется этим принципом? — Да решительно никто, все точно забывают о его существовании. И что же выходит? Дети вырастают нравственно чуждые родителям, не связанные с ними этою самою прочною связью, какая только может быть; они идут своей дорогой, взгляды двух поколений расходятся; родители бывают недовольны молодым поколением, говорят, что «нынешняя молодежь

хуже прежней», чувствуют, как пропасть между ними становится все глубже; и хорошо еще, если дело не дошло до борьбы. Многие ли родители понимают своих детей, знают их душу, входят в их внутренний мир? Многие ли мужья живут со своими женами вполне общею жизнью, не только внешнею, но и внутреннею: умственною и нравственною? В большинстве случаев, вступая в брак, не думают ни о такой жизни, ни о детях, ни о своей нравственности, даже когда любят свою жену. Вступают в брак — опять подчиняясь внешней обрядности, необходимости, и только. В результате — прожитая жизнь современного интеллигента, когда она направлена даже к высшим этическим целям служения ближнему на разных поприщах, все же является лишенной самого важного — этого внутреннего содержания. А сколько таких у нас, на Руси! И не счесть… И вот, в результате, все мы, «православные христиане», числимся исповедующими православную веру, подчиняясь преимущественно обрядам; мы в данном случае ничем не отличаемся от лишенных образования низших классов, но существенно хуже их. Словом, в сущности, мы ничем не отличаемся от неверующих, даже хуже их, потому что те взамен создают себе разные теории, иногда

весьма высокого нравственного достоинства, и живут согласно своим убеждениям. И вот, вся эта масса общества, по крайней мере все те, которые называют себя верующими, в тысячу раз хуже сектантов и неверующих: первые страстно ищут истины, выхода из мрака, и не их вина, если они заблуждаются; а вторые прямо отрицают то, что мы на словах и по внешности признаем, но внутреннего смысла чего не понимаем, вернее — не вдумываемся и знать не хотим.

Жестокой иронией звучит это слово «верующий». Ищите их! Разве в монастырях найдешь несколько, да в некоторых семьях, где есть старые бабушки, да у некоторых из тех «униженных и оскорбленных», вся жизнь которых представляет одно бедствие или горе и единственным утешением которых может служить религия. Священники говорят нам проповеди, мы выслушиваем их и тотчас же по выходе из церкви забываем; так у нас много дел и забот, что едва-едва хватает времени со всем управиться. Таковы мы, называющие себя «верующими». Мы очень удобно чувствуем себя в окружающей нас обстановке и спокойно проходим наш жизненный путь: лишь пред смертью, может быть, у некоторых мелькает сознание того, что жизнь,

пожалуй, прожита не так, как следует, но на пороге вечности уже поздно размышлять об этом.

И выходит — смерть Ивана Ильича, Толстого.

Когда я думала о жизни, которая, куда ни посмотри, всюду так складывается, все казалось мне так безотрадно, точно все подернулось траурным флером. Я думала даже о любви, о том чувстве, которое, как говорят, доставляет столько радости. Но и тут мне представились сейчас же дети, как следствие брака, и их современное воспитание; возникло сомнение: сумею ли я их воспитать как должно? И вся прелесть любви, о которой я столько читала, рассеялась как дым…

И меня вдруг неудержимо потянуло вдаль от этого мира, куда-то далеко, а куда — и сама не знаю…

Это было уже знакомое чувство. Я вспомнила, как в детстве оно охватывало меня, когда я увлекалась чтением житий святых, когда чтение истории о Страданиях Спасителя и Его последней беседе с учениками, в моем маленьком учебнике, волновало меня до слез… тогда я мечтала уйти в Египет или куда-нибудь в пустыню, поселиться в пещерах… Конечно, ребенком, я представляла себе лишь внешние обстоятельства жизни, но теперь то, что неудержимо тянуло меня неведомо

куда, только прочь от этого мира, — теперь оно встало предо мною с изумительною ясностью. Кажется, случись тут подле меня монашеское платье, я, не колеблясь, тотчас же надела бы его и пошла в какой-нибудь монастырь.

Что же это со мною делается? Я упала головой на книгу и опять заплакала, как и тогда.

Что же со мною?.. Я сама не могу ответить на этот вопрос… и в отчаянии снова думаю о том, что чем жить, лучше было бы вовсе не существовать, если бы «Stoff und Kraft» могла убедить меня! Ни минуты не стала бы жить дольше.

Я старалась овладеть собою… Такое состояние немыслимо, надо как-нибудь, что-нибудь…

«Таков печальный конец земли. Мы можем утешиться только тем, что он является делом неопределенно далекого будущего…» — раздается в моих ушах мерный и спокойный голос Мушкетова, в котором чуть-чуть слышался действительно печальный оттенок…

29 октября

Занимаюсь; посещаю лекции; в результате на проверку является то же: делаю слишком мало, способности слишком невелики, память — о, несчастье!..

Вернусь к прошлому, чтобы рассмотреть причину всех причин.

Еще когда я жила дома, года три тому назад или немного даже раньше, я начала замечать, что моя память, прежде такая хорошая, понемножку начинает мне изменять. Я тогда уже не училась, и проверять свою память, так сказать, официально, по степени усвоения уроков, мне не было возможности, но все-таки я замечала, что помню значительно хуже прежнего. Потом стало еще хуже: иногда, сначала очень редко, почти незаметно, чуть-чуть я чувствовала странное ощущение сжатия головы в висках; душевное настроение сделалось особенно чутким ко всему неприятному; малейшая неприятность, слово, пустяк — производили на меня такое тяжелое впечатление, повергали меня в такое угнетенное состояние, от которого отделаться было крайне трудно; наконец, мое стремление учиться и та несчастная жизнь, которую я принуждена была вести против воли, то страдание, которое причиняла мне вечная неудовлетворенность всем окружающим, постоянное нравственное мучение, сознание пустоты и пошлости окружающей среды, бессмысленность своей жизни, жестокость матери, когда грудь готова была разо-

рваться от рыданий, а мать, вместо утешения, смеясь, уходила в другую комнату… О, это уже слишком! При одном воспоминании такая буря готова подняться в груди… Я постоянно чувствовала не то страшную нравственную усталость, не то — не знаю что, но все меня расстраивало; занимаясь эти годы немецким языком, я замечала, что даже самое легкое изучение подвигалось довольно плохо, я все забывала… и — чем далее — тем труднее становилось помнить правила, литературу… За последнее время, перед отъездом на курсы, я сблизилась с Валей, читала с нею вместе Милля, не чувствуя уже себя такой одинокой в семье, как прежде; но, увы! самое чтение, изучение политической экономии не принесло уже мне пользы: я отлично помню, что прочтем, бывало, главу из Милля, но передать ее я не могу, не помню и готова хоть снова начинать. Книги, которые приходилось читать, я скоро позабывала; в 19 лет я начала замечать, что мне иногда даже трудно ясно выразить свою мысль: в разговоре я не вдруг могла подыскать нужные выражения, в письме — тем более. И вот, в дневнике моем и в письмах чаще и чаще начинают попадаться помарки… я хочу написать, а фраза никак не выходит, и — чем дальше — тем хуже.

Не передать того ужаса, который иногда охватывал меня, когда я начинала всматриваться в свое, так сказать, умственное состояние: временами мне казалось, что я начинаю сходить с ума… Я боялась даже в дневнике признаться себе самой в этой мысли, — и в то же время я чувствовала себя физически здоровой, мои поступки, мысли — все было вполне нормально, за исключением того странного ощущения сжимания головы, которое время от времени повторялось, иногда доходя до боли. Это меня и сбивало с толку; тогда я начинала думать: значит, может быть, это только начало, а потом неизвестно что будет? — и дикий, почти панический ужас доводил меня до невозможного нервного состояния…

И так шло время. Никто не замечал ничего, так как надо было хоть немного понимать душу человеческую, хоть немного более любить близкого человека, чтобы заметить во мне что-нибудь; никто из нашей семьи не был на это способен. Жизнь дома была так невыносимо тяжела, и, несмотря на все старание, неприятности были неизбежны. Сношений с матерью, за исключением самых необходимых, я избегала, и даже с сестрами не говорила никогда и ничего о своем будущем, о курсах, — напоминание о них было

бы только мучением для меня… Сестры тоже молчали. Словом, годы страдания взяли свое… Оттого мне все так трудно и давалось за последнее время… И я была уже не та: мои прежние способности, я чувствовала, изменили мне, память была потеряна, нервы, вся я — все было уже не то… Наконец, — этот ужасный день 20 августа, адски хитрый и жестокий поступок матери со мной, эта поездка в Петербург… Зная, что я живу только надеждою на свободу и предстоящую возможность учиться, — исподтишка мне нанесли такой удар, неожиданность и последствия которого могли бы сломить другую натуру…

И вот после всего пережитого, после всех испытаний я наконец достигла своей «земли обетованной» — поступила на курсы. Я чувствовала, что нервное мое состояние было прямо ужасно. Я была точно разбитое фортепиано, до которого нельзя было дотронуться, оно издавало фальшивый, дребезжащий звук. Я не была зла, но мне было очень стыдно, когда лица, знавшие меня ближе и симпатизировавшие мне, дружески уговаривали меня не быть такою резкою в обращении с посторонними; такое раздражение являлось невольно: болезненное состояние не давало возможности владеть собою…

Лекции… наука!.. Все, к чему я так стремилась, — наконец достигнуто! Я — на курсах… Профессора, книги — все теперь было у меня. Я дышала полною грудью, первое время была точно в чаду. Но зато и сознание своего невежества встало предо мною с поразительною ясностью, причиняя мне такое страдание, таким тяжелым камнем ложась в душу… Я схватилась за книги, не сообразив одного, — хватит ли моих сил на такие занятия? — мне хотелось обнять все сразу, изучить и описать. Не забыть мне никогда того ужаса, который охватил меня, когда я взялась за перо для реферата по русской истории… Я, оказалось, не могла ничего писать! Читала-читала — и никак не могла передать словами прочитанного… У меня мороз пробежал по коже от этого. Что же? Ведь, таким образом, я и заниматься-то не могу. Но отказаться было поздно… Помню, как я еле-еле могла написать изложение статьи… страшного труда стоило это… Шесть часов употребила я на изложение того, на что в прежнее время у меня ушло бы втрое меньше. Но худшее было впереди: когда я, вся дрожа от волнения, взошла на кафедру и прочла свое изложение, то услышала потом замечание от тех из первокурсниц, кто мало-мальски мог критически отнестись

к читанному. «Да вы, Дьяконова, только сократили статью Кавелина и изложили ее содержание. Это простое переложение», — говорили мне они разочарованным тоном. Недовольные были совершенно правы, и я, вернувшись в свою комнату, сообразив все, поняла, какую громадную ошибку сделала, взявшись не за свое, в сущности, дело… О, как мне было стыдно! Как мучительно было сознавать мне в 21 год всю бездну своего невежества и неспособности… А тут еще неудачные знакомства, не менее неудачное вступление в «кружок», — заставили меня смотреть на курсисток таким мрачным взглядом, так критически относиться к ним, что я не могла поневоле ни с кем сойтись ближе, и недовольство окружающими росло еще с большей силою…

1 ноября

Продолжаю воспоминания.

Вскоре наступили экзамены. Я чувствовала себя день ото дня хуже: сдавливание головы, как в тисках, стало сильнее давать себя знать, память отказывалась служить; я тем не менее не обращалась к доктору. Временами я без сил бросалась на постель и лежала долго, неподвижно: мой внешний вид начинал обращать на себя

внимание… Мне советовали беречься. До этого ли было мне, когда я решила сдать ускоренно все экзамены, чтобы уехать на свадьбу сестры? И вот началось…

Мое критическое отношение к своим познаниям, подготовка к экзамену древней истории — так ясно показали мне необходимость знания древних языков для занятия древней историей, что изучение двух учебников для экзамена по истории Греции казалось мне просто кукольной комедией, позором, а я сама, изучавшая их, — недостойной звания курсистки. В 21 год быть такой жалкой полуученицей! Когда многие в мои годы бывали уже или на 4-м курсе, или, по меньшей мере, на 3-м! Когда в прежние годы в этот возраст получали уже кафедры!

Вспоминая теперь себя, я могу сказать, что была похожа в это время на несчастную, сверх меры нагруженную лошадь, которая еле-еле держится на ногах, но все-таки везет воз к дому, подгоняемая кнутом возницы… Последний месяц — это было что-то невозможное — я не жила, а «горела», по выражению наших интернаток: переживая массу разных впечатлений, с восторгом занося их в свой дневник, я в то же время сдавала все время по два экзамена сразу… Но чем далее, тем труднее

давалось мне все, силы начинали мне изменять. Часто, пробившись несколько часов кряду над одним билетом и все-таки ничего не запоминая, я в отчаянии бросалась на постель, ломая руки и не понимая, что со мною делается. О, если бы могли меня видеть в эти минуты все те, которые удивлялись и завидовали мне! — «Дьяконова, да вы сколько сдали? Опять два сразу? Ну, это удивительно! Да сколько же вам еще осталось? только два? Вот счастливица-то! Вот способности-то!» — слышала я… и уже не пробовала разуверять их. Что сказали бы они о моих способностях, если бы сквозь запертую дверь моей комнаты могли видеть, как я в бессильном отчаянии падала на кровать, закрыв глаза, не понимая тогда ни слова из прочитанного… Помню я, как на экзамене русского языка вынула совсем нечитанный билет; как по славяноведению не могла ответить на простейший вопрос; на экзамене древней истории я вдруг забыла моментально все, что следовало сказать о философии до Сократа, хотя знала этот отдел довольно хорошо. Самоуверенность, с какою я отвечала профессору (которого у нас считают полным ничтожеством), спасла меня от его придирок и провала. Однако в общем выходило как-то так, что я знала прочитанный курс и вы-

держивала испытания… Как? я и теперь не знаю и удивляюсь. Но есть предел всему. Экзамен логики, самый трудный, был для меня последним по числу; я уже не в силах была более заниматься… И лошадь плетется под кнутом, только пока сил хватает: рано или поздно упадет же… И я упала. Да еще как! Готовясь к логике и зная, что в голове моей нет уже ни на йоту соображения, ни памяти, я решила не спать вовсе последнюю ночь, думая, что, авось, — лучше повторю (?!). В результате было то, что, когда я села перед профессором, чтобы отвечать, я, к ужасу своему, чувствовала, что не помню почти ничего из билета. Логику читал нам Введенский совершенно новую — в аналитическом изложении; мы все ценили его как талантливого профессора и боялись этого экзамена. Страх и стыд перед ним за свое незнание заставили меня потерять всякое самообладание; я закрыла лицо руками и не могла говорить… Среди курсисток есть мнение, что Введенский — хороший психолог; по отношению ко мне он действительно показал себя таким: видя перед собой человека в полубессознательном состоянии, он помог мне выйти из той бездны, в которую я, казалось мне, погружалась. Смутно помню я, как он стал предлагать какие-то вопросы; слушая и

отвечая на них, я испытывала такое ощущение, точно кто-то в голове моей приводил все в должный порядок. Наконец он кончил спрашивать несчастный билет и повел меня по всей программе; отчетливо помню, как он меня спрашивал годы жизни Канта и Юма, — я отвечала и в то же время сама себе не могла дать отчета, верно ли я говорю или нет… Ответ был окончен; профессор взялся за перо и список и, ставя мне 5, громко, во всеуслышание сказал: «А волноваться так стыдно…» Я вышла из аудитории, чуть не шатаясь. В интернате меня встретили поздравления с переходом на второй курс… Те из знавших меня, которые были в аудитории, удивлялись, слыша мой ответ глухим, изменившимся голосом, и недоумевали, что со мной сделалось. Всякий опытный врач по нервным болезням разъяснил бы им это недоразумение. В тот же день я уехала домой.

3 ноября

После мною овладела такая апатия, такое равнодушие ко всему. Это было ужасное нравственное состояние, доходившее действительно до болезни… Ни души кругом.

Я инстинктом чувствовала весь год страшную

потребность иметь при себе близкого человека, друга, который душою понял бы меня без слов и нежно любил бы меня, осторожно отстраняя с моего пути все неприятности, который всегда мог бы удовлетворить меня в умственном и нравственном отношении, стремясь открыть мне новые горизонты… Я страстно искала такого человека, жадно всматриваясь в лицо каждой первокурсницы, с надеждой и уважением смотря на слушательниц старших курсов. Но судьба моя и тут сказалась: я осталась одна, а надежда, что буду жить одною умственною жизнью с сестрою, была разбита безжалостно…

Помню, какое сильное впечатление произвело на меня чтение «Исторических монографий и характеристик» Бестужева-Рюмина — то место, где он говорит о своей дружбе с Ешевским, об их занятиях в гимназии и университете. Следуя своей привычке все сравнивать, я тотчас же оглянулась на себя самое, на свое развитие и знания и на своих интернаток. Боже, какие мучения испытывала я, ясно видя весь неутешительный результат такого сопоставления!

Поступив на курсы, я оказалась круглой невеждой с ничтожным гимназическим образованием, при полном отсутствии какого бы то ни было

систематического чтения, относившегося к предметам негимназического курса, — тогда как Б.-Р. вошел в университет прямо с гимназической скамьи, но… какое развитие, какие знания были у него!.. Его друг Ешевский… какая это была чудная дружба, основанная на почве умственных интересов, взаимного понимания и любви. А у нас? Каковы были мои товарки-сверстницы по курсу, соседи по интернату? Увы! несмотря на все старания, я все-таки не могла найти в однокурсницах ничего такого, что могло бы их поставить в моих глазах выше меня; некоторые из них были гораздо-гораздо ниже меня по умственному развитию, а вполне равные мне — не подходили ко мне потому, что, очевидно, у них не было такой потребности сходиться на умственной и нравственной почве, т. е. более близко; они довольствовались только знакомством, мне же этого было мало. Поступая на курсы, я сначала думала, что всякие интересные разговоры будут завязываться сами собою, что потребность к живому обмену мыслей по поводу читанного и слышанного так же естественна, как пища, питье… И вот помню, как я первые дни своего житья в Петербурге в большом интернате точно окуналась в море новых отношений, знакомств

с незнакомыми людьми, жадно в них всматриваясь, ища человека, товарища, одушевленного такими же стремлениями, чувствованиями, надеждами… и… увы! Что видела я? — Ряд всевозможных лиц, то веселых, то детски юных, то более серьезных — и… только. Никогда при первом знакомстве не завязывалось разговора более или менее интересного, словно мы, приехавши на курсы со всех концов России, не имели между собою ничего общего…

Удивительно, что в интернате мы все были воодушевлены одним стремлением — к знанию, все усердно занимались, читали, но отчего же у нас не завязывалось тех одушевленных споров о научных и разных отвлеченных вопросах, тех интересных разговоров, живого обмена мыслей, о которых я столько раз читала в книгах? Отчего? Как ответить на этот вопрос? Неужели мы все были неразвиты? — Отнюдь нет… Мало знали? — И этого нельзя сказать… Так отчего же, отчего? — Вот тот вопрос, который я без счета раз повторяла про себя со страшною тоскою, сидя за чаем и слушая всевозможный вздор о чем угодно, но только не о науке… Приходилось заключать, что, должно быть, мы, женщины, поступая в высшее учебное заведение, куда ограниченнее

мужчин, что у нас нет ни широты умственного горизонта, ни мыслей, ничего…

В следующем году я жила на отдельной квартире, вдвоем. Но моя сожительница составляла для меня лишнюю мебель, и ничего больше. При той страшно обостренной чувствительности, которою я отличалась за последнее время, — моя душевная чуткость дошла до такой степени, что достаточно было движения, слова, выражения глаз, чтобы я тотчас же почувствовала, как ко мне относится человек. Со стороны ее я увидела только сухость и черствость, такое нетоварищеское, безличное отношение, что моментально, по обыкновению, ушла в себя, а для того, чтобы еще больше не измучить себя сознанием, с каким человеком приходится мне жить, — решила отнестись к этому как можно хладнокровнее и стала смотреть на В-ву как на лишнюю мебель в комнате, что, впрочем, мне ничего не стоило: я так увлеклась книгами и всем новым миром знания, развернувшимся передо мной, что совершенно забывала о ее существовании. Она ложилась рано и вставала тоже; я — наоборот…

1897 год

Нерехта, 12 января

10 лет тому назад в этот день скончался мой отец…

Уж 10 лет прошло с тех пор, и много переменилось в жизни для меня; сама, покорна общему закону, переменилась я…

10 лет! Из робкого, застенчивого ребенка я обратилась в 22-летнюю курсистку; прежней детской робости нет и следа, застенчивость же и робость, вероятно, овладеют мной теперь лишь в присутствии такого лица, которое я признаю неизмеримо выше себя, а так как пока я вращаюсь в кругу людей обыкновенных, не подымающихся выше среднего уровня, то и чувствую себя отнюдь не ниже их…

10 лет! Много пришлось пережить, передумать… С поступлением на курсы был сделан перелом в моей жизни… Теперь, когда я немного разобралась во всех впечатлениях, когда первое волнение улеглось, — я вижу, какое благотворное влияние имеет на меня моя теперешняя жизнь. Я чувствую себя как бы обновленным,

возродившимся к жизни человеком, я стала даже нравственно лучше… и много, много думала над жизнью… То, что раньше было подернуто туманом, — стало ясно, и какою же жалкою представляется мне моя прежняя жизнь!.. Те лица, к которым я с детства чувствовала какой-то страх, перешедший впоследствии в робость и застенчивость, — которые мешали мне много для правильного понимания и изучения людей, — теперь кажутся еще более «обыденными», если можно так выразиться; облачко застенчивости, мешавшее рассмотреть их, рассеялось, и я увидела их в настоящем свете. И я сама стала другим человеком; впрочем, нет, не другим, а только развилась больше, стала еще серьезнее смотреть на жизнь, еще глубже вдумываться в ее задачи.

Вместе с тем я чувствую себя иногда так легко, дышится так вольно… и чувствую в груди моей какой-то прилив силы необыкновенной: мне хочется борьбы, подвига, чтобы показать эту силу, которая, кажется, так и рвется наружу… Дыхание занимается… иногда кажется — весь мир была бы в состоянии перевернуть… Мне хочется действовать, идти, ехать куда-нибудь, а главное — дела, дела! Хочется разом увидеть весь мир, и глубокое отрадное чувство свободы переполняет всю

душу… Да? и я — свободна? и я могу ехать, куда хочу, делать — что хочу, поступать — как хочу, и меня более не связывают эти цепи рабства… Ведь это — правда? Я — учусь… Я — на курсах…

Нет, только тот, кто знал свиданья жажду,
Пойдет, как я страдал и как я стражду!
—

воскликнул гётевский певец… Я могу перефразировать это восклицание: смысл свободы понятен во всей полноте только тому, кто страдал от рабства. Иначе, как этим именем — как же назвать эти тяжелые годы моей лучшей молодости, прошедшие в 4 стенах, среди беспрерывных нравственных терзаний? Во имя чего лишали меня права учиться далее? Мальчика — отпустили бы с радостью и гордостью, девушку — не тут-то было! Ей и учиться нельзя, и курсы — вроде публичного дома, и у нее есть средства для замужества, словом — понятия о женщине самые рабские, и я испытала на себе всю их прелесть.

10 лет! А могилка на кладбище, вся занесенная теперь снегом, — пока еще нова…

А пройдет еще 10 лет?..

У меня одно только желание, одна страст-

ная любовь, обращенная к тому Неизвестному Высшему Существу, Которое называется Богом, Которого я не знаю, но существование Которого признаю всем существом моим: чтобы я могла за эти годы принести возможно больше пользы для людей, чтобы я могла осуществить свое намерение: посвятить свою жизнь на дело народного образования. Пусть у меня будет хотя одна только маленькая школа, пусть дело мое будет и вовсе ничтожно, и труд незаметен, — я все-таки отдамся ему со всею любовью и страстностью, на какие я способна. Я буду сознавать, что живу недаром, что делаю необходимое, неотложное дело, что приношу пользу, количественно хоть ничтожную, но буду стараться улучшать ее качественно. «Цель жизни — служение всеобщему счастью», — формулировал Введенский ответ на мой вопрос, который я задала себе еще 10 лет тому назад, и плакала горькими слезами от бессилия своего разрешить его…

И теперь моя «цель жизни» выяснилась предо мною. Послужить народному прогрессу, по одной из неотложных его частей — народному образованию, — хоть этим способом сделать способным двигаться вперед… Пора! Народ сам хочет школ, сам открывает их, читальни, библиотеки… Пора!

Пора! Уже 36 лет скоро, как он свободен, а невежество еще густым мраком окутало его… Пора взяться за ум! В деревню!!

Петербург, 8 февраля, 3½ часа ночи

«…Мне жаль, что и налил и выпил я сам унижения чашу до дна…» — могу перефразировать я стихи Апухтина. Впрочем, что же? Жалеть ли себя за эту действительно выпитую до дна чашу не унижения, нет, и не разочарования — тоже нет, потому что я вовсе не была никогда очарована, а просто… наблюдений (если так можно выразиться) над современной учащейся молодежью? Жалеть ли о том, что я видела ее во всей ее неприглядности, во всей ее бессодержательности, покрытую какою-то тусклостью, точно серою дымкой, и где же? — на университетском празднике.

Жалеть об этом или нет? Закрыв лицо пред опасностью, с сердцем, сжатым горечью и страхом, — спешить спрятаться, раскаиваться в совершенном поступке, или же, прямо смотря в лицо факту, которого существование отрицать невозможно, — признать его за действительно существующий и не пускаться в бесплодные сожаления о том, что вот, мол, его я видела; но

признать твердо, хотя бы сердце сжималось при этом от боли, хотя бы это доставило, в сущности, одно горе…

Последнее — более в моем характере. Я не жалею о том, что видела печальный факт, хотя что-то подсказывает мне: эх, лучше бы и не видеть его вовсе, ты ведь и так это знала… Да, многое знаешь, но все же легче, когда его не видишь во всей его неприглядности. Что ж делать? «Нынешняя молодежь»…

Печально я гляжу на наше поколенье!

Его грядущее – иль пусто, иль темно…[97] —

могла бы сказать тень великого поэта, если бы она могла пролететь над этим собранием.

Что же там было?

Я пришла в 11-м часу в зал Бренко, где назначено было это «чаепитие». До моего прихода уже говорил речь Яроцкий, читали письмо Исаева. Когда я вошла, оканчивал говорить Гарин (Михайловский), и за шумом я хорошенько не могла расслышать, о чем именно говорил он. После него, как он сошел со стола, воцарилось молча-

---

[97] Примечания: 97

Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Дума».

ние, прерванное громом аплодисментов: это шел любимец молодежи, проф. Лесгафт. Кланяясь на обе стороны, пробирался он сквозь густую толпу студентов к эстраде. Аплодисменты не давали ему начать. Наконец он заговорил:

— Господа, я думаю, что все эти приветствия относятся не ко мне… а к делу, которому я служу…

— Лично к вам! — раздался сильный молодой голос какого-то студента, и гром аплодисментов опять не давал долго говорить оратору.

«То, что вы слушаете здесь, доказывает, мм. гг., ясно-с, что в человеке существует потребность деятельности-с, стремление к идеалу… следовательно-с (это его любимое словечко), мм. гг., раз эта потребность существует, нужно дать ей удовлетворение. Тогда вы не будете знать, что такое скука. Да и деятельность, мм. гг., должна быть не только полезной, но и…» — слышала я речь профессора, стоявшего на столе в своей обычной позе, с сильно опущенной головой и глубокими глазами, пристально смотревшими из-под огромного выпуклого лба… Когда он кончил (а говорил он недолго), аплодисменты опять покрыли его речь, но уже в значительно слабой степени…

Снова молчание. Толпа стоит перед эстрадой и

ждет… На стол[98] встал молодой еще профессор государственного права Гессен; перед этим он сидел в небольшом кружке студентов и говорил с ними о суде чести, так как начал свою речь такими словами: «Сейчас здесь зашла речь о суде чести, мм. гг., — должен ли он существовать или нет? Прошло уже то время, когда понятие государства охватывало собою все, когда отдельные индивидуумы сами по себе не существовали…» — так начал он… Вся суть этой коротенькой речи сводилась к тому, что понятие общества существует независимо от понятия государства, а значит, и суд чести должен быть свой, так как понятие о нем у общества и государства у каждого свое. — «Пока существует понятие общества, — суд чести может и должен существовать». Аплодисменты, и профессор сходит с эстрады.

Читают письмо Вейнберга, в котором он, объясняя свое отсутствие тем, что должен присутствовать при операции сына, посылает приветствие студентам. Опять аплодируют. Молчание. Гревс пробирается между студентами и в небольшом кружке студентов говорит с ними. Ждут его речи, но он, очевидно, не хочет говорить ее.

---

[98] Примечания: 98
Эстраду.

Я, стоя на столе между студентами, жадно за всеми наблюдаю. Молодежь в средине залы, стоят по стенам, стоят на столах, на стульях… в зале духота… я чувствую, что моя легкая шелковая кофточка совсем мокрая… Но вот в центре подымается молодой, красивый студент не то русского, не то восточного, не то еврейского типа и начинает… О, лучше бы он не говорил! Длинно, запутанно, запинаясь и заминаясь, начинает он «опровергать», по его мнению, «несправедливые нападки на нынешнюю молодежь, за отсутствие у нее идеалов». Разве она уж так плоха? разве она не доказала своих возвышенных стремлений тем, что на Нижегородской выставке с утра до вечера осаждала павильон воскресных школ, устроенный Хр. Дан. Алчевской? разве в Москве имя Александра Ивановича Чупрова не пользуется наибольшею популярностью? разве при одном только слухе об его уходе молодежь не волновалась? разве не популярно имя профессора Безобразова (тут он назвал еще нескольких, имена которых я забыла, но он оговорился, сказав, что это он приводит известные ему имена, тогда как у всякого из присутствующих есть, конечно, «свои» имена)? Наконец, разве Ходынская панихида не доказала с достаточною ясностью

настроение молодежи? разве появление за последнее время целого ряда произведений, описывающих молодежь (в числе их оратор назвал Галюцко-Дмитриевой «Гимназисты» и «Студенты» Гарина), не доказало возрастающего интереса к ней? — Все это оратор говорил в опровержение появившейся статьи Шарапова в мае 1896 года в «Русском вестнике» о нынешней молодежи, которая поразила меня своею правдивостью, именно беспощадною и безотрадною правдивостью… Студент заключил свою речь уверенностью, что все нападки на молодежь и обвинения ее в отсутствии каких бы то ни было идеалов — совершенно несправедливы, что они у нее есть, что молодежь действительно живет ими.

Гром аплодисментов покрыл эту неподражаемую, длинную и запутанную речь, которая, кажется, и ясна только потому, что я привожу ее здесь очень сокращенной, самую ее суть. Я не утерпела и, обернувшись к своим соседям, двум студентам, спросила их, кто это говорил. — «Это Волькенштейн, восточного факультета… хорошо говорит… это один из наших ораторов». Я про себя только пожалела, что в университете нет лучших ораторов, чувствуя, что я могла бы сказать и вдвое

короче, и гораздо выразительнее… Но возражать студентам я не стала; по их бледным, холодным, корректным лицам, с бородками клинушком, видно было, до какой степени они равнодушны ко всему окружающему…

Но что же настало потом?

Да вот что: толпа стояла и молчала. Несколько сот человек молодежи собрались сюда на праздник своей alma mater, и что же? — Где было веселье, оживленные разговоры и споры на темы научные и общественные? где? — В центре толпы некоторые лишь изредка переговаривались между собой; по стенам, на столах стояли группы молодежи, но и они стояли молча, и там не было заметно никакого движения…

Молчание нарушил один из студентов, юркий юноша, с физиономией несимпатичной и скорее нахальной, в пенсне, предложивший запеть Gaudeamus[99] для оживления собрания (?!!). И ему аплодировали! Я пожала плечами в недоумении.

В ответ на это раздался негодующий голос юного студентика с еврейским акцентом, вскочившего на стол: «Господа! что же это такое? Мы собрались на свой праздник, надо пользо-

---

[99] Примечания: 99

«Gaudeamus» или «Gaudeamus igitur» — «Возрадуемся» *(лат.),* студенческий гимн на латинском языке.

ваться случаем, чтобы обсудить разные вопросы, касающиеся студенческой жизни, — вопросы, которые требуют разрешения, и вдруг нам предлагают запеть… петь „для оживления собрания“! Товарищи! Что же это! Я ничего не имею против Gaudeamus, но ведь, посудите сами, что нам нужно говорить о делах. А мы — молчим, мы — стоим. Говорите же, товарищи!.. Толкуют о товариществе, о студенческих собраниях; вот мы собрались здесь! Говорите же! Возражайте друг другу, спорьте, но пусть будет обмен мыслей, пусть мы здесь решим некоторые вопросы, петь мы успеем потом…»

Ему опять аплодировали. Обидевшийся коллега его встал и сделал какое-то замечание по поводу пения. Но, очевидно, слова юного студента произвели впечатление. Начали «говорить», т. е. поднимается с одной стороны голос-два, им отвечали тоже двое-трое, и это были не речи, а скорее какие-то краткие замечания по поводу московских беспорядков. Завязался даже забавный спор между двумя студентами, из которых один стоял за то, чтобы у студенчества был свой особый бог, другой возражал ему на это, что его иметь неудобно, да и неловко как-то… что же студент за особое существо, которое должно создавать себе

бога на 4 года? Это было уже совсем комично.

Я сошла со стола, где стояла все время, и ушла в буфетную чай пить. Там было душно и дымно; длинный стол, весь уставленный налитыми стаканами чая, с блюдечками, на которых лежали кусочки лимона, со скатертью, залитой чаем и усыпанной крошками хлеба, был весь уже занят. Двое наших курсисток разливали чай. Я нашла себе место на стуле у стенки и уселась со стаканом чая в руках; рядом со мной на диване сидел студент с некрасивым лицом, в очках. Я решила поговорить с ним, — пока пью чай, и спросила, что было в начале, так как я пришла уже поздно. Он усмехнулся. — «Говорили…» — «Кто, о чем?» — «Да, право, не знаю… ведь, вы думаете, все знают из тех, кто там в зале, о чем говорят? Ведь не слышно, да и не стоит слушать…» — отвечал он лениво. — «Зачем же вы здесь?» — спросила я. — «А я сам не знаю… Вот пришел так же, как и другие». — «Очень жаль, если вы так относитесь к своему университетскому празднику», — не вытерпела я. — «Что ж делать? Этак, пожалуй, и в университет ходить — заниматься…» — «Да, конечно, а то что же больше делать?» — «Ну, уж этого — нет. Видите, я — юрист третьего курса, и ничего не делаю, так-таки вот вам в глаза смотрю

и прямо говорю: ничего не делаю… Вы думаете, в университете занимаются? Да ничуть не бывало! Знайте, что таких, как я, — большинство».

Это было сказано спокойным до бесстыдства тоном, переходившим почти в наглость. Что руководило им говорить такую тираду, смотря на меня тупо-спокойно и в то же время самодовольно: «Что, мол, не ожидала, барышня, какую я тебе пилюлю преподнесу»? Я не доставила ему этого удовольствия и не удивилась, а только заметила ему, что нельзя же обо всех судить по себе, если он не занимается и знает (предположим даже цифру невозможную) около трехсот студентов таких же, — все же сказать этого о трех тысячах он не имеет никакого права.

Студент упрямо покачал головой: «Говорите! я уж лучше вас знаю». — «Зачем же вы поступали в университет?» — «Как зачем? Для диплома… А вы, должно быть, идеалистка: учитесь из глупой любви к знанию?» — «Во всяком случае, не для диплома, так как курсы не дают пока никаких прав». — «Ишь вы какая… значит, учитесь из любви к знанию. И занимаетесь?» — продолжал он расспрашивать меня, и в его ленивом тоне прозвучала нотка любопытства.

Но мне разговор с подобным «экземпляром»

студента уж надоел. Если он хотел порисоваться предо мною — он не достиг цели: и истина о подобном отношении к науке, и такие мнения не были для меня новостью… Ново было только то, что на этот раз я сама слышала их и от студента же, и на празднике. Чтобы покончить, я ответила неопределенно на его последний вопрос: «Да, приходится…» — «Чем же вы преимущественно интересуетесь?» — приставал он. — «Психологией», — одномерно отвечала я. — «Кто у вас читает ее?» — «Введенский». — «Интересно?» — «Очень интересно (я торопилась допить свой чай); в особенности книга им рекомендуется в качестве пособия…» — «Какая же? скажите?» — «Вам-то, во всяком случае, это неинтересно знать…» — И, несмотря на дальнейшие приставания, он так и не узнал имени автора. Я поторопилась уйти поскорее и, выходя из комнаты, вздохнула облегченно, — точно избавилась от тяжкого кошмара…

В зале по-прежнему толпилась масса народа.

Ярославль, 15 августа

Сегодня мне исполнилось 23 года; из них лишь два года я живу иною жизнью, и всегда мне стыдно, больно и жалко предыдущих лет, прове-

денных без дела, без сознательной живой жизни, среди постоянных нравственных мучений. Да! жизнь нельзя проводить в «ожидании», ее нельзя тратить даром — ошибка скажется рано или поздно.

Господи! прости мне! дай мне настолько силы и здоровья, чтобы в будущем загладить прошлую бесполезную жизнь — другою, исполненною сознательного долга по отношению к ближним! Здесь, на земле, ничтожны радости, действительно одно страдание… Я не хочу долгой жизни. Нет; и я прошу у Тебя ее лишь для того, чтобы я могла умереть *с* сознанием, что хоть что-нибудь сделала для других, значит не была совсем бесполезным существом…

Подумать, что через какие-либо сто лет — и от нас не останется ничего, кроме черепа… все наши страдания, горести, страсти, которыми мы так одушевлены теперь, — куда денутся они? Все проходит в этом мире, — «суета сует и всяческая суета».

Есть одно утешительное, что дает силу для жизни и поддержку в борьбе в этом мире: любовь к людям. Великая сила — братская любовь! Она выше, она чище любви супружеской, так как основа ее бескорыстна вполне; мы любим брата не

потому, чтобы он привлекал нас тем влечением, которому следуют женихи и невесты, а просто потому, что он такое же существо, как мы, — тоже пришедшее в мир не по собственному желанию и страдающее не менее нас.

Люди! если б вы могли понять всю великую истину братской любви — не было бы ни войн, ни революций, ни угнетателей, ни угнетаемых, ни богатых, ни нищих — словом, не было бы тех социальных бедствий, которые вызывают вышеуказанные потрясения, а природное неравенство сглаживалось бы самоотвержением более сильных в пользу слабых. Тогда настало бы истинное Царство Божие на земле.

Но велика власть зла: невидимые семена эгоизма сеются всюду щедрою рукою и дают пышные всходы: каждый заботится только о себе, и из этого-то себялюбия проистекают те великие общественные бедствия, с которыми так борется теперь наука: социология, политическая экономия, всевозможные «права» — все в ходу… Слишком даже много научных изысканий делается для доказательства великой и простой истины, всем давно известной, но которая не входит в нравственное образование человечества. Разрабатывать эту истину вполне научно

— целесообразно, но доказывать ее цифрами и главами — дело пустое и бесполезное.

Да! жалка и пуста жизнь, не озаренная яркою сознательною любовью и состраданием к людям. А между тем как трудно бывает воспитать в себе снисходительность, особенно при характере живом и нервном. Сегодня мне пришлось испытать всю чарующую прелесть этой любви: я была у о. Александра, и час, проведенный вместе с ним, подействовал на меня неотразимо: как будто обновленная я вышла от него, ободренная для жизни. А все почему? Разве этот человек творит чудеса? — Нет, но в его словах, в его обращении со мною было столько доброты, любви и ласки, что все это вместе положительно магически действует на меня: душа вдруг обновляется, очищается, и я улыбаюсь, как дитя, чувствуя себя выше и лучше. Я редко, почти никогда не видала такого к себе отношения; меня или не понимают, или осуждают, или просто хорошо ко мне относятся; мое же глупое сердце вечно просит чего-то большего, нежели простая вежливость, и я рада, если встречу хоть ласковый взгляд, хоть слово сочувствия.

Я люблю душу человеческую и всегда ценю ее проявления, ценю откровенность и участие. Но

так редко встречаешь это в жизни: «Все хотят иметь друга, и никто не хочет быть им» — глубоко верное изречение.

Что ж, если у тебя нет друга, постарайся сама быть другом, если тебя никто не любит и не понимает так, как тебе было бы желательно, — сама люби людей и учись понимать их.

«В науке мы найдем нравственные и общественные идеалы», — сказал нам Гревс. Разве не находим мы того же и в религии? Разве в этом смысле эти две области не совпадают? Поэтому необходимо любить и уважать науку…

18 августа

Великая, неразрешимая загадка жизни, — для чего создано все, — способна породить отчаянный пессимизм.

В самом деле: для чего все это? Для чего создан мир, если рано или поздно он должен погибнуть? Несмотря на колоссальные усилия, которые прилагает человечество для разрешения этой задачи, — она не решится нами никогда… никогда!! И с болью, почти с отчаянием приходится прийти к заключению, что не нам решать этот основной вопрос нашего существования:

Что нужно нам, того, увы, не знаем мы[100].

Не знаем! однако — надо жить, если сознаешь, что противно твоим убеждениям покончить жизнь самоубийством. Тяжело и мучительно сознание сделанных ошибок, но опускаться ли под этою тяжестью еще ниже или же, собрав все силы, постараться нести ее до могилы? Что лучше?

Еще в прошлом году, под влиянием сильного нервного настроения, я впадала в малодушное отчаяние; нынче весной казалось мне, что я должна умереть, что это страшное сознание раздавит, уничтожит меня вконец… даже мои религиозные убеждения готовы были уступить место привлекательной мысли о небытии в здешнем мире. И чисто внешние обстоятельства помешали: у постели близкой больной я не имела права решить свою судьбу, так как потрясение имело бы влияние на ее жизнь…

В конце концов, самою спокойною, самою утешительною оказывается смерть христианина. Я хотела бы умереть так — с философским спокойствием и нравственной силой! Я думаю теперь, что нет смерти прекраснее такой, когда человек,

---

[100] Примечания: 100
Цитата из трагедии И. В. Гёте «Фауст».

испытав в жизни массу несчастий, несправедливостей всякого рода, — умрет со словами: слава Богу за все! Такая смерть — истинно прекрасна. И я желала бы умереть именно с таким сознанием, несмотря ни на какие обстоятельства жизни.

Мы слишком мало думаем о смерти во время жизни, а между тем именно о ней-то и следует помнить более и чаще всего, так как в ней одной только мы можем быть уверены. Более мы ничего не можем сказать о своей жизни.

Суб., 5 сентября

Только что разошлись с моих именин товарки. В общем я довольна сегодняшним вечером, быть может впервые в жизни. В тесном товарищеском кружке так живо шла беседа о разнообразных вопросах; поднимались и политические, и исторические, и экономические, и, в частности, курсовые. Мы не спорили с пеной у рта о марксизме и народничестве, не кричали, а просто делились мыслями по всем направлениям, так сказать. Одною из главных мыслей в результате было признание невозможности решить такие сложные вопросы, каковы капитализация, предрешить исход исторического развития России. В этом мы представляли собою полнейший

контраст нынешней молодежи, увлекающейся модными экономическими течениями и берущейся с плеча решать самые важные вопросы. На меня произвело самое хорошее впечатление наше общее настроение, которое можно назвать широким: все мы были очень терпимы, так прямо смотрели в лицо действительности и честно сознавались друг другу в своей несостоятельности при решении вышеуказанных вопросов.

Не обошлось, конечно, и без размышлений по поводу взгляда на брак, упомянули о «Крейцеровой сонате»... И никто из нас даже не заикался о «прелестях» любви, о личном счастии. Скорее, мы готовы были отнестись с сожалением к злоупотреблениям чувственностью и вытекающим отсюда «перепроизводством» детей, несчастных существ, которые вступают в жизнь неподготовленными к жестокой борьбе за существование, гибнут и ломают себя — произведя в свою очередь таких же существ. Да, еще не проникло в наше «общество» сознание необходимости целомудрия и нравственного внимания... чего же требовать от народа, если мы сами до сих пор еще стоим так низко и тонем в пучине своего собственного эгоизма.

Отсюда был один шаг до религиозного вопроса,

но мы не спорили о вере. И, пожалуй, хорошо — это никогда не оскорбляет: мое убеждение остается при мне, ихнее — при них. Однако мне хотелось бы хоть раз в жизни встретить религиозного человека, стоящего несравненно выше меня по своему общему умственному складу, и провести с ним несколько часов в братской беседе. Иногда мне до боли хочется дружбы с таким человеком, братской работы с ним на всю жизнь. Но сегодня я все-таки чувствую себя хорошо: все мы были мирно настроены, так интересно беседовали, а главное — чувствовали симпатию друг к другу. Оживленный обмен мыслей вызывал добродушную насмешку в случае ошибки или ложного мнения и одобрение — в случае удачной и остроумно высказанной мысли. Пусть из нашего разговора нельзя было заключить о наших научных познаниях, но нельзя было отказать в прямоте и широте взгляда и честности намерений. А первое качество и связанная с ним терпимость — увы! — так редко попадаются теперь среди учащейся молодежи.

Когда ушла Леля С., разговор коснулся меня; Дди и Маня наперерыв стали уверять, как обо мне изменилось мнение на курсах к лучшему, потому что я стала совсем иначе относиться к людям.

Я объяснила им прежнее следствием нервного состояния, которое было очень обострено первый год, проведенный на курсах.

Они вскоре ушли. Несмотря на то что мои умственные интересы не стоят в тесной связи с интересами их, что они не согласны с моими религиозными убеждениями, — я чувствовала, что все эти три девушки близки и дороги мне, что у нас все-таки есть много общего, что мы все стремимся стать людьми.

И глухою, острою болью отзывалось в моем сердце воспоминание о милой, далекой, бедной сестренке, обреченной навсегда жить, не удовлетворив своих лучших порывов… Это не переставая терзает мне сердце и окончится, должно быть, только с моей жизнью. Да! Вот он, крест, посылаемый каждому из нас. Но мой, вполне заслуженный, невидим для глаз и поэтому не возбуждает ни в ком сострадания. А одинокое страдание — двойное страдание!

Боже мой! Сжалься над Валей, сжалься над бедным ребенком, который за все свои недостатки наказан так, как не бывают наказаны и взрослые люди… Помоги ей выздороветь, встать человеком, а мне — помоги пройти жизненный путь, не падая под тяжестью заслуженного креста.

28 сентября

…Когда я оглядываюсь назад на все последнее время — мне даже как-то страшным кажется, как могла я вынести такие нравственные мучения, тем более ужасные, что ни для кого они незаметны?

Да… это время прошло, и кем же я вышла из этих вполне, впрочем, заслуженных испытаний? После того как я узнала, что у меня неврастения, — я вполне поняла, отчего временами душевная боль доходит до острого, почти физического страдания… В лекциях Кожевникова я читала, что эта болезнь развивается вследствие «психических влияний угнетающего свойства», — совершенно верное мнение. Моя живая, нервная натура не выдержала нашей изуродованной жизни… и в то время, когда я, страстно стремившаяся к науке, наконец-то достигла пристани, — оказалось на поверку, что заниматься-то, учиться-то — и не могу! Полное переутомление и потеря памяти в связи с чрезвычайною нервною восприимчивостью…

Положение драматическое.

И я не знала об этой своей болезни и все время с ужасом думала, не схожу ли я с ума, но к врачу

обратиться не догадалась до тех пор, пока случайно в Киеве не решилась пойти к Нестерову… Этот странный человек, лечивший индийской медициной, именно потому и навел меня на мысль обратиться к нему, что не был врачом по профессии, к которым я относилась с недоверием… Но лекарства его обходились мне слишком дорого, не по моему студенческому карману, — и я оставила его лечение (принесло ли оно мне действительную пользу — не знаю, но я, во всяком случае, в него верила).

Это было прошлою осенью. Прошло несколько месяцев — в феврале получаю письмо о болезни Вали, — и началась для меня страшная нравственная пытка, отголоски которой, вероятно, никогда не исчезнут во мне и окончатся лишь с моею жизнью.

Вчера я получила от нее письмо, где она пишет, что «кажется, выздоровела окончательно», доктор отменил лекарства… Я просто ни поверить, ни радоваться не смела от неожиданности: нет, не может быть! это уже слишком! Вероятно, что ей только стало лучше… А если правда? — Великий Боже, я испытываю такое чувство, как будто бы вновь родилась наша Валя… Получить воспаление почек в 20 лет, быть лишенной воз-

можности свободно двигаться, постоянно лежать, быть обреченной на вечную диету… — и это при слабом характере, склонном к меланхолии, при страшной нравственной анестезии близких ей, которые не способны ни утешить, ни ободрить ее, а только втягивают ее еще глубже в мрачное настроение, — что может быть печальнее? Это почти немая нравственная смерть, на которую я обречена была смотреть, повергнутая в полное отчаяние, не имея возможности помочь так, как хотела бы… Временами, в отчаянии, я думала, — не лучше ли будет, если Валя умрет, нежели будет жить. Но тут являлась мысль о ребенке: мне становилось страшно за будущность малютки, и я с ужасом отталкивала от себя мысль о смерти. Каковы бы ни были условия — все ж можно надеяться, что, по крайней мере, ребенок вознаградит сестру за все…

Люди, сильные духом, выходят из страданий еще более крепкими, слабые — разбиваются; для натур от природы нравственно тупых они проходят бесследно. Так случилось и в этот раз…

11 октября

Да, вот оно начало… чего? — конца? — Нет, но начало «страдания за грехи отцов». Впрочем, оно

уже давно началось, давно еще, с 18–19 лет, когда впервые начали портиться мои нервы, теперь же — переход на «телесные явления».

Началось все с пустяка: в начале августа комары накусали мне ногу, я расцарапала кожу до крови и, не промыв, залепила пластырем, который вскоре пропитался южною пылью, так как я ехала в это время в Киев; после такого лечения «домашними средствами» — получилась язва, которая теперь второй месяц не поддается никакому лечению. Не обращая на нее серьезного внимания и замечая только, что от одного лекарства лучше не делается, — я обратилась к какому-то немцу, который, сказав: «пустяки, заживет», только растравил рану. Выйдя из терпения, я пошла к гомеопату, который добросовестно не поручился за успех лечения одними внешними средствами, а внутренние принимать оказалось невозможным, так как я не могу бросить свои пилюли от нервов. И наконец, я догадалась обратиться к нашей женщине-врачу О. Ю. Ка-нской, направившей меня к хорошему доктору, который дал дельный совет: бинтовать ногу, а научиться советовал у О. Ю. Но в тот же день вечером с необыкновенной легкостью у меня появились два нарыва: на левой руке и

ноге. Сегодня была вновь у Ка-нской; та ахнула, взглянув на рану, и, узнав еще о нарывах, задала мне лаконический вопрос: «У вас в семье все здоровы? ваш отец не был болен?»

А… вот уже до чего дошло, подумала я, но при Леле Ст. язык не поворачивался сказать, что мой отец умер от прогрессивного паралича…

Еще в прошлом году колкое, острое страдание причинила мне мысль о возможности заражения отца специфическою болезнью, — и как спокойна я теперь, когда на мне явилось отражение этого заболевания! Отчего это? или нервы стали лучше? или я уж слишком много страдала нынче весной, что теперь на меня нашло такое спокойствие?.. И я улыбнулась и сказала: «Мой отец умер слишком давно, чтоб я могла что-нибудь помнить о нем, мать — женщина, страдающая нервами, а у меня в детстве была золотуха». О. Ю. покачала головой и осторожно сказала: «Может быть, вам надо что-нибудь принимать внутрь; вы не беспокойтесь; ведь есть отраженные заболевания…»

Да, знаем мы эти «отраженные заболевания»… Мне известно, что отец до женитьбы вел далеко не нравственную жизнь, имея связь с одной красивой работницей на фабрике, мне говорили о безнравственности моего отца в таких выраже-

ниях… и я слушала, как будто это так и следует. Ведь со стороны смотреть это прямо ужасно — видеть молодую девушку, страдающую за «грехи своего отца». Вот уж истинно похоже на «Невинную жертву» д'Аннунцио. Я вдвойне невинная жертва: со стороны матери, испортившей мне нервы ненормальною жизнью, с другой — со стороны отца, оставившего мне в наследство такое «отраженное заболевание»…

Имею ли я право судить отца? — С нравственной точки зрения он безусловно виноват: колоссальный эгоизм, заставляющий жить в свое удовольствие, затем жениться, не думая о последствиях… о детях. Но зато и поплатился несчастный папа: четыре года страдал он, умирая медленною смертью, умерев заранее умственно. Суд Божий совершился над ним… Он виноват, но причиной вины его является неразвитость нравственная и умственная (впрочем, последняя — вряд ли: отец был, по своему времени, человек довольно образованный и развитой). А в этом кто виноват? Родители? Бабушка с дедушкой? Старинные купцы, воспитывавшие сына «по-старинному», — что могли дать они ему, они, сами не обладавшие никаким развитием?

И невольно придешь к заключению, что отец

подпал под влияние европейской цивилизации, но, как русские Петровских времен, усвоил от нее более дурного, чем хорошего и полезного; наряду с образованием в столице — он узнал, несомненно, и столичный разврат, а там — и пошло, и пошло… до женитьбы.

Несчастный! Нет у меня в сердце негодования против тебя… Какая-то тихая грусть, с примесью горечи, лежит на дне души, но снисхождение и почти прощение — превышает все. Ведь он «не ведал, что творил»…

25 октября

В эти дни разыгравшаяся история с проф. Введенским заставила меня совсем забыть о себе и не обращать внимания на всю ту боль, которою болезнь давала знать о своем существовании.

15 окт. профессор открыл необязательный курс «Теория эмпирического знания» (вопросы из его докторской диссертации). Разумеется, собрались чуть ли не все четыре курса. Вдруг, среди шума и гама, неизвестно кто крикнул: «Переходите в VI аудиторию!» Раздался рев сотенной толпы, недовольной тем, что пришлось оставить занятые места IV аудитории, — и вся масса хлынула к дверям. С трудом пробираясь в толпе, я медленно

перешла тоже в новую аудиторию и заняла место повыше… Внизу снова раздался крик, опять рев толпы — и часть побежала из аудитории, часть осталась… Ничего не понимая, я потихоньку (нога очень болела), когда шум и движение немного стихли, вышла из аудитории в зал. Из отдельных восклицаний я поняла только, что профессор будто бы нарочно переводил из аудитории в другую, чтобы избавиться от значительного скопления слушательниц… Не доверяя этим толкам и не видя, к кому можно было бы обратиться за разъяснением инцидента, — я пошла в VI аудиторию, где уже читалась лекция. Дверь не отворялась… Я с силою подала ручку к себе, и кто держал ее изнутри — отпустил, дверь открылась, и я вошла в аудиторию. Народу было довольно много…

Тем временем вся толпа, выйдя из IV аудитории в зал, шумно изъявляла свое неудовольствие; громкий шум слышался за дверями и мешал как слушать, так и читать. Наконец профессор, выйдя из терпения, сам вышел в залу. На мгновение толпа притихла; потом раздалось шиканье, громче, громче… профессор махнул рукой и возвратился на кафедру. Чтение продолжалось под этот шум… Многие ли могли записать что-нибудь из его лекции — не знаю; для меня это оказалось очень

трудным. Вскоре звонок прервал эту злополучную лекцию, и в зале окружили профессора.

Он был болен в этот день и с трудом мог прийти на курсы. Из его объяснений выяснилось, что он не просил переходить в IV аудиторию, это было распоряжение аудиторной дамы, и когда он перешел в VI аудиторию, где на доске был написан конспект, то, ввиду своего нездоровья, просил дать ему сначала войти в аудиторию и затем объявить слушательницам, чтобы они вышли, так как пробраться сквозь толпу он не был в состоянии. Это распоряжение или не было передано, или было передано неточно, но как бы там ни было — масса, оставшаяся в IV аудитории, не пошла на лекцию и в отместку устроила скандал.

30 октября

РОМАНС ПРОФЕССОРА[101]

(На мотив из «Цыганского барона»:
В моем скитанье
Много страданья… и т. д.)

---

[101] Примечания: 101

По поводу речи «О задачах университета», произнесенной в сентябре 1897 г. первому курсу, и последовавшего затем недоразумения в октябре, по поводу объявленного курса.

В преподавание
Много старания,
Много внимания,
Душу вложил.
Что наслаждений,
Женских волнений
И поклонений
Я пережил.

Филологички,
Математички,
Даже химички —
Весь этот мир
Меня и знает,
И уважает,
Словом, считает
За свой кумир.

Всегда беспечно
Твердил я вечно:
О, да, конечно,

Мой пьедестал
Стоит так твердо,

Высоко, гордо,
Что никогда б я
С него не упал.

Лишь на мгновенье
Одно сомненье
В уме мелькнуло —
Я признаюсь:
Я консерватор,
Ярый оратор,
Ну и подумал —
Не удержусь...

Речь им сказал я.
Не ожидал я,
Что за волненье
Вдруг поднялось!
Какие споры!
Почти до ссоры!
Без объяснений
Не обошлось.

Дело уладилось
И уж изгладилось

Из моей памяти, —
Как вдруг опять,
Опять попался:
Не удержался
На первом курсе
Речь я сказать.

Что тут случилось!
Все возмутилось, —
Ужас какой!
Шум, крик поднялся,
Я опасался
Сходки большой.

Мне так досталось!
Что не осталось
Больше охоты
Речи держать…

Кантом клянусь я,
За ум возьмусь я,
Буду молчать,
Буду молчать!

(Окт. 1897 г. – окт. 1898 г.)

В Александровской общине Красного Креста

1 декабря, днем

Тихо… почти вся палата улеглась спать, что редко случается.

Пользуюсь первой минутой тишины и спокойствия, чтобы взяться за давно заброшенную тетрадку…

После поездки во Псков мои ноги пришли в такое состояние, что я с трудом могла ходить. Нервное возбуждение, поддерживавшее меня до сих пор, упало, и когда я поехала к проф. Павлову и он запретил мне окончательно ходить на курсы, — то я даже не огорчилась. Прошла неделя… целых семь длинных вечеров, при свете лампы, провела я почти в полном одиночестве, за книгами. Но, вопреки прошлому году, когда одиночество так болезненно отзывалось на мне, — я была почти рада ему… Невеселые мысли бродили в голове, и я их не гнала… да разве и могло быть иначе! Разумеется, лежать одной крайне неудобно во всех отношениях, но, вспоминая болезнь Вали, я получала своеобразное наслаждение от сознания всех испытываемых неудобств: «мне так и надо, и еще бы хуже надо… этого еще ма-

ло…» — думала я, когда на мои звонки никто не являлся и я не могла ни напиться воды, ни достать нужной вещи. Заставлять дежурить около себя товарок — я считала излишним; правда, они посещали меня ежедневно, но эти короткие «забегания на минуту», в сущности, только отрывали меня от читаемых книг и нарушали мои размышления. И вот в эти-то дни как нельзя более очевидно выступил передо мной донельзя ограниченный круг моих знакомств между курсистками: две-три из 200 человек — не много! Я думала: будь у меня среди них друг, искренно ко мне привязанный, любивший меня настолько, что, несмотря на мои отказы и уверения, сказала бы мне: «Нет, я тебя не оставлю, я буду у тебя все время, буду сидеть около тебя…», если бы были такие! Но, должно быть, невидимая рука судьбы, поставившая меня одинокой среди семьи, оторвавшая от меня сестру в тот момент, когда мы готовы были сблизиться и идти вместе одною дорогою, — поставила меня и на курсах так, что за все это время не сошлась ни с кем настолько близко, чтобы смело могла назвать ее другом. Как это случилось? Мои ли чересчур большие требования к людям на первом курсе помешали мне сойтись, или… ну да нечего писать об этом.

Прошла неделя, и 20 ноября вечером надо было ехать в лечебницу: вылечиться возможно было лишь при операции, вычистив язвы на обеих ногах. Я уехала одна, взяв с собой две почтенные связки книг, в полной уверенности, что буду там заниматься.

Было 7 час. вечера, когда я приехала в лечебницу. Тихое церковное пение разносилось по комнатам, и одна из сестер предложила мне пойти в церковь, в ожидании ванны. Я пошла, но так как стоять не могла, а сидеть за службой не привыкла, то и вернулась вскоре обратно.

В столовой было тихо. Я молча осматривала знакомую уже обстановку, простую, но солидную; при свете двух электрических ламп она приобретала совсем домашний оттенок. Две сестры — шатенка, с лицом задумчивым и симпатичным, и миловидная блондинка — были заняты: В. писала что-то на разграфленных листках, Ян. хлопотала у буфета. Я наблюдала за ними, не решаясь заговорить первая — лица были такие деловые и озабоченные. Скоро листы исчезли, и на столе появились маленькие круглые тарелочки с красной каемкой, и сестры начали разрезывать пополам разные сорта булок, раскладывая их по тарелкам; когда принесли самовар,

они разливали и разносили чай по палатам. Прошло более часа… Наконец обе сестры уселись за столом. «Устала… бегаешь, бегаешь», — сказала, вздохнув, шатенка. — «Я тоже устала», — сказала блондинка, и симпатичная улыбка озарила ее круглое голое лицо. — «А вы действительно устали, сестрицы, вы все время заняты…» — решилась я заговорить с ними. Мне показалось, точно я вдруг повернула кнопку электрической лампы и комната озарилась ярким светом: сестры приветливо улыбнулись, встали и подошли ко мне. — «Да… устанешь тут…» Я начала расспрашивать их, откуда они, где учились. Шатенка оказалась институткой, а блондинка — из Твери с первоначальным образованием. Но дальнейший разговор был прерван появлением старшей сестры Б-ой, уже пожилой женщины, которая сказала, что ванна готова.

Я вошла в небольшую комнату, в которой стояла белая кровать, белый шкаф и ванна; молоденькая горничная с почтительной фамильярностью помогла мне раздеться; перед тем как принять ванну, пришла опять старшая сестра и намазала мне язвы на ногах какою-то мазью. Стоять мне было довольно трудно, но с помощью горничной, помогавшей мне охотно и ловко, я вошла в ванну

и вымылась с наслаждением… Когда я наконец рассталась с мылом и губкой и с таким же трудом выбралась из ванны, — пришла сестра В., забинтовала мне ноги и пригласила в столовую пить чай. Я была уже одета во все больничное белье и халат и путалась в нем… — «Русалка у нас в больнице», — раздался за мною ласковый голос, когда я вошла в столовую. Я обернулась: мимо меня проходил один из ассистентов профессора, доктор Э., молодой человек, брюнет, очень симпатичной наружности и ласковый в обращении. Он подошел ко мне, спросил, когда я приехала, потом поговорил с сестрами и ушел.

После того я пошла в палату. Комната — большая, с тремя окнами, с белыми кисейными занавесками, корзиной цветов у среднего окна и туалетом — имела совсем семейный вид: ни номеров, ни названий болезней над кроватями. Я вошла точно в общую спальню. На меня никто не обратил внимания. Все обитательницы занимались своим делом, приготовляясь ко сну: маленькая девочка, моя соседка, уже спала, двое сидели на кроватях, поступившая со мною вместе больная тоже раздевалась, пятая — лежала неподвижно в постели, шестая — с подвязанной рукой и одетая — сидела на кровати. Разговор был

обыкновенный, женский; одна только женская фигура, лежавшая низко на постели, не принимала никакого участия: это была оперированная в тот день больная…

На следующий день я быстро перезнакомилась со всеми. Обитательницами палаты оказались: Тамара, армянка 18 лет, гимназистка «с ногой» из Эривани, ее соседка — жена армянского священника из Симферополя, с опухолью на груди, жена инженера, дама лет около 30, тоже с такой же болезнью, молодая девушка 18 лет из Петербурга, с нарывом на боку, шестилетняя девочка из Иркутска с кокситом бедра и бедная крестьянская девушка из Кронштадта — с ногой с детства скорченной, которую здесь выпрямили, — ее все звали Дуняшей. Курсами никто из них не интересовался, что тотчас же обрисовало передо мной их умственный уровень. Я была вырвана из своей среды, и с полки смотрели на меня книги, казалось с упреком…

На третий день моего поступления в лечебницу должны были состояться две операции — мне и армянке. На все расспросы — как мне будут делать операцию — я не могла узнать, с хлороформом или без него: профессор молчал, и сестры тоже.

Проснувшись рано, я оделась и улеглась на

постель, откуда было очень удобно наблюдать, что делалось в коридоре… Там шла суета… Вот прошли ассистенты, одетые в белое, вот прошел профессор, также переодетый… Старушка-армянка волновалась и молилась… ее брали первую. Мне принесли чаю без булки, но я отказалась пить… Я лежала… наблюдение над новою обстановкою занимало меня, и невольно как-то я забыла о себе.

2 декабря, вечером

В 6-кроватной мужской умирает от рака моряк 50 лет, он очень плох и, быть может, не доживет до завтра. От всех больных тщательно скрывают это, лишь одна я из всей нашей палаты знаю, благодаря близким отношениям с сестрой Г-вич, которая сообщила мне об этом только потому, что, по ее словам, видела «мое спокойное отношение ко всему»…

Никогда контраст между жизнью и смертью не обрисовывался мне ярче, чем здесь: ведь это так близко от нас — в конце коридора — совершается великое таинство смерти, заканчивается последний акт жизненной драмы… У него — только одна жена, детей нет; он не хочет ее видеть, и она сидит за ширмами, а при нем дежурит сестра, на ночь

ее сменяет другая. И я мысленно присутствую там, в ванной, представляю себе умирающего на белой кровати… О, Боже, Боже! и когда-то он тоже родился, и окружающие радовались его появлению на свет: в этот момент люди не представляют себе ожидающей всех судьбы, но ведь конец — неизбежен, неизбежен.

О, смерть, ты — здесь и там… В одной из отдельных палат лежит еще молодой офицер, тоже неизлечимо больной саркомой на голове; он еще не скоро умрет, хотя безнадежен. Знает ли он, что в эту ночь невидимая холодная рука уносит одного из нас? Знает ли он, что и его ждет конец? Что испытывает этот человек теперь? — Говорят, священник его исповедал, но не причастил, так как с ним делается тошнота.

В палате тишина. Лампы потушены, одна моя горит, и я спешу записать волнующие душу мысли.

По коридору раздаются шаги; при каждом звуке их мне так и кажется, что из ванной уж выносят труп в покойницкую… Сегодня веселая, юная сестричка Па-ская, с невольно отразившимся на детском личике страхом, рассказывала мне, как покойников уносят в покойницкую, как вечером того же дня ассистенты делают вскрытие, на

котором присутствуют все сестры, как потом они все идут в ванную мыться… Меня всю внутренне передергивало от этого рассказа: как? — всего только сутки пройдут, даже менее, и человек, холодный, разрезанный, лежит на столе, и над ним — читают лекцию… Нет, должно быть, человеку не была сначала свойственна смерть — несмотря на тысячелетия, мы до сих пор не можем привыкнуть к этой мысли.

И зачем я так думаю? Ведь кажется, надо примириться с этим сознанием, но отчего же одна мысль о том, что человек умирает всего в нескольких шагах от нас, — наполняет меня всю каким-то смущением, жалостью и благоговейным чувством пред переходом последней грани жизни, отделяющей известное от полной неизвестности? А что же там? что там? — Я не могу примириться с мыслью о совершенном уничтожении человека, нет, это невозможно! Что за жалкое создание представлял бы из себя гордый «царь природы», — жил, не зная, откуда идет его существование, не зная, куда уйдет, а главное — *зачем* он жил, для чего все его труды, когда наука указывает в конце концов на гибель всего живущего… Страшная загадка эта неразрешима на почве разума, и люди без веры, в сущности, не

могут жить.

Да, и я не могу жить… и не могу потому, что иначе — я теряю весь смысл жизни, не понимая ее, и мучаюсь невыразимо, умирая же, страдаю еще более от мучительного сознания неизвестности и бесцельности прожитого существования.

Я не могу так!!!

Нет, я верю, что если постигать религию в ее глубоком смысле, то жизнь озаряется таким чудным светом Евангельской любви, стремление к высшему самосовершенствованию и надежда на искупление подвигом ошибок жизни дают такую великую нравственную силу, которая в состоянии покорить мир, и момент смерти, если жизнь улетает без особенных страданий, когда ум ясен и мысль стремится к Богу, — он не только не ужасен, но прекрасен, торжествен и даже не заключает в себе ничего печального. Что может быть лучше надежды на свидание там? Если бы все христиане могли проникнуться истинным пониманием религии — то ведь почти осуществилось бы Царство Божие на земле… Но вот это-то отсутствие глубокого религиозного сознания в массах, склонных лишь к внешнему формализму веры, и лишало не заботящихся об ее истинном смысле, о стремлении к нравственному самосо-

вершенствованию — скорее всего способности возбудить сомнение в религии и подумать: если сознательно религиозных может быть лишь из 1000 один, а все прочие обречены на гибель — то что же за жалкий род человеческий?

В одно и то же время я и сомневаюсь, тогда как наука и жизнь показывают мне всю глубину и силу учения Евангелия, и я не могу отрицать его Божественного, не человеческого происхождения… Люди до сих пор твердят на разные лады одну и ту же мысль: люби ближнего, как самого себя. В этой общине я наблюдаю и вижу всю живительность этого принципа, всю его спасительную силу… Наряду с самоотверженностью сестер, их кротостью и терпением — еще ярче выступает эгоизм некоторых больных, вся грязь человека, вся нравственная низость его души — обнажаются совершенно. И больно и стыдно становится за людей, и хочется иметь грудь гиганта, чтобы на весь мир страшным голосом закричать: несчастные, опомнитесь, в любви — сила! Вы, грязные, злые, жалкие в ненависти своей, — смиритесь, откройте сердца ваши… И чтобы голос мой, как острый нож, насквозь пронзил огрубелые эгоистические сердца, и они облились бы горячею кровью, и пробудилось бы в

них это чувство, и примиренные — они пошли бы в «стан погибающих» под давлением их эгоизма, и тогда прекратились бы на земле страдания, так как не стало бы угнетенных.

3 декабря, днем

От Шурки получила письмо, — болит горло — вот уже восьмой день он в лазарете, и я страшно боюсь, как бы его горловая простуда не перешла в дифтерит. Лечит, кажется, бестолковый врач.

На душе смутно, точно тяжелые осенние тучи налегли на сердце, и мысль об одиноком братемальчугане в казенном лазарете — не выходит у меня из головы… Что… если… дифтерит… и… я боюсь даже высказать затаенную мысль.

Боже мой, возьми лучше мою жизнь, но оставь его! Хотя я его так хорошо знаю, что и теперь могу предсказать, что из него никогда не выйдет человека в высшем смысле этого слова, что его легкомыслие и ветреность принесут ему немало бед в жизни, что он не сумеет переносить несчастий и что смерть в ранние годы хороша тем, что покидаешь мир, так сказать, стоя на пороге жизни, не успев изведать ни ее радостей, ни страданий, — но все-таки одна мысль о возможности подобного несчастия леденит душу… Будь я дома

— другое дело, — я бы приехала и ухаживала за ним, но в настоящее время мое положение тем и ужасно, что я не могу его видеть, не могу лично узнать от доктора все, не могу своим присутствием облегчить ему болезнь… и если ему станет хуже… но нет! Пусть лучше мне отнимут обе ноги потом, но я поеду к нему…

Господи, будь милосерд, избавь мое несчастное сердце от такого великого неожиданного горя…

Пусть Шурка выздоровеет…

11-й час вечера

Леонтьев (моряк) еще жив…

Вечная трагедия жизни! И там, в конце коридора, ежеминутно можно ожидать ее конца…

Я готова проклинать всех тех, кто сам, испытав хоть однажды большое горе, видев хоть раз смерть и страдания, — решается, несмотря на это, давать жизнь другим существам. Как глубоко трагично то, что такое высшее создание, какими мы себя считаем, — есть порождение самого низменного, самого животного акта! И эта животность, подчиняющая себе весь род людской, заставляет забывать об ее последствиях — и в результате на свет появляются миллионы существ, родящихся лишь для того, чтобы потом

с озлоблением проклинать минуту рождения. И над всем нашим земным шаром, над всеми этими миллиардами живых и копошащихся в своем ослеплении существ — царит одно верное, одно непременное: смерть, смерть и смерть…

Голова кружится…

4 декабря

Леонтьев умер вчера в 2 часа ночи. При нем дежурила сестра Па-ская, розовая девочка лет 18, веселая и жизнерадостная. И он, умирая, сказал ей: «До свидания, вы тоже скоро умрете…» Она, кажется, не преминула всем сообщить об этом неожиданном «предсказании»… Сегодня утром m-me Ш., смеясь, смотрит на нее и повторяет: «так до свидания же»… и она смеется… и другие дежурные сестры смеются…

А я не смеюсь и думаю: отчего он сказал ей это? Или в момент перехода этой границы — он вдруг увидел уже не здешними глазами ее будущее, или это было просто злое желание с его стороны — умирая, омрачить молодое существо страшным «до свидания», или, наконец, он сказал это просто «так»? Благоразумные люди скажут: конечно «так»; второе предположение — неблагородно как-то, а первое?.. И вдруг — предсказание сбу-

дется и через год, через два — сестры Па-ской не станет? Фу, какое тупое суеверие! Неужели я стала суеверна?..

Я читаю теперь в «Новом слове» (97 г., 7 и 8 №№) повесть Светлова «В дверях Эдема». Особенными литературными достоинствами она не отличается, но проф. П. изображен очень живо и верно, хотя слегка преувеличенно. Также метко дано прозвание «халдейского жреца» ассистенту Ал. Ал. Э.: действительно, в его лице есть нечто загадочное, особенно когда он наденет свой операционный костюм — белую шапочку с красным крестом и такой же фартук.

Я с ужасом смотрю на календарь: 4-е! Сколько лекций пропущено, сколько дней занятий потеряно! так как в общей палате оказалось совсем невозможно заниматься. Добрая душа-профессор сделал просто благодеяние, положив меня на кровать имени Гамбургер как учащуюся, несмотря на мои протесты; но если бы я знала, что эта кровать будет в 6-кроватной палате, — я едва ли согласилась бы. Как всегда — я и в этом случае оказалась несообразительна: вместо того чтобы приехать сюда сначала с кем-нибудь из товарок — я отнеслась к своему помещению сюда с каменным равнодушием, мне было как-то «все

равно», — может быть, потому, что я по приезде из Пскова уже с трудом могла ходить…

Нигде, кажется, с такою ясностью не видишь, как здесь, какое злоупотребление делают люди из своего органа речи: бабье пустословие, разговоры с утомительной бессодержательностью уже раздражили мне нервы; по-видимому, ко мне вновь возвращается проклятое состояние, выражающееся пока в легкой сравнительно форме — сжиманием головы. Разговоры меня мучат невыразимо, и я, после окончания курсов, решительно стану избегать женского общества или же буду сходиться с наиболее серьезными и молчаливыми. А здесь, — если б я знала, каково лежать в общей палате, — непременно легла бы в отдельную: лучше было бы заплатить 100 руб. с «некоторой натяжкой» своих финансов, нежели терять дорогое время, которому цены нет.

Теперь 11-й час вечера… Пришла одна больная из отдельной палаты и, сев к Тамаре на кровать, гадает ей… Несчастный женский ум! Абсолютная пустота, заполняемая областью половых отношений: муж, дети, и в привязанности этой — ни капли духовности…

Во мне подымается сильнейшее раздражение. Как я понимаю Достоевского, который сказал,

что весь ужас каторги заключается в том, что он «никогда не будет один»… Сегодня я выехала в столовую, и мне стало положительно легче на душе. Сестры были заняты, и я просидела около часу совершенно одна. И мне не хотелось возвращаться в палату.

Я даже не могу писать сегодня все, что хочется. Присутствие постороннего лица раздражает меня; вид этой женщины с ее простоватым лицом и угловатыми телодвижениями — доказывает такую ограниченность женскую, такое полное отсутствие «всякой мысли», за исключением вышеупомянутой сферы, что я по ней могу судить об ее муже.

Ну, довольно! Я, кажется, разнервничалась… Самообладание! в нем есть единственный исход.

11 декабря

Сегодня операционный день; утром, перед операциями, слышится истеричный плач, вечером — тяжелые стоны…

Сейчас получила письмо от брата, его выпустили из лазарета… Слава богу! Говорят, я похудела за эти дни. — Немудрено от такой тревоги.

18 декабря

«Alles ist so still um mich hier»[102], но я могу прибавить — «Und so ruhig in meiner Seele»...[103] Зрелище человеческих страданий, раскрытое передо мною, не дает покоя душе, и еще глубже, острее становится вопрос: зачем же?..

Григорьева приехала сюда; больная, с огромной, запущенной кистой в животе, все-таки ходила, говорила, смеялась. И после операции сначала все шло хорошо, но уже через неделю видно было, что ей не жить: от нее начал идти такой дурной запах, что пришлось из 6-кроватной перенести ее в перевязочную. Никто не говорил мне о ней ни слова, но при взгляде на эти вваливающиеся глаза я чувствовала, что над нею уже носится дыхание смерти... Я навещала ее через день и вижу постепенное угасание, разложение заживо...

Доктора и сестры скрывают от нее ее состояние, и она сама, очевидно, не сознает опасности своего положения. Кто-то из коломенских кумушек

---

[102] Примечания: 102
Все так тихо вокруг меня *(нем.)*.

[103] Примечания: 103
И так спокойно в моей душе *(нем.)*.

— она мещанка — еще до операции уверил ее, что до 21 дня при таких операциях всегда бывает плохо, а потом поправляются. И она верит, что у нее так будет. Вчера у нее был священник, заметил, что она очень слаба, — «об этом знаем не мы, а доктора, батюшка», — отвечала она. Предложение исповедаться и причаститься больная оставила без ответа.

У меня сердце замирает при мысли, каков же должен быть ужас человека, когда он, надеясь на жизнь до последнего момента, — вдруг сам сознает всю неизбежность близкого конца. Ведь, в сущности, несознание смерти есть замаскированная жизнелюбием боязнь смерти, потому что редко возможно соединить любовь к жизни со спокойным отношением к смерти. Это доступно немногим — философам или истинным христианам. Надо жить, постоянно помня о смерти. Тогда она не явится ужасной неожиданностью…

Теперь я читаю «Первые дни христианства» Фаррара, и описание жизни первых христиан заставляет меня еще яснее видеть всю громадную пропасть, отделяющую нашу современную жизнь «христианских» народов от этой идеально-высокой в своей простоте жизни.

19 декабря

Нынче в Киеве, бродя по выставке, я случайно натолкнулась на экспонаты сельскохозяйственной школы Крестовоздвиженского Трудового Братства в Черниговской губ., Глуховского уезда, учрежденной Н. Н. Неплюевым. На столе лежали карты, отчеты и книги с историей школы. Я так и вздрогнула, развернув одну из них. Мне показалось, что я нашла свою мечту осуществившейся в действительности. Н. Н. Неплюев, аристократ-помещик, покинул, будучи еще молодым человеком, свой дипломатический пост в Мюнхене в 80-х годах, озаренный внезапно убеждением, что вся его жизнь резко расходится с Евангельским учением. И он постарался устроить ее и эту школу по заповеди: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». По этой заповеди он начал воспитывать своих учеников, не насилуя их воли: в устроенные им «братские кружки» вступали добровольно, и бывали случаи, что ученики кончали курс, не участвуя ни в старшем, ни в младшем кружке.

Выставка закрывалась; наступившие сумерки не дали мне возможности прочесть всю книгу, и я ушла домой; более узнать о ней мне не

пришлось. Только осенью, в «Новом Времени», я прочла коротенькую выдержку, кажется, из журнала «Неделя», об этой школе и легкомысленную заметку газеты: «да, есть же счастливые люди на свете», или что-то в этом роде; более серьезного отношения газеты, которая каждое Рождество и Пасху трогательно говорит о любви к ближнему в передовицах, выдержка, очевидно, не заслуживала. С тех пор у меня не выходит из головы мысль об этой школе. Надо узнать о ней побольше. Но как? откуда узнать адрес? откуда узнать название имения?

20 декабря

Вчера у меня был С-вич, сын профессора, очень милый юноша. Но мне как-то неприятно сознавать, что я произвожу на него ложное впечатление: он считает меня за человека энергичного, тогда как я вся еще нахожусь под впечатлением упрека, брошенного мне вскользь почти незнакомым студентом. Когда он узнал, что между гимназией и курсами я 4 года не могла добиться позволения у мамы поступить на курсы, он сказал мне небрежно: «Значит, у вас было мало энергии…» Как ножом по сердцу резнули меня эти слова. Ведь он был прав! Дома, летом, я пе-

речитала мой дневник за то время, и на каждом шагу наталкивалась на собственную слабость, несчастие. С тех пор как я пережила борьбу с препятствием поступления на курсы, — я точно преобразилась… Но сознание своей прошлой дряблости и заставляет меня стыдиться, когда иногда моя живая речь или жест позволяют другим судить обо мне лучше, нежели я на самом деле есть. Потому что я считаю энергию настолько хорошим качеством, что не осмелюсь приписать ее себе.

21 декабря

Знакомлюсь с больными. У большинства страдания интереснее их самих или же совершенно заслоняют личность, потому что она так обыкновенна, что ничего не стоит заменить ее.

Один из лежащих в отдельной палате — директор правления конторы Государственного банка в Одессе — молодой человек 29 лет, бывший лицеист — казался мне сначала более интересным по своему содержанию. Но мое разочарование началось с того, как я заметила, что он находится под башмаком своей ревнивой жены, которая, пока я не выезжала, навещала меня ежедневно, а потом ни разу не пригласила к себе, тщатель-

но затворяя двери палаты, когда видела меня в столовой. Это бы еще ничего; беда в том, что он оказался с шаблонными взглядами на жизнь и женщину, на отношения мужчин и женщин, — и это я простила бы, но, сверх всего этого, иметь такое же шаблонное отношение к религии — я не могу перенести хладнокровно. Видеть образок, висящий на кровати, и скабрезные французские журналы на столе — тяготит меня, как образец абсурда официальной религиозности, которою заражено наше общество. Из всех его слов так и сквозит полное непонимание нездоровости таких взглядов и вредности такой «золотой середины», которой он держится и которая покорно убаюкивает нас на мягкой перине «обыденной жизни»... Если хочешь спокойного сна на ней — лежи посередине; передвинешься в сторону — уж неловко, а еще — тогда уж упадешь и проснешься.

Я мало знаю людей, но если мне придется жить среди таких, то я уйду от них, уйду куда бы то ни было, уйду из России, — я не в состоянии мириться с такой ужасающей пошлостью... Если бы я обладала талантом Грановского, страстностью же Белинского — я бы пошла на кафедру и стала бы «учителем жизни»... Но я — человек

обыкновенный, да еще мои способности подкошены нервами — мне остается одно: бороться по мере силы одной, а затем, в случае — уйти, но не сдаться!!

Новый человек я, и моя обновленная жизнь требует иных людей…

В голове моей слагается смелый план — воскресить давно умершую христианскую общину первых веков, провести среди современного испорченного эгоизмом общества эту великую, вечно живую идею; осуществляя ее на деле — основать для начала монастырь, но своеобразный, девизом которого служили бы слова: «Иже хощет по Мне идти, да отвержется себе, да возьмет крест свой, и по Мне грядет…» и провести это самоотвержение во всей цельности, применяя при этом все, что могла выработать цивилизация на пользу человека, отвергая как ненужное всю ее мишуру. А потом воспитать в этом монастыре поколение, безразлично — мужское и женское, и тогда быть может — в этом поколении благодаря воспитанию и осуществится жизненный идеал Христа…

В $7^1/_2$ часов скончалась Григорьева. От больных, конечно, скрыли.

24 декабря, 10 часов вечера

Вот где пришлось проводить мне нынче Рождественскую ночь!

У детишек — Шуры, Жени в женской шестикроватной, у Шуры и Феди в мужской — елки; личики деток в белых халатах светятся радостью, а пестрые, разукрашенные елки придали белым палатам еще более семейный и праздничный вид.

Была сегодня за всенощной. И, следуя тому настроению по отношению к церкви, которое меня не покидает уже второй год, — я смотрела на лица молящихся. Это было удобно, так как кресла с больными ставятся у клироса, а посторонние посетители стояли в глубине церкви полукругом. Церковь была ярко, по-праздничному освещена; видно было, как торжественность богослужения действовала на молящихся: все стояли вытянувшись; на всех лицах застыло строгое, внимательное выражение… Прекрасно пели мое любимое нотное «Слава в вышних Богу»… Сколько раз я ни слушала этот превосходный напев — он все более и более нравится мне: он точно медленно уносит куда-то вверх… звуки нежные, тихие… Какой композитор написал эту

музыку? Поистине трудно написать и более возвышенную, поэтичную и в то же время простую.

Я совсем замечталась.

«Господи, к Тебе прибегох!» — эти слова раздаются точно музыкальный вздох по всей церкви…

Я оглянулась на молящихся… все стояли так же внимательно, глаза многих были устремлены на образа; нет сомнения, что у многих в сердце отдались эти слова горячей молитвой…

«Научи мя творити волю Твою».

Я продолжаю смотреть на толпу… Да? И эти люди просят Бога научить их творить Его волю? И они в самом деле готовы исполнить божественные Его заповеди?

Горький смех чуть не вырвался у меня… — А ты сама-то? Не лучше ли было бы тебе вовсе не…

«Яко Ты еси Бог мой…»

И вот они все вернутся домой — такими же, какими пришли сюда.

«Яко у Тебе источник живота… в свете Твоем узрим свет!» — заканчивается славословие громким радостным аккордом…

И теперь мне стало ясно, почему так внимательно стояли и слушали эти люди.

Им необходимо отрешиться хоть на несколько часов от пошлости житейской, в которой погряз-

ли многие из них, — и вот они идут сюда. Никогда не догадаются они, что именно эта потребность ведет их в церковь; считая себя «православными» — они объясняют себе желанием «встретить праздник по-христиански» — не вдумываясь глубже.

Молитва возвышает человека, отрешает его от всего земного, церковь же легче настраивает к этому. Это громкое, радостное обещание — точно просветляет душу, дает ей поддержку и силу жить во тьме житейской…

«Пробави милость Твою ведущим Тя…» — раздается вновь тихое пение, в котором звучит трогательная мольба… Сжалься над нами!

«Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас…»

Троекратный гармонический призыв Высшего Существа так прекрасно заканчивает всю молитву, что долго стоишь очарованной, и сердце наполняется невыразимым волнением…

Какая прекрасная музыка. Это целая психология в небольшом произведении… Я хотела бы умереть под звуки этой священной песни…

Мне всегда казалось, еще когда я была ребенком, что ангелы, возвещавшие пастухам Рождество, пели именно этим напевом…

И вот уже сколько столетий, как люди празднуют эту ночь, и это священное воспоминание набрасывает на нее дымку какой-то таинственности, какой-то торжественности, и невольно этому поддаешься.

Мои милые, дорогие, далекие!

И мыслью и сердцем — я с вами со всеми в эту Рождественскую ночь… и в Нерехте, и в Ярославле, и в Киеве, и в Москве…

Вы не любите меня так, как я вас, вы любите по-своему, не все и не всегда понимая меня… Чем виновата я, что такая уродилась? Всю тяжесть этого — несу ведь я одна. Но я все-таки люблю вас, и больше, чем вы меня…

Мало кто из вас пожалеет от души, что я в эти дни здесь, но мне — хотелось бы вас всех прижать к своему сердцу… И я делаю это здесь…

Вспомните же меня! О, если бы этот душевный стон обладал силою раздаться по всем направлениям за тысячи верст — чтобы прозвучать в ваших ушах…

26 декабря

Умер Захарьин[104], от мозгового удара (или паралича).

Когда я вчера утром прочла телеграмму и сказала об этом сестре Б-вой, та усмехнулась в ответ: «Ну и слава богу, не будет больше больных обирать». — Это был первый услышанный мною приговор от человека, всю жизнь свою бескорыстно и беззаветно служащего делу милосердия. И со своей точки зрения — она безусловно права: болезнь сама по себе есть несчастие, и вот почему спекуляция этим несчастьем — непомерные суммы за визиты, которые берут знаменитости, — производит отталкивающее впечатление. В тот же день в «Н. вр.» был напечатан фельетон, где Old Gentleman[105] старался оправдать резкости и причуды Захарьина будто бы нравственною низостью той толпы, которая верила в него как в волшебника, а он, как человек умный, понимая этот, в сущности оскорбительный, взгляд на него, — платил за это ненавистью и презрением.

---

[104] Примечания: 104

Григорий Антонович *Захарьин* (1829–1897/1898) — русский врач-терапевт, заслуженный профессор Московского университета, основатель московской клинической школы, почетный член Императорской Санкт-Петербургской академии наук.

[105] Примечания: 105

Пожилой джентльмен *(англ.)* — псевдоним русского прозаика, публициста А. В. Амфитеатрова (1862–1938) в газете «Новое время».

Все это может быть и так, но именно это-то и не оправдывает Захарьина: если он был головою выше толпы, то должен был скорее сожалеть об ее нравственной тупости, а не увеличивать ее еще более и принижать своими причудами до бесконечности. Деньги — деморализируют общество, и в данном случае Захарьин являлся именно таким деморализатором его. Ставить в заслугу Захарьину то, что он, иногда получив дерзость от какого-нибудь смелого пациента, проникался к нему уважением, значит, в сущности, выставить еще более на вид его нравственные недостатки… Б. рассказывала мне, что когда его однажды просили приехать к больному студенту его товарищи, то он потребовал 50 руб. за визит. И студенты собрали эти деньги медяками и вручили в мешке профессору. Тот — ничего, взял… Плохой защитник Old Gentleman своим фельетоном оказал памяти профессора медвежью услугу: покойного Боткина благословляли, но зато он и оставил после себя 100 тысяч. Захарьин же — 4 миллиона.

28 декабря

Гимназистке Мане, высокой девочке лет 13–14, сделали операцию ноги. Операция была легкая,

и через два дня Маня уже ходила по палате, перезнакомившись со всеми. Ее очень удивляло, что я все сижу с книгами… — «Какая вы ученая! И много у вас на курсах надо учиться? И строгие профессора?» — забрасывала она меня вопросами…

Мы разговорились. Девочка оказалась довольно начитанной и мечтательной. Говоря со мной о душе и Боге, она вдруг оживилась и стала уверять меня, что ее душа существовала до ее рождения… что она жила сначала в чудной далекой стране Берендеев.

Я была озадачена. С виду — ребенок вполне нормальный, — и вдруг такие речи! Бедняжка, очевидно, зачиталась книгами и в некоторых пунктах смешивала фантазию с действительностью. «Что вы говорите, Маничка?» — осторожно заметила я. — «Нет, это правда, правда! Это — чудная страна, там Бог живет и там души живут… Я была в ней, там все чудное, не такое, как здесь на земле… там в белом и розовом сиянии на престоле сидит Бог… там так хорошо-хорошо!» — Она совсем увлеклась, ее глаза сверкали странным блеском… Вдруг она схватила меня за руку. — «Знаете ли, — заговорила она шепотом, точно поверяя мне заветную тайну, — знаете ли,

я бываю там и теперь… тогда меня точно уносит кто в розовую даль, и я поднимаюсь вверх все выше, выше… Кругом все сияет — розовое, белое, золотое… и птички райские поют… И мне там так хорошо, что не хочется уходить… и если я не вернусь — значит я умру, будут плакать папа и мама… Но я знаю, что так надо… скоро, скоро я уйду туда совсем, навсегда… ах, как буду я счастлива!» Маничка сложила руки на груди и смотрела куда-то вдаль сияющими радостными глазами… Мне становилось положительно жаль бедного ребенка. — Но… позвольте, дитя мое, такой страны, кажется, нет. — «Нет?! Страны Берендеев? Она есть, есть, и все, что вы возразите, неправда — я это знаю наперед… вы мне и не говорите, я знаю, знаю»… Я пристально посмотрела на нее. Восторженный экстаз мало-помалу начинал исчезать, она провела рукою по лицу и, будто очнувшись, посмотрела на меня… Мне не хотелось смущать ее дальнейшими вопросами, и я перевела разговор на другой предмет. Спросила ее о гимназии, учителях. Она точно угадала мои мысли. — «Ах, что я вам говорила! Вы знаете, я этого никому не говорю… вы подумаете, что я глупая…» Я постаралась ее успокоить, говоря, что ничего не думаю и что она очень милая и

хорошая девочка и мне приятно с нею говорить.

Успокоенная, она отошла от меня и улеглась спать. Но я, удивленная неожиданным разговором, стремясь разобраться в этом психологическом факте, — была слишком взволнована… Я села в стоявшее у постели кресло, выехала на нем в коридор — и задумалась…

30 декабря

Читая теперь лекции Зомбарта о социологическом движении в Европе, я нахожу, что многие мысли, высказываемые в них, — мне приходили в голову раньше, когда я только что начала читать «Историю французской революции» Кареева и размышлять над ходом истории. В прошлом веке от революции выиграла буржуазия, — аристократия, духовенство имели уже свой золотой век ранее. Теперь же выступает на сцену новое — четвертое сословие, на счет которого живут все другие, — рабочий пролетариат. За целое столетие — социальное, экономическое, да и умственное развитие поднялось так, что борьба становится несомненно труднее, — положение запутывается. Явились Карл Маркс, Энгельс, явилась социология, масса школ всякого рода; у нас в России — марксисты и народники готовы

передушить друг друга потоком доказательств… Боже, в какой бездне научной и политической запутались люди! Готова возникнуть целая наука — социология — как будто бы людей можно научить жить по научной теории! Поистине, иногда измышления господ ученых похожи на детские игры. Надо ли основать науку об эгоизме, величайшей язве человечества, которая подтачивает его существование? Вместо этого раскрыть бы великую книгу истории и показать, какие великие бедствия человечество наносило и наносит самому себе — всякого рода войнами и притеснениями низших… Редки светлые страницы; тяжело читать эту книгу. И несмотря ни на что, «таинственная воля к жизни» — заставляет человечество жить и жить в беспрерывной сутолоке, страдать, жаловаться, но тем не менее все-таки производить на свет еще более жалких существ. Как подумаешь — то, право, кажется, что здесь есть какое-то безумие.

Я никогда не забуду, как нынче летом Д-с, все время твердивший о тяжести жизни, вечно погруженный в пессимизм, сказал: «Если я женюсь, то мой брак будет эстето-психологическим», — и этого достаточно было, чтобы он сразу наполовину упал в моих глазах. Я не удержалась и сказала:

ведь это же абсурд, признавая бессмысленность и тяжесть жизни, — жениться и производить на свет еще более несчастных существ… Он, нисколько не задумываясь, отвечал: «Да ведь я же и не думаю о детях…» Чудный ответ! Похвальная откровенность! Если б он смотрел в это время на меня — он мог бы видеть, как все мое лицо, вся моя фигура выражали негодующий упрек; но он смотрел вниз, а я… встала молча и отошла к морю, чтобы, глядя на волны, хоть немного овладеть собою. Я не люблю терять слов даром и не нападаю негодующей речью, если вижу, до какой степени она будет непонятна и бесполезна.

Да, сначала я была не согласна с «Метафизикой половой любви» Шопенгауэра. Но, пожалуй, теперь, после трех лет занятий, размышлений и наблюдений над жизнью — придется согласиться с ним, что в основе любви лежит таинственная бессознательная «воля к жизни», которая магически действует в человечестве.

Боже, как мы жалки, как мы несчастны! Жалка наша жизнь, но в отчаянной борьбе, на пороге смерти мы хватаемся за соломинку, готовые целовать подошвы сапог г-д Захарьиных и потакать их самодурству, лишь бы вновь вернуться в этот омут… Мы боимся смерти, потому что

чересчур привязаны к жизни и мало думаем об ее конце. Все положительное симпатично нам, все отрицательное доставляет страдание. Это действительно заставляет думать, что когда-то человек был создан для вечного наслаждения жизнью, для счастья, радости, довольства. Каким таинственным, невидимым путем потерял он это блаженство? Библия объясняет это… Верить ей? Или же считать Книгу Бытия символической? — Не знаю…

Надо бы еще подвести итоги прошлому году… Но скоро 11, сестра придет за лампою, и я оставляю перо…

31 декабря, 10-й час вечера

Вот и старый год приходит к концу… Многое пришлось мне пережить в нем, пожалуй, более, нежели за целую половину предыдущей жизни… Я не занималась основательно и не успела мало-мальски получше ознакомиться ни с одним вопросом; смягчающими вину обстоятельствами являются внешние, да и мое неврастеническое состояние. Нравственные мучения несравненно острее физических, и невозможность заниматься в тех пределах, как бы мне хотелось, не перестает меня мучить. Господи! Сжалься наконец надо

мною! Дай мне хоть на этот год силы и здоровья!.. Зато в сфере нравственной, после того острого потрясения, испытанного мною во время болезни Вали, — я выиграла: полезно, в высшей степени полезно попасть в среду несчастных, испытать самой болезни и, кроме того, видеть кругом себя горе себе подобных.

Наша полная эгоизмом жизнь окружает наше сердце такой толстой шкурой, что нужны иногда жестокие удары судьбы, чтобы пробить ее и добраться до самого сердца; но бывает и так, что эту шкуру не пробьет ничто, эгоизм так въедается в сердце, что оно наконец совсем высыхает.

И теперь я ясно увидела свое заблуждение, всю глупость своей идеализации людей и теоретических взглядов на жизнь…

Здесь, окруженная моими друзьями — книгами, я живу точно не в лечебнице. Только вид больных напоминает мне, где я, а то — лежа в постели, в подушках, не чувствуя ни малейшей боли в ноге и с книгой в руках — я вполне здорова… Меня даже как-то не тянет отсюда…

Интересных встреч и людей за этот год почти не было. Д-са я пока мало знаю, но насколько его поняла — он типичный представитель изломанного молодого поколения; он и Таня — родные

брат и сестра по натуре, с некоторым нездоровым взглядом, только она симпатичнее его, потому что моложе и ее натура от природы была лучше. Вспоминаю далее книгу о докторе Гаазе[106], которую я не могу читать без слез, которую беру в руки с благоговением. Сестра Г-вич… Что за бездна любви и ласки к больным, какая преданность делу милосердия, какое самоотвержение и желание принести пользу и твердость в достижении цели. Проф. П-ов, я его знаю как врача — его доброта, ласки и внимательность ко всем больным делают его личность в высшей степени привлекательною. Меня глубоко тронуло его желание положить меня сюда бесплатно. Когда он мне сказал об этом, я смутилась… и отказалась; но он, не обращая внимания на мои слова, самым добродушным тоном возразил: «Ну, куда же вам платить 50 руб.». Я смутилась еще более и сказала, что могу. Но, должно быть, мой голос звучал неуверенно: так и попала я на кровать имени Гамбургер… Я чувствовала, что этому доброму человеку доставляет удовольствие положить меня, как учащуюся, бесплатно, а я потом пожертвую в

[106] Примечания: 106

Федор Петрович *Гааз* (1780–1853) — московский врач немецкого происхождения, филантроп, известный как «святой доктор». Один из первых очерков о докторе Гаазе написал адвокат А. Ф. Кони.

общем сумму, равную той, в какую обошлась бы мне платная кровать.

…Операция все еще длится: заворот кишок у поступившего сегодня утром больного требовал скорейшей помощи. Операционная ярко освещена, и торжественная тишина царит в коридоре и палатах.

А что делается теперь в городе? Сытые и праздные приготовляются теперь встречать Новый год весельем и пополнением желудков; голодная и несчастная беднота или спит, или пьянствует, или… пожалуй, некоторые и встречают мирно, в семье.

Я хотела заснуть… теперь, из-за операции, не могу, неудобно: поднимется возня, больного понесут мимо нашей двери, и я проснусь непременно. Тамара хочет встретить Новый год за письмом к родителям. Милая девочка — так любит их. А кому мне писать? — некому… Вале? — писала недавно; если буду писать сейчас — то, конечно, о своем настроении, о своих мыслях, но на такое письмо, в которое я вложу частицу своего «я», она не ответит мне искренно и горячо, как бы мне хотелось. А больше — некому. И поэтому я выбираю — книгу; возьму Платона «О государстве», сочинение, которое есть здесь у меня. Это

будет благороднейшее общество, в каком только можно встретить Новый год.

Все спят… Не сплю лишь я и Тамара… 11 часов, операция кончилась, идет приборка. Возьму книгу…

1898 год

7 января

Так я встретила Новый год. С первых же страниц на меня повеяло духом классического мира, стало как-то легче на душе, — я точно перенеслась в другой мир. К сожалению, очарование длилось недолго: я уже погрузилась с головою в спор о справедливости — как раздался бой часов и голос Тамары: «с Новым годом!» Я поздравила ее тоже и снова взялась за чтение. Но, увы: пришла одна из сестер с поздравлениями, глупенькая, маленькая девочка, которую мы все прозвали Горошинкой, потом пришла другая сестра — ночная дежурная. Вскоре надо было тушить лампы и ложиться спать.

На другой день в приемной у меня никого не было, и писем также не получила… Удивляюсь своей судьбе: или меня по ошибке заставили родиться не в той семье, где бы следовало, или моя личность не может подходить к уровню большинства, или же, наконец, я действительно хуже других, — но всегда я одна… Только здесь находятся такие, которые привязываются ко мне,

но такой братской, глубокой любви, какую бы мне хотелось встретить, я никогда не встречу. Ну и пусть! Нет разве у меня сил жить одной?

В тот день ко мне пришла дежурная сестра Г-вич. Я не могла говорить с ней долго, так как за ней зорко следят сестры, чтобы, по их выражению, она «не болтала» с больными. Они забывают, что у нас есть душа, что нам дорого, когда с нами обращаются как с личностью, входят в наше положение. Сестра Г-вич именно такая: я очень ценю в ней это уменье «подойти» к человеку, и у меня стало как-то светлее на душе, когда она пришла и поздоровалась со мной…

Она как-то сказала мне: «Мое чувство к больным глубже, чем их ко мне…» — «Это может быть справедливо, но только не по отношению ко мне, сестрица», — ответила я.

8 января

Последние дни хотела читать Тургенева «Затишье», «Ася» — и бросила. Мною вновь овладело то чувство недоумения, которое возбуждало во мне в отрочестве чтение романов, — «все любовь, и все одно и то же на разные лады», — думала я тогда; теперь та же самая мысль заставила меня положить в сторону и Тургенева. С тех пор, как

замужество близкого мне человека раскололо вдребезги на моих глазах так называемую поэзию любви, с тех пор, как предо мной встал роковой вопрос «зачем», на который я никогда раньше не отвечала, — я живу иною жизнью и поэтому ко всему отношусь по-своему.

Я взяла XIII том Толстого и прочла там главы о любви и о страхе смерти, взяла XII и прочла «Смерть Ивана Ильича», «Мысли, вызванные перепиской в Москве», «В чем счастье»... Читала с глубоким наслаждением, чувствуя, переживая сама настроение писателя, который в таких простых и ясных выражениях раскрывал свою душу, свои мысли, не щадя себя никогда. И осмеливаются еще говорить, что великий писатель встал на ложную дорогу. Безумцы! Едва только человек задумался над жизнью, чуть только вышел из общей колеи — сейчас подымется гвалт... Сами-то вы хороши! Скажите, кем доказана правота вашей жизни?..

С тех пор как умер отец Жени Л-ской, «интеллигент», член суда в гор. Ярославле, я стала раздумывать впервые — для чего жил этот человек? И меня поразила вся несуразность его жизни, которой никто не замечал: жил человек, учился, стал юристом, чиновником, женился

на пустоголовой девчонке, которая родила ему пять человек детей, в воспитании и развитии которых он не принимал никакого участия. Дети — дочери — выросли пустые, как и мать, и так же равнодушно отнеслись к болезни и смерти отца, как и дочь Ивана Ильича. И когда он умер и я увидела, как мало следа оставил он в памяти жены и детей, — я задумалась над тем, как и зачем он жил. И разрешила я этот вопрос так: жил он не так, как нужно, а следовательно, и не затем, зачем нужно было.

Когда я читала «О назначении науки и искусства» (т. XII, стр. 279), мысли о социологии, — я удивлялась сходству с моими взглядами; только здесь Толстой возражал против понятия «общество есть организм», я же убеждена, что вся эта наука построена на ложных основаниях и стремится к заведомо недостижимой цели.

Мы не знаем, в сущности, зачем весь мир существует, для чего вся наша жизнь и все наше стремление к пресловутому прогрессу… Одна смерть способна была бы натолкнуть на соображение, что тут не так просто, как кажется, — и человечество упорно верит в бессмертие души. «По неразвитию», — говорят материалисты; а мне показалось бы удивительным, как это люди

жили несколько тысяч лет, верили, и вдруг им говорят — «Вздор, это плод вашей неразвитости. Мы знаем истину, мы — материя, и ничего более… и вся наша планета — материя и опять-таки ничего больше». — Но почему материи свойственно движение? Почему мозг человека так устроен, что приписывает ее движение скорее Высшему Существу, нежели ей самой? Скажут: первое объяснение легче второго. А почему? Кто объяснит это?.. Как я ни сравниваю различные миросозерцания — не нахожу ничего более цельного, более глубокого, прекрасного и поэтичного миросозерцания религиозного, и я упорно держусь мысли, что если б так называемые христиане жили действительно по-христиански — атеистов и всевозможных степеней неверующих было бы значительно менее. А теперь так легки сомнения оттого, что видишь страшный разлад между жизнью общества и исповедуемой им верой…

Меня мороз по коже пробирает, когда здесь семилетняя Женя, которая никогда не молится, с которой мать за все два месяца при мне ни разу не упомянула о Боге, ни разу не рассказала ей ничего о Нем, — эта малютка, приобщаясь, крестится… — Зачем это? С этих лет привыкать исполнять обрядность без смысла и должного

чувства: ребенку ничего не внушается, он растет себе, зная, что нужно приобщаться, а зачем и почему — едва ли поймет до того класса, когда станет проходить все по книжке. Словом, религиозного воспитания в нашем обществе нет, отсюда и отсутствие любви и разверзающаяся пропасть между верой и жизнью. В первые века христианства вера проходила через жизнь — в дела и была жива. Теперь же она не проходит в дело, у нее нет почвы для деятельности, естественно, что она умирает…

9 января

Вчера мне на вопрос, — долго ли я еще пробуду здесь, — профессор по своему обыкновению ответил шутя: «Два месяца…» Я обратилась к Е. — «Дней десять или неделю», — ответил он. Я уже успела отвыкнуть от ходьбы, и чем ближе день моего выхода, тем более я чувствую в себе какую-то живость…

А у нас гаснет еще одна жизнь: в трехкроватной умирает Щербакова от кисты. 17 лет была она больна ею и согласилась на операцию только в самое последнее время, когда она была уже бесполезна… Григорьева умерла через 19 дней после операции, а эта живет дольше: более месяца.

Живой скелет… ничего не говорит… Медицина доигрывает свою последнюю роль: она «поддерживает всеми средствами» существование уже не человека, а его останков, так как мысль, деятельность разума уже прекращена; впрочем, может быть, в голосе ее она слабо мерцает, но говорить она уже не может, не ест и не пьет, ее питают искусственным способом. Я уже привыкла как-то слышать о смерти и видела угасание Григорьевой, побывав у нее за пять дней до смерти.

10 января, 7 часов вечера

Щербакова умирает… На этот раз комедия жизни кончается за стеною нашей палаты… Поступившая с нею больная и оперированная с нею в один день сегодня ушла домой, а эта уйдет сегодня же… в другой мир…

Все тихо… Тишина особенно торжественна, когда вдали слышится церковное пение…

Где бы я ни была, я никогда не забуду этого дня: 11 лет тому назад, в такой же точно вечер соборовали отца…

Когда-то мы умрем? Мы все, случайно сошедшиеся здесь страдальцы? И как жалка вся наша жизнь, все наши заботы пред лицом смерти.

В рассказе «Чем люди живы» я прочла фразу:

«все умирать будем», которую муж сказал жене в ответ на ее упреки. Сколько глубокого смысла в этой фразе! Когда вспоминаешь об этом неизбежном шаге и вечности — ничтожными кажутся все неудовольствия, причиненные другими…

Теперь, за стеной, умирает человек. Она лежит в палате одна, с нею родственницы и сестры. Я видела ее постепенное угасание, почти все время со дня операции; только последнюю неделю я уже не ездила к ней.

Из церкви раздается всенощное мелодичное пение: «Благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме… аллилуиа». — Слышит ли эти звуки умирающая? понимает ли она их? Ведь не всякому из умирающих здесь удается уйти к Тому, Кому мы молимся как раз во время богослужения, — и лучше бы она умерла теперь, когда кругом так тихо и в душу врывается скорбное пение.

Смерть тогда только может быть легка, когда исполнен долг жизни: «Изыде человек на делание свое до вечера». А после вечера — ночь… и сон…

Если б я умерла теперь, сейчас? Одно могло бы поддержать меня: сознание воли Бога, и не будь этого, я впала бы в страшное отчаяние оттого, что ничего не сделала, не искупила своей прежней жизни…

В 9 часу, проезжая мимо соседней палаты, в раскрытые двери я увидела 4 подушки, лежавшие на тумбочке около кровати… я поняла, что все кончено.

Вскоре ее вынесли. В коридоре было потушено электричество, одна из сестер пришла и тщательно затворила обе половинки дверей нашей палаты; мы все подняли головы и жадно прислушивались… Раздались мужские шаги. Это шли служители Петр и Василий. — «Я все-таки выйду посмотреть», — говорила Анна Степановна К. — «Да нельзя же, — урезонивала я ее, — вас не допустят, видите — нарочно закрыли дверь». — «Ну разве я не могу выйти, если мне нужно…» — не унималась Анна Степановна своим важным голосом и, хромая на одну ногу, подошла к двери. Мы с Тамарой и Шурой невольно засмеялись. Комичное рядом с трагичным: там, за стеной, слышалась глухая возня, а тут у дверей стояла курьезная фигура высокой старухи в коротенькой ночной юбочке. Дверь не открывалась. Она была заперта снаружи. Я торжествовала: — что? Ведь говорили же вам! Возня кончилась, и шаги за стеной направились к двери. Несмотря на мрачную торжественность минуты, мы не могли вновь удержаться от смеха при виде озадаченной

фигуры Анны Степановны: — «Вот оно что! А я и не ожидала», так и говорило ее лицо. — «Да… заперли…» — сказала она. Еще постояла, — шаги удалялись… Анна Степановна пошла и села на свою кровать… Еще минуты две, и сестра отперла дверь. Мы ее ни о чем не спрашивали: тоже дипломатия своя и у больных. После этого Шурка, ложась спать, подошла ко мне сказать, что она боится идти в коридор: — «Там темно, а я боюсь, сама не знаю чего…» Пришлось позвонить сестру и просить проводить ее; потом я слышала, как в коридоре сестрица делала вид, что не понимает причины ее испуга, и подсмеивалась над ней…

11 января

Сегодня была перевязка, и думаю, что последняя или предпоследняя: от ранки остался один кубич. сантиметр. Перед уходом отсюда прихожу в отчаяние: сделала так мало, что положительно смешно считать это за занятие. Кроме журналов, я успела прочесть лишь Геттнера «Историю французской литературы 18 века», Кареева — «Историю французской революции» и «Историю древней философии» Виндельбанда, начала читать «О государстве» Платона, перечла XII и XIII т. соч. Толстого несколько раз, и… только! Скучные

занятия грамматикой латинской и славянской не шли в голову; мне хотелось отвлечься от неприятного сознания своей беспомощности, и я читала лишь то, что мне нравилось… Но всему причиной общая палата: будь я в отдельной, где можно в тишине и спокойно сосредоточиться, — я бы…

19 января, 12 часов ночи

Последняя ночь… Я нахожусь в странном, смешанном настроении, в каком-то возбужденном состоянии и поэтому ничего не могла делать весь день и сейчас не могу спать…

С одной стороны — я так рада вернуться в мир, опять жить прежнею привычною жизнью; с другой — меня терзает сожаление о потерянном времени, а главное — я так привыкла к общине и ее обитателям, так сжилась с ними, их горестями, что даже жаль их… Вот где вспомнишь невольно слова Шильонского узника[107]:

…На волю я перешагнул —
И о тюрьме своей вздохнул… —

так близки теперь моему сердцу все страдания больных и труд милосердия…

---

[107] Примечания: 107
«Шильонский узник» — романтическая поэма Джорджа Байрона.

Прощай, маленький мирок, Эдем немощного человечества, куда меня неожиданно забросила судьба. Здесь, почти кончив жизнь умственную, я стала жить сердечною, полюбив больных и некоторых из сестер; мне пришлось пережить с ними минуты торжественные, возвышающие душу и очищающие ее от грязи житейской…

Впервые я читала Толстого с таким увлечением, здесь я увлекалась жизнью древних христиан в изображении Фаррара, мысли о Неплюевской школе не выходили из головы, — и, все глубже задумываясь о смысле жизни, я проверила себя за это время еще более: я не усумнилась в своей порядочности, но в нравственном смысле оказалась бесплотной, потому что не признаю религии без живой любви и внутреннего совершенствования. Иногда мне так хочется побросать все мысли о себе и отдать все свои силы, всю себя на служение делу; и в то же время я чувствую, что можно отдать всю себя только при соблюдении одного условия — что я буду работать и идти к известной цели, состоя единомышленником вечной жизни.

Теперь, — поздравить или же запятнать себя я не берусь: слишком уж горько вспоминать о потерянном. Впрочем, в душе я говорю «да», но в жизни — безжалостное «нет»… Без *лжи* я говорю

себе, что в моей маленькой жизни нравственные интересы играли самую главную роль, я стремилась к достижению добра — и страдаю, не видя его… Света еще нет, он лишь робко колеблется неуверенным пламенем…

Забыто сердце, душа у людей; они сознают только самих себя, и поэтому-то происходит и скука, и ничтожество жизни, весь этот страшный эгоизм, от которого все зло. Но земной рай недалек от человечества; он так близок — к нему надо стремиться… И невольно думается: если бы оживить современную жизнь, влив в нее идеалы Христа, оживить общество, пока лишенное совсем этой идеальной любви, с малых лет вооружать ею подрастающее поколение, — тогда никто не сказал бы, что современная молодежь и всякие студенты не только не развиты, но и развращены… Неужели люди в конце концов предпочтут «кооперацию» и борьбу — светильнику — искре Божией, живущему в душе у каждого из малых сих?!

Но ведь я — мечтательница, вечно неудовлетворенная… Довольно! — вперед! За дело, всею душою, с глубоким порывом…

Я чувствую, что писать более не могу…[108]

20 января, вечер

С помощью палки я двигаюсь, даже сама собрала все свои вещи сегодня утром, и все еще как-то не могу освоиться со своим положением человека с двумя ногами. Я чувствовала какую-то мучительную неловкость перед Тамарой, когда собиралась; она сидела неподвижно в своем уголке, закрыв лицо руками… $1^1/_2$ месяца предстоит ей прожить здесь и потом ехать домой для окончательного излечения. Не особенно развитая умственно, она обладает, в сущности, глубокой натурой, скрытой и застенчивой до крайности, и от природы не обладая умом, она по-своему умнее многих в ее годы… Неизвестно, вылечится ли она, несчастная… и это в 18 лет.

За что? — становится передо мной мучительный вопрос, — за что ты страдаешь?..

Я оставила в лечебнице часть своего сердца, я полюбила там все и всех, за исключением начальницы и одной сестры милосердия. К первой у меня развилась антипатия оттого, что я слиш-

---

[108] Примечания: 108

Запись на этот день в оригинале несколько продолжается, дальнейшее автором написано крайне неразборчиво.

ком ясно видела все лицемерие, с которым она, бездушная карьеристка по натуре, носит знак милосердия; вторая, тоже своего рода карьеристка, присоединяет к этому еще грубость отношения и не менее грубое кокетство.

Зато тем сильнее я люблю тех несчастных, которых мне пришлось встретить на жизненном пути. Когда я лежала здесь, я думала вовсе не о себе, а о наиболее продолжительно и тяжело больных, и легче мне становилось: я отвлекалась от мысли о своем «я», заботы о других поглощали меня… И невольно повелительным тоном говорила я «тише», когда замечала, что шум в палате мешает спать больной, и невольно распоряжалась молодыми, недавно поступившими сестрами, уча их, как надо сделать что-либо, чтобы было удобнее. Знаю, что это могло не понравиться, но иначе — я не могла.

Сознание своей собственной нравственной низости не перестает мучить меня: проверив свое поведение за последний период жизни, — увидела, что многое надо было делать иначе.

И приходит мне на мысль Рождество два года тому назад: казенный лазарет и на постели мертвый мальчик, к которому пришла я, но тогда, когда было уже не нужно.

«Болен бых, и не посетисте Меня…»

И вот — наказание… Разве это не справедливое возмездие за мой легкомысленный эгоизм? — Теперь я сама лежала в лечебнице, — мои близкие все уехали, и только изредка меня посещали товарищи, — смею ли я жаловаться? — Нет: мое одиночество — постоянная неудовлетворенность жизнью, мои вечные мечтания о глубокой братской любви, о сродстве душ… О, как глубоко в душе храню я их! — Никто и не подозревает.

21 января

Мне даже не верится до сих пор, что я опять в своей студенческой комнатке, у одной из 4 тысяч квартирных «хозяек». Мне сейчас так живо кажется, что я опять в общине.

Все тихо… В палате огни потушены, темно и в коридоре; только столовая освещена и в ней сидят ночные дежурные. Они ежатся от ночного холода и кутаются в платки… Меня глубоко трогает молодость большинства их. Хотя это и нехорошо, что они в такие молодые годы, как в 16–17–18 лет, не могут относиться к делу с любовью и сознательно, но все-таки одна мысль о том, какому делу посвящают они лучшие годы свои, те годы, которые большинство из них тратит на

светские удовольствия, — эта мысль производит глубокое впечатление. И эти юные головки кажутся гораздо выше и светлее, нежели они есть на самом деле. Их освящает дело…

И теперь мне положительно грустно; да, я вдумываюсь и с удивлением вижу, что мне жаль всего, оставленного там. И жаль больше всего себя: читая полезные страницы жизни, историю человеческих страданий, — я могла бы с большею пользою провести там это же время и выйти с сознанием глубокого внутреннего удовлетворения…

«Feci quod potui»…[109] О нет, мне кажется иногда, что я на всю жизнь осуждена вечно на одну и ту же неудовлетворенность… Вместо научных занятий я увлекалась чтением Евангелия, Толстого, Фаррара… и вместо выводов строила в уме несбыточные, грандиозные проекты… Да что же это, наконец? Что я такое? Пора бы в 23 года быть более умной…

И вспоминается мне разговор с Маней, мечтательной девочкой, которая пресерьезно уверяла меня, что есть волшебная страна Берендеев, в которой живет Бог и наши души до рождения… В

---

[109] Примечания: 109
«Я сделал все, что мог» *(лат.).*

сущности, в мои-то годы, не мечтаю ли я тоже в своем роде о царстве Берендеев? Впрочем, — нет: я чувствую и сознаю, что мои мысли правильны, что иначе я не могу думать, что к этому приводит меня изучение наук…

23 января

В среду пошла на курсы. Один из профессоров читал о «Наказе» Екатерины; мне казалось, что все это я давно знаю, а нервное подергивание и заикание делали для меня невыносимым слушание его лекции. На мое несчастье, не было лекции «Теория эмпирического знания»… Я воспользовалась свободным временем и поехала в Еленинскую клинику к Де-йс, — бедняжка больна с 9 декабря воспалением слепой кишки. Я пробыла у нее около часу. На меня произвели тяжелое впечатление как обстановка, так и самая больная; первую нельзя и сравнить с нашей, хотя цена отдельной палате одинаковая — сто рублей; с больной же что-то неладное — все 40°, и доктора спорят об операции, делать или нет. Вернувшись домой, принялась за чтение. Но не сиделось на месте, и я поехала к Щ-ным. Там меня охватила привычная деловая обстановка. Ек. Ник. готовилась к публичной лекции (10 января закрылись

общедоступные курсы общества взаимопомощи педагогов). Удивительная девушка Ек. Ник.! Деловитость забрала ее всю, не оставив в ней ничего для сердца; и почему-то мне показалось, что с тех пор, как я принуждена лежать, она смотрит на меня с тайным, пренебрежительным сожалением и с сознанием превосходства, которое дает ей здоровье: ишь ты, мол, такая молодая и… где уж тебе совершить одну сотую того, что сделала я… Неужели она забывает, что у человека есть душевная жизнь и нужно проникнуть в глубь души, чтобы узнать ее?.. Мне стало больно, я поспешила уйти… И хорошо мне в этом семействе, и холодно иногда становится.

30 января

Приехала ко мне Таня, на этот раз дольше, чем обыкновенно. Бедной девочке пришлось во всем признаться, роман ее внезапно раскрылся… Вот бешенство и ужасы родных от неожиданного для их гордости удара!..

Мне очень жаль ее! Как хотелось мне, чтобы она в 21 год тоже пошла на курсы, сделалась бы потом деятельницей на пользу народа; в апреле она совершеннолетняя, и я предоставляла ей возможность пользоваться обстоятельствами,

доказав родителям, что, в сущности, они сами виноваты в случившемся: сразу разорвать свои золотые цепи — поехать в Петербург, взяв деньги на ученье у меня. Она будет обеспечена на все четыре года, а там — будущее в ее руках… Но, увы! Таня спокойно не дожила до этого времени, она была слишком надломлена, чтобы решиться теперь на что-нибудь, пассивно слушая меня. То, к чему она так страстно стремилась, — для нее теперь уже не существовало; отсутствие умственной пищи дома, отсутствие живого, увлекавшего ее всю дела сделали то, что Таня, вначале равнодушная и интересовавшаяся Д-сом только с умственной стороны, — полюбила сама… «дописалась!», как она выражается.

Этого должно было ожидать. Таня — очень привлекательная, оригинально-изящная, поэтическая девушка, он — даровитый юноша — поэт, мечтатель, и оба — поклонники Ибсена, д'Аннунцио, Метерлинка, Ницше… их точно создали все модные веяния fin de siècl'a[110]. Бедные, бедные поэтические дети!

«Я хочу в Малороссию», — тревожно говорила Таня (в меблированных комнатах этого имени

---

[110] Примечания: 110
Конца века *(фр.)*.

живет Д-с)… Ей только 20 лет! И он несчастен, и она несчастна — вот и сошлись… Что-то будет?..

Что касается до меня, то мне не нравится его гордая уверенность в своем таланте, злоупотребление словом «гений» и небрежное отношение к стихотворениям: он пишет их много, не отделывая ни одного, — и иногда наряду с прекрасными строками встречаются неудачные выражения… Истинный талант не так относится к своему творчеству. Весь поглощенный своими страданиями, он не замечал меня, хотя долгие часы проводили мы все вместе, и я начинала чувствовать их пустоту; тогда я была если не совсем посторонний, то во всяком случае лишний человек: он и Таня молчали, «поглощенные» друг другом. Удивительно, до чего влюбленные неинтересны! Сколько ни твердила мне Таня про ум Д-са, его глубокое знание литературы и ее почитание — из разговора с ним я никак не могла этого узнать. Я видела, что Таня слегка заинтересована им, и из деликатности не выражала настоящего своего мнения о нем. А между тем я знала, что, если он захочет, — может быть неотразимо привлекателен и… почем знать, может быть, даже и умен.

Нынче осенью он послал в одну из редакций свою драму, написанную в духе Метерлинка;

я прочла — и за него порадовалась, что ее не приняли: такою слабою вещью не стоит начинать свое литературное поприще. После я читала его письмо к Тане — и право, вся драма не стоит одной страницы письма к ней… «Льется в небесах сияние солнечного дня… Всюду проникает оно смело, открыто, только в сердце моем оно не может стать живым светом… Лучше было бы нам не встречаться! Нет, счастье для нас, что мы встретились!.. Знай, что я томлюсь не бурным людским страданием, а той глубокой грустью, той тоской, которая рано пришла в мою бурную жизнь… тяжело это, но не слишком тяжело, я все снесу… А ты, дорогая, молись за меня». Сколько в этих словах нежности, горячего лиризма…

Я хочу многое написать ему и посмотрю, как он отнесется к словам моим. Если обидится или не примет во внимание — значит дело неладно, значит он принадлежит к числу тех несчастных самодовольных писателей, которые проживают век свой в блаженной самоуверенности, неизвестности… и бедствии.

8 февраля, вечер

Университетский праздник… Через С-вича я получила билет и наконец-то могла попасть

на университетский акт. Я воображала величественную грандиозную залу, в которой люди пропадают и едва-едва издали увидишь стол с сидящими за ним жрецами науки. Оказалось, научное торжество происходит в небольшом по размерам зале, но зато оно — с основания университета. Сколько подобных праздников науки связано с ним! — и эти исторические воспоминания сразу сделали мне зал вроде какой-то реликвии, а старинная постройка с колоннами ионического ордена — как всегда, произвела на меня особенное впечатление.

Студенты просто, очень приветливо встретили нас и провели на места; группы их стояли на хорах и за колоннами, разговаривали, смеялись… Чем-то милым, хорошим повеяло на меня от сотни этих собравшихся молодых лиц, и меня уже охватывало знакомое настроение чего-то молодого, если можно так выразиться: хотелось иметь колоссальные товарищеские объятия, чтобы была возможность приветствовать всех. И в то же время мне досадно было, что мы, женщины, не допущены как равные этой молодежи в стены университета, что для нас выстроено большое-большое отдельное здание на 10-й линии… И мне захотелось скорее за границу, смешаться

на скамьях с толпою студентов. Какая чудная эта идея — совместного воспитания молодежи, совместной научной работы на университетской скамье… Как это возбуждало бы к соревнованию, какая была бы чистота отношений, и все это — только мечты!

Зала наполнялась народом. Я заметила нескольких наших курсисток, прибывали шитые мундиры с орденами. Мне показалось несколько курьезным видеть известных профессоров в шитых золотом мундирах: Сергеевич в Майоренгофе в своем изящном статском платье производит гораздо более сильное впечатление, нежели здесь, в блестящем мундире, орденах и лентах. Я его едва узнала: издали он похож на Спасовича… Скоро запели: «днесь благодать Святого Духа нас собра». — Собраны-то мы все, пожалуй, благодатью Святого Духа, да на нас-то самих много ли этой благодати? Со стороны прислушаться, выходило: все, придя сюда по своей воле и неволе, как пришлось, — точно свалили с себя ответственность за свой приход… Разряженные жрецы науки сели за стол, среди них — два черных клобука архиереев и оригинальный наряд католического епископа. Поистине — собрание блестящее. Но к лицу ли науке, по самой сути своей — важ-

ной и серьезной, чуждой суеты людской, — в лице своих жрецов являться одетою блестящей мишурой! Положим, фраки тоже курьезны, но они все же строже и серьезнее мундиров. И мне представилась древняя Академия Платона, — сам великий учитель, окруженный толпою учеников своих. Какая простота во всем и какая простота одежды! Я смотрю на античные статуи с истинным наслаждением: нет ничего прекраснее этих величественных фигур в ниспадающих складках одежды, в которых и заключается вся ее красота.

Итак — жрецы науки сидели, а мы, профаны ее, — vis-à-vis. Началось чтение отчета. Составитель его, упомянув добрым словом о заслугах почивших — Майкова, Буслаева, Делянова, осторожно заметил о последнем, что пока еще не время входить в оценку его деятельности. Бедный старик! творец устава 1884 года… того, что стало больным местом современного студенчества. После отчета вновь что-то пели и играли небольшую музыкальную вещицу какого-то студента.

Но вот на кафедру взошел Сергеевич… Гром рукоплесканий… Он стоит с синей тетрадкой в руке и ждет… ждет, и его умное лицо непроницаемо, с трудом можно подметить тонкую-тонкую усмешку. Доволен он приветствием молодежи? Видимо

— да, а впрочем — трудно, особенно издали, прочесть что-либо на лице его… ум, и ничего больше. Наконец он начинает читать спокойным голосом, отчеканивая каждое слово: в минувшем году… на предложенные факультетом темы представлено было 35 сочинений. Из них… 2 — на соискание премии, — одно удостоено премией, 8 удостоены награды золотыми медалями, 12 — серебряными, 11 — почетных отзывов и только 5 сочинений остались без наград. Ударение на слове «только» вызывает смех… Начинается чтение отзывов о работах и раздача медалей. Первым лауреатом оказывается филолог Доренфельд за сочинение «Язык Святославова Изборника», которое присуждено к напечатанию; выходит славный добродушный белокурый студентик. Серебряная медаль — Рейнгольд-Бертольди, сочинение на тему «Организационная работа Наполеона II во Франции в эпоху консульства»; появляется истощенный, худой и преждевременно лысый субъект. Еще — математик и опять филолог, Щеголев, — выходит славный толстяк, большой такой, брюнет в очках… За ним — высокий красивый брюнет Арнольд… Щеголеватый, изящный студент Масловский… По юридическому факультету: «Политическое учение Руссо» — читается

самый лестный отзыв: выдающаяся эрудиция в области истории философии права, сочинение производит впечатление труда опытного ученого, вполне владеющего научною техникою… золотая медаль, барон Борис Нольде, 6-го семестра; — выходит совсем юный блондин в пенсне, небольшого роста, но с лицом очень умным… Я поражена его молодостью и успехом. Экая голова! Дальше выходили все остальные лауреаты… Золотым хлопали оглушительно, серебряным — поменьше. Кончен отчет — и Сергеевичу опять оглушительно аплодируют.

Все встают и оборачиваются к портрету Государя: «Боже, Царя храни…» Потом среди общего шума грянуло Gaudeamus, и тут восторгу не было пределов:

Vivat Academia,
Vivant professores![111] —

раздается в зале… Аплодисменты по адресу «жрецов», которые чинно расходятся.

В коридоре, проходя мимо Нольде, я не могла отказать себе в удовольствии поздравить его; он стоял с каким-то господином и на мое привет-

[111] Примечания: 111

«Да здравствует Академия! Да здравствуют профессора!» *(лат.)* — слова из гимна студентов «Гаудеамус».

ствие чуть удивленно обернулся, но тотчас же любезно поблагодарил… Мою просьбу — показать медаль — он исполнил очень охотно: красивая медаль, с женской фигурой с лавровым венком, на другой стороне надпись — «преуспевшему». — «А в гимназии надпись „преуспевающему“», — пояснил он. — Вы и там преуспевали? — «Да». Я спросила, где он кончил и сколько ему лет. — «В 1-й гимназии и 21 год». В его манере говорить слышится твердость, тонкий ум проглядывает в глазах — и невольно соглашаешься с ним, что он уже «не так молод… совершеннолетний».

Выходя из университета, я была уничтожена сознанием бесконечного, как мне кажется, превосходства мужчин над нами и в среднем, и в высшем образовании. Беспристрастная истина говорит: далеко нам до них, даже и теперь. Я не говорю о массе, но именно о медалистах, с которыми в глубине познаний не может сравниться ни одна из наших слушательниц… А почему? — Все дело в постановке работы и в подготовке к ней: медалей нам, пожалуй, и не нужно, но необходимо задавать темы и читать публично отзыв о них; нам, гораздо хуже подготовленным, работа важна сама по себе. Когда же добьемся мы наконец полной равноправности?..

Теперь на Серпуховской, у Дервиза и еще где-то собралось студенчество; говорят, спорят… к несчастью, марксизм и народничество заели умы, сбили с толку молодежь… Накануне в голове моей складывалась горячая речь к товарищам-студентам — призвать их к борьбе за право женщины на всех тех поприщах, на которых они призваны работать… При теперешнем положении дел, хотя мы и много сделали одни, но без их помощи нам несравненно труднее борьба, потому что бороться приходится с мужчинами же. Ах, какая хорошая речь складывалась у меня в голове и увы! — я не могу произнести ее сегодня, сейчас, так как из-за ноги своей не могу рисковать лезть в давку, да и билета у меня нет… Эх, как-то тяжело на душе.

Мне вспомнился недавно прочитанный рассказ Грибовского «Испытание»; даже обидно стало, что в действительности все не так: и Нольде не Алеев, и у меня нет знакомых студентов, да и вряд ли и есть они у кого из наших такие умные и энергичные. Вот уже третий год как я здесь, и до сих пор — наткнулась ли я на одного порядочного настолько, чтобы могла признать его вполне своим товарищем во всех смыслах? Так и кончу — не найду. Или мне не везет? В таком

случае удивительно, отчего всем моим знакомым на этот счет не везет? Где собрания с научными спорами, о которых мы столько читали в книгах? Где тот обмен мыслей о Бокле, Спенсере, Канте и русских писателях — словом, где те споры

О Байроне, ну, о матерьях важных?[112]

—

их нет, не слышу я их, и что всего хуже — даже среди знакомых своих не слышу.

И мучит меня страшная неудовлетворенность… Сегодня сделала последнюю глупость: послала профессору на просмотр тот вздор, который мучил меня уже около полугода и который наконец написала. Послано письмо без подписи с объяснением, что меня заставляет поступать так страшный стыд перед самой собой. Уже раз я имела суровое и резкое объяснение с Е. Н. Щ-ной в подобном случае, и я этого стоила. Не унялась проклятая привычка! — обратилась к профессору, авось и от него дождусь того же. Тогда, по крайней мере, еще стыднее и больнее будет, и я овладею собой…

---

[112] Примечания: 112
Цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

11 февраля

Просматривала на днях отчет о занятиях на курсах. У некоторых профессоров — Форстена, Гревса, Введенского — есть свои ученицы, оказавшие выдающиеся успехи. Я не в их числе, и не честолюбие мучит меня, а простое сознание, что я ни к чему не оказалась способной. Занимаюсь русской историей, но холодное отношение профессора и неудачная постановка занятий как-то не возбуждали охоты заниматься: я ограничилась рефератом и более не писала. А как хотелось мне стать хотя бы маленьким двигателем науки. Когда я в Публичной библиотеке погружалась в «Писцовые книги» — я испытывала какой-то восторг, увлечение и особенное наслаждение в работе. Нечто подобное я пережила в прошлом году в Москве накануне Рождества, когда мне пришел в голову рассказ, и я писала так, что забыла обо всем на свете… Это какое-то особенное, возвышающее душу чувство, поднимающее ее высоко над землею; это — творчество… на мгновение душа моя поднялась в эту сферу. Боже мой, до конца жизни не забуду я той минуты… Я люблю науку, люблю ее со всею преданностью энтузиаста: она почти так же высока, как религия,

и тоже возвышает душу человека, хотя не дает ему ответов на основные вопросы жизни.

Университетский быт и отчет о нем послужили мне поводом к проверке самой себя: Нольде в 21 год обнаружил огромную эрудицию и опытность ученого, — а я? — невежда в 21 год, полуневежда — в 23, и только. Петрункевич занимается Ренессансом, пишет и теперь печатает исследование о Маргарите Наваррской; я же что сделала? ничего. А какие вопросы уяснила я себе? Выяснился ли мне ход нашей истории? Отчасти — да, но не вполне. Могу ли я с уверенностью сказать, что когда-нибудь мы пройдем ту же стадию развития, какую прошли и западноевропейские народы? — Нет; сравнивая историю нашу с западноевропейской, приходишь к выводу, что мы идем своеобразным путем, благодаря характеру нашей власти, и сравнительно с Западной Европой находимся в положении прямо выгодном: стоя еще на первых ступеньках исторической лестницы, мы имеем перед собою разнообразнейшие фазы развития государств, ушедших дальше нас… Можем учиться и делать выводы и из этих выводов извлекать полезные для себя уроки. Положим, что наша власть предпочитает не очень-то слушаться этих уроков и сидеть непо-

движно. Тем хуже для нее: она сама себе выроет яму, если не будет слушаться уроков истории.

4 марта

Сегодня годовщина Казанской демонстрации по случаю смерти Марии Федосьевны Ветровой[113]. Несчастная ярая деятельница была взята в январе или декабре 96 г. и 12 февраля покончила с собою, как говорят, самосожжением: обмотав тело разорванными полосами простыни, облила себя керосином.

После лекции Введенского о Канте — на кафедру взошла одна из красных и начала читать литографированные листки. Сотенная толпа молча слушала. «Мы должны помнить эту жертву правительства, стремящегося во что бы то ни стало задушить стремление к прогрессу… Это не единичный случай. Вспомнят студента Малюгу, вспомнят… (фамилию не слыхала), умершего в камере… Правительство губит все честное, охраняя свое могущество… будем же помнить эту смерть… неужели мы останемся равнодушны, успокоимся

---

[113] Примечания: 113

Мария Федосеевна Ветрова (1870–1897) — русская революционерка, член «Группы народовольцев». Совершила самосожжение в знак протеста против тюремных порядков, и ее смерть вызвала ряд «ветровских демонстраций».

на одном воспоминании? Надо действовать!» Из таких банальных и слабых выражений состояли все листки. Наконец было сказано самое умное — предложен ежегодный сбор в ее память в пользу заключенных.

Во время чтения я рассматривала некоторые лица; одни сочувствовали и слушали с увлечением, напряженно, большинство — просто с вниманием, на лицах же некоторых замечались скептические и насмешливые улыбки. Наверху две курсистки, изящные барышни, из петербурженок, переговаривались с выражением крайней досады: они спешили, а нельзя было выйти; веселые и нарядные, они и слушать не хотели воспоминаний о неведомом им мире. Наша философка Г. И. стояла у кафедры с выражением оскорбленного достоинства: ее осмелились остановить! И ей есть дело до какой-то Ветровой! Инспектриса — бывшая слушательница — устало слушала чтение, как нечто неизбежное, которому она должна была покориться…

И больше ничего… все разошлись.

5 марта

Читаю теперь Платона: «Апология Сократа», Токвиля, Сореля, Бильбасова и сочинение Неплю-

ева «Что есть истина?». Многое из последнего сочинения я уже сама ранее передумала, и мой взгляд на науку несколько изменился. Прежде, веря в ее преимущества, я считала, что от соприкосновения с нею люди делаются умнее и лучше душою: таково было мое заблуждение, навеянное чтением биографий некоторых великих людей науки, бывших в то же время и великими людьми по душевным качествам. Гениальная скромность Ньютона, добродетель Сократа с детства были известны мне, к этому присоединились еще кое-какие сведения о высших нравственных качествах людей науки, — и идеальное понятие о ней и ее адептах было готово. Но уже третий год убеждаюсь я, что даже стремление к науке не способно идеально объединить всю нашу разнородную массу; что есть высокоразвитые умственно личности, но от этого другим ни тепло ни холодно; что профессора наши, читая нам лекции, не сближаются да и не желают вовсе сближаться с нами как людьми и что самое товарищество слабо — сходятся редко и с осторожностью. В нашей же жизни происходит в высшей степени курьезное явление: сколько уж лет университетская молодежь толкует о свободе, прогрессе, но едва выйдет из университета

— усердно начинает… забывать прежние идеалы… Не слышно, чтобы окончившие составляли дружную либеральную корпорацию, как на университетской скамье, — они молчат. А почему?! Изредка говоримые с кафедры речи, зажигая стремления к науке, не заставляют их в то же время сближаться между собою, как братьев, во имя одной общей идеи — общей работы… Сила науки велика, ее могущество почти безгранично, но не в ее власти нравственно преобразовать и объединить эту пеструю массу молодежи. А между тем сколько среди нее хороших людей! сколько хороших, честных стремлений! Как подумаешь — какую бы великую силу представили мы, объединенные братским союзом! Наука, любовь друг к другу и вера соединили бы нас в чудной гармонии, и мы жили бы как братская община — в непрерывном труде и стремлении к вечному идеалу…

Мечты! Фантазия! И вот мысль, занимавшая меня с 14–15 лет, — об основании женского университета — заменяется другою, об основании христианского университета, христианской газеты или журнала, организации всей нашей жизни по вере. Оставив, так сказать, веру на время, — я потом вернулась к ней, но уже с ясным

сознанием несообразности всего современного строя нашей жизни с верою, и, увидя все это, я не потеряла ее вновь. Кругом меня не было примера ее животворящей силы, но она явилась мне в прошлом: в чудной личности Гааза, в общинах первых времен христианства. Я перестала ходить в церковь, так как уже чересчур ясно бросается мне в глаза вся несообразность нашей жизни с исповедуемой верой. Остановясь на одной ступеньке, выжидаю… чего? — чтобы выяснить себе и некоторые научные вопросы, чтобы идти по этой почве, построить план будущей своей жизни по выходе отсюда и начертать независимый образ действий.

Другие мечты — об основании сельской школы — тоже разлетелись как дым, когда я убедилась, что образование без религиозно-нравственного воспитания редко способно делать людей. Я чувствую даже, что потом едва ли буду в состоянии жить среди таких христиан-язычников… Мужество! Не покидай меня. Ведь Неплюев начал же один…

И ясно стало для меня все уродливое в истории христианских народов… Теперь же половина бедствий нашей интеллигенции происходит оттого, что, несмотря на все свое развитие, она

все-таки раба установившихся взглядов, строя жизни, привычек. Но мучения христиан убедили меня в великой свободе духа: в сущности, если мы, интеллигенция, недовольны многим — в нашей власти не повиноваться и следовать своим убеждениям, — и тогда мы составим великую силу, с которой нужно будет бороться…

Несколько дней назад я узнала, что Неплюев здесь. В волнении — я бегу к профессору Вагнеру спросить адрес. Маленький старичок с умными глубокими глазами сказал, что он останавливается обыкновенно в гостинице «Париж». И я пошла туда. Н. Н. не было дома. Я написала ему коротенькую, умоляющую записку-просьбу видеть его и назначить мне часы, когда могу его застать дома.

Дня два я жила напряженным вниманием, ждала письма — напрасно. Дни идут, ответа нет. И я не знаю, чему приписать такое молчание: некогда ему? Неужели он, истинный христианин, сознательно не хотел мне отвечать? — Не может быть, не может быть! Он, наверно, уехал, и я так и не увижу его. Но я не теряю надежды поговорить, рано или поздно напишу ему, но куда? Он теперь так часто уезжает…

6 марта

Сегодня, вернувшись домой, увидала у себя на столе телеграмму. Сердце замерло: умер кто-нибудь — бабушка, мама?! Прочла: «Завтра в 9 часов утра буду дома. Неплюев». Ноги подкосились после испытанного волнения, и я невольно опустилась на колени, благодаря Бога за то, что не весть о несчастии принесла мне телеграмма.

Мне надо сказать ему столько, сколько я за всю жизнь никому никогда не высказывала. В его сочинении он рисовался мне глубоким, тонким психологом, способным познать все изгибы души человеческой… Но вот невольно подымается сомнение: поймет ли он мою страстную исповедь, способен ли он глубоко понимать сложные движения души человеческой? И недоверие вдруг охватывает меня… О, если б он мог понять, если б мог хоть что-нибудь сказать мне… Мне не нужно слов утешения и одобрения, я так долго живу замкнутою жизнью, что, кажется, у меня есть сила переносить все личное самостоятельно. Мне нужно его слышать просто как человека.

15 марта

И я виделась с ним…

Плохо спала ночь и, встав рано утром, ровно в 9 часов была в гостинице «Париж». Подходя к ней, я была спокойна, не приготовлялась — как, что говорить… Признаюсь, я не без тайного замирания сердца думала, каков его внешний вид? Невольно идеализируя его, как автора прочитанного сочинения, я боялась чисто внешнего вида, а что… если… хотя и сознавала, что это глупо, что будь он даже урод — это не коснется его души.

Я вошла в номер. Навстречу вышел пожилой господин, высокий, стройный, с лысой головою и большим носом, но в общем производящий такое впечатление, что эти недостатки его наружности даже вовсе не замечались. Он как будто не ожидал видеть меня (позже, в разговоре со мною, он признался, что, увидев в моей коротенькой записке слово «лекции», — он подумал, что это писал какой-нибудь студент, и адресовал мне телеграмму «Дьяконовскому»), но тотчас же учтиво поклонился, попросил подождать минутку и сам вышел.

В небольшой передней вместе со мной раздевался молодой человек в военной форме, которого

Неплюев отрекомендовал мне как одного из членов братства. В гостиной этот молодой человек непринужденно заговорил со мной, спросил меня, читала ли я сочинение «Что есть истина?», и стал рассказывать мне о предстоящем в 1900 году конгрессе мира во время Парижской всемирной выставки. По лицу видно было, что это — простой крестьянин, по разговору — интеллигентный человек. Скоро вернулся и Н. Н.; он спросил меня, могу ли я говорить при члене братства. Я, конечно, молчала, — молодой человек тотчас же вышел.

Я решила не думать, о чем буду говорить. Все, что есть на душе, вырывалось наружу, и в то же время у меня в голове вертелись философские и исторические вопросы о христианстве, потому что уже в это время ясно вырисовывалась предо мной несостоятельность моей веры, вся моя ничтожность как христианки, и после этого сознания — сомнение не только брало верх — оно уничтожало меня самое. Но прежде разговора мне надо было выяснить ему, хотя немного, мою личность, чтобы он мог лучше понять, с кем имеет дело; и вот — долго сдерживаемое волнение взяло наконец верх: страдания всей моей жизни, казалось, ожили во мне, голос мой оборвался на

первой же фразе, и я зарыдала… право, невольно. Он не встал, но положил сочувственно свои руки на мои, не двинулся и сидел молча, ожидая, что я скажу ему далее. И мне больно стало и стыдно за свои слезы перед этим равнодушно-спокойным человеком. Я хотела овладеть собою, но не удалось, — и продолжала мой рассказ, стараясь выражаться как можно короче, и голос мой дрожал, прерываясь рыданиями. Он предложил мне воды. Я отказалась, и вдруг моя гордость возмутилась, я тотчас же овладела собою и заговорила спокойно… Чем дальше говорила, тем более увлекалась, — перейдя от своей личной жизни к курсам — во мне уже заговорил человек не личного, а общественного страдания; невольно рассказала я ему случай с истерикой на лекции Введенского, и у него вырвалось восклицание: «как это можно». Наконец я подошла к первому и основному вопросу — о создании Богом мира и неиссякающем источнике зла и бедствий человечества, которое всегда было и будет, по тексту евангельскому, «много званых и мало избранных», и о цели создания мира. Но тут он меня прервал: «На такие вопросы отвечать тотчас же я не могу; я не шарлатан, чтобы отвечать сразу и категорично… Да и вы мне можете не пове-

рить… Вы и еще имеете вопросы?» — «Да, еще несколько», — отвечала я. — «Вот лучше летом приезжайте ко мне в братство, я буду там все время до октября… Сейчас напишу вам, как к нам ехать. Там мы можем поговорить». Он встал, взял бумагу и написал несколько строк. Я нарочно смотрела, как он пишет, но у меня нет уменья определить человека по почерку. — «Вы меня простите, но я в настоящее время совсем почти на отъезде, у меня так мало времени», — говорил он. — «Я вполне понимаю, что вам некогда, и прошу извинить меня — я отняла у вас время». — «Я советую вам познакомиться с Марией Петровной Мяс-вой. Вот, мать — светская женщина, а она — живая душа… Еще Надежда Николаевна В., дочь профессора, очень симпатичная девушка». Я стояла в нерешительности: кто она такая? стоит ли? — мелькнуло у меня в голове сомнение, и в то же время я была тронута его душевною деликатностью, желанием сделать что-нибудь для меня, и чтобы не обидеть его — молчала. — «Я особенно рекомендую вам Мяс-ву, она очень умная, — как бы угадал мои мысли Ник. Ник. — Я сегодня буду у них обедать и скажу ей о вас, и она вам или вы ей — напишите». Я молчала. Он упомянул еще о том, что она участвует в обществе, устроенном кн.

Щ-товой. Худшего нельзя было сообщить: я слыхала об этом обществе от Щепкиных — и ничего хорошего, кроме нелестных отзывов о характере княгини. Я, конечно, высказала мое мнение по этому поводу, но Н. Н. постарался меня успокоить, загладив невыгодное впечатление своих слов указанием на хорошую цель этого общества. Потом я спросила его, не обращались ли к нему студенты университета, — мне так хотелось бы встретить среди своих товарищей сродного мне по образу мысли. Оказалось — нет, но он обещал мне написать, если кто обратится к нему, — и, еще раз повторив свое приглашение к Марии Петровне, мы простились. Но тут я вспомнила о своей всегдашней осторожности и сообразив, что он может ради характеристики передать обо мне этой барышне все то, что я ему говорила, и, пожалуй, — о, стыд! — о том состоянии, в каком была я во время этого рассказа; страх и гордость поднялись во мне, и я решительно просила его не передавать Марии Петровне всего, что я ему говорила. «Ну, скажите ей вкратце, самое необходимое, не более». Он как будто не понял меня… — «Отчего же?» — «Так, — коротко отрезала я… — не говорите всего, не надо… и вообще никому не говорите, что я у вас была», — сказала

я и простилась.

По дороге я обдумывала все пережитое и виденное. Сдержанность Неплюева невольно напоминала мне, с какой любовью встретил меня нынче в августе о. Антоний, как, обняв меня, он назвал своею дочерью, — сколько нежности и ласки было во всем его обхождении… А этот не такой, и от него я не получила, чего мне было нужно, хотя он все-таки хотел что-то для меня сделать. Впрочем, на первый раз мне бывает всегда неудача, к этому я уже привыкла, но во всяком случае я не могла удовлетвориться этим коротким разговором и всю свою надежду полагала лишь на возможное посещение этой школы.

Занятия научные я как-то оставила и все эти дни по утрам читала «Что есть истина?», вновь находя много сходного со своими мыслями, особенно о воспитании, о жизни современного общества… Ранее передуманное — и изложенное в этой книге производило на меня, конечно, сильное впечатление.

На днях написала М. Ос. Меньшикову, чтобы он приехал в редакцию, мне хотелось поговорить с ним. И разговор наш был очень интересен. Он говорил мне о Льве Толстом, об его симпатической личности. Я спросила его, знаком ли он с Неплю-

евым? — «Как же… был у меня третьеводни (он именно так и выразился), был у меня в Царском, прощался со мною!» — «А что вы думаете про его братство?» М. Ос. сомнительно покачал головою… — «Не нравится мне это; у него в школе какие-то кружки, — надзор старших за младшими, — это что-то иезуитское… Вот он меня давно зовет к себе, статьи мои там читает — я же все никак не могу собраться. И на этот раз он очень звал меня, может быть, летом соберусь… Сомнительно мне это братство. Вот и Николай Петрович Вагнер там был… Например, у него для дохода существует водочный завод». — «Неужели?!» — изумилась я. — «Да… я как узнал это, говорю: как же это так, Ник. Петр., и завод-то? Тот молчит. Неплюев оправдывается тем, что дело в количестве потребления, но ведь это не оправданье». Я слушала молча. Действительно, завод и меня сбил с толку. И больно мне стало, что нет совершенства на земле. Но Меньшиков был и против самого братства: «Что это? Устроил какой-то оазис, в котором счастливы немногие. Нет, пусть он отпускает своих учеников в жизнь, пусть они действуют в обыкновенной среде…» В этом я была не согласна с М. О.: именно мне и нравилось братство, его существование даже

необходимо для наглядного доказательства силы идеи. Конечно, это мое мнение применимо только к такому братству, устройство которого по возможности близко к идеалу; насколько же приближается к нему братство Неплюева — не знаю.

Село Устье, 3 июня

После более чем двухмесячного перерыва — снова берусь за перо. Возвращусь к тому времени, — это для меня необходимо, так как в эти дни со мною произошло что-то странное.

Я все время, с конца февраля, читала каждое утро по главе из книги Неплюева; это доставляло мне какое-то особое ощущение: я читала критику всей нашей жизни, некоторые страницы которой дышат такой искренностью, такой беспощадной правдой, что невольно вырывалось рыдание и сильнее чувствовалась вся неправда жизни, вся сила горя современного человечества… Тогда же, на курсах, я получила письмо и сразу догадалась, что это от М. П. Мяс-вой — почерк был женский, незнакомый. Прочла… все письмо было написано так, как именно надо было написать: каждое слово, казалось, сказано было от сердца и в то же время — осторожно, точно с тайной мыслью, чтобы я как-нибудь не исказила его смысла и не

обиделась бы. Уже с первой странички письма чувствовалось, что пишет человек незаурядный; только традиционное начало «многоуважаемая Е. А.» и конец «готовая к услугам» напоминали об уступках автора некоторым избитым «формам вежливости». В конце письма она говорила: «Я хотела бы иметь волшебные очки, чтобы посмотреть на вас, когда это письмо будет в руках ваших. Может быть, вы будете недовольны?..» Я читала в коридоре у стола, за которым завтракают слушательницы, и привычка владеть собой при посторонних — заставила меня прочесть все, не выражая ровно никаких чувств на лице; но, придя домой, я невольно задумалась: что отвечать мне на это письмо, полное любви и деликатности? Я всем сердцем оценила его, но… на ответ у меня не находилось слов. Заговорил «практический разум» (не кантовский, конечно, а житейский), холодное, критическое отношение и выработанное жизнью недоверие к людям. Предо мной встали такие соображения: а сколько ей лет? — Если она молоденькая энтузиастка, розовая девочка лет 18, которая пишет мне так под влиянием слов Неплюева, из интереса просто познакомиться с курсисткой? Что ж может оказаться у нас общего? и не принесет ли ей скорее

вред, чем пользу, знакомство со мною, потому что тогда она узнает, что в жизни не одни радости, а не сталкиваясь с такими, как я, она может пожить долее в тишине душевной? А если она окажется с крайне узкими взглядами на жизнь и людей — тогда мне только больнее будет разочарование в ней… Слова же Неплюева и простое соображение, что этот пожилой, знающий людей человек не стал бы рекомендовать мне неподходящую особу — как-то на этот раз не действовали на меня. Он мог ошибиться, мало ли что бывает… Итак, я находилась в нерешимости: рассудок не дозволял и рука не поднималась написать то, что подсказывало сердце. И больно мне было это сознание, что я, которая всю жизнь искала человека, увидевши впервые человеческое отношение — уже не могу откликнуться на него, потому что уже не верю людям.

Судьбе угодно было вывести меня из этого затруднения, но да не допустит она более именно таких выходов: известие было уже слишком ужасно…

Пока я стояла у печки и раздумывала — раздался звонок, ко мне в комнату вошла Наташа — экономка С. П. Ж-вой — и, поздоровавшись со мной, передала от нее конфеты. Я заметила,

что она чем-то смущена или расстроена. После двух-трех незначительных фраз она прямо объяснила цель своего прихода: «Знаете ли, какое у нас горе? Николай Николаевич застрелился…» — «Не может быть?!» — воскликнула я. — «Нет, правда… в ночь на 13 марта, ведь знаете ли, он перевелся в Екатеринослав, уехал в январе, и вот теперь…»

Насколько я могла узнать от этой милой простой барышни — еще очень юной и неопытной, — Н. Н. в последнее время часто задумывался, грустил, хотя по временам бывал очень весел. Страшно скучая в своем полку, который стоял под Новгородом в деревне, он перевелся в Екатеринослав. И вот, вдруг телеграмма… — «Господи! Какое горе близким! Мы все, все плакали…» Да, я могла себе представить очень живо это отчаяние родных, а главное — душу этого несчастного молодого человека.

Их всего трое, два брата и сестра. Сироты с детства, без матери и брошенные отцом, они очутились на руках одной родственницы, которая старалась воспитать их и дать образование; неразвитая, но энергичная, с коммерческими способностями — она сделала для них все, что по-своему могла: отдала по разным заведением. Но ученье не далось хорошеньким сиротам: ни

мальчики, ни девочка не кончили нигде курса, и почему один из братьев пошел «по коммерческой части», а другой, младший — поступил в юнкерское, — не знаю. С детства я слыхала о красавце Коле К. и впервые после долгих лет увиделась с ним осенью 96-го года в опере.

Это был красивый, но болезненный молодой человек, с грустными карими глазами. Главная прелесть была собственно в них, и вообще в верхней части лица, до губ; слабый бесхарактерный рот — обрисовывал склад его натуры. С крайним предубеждением относясь к офицерам, вся поглощенная своими занятиями, массой переживаемых впечатлений, я помню — отнеслась к нему со скрытым сожалением; его грустная покорность невеселой доле провинциального офицера в соединении с умственной ограниченностью и слабостью характера — все вместе заставило меня и пожалеть о нем, и вследствие невольного сравнения его положения со своим, — к этому чувству примешалось радостное, пожалуй, чисто эгоистическое сознание того, что я живу иною жизнью. Все это, помню, я перечувствовала в кратком разговоре с ним, когда спросила, что он делает в свободное время. — «Да что? — ничего… разве у нас можно что-нибудь де-

лать? Офицеры в карты играют, едят, пьют, ведь скука там какая… Вот летом повеселее — мы приходим в Петербург, когда гвардия оттуда уходит… А что вы?» — И невольно в моем ответе вырвалось радостное чувство жизненности и интереса: «Как что?! А лекции, а занятия, а библиотеки, а научные заседания?!» Весь наш разговор тем и закончился… Помню я его грустное лицо… и… помнит моя совесть, что я не выразила ему сочувствия, не сказала ему ничего такого, что он бы мог принять в утешение за понимание его поистине безотрадного положения.

Теперь уже для меня все стало ясно. Бесхарактерность, неразвитость, полное неумение бороться с жизнью — привели Колю к такому концу, — он дошел до сознания бесцельности своего существования. Поддержки же ни умственной, ни нравственной со стороны неразвитых, поглощенных лишь страстью к наживе родственников он, конечно, не мог ожидать, — и вот в результате смерть в 28 лет…

Все это было мне ясно как день… А Наташа растерянно твердила: «Что это с ним… и отчего это? Никто понять не может…» Да и не поймут они никогда.

Наташа ушла. Я заперла за нею дверь и, чув-

ствуя, что не в силах более владеть собою, разразилась горькими слезами: острое чувство жалости захватило меня всю, и оно было тем сильнее, что я вновь испытывала укор совести за то, что могла сделать и не сделала. Пусть даже это участие он бы и не понял, — все-таки мне не следовало относиться к нему с пренебрежением, ведь у него была душа… И я плакала… никто не видел, я заперлась… Вот в эту-то минуту я вспомнила о письме: надо было писать ответ. Потрясенная до глубины души, я машинально взялась за перо — и написала… не ответ, но свои мысли по поводу этого известия, вернее — весь хаос мучительной мысли и впечатления, бывшие у меня в душе. Не помню теперь, что писала, знаю только, что каждое слово, казалось, писала не правая рука, а какая-то третья, прямо из сердца… Я подумала: если это пишет действительно человек, то пусть она поймет, что такое мое письмо — служит лучшим ответом. Под конец письма я опомнилась… — Ведь я же не знаю, кому пишу?.. Что, если она молоденькая девочка? — И я уже хотела было написать: «лучше вам теперь вовсе не знакомиться со мною, погодите, пока мне лучше будет», но потом передумала…

Покончив с этим, я хотела приняться за книгу

Неплюева и… не могла.

Только на следующий день вечером я продолжала свое чтение. И странное дело: чем дольше я читала, тем более подвергала критике не только самую мою жизнь, вовсе не бывшую христианской, но и веру. Я старалась проанализировать собственное религиозное чувство, сразу не поддающееся объяснению; но было много времени, и вот, понемножку, в эти дни я думала и над своей «религией».

В силу чего я верила? — В силу переданного традицией отчасти, в силу потребности своей души — тоже отчасти, так как известные религиозные воззрения были приобретены не лично мною, а усвоены с детства; не будь их — додумалась ли бы я сама до признания Бога? И я должна была ответить на этот вопрос честно: «не знаю».

Мое религиозное чувство, проявлявшееся с детских лет… Чем по большей части оно было вызвано? — Моя младшая сестра постоянно твердила: «Я не умею молиться». Этого я никогда не понимала и не могла понять. С детства я молилась, и тогда душа моя находила особую отраду в молитве, и я понимала смысл произносимых слов; когда мы были еще очень малы — нас заставляли иногда молиться вслух, и я помню

восхищение нашей бабушки, не переставшей твердить маме: «Лиза очень хорошо молится». Слова эти не возбуждали во мне ни гордости, ни самомнения, — с детства во мне было что-то, мешавшее наивно верить похвалам старших…

Но то было в далеком детстве… когда мы все живем в волшебном мирке ограниченного сознания, когда, зачитываясь житиями святых, я мечтала о подвигах, о монастыре и пустыне, о Никомидии[114] и аравийских львах…

Качая своих кукол, я напевала им стихи без рифмы собственного сочинения, в которых выражала эти детские мечтания — о Боге, о рае (об аде — я даже мало думала)… Меня тянула к этим житиям их строгая серьезность и в то же время какой-то мягкий тон повествования, смягчавший ее: житие Захария и Елизаветы, Веры, Надежды и Любви, Варвары и Екатерины Великомученицы, какого-то воина, имя которого забыла, кажется — Евстафия Плакиды, Марии Египетской, разных подвижников, — все это окружает и до сих пор мои воспоминания детства отблеском чего-то тихого, возвышенного, неотразимо действовавшего на мою душу… И комната

[114] Примечания: 114
Древний город на берегу Мраморного моря.

бабушки, в которой я обыкновенно читала их, куда никто из домашних, кроме меня, не входил, и обстановка этой комнаты, строгая и простая, и серьезная тишина, царившая в ней; и лампадка, горевшая перед образом, — все необыкновенно гармонировало и с этой большой старинной книгой в кожаном переплете, и с ее содержанием… Да наверное, и сама я, маленькая белокурая девочка, с серьезным не по-детски лицом — не была дисгармонией на фоне этой общей картинки.

Немудрено, что в 9–10 лет я уже многое понимала, молилась и плакала — и это вполне сознательно. В то же время мой характер не был из идеальных. На меня могла действовать только ласка, но ее никто из окружавших не догадался употребить, и все дурные стороны моего «я», подавляясь строгостью, только заставляли меня сильнее раздражаться, и я делалась еще хуже. Сестры не любили меня, и уже тогда обрисовывалась огромная разница между мною и ими. Если б кто-либо мог заметить тогда это религиозное чувство и от молитв обратить его к жизни, к самосовершенствованию и любви к ближнему — почем знать, — может быть, и не пришлось бы гувернанткам столько жаловаться на мой «характер». Но вышло так, что мое понимание

веры не шло далее этого.

Потом… В гимназии я любила более всего всенощную; служба вечером казалась мне более поэтичной и торжественной, и, искренно молясь, почти со слезами, за всенощной, я уставала и скучала за обедней и не стыдилась спать, выдумывая себе головную боль, чтобы не ходить в церковь и читать… В годы отрочества — лет в 14 — я опять вспомнила свою «веру», начавшую становиться более сознательной, но которая все-таки не шла далее раскаяния. Я даже сначала не верила в теорию Дарвина именно ради того, что она расходилась с религиозными убеждениями, и была совсем сбита с толку, видя, что ее принимают многие, называющие себя христианами. Сомнений же в существовании Бога у меня не было, а горе моей жизни заставляло меня и в последующие годы искать утешения в религии и молитве. Но я думала для 17–20 лет обидно мало и поверхностно. Сосредоточившись на одной мысли — ожидать освобождения и курсов, — я как будто не знала, что нельзя безнаказанно не пользоваться жизнью, нельзя безнаказанно жить, не задумываясь глубже в ее явления, — не знала, и жестоко поплатилась и за свою неопытность, и за это незнание.

С 21 года мое религиозное чувство всего сильнее оживало всего только два раза — перед поступлением на курсы и потом во время болезни Вали, т. е. оба раза под влиянием сильных душевных волнений, причем в последний раз оно было сильно только одно мгновение и затем сразу ослабло… Так и продолжалось вплоть до лечебницы, когда я усердно ездила в церковь, но уже не безнаказанно: по возвращении из нее я со страшной силой чувствовала разлад между высотою веры и окружавшей меня пошлостью жизни и людей, так как попала в самое худшее общество, какое только можно представить: общество обыкновеннейших, полных мелочи житейской, женщин, которые, однако, держали голову высоко, вследствие имущественного или общественного положения, и решительно не в состоянии были понять что-либо стоящее вне сферы их специально женских интересов.

И вот, пересмотревши всю свою жизнь, я невольно задала себе вопрос — «в чем моя вера?» — и какой же ответ на него давал мне беспощадный анализ?

— Первая вера была в силу твоей беспомощности, в силу склада твоей души, нуждавшейся в утешении и поддержке, не видевшей ее нигде;

твоя вера была в безотчетных порывах души к чему-то стоявшему выше пошлости житейской, в силу врожденной любви к поэзии… и только. Моя твердость, с которою я держалась за нее, несмотря на всевозможные возбуждавшие религиозное сомнение книжки, заставляла меня подвергать их критике и защищать «веру» от нападок, как нечто необходимое для человека. Я с искренним сожалением смотрела на неверующих курсисток, называя их про себя людьми без твердых убеждений, не знающих смысла жизни…

О, жалкое, несчастное создание! Да был ли он, этот смысл, у тебя-то самой, в своем ослеплении воображавшей, что если она верит всему, что сказано в выученном наизусть катехизисе, — то, значит, обладает и знанием смысла жизни? Ведь та же религия говорит — «вера без дел мертва есть», — т. е. нет в ней, следовательно, и освещающего жизнь смысла. А ты, как фарисей, следуя выученной букве закона, не делая ни шага, чтобы провести эту веру в жизнь, ты — смела считать себя умнее этих людей, смела думать, что ты в сравнении с ними стоишь на твердой почве, потому только, что веришь в бессмертие души и будущую жизнь! Поистине — ты достойна презрения! И ничто в сравнении с этим сознанием

было бы презрение всех слушательниц наших курсов, если бы они почему-либо захотели мне его выразить, — ничто, ибо суд человеческий ничтожен в сравнении с судом нашей совести…

Вспоминая свою «веру», я нахожу в ней одно только честное — что я всегда отделяла ее от всякого общеобязательного credo[115].

В наше время надо уже различать специфически православных людей, с религией государственной, и вообще верующих. Я была из последних, так как до курсов по невежеству и политической безграмотности мне не приходилось сталкиваться с этим вопросом, а на курсах мою веру всегда глубоко оскорбляла грубо и резко выраженная критика православия и нашей государственности… А впрочем — ведь эта похвала отрицательная. Но если я дошла до падения — ничего, если упаду и еще немного ниже!

Чем был для меня мой Бог? Думала ли я когда-нибудь о Христе? Странно: я много раз читала Евангелие, читала серьезно, но мало вдумывалась в него. Однажды, еще в детском возрасте, задумавшись над вопросом — что такое Бог? — я с ужасом почувствовала, что не понимаю Бога.

---

[115] Примечания: 115
Верования *(ит.).*

Чем же был для меня Бог? — Чем-то идеальным, высоким, Кому я могла только молиться и жаловаться на свою жизнь, словом, Он был для меня фантомом (призраком) поддержки, и немудрено, что иногда после молитвы я чувствовала себя успокоенной… Самовнушение ведь играет здесь не последнюю роль… Не говорю уже о чудесных исцелениях.

Призрак поддержки! В прошлом году, под впечатлением пережитых ужасных дней — я искала… чего? — сама не знаю… Пришла в Киево-Печерский монастырь и спросила схимника Антония. Мне указали на небольшую келью, и я вошла…

О. Антоний был когда-то живописцем и сохранил до старости лет любовь к искусству. Стены его кельи были увешаны картинами и гравюрами, заграничными фотографиями, привезенными ему почитателями. Вообще, несмотря на его схиму, — чувствовалось, что этот монах вовсе не застыл в аскетизме отчужденности от людей. Он отнесся ко мне замечательно хорошо: его обращение со мною было такое задушевное, такое ласковое, что-то очень привлекательное было во всей его фигуре. Помню, он назвал меня своею дочерью. Видно было, что он не получил

вообще образования, но душа его и природный ум заменяли этот недостаток. Теперь я не помню, что говорила с монахом величественного вида, но ушла ободренная и успокоенная… Он послал меня к профессору Сикорскому, врачу по нервным болезням. Тот меня осмотрел, прописал лекарство и в свою очередь опять посоветовал пойти к о. Антонию, назвав его человеком «очень развитым и проницательным». Я осталась довольна профессором; это доказывало, что он действительно хороший психолог: угадал, что мне важнее всяких лекарств — душевное успокоение, хотя бы временное, так как все струны моей души были натянуты свыше всякой меры. Эта дружба психиатра с монахом очень поучительна для многих психологов и врачей-психиатров, и каковы бы ни были они сами по себе — нельзя не признать в каждом из них ума и большой жизненной опытности… После, в августе, я опять пошла к схимнику, просто для того, чтобы вновь подышать этой атмосферой любви, и он принял меня так же хорошо, хотя разговор завязался не сразу (видно было, что он привык говорить с образованными мужчинами, но с учащейся девушкой — очевидно, не имел еще дела), но все-таки завязался. О вере — тут не было сказано

ни слова.

Итак — моя вера — не служила ли она доказательством моей слабости — с одной стороны, и слепого упрямства — с другой?.. В те дни зашла ко мне Леля Ст. и в разговоре со мною как-то сказала: «Знаете ли, я ведь более христианка, нежели вы!» — подразумевая, что в ней менее эгоизма, чем во мне, хотя она и не верующая, воспитанная отцом-атеистом…

Изучая богословие, я кое-где была согласна с профессором, но во многих случаях — нет: чувствовалась фальшь, в какую был поставлен предмет. Веру христианскую после стольких веков существования защищали как малое дитя. Чем бы приводить опровержения точных научных теорий, противоречащих букве Библии, — следовало бы стараться или согласить ее учение с наукой, или же изъяснять нам самый смысл ее, а главное, доказать нам, основываясь на чем угодно, хотя бы на кантовском императиве, — необходимость веры; затем показать всю высоту христианского учения, основываясь на рассмотрении истории народов, особенно именующих себя христианскими, и, подвергнув ее критике, — доказать, что несовершенство происходит оттого, что была принята буква, а не

смысл религии; и наконец — служить самому живым примером истины исповедуемого учения. А у нас что?! Обязательная молитва перед лекцией, которую с трудом читали слушательницы, заикающийся о. Рождественский (первый курс) и безнадежно-грустный о. Велтистов (второй курс), сменивший его, две тощие тетрадки Апологетики — вот и все, что нашли мы на курсах по этому предмету.

Таинства?! Как я смотрела на них?! Как я понимала исповедь?!

30 июля

Вот в каком хаосе мыслей жила я.

20 марта привезли тело Н. Н. Тяжелое зрелище печальной церемонии перенесения тела в церковь Новодевичьего монастыря, открытие крышки гроба и панихиды… Лицо покойного не изменилось: то же печально-кроткое выражение.

Мне надо было в этот день сдать экзамен по французской литературе у Батюшкова. Я готовилась, сидя в конке, но тогда, при моем состоянии прочесть один раз — было мало; на экзамен я все-таки пошла и не могла сдать, так как оказалось, что приготовила меньше, нежели нужно было по

программе. Профессор был недоволен, но согласился меня проэкзаменовать; у меня же голова болела так, что французские названия, которые говорил профессор, мне казались латинскими. Не успела я промолчать на один вопрос — какие сочинения Дюребефи о святых, — как Батюшков недовольно покачал головой и, сообразив, что я прошла не всю программу, велел прийти осенью, что я и раньше ему предлагала, когда увидела, что по ошибке знаю меньше других.

Вечером я написала Мар. Петр. Мяс-вой письмо с извещением, что завтра я свободна. Утром была на похоронах, от поминок отговорилась недосугом… Когда же вспомнила о вечере, — мною опять овладело то же самое чувство, когда я шла к Неплюеву: какое-то желание, чтобы и внешность той, которая придет, — не была бы ниже ее содержания… Глупо это было, но победить себя я не могла. В 10-м часу раздался звонок. Я вышла в коридор… Матренушка отворила дверь, и из нее показалась высокая брюнетка с милым лицом. «Знакомство такое оригинальное по письмам!» — сказала она улыбаясь, — и мы расцеловались. Она быстро разделась; мы вошли в комнату… — «Вы озябли? Давайте чай пить?» — сказала я. — «Давайте!» Я тщательно

рассматривала ее, все мелочи ее туалета. И мне понравилось, как она была одета: простое черное платье, далеко не новое, белые воротнички и рукавчики, пояс, черный галстук, небольшая шляпа. Вся она высокая, тонкая, грациозная, очень живая, с очень симпатичным лицом… Нет! она мне решительно начинала нравиться. Не помню теперь, с чего у нас начался разговор, кажется, с писем…[116]

Хутор Замостье, 15 августа

Невесело встречать каждый новый год своей жизни с сознанием, что еще ничего не успела сделать для других, и еще невеселее — ясное сознание возможного запрещения всякой деятельности. Позволят ли мне открыть школу без обязательного преподавания Закона Божия? Конечно нет. А идти на компромисс, я не пойду. Я слишком долго и упорно считала себя «христианкой» и «верующей», — тем сильнее перелом, и нельзя, переживая его, согласиться кривить совестью. Вспоминаю «Исповедь», которая произвела на меня такое сильное впечатление: она не пошла на компромисс, все оставила, всему

---

[116] Примечания: 116
В оригинале запись не окончена.

подверглась, все перенесла. У меня, к счастью, нет ни мужа, ни детей, ни маленьких сестер, ни братьев, лишь несколько старых родственниц, но если я при них пойду в церковь, то только потому, чтобы не подавать им повода врываться в мою душу и, ничего не смысля, разбираться в ней. Я — свободна. Отдаленность моей жизни от жизни домашних избавляет меня от подчинения обрядам… и никому до этого нет дела…

Но ведь я уже на 4-м курсе; что же будет дальше? — А дальше будет то, что моя деятельность на пользу народного образования, к которой я так стремилась, будет невозможна. О, до чего больно это сознание! До чего больно отказаться от мысли ехать в глушь родной губернии и открыть там свою собственную школу! Что теперь делать и как быть?

Для того чтобы жить в согласии с совестью, надо жить согласно своим убеждениям. Пусть другие легко относятся к вопросам веры, пусть они легко переносят официальное православие — я не могу!!

Куда же идти мне? Как мне жить, чтобы соединить разумный смысл жизни с убеждениями? В России это с трудом возможно лишь при полной материальной независимости. Педагогический

путь для меня закрыт; будь у меня талант публициста, критика, ученого — я могла бы писать… Но я не Добролюбов, не Писарев… не Соловьев, не Костомаров. Если бы у меня была власть! Цари счастливы, и им можно завидовать только потому, что они могут сделать добра более, нежели простые смертные. Эмигрировать в Америку? Л-тина рассказывала мне о Тверском, у которого она жила в Америке три года, — его дети воспитываются без всякой религии.

Да, вышла я было на дорогу и думала пойти по ней уже без препятствий. Но спустился туман, и не вижу теперь — куда идти, и должна ожидать, пока не рассеется…

Через год мне будет 25 лет, и подумать, в это время я уже окончу курсы! Чтобы остаться в России, я должна буду отказаться от своего желания. Я вообще против пассивности, но иногда мне хотелось бы, чтобы в этот последний год со мной случилось что-либо такое, что определило бы мою участь помимо моего участия. Малодушие!..

Я приехала сюда к Вале ненадолго и вижу, что замужество приносит свои плоды: она не развивается так, как надо бы, и душа ее, не направляемая никем в лучшую сторону, — грубеет. Больно видеть все это! Больно видеть и ее рав-

нодушное отношение к себе и ко мне, к моему желанию быть с ней возможно ближе. Ну что же? Ведь сама я все это устроила, сама должна молча нести и последствия своей ошибки. Сама виновата! Но Валя… неужели в ней так-таки и нет ни искорки того огонька души, который может разгореться ярким пламенем любви к ближнему, правде, добру? Неужели в ней ни капли нет чуткости душевной? Если бы не было у нее дочки — залог лучшего, — моему отчаянию не было бы границ…

Ну, однако, надо жить! Глубоко в сердце затаено сознание роковой ошибки, плода своего легкомыслия и неразвитости, — а кто видит снаружи?

Пройдет лет 50–60, и что останется от нас, от наших страданий? Груда костей — и ничего больше. Точно ли ничего? Человечеству так свойственна вера в бессмертие души. Но я — человек без веры, не знающая конечной цели своего существования — во что могу верить? бессмертие пугает меня своею вечностью, а мысль о конечном существовании как-то еще не вяжется спорить с привитой с детства идеей… И я запутываюсь в противоречии и, подобно Заратустре Ницше, восклицаю:

Где я найду теперь для жизни силы,

И как перенесу я иго смерти?!

Петербург, 22 сентября

Форстен начал снова читать лекции на нашем курсе (говорят, ему посоветовали не читать прошлый год по поводу одной истории), и нам пришлось сразу перескочить от феодализма к революции. О нем я слыхала самые симпатичные отзывы. Народу, разумеется, набралось масса. — «О, какая у меня большая аудитория! Никогда столько не бывало!» — воскликнул он, входя на кафедру. Раздался смех. Он как-то хлопнул себя по щеке, подперся рукою и, покачивая головой, совсем как женщина из простонародья, повел речь приблизительно следующего содержания: «Господа, я не буду вам говорить вступительной речи. К чему слова? А между тем чаще всего именно во вступительной речи вы услышите слова, слова и слова. Вспоминаю при этом ответ Гамлета Полонию: „Итак, вместо слов, перейдем прямо к делу“. Но так как сегодня состав моей аудитории не совсем обычный, то я и считаю нужным сначала сделать несколько указаний относительно теоретических взглядов на историю. Вы, конечно, знакомы с такими воззрениями, как экономический материализм...» — так началась

вступительная лекция.

А на другой день Гревс читал свою вступительную лекцию. К сожалению, я не слыхала, что говорил он в прошлом году; кажется, о его речи писали в газетах, кто-то ложно истолковал его речь, о чем он и упомянул нынче, но все-таки, по обыкновению, он считал своим долгом обращаться к нам перед началом года с приветственною речью.

На этот раз темою ее было человечество и его назначение — прогресс, и его основной фактор — любовь к истине. В прогрессе замечается известная планомерность и быстрота, которая создает историю человеческих форм. Человек есть la problème finale, la grande cause de lois suprêmes[117], как говорит Ренан. Первенствующее значение мысли в ходе прогресса: быстрота его в области науки, где мысль свободна, и медленность его в общественной жизни, где мысль более стеснена; успех прогресса зависит от проникновения в среду общества сознательности. Объединяющая работа знаний в развитии духа, Слова Божия: прогресс зависит от накопления знаний, их направления и ширины круга, в кото-

[117] Примечания: 117
Конечная проблема и великое дело высших законов *(фр.)*.

ром они вращаются. Сознательность ничтожна при непрерывном прогрессировании; она не устранит страдания, но даст власть над ощущениями. Сознание дает дорогу прогрессу, и власти его не будет конца. Необходима общественная солидарность, идеалы же могут меняться, смотря по потребностям и движению. Таковы общие объективные данные программ… С этой точки зрения мы и будем заниматься практически: будем изучать путь, по которому шло сознание, и как оно побеждало препятствия — иначе говоря, будут выдвинуты из истории силы прогресса. Но тут возникает вопрос: вечна ли эволюция духа? Где разовьется сознание после жизни человечества? В других мирах? Критическая философия говорит, что нет; но если ответ когда-нибудь будет возможен, то откроется понимание жизни. Только в совершенствовании интеллектуальном — залог будущего; необходимо развитие личности, оно освобождает ее от рабства, среды. При условиях, в которых живет наша родина, — она нуждается в образованных людях, понявших строй мирового процесса и современного и умеющих формулировать свои обязанности. Нравственность должна теперь первенствовать… «В настоящее время нужны: жизнь для других и известный запас

альтруистических эмоций; наше общество нуждается в таких интеллигентных личностях, как носящих элементы образованности и нравственности. Подрастающее поколение обязано это понимать. Юношеству недостает зрелости ума; развить в себе этот фактор — значит выработать в себе образованность. Юноша способен к умственному труду, к созиданию мировоззрения, любит абстрактные мысли и весь проникнут идеализацией. Умственный труд — есть общественное и нравственное призвание человечества вообще и юношества в частности. Только в юности мы имеем свободу отдаться умственному труду. В этот момент невольно приходят на память образы людей, отдавшихся умственному труду, — Ренан является воплощением духовного начала. Назову здесь его сочинение „L'avenir de la science“[118], в котором так ясно выражается громадная вера в науку, — эта книга является примером торжества духовного начала в жизни. Если даже юноша и не стремится посвятить себя науке, — он должен посвятить себя серьезному умственному труду. Научные занятия довершают развитие; в ум-

[118] Примечания: 118

Жозеф Эрнест *Ренан* (1823–1892) — французский философ и писатель, историк религии. *«L'avenir de la science»* — одна из его работ — «Будущее науки».

ственной серьезной и научной работе крепнет и зреет душа. Я желал бы, милостивые государыни, чтобы вас охватил и развился в вас le frisson de la vérité — благоговейный трепет перед истиной, к которой мы все должны стремиться. В заключение напомню вам речь Золя о значении труда, произнесенную им несколько лет назад в студенческой ассоциации в Париже: „на поприще труда приветствую и я вас, как будущих образованных деятелей общества“». По обыкновению, последние слова речи покрыты были аплодисментами.

Вспоминаю я речь его, сказанную три года назад, и что бы ни говорили, а эти вступительные лекции Гревса имеют огромное значение для вступающих на курсы. Услышать хоть раз такое объединяющее, так сказать, слово о значении науки в жизни — очень и очень важно на первых порах.

7 октября

Лекции Шахова отличаются удивительной живостью слога. Они увлекательно читаются помимо воли автора. Мастерскою рукою начерченные картины встают в воображении — и кажется, что вы мгновенно обозреваете всю кипучую умственную жизнь эпохи, смена миро-

созерцаний проносится у вас перед глазами — и вы невольно поражены живостью книги, и не читаете, а глотаете ее страницы… Шатобриан и реакция, Ламменэ, Ламартин, Беранже, Ж. Занд и целые плеяды блестящих литературных деятелей, прекрасно очерченных рукою талантливого историка литературы. Как много потеряла в нем наша наука! У Шахова — удивительное уменье обрисовывать историческое происхождение миросозерцания деятелей литературы и анализировать почву, на которую падали их идеи. К сожалению, некоторые характеристики отличаются краткостью и некоторые лекции — как бы поспешностью. Это, разумеется, объясняется ограниченным временем, которое он имел для своих лекций. Таковы, напр., лекции о Беранже.

Мастерской слог, уменье выражаться сжато, сильно и ясно, «в немногих словах сказать многое» — напоминают Lançona. Вместе с изучением французской литературы Шахов как бы усвоил себе и образцовый стиль ее лучших представителей. Он писал по-русски так же, как француз по-французски. О, если бы наши профессора могли позаимствовать у него хотя часть этого уменья излагать, — как бы выиграли наши лекции в интересе и содержательности! У Шахова нельзя

выкинуть ни одной фразы; у большинства же наших профессоров лекции можно сократить вдвое, втрое — свободно, и рукою неопытного студента, и они только от этого выиграют.

11 октября

Получила письмо от Тани; все оно — сплошная жалоба измученного существа. «Удивительно складывается моя жизнь: я не знаю ни одной полосы из нее, которую я могла бы благословить, отдохнуть воспоминанием по ней. Вечное тяжелое ожидание, бессмысленная борьба за то, что принадлежит мне по праву человека, полная нравственная отчужденность от семьи, дикое непонимание меня, уродские отношения… Ну да что говорить! Сама знаешь…»

Ох, слишком хорошо я это все знаю! Пожалуй, лучше ее… Сама я переживала ужасное, что только может пережить человек: в пору юности, в самую лучшую пору жизни, со слабою волею, с сердцем, искавшим любви, с умом хотя не развитым, но жаждавшим правды, — я была так одинока, так беспомощна, до того путалась в лабиринте своей жалкой жизни, что страшно и вспомнить… У Тани на всем ее страдании лежит яркая полоса разделенного чувства, а у меня

что?! И этого не было. Не сожалею я, что ни сама не испытала, ни ко мне никто не испытал этого чувства. О том жалею я, что, будучи окружена сестрами и братьями, — ни я, ни они меня не умели любить истинной братской любовью и судьба не послала мне человека, с которым я могла бы отдохнуть душою… Видит Бог (если есть Он), что не желаю я никогда испытывать любви, которая ведет к браку, но до смерти я не перестану чувствовать неудовлетворенность сердца, ищущего братской любви и дружбы, — это да! Право же, все равно — мужчина или женщина, — только явился бы этот друг, с душою родственной, стоящей выше меня, и любящий меня такою, какая я есть, тонко, без слов, понимая меня… О, как любила бы я его, с каким счастьем ожидала бы я его прихода, чтобы вместе склониться над книгой, вместе рассуждать, вместе стремиться к правде, искать истину, — а главное — в котором я не боялась бы разочароваться, знать бы, что он не изменит своим убеждениям… Я жадно искала его здесь, на курсах, среди сотен женщин… Обыкновенная история — не нашла! Потому что я ищу душу необыкновенную, я это знаю, а большинство из нас — все-таки простые люди. И некоторых я люблю, и очень люблю, но все-таки они не могут мне

дать все, что мне надо… Я готова быть их другом, но знаю, что они не смогут быть теми, потому что скажут: «ты требуешь слишком много, я тебя не понимаю», — и отойдут, огорченные… И чтобы не огорчать их, я никогда ничего не говорю. Глубоко в сердце спрятала я эту потребность и никому не покажу никогда! Она во мне живет и со мною умрет! Я холодна и сурова на вид, — тем лучше, никто не догадается.

Валя, Валя! Сестра, с которой я сама же себя разлучила. Если бы ты была лучше сердцем и развитее умом! Но жизнь таинственно отводит ее от меня, и кажется мне, что рано или поздно я буду ей еще более чужой. Таня — вечно несчастная, слабая, сама нуждающаяся в поддержке и скорее способная принимать любовь, нежели давать ее.

Эх, жизнь! «Жизнь невеселая, жизнь одинокая», — как она пройдет? — Не знаю, но могу сказать вместе с поэтом: «горько она, моя бедная, шла…» (потому что и в самом деле — в жизни больше горя, чем радости). Но не хочу говорить — «и как степной огонек замерла…». Это напоминает что-то слабое, бессильное в борьбе. Нет, пусть уж лучше она как костер горит, пока не сгорит вся, или же пока не затушат другие…

И вот я говорю это, а другой человек «благора-

зумный» — сидит и подсмеивается: «Ишь, задор молодости! — Неизвестно еще, что ты сделаешь… И все вы говорите, а вот как дело-то будете делать?.. Пожалуй, замрешь и не только как степной огонек, а просто как зажженная спичка».

Ну что ж? Доктор Гааз был тоже одинок… Его великая по высоте душа несравнима с моей, и поэтому он был еще более одинок, однако нашел же он в своем сердце тот неиссякаемый источник любви, который освятил всю его жизнь. Я не могу, конечно, идти за ним, это — уже совершенство, а дух мой слишком мятежный, слишком способен еще возмущаться и презирать. Но на одно я способна, в этом я не ошибаюсь: я могу и буду любить широкою братскою любовью всех несчастных нравственно, страдающих под гнетом жизни, непонятых, униженных и оскорбленных, кто под маскою спокойствия прячет душевное страдание… И пусть они, в свою очередь, не понимают меня и относятся ко мне равнодушно или не могут любить меня равною любовью — пусть! Я все-таки буду любить их и не отойду от них, помня, как мне тяжело было, какие минуты переживала, и… ко мне никто не подошел!.. Простить врагам — сколько угодно, я постоянно прощаю и отношусь к ним вполне равнодушно, иногда — с

сожалением.

Итак, — вот к чему я способна, — на любовь к несчастию, на прощение врагам, но любить их — у меня нет не только силы, но и не хватает мыслительной способности, чтобы разумом объяснить себе это: у меня — любовь согласна с его выводами, и поэтому и чувство гармонично. О, если б всю жизнь можно было построить на гармонии разума и любви! Это был бы идеальный союз! Так вот и теперь: мне жаль Таню, я беспокоюсь о ней, — она же совсем забывает обо мне, поглощенная собой… Ну пусть! Бедное дитя! Если бы у нее была сила воли — выстоять твердо посреди бури, если бы она была решительнее, а то даже досадно смотреть на нее, из-за чего она терпит столько? В 21 год она свободно может уйти из семьи, одним могучим усилием сбросить все путы и уйти от них, правда — нищей, но зато свободной!.. Таня так любит Д-са, что и слушать не хочет о курсах… Эх, женщины!

А что, в самом деле, — предложить бы мне теперь на выбор: не влюбление, конечно, а ту идеальную дружбу, о которой я мечтаю, или пожертвовать этим последним годом учения на курсах? Ни на минуту не колеблясь, все-таки выберу последнее. Знаю, что и здесь моя жизнь не

так складывается, как надо бы, и здесь страдание дает себя знать сквозь научную обстановку, но не отдам этого страдания ни за какое счастье, потому что здесь переживаю я лучшие минуты жизни — пробуждения и развития сознательности… Оно насквозь проходит через мою жизнь, но та боль, которую я испытываю при этом, — спасительна: она порождает во мне нового человека, и для меня по окончании курсов должна начаться действительно «vita renova»[119]. Какова-то будет она?

О, если б я могла теперь молиться! Какая бы пламенная молитва полетела к небу за всех и за все… Но я уже не могу более молиться.

Если б мне дан был дар песен — какая чудная возвышенная песнь любви вылилась бы у меня… Но мне не дано этого дара…

Если б у меня был дар слова — я вышла бы с проповедью любви к людям… Но мне не дано дара слова…

Что же дано мне? Что же дано мне??! — У меня есть душа, есть воля, и если ничтожная единица может тем, что она сделает, — устранить хотя одну стомиллионную долю из всей суммы

---

[119] Примечания: 119
Обновленная жизнь *(эспер.)*.

страдания, — пусть эта единица сделает, что подсказывает ей совесть…

13 октября

Какой неприятный день пришлось пережить сегодня! Недели две назад я сдала в редакцию «Мира Божия» мою заметку о школах и братстве Неплюева. Сегодня зашла за ответом. Редактор, любезный и симпатичный господин, очень вежливо сказал: «Нет, это не пойдет, рукопись можете получить теперь же». Я расписалась, взяла тетрадь и вышла. Мне было очень досадно за свою наивность: разве можно было нести статью в такой журнал, да еще написанную так небрежно! Я предназначала ее для редакции «Ярославских губернских ведомостей», в часть неофициальную, и признаюсь, писала ее, не очень-то заботясь о слоге, — ну и надо было отправить туда сразу, а не передумывать и не соваться с известной физиономией в суконный ряд. Вдобавок, в самую последнюю минуту дернула меня нелегкая прибавить конец, который мог быть принят за страшную тенденциозность (разговор с марксисткой), за косвенную нападку на модное в наше время учение… Счастье мое, право, что не напечатали заметки, а то потом стала бы сожалеть. И

сунуться в такой журнал, — ну могли ли ее поместить?! Конечно нет, хотя печатают бесконечные романы Потапенки, но ведь то — все-таки имя, а тут дело идет о таком явлении, которому вряд ли может симпатизировать прогрессивный во всех отношениях марксизм.

Теперь меня берет раздумье, посылать ли и в «Ярославские губернские ведомости»? А ну как и там откажут? Там слишком консервативны, могут не пропустить… Черт возьми! Тогда — сожгу ее… Конечно, лучше бы обратиться за советом к профессору Шляпкину, но я не желаю в данном случае показаться неопытной, наивной, именно потому, что в журналистике я навсегда останусь таковой. А кому охота явно доказывать свою наивность?

Итак, я сама себе устроила эту неприятность. Другая же может быть сопряжена еще и с дальнейшими. Я задумала обратиться к Лаппо-Данилевскому за советом относительно занятий по русской истории. У нас на курсах занятие ею не представляет для меня никакого интереса. Платонов поставил на очередь власть московских государей и историю Церкви — период до раскола и самый раскол при Никоне. Рефераты пишут исключительно по книгам, и получается гимна-

зическая передача прочитанного. В обозрении отдела преподавания истории в университете я прочла, что у Лаппо-Данилевского практические занятия по систематике социальных явлений и лекции по истории русского общества в XVIII веке. Обдумав вместе с Юлинькой М. свой план, мы решили обратиться к нему с «просьбой дать ряд рефератов по этому вопросу», пошли же к этому профессору на основании слуха о его хорошем отношении к студентам. Так и сделали. Он выслушал нас очень внимательно, объяснил, что рефератов собственно по истории русского общества у него не назначено, а предложены практические занятия со студентами по чтению «Жалованной грамоты дворянству». Однако обещал подумать и дать ряд тем. Я все время внимательно смотрела на его умное лицо; в самой речи, в самих вопросах его видно было серьезное отношение к делу, и я даже смутилась от невольно охватившего меня детского страха — вдруг показаться перед ним ничтожеством и невеждою во всех отношениях… А он как будто и не замечал этого, — так же сосредоточенно-внимательно обдумывал что-то, спрашивая нас, какой стороной истории русского общества XVIII века хотим мы заниматься и как ему поставить темы.

Юлинька осталась довольна приемом, но моя тревога только что начиналась: что-то выйдет из всего этого? Найдем ли мы еще 3–4 человека, готовых так же приняться за это дело, как мы, и если найдем, то сумеем ли обработать как следует данные темы? И как он отнесется: даст ли темы, и тем самым наши отношения с ним окончатся, или же предложит следить за рефератами? Последнее было бы так хорошо, что об этом мы не смели и мечтать; и то хорошо, если темы даст. А вдруг ничего не выйдет, потому что вся предшествующая историческая подготовка наша по русской истории сводится почти что к нулю.

И что моя утренняя неудача в сравнении с этим беспокойством и страхом? Первая вполне заслужена и составляет мое личное дело, а тут — извольте видеть… Но от беспокойства я уже более не могу писать…

17 октября

Сегодня я получила от профессора темы, и мое смущение рассеялось от его простого и серьезного отношения. Когда я уходила и он сказал, что за разъяснением вопросов мы можем приходить к нему по четвергам, от 7 до 8, мне показалось, что это так и должно, что это естественно вытекает

из нашего разговора.

Ну, теперь только начать заниматься!

19 октября

Только что вернулась от Марии Петровны Мясвой. Мое отношение к ней производит на меня неопределенное впечатление: иногда я в глубине души не доверяю ей, мне кажется, что она вовсе не так хорошо относится ко мне, что я строю себе иллюзию, — и эти сомнения иногда берут верх над моею привязанностью к М. П. Она же каждый раз встречает меня с такою любовью, так искренно и задушевно говорит, что мои сомнения невольно испаряются, — ее искренность действует на меня, и я говорю с нею тоже просто, без стеснения. И мне теперь больно это сознание своей недоверчивости к людям, вынесенной из тяжелого опыта жизни: хотелось бы верить человеку, верить более, нежели себе самой… и — не можешь, а встреча с Неплюевым подала мне еще больший повод к развитию в себе этой осторожности… Она спрашивает меня: «Вы любите меня?» — Что ответить ей на это? — Я говорю — да, не имея возможности признаться ей в своих сомнениях. Но первое впечатление живет во мне, и оно было, кажется, верное: в ней я нашла

человека, душевно более развитого, нежели все, встречаемые мною до сих пор.

Сегодня мы говорили с нею о религии. Я откровенно рассказала ей свое душевное состояние, переживаемое мною теперь, мое полнейшее отвращение и сознание полной невозможности идти на компромисс. Всею душою своею я чувствую полную пустоту в своем сознании относительно этого вопроса… Где мой Бог? Да и есть ли Он?! Уже старое здание рухнуло, — стоит ли строить новое? Не лучше ли выкинуть все обломки и чисто вымести пустое место. Здания-то ведь тоже не вечны. Допустим — построишь и новое, — ну и оно разрушится, так сто́ит ли, сто́ит ли? Ах, какое это странное ощущение… И я чувствую, что все это является независимо от состояния нервов (ибо могут возразить, что у человека, страдающего нейрастенией, бывает состояние и еще хуже); нет, очевидно, есть какое-то состояние души, независимое от нервов, которое особенно ясно вырисовывается тогда, когда нервы успокоены. Я вот теперь и покойна, но наряду с этим спокойствием живет и сознание пережитого разгрома. Лишь иногда я чувствую какое-то облегчение, доставляемое научным изложением истории христианства наряду со

всеми другими религиями.

Итак, мы говорили с М. П. о религии. Она воодушевилась, объясняя мне, как надо понимать воскресение мертвых, но, с непривычки к таким толкованиям, они показались мне запутанными и темными. Для меня гораздо понятнее было старое, знакомое толкование Церкви, а не это — символическое, образное, — и не знаю какое. Но вот что мне стало ясно из ее разговоров: свободное религиозное движение есть и у нас, и в Европе, оно идет само собою, становится иногда независимо от Церкви (в обыкновенном разговорном смысле слова), Священное Писание изучается и истолковывается людьми, — иногда очень образованными, — истолковывается свободно. Стремясь к духу, эти люди, конечно, иначе смотрят на многие обрядности, доселе удерживаемые Церковью. Словом — как будто воскресло вновь то далекое время — первых веков христианства, о котором я так еще недавно читала в лекциях Гревса.

Удивителен ход истории! Время падения язычества ознаменовалось особенным настроением мыслящих умов и образованного общества: восточные культы получили необычайное развитие, чувствовалось какое-то особенное

религиозное искание истины… А в наше время? Возьмем Париж, этот современный Рим. Там тоже развивается масса всевозможных культов, устраиваются всякие тайные общества и собрания. Недавно, в романе Гнедича «Ноша мира сего» (журн. «Неделя»), я прочла описание сборища поклонников какого-то культа, и меня глубоко возмутило зрелище циничных картин, которыми сопровождалось своеобразное «служение»; читала я также о книге Гюисманса «Lá-bas»[120] и убедилась, что очень многие черты жизни современного Парижа напоминают нам Рим перед падением язычества. Здесь же, в Петербурге, живет около 200 человек буддистов, и Горемыкин разрешил выстроить буддистскую молельню…

Появившееся христианство озарило умы только блеском и, по виду, — победило Древний мир. Но едва оно стало государственной религией — оно начало падать… Высокая идея братской любви и единения, воодушевлявшая первых христиан, — исчезла, религия была признана государством как известное мировоззрение, объединявшее подданных, склонявшее их к повиновению, освященному религией. Это было

[120] Примечания: 120

«Там, внизу» *(фр.)* — роман французского писателя Ж.-К. Гюисманса (1848–1907).

выгодно для государства, но не для религии.

Прошли века… На Востоке медленно и постепенно, рядом политических систем русских правителей создавалось православие, но у нас не было такой борьбы между духовною и светскою властью, как на Западе, чему немало способствовало, по моему убеждению, бесправное состояние и убогий склад жизни нашего духовенства. Религия, раз приспособленная к государству, не могла уже развиваться свободно, мало того — государственные тенденции заразительно действовали на духовенство, которое, в свою очередь, старалось приспособить ее к своим личным целям, и в конце концов ему удалось-таки создать католицизм, и государству пришлось бороться с этой государственной системой. Philosophia est ancilla theologiae[121], — твердили схоласты, служители же Церкви на деле доказывали, что эта «госпожа» есть, в свою очередь, и служанка их политики. Протестантство возникло как протест против этой искаженной религии, но и оно в самом себе носило зачатки ее искажения.

И такая «христианская религия» в течение столетий распространялась по всему миру. В конце

---

[121] Примечания: 121
Философия — это служанка теологии *(лат.)*.

концов — правдивый суд истории признал ее несостоятельность, и с развитием сознательности в массах — она всюду рушится, несмотря на отчаянные усилия правительств поддерживать ее. На Западе — Франция революцией отвоевала себе свободу совести; у нас, к несчастью, эта несвобода при современном умственном уровне интеллигенции ведет только к нравственному разврату, к развитию привычки лицемерить, и — что всего опасней — к равнодушию общества по отношению к этой привычке: лгут сначала бессознательно, потом лгут сознательно по отношению к религии, и, привыкнув кривить душою в этом отношении, интеллигент кривит и по отношению к обществу и государству. Крича на студенческой скамье либеральные речи, — они потом становятся самыми мирными гражданами.

Если проследить весь ход христианской религии, то окажется, что ей приносит вред непосредственное ее огосударствление, если можно так выразиться: она не может быть без искажения учреждением государственным, и в то же время, не будучи зависимой от государства, — она настолько же разрушительна для устоев современного государства, как оказалась

разрушительной для Римской империи. Как же выйти из этого конфликта? Системы религии чрезвычайно удобны для современного государства; христианская религия разрушает его устои. В каких же отношениях должны находиться между собою государство и религия? «Это дело личной совести каждого», — говорят спокойно все те, которые не задумываются глубже. Да, если религия формальна — то нечего заботиться. Но… если суждено когда-нибудь воскреснуть первым дням христианства — то государство не может так спокойно отнестись к этому «делу личной совести каждого»…

27 октября

Читая о спорах западников и славянофилов — в наше время невольно поражаешься узостью их исторического горизонта. Теперь даже как-то странно вообразить, что было же время, когда возможны были такие партии. Отрицание всей истории Западной Европы со стороны славянофилов, отрицательное отношение к русской истории со стороны западников — это ли не односторонность, это ли не узость мысли?! А между тем — на эти два лагеря разбился цвет тогдашней интеллигенции!

Только изучение истории помогает нам расширить свои воззрения на русский народ; только с развитием исторической науки стали невозможны такие крайности, — до того невозможны, что даже мысль о них — смешна.

В наше время, соответственно увлечению политической экономией, — выступили марксисты и народники. В их спорах повторяется вновь то же отношение, как и в спорах славянофила с западником: взаимное отрицание и неумеренный восторг перед своими идеалами, преклонение перед их реальным осуществлением… Народник — готов молиться на общину, марксист — на фабрику. Марксисты победоносно указывают на З. Европу; народники с ужасом от нее отрицаются. И опять-таки — ни те, ни другие не правы.

История покажет нам, что и фабрики, и земледелие равно необходимы для России; а постепенное физическое вырождение народа при фабричных работах доказывает, как жесток идеал марксистов — обращение народной массы в рабочий пролетариат. Будем надеяться, что эта идея — зависимости духовного роста народа от его физического благосостояния — постепенно будет проникать в умы, — и тогда можно надеяться на появление законов, ограждающих рабочих от

эксплуатации в больших размерах, нежели это сделано доселе; а равно на появление законов, ограждающих земельную общину в тех местностях империи, где она действительно полезна. Если же она разлагается — то никакая правительственная регламентация не спасет ее от гибели: законы бессильны перед экономическою необходимостью.

Подобно тому как были общие черты между славянофилами и западниками — они есть и между народниками и марксистами: все четыре партии думали и думают о русском народе, но каждая с своего конца.

(Во время чтения книги Ветринского «Грановский и его время».)

30 октября

Вечером дома — одна… Получила письмо от брата Володи. Страшно скучает и с тоскою спрашивает: «Да когда же мы наконец все съедемся?» Не люблю я вспоминать о прошлом, но сегодня эта фраза напомнила нечаянно о нем, и стала вспоминать, что было в это время 4 года тому назад — последний год, когда мы были все вместе… Что ж такое было в те дни? Ба, помню, помню! — Свадьба Кати… И она уже умерла нынче летом.

Должно быть, занимательность жизни состоит в том, что люди не знают будущего. Вот я, напр., была уверена, что во все 4 года моей жизни дома ничего особенного не случится, но оно случилось, хотя и не со мною, но задевши меня, и как раз в последний год моего пребывания дома. Поступая сюда, я была вполне уверена, что и эти годы пройдут так же, ничего особенного не случится; верно, по внешности — ничего особенного не случилось, но зато во мне переменилось три разных человека, один за другим. Я рассчитала устроить свою жизнь по раз намеченному плану — случилось то, что и план-то мой исчез, и что теперь делать, не знаю… В ужасе перед будущим, — я вижу все свое спасение нынешний год — взаперти, с головой в занятиях! Чтобы ни минуты не оставалось для души! Кант, Аристотель, история русская, история новейшая, даже грамматика польская, литература — мне все равно, все равно — лишь бы не думать, не смотреть вперед… Что скажут все мои? Что скажут Валя, Надя? Суда сестер и братьев я боюсь более суда других, хотя именно они-то и не поймут меня, но я люблю их, и так жаль, что я, на заре их жизни, не могу служить им примером, не могу открыть школы, не могу ни учить, ни воспитывать детей…

О, какое это мучение — сознавать, что я, единица, — бессильна пред ходом истории… Пройдет, быть может, еще сто лет, — и мы только тогда добьемся свободы во всех отношениях, добьемся и свободы совести… А теперь — учительница с свободными убеждениями немыслима ни в какой школе… И лучше бы мне не сживаться с этою мечтою, лучше бы не иметь ее никогда!

Что же делать теперь?!. Как-то мы говорили с Маней П. о нашей будущности. Она готовится быть учительницей, и я сказала ей, что не чувствую себя в силах примириться с «положением дела» и не пойду в школу… Она помолчала. «Хорошо так говорить обеспеченным людям, как ты; проливая слезы, говорить: „я не в состоянии идти против моих убеждений“. А вот у Лизы З. мать да больной брат на руках; она тоже ни во что это не верит, а окончит курсы — откроет прогимназию в Тюмени… Надо же жить!»

Но будь у меня две старухи-матери и два больных брата, — кажется, скорее продалась бы, если б не смогла заработать средств для их содержания каким-либо иным путем, кроме учительского.

Не поеду домой на праздники — слишком тяжело кривить душой… Я для всех своих, для знакомых — все еще та же, по-прежнему «пра-

вославная», чтобы не дать им повода прежде времени врываться в мою душу, врываться грубо со своей слепой правдой жизни, с отупевшими от религиозного недоумения глазами… Нет, — пока я для них буду играть комедию и останусь здесь совершенно спокойная, благо занятий — бездна.

Как я люблю мою бабушку Елизавету Александровну! Какой удар был бы для старушки узнать, что ее Лиза, ее любимая внучка — не признает того, что для нее во всю ее семидесятилетнюю жизнь было такою же непреложною истиною, как ее собственное существование!

Теперь я точно стала жить новой жизнью… Четыре года назад!.. Катя умерла… во мне тоже умерло многое… А ведь вот живу же… и к чему? Так, — должно быть, судьба распоряжается людьми, как мы своими вещами: одних безжалостно выбрасывает за борт, других — будто бережет «на всякий случай». Уж я ли не бесполезное существо?!

8 ноября

Надо отметить тот день, когда мы решились говорить с профессором относительно практических занятий по новой истории. Тщетно висело на курсах его объявление, призывающее

заниматься, — записалось лишь 4 человека, да я пятая. И уже раскаивались же мы! Это ужас что за деревенщина! Вместо того чтобы объяснить нам в двух-трех словах, как у него идет дело в университете, профессор рассказывал нам об этом целых полчаса, говорил скучно и монотонно, шутил неостроумно и плоско. Мы слушали все это с крайним негодованием. После долгих переговоров принялись за темы. Он желал, чтобы занятия носили аналитический характер, и я была с ним согласна, но все наши почему-то избрали темы историографического характера, остановившись на политических кознях во Франции 1814–1830 годов. Тема показалась мне неинтересной, неумолкаемое говоренье профессора невыносимым, и я готова была сбежать из инспекторской, где происходили переговоры. Наконец — кончили, он вышел. Мы вскочили с мест и очумело поглядывали друг на друга; прошло несколько секунд, пока мы оправились от впечатления этого совещанья. «Да уж не отказаться ли, господа?» — предложила одна, но мы не хотели. Теперь оставалось только взять книги и по силе начать излагать историю политических партий.

В эту неделю, переехав на другую квартиру, устроилась одна, и очень довольна. Тяжело было

бы мне жить долее с Маней П., потому что встать слишком близко к человеку тоже, иной раз, нехорошо: рассмотришь его всего и, к сожалению, все дурное яснее увидишь, бесхарактерность и влияние кружка портит Маню; с виду она как будто менее обыкновенна моей Вали; по окончании же курсов выйдет замуж за своего жениха, который давно за нею ухаживает. И только… «Но грустно думать», что за все мои годы пребывания здесь я ни с кем не сошлась ближе, чем с Маней, оказавшейся в конце концов так чуждой мне по духу и тем не менее единственной, с которой я на «ты». Я знаю, что она меня искренно любит, и я люблю ее, как молодого хорошего товарища, но… как до звезды небесной далеки эти дружественные отношения от полной дружбы. Кто в этом виноват? Конечно сама: «на ловца и зверь бежит», — плохой, значит, я ловец! На курсах я совсем одинока, и не потому, что трудно сходилась бы с людьми, — но люди оказываются не такими, какими бы я могла быть удовлетворена. Я буду всегда относиться к ним хорошо, и они никогда не узнают, до чего они не удовлетворяют меня…

Была в воскресенье со знакомым художником и Шуркой на ученической выставке в Академии художеств. Впечатление получилось очень

неопределенное; только на общем туманном фоне ярко вырисовывались прелестные пейзажи Федоровича (ученик Киселева), Розанова (ученик Репина), «Земская больница» и «Утешение» Попова. Казаков, один из лучших учеников Маковского, едет за границу, выставив прекрасную картину. Необыкновенно хорош пейзаж Федоровича: в нем соединяются тонкость работы с живостью передачи. Картины не замазаны, но и не модной нынче манерой — грубыми мазками написаны, а живость такая, что не отойдешь; от всякой картинки так и веет тишиной, миром, поэзией природы. Тут уголок сада, там старинная лестница, здесь кусочек газона с цветами, — и все это так очаровательно прекрасно, так глубоко верно изображено… Ему предстоит будущность, если он пойдет и дальше в том же направлении.

22 ноября

Вчера был у нас акт. Обычное чтение отчета и речь Котляревского о значении философского учения гр. Толстого, прочтенная с обычным искусством, красиво, но в то же время и просто. С чувством удовлетворения национального самолюбия отметив о внимании всей Западной Европы к нашему писателю, особенно выразив-

шимся ко дню 70-летнего юбилея, профессор перешел к выяснению его значения для истории русской мысли. Он говорил о влиянии Л. Толстого как моралиста, которое в будущем, несомненно, отодвинет на второй план славу его как романиста. Сравнивая его с Ж. Ж. Руссо, он ставил вопрос: своевременно ли появилось его учение? Ответ будет утвердительный. На границе двух веков, пережив после прошлого века разочарование в принципах разума, придя в средине к утверждению необходимости чувств гуманности, — мы увидели, что оно в последнее время как-то потускнело под меркантильными стремлениями общества. И в это-то самое время раздался голос великого писателя — и нарушил покой этого общества не только у нас, но и в Европе. Его философская система, подобно системе Ж. Ж. Руссо, — полна ошибок, несвободна от противоречий, — и поэтому вызвала массу возражений. Но это доказывает только, что над нею думают, что она не проходит бесследно. И бесспорно, историк будущего, в истории движения русской мысли конца века, на первом плане поставит Толстого. — Вот вкратце содержание этой речи. На акте присутствовал товарищ министра народного просвещения профессор Зверев, встреченный

директором с распорядительницей, слушательницей первого курса П-вской, изящно и модно одетой девицей, которая должна была наглядно доказать г. товарищу министра избитую истину: наука не влияет на внешность (насмешка не совсем хорошая с моей стороны).

Вечером на курсах состоялась обычная вечеринка с концертом в пользу касс всех 4 курсов. Большинство профессоров нашего факультета отсутствовало… У меня, как всегда, не было ни одного знакомого студента университета. После наверху бешено танцевали; по обыкновению, нашлись охотники поглазеть на такое вовсе не художественное зрелище, происходящее на маленьком пространстве и к тому же среди самой простой обстановки. Я потолкалась в толпе, поговорила с одной-другой товаркой, — скучали. Студенты, у которых не было своих знакомых курсисток, тоже стояли группами, не подходя к нам. Чувствовалась разрозненность между незнакомыми.

Только в третьей аудитории раздавались голоса студентов, и она была битком набита народом. Я с трудом протолкалась, но не могла вынести духоты и опять вышла. Студент кричал, какой из двух вопросов поставить на обсуждение: о разроз-

ненности среди студентов или о том, как помочь голодающим? Толпа закричала: «Последний!» Далее я ничего не слышала, кроме отрывочных слов, произносимых задыхающимся голосом… Я выбралась из аудитории в коридор. Эх вы, умники! Положим, что стремление помочь голодающим — благородное, но в пылу молодости вы не заметили неразрешимости для вас этого вопроса и упустили первый, о котором можно бы было поговорить с пользой.

Я наблюдала все время за присутствующими. Те, у которых были свои знакомые, были веселы и оживленны, а кто не имел, тому вовсе не было весело. Казалось бы, чего лучше? Вы — студенты, мы — курсистки, между нами должно быть общее, должно быть единение, простота отношений, живые разговоры, живой обмен мыслей. А между тем — вы стоите у стен, не решаясь подойти к нам, не будучи «представленными», мы — стоим у другой стенки и тоже не решаемся начать разговор первые. Такое ли отношение естественно? Господа, если твердить о братстве, — так отчего же нам, хоть на эти годы, на студенческой скамье не осуществить, пока есть возможность, братские отношения?.. — «Ах, как скучно»! — твердила Б., бродя со мною по зале. Мне тоже не было особенно

весело… Почему бы нам не собраться нескольким курсисткам вместе со студентами и не поговорить, как добрые товарищи? Я попробовала было бросить эту мысль Б. и указать ей на одного студента, известного мне словесника, — вот, говорю, пойдем, познакомимся, наверное, у нас найдется общая тема для разговора; он малый простой, его знают наши, кто из Воронежа. Б. замялась. «Ах, нет… я не решусь никогда, он мне не знаком», — и она даже ушла в зал, оставив меня одну в коридоре. Я, однако, упряма. А ну, думаю, попробую его спросить хоть что-нибудь. «Скажите, профессор Шляпкин в Петербурге или нет?» — «Не знаю», — был односложный ответ, хотя студент был его учеником. Я решила не продолжать разговора далее, характерная односложность сразу охладила меня. Нельзя, конечно, судить его по такому ответу, но если бы он хотел с полуслова понять меня, то сейчас же мог завести разговор, а он и не подумал поддержать его. Я отошла и решила остаток вечера употребить на маленькие делишки, на переговоры со знакомыми товарками о кое-каких незначительных мелочах; наконец, в 2 часа ушла домой с Шуркой…

Так, — виноваты во всем сами мы, и поэтому никак нельзя сказать — весело ли было на вечере

или нет.

5 декабря

Вечером я была у А-вых, где Н. Н. Неплюев читал свои статьи, подготовленные к конгрессу единого человечества, который должен состояться в 1900 году во время Парижской выставки. Н. Н. читал отчасти уже знакомые мне статьи о силе и значении любви. Есть у него немного режущие ухо выражения — «сладкие пирожки жизни», попадаются неверные мысли, вроде понятия «бессистемной благотворительности». Очевидно, он знаком с тою петербургскою благотворительностью, которою скуки ради занимаются дамы-патронессы, в среде которых она является делом развлечения, приятным и легким.

По этому поводу мне невольно вспомнилось недавнее собрание у Ольги Константиновны Н. В прекрасно убранной комнате, уютной и ярко освещенной, сидели за столом нарядные дамы и рассуждали о вечере в пользу бедных курсисток. На некоторых из них сверкали бриллианты, шелестел шелк, — и под шумок веселого разговора, казалось, здесь была такая приятная жизнь, полная благотворительного развлечения, что душа, ум, мысли, чувства — все точно убаюкивалось на

мягких рессорах жизненного экипажа… ехать так удобно, спать можно так приятно! И Н. Н. знаком именно с этой благотворительностью. А между тем — есть такие добрые дела, совершаемые тихо, незаметно, что отрицать их все под флагом «бессистемной благотворительности» невозможно. Об этом дорогой я долго говорила со знакомым профессором.

После чтения статей в короткой беседе с Н. Н. я узнала от него некоторые интересные известия: в Москве образуется кружок друзей мира и любви в среде Московского университета, ректор которого, проф. Некрасов, очень сочувственно отнесся к этому движению. Но зато как же несочувственно отнеслись к нему представители духовенства, и между ними проф. богословия в университете: они никак не могли понять, что возможно единение между верующими и неверующими на почве любви. «Какая любовь? Не надо любви! Надо исполнение долга!» Наконец кружок нашел подходящего священника (присутствие которого на своих собраниях считают необходимым для того, чтобы их не заподозрили в сектантстве), который пошел в священники по призванию.

Еще утром я получила письмо от Марии Петровны с известием, что статья моя о братстве

напечатана в «Русском труде», а вечером, здесь, она встретила меня похвалой статье, уверяя, что редакция осталась очень довольна ею. Н. Н., зайдя ко мне, тоже сказывал, что в «Новостях» была уже приведена искаженная выдержка из нее… Я тотчас бегу в кабинет для чтения в д. Дервиза, отыскиваю «Новости» — да, статья была точно моя, и удивляюсь, отчего же редакция не известила меня?.. Каким путем многие в этот же вечер узнали, что я знакома с этой редакцией, — для меня загадка: я и статью-то послала туда анонимно, за подписью Х***. И странно было мне слышать вопросы: «Ваша это статья?» Мне казалось даже как-то неловко отвечать на этот вопрос.

6 декабря

Вернусь к предыдущему.

Общество у А-вых собралось по большей части женское. В углу гостиной скромно сел один из членов братства, рядом со студентом В.-медицинской академии; должно быть, это был Б., основатель подобного же кружка в Петербурге. (Н. Н. рассказывал мне, что он был на собраниях этого кружка и нашел, что он устроен очень неудачно; мне очень хотелось познакомиться с этим кружком, да как-то не пришлось.) Дамы всех воз-

растов толпились около Н. Н. и взирали на него не то с уважением, не то с умилением. Слышался французский разговор… Признаюсь, мне было немножко смешно… также странным казалось и то, что лакеи разносили чай в промежутке… христианская любовь и… лакеи… Интересно бы знать, сколько часов работали они перед тем, как разносить здесь чай… В зале раздавались слова любви, а снаружи слышались выстрелы: в Галерной Гавани было опять наводнение.

И мне хотелось встать и сказать: «во имя любви — пойдемте туда, в эти подвалы, помогать беднякам». Никто бы не пошел, и я нарочно не разговаривала с Неплюевым, пока он стоял, окруженный дамами…

Эх! Вот что значит принадлежать к известному кругу! Дамы, милые светские дамы, окружили Н. Н. и смотрели на него чуть ли не с благоговением. «Точно на о. Иоанна Кронштадтского», — шепнул мне незаметно подошедший профессор.

8 декабря

СЛОВА И ДЕЛО

Как-то вечером в гостиной
Говорили о прекрасных,

О возвышенных идеях,
О любви, народов братстве;
Говорили много, долго,
Дамы даже прослезились,
И ораторы довольны,
Что сердца так умилились.
«Ах, любовь и братство!
Эти две идеи так прекрасны!..»
В это время вдруг раздался
Выстрел; смысл его был ясный.
И сказала я им: братья!
Ведь в Галерной наводненье!
Поспешим помочь! – в глазах всех
Я прочла лишь – изумленье.

Раз у дамы-патронессы
Собрались на заседанье,
И о средствах для приюта
Шло серьезно совещанье.
Я сказала: можно сразу
Выйти вам из затрудненья:
Вы бы продали брильянты! —
Дамы – в столб от изумленья.

Раз на вечере студентов
Популярный литератор
Влез на стул и эдак громко:
«Господа, я – не оратор,
Речь моя привлечь не может
Внешней прелестью искусства;
В ней одно лишь ясно будет —
Сила искренности чувства…

Молодежь! В порыве сердца,
Здесь, среди своих собратий,
Вспомним русскую деревню,
Вспомните о младшем брате!
Средь полей необозримых,
Белым саваном покрытых,
Чуть виднеются избушки
Наших братьев позабытых…
Да, мы их забыли! Мало
Мы сегодня говорили
О народе, его нуждах, —
Всех вопросов не решили!»
Молодежь рукоплескает,
Стон стоит в огромном зале…

Я подумала немного:
«Братья, – так я им сказала, —
Если вспомнить о народе —
Надо вспомнить о прислуге,
Та же бедность заставляет
Мужичков идти к нам в слуги.
Фабриканты не гуманны,
Мы за то их осуждаем…
А сейчас мы разве меньше
Слуг работать заставляем?
Мы кричим о гуманизме…
Истомленные лакеи
Между тем снуют меж нами
Словно дантовские тени.
Этот вечер – день рабочий,
Сократить его – мы можем,
И своим поступком добрый
Почин делу мы положим».
Тихо в зале… все молчали…
Хоть бы слово одобренья!
Но в глазах вблизи стоявших
Я читала… изумленье.

Мефистофель! ты спокойно
Можешь царствовать над миром;
Все идеи безопасны,
Пока «я» для нас кумиром.

25 декабря

Ну, вот настал «праздник ощущения», по выражению Н. Н. Неплюева, праздник желудка, праздник глаз, ушей — чего угодно, только не духа.

Хозяев и прислуги нет дома, и я спешу наслаждаться минутами полнейшей тишины, когда лучше думается… Наконец-то я выработала в себе силу переносить одиночество; нынешний год иду бодро по дороге, но как и всегда — живу двойственною, а иногда и тройственною жизнью. Последняя является лишь тогда, когда надо приспособляться к людям, вовсе мне чуждым, а двойственная — всегда и везде со мною: одна — на людях, с которыми приходится постоянно жить, а другая — для тех минут, когда остаюсь наедине сама с собою… Это случается редко: то я читаю, то пишу реферат, — словом, стараюсь не думать, ни о чем не думать, а всего менее — об ожидающей меня будущности. Теперь я лучше

отношусь к людям, чем прежде, но что же за голос вечно твердит мне: «все это не то, не то, не то!» Когда я сталкиваюсь с людьми, я жадно в них всматриваюсь… Как Вечный жид, я все иду и иду, ищу и ищу… найду ли? — Нет! Судьба отнимает у меня моих близких, соединяя их с людьми мне не симпатичными: скоро я лишусь и второй сестры — Тани…

Как посмотришь, какое ничтожество мне все приходилось встречать среди мужчин! Ни одного глубоко симпатичного, который бы отвечал на все стороны души… Я не идеал ищу — я сама не идеал, — а просто хотелось бы хоть раз встретиться с родственною мужскою душою, без малейшей мысли о какой-либо чувственной стороне. Вспоминаю Добролюбова. Вспоминаю его письмо об одной девушке, которая ему нравилась и вышла замуж за военного… «А ведь и офицерик-то плюгавенький! Эхма!» — восклицает он. Сколько раз мне приходилось повторять те же слова, обращенные к женщинам, когда я видела, что за ними ухаживают мужчины, неизмеримо выше их стоявшие по умственному развитию. Но я — не Добролюбов и не ищу «любви». Не ее хочу я, а дружбы, потому что знаю теперь, что могу быть другом.

1899 год

14 января

Почему я ушла сейчас от проф. Лаппо-Данилевского? К нему пришли двое молодых людей — очевидно, из оставленных при университете, шел интересный разговор, и однако, когда профессор пригласил всех к чаю, — я ушла, под предлогом того, что все время сидела в жакетке и что мне очень жарко… Ищи предлог, — соответственно тому, кто им пользуется.

Сдала я свою работу профессору еще до Рождества, он ее не успел просмотреть, а тем временем я уже успела прийти в ужас от ее недостатков и была готова взять ее совсем, да он не отдал. Сегодня я сама должна была прочесть ее ему, но судьба сжалилась надо мной: в эту минуту вошли молодые люди, и, конечно, разговор перешел на другие темы. Говорили о многом: о новых книгах, пересматривали новые издания сочинений Тихонравова, Градовского, У-й т. Кареева, Seignobos «Histoire politique de l'Europe contemporaine»[122],

---

[122] Примечания: 122
«Политическая история современной Европы» *(фр.).*

XVII т. «Русской исторической библиотеки», вышедший под редакцией Лаппо-Данилевского, пересматривая книги, делали замечания относительно разных лиц. Я чувствовала себя на первый взгляд как будто и хорошо; в глубине же души шевелилось сознание своего невежества, своего умственного бессилия, своей неспособности.

Я уже приготовилась совсем к суровому и справедливому приговору профессора, жаль только, что не сегодня услышу его… Любовь к науке у меня теперь соединяется с желанием посредством занятий ею отвлечься от бесплодного раздумья над «зачем»; ведь —

…Головы в иероглифных чадрах,

В черных беретах, в чалмах…

Бьетесь над этим вопросом в слезах…[123]

Старая и вечно новая история…

Да, будь проклято то, что воспитало, «вскормило» меня! Каким туманом обвивает это нашу жизнь, какой страшный вред приносит нашему мировоззрению. И теперь что?! Чувствую, что

[123] Примечания: 123

Цитата из стихотворения Г. Гейне «Вопрос» в переводе Н. А. Добролюбова.

если буду задумываться — самоубийство явится таким соблазнительным исходом. И вот, инстинктивная жизненность заставляет отворачиваться от этого выхода, искать других интересов временных, но беспрерывно изменчивых, которые бы заслонили собою могилу. Я говорю себе хладнокровно: «Бояться нечего» — и в то же время ищу декораций, за которыми я ее бы не видела. Я презренно малодушна, жалка, сознаю свое падение и… падаю еще ниже… «Так что же ты, такая, как есть, сможешь сделать по окончании курса? Что сделаешь для общества, для народа?!» И перед этим ужасным вопросом, на который я тоже не нахожу ответа, кроме могилы, — я так же малодушно пасую, всеми способами стараясь извернуться, но честность твердит одно: ничего!

А ведь, небось, если б какая-нибудь из товарок пришла ко мне точь-в-точь с такими же мыслями, я, пожалуй, почувствовала бы к ней презрение… «Слабость!»

20 января

Вчера Гревс читал приветственную речь к слушательницам после Рождественских вакаций. Он говорил о роли профессора и решал еще раз вопрос — должен ли стоять профессор к своим

слушателям или нет? Увы! Как мы малы и ничтожны — сами не можем еще понимать таких простых вещей! *Даже это* нам надо с кафедры объяснять.

24 января

В этот день на курсах Илья Александрович Шляпкин назначил собрание по поводу Пушкинской вечеринки. Когда я пришла — все были уже наверху в зоологическом кабинете, собралось человек 20. И. А. заседал за столом, вооруженный адрес-календарем и листом бумаги. Я записалась в бюро для устройства вечеринки, не рискуя выступать в качестве артистки; ко мне присоединилась В., решив взять на свою долю хлопоты по доставке статуи Пушкина из лицея на курсы. Мы, т. е. бюро, человек 8, усевшись за отдельный стол, живо кончили свое дело, разобрав все вопросы по устройству художественной части вечеринки. Илья Александрович, отдельно от нас, составлял список желающих исполнять сцены и картины. Началась считка. Выходили одна за другой желающие исполнять, читали сцены из «Русалки» (роли мельника, дочери и князя), «Бориса Годунова» (Самозванец и Марина) и «Цыгане» (Земфира, Алеко, Цыган). Во время репетиции смеху и шут-

кам не было конца. Вскоре меня вызвали вниз — приехала Мар. Петр.; я бросилась к ней, повела ее наверх, и так как мне не хотелось уходить, просила М. П. подождать немного. Я была так рада видеть ее у себя… она такая изящная в простом черном платье, с брошкой-значком «Армии спасения». Репетиция продолжалась, и бедный И. Ал. должен был оставаться до пяти часов.

Вечером мы вдвоем должны были ехать на собрание кружка у о. Григория Петрова, который основал студент Б. Мы приехали вовремя, члены только собирались: пришли два студента, два медика, лесник, одна медичка, с Высших курсов учащаяся была я одна, остальные — барышни, человек пять, мужчин же было гораздо больше, из них — о. Соллертинский, трое-четверо взрослых мужчин и, наконец, весьма ожидаемый профессор Вагнер. Всего собралось человек 25. Но странно было: люди, собравшиеся во имя единения, не соединялись, а разъединялись: мужчины входили в кабинет или сидели по углам, женщины собирались около стола с альбомами. Меня невольно поразила богатая обстановка квартиры, такой я не видала не только у своих профессоров, но даже у родных, людей очень состоятельных. Огромный салон мог вместить в себе свободно

30–40 человек. О. Григорий, совсем еще молодой человек, очень любезно встречал всех; обо мне ему говорил член братства — Иван Саввич Н., — и он сейчас же изъявил согласие на мое участие в этом кружке.

Перед началом собрания Б. встал и предложил прочесть статью Меньшикова о дружбе. Собрание согласилось, лесник прочел ее. Она написана лет пять назад об этических обществах за границей, начало которым у нас положил профессор Вагнер несколько лет назад. В статье высказывались очень хорошие мысли о дружбе, единении людей. После прочтения такой статьи, по моему мнению, надо бы тотчас же перейти к обсуждению практического применения этих мыслей к нашим взаимным отношениям в данном случае. Но вышло не то. О. Соллертинский стал уговаривать профессора Вагнера быть председателем кружка, ввиду его заслуг на поприще основания этических кружков. Профессор отказывается. Его уговорили стать председателем хоть на это собрание. Он согласился… и тут началась та странная комедия, которая отняла весь смысл у этого собрания.

Профессор Вагнер начал свою речь с того, что заявил — верующие и неверующие должны раз-

деляться. По его мнению, неверующим быть в обществе с верующими невозможно; а так как он сам верует в Бога, то и не может быть в обществе атеистов. Это звучало чем-то средневековым… Встал Б. и сказал, что он его предупреждал и раньше, что в этом собрании будут люди разных убеждений. Казалось бы, профессору оставалось только извиниться за свою бестактность, но старичок, стоя посреди гостиной, не соглашался. До глубины души возмущенная, я поднялась и сказала ему несколько слов о том, что если мы не можем верить, то это в силу того, что не имеем понятия об истинной вере, а те, кто показывают себя верующими, если у них есть истинная христианская любовь — должны в данном случае ради нее не отказываться от общения с неверующими, если те сходятся с ними в воззрениях на нравственность. Я говорила, и голос мой невольно дрожал от волнения. Но профессор равнодушно-устало смотрел на меня и… опять-таки остался при своем мнении. Поднялся спор, не приведший, однако, ни к чему; из него мы узнали, что профессор был 14 лет атеистом и пришел к вере в Бога через спиритизм. И ему было не стыдно после этого говорить нам, молодежи, прожившим одним десятком более этих 14 лет на свете, что

раз он уверовал, то или нас знать не хочет, или же чтобы мы уверовали тоже. Выходило что-то недостойное… Наконец профессор почувствовал, что надо «удалиться с честью», и обещал привезти на следующий раз программы его этического кружка, наотрез отказавшись от председательства. Наверно, он не отказался вовсе от участия потому, что собирается сделать это в следующий раз. Но раз внесенный диссонанс продолжался и после его ухода. Поднялся спор об убеждениях, спор давний и беспонятный, потому что не было еще примера, чтобы люди обращались к вере после словесного диспута. Я сразу сообразила, что основателю кружка Б. не хватает уменья и общего развития. Это высказалось и в предложенной им программе деятельности кружка: одна часть собрания должна посвящаться выяснению этических вопросов, другая — чтению какого-либо беллетристического произведения. Против последнего многие восстали.

Между тем М. П., сидя в переднем углу гостиной, шептала мне: «Что же, однако, они не говорят о том, что хотели поставить на обсуждение? Ведь в прошлый раз они решили поднять вопрос о том, что такое нравственность, и я приготовилась отвечать…» Ее милое лицо выражало крайнее

утомление. Но собрание затянулось… Пили чай, после чая опять пришли в гостиную, и снова поднялся вопрос о том, что, собственно, надо делать собравшимся, в чем же выразить деятельность кружка. Говорят, что этому вопросу посвящалось шестое собрание. Я почувствовала, что тут все неладно: где вместо дела начинают вести споры о вере — тут действительно близок раскол.

М. П. поднялась и, стараясь примирить собрание, недовольное предложением ввести чтение беллетристических произведений, — сказала, что их можно допустить, если в них затрагиваются нравственные вопросы. Наконец, на очередь выступил вопрос о нравственности. М. П. отвечала на него, конечно, с религиозной точки зрения, и мне, с моим незнакомством с Библией, показалось трудно следить за ее мыслью, тем более что она говорила быстро, а я была очень утомлена всем предшествовавшим. Помню только, что она настаивала на символическом понимании библейского рассказа о грехопадении человека как противлении воле Божией. О. Соллертинский одобрительно качал головою, собрание не спорило, так как все были утомлены, да и молодежь, очевидно, не была расположена спорить, чувствуя невольную симпатию к этой девушке.

По крайней мере, студенты не напали на нее, и я и медичка не возразили тоже.

Было уже $1^1/_2$. Я вышла с совершенно отуманенной головою. Нервы ли мои слабы, или в самом деле собрание носило такой характер, что куда ни придешь, ничего не выходит… Вернее последнее. Я пригласила братчика Ивана Саввича подвезти его, дорогой поговорили немного о собрании верующих, — как оно хорошо идет, о братстве, — и в скором времени он сошел у Летнего сада. Был страшный мороз. «Нравственно ли это, возвращаясь с этического собрания, будить звонками усталых за день от работы людей? Нравственно ли нам во имя нравственности подобное переливание из пустого в порожнее?» И горькая ирония голоса совести мучила меня все время… Еще на собрании я подошла к о. Соллертинскому с этим вопросом, но он равнодушно ответил, что «на то они и прислуга». А у меня на душе все-таки было нехорошо: мне, по обыкновению, было стыдно в глаза смотреть своему швейцару, когда он отпирал мне дверь.

Вопросы «жизни и нравственности» звучали сегодня таким диким диссонансом в стремлении нашем согласить их… Это будет похуже вопроса о вере и неверии, хотя я чувствовала, что на

собрании «отцы» Петров и Соллертинский отнеслись ко мне очень симпатично. С наших курсов никого не было; и я в душе благословляла судьбу, что так случилось: попади сюда особа молоденькая, неопытная, она ушла бы отсюда просто с озлоблением и отчаянием, неудовлетворенная, обманувшаяся в своих ожиданиях…

26 января

Сегодня должна была быть у профессора Лаппо-Данилевского, прочесть ему свой реферат и потом идти на заседание философского общества.

Войдя в его кабинет, я чувствовала себя сначала, по обыкновению, немножко неловко, но потом в своей сфере. Когда я начала читать, мало-помалу забыла обо всем и думала только о том, что изложено, и о недостатках работы. Но, вопреки моему ожиданию, он не выбранил меня, — наоборот, отнесся к работе очень внимательно, сказав, что видно тщательное изучение материала, и указал на недостатки: главным образом план, группировка мыслей, по его мнению, должны быть иными.

Я подумала, что он не хотел сказать своего истинного мнения о реферате просто из вежливости, но при взгляде на его симпатичное, умное,

спокойное лицо — невольно отказывалась от такого подозрения. А впрочем — ведь в том-то и виден ум, чтобы уметь обходиться с людьми, не затрагивая их самолюбия.

Заседание философского общества было очень интересно. Читал Боборыкин доклад о преподавании философии в средних учебных заведениях во Франции. Судя по заглавиям тем, задаваемых при экзамене на аттестат зрелости, докладчик приходил к заключению, что общий умственный уровень юношей Франции выше русского юношества. Для примера он указал на наши семинарии, воспитанники которой, благодаря преподаванию философских предметов, в общем гораздо развитее гимназистов. Доклад был покрыт громкими аплодисментами. Публики было много, студентов значительно меньше, нежели курсисток. Наша братия покрывала почти все скамьи, и я воображаю удовлетворенное гордое самолюбие Введенского, который восседал на председательском месте.

После доклада были прения. Удивительно, до чего — даже в ученых обществах — отклоняются в спорах в сторону мелочей. Так и здесь. Вместо того чтобы обсуждать, каким путем и в каком объеме желательно введение философии в курс

гимназический, — прения пошли, что называется, вкривь. Стали спорить о семинариях, а затем об… английских колледжах сравнительно с французскими. Боборыкин из себя выходил, доказывая, что в английских колледжах студент за 3000 руб. в год научается двум-трем отрывкам классиков и одному из Эвклида; с ним спорил какой-то субъект. Резюме делал Введенский, признав введение философии желательным… в идеале, но пока неуместным, ввиду общей неправильности постановки воспитательного дела в гимназиях, а также ввиду того, что из гимназии по большей части выходят атеисты, и в случае введения преподавания философии — такой результат обязательно припишут ей. Последнее заключение было очень некрасиво: походило на ловкий поклон в сторону, «куда ветер дует»… Но Введенскому, однако, аплодировали не меньше, нежели Боборыкину. Стыдно нашей братии.

28 января

Эта неделя проходит вся так, что не пришлось ни на минуту остаться наедине с собою… легче дышалось, не думалось, да и интересно было…

На курсах назначена генеральная репетиция (в костюмах).

За эти дни была изменена программа, переменились и участницы вечера: решено было поставить 4 сцены из «Русалки», «Бориса Годунова», «Полтавы» и «Евгения Онегина» — объяснение Татьяны с Онегиным. Я и В. с трудом были пропущены наверх, в залу, так как, кроме участвующих и членов бюро, посторонних не впускали. Там уже были все участницы апофеоза, частью одетые, я помогала им. Кого-то не хватало, суетились, бегали, кричали… VI аудитория была в полном беспорядке, — разбросанные направо и налево костюмы, на кафедре что-то вроде туалета; в соседней химической лаборатории — такая же картина…

«Марьи Ивановны нет! Где Марья Ивановна? Дьяконова, оденьте ее платье; да встаньте в апофеоз!» — кричал мне кто-то. — «А говорить мне ничего не надо?» — «Ничего, скорей, скорей, Шляпкин кричит, что она необходима, а ее нет… Ну, ну!!» — И я не успела ничего сообразить, как очутилась в аудитории, наскоро разделась, и кто-то меня одевал, и кто-то стоял возле… Я разделила волосы пробором — получилась старинная прическа, которая так идет ко мне, — и все в один голос воскликнули: «Вот настоящая Марья Ивановна!» «Гринев» подбежал ко мне,

схватил меня за руку и не отпускал. «Он» был такой славный, толстенький, симпатичный. Скоро были готовы «Ангел» и «Муза»; не хватало только статуи Пушкина, которую мы не достали. Для чтения было выбрано стихотворение Полонского о Пушкине: «Пушкин — это возрождение русской музы…» — и потом соответственные лица должны были повторять те строфы, которые относились к некоторым произведениям Пушкина. С этим было много хлопот: чтобы всякий знал свой № и не перепутал… Шляпкин просто все горло раскричал, — говорить было тихо нельзя за расстоянием и движением; он бегал, кричал, задыхался и… делал, в сущности, все, так как помощниц среди нас ему не нашлось, кроме одной, которая распоряжалась всем в уборной.

Наконец все было улажено, и «статистам» можно было уйти — началась репетиция в костюмах, но мы оставались. Все сцены шли хорошо. Конечно, лучше, если бы мужские роли исполнялись соответственно мужчинами же, но, несмотря на это, все же Мельник и Самозванец были интересны, а остальные — Мазепа и Онегин — являлись только как необходимое дополнение к монологам Марии и Татьяны. Последняя по внешности хороша, но как актриса — слишком холодна (и

я могла бы так сыграть), тем не менее исполнительница, кажется, была о себе иного мнения. В общем, я проваландалась на курсах без малого до 11-го часа, и когда пришла домой — в квартире был в полном разгаре пир: хозяин был именинник. Я ушла ночевать к Юлиньке М.

30 января

На другой день я имела глупость проспать лекцию Шляпкина о Пушкине… А утром, когда мы вместе с В. поехали в лицей за статуей поэта, — ее уже выносили; оставалось повернуть обратно и ехать шагом за повозкой. Было очень холодно, мы отчаянно мерзли.

Накануне я написала письмо к инспектору гимназии, где просила отпустить брата по «важному семейному делу», чтобы он мог присутствовать на вечере. Шурка пришел после своих занятий, и я ушла на курсы. В сущности, мне нечего было делать там так рано, надо было только выгладить ситцевое платье «Марии Ивановны». О, что это было за платье! Я никогда в жизни не помню такого ситца! Желтенькое с цветочками, хотя сшито было мило, и с косыночкой, но кринолина я не имела мужества надеть — до того он был грязен… брр!.. Я взяла другую шелковую «бальную»

юбку — тоже грязная, и меня покоробило, но все же не так грязна, как этот ужасный кринолин. В «уборной», вернее, в физическом кабинете была давка: среди приборов на столах стояли принадлежности туалета, а на кафедре в VI аудитории причесывались и гримировались. Явилась и жена профессора Жданова, которая должна была петь письмо Татьяны к Онегину в современном костюме и великолепной прическе. Наши, разумеется, пришли в восторг.

Первый начал читать Булич «О значении Пушкина для русской музыки». Мы потихоньку выбрались на сцену и из-за занавеса слушали. Для меня лично речь не представляла никакого интереса, так как все, что в ней говорилось, было уже давно известно, да и что мог он сказать нового? Произведения Пушкина послужили сюжетом для русской музыки, — «Руслан и Людмила», «Пиковая дама», «Евгений Онегин» и т. п. — это могло быть интересно лишь для большинства слушательниц, вовсе не знакомых с историей музыки. После речи началось чтение стихотворений и пение. Стоя за кулисами, слушать было очень неудобно, приходилось оставаться в уборной; а наш профессор был все время там, бегал, распоряжался, и удивительно — не сердился,

между тем — такая суматоха, такое непослушание, как наше, хоть кого могут рассердить. Но общее настроение было очень симпатично: вопреки нервничанью настоящих актеров пред выходом на сцену, — у нас все было как нельзя более мирно. Мы помогали друг другу одеваться и старались, чтобы у всех все было хорошо; гример был не первоклассный, но те из играющих, которые успели загримироваться, — охотно предлагали свои услуги товарищам.

Уже в 1-м часу ночи начался апофеоз. Шляпкин как-то удивительно быстро расставил всех, спросил № для чтения стихов и еще раз проверил их… «Руслан» был превосходен, равно как и «Дон Жуан», до полной иллюзии; Екатерина и Петр были выбраны очень удачно, начиная с физического сходства; мой «Гринев» также был очень мил. Он опустился передо мною на колени, я взяла его за руку. Ей было смешно, мне тоже. Но помимо воли — лицо мое — благодаря прическе на пробор и локонам — выражало что-то отвлеченное, какую-то кротость, что для «Марьи Ивановны» и нужно было. Наконец занавес поднялся, нас осветили бенгальским огнем… Буря аплодисментов. Шляпкину сделали шумную овацию. Он выходил, кланялся, улыбался и вскоре ушел страшно

усталый, после того как нас сняли при вспышке магния. После нескольких раз занавес опустили окончательно, и мы начали расходиться.

Руслан и Людмила, Гринев и я пошли в костюмах в нижнюю залу, где нас приветствовали шумными восклицаниями, смехом и шутками, угощая чаем, как участвующих, бесплатно… И тут я вновь почувствовала отсутствие близкого человека: глядя на тех, у кого были друзья, которые сидели в тесном кружке, — мне хотелось иметь свой и самой быть в таком же. В эту минуту я переживала то же, что переживает любой артист, попавший в общество, которое считает себя выше его по положению. Им восхищаются, ему аплодируют и симпатизируют, но он знает, что среди этих людей нет у него близкого человека. Так и меня окружали, любуясь общим видом, дружески смеялись, шутили, и я в эту минуту общего дружеского расположения чувствовала симпатию ко всем, но… все-таки я была одна. Когда вся публика разошлась, — мы, участвующие, сняв костюмы, собрались тесным дружеским кружком и начали разговаривать. Нас объединяло общее дело, и мы в эти минуты были все довольны, все хорошо настроены. И странно: мне действительно легче было уйти из «публики» и очутиться среди «арти-

стов» — эти были для меня все же более близки. Мы просидели так около $^1/_2$ часа; инспектриса ждала в отдалении. Пробило три часа, надо было расходиться. Я пошла ночевать к «Князю» — Н-ой, жившей поблизости. На другой день все, что напоминало о вчерашнем вечере в зале, — были не убранные еще подмостки и декорации.

12 февраля

На днях приехала Таня. Пришлось мало заниматься — необходимо было поговорить и развлечь ее. Ее любовь к Д-су вполне можно назвать «больною любовью» — в нравственном смысле слова. И удивительно, до чего это напоминает мне роман сестры, все то же самое: верчение около своего собственного «я», полное отсутствие каких-либо широких идей, упорное игнорирование чужой душевной жизни и сосредоточение внимания около самих себя… больные люди! И опять я стою по воле судеб рядом с ними, с любимой женщиной, и помимо желания — даже очень близко к их роману…

Все, все не ново в этом мире, до смешного одинаковы люди. Когда же я наконец встречу человека, которого любовь была бы благородна, который сказал бы подобно Грановскому: «Я люб-

лю тебя, но я люблю и сестер моих и Россию…» Понятно, я не о себе говорю в данном случае, а о тех близких ко мне женщинах, к которым на моих глазах подходят мужчины, предлагающие им свою «любовь». Да, я теперь довольна своей судьбой. Лучше никогда вовсе не знать этого тумана, нежели ошибиться в своем выборе.

13 февраля

Пишу все эти строки в вагоне железной дороги.

Вчера утром, идя на сходку на курсы, — увидала телеграмму на мое имя и не сразу даже поняла ее смысла: «Елизавету Александровну паралич, положение опасно…» Вот оно, чего я всегда боялась! Моя бабушка, моя родная! И перед моим вступлением в действительную жизнь судьба отнимает у меня самое дорогое!

До такой степени не верилось такому несчастью, что мне пришло в голову подозрение: не нарочно ли тетя послала телеграмму, чтобы я уехала от здешних беспорядков, потому что в университете был скандал во время акта 8 февраля, вызванный нетактичным распоряжением ректора (денежные штрафы со студентов и аресты за нарушение общественного порядка в день

праздника), о котором он не предупредил заранее студентов. На другой же день была сходка и студенты решили сами добиться закрытия университета. У нас же сходка была 11-го, после философии. Решали вопрос: присоединяться ли нам, как учащимся, к товарищам и требовать ли нам тоже закрытия курсов? Большинство было против: студенты были оскорблены главным образом не распоряжением ректора, а поведением полиции 8 февраля, которая позволила себе бить их. В этом им сочувствуют и профессора. Ну а мы-то что представляем в данном случае? Не надо забывать, что университетов в России около десятка, а курсы только одни. А теперь как раз говорят, намереваются открыть такие же курсы в Москве; что, если мы своим неосторожным поступком испортим все это дело, задушим его в самом начале? Таким образом, первая сходка выяснила, что большинство готово выразить моральное сочувствие студентам (чего, собственно, они и добивались, вполне входя в наше положение и отнюдь не требуя закрытия курсов), но против добровольного закрытия курсов.

Я пришла на сходку довольно поздно, и когда Д-го закрывала ее, подошла к ней и просила позволения говорить завтра, когда должен был

окончательно решиться вопрос, примыкать ли нам к общестуденческому движению, именно — какой формой протеста. К сожалению, — вчера я уезжала на родину, времени было мало, и когда я на минутку прошла наверх — VI аудитория была переполнена, так что нечего было и думать не только пробраться к кафедре, но и подойти к аудитории: все скамьи, всё около кафедры было заполнено народом, стояли даже за полузакрытыми дверями. Я вернулась домой. Перед отъездом пришла Юлинька, недовольная настроением большинства, и рассказала очень печальные вещи: сходку вновь вела Д-аш, которая, по всей вероятности из угоды массе, изменив свои умеренные взгляды на радикальные, вела все дело очень плохо, и масса будто бы пришла к решению тоже закрыть курсы.

Ах, до чего это все глупо и дерзки-наивно! Досадно, что я не могла сказать ни слова с кафедры. И как нарочно, вот уже второй раз мои семейные дела отвлекают меня от общего дела. Впрочем, на этот раз эти факты равнять нельзя: первый факт — смерть Ветровой и Казанская демонстрация 4 марта (застали меня в Киеве у постели сестры) — действительно крупное событие. Теперь же — 8 февраля — нам вмешаться и выражать

свое сочувствие можно, но не в такой форме.

Вчера, когда я ехала из гимназии с братом мимо университета, — кругом него и по набережной стояла толпа студентов; перед входом в университет с набережной — отряд полицейских, а у главного подъезда — взвод конных какого-то войска или жандармы — не знаю хорошенько. В этот день университет был закрыт по распоряжению правительства.

Что-то теперь делается у нас? Душа моя разрывается между противоположностями: там, в Петербурге, я оставляю свою вторую, духовную родину — курсы, а в Нерехту еду… что ждет меня там? Сегодня мне уже приснилось, что я не застала бабушку в живых. Но подозрение, что это подстроено ради моего «спасения», не выходит у меня из головы. Впрочем, в газетах известий о волнении нет, и поэтому мать не могла еще ничего узнать. Нет, должно быть, это правда. Но я не могу примириться с этим… Через три часа я буду на родине — что-то узнаю я?..

19 февраля, Публичная библиотека

Третий день, третий день… Прямо с вокзала попала я в разгар истории. — Произошло что-то непонятное, тот гипноз толпы, вследствие кото-

рого все, потеряв голову, идут… куда и сами не знают. Два дня назад, когда было самое острое столкновение между двумя партиями, — казалось, целый ад был у меня в груди: нет, я не пойду за ними! никогда! Мне дорого существование В. ж. к., я не желаю рисковать судьбою единственного в настоящее время женского университета в России, а они, — чего хотят они?! — Закрытия курсов?! — Ради того, чтобы этим примкнуть к студентам! — Да ведь университета не закрыть, а курсы с радостью закроют, у них так много врагов. И вот мы, небольшая партия человек в 50, дружно отстаивали дорогое нам учреждение, стояли за идею против сотенной толпы, под градом насмешек, свиста и шума обструкции. И среди этой-то массы были все, кто мне более или менее близок, все мои знакомые. Ах, как больно было сознавать всю бездну их недомыслия, с каким отчаянием сжималось сердце при мысли, что из-за этой толпы может погибнуть наше учреждение, а если и уцелеет — то не откроются другие, подобные…

Я пишу и волнуюсь… Нужно быть спокойным и беспристрастным во всем. У меня холодный анализ всегда является вслед за вспышкою увлечения. Обдумаем же теперь все происшедшее вполне хладнокровно…

20 февраля, утром

Курсы, как и все высшие учебные заведения, закрыты. Когда я пришла туда — меня поразила необыкновенная тишина, лишь небольшая толпа курсисток бродила по коридору…

Теперь смутно на душе, и точно какой-то камень лежит на сердце…

Курсы закрыты; в каком же положении наша маленькая партия? Морально мы все на стороне студентов, только не сочувствуем форме, избранной для выражения протеста… Ну и что же вышло? Дело только что началось, а впереди уже полная неизвестность.

Вчера я была у Е. Н. Щ-ной, и она встретила меня словами: «А мы, старые курсистки, собрались ехать к вам, чтобы сказать — прекрасно делаете!» Мне больно было ответить ей, что я принадлежу к меньшинству. — «Напрасно, — сказала она. — Мы переживаем в данную минуту исторический момент. Теперь доказывается полная непригодность многого, что мешает свободно работать… Администрация растерялась, министры не согласны в мнениях… Курсы параллельны университету, и вам иначе поступить нельзя».

Все то раздвоение, и без того мучительное, ко-

торое я переживала в эти дни, поднялось с новою силою. Я почти не слушала Е. Н. и хотела в эту минуту только одного: остаться наедине с собою, с своею совестью. Но, к сожалению, нельзя было. Пришлось рассказать Е. Н. обо всем, что у нас делалось. С свойственной ей резкостью и лаконичностью она тотчас же выразила свое мнение о положении нашей партии. Она до того не понимает души человеческой, что всегда выражает свое мнение, не думая, что иногда это излишне. Так и теперь: мне пришлось выслушать, что мы в невыгодном положении, что самое лучшее — единение и т. п. Как будто я и без нее этого не знаю! Я возразила ей, ради чего мы стоим против большинства. «Если вы опасаетесь, что будет затруднено открытие курсов в провинции, я вам скажу на это, что подобное опасение не выдерживает критики. Курсы и без того в провинции не скоро откроются». Потом она рассказывала мне, как благоприятно относятся к нам в обществе, профессора, передала всякие сочувственные отзывы, циркулирующие в столице…

Я поспешила уйти. И всю длинную дорогу от Щ-ной думала о положении нашей партии. На душе было страшно тяжело. Вспоминая читаный бюллетень о событиях и обдумывая вновь все

происшедшее, я начала колебаться. Выходило так: сочувствуя морально студентам и не примыкая к общему движению из осторожности, из боязни повредить делу высшего женского образования, — мы как бы останавливаемся на компромиссе, и положение становилось тем более тяжелым нравственно, чем сильнее была та партия. Рассматривая же свою осторожность с точки зрения вредных последствий для наших, собственно, курсов, я приходила к заключению, что опасаться не имеем основания, так как ничего политического в нашем движении нет, и все сочувствие общества будет на нашей стороне, — да и курсы теперь настолько развились, что закрытие их в данный момент представляется маловероятным. С другой точки зрения — препятствий для открытия курсов в провинции, — самая возможность открытия таких курсов пока еще маловероятна. А следовательно, выходило, что наша осторожность из-за проблематического пункта являлась уже излишней и ставила нашу небольшую группу положительно в ложное положение перед нашими же товарищами.

Выходом является одно: присоединение к большинству. Я почувствовала, как большая тяжесть отлегла от сердца при таком решении.

21 февраля

С такими мыслями легла я спать, с такими же и проснулась, читая в Zeitung'e[124] повеление Государя Банковскому произвести «всестороннее расследование» причин и обстоятельств беспорядков, начавшихся 8 февраля, и также указание, что принятие мер к восстановлению порядка возлагается на начальство этих учебных заведений. Об этом я слышала еще вчера в студенческой столовой.

Там оживление необыкновенное: более 1000 человек посещают ее теперь ежедневно. Университет закрыт с 9 февраля, а официально — с 11-го (кажется), и поэтому столовая является центральным пунктом стечения учащихся. Статьи и бюллетени событий ходят по рукам и читаются нарасхват. Как жалею я, что нельзя собирать их день за днем, чтобы таким образом составить историю движения. Неловко брать с собой и уносить листок, когда видишь, что он переходит из рук в руки.

Обрисовывался переход дела в другую, самую важную фазу. Теперь студенчеству надо очень на-

---

[124] Примечания: 124
В газете *(нем.)*.

стойчиво держаться за свои требования. Сегодня я читала на литографированных листках статьи по поводу распоряжения и увещание держаться крепче, продолжать забастовку. Число забастовавших всех учебных заведений простирается до 20 с лишком тысяч: все петербургские высшие учебные заведения, все существующие женские курсы (за исключением медичек: там, говорят, 32 человека ходят на лекции); движение в Москве, Киеве, Харькове, Риге. Нет известий из Казани, Дерпта, Одессы да еще из далекого Томска, но, без сомнения, придут.

Да! Жизнь кипит ключом в небольшом розовом доме на 10-й линии. Сквозь легкий туман дыма в первой комнате, около буфета, видны группы студентов за столом с пивом, чаем и обедом. В двух-трех местах кучки тесно сбились и слушают оратора. В других трех комнатах тоже очень тесно. Никто и не думает обращать внимание на объявления, гласящие, что воспрещается студентам других учебных заведений посещать столовую, и для удобства обедающих просят уступать места вновь прибывающим. Сквозь толпу с трудом пробираются мальчики с посудой. Путейцы, горняки, лесники, курсистки — все сидят, говорят, забыв об обеде и читая бюллетени

и листки. Вот идет студент, раздавая узенькие литографированные листочки со стихами; они недурны, и я беру их на память…

Сличевский, конечно, тут же. Толчется и спорит со мною, зачем я беру стихи. Я давно уже отобедала, но, пока не прочла всех бюллетеней, не ушла, конечно.

Четвертый час. Народу прибывает все больше и больше. Приходят не за обедом, — наоборот: у окошечка кухни в эти дни всегда свободно, и по комнатам не тянется длинная шеренга ожидающих. В прихожей с трудом можно повернуться; пальто и наши жакетки складываются в груду на пол, за неимением места. С трудом отыскиваю свою и ухожу.

Ухожу сюда, чтобы думать… думать, как поступить. Совесть подсказывает мне, что завтра я должна заявить и нашей и той партиям, что перехожу на сторону большинства, и изложить при этом мотивировку своего поступка; затем идти к Временному правлению, которое завтра, конечно, будет продолжать опрос, и заявить ему, что стою за закрытие курсов, и, наконец, — подписаться под круговою порукой. Чтение сегодняшних известий еще более укрепило меня в этом намерении. Я раскаиваюсь, что сразу

примкнула к той партии, основываясь на старом решении большинства, и, только исполнив свое решение, чувствую, что буду теперь нравственно спокойна. За эти пять дней история ушла вперед, а я, сбитая с толку противоречивыми показаниями партий, взаимно обвинявших друг друга в нечестности, не могла, разумеется, доверять ни той ни другой. Вот и действовала сама, на свой страх, пока не стала раздумывать над бюллетенями и действиями администрации.

Да, много значит морально сочувствовать делу! Мне легче признаться перед всеми в своих ошибках, нежели жить такою разделенною духовною жизнью, как теперь живу. Если бы я не сходилась с товарищами в принципе — это дело другое: тогда мне было бы в тысячу раз легче; а теперь, в сущности, вышло вроде компромисса…

Когда, обдумав все происшедшее, оглядываешься на картину всех действий за эти дни, то получается действительно нечто грандиозное, захватывающее; борьба за общечеловеческие, элементарные права заполняет собою все, и как-то само собою исчезает опасение и за судьбу курсов, и за вред для распространения женского образования в провинции. И понятным становится то, что я раньше резко называла «массовым

гипнозом». Положим, наверное, есть и такие, и даже много, которые пошли бессознательно; но 20 тысяч трудно увлечь таким путем, тем более что движение совершается в разных городах, и на этот раз оно вполне справедливо. Недаром и администрация растерялась, и министры разделились на две партии… Все исчезает в общем огромном потоке…

Да… итак, завтра!

23 февраля

И я пошла на другой же день.

А вечером в воскресенье было собрание этического кружка. Читал Меньшиков из соч. Эмерсона главу «О доверии к себе». Написана недурно; жаль только, что Меньшиков так пользуется мыслями Эмерсона, размазывая их в своих статьях. Профессора Вагнера не было, и без него дело сразу пошло гораздо лучше; прения шли очень оживленно… но мне было не до них, в сущности. Весь день просидела я безвыходно, подавленная сознанием сделанной ошибки и записывая о событиях. К концу собрания, когда председатель поднял вопрос об учащейся молодежи, я оживилась и была рада узнать от земляка — медика К-ва, — что профессора Бекетов и Фаминцын

имели в субботу у Государя аудиенцию, что тот отнесся к ним очень внимательно и что всякий желающий может приходить к ним ежедневно узнавать обо всем, так как Ванновский будто бы призвал их в члены комиссии.

На другой день пошла к Н. Н. Бекетову. Милый старичок вышел ко мне и спросил: «Когда вы начнете лекции?» — «Неизвестно», — сказала я. — «Хм… неизвестно, неизвестно…» — заворчал он таким добродушным тоном, что мне захотелось прямо броситься на шею этому старичку и расцеловать его… Ветровская история и его участие в ней вспомнились мне, и какое-то хорошее чувство наполняло душу, пока он ходил по комнате и добродушно повторял: «Ну, и будет с вас… успокойтесь. Я и Фаминцын были у Государя, и он отнесся к нам очень хорошо… Да почему это до сих пор от вас ко мне никто не приходил?» Я отвечала, что, должно быть, не знали. Видя, что ничего больше не добьешься, я стояла молча, до тех пор пока он не подал мне руки, сказав: «Ну, до свиданья, успокойтесь».

Пошла к Фаминцыну. Тот принял меня очень внимательно, рассказал о настроении общества, которое все было на нашей стороне, о милостивом приеме Государя и умолял не портить дела,

начав посещение лекций, и с доверием относиться к комиссии. В состав ее Ванновский призвал двух юрисконсультов Министерства внутренних дел (одного из них военного) и двух академиков, расположенных к молодежи. «Имейте доверие к нам, предоставьте опять нам образ действий, верьте, что мы отстоим ваши интересы», — говорил он. На мое опасение о высланных товарищах он отвечал уверением, что их вернут, если мы не будем волноваться. Мне начинало становиться ясным, что у комиссии много врагов и ее назначение не всем желательно, если Фаминцын так горячо убеждал нас не портить ему дела.

Прежде чем идти на курсы в канцелярию, я забежала к Юленьке М. и Соне П., обняла их и заявила, что присоединяюсь к ним. Они были тронуты, и мне на душе стало легче. Я почти бежала на курсы…

Временное правление заседало в профессорской. Пришлось ждать очереди. Опрос, надоевший комиссии, тянулся уже четвертый день… Через несколько минут я «предстала» пред очами правления — и изложила им те мотивы, по которым я перешла на сторону большинства, ссылаясь главным образом на незнание мною обстоятельств дела, и просила причислить ме-

ня к большинству. Лишь только я употребила ненавистное им слово «большинство», — Сонин желчным тоном заявил, что он не принимает этих моих слов и что меня они запишут отсутствовавшей из Петербурга от 12–17 февраля (т. е. как раз когда происходили все главные события, вызвавшие прекращение лекций). Я возмутилась. «Так вы причисляете меня к отсутствующим из Петербурга, когда я перехожу на сторону большинства, а когда я была в меньшинстве, то вы меня об этом не спрашивали?!» Платонов взял бумагу: «Вопрос был предложен вам в такой форме: подавали ли вы голос „за“ или „против“ чтения лекций? А так как вас в этот день не было в Петербурге, то тем самым вы не можете примыкать к протестующим». — «Но в таком случае я не могу быть и „за“ них, а между тем вы меня тогда записали так. И вопрос мне предложили в краткой форме: „за или против прекращения лекций?“ Я поняла это как вопрос о мнении». Платонов оскорбленным тоном сказал: «Иначе говоря, вы нас обвиняете, что мы предложили вам вопрос в иной форме?» — «Да, я хорошо помню». — «Г-жа Дьяконова может подать письменное заявление», — примирительно сказал директор. Я поклонилась и вышла.

На душе стало совсем легко. Мой переход на сторону большинства был, так сказать, законно утвержден (прошение для участия в круговой поруке я подала, еще идя в профессорскую). Рассказывая обо всем столпившимся кругом меня товарищам, я чувствовала, что чем более обвиняла себя в ошибке, тем легче было на душе… Сегодня я подала формальное заявление. На «опрос», придуманный Временным правлением, с каждым днем является все менее и менее слушательниц.

Вечером, в тревожном опасении за высланных товарищей, втроем мы ходили к Фаминцыну. Но он ничего не мог сам сказать нового, кроме того, что в Институте инженеров путей сообщения начались волнения. Кстати, тут же был и инспектор его интерната, высокий пожилой господин. Он рассказал нам, как узнал вчера вечером, что собирается совет у министра внутренних дел, и побежал сейчас же в полночь по интернату, уговаривая начать занятия. «Иначе — нам плохо». — «То есть как это?» — недоумевая, спросила я. — «Комиссию уничтожили бы. Ее назначение не всем желательно, и совет был собран прямо с целью показать, что движение молодежи имеет характер политический, и, если

бы лекции не начались, — неизвестно, что вышло бы». Он говорил горячо и убедительно. И еще с большей убедительностью на ум приходило соображение, что на наших головах, кому это нужно, — делают карьеру, что нашим движением там, наверху, — разные силы пользуются с разными намерениями… Ну, заварилась каша!.. Нас успокаивали, просили тоже начать лекции…

24 февраля

Юленька уговорила меня пойти на выставку картин Васнецова. Надо было отдохнуть душой после всего испытанного. И правда, выставка производит прекрасное впечатление. Такую отраду я только второй раз выношу с выставок за этот учебный год: впервые это было на Рождестве, на посмертной выставке картин Шишкина, Ендогурова и Ярошенка, второй раз — теперь.

«Гвоздь выставки» — без сомнения, картина «Выезд богатырей Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича». С радостью прочла я внизу билетик с надписью: «приобретена в собственность Художественной галереи бр. Третьяковых». Это одно из самых талантливых произведений русской живописи. Какая мощь и какое спокойствие разлиты в этих трех фигурах,

которые являются символами, чисто русскими символами! Богатыри сидят на своих косматых крепких лошадях, таких же простых, как и вся их одежда и вооружение, сидят в спокойных позах, без заносчивости и хвастливой храбрости; на лицах нет и следа гордости; они смотрят добрыми глазами, — они так величаво-спокойны, так симпатичны в своей простоте и… так сильны. Это сочетание — спокойного сознания собственной мощи и доброты — удивительно удалось художнику, и оттого его «Богатыри» привлекательны для сердца каждого человека, много говоря своим немым языком. Нет, — надо действительно родиться русским, чтобы создать истинно национальное произведение. В произведении Васнецова эти создания русского эпоса настолько симпатичны, что невольно и у иностранцев могут возбудить любовь и симпатию к великому, многострадальному народу…

Другая картина: «Витязь на распутье» — поражает сразу силою, с какою выражено в ней настроение. Тяжелое раздумье во всей картине — и в понуром коне, и в позе витязя, задумчиво читающего надпись. Грустью и чем-то жутким веет и от этого старого, покосившегося набок камня с надписью, и от всего пейзажа при свете

потухающего солнца, и от этих черных птиц кругом, и от черепа. Васнецов мастерски передает настроение. Небольшая картинка «Затишье» вблизи кажется просто подмалевком, а издали поражает художественностью, необыкновенной прелестью и опять-таки настроением. Озеро с вдающимся в него мысом с деревьями, около которых в задумчивой позе женская фигура… Тишина в воздухе, в воде, в лесу, по берегам, все точно заснуло, птицы тихо плывут по воде… Женщина поддалась этому захватывающему настроению природы и замерла сама… «Ах, как хорошо, как хорошо!» — твердила я и готова была плакать при виде столь живо схваченного чудного уголка природы, и ее могущественная сила, казалось, начинала действовать и на меня…

Справа и слева — две большие картины: «Сирин и Алконост» — птицы радости и печали — и «Гамаюн» — птица вещая; последняя оставляет более сильное впечатление, хотя все три прекрасно задуманы. На алом фоне, цвета зарева пожара, на фантастической ветке такого же дерева сидит птица с бледным, узким лицом девушки; бескровные тонкие губы крепко сжаты, серые глаза с затаенным ужасом смотрят вдаль, белокурые волосы почти закрывают низкий лоб

и причудливыми прядями ореолом окружают голову, их сдерживает фантастический обруч с отростками… Птица смотрит вдаль и как будто видит, что делается там, впереди веков…

Другая картина: заливаясь, поет Сирин, прекрасная женская головка в древнерусском венце; рядом с нею на ветке, склонив под черное крыло иссиня-бледное лицо, по которому катятся крупные слезы, поет Алконост. Мне при этом почему-то вспомнилась детская песенка кукушки, которую мать иногда играла нам на рояле. Каждый куплет заканчивался грустным припевом: ку-ку, ку-ку, ку-ку! — который до того действовал на меня, что я всегда плакала от жалости к бедной кукушке… Мне почему-то показалось, что этот Алконост если б пел, то запел бы непременно таким же жалобным, хватающим за душу напевом.

Далее — три женские портрета семьи Мамонтовых, сына художника, прелестная маленькая картинка «Гусляры», «Пир каменного века» и картина «Скифы», с преобладанием рыжих тонов; масса чудных рисунков к «Снегурочке», «Песне о купце Калашникове» — вот почти вся выставка. Немного, но зато всякая вещь — в своем роде перл. Ах, если б у нас поменьше рисовали вздора, — побольше бы было таких художников,

как Васнецов! Все вещи распроданы. Государь, говорят, заказал повторение «Гусляров».

Так отрадно начавшийся день закончился печальным эпизодом. Я пошла вечером в интернат в гости; в 10-м часу вечера разнеслась весть о новом объявлении, вывешенном Временным правлением. Мы бросились на курсы. Внизу у лестницы висел список «уволенных по прошению, за беспорядки, произведенные в здании курсов» 21 слушательницы, из них более всех — с IV курса, менее (3) со II. Наше Временное правление, закрыв курсы, очевидно, намеревается начать чтение лекций с 1 марта. И вот, вместо «успокоения умов» — вдруг бросает подобное объявление нервной толпе. Они точно не понимают, что играют с огнем… О. К., случайно бывшая тут же (было заседание строительной комиссии), говорила нам, что эта мера является, так сказать, необходимой ввиду требования министерства. Но ведь очень странно ограничиваться лишь тремя жертвами с курса. Другие были «виновны» не меньше их.

25 февраля

Да, как думаешь, положение запутывается, настроение тревожное всюду. Горный, Электротех-

нический, путейцы, гражданские, рождественки, Военно-медицинская академия — прекратили забастовку, и вчерашний бюллетень извещал, что, по решению большинства, забастовка прекращается. Но в университете, у нас и в Академии художеств сходок не было, а потому и жгучий вопрос — начать ли с 1 марта посещение лекций — не мог быть решен; сходка назначена завтра.

Да, завтра будет бурная сходка! На вывешенное объявление смотрят просто как на попытку министерства, которое, желая выпутаться из невозможного положения, делает все усилия, чтобы выказать свою распорядительность, и… может быть, желает даже поддержать такой политикой раздражение молодежи, чтобы потом иметь возможность указать на политический характер движения и тем самым повредить комиссии, назначение которой ему не может быть приятно… Вокруг нас — масса разных слухов, и верить им, конечно, трудно.

Но что будет, если раздраженное большинство решит и после 1 марта не ходить на лекции и продолжать беспорядки, — решить не берусь. Здравый смысл подсказывает, что в таком случае будут приняты крупные меры. Нам дали одержать победу, нам уступили, закрыли курсы, но…

на время, конечно. А дальше — нельзя… Да это и логично, потому что никакое начальство не позволит молодежи дольше определенного времени быть хозяевами положения. И нам надо понять это и тактично вести дело дальше, начать ходить на лекции, а потом — выждав время, поставить вопрос о возвращении товарищей.

Что будет завтра?!

26 февраля

В 11 часов утра в главном интернате была эта сходка… Шум, крик. М-ва — плохая председательница… даже колокольчика не было путного. Говорили об исключенных и о применении круговой поруки. Возникал вопрос: не ухудшим ли мы судьбу своих товарищей, если все 560 человек выйдем? Говорили и исключенные: Д-аш, которая не советовала тотчас же применять эту поруку, другая же страшно горячилась и предлагала применить ее тотчас же. В конце концов сходка признала себя некомпетентной в решении вопроса о круговой поруке, так как многих не было. Решено: с 1 марта открыть лекции, т. е. не устраивать обструкции, но самим (т. е. всем участвующим в круговой поруке) не ходить, пока не выяснится положение дел, т. е. когда будут

возвращены наши товарищи.

В столовой масса новых известий. «Группа 147» и бюллетень студенческой кассы в общем — солидарны. То же чувство опасения за пострадавших товарищей, то же сомнение в правительственной комиссии, те же колебания: не продолжать ли забастовку?

В Москве деятельно высылают…

28 февраля

Вечером назначена была сходка групповая. В 6 часов я зашла к Фаминцыну, который уполномочил меня сообщить всем, что вчера, в 9 часов вечера, был Совет министров, на котором решено было вернуть всех пострадавших курсисток, Фаминцын же сам на днях (дня точно не помню) вручил дежурному флигель-адъютанту Борису Владимировичу для передачи Государю ходатайство о высланных студентах. Великий князь долго говорил с ним.

Вчера появилась в «Праве» статья А. Арсеньева, которая вполне сочувственна студенческому движению, в ответ на мерзкое «Маленькое письмо» Суворина в № 8257. В этот день ее очень трудно было достать, но сегодня догадливый газетчик с угла Среднего проспекта и 10-й линии встал

у дверей студенческой столовой с №№ «Права» и пребойко торговал, продавая вместо 20 по 30 коп. за номер.

Бюллетени все тревожны и указывают на завтрашний день как на решительный для всего движения. В списке высланных и исключенных учащихся — число громадно, свыше 100 человек из Петербургского университета, с курсов 24, из Технологического 92. В Харьковском висит глупейшее объявление, что все студенты считаются исключенными.

1 марта

Первого курсы официально открыты. А мы все спешим на сходку: началось в 11, кончилось в 3. Гвалт, шум… Председательница М-нова тоже не взяла колокольчика; порядок водворяется стучанием кулаков по столу и криками: «Тише!»

Сходку открыли в IV аудитории речью о круговой поруке. Говорила одна из исключенных, Д-н, как ее должно понимать: все исключенные понимают ее не как средство спасения товарищей, не как угрозу начальству: «если вы их не вернете, и мы уйдем», а как нравственное обязательство, заявление общей солидарности. Если наших товарищей исключили, то и мы виноваты

ровно столько же, сколько и они; их исключили — и мы уходим. После речи ее говорили и другие; некоторые возражали, понимая круговую поруку как средство для спасения товарищей. Вопрос был поставлен на баллотировку, и большинство поднятием рук заявило, что понимает ее как нравственное обязательство. Теперь возник вопрос: когда ее применить?

Так как письменных коллективных заявлений не принимают, то решено было пойти к директору уцелевшим депутаткам и заявить о решении сходки устно; а так как не от директора, конечно, зависело исключение, то решено было дать срок три дня, чтобы он мог узнать, от кого можно, могут ли быть возвращены наши товарищи или нет. Если он или Временное правление откажется входить с нами в какие бы то ни было разговоры, то все-таки решено ждать три дня. Вопрос о сроке уже поставили на баллотировку, как пришли от Фаминцына, заявив то же, что говорила и я, но чему, конечно, большинство, изверившееся в разные слухи, не поверило. Когда же с кафедры сказали: «сейчас пришли от Фаминцына», «всех вернут непременно» — толпа поверила. Фаминцын просил только подождать пять дней или неделю, не приводить в исполнение круго-

вой поруки. Очевидно, милый старичок хотел уладить все дело мирным путем. Против недели восстали все. Баллотировкой все-таки порешили ждать пять дней. Затем, выработав форму устного заявления директору о решении большинства, сходка закрывается на час, чтобы дать время переговорить с директором и написать прошение для круговой поруки тем, кто еще желает к ней примкнуть. На кафедру подается несколько бумаг. Сходка закрывается.

В перерыв вдруг разнесся слух, что вывешено объявление о строгом выговоре и исключении, в случае повторения беспорядков, двумстам слушательницам. Все бросились вниз. Лестница была запружена народом, так что нельзя было пройти, и только издали мы слышали голос, отчетливо читавший фамилии. Это было следствием обещания 24 февраля — «о других взысканиях будет объявлено особо…». Так «действовало» Временное правление… На этот раз все только смеялись. Смеялся и проф. К., пришедший читать лекцию, но вместо нее — беседовавший «по душе» с теми немногими, которые были в меньшинстве. Ему, очевидно, неловко было идти против нас, и он, исполнив официально обязанность, не читал второго часа.

Через час — все вновь в аудитории. Директор отказался входить в объяснения. Решено, что и Временное правление, действуя во всем солидарно, ответит то же. Значит — ждать до субботы и собираться завтра еще раз в 12 часов.

2 марта

Собрались в 12 часов. Решение было подтверждено еще раз, и только, чтобы иметь возможность привести в известность число собравшихся, решено было у дверей записывать фамилии при выходе и потом известить тех из противной партии, которые не были на сходке, о решении ее — все пять дней не ходить на сходки, уравнивая этим свое положение с исключенными — чтобы к субботе все знали; в этот же день — захватить паспорты с курсов и книги из библиотеки. Сходка продолжалась не более часа и закрылась.

Вчера вечером, когда я лежала совсем разбитая от 4-часового гвалта, пришел Ан. Кон. Он рассказал, что сейчас в университете идет совет… и вообще рассказал преинтересные вещи. Записываю с его слов, — если он врет, и я вру…

В сентябре истекает срок усиленной охране Петербурга, наложенной с 1 марта 1881 года и поглощающей громадные суммы. Так, например,

в личное распоряжение петербургского градоначальника поступает около двух миллионов, не считая прочих сумм… Муравьев просит у Витте денег на прибавку к жалованью чиновникам Министерства юстиции; ему обещали не ранее 1900 года. Очевидно, рассчитывают на деньги «усиленной охраны». Теперь Витте и старается изо всех сил доказать, что в этом движении нет ничего политического, дабы уничтожить охрану в сентябре, как не имеющую никакого смысла. А те, кому она нужна, разумеется, стараются доказать противное. Вообще, Витте делает карьеру…

Очевидно, к этой студенческой истории припуталось столько всяких соображений, столько честолюбий, что мы, чистые идеалисты, выносим на своих плечах, быть может, гораздо более важные последствия, нежели думаем и теперь. «Охрана прав личности» — вот наше знамя, под которым мы встали, а… что из этого выйдет? какие последствия?.. Будут ли, действительно, осторожнее с студентами? Будет ли, в сущности, «охрана прав личности» после этой истории лучше?

«Не нам судить!» — скажу осторожно. Но как человек, привыкший к историческому рассмотрению движений человечества, скажу: если мы

даже и не достигнем сразу всего, чего хотели, — ничего! Сразу ничего не делается, но необходима борьба! Она необходима в силу наших условий. И вот отчего вся эта история кажется многим грозою, освежающей воздух!

Студенческие истории, говорят, бесплодны: кончаются ничем! Нет, они служат показателями ненормального положения учащейся молодежи, неустанно напоминают о работе юной мысли… и вот отчего лучшая часть студенчества обыкновенно попадает в них…

Да, я рада, что в мое окончание курсов случилась такая история! Мне даже хотелось бы уйти, хотелось бы, чтобы круговая порука была приведена в исполнение. Надо бы устроить эту внушительную демонстрацию товарищества! Ах, скорее бы все кончилось! Да, мне просто хочется как можно, как можно скорее конца. Только ради слов Фаминцына согласились мы ждать 5 дней, — больше не надо, мы и так измучились. Скорей бы!

Если 24 поступят, то и мы все, конечно, вернемся осенью, в противном случае я уже придумала: ехать или к голодающим, если удастся пристроиться, или на летний семестр в Берлинский университет. Что будет потом со мною, я не

думаю… Но для других это — беда; для многих, особенно для «сверхкомплектных», обязанных держать все экзамены весной, — выход из курсов есть прямое препятствие к поступлению вновь; многие другие не имеют средств. Для сверхкомплектных надо обратиться к профессорам, пусть они ходатайствуют за них, чтобы дать экзамены осенью.

Да, вот оно, мое предчувствие, оно сбылось вполне! На 4-й год, весною… как в последний год моего житья дома было, так и теперь… Весна, весна! Каждый год, наравне с пробуждением природы, ты приносишь мне тяжелое горе… На этот раз ты принесла мне весеннюю грозу, а с нею вместе и я как бы обновилась духом. Великая школа — борьба! Должно быть, без нее я просто никогда бы не узнала, в чем состоит жизнь; пока ее нет — я сплю; борьба же дает мне такую силу, такое мужество, я чувствую себя душевно — хорошо, хотя по наружности изменилась так, что многие удивляются…

Ах! в тот момент, когда 568 прошений будут торжественно внесены в канцелярию, я вздохну так радостно и свободно, как давно не дышала… Сочувствие всего общества за нами, мы уйдем и вернемся или с товарищами вместе, или вовсе

не вернемся!

3 марта

На курсах сходок нет, бюллетени прекратились. Университет решено открыть временно, до 12 марта, выжидая возвращения высланных товарищей.

Была в библиотеке. Собрались: К-нская, Ек. Б-нова, Э. И. М-ова. Увидав меня, О. Ю. воскликнула: «И вы с ними!» Она волновалась. — «Что хотите вы делать? 500 человек уходят… Да ведь это — стачка!» Настроение всех собравшихся было тревожное. — «Что Раев — хлопочет?» — «Да, конечно, ему обещают…» (Дело шло, очевидно, о 24-х.) — «А знаете ли, в воскресенье министр (Боголепов, конечно) призывал Раева, держал его от 2 до 5 часов, и Раев говорит, что он только потому не подал в отставку, что считает это в данный момент трусостью». — «Ну вот и дождетесь, что Николай Павлович уйдет и вам посадят какого-нибудь…» — воскликнула О. Ю. — «С ними нельзя теперь говорить!» — махнула рукой Б-нова и ушла в соседнюю комнату, так как в дверях библиотеки показалась баронесса И.

Я с трудом сдерживала улыбку. Гордое сознание силы, сознание всей внушительности мани-

фестации вызывало эту улыбку. Этого боялись и, высказывая так ясно свои опасения, только увеличивали в нас сознание этой силы. Мы теряли, уйдя с курсов, но выиграем нравственно… Вечером пошла к Фаминцыну и, хотя говорить пришлось недолго, все же узнала очень важную вещь: будто бы министр увольнял слушательниц временно, а нам этого не сообщали.

…Один из профессоров не читал своей обычной лекции, а вместо этого зло издевался над нами, 30–40 лицами, которые сидели на лекциях. Он начал свою речь ироническим замечанием, смысл которого поняли только двое, демонстративно вышедшие из аудитории. Он продолжал в том же духе; говорил о том, как они могут слушать лекции, когда их товарищи не ходят на них, предложил им ходатайствовать перед Временным правлением за уволенных и, наконец, сказал, что это движение — беспримерное в летописях университета, в русской истории. «И во всемирной!» — сказала И., желая, очевидно, сыронизировать. Профессор возразил, что подобное было уже в Сорбонне. Так он беседовал около часу. И когда кончил, то нашлась одна дура, которая спросила: «А второй час вы будете читать?» Вот истинно христианский поступок:

ударили по ланите — я подставила и другую. Какой позор! А профессор вышел в залу и очутился среди большинства, которое расходилось после короткой сходки. Видимо, сочувствуя нам, он рад был поговорить…

4 марта

На курсах по-прежнему очень мало посещают лекции. Разнесся слух, что директор поручил передать С-вой и К-вской, чтобы они подавали прошения; первая — одна из самых сомнительных, и этим нам как бы показывают, что остальные подавно будут приняты. Но когда? — вот вопрос.

Однако этот аванс произвел должное впечатление, и многие начали отказываться от решения сходки 1 марта. Дело запутывается. «Умеренные» из 500 раздумывают, стоит ли им подавать прошения, если уже начато как бы неофициальное возвращение товарищей? А нахождение на лекции все же решено продолжать, пока не вернут всех… Но с 15-го начинаются экзамены…

5 марта

И сегодня — те же толки.

Действительно, если верить, что эти две будут

приняты, верить этому авансу, — приводить в исполнение круговую поруку нет основания по известной для всех причине: остальные будут возвращены. Но, с другой стороны, это неопределенное положение, томительно длящееся вот уже сколько дней, раздражает, хочется покончить с ним как можно скорее и рассуждать так: я виновата не менее, чем уволенные 24, и, раз мне не дают прямого и ясного обещания в том, что их всех вернут, и не могут назначить срока, — я ухожу и вернусь только тогда, когда они возвратятся. Это было бы лучшее, и я склоняюсь к последнему решению. Мне возражают многие, что я не имею права так рассуждать, что я говорю так оттого, что лично обеспечена, а каково другим-то! Конечно, — другим тяжелее решиться на это, но ведь и в числе 24 есть такая беднота, которая виновата нисколько не более, нежели мы. Говорят, что они вернутся, а мы, если уйдем, то многие, которые получили выговор, не будут вновь приняты и вместо 24 жертв мы создадим 100… Соображение практичное. И вот ради этого-то следовало бы уйти всем раньше, так как тогда мы вполне сравнялись бы с 24… Если Временное правление бросило нам этот аванс с целью разбить единство, то достигло своей цели: уже образовался

раскол… и завтра будет еще резче. Уволенные ждут исполнения нашего решения, а мы… мы ждем. Полезен ли наш уход? — это вопрос, на который исключенные отказываются отвечать и говорят, что они понимают круговую поруку как исполнение нравственного обязательства, а не как средство спасения.

Завтра будет бурная сходка… А хорошо бы нам всем уйти! Картина вышла бы такая внушительная, — и стоит проучить Временное правление за такой образ действий. Шутка ли: Платонов как член Временного правления — исключает, а как профессор — подписывается под петицией о возвращении слушательниц. Двуликий Янус! Лицо отныне — вполне историческое. С каким скандалом провалился Сергеевич! У Введенского — двусмысленные речи… Приходилось слышать и такие: «Вы, 500 человек, идете в омут!» Как это человек до сих пор не знает самого себя? Иногда бывает такое состояние, что, действительно, легче в омут, нежели остаться жить… Да! люди науки оказываются плохими администраторами… Только наш директор Раев умел держать себя в высшей степени тактично и поэтому куда умнее остальных… Правду говорит Е. Н. Ще-на, что в подобных случаях рационалисты никуда

не годятся.

И вот это-то нетерпение охватывает меня… Скажу более: мне хочется теперь уйти. Я так недовольна собою, так недовольна своим легкомысленным поведением за эти три дня — 17, 18 и 19 февраля, что, кажется, буду вспоминать о них всю жизнь с краской стыда на лице. Мне хотелось бы чем-нибудь загладить их… и, если б меня исключили, я была бы так рада, так рада… Я замечаю в своей жизни такую массу ошибок, что могу чистосердечно сказать: «Homo sum, nihilque humanum a me alienum esse puto…»[125] Все человечество проходит тот же путь: ошибаясь, страдая за свои ошибки и искупая их… В этом прогресс.

А что я работаю? — Да почти ничего: настроения нет заниматься. Только со вчерашнего дня начала читать Градовского, а до сих пор читала «Анну Каренину» и писала письма. Видно, придется оставаться на второй год; семестр весь пропал для занятий, а ввиду того, что я плохо занималась и прошлый год, для меня потеря части этого года особенно чувствительна. Экзамены, пожалуй, сдам, но с какими познаниями?.. Я только что засела за философию Канта, только что заня-

---

[125] Примечания: 125

Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо… *(лат.)*

лась… стала учиться читать по-польски… и вот…

Вчера вечером послала Вв-скому письмо, давно уже написанное, черновую нарочно прячу у себя. Вряд ли он ответит. Он слишком горд, слишком самоуверен, чтобы пускаться в объяснения с той, которая кажется ему ничтожностью. Правду сказал Ш.: «Он его прочтет и забудет».

Господин профессор!

Простите, если я отрываю Вас от занятий этим письмом. Но длинная беседа на курсах — неудобна, и поэтому я пишу Вам, надеясь, что Вы дочитаете это письмо до конца. Я тороплюсь писать Вам, пока еще нахожусь в среде учащихся, — и имею право сказать, что мой голос — голос одной из Вашей аудитории.

Нынче весною, прощаясь с IV курсом, Вы сказали такую фразу: «Желаю, чтобы не среда влияла на вас, а вы — на среду». Слова сентиментальные, но… именно слова, и в дело они вряд ли перейдут. Причина в том, что Вы бросили их не на такую подготовленную почву, как думаете. Возможность влияния на среду предполагает известную нравственную силу… а где же большинству из нас приобрести эту силу? Уж не в убогих ли гимназиях наших, откуда мы вышли с сознанием своего невежества? на курсах ли? С

женских гимназий спрашивать нечего, — если и мужские, на которые более обращают внимание, немногим лучше их. На курсы мы поступаем в тот возраст, когда вырабатываются мировоззрение и идеалы жизни. Время, как нельзя более удобное для нравственного воспитания: молодые умы и сердца в большинстве случаев ждут очень многого от своих руководителей — профессоров… Казалось бы — чего же лучше — как для вас, профессоров, так и для нас. На деле выходит не то. Большинство слушательниц далеки от профессоров, равно как и они от нас. Практические занятия служат, конечно, удобнейшей почвой для сближения с профессором. Но у многих ли профессоров поставлены они вполне прочно? и, наконец, возможно ли, чтобы все ими интересовались? А между тем профессор, если он широко смотрит на свое дело, должен так поставить себя с своей аудиторией, чтобы сближение с ним могло происходить не только в сфере его специальности; он должен быть прежде всего человеком. Вы скажете, что я повторяю слова Грановского. Нет, не его слова высказываю я Вам, а мое собственное убеждение, вынесенное из трехлетнего пребывания на курсах. Для человека у нас всегда найдутся всевозможные вопросы, и

профессор может оказать огромное влияние уже одною своею нравственною личностью… Почем знать, тогда, быть может, у нас было бы вдвое менее всяких «историй», которые происходят от неуменья уважать человеческое достоинство и обдумывать свои поступки. Убеждение, что школа должна учить, но не воспитывать, привело к тому, что у нас появилась масса дипломированных подлецов. Не ожидая от средней школы шага в этом направлении, — невольно с надеждой смотришь на университет… и как же горько бывает разочарование!

Доказательством того, что учащаяся молодежь смотрит на университет (хотя и не всегда давая себе в этом отчет) именно так, — служит ее любимейшая тема для разговоров: о прогрессе, — не только материальном, но и духовном. Но… немногие профессора являются перед нами не как официально назначенные лекторы, а как люди с широкими гуманными взглядами. При этом много значит и специальность: мудрено провести какие-нибудь этические взгляды, читая латинскую или польскую грамматику. Среди всех наших профессоров Вы, бесспорно, имеете в руках все данные, чтобы иметь на нас большое влияние. За это говорят и Ваша специальность,

и Ваш талант, и огромная аудитория. А между тем странное дело: ни с одним профессором не случается стольких неприятных для обеих сторон историй, как с Вами. Чем это объяснить? Дело не в том, как Вы, быть может, думаете, что Вы — спиритуалист по воззрению, а большинство из нас склоняется к материализму… и не в том, что Вы скорее консервативных, а мы либеральных убеждений. Причина — глубже. Причина в том противоречии, которое лежит между исповедуемой Вами верой в нравственный долг и Вашим отношением к нам. — Как, — скажете вы, — я ли не исполняю его? я ли не читаю вам отличных лекций необязательного курса? я ли не облегчаю вам экзаменов? — Я глубоко сознаю Ваши заслуги и почтительно преклоняю перед Вами голову, но… как человек, Вы для большинства из нас держите себя с нами как «генерал от профессуры», облекая себя этим долгом как какою-то тогой мертвящей неприступности. Вспоминаю я Вашу прошлогоднюю речь к III курсу о задачах университета и вызванный ею целый ряд «объяснений» и «возмущений»… И рядом с этим вспоминаю рассказы курсистки прежних, Бестужевских, курсов об Оресте Миллере, который предостерегал их от пагубных «увлечений»… Говорившая

— скорее либерального, нежели консервативного направления. «И вы не возмущались?» — спросила я ее. — «Возможно ли! — с негодованием воскликнула она, — против него-то! Он говорил нам: „Я говорю с вами как друг“». — «И вы слушались?» — «Конечно, его слова имели влияние…»

Вот тайна Ваших неудач, господин профессор. Вы говорите с нами не как друг, а как чиновник Министерства народного просвещения. Бесспорно, Вы желаете нам добра, но, так сказать, выводя его из логики событий, а не из сердца. А молодежь страшно чутка к этому. Ваша ненависть к «красным» тоже не поднимает Вас в наших глазах. Помню, как в прошлом году, после скандала на Вашей вступительной лекции к необязательному курсу, я пошла к Вам с самой благою целью — разъяснить недоразумение, оправдать перед Вашими глазами моих товарищей (значит, мне было дорого примирение Ваше с нами), — и как Вы позволили себе самые резкие нападки на «красных»… Хотя я не одного лагеря с ними, но все же Вы забыли, что я — их товарищ по курсам. «Как они смеют считать себя лучшими! — говорили Вы. — Как они смеют! для меня лучшие — те, которым я ставил 5 на экзаменах…» У меня дух захватило от оскорбления, — не того ожидала

я от Вас. Я нарочно встала, чтобы уйти, но Вы, увлекшись, ничего не заметили, а я так и ушла, не будучи в состоянии сказать Вам что-либо. А между тем, если бы Вы знали, какие чудные, чистые, благородные души есть между ними; если бы Вы прочли биографию несчастной Ветровой по ее дневнику (нелегальная, вышла нынче), — Вы бы со стыдом взяли свои слова обратно. Дневник Ветровой в высшей степени характерен: она поступила на наши курсы именно для того, чтобы найти себе «учителя жизни», «человека», и... нашла только профессоров, читавших по утвержденной министерством программе. Положим, что она ошибалась; но если б среди наших профессоров нашелся Грановский — неужели же эта умная и вдумчивая девушка не отметила бы его на страницах своего дневника? Если бы Вы, при Вашем таланте, знаниях, опытности — оживили Ваш нравственный долг любовью к людям, не теоретической только, но и практической, если бы Вы сошли с своего пьедестала к нам, как старший друг, — неужели же молодежь осталась бы равнодушной? Ведь тогда Ваше влияние достигло бы таких пределов, каких в настоящую минуту и представить себе не можете.

Теперь Вы спросите меня: зачем, собственно, я

написала Вам это письмо? А затем, г. профессор, чтобы Вы знали, что Вы для большинства из нас играете двойственную роль. Как профессора — Вас слушают и уважают; когда же Вы вдруг начинаете говорить с нами не о философии, а о жизненных вопросах, сохраняя при этом тон «генерала от профессуры», гордое сознание своего превосходства над «толпою», — то молодежь, чуткая к фальши, уже видит, что в данном случае Вы затрагиваете ту сферу, куда могут заглядывать лишь люди, стоящие к ней близко, любящие ее, относящиеся к ней с сердечным участием. Тогда-то и происходят хорошо знакомые Вам взрывы негодования, которые подавляются потом голосом рассудка, говорящего как «дважды два — четыре»: «Ну, уйдет Вв., посадят к нам какую-нибудь бездарность… Бросьте, господа, не стоит… Ну, пусть себе говорит с кафедры, что хочет, — нам-то что за дело?! Велика важность: у него одни убеждения, у нас — другие, каждый при своем и останется». А Вы после скандала победоносно всходите на кафедру и говорите: «молодежь благоразумна». Да, как видите, — благоразумна, но зато, именно в силу этого практического благоразумия, все Ваши увещательные слова и не имеют для нее ни малейшей ценности. Даже первокурс-

ницы не могут подпасть под влияние Ваших слов, так как из года в год передаваемые традиции разъяснят им и Вашу личность, а вместе с тем и общее настроение, и в них проснется критическое отношение к Вашим словам. Спрашивается: кого из теперешних второкурсниц Ваша речь убедила так, что они не участвуют теперь в общестуденческом движении? Да, разумеется, никого! Весь Ваш образ действий в данном случае свидетельствует о том, что Вы — большой теоретик: думаете, что раз Ваши лекции посещаются охотно, то всякое слово Ваше будет также цениться. Нет! Как профессор, как человек науки — Вы для нас действительно имеете значение, но и только. Речь говорить нам могут — и могут быть уверены, что мы их выслушаем не только ушами, но и чувством и умом, — только те, кто подходят к нам не во фраке профессора, а как человек. О Вас же, как о человеке, понятие скорее отрицательное. Кто говорил с Вами, узнает Ваши качества: резкость в обращении, высокомерие тона, которые многих, более нервных, просто заставляют «бояться» Вас, а других, более смелых, в конце концов приводят к заключению, что с Вами, вообще, лучше избегать иметь дело. Ваша аудитория — громадна; но много ли обращается к Вам с

вопросами после лекций? Несколько постоянных Ваших собеседниц — не больше. Только иногда подойдет какая-нибудь другая слушательница… Я знаю многих с нашего курса, которые так и кончат курсы, ни *разу* не обратившись к Вам ни с одним вопросом, хотя и занимаются философией и много читают, и хотели бы иногда получить совет; причина же у всех одна: «да с Вв. говорить как-то неловко (более смелые), страшно (более робкие)». А подумать: три года мы слушаем Вас — и Вы для нас такой же далекий незнакомец, как и на первом курсе!

Перед Вами два пути, — Вам необходимо избрать один из них, чтобы раз навсегда прекратились у Вас всякие недоразумения с нами.

Или: держа себя по-прежнему как «генерал от профессуры» — не играть фальшивой, несвойственной такому видному общественному положению роли воспитателя взглядов и традиций молодежи; или же — к ней сойти с своего пьедестала, научиться любить и понимать в человеке его достоинство, его душу, научиться действовать словом и личным примером на лучшие стороны человеческого сердца. И только тогда, когда Вы явитесь перед нею как человек, она примет Ваши слова, как с благодарностью принимала и пом-

нила слова своего друга — Миллера.

Вы очень гордый человек: не удивлюсь, если Вас возмутит искренний тон этого письма… Вы не привыкли, чтобы с Вами говорили так смело… А я — не привыкла рабски преклоняться и молчать пред кем бы то ни было.

Это письмо написано давно, еще в начале этого учебного года. Разные, от меня не зависевшие личные обстоятельства, а потом и разразившаяся университетская история мешали мне переписать его и послать Вам. А теперь — надо спешить, потому что я связана круговой порукой, и, быть может, в субботу мы, 500 человек, уйдем, если не вернут наших товарищей. Мой голос — голос одной из тех безличных для Вас единиц, которые наполняют Вашу аудиторию… И не одна я такого мнения, иначе не стала бы писать Вам так уверенно. Четвертый год слушаю я Вас, говорила со многими о Вас, наблюдала Ваши отношения к нам, впечатления, которые производили Вы и как человек, и как профессор на ту безличную для Вас массу, которая наполняет Вашу аудиторию. И поэтому мое письмо к Вам является результатом и наблюдений, и размышлений.

Прошу заметить, что я не чувствую ни малейшей вражды к Вашим убеждениям, так что и

в этом случае отношусь к Вам вполне беспристрастно.

Знаю, что и в нас много дурного.

Но знаю, что в молодой душе, — если она не испорчена в корне, — живет искание правды и стремление к добру. И многие, не находя на курсах того, чего ожидали, т. е. учения жизни, обращаются в другую сторону и, как несчастная Ветрова, обращаются с вопросом «как жить?» к подпольной печати, к другим людям.

Кто ж осмелится их осудить?

Уж не вы ли, жрецы науки, гордо снисходящие до нас, гордые сознанием своего умственного превосходства и… бесконечно далекие от простого, человеческого отношения к вашим слушательницам?

В 1898 году, весною, в приложениях к №№ «Нового времени». Там автор, описывая свое пребывание студентом, рассказывает, как он обратился к знаменитому профессору за указанием пособий. Знаменитость сделала скучающее лицо и назвала несколько пособий, а когда студент сказал, что он их прочел, то профессор еще более скучающим тоном указал другие. Студент поспешил отойти. Автор прибавляет далее: «Пусть на небе сияют яркие, прекрасные звезды… но что

мне до них? — они так холодны…» Меня поразила эта сценка своей живостью. Оказалось, что она списана с натуры. Знаменитость это — Сергеевич. А на курсах такую же роль играете Вы.

Быть может, Вы не поверите мне?

Жаль. Я не преувеличиваю. Я — обыкновенный человек и живу среди таких же и хорошо их знаю.

А для Вас, несмотря на Ваше знание психологии, человеческая душа — закрытая книга, которою Вы не интересуетесь.

И мы это чувствуем и знаем. И слушаем Вас только как профессора и… никого больше! Вы можете произносить какие угодно речи о значении каких угодно университетов, и мы будем так же глухи, как стены аудитории. А как подумаешь — все могло бы быть иначе… и мы смотрели бы на Вас как на нашего друга, как на учителя истины… Вспоминаются Грановский, Кавелин и все, кто был другом молодежи, кто одновременно и читал ей лекции, и удовлетворял ее душу своей личностью и живым к ней отношением.

Beschütz dich Gott, es war' so schön gewesen[126], —

---

[126] Примечания: 126

А счастье было так возможно *(нем.)*.

готова я радостно воскликнуть вместе с Шиллером. Но грустная действительность подсказывает:

Es muss nicht sollen sein[127].

P. S. Мне хотелось бы, чтобы Вы ответили на это письмо. Даже более: чтобы Вы возразили мне. Человечеству свойственно надеяться на лучшее.

До субботы мы все не ходим на лекции, так как наши товарищи исключены и не могут их посещать. Но это не помешает мне прийти на курсы, если Вы письменно известите, в котором часу после лекции Вы можете со мною говорить.

Адрес мой: Е. Д., ист.-ф. отд. IV к.

6 марта

Победа, победа! Едва я пришла на курсы, Скриба вышел из канцелярии с объявлением: «По ходатайству Временного правления, г. министр народного просвещения разрешил принять тех из уволенных слушательниц, которые пожелают подать вновь прошения». Коридор был весь полон народа. Скриба пошел наверх, — толпа за ним. В верхнем коридоре он прочел вслух громко

---

[127] Примечания: 127
Но так не должно быть *(нем.)*.

объявление, встреченное глухим радостным шумом. Все поздравляли друг друга и возвращенных. Эффект был полный. Оставалось одно: так же демонстративно идти на лекции, как раньше не ходили. И мы разошлись по аудиториям с радостным настроением. Там нас поздравляли с благополучным окончанием движения и много говорили об экзаменах, как быть с ними. В столовой бюллетеней не видала; сказывали, что студенты Бернского и Женевского университетов прислали сочувственные телеграммы.

7 марта

С художником Б. была на выставке передвижников, которую он очень хвалил. Действительно, посмотреть стоит. Картина Сурикова «Переход Суворова через Альпы» приобретена Государем за 25 000; хотя и хорошо, но я не люблю этих батальных картин, как-то не доверяю этим «историческим» изображениям. В самом деле: так ли Суворов переходил Альпы? Поза его театральна, солдаты все одеты очень хорошо… Напротив, сколько мысли, чувства и движения в другой большой картине, Касаткина: «Свидание в арестантской приемной в женском отделении», — эти женские фигуры, полные ожидания, то радостного, то горестного.

Картина, по-моему, выиграла бы в силе впечатления, если б немного подвинуть вперед решетку и за нею фигуры. Тоже хорошая вещь «Жертва фанатизма» Пимоненко: толпа евреев бросается на изменницу веры. Много движения в толпе, правдива поза девушки, ее лицо… Портрет гр. Шереметевой, работы Богданова-Бельского, очень зализанный, очень тщательный. Какая разница между ним и портретом Римского-Корсакова, работы Серова! Этот последний, вблизи представляющий грубые мазки, — издали поражает жизненною правдою… живой человек сидит! Руки — издали поразительны. Я начинаю понимать манеру современных живописцев, которая мне прежде так не нравилась: грубые мазки вблизи — издали составляют удивительно реальное изображение. «Тонкую» живопись миниатюрных портретов, которою я раньше так восхищалась, мой художник прямо назвал «раскрашенной фотографией». Таких миниатюрных портретов на выставке было несколько, и, сравнивая их с портретом Серова, который критика признает чуть ли не лучшею вещью на выставке, — я должна была сознаться, что знакомый прав.

Картинки Богданова-Бельского: «Бывшие товарищи» — в пивной сидит интеллигент с

оборванцем, и «Проба голосов» — опять из жизни сельской школы — содержательны по мысли, хотя техника его не блестяща… Мне давно хотелось познакомиться с Б.-Б.: он интересует меня как воспитанник Рачинского, и от него я хотела бы узнать о Татевской школе более подробно. Теперь Б.-Б. приехал сюда; мой спутник с ним большой приятель и давно обещал мне исполнить мое желание. Но оказывается, что этот художник так занят писанием портретов разных высокопоставленных лиц, что вряд ли имеет свободное время. Случайно я увидела его здесь; проходя мимо нас, Б.-Б. слегка ударил моего знакомого по плечу: «батюшка мой!» — и по одному тону, каким это было сказано, я тотчас же догадалась, что это, должно быть, Богданов-Бельский: было что-то неуловимо-покровительственное в этом восклицании… Я внимательно смотрела на него, когда знакомый отошел в сторону: белокурый, небольшого роста, с лицом довольно интеллигентным. Как это хорошо — иметь талант, имя и… быть молодым! Богданов-Бельский симпатичен мне именно тем, что в картинах его есть мысль и они возбуждают хорошее чувство. В живописи я особенно придерживаюсь такого деления на хорошее и дурное искусство.

8 марта

В последнем бюллетене организационного комитета (4 марта) выражается недовольство прекращением движения и слышна нотка озлобления на русское студенчество, что оно так скоро успокоилось. Теперь все студенты возвращены. У нас была сходка по поводу выражения благодарности профессорам Бекетову и Фаминцыну. Д-аш читает проект адреса, — написано вполне в ее стиле: умно, но, к сожалению, начинается с яиц Леды — с средневековых университетов. Общее несогласие. Да оно и естественно: мы не с средневековых университетов брали пример, а с XVIII века, когда впервые свой завели. Начинается спор — выражать ли несочувствие профессорам Сонину и Платонову, и если да, то в какой форме? Некоторые горячатся и предлагают прибавить еще Хвольсона и Фауссека, так как они-де тоже высказывали нам несочувствие. Баллотировкой решают вопрос в том смысле, что порицание нужно выразить первым в форме неприсылки билета на вечеринку нашего IV курса, которую мы имеем право ежегодно устраивать. Но тут подает голос Д-го: в таком случае «вторые» два профессора окажутся на равной ноге с теми,

которые нам сочувствовали… надо бы отличить так: Сонину и Платонову, как наиболее видным членам Временного правления, выразить порицание письменно, а Хвольсону и Фауссеку — в виде непосылки билетов. Как только это выяснилось, решили баллотировкой, что надо выразить порицание письменно. О Раеве и не говорили: он держал себя все время так симпатично, что его популярность сразу выросла. Из всех членов он действовал наиболее тактично, хотя и не очень-то он образован, и вел себя куда умнее Платонова и Сонина. Обсуждение адреса отложено до завтра.

После сходки была лекция Форстена. Но я, вместо нее, решила привести в исполнение план. На Масленице, среди невольного забвения всякой обычной деятельности, — старая дурная привычка марать бумагу взяла верх, и я volens-nolens[128] окончила рассказ, задуманный еще в прошлом году, под впечатлением самоубийства Н. Н. И за это я разозлилась на себя: мне досадно было, что столько времени потеряно зря. Попасть в число нечитаемых авторов — что может быть хуже! Надо, необходимо взять себя в руки и раз навсегда

---

[128] Примечания: 128
Волей-неволей *(лат.)*.

отделаться от вредной привычки, но для этого нужно, чтобы какой-либо авторитет сказал мне веское слово против, — такой, мнение которого я ценю.

В «Русском богатстве» в прошлом году поместила свой рассказ «Фонтан» Багрова, нынче «Первое предложение» — Клеменц (С-ова); первая — будет талантливой писательницей, да и рассказ второй очень хорош. В некотором роде — «Р. б.» явилось органом курсисток. Короленко — писатель очень симпатичный, — что, если обратиться к нему с просьбою посодействовать мне избавиться от этой привычки? Вот я и отправилась на угол Спасской и Басковой улиц, предварительно узнав у Клеменц, когда он принимает. Собираясь ехать, я предусмотрительно оделась в то платье, которое обезличивает всех, поношенное, черное; без рукавчиков и даже без воротничка (на случай, если бы пришлось раздеться) немодная кофточка, барашковая шапка и муфта, черная вуаль… нет! трудно узнать в такой общей одежде, что именно это я, Дьяконова, трудно отличить от массы так же одетых курсисток.

Я очень волновалась; взяла Тацита и в эту толстую книжищу всунула свою несчастную тетрадку, чтобы незаметно было, что пришла

с нею. Вхожу; помещение чистое и светлое; сидят барышни — особенные, «редакционные» барышни, каких я видела и в «Мире Божием» и в «Неделе», — сидят и перелистывают какие-то шнуровые книги и, как аргусы, спрашивают каждого входящего: «Что вам угодно?» Хотя я чувствовала себя перед ними как студент в форме — довольно спокойно, однако этот вопрос меня раздражал, и мне очень не хотелось говорить им, что я хочу видеть Короленко… Мне казалось, что они сразу узнали, зачем я пришла, и будут насмехаться надо мной.

Одна из рассердивших меня барышень куда-то пошла, вернулась и сказала: «Обождите». Ждать пришлось недолго… Короленко был в другой комнате. Он повел меня в третью; дверь была отворена, и мне не понравилось, что меня могут услышать. Какое славное лицо у него! Я чуть не засмотрелась от души, но вовремя опомнилась. Говорила нарочно как можно тише, чтобы господину в соседней комнате не было слышно. Я рассказала ему вкратце, почему обращаюсь с просьбой именно к нему, так как я его люблю и уважаю как писателя. Еще и раньше, дорогой, я придумала сказать именно так, но когда его увидела, то почувствовала, что действительно я

его люблю и уважаю, — такое хорошее впечатление произвел он на меня. На душе было так легко, все мое смущение разлетелось при виде его славного лица. Я говорила вполне свободно и, кажется, достаточно убедительно изобразила ему свое несчастное положение человека, борющегося с дурной привычкой. Он сказал: «Посмотрим, посмотрим… Вы его с собой взяли?» Я вынула из Тацита тетрадку и подала ему… «Через неделю я попрошу вас прийти», — сказал он, соображая что-то. «Нет, уже лучше я приду через две, а то вы, пожалуй, не успеете прочесть», — предусмотрительно ответила я. Он, видимо, был доволен. — «Да, так, конечно, лучше… Но я должен вам сказать, что иногда бывает трудно решить сразу, выйдет что-нибудь или не выйдет. Иногда первые произведения бывают неудачны, а потом и выходит. Так что, может быть, я и не скажу вам ничего решительного». Этого я не предвидела и растерялась, но поспешила высказать ему, что по отношению ко мне подобная нерешительность излишня: «Нет уж, пожалуйста, — так не говорите…» — «Увидим, увидим… Итак, я скажу вам — „бросьте“, „не бросайте“ или „не знаю“». — «Скажите лучше поскорее первое решение», — подумала я и поднялась. Кажется,

что говорила очень тихо и этот противный господин у дверей не мог ничего слышать.

Итак, через две недели я прихожу, получаю обратно тетрадку с наставлением такого хорошего человека, записываю его от слова до слова, и в те трудные минуты жизни, когда снова мысль лезет в голову и просится на бумагу, — я возьму эту запись и прочту… и вспомню хорошее лицо, его симпатичное снисхождение… Он, разумеется, пожалеет меня: «Эх, мол, барышня! Точно нас мало на свете бумагу-то портит! Бросьте-ка лучше, делайте свое дело, и вам лучше — и нам легче». Пожалуй, еще даст совет: «выходите замуж». Впрочем, он такой симпатичный, что пошлости не скажет…

Чтобы через две недели Короленко мог вспомнить, чью тетрадку ему надо возвратить, я написала на ней псевдоним (да простит мне родная губерния за профанацию!): Костромская. И адреса своего не дала, из предусмотрительности: лучше сама приду и возьму, а то квартирная хозяйка такая любопытная — придет бандероль без меня, и она еще прочтет, пожалуй…

Да, тяжело жить на свете вообще, а уж с такими дурными привычками, которые только зря время отнимают, — и совсем плохо! Как хорошо, что

никто не знает об этом моем недостатке: меня просто осыпали бы насмешками все родные. О я несчастная! Видно, еще мало мне горя, мало испытаний, что на 25-м году жизни приходится так усиленно заниматься самовоспитанием, тщательно стараться отделываться от дурных привычек… И так тяжело сознавать все свои недостатки, а как вспомнишь об этом — и подавно. Иногда я просто подавлена тяжестью этого сознания. Жизнь — борьба, в которой храбро надо драться, а прежде всего — нужно уметь бороться с собою.

10 марта

Все эти дни я охвачена тяжелым раздумьем. Бывает такое время — живет-живет человек, да вдруг и задумается над жизнью. Я давно думаю, но теперь обратила внимание еще на одну сторону. Наша благотворительность — особенно здешняя, петербургская, — всегда возмущала мне душу: столько в ней фальши, что и не передать… Особенно мое последнее посещение (в начале февраля) Вяземской лавры и ее дома трудолюбия утвердило меня в этом мнении. Я не знаю, как может М. П. Мяс-ва мириться с этим.

На торжество открытия — 17 мая — собралась

масса лиц высшего общества. Ребяток собрали и… засадили работать на все лето, когда все эти господа разъехались сами по дачам. Никому и в голову не пришло, что уж если заботиться об этих несчастных малютках, то им, конечно, нужнее и природа, и дача, — им же предлагают работу, работу среди жаркого лета, в душных комнатах… О, лицемеры и фарисеи!

За столом, в небольшой комнате — сапожной мастерской — сидело человек 15 мальчиков за работой, среди них — малютка лет 5 тоже ковырял что-то на башмаке; а дети этих «благотворителей» в таком возрасте, кроме игрушек, ничего не видят.

В рукодельной девочкам прибавили работы на один час против прежнего. Действителен ли такой паллиатив? Будут ли эти «честными работниками», когда все вы, «благотворители», своею жизнью поддерживаете беспрерывное пополнение этого мутного потока пролетариата? Вам нужна прислуга, няньки, кухарка, прачка; не нравится — вы ее тотчас меняете, не заботясь о том, куда делась она. И так везде; на фабриках — тот же промышленный пролетариат, в деревне — батраки. И из этого-то мутного потока мы берем нужных нам людей и вновь бросаем их туда,

если они нам не нравятся.

Богатый отнимает своим богатством у бедных их часть. Когда нынче отделывали роскошную квартиру тети, я невольно думала: не будь этих бедняков, которые ради куска хлеба отделывают все эти украшения, — разве могла бы тетя так наслаждаться своим богатством? разве куча денег доставила бы ей радость, если бы она жила в скромном домике? — Следовательно, богатство, понимая его в смысле наслаждения жизнью при помощи средств, возможно только при бедности, а наслаждение им — только при условии глухоты к жалобам бедных.

В результате получается такая картина. Для полного комфорта мы желаем украшать наши комнаты: беспрестанно рвем цветы, выбирая красивейшие из них; когда же они завянут — выбрасываем на двор, а потом и жалуемся, что по нему пройти нельзя, — такая грязь, завядшие цветы гниют… это очень неприятно. Начинаем уборку. Но ежедневно выбрасывается масса букетов, и уборке нет конца: свезли кучу — хвать, другая набросана. Итак, украсив комнату, мы идем убирать двор и жалуемся на трудность работы… И никому в голову не приходит, что виновата наша же страсть к цветам, что если

бы они росли на воле и вяли по закону природы — наш двор был бы чист и мы были бы избавлены от труда убирать его. Но мы так свыклись с цветами, что считаем их необходимой потребностью, и поэтому нам не может прийти в голову такое простое соображение.

Вот именно это и происходит во всех наших больших городах. Чем больше город, тем более пролетариата, тем ужаснее его жизнь. В Нерехте трудно найти хорошую прислугу, даже иногда совсем нет ни горничных, ни кухарок (не идут), и там нет трущоб Вяземской лавры. В деревне, если она не голодает сама, нищим живется сноснее, чем в городе. Нынче я жила в селе Устье и видала, как крестьяне «подают». Если денег не дадут, то все-таки с голоду не умрешь: хлеб, пироги, яйца, — кто что может. Трущоб там тоже нет, да они и немыслимы.

А в Вяземском доме квартиры по дороговизне являются просто невероятными; за одну комнату хозяйка платит в месяц 60 руб., с квартирантов же собирает 80. Если взять в соображение ту цену, которую пролетарий платит за нору и свое пропитание, и его заработок, то окажется, что ему жизнь обходится чуть ли не во все, что он имеет. (Сообразно с этим мне с моими средствами

надо бы жить так: за комнату платить 25 руб. да 25 — проедать; на одежду, обувь — не оставалось бы ничего.)

Мы не привыкли к физическому труду и привыкли видеть труд других кругом себя. Себе мы оставляем занятия с наименьшим трудом и с наибольшею платою; таких мест не много — и мы за них боремся. И вследствие этого экономического неравенства являются все социальные бедствия нашего времени. Казалось бы: чего же проще додуматься до истины уравнения экономического благосостояния? Чем богаче человек, тем более у него потребностей (потому что богатство только тогда и имеет смысл, когда им удовлетворяются все прихоти), а чем их более, тем многочисленнее должен быть класс пролетариев, удовлетворяющий этим потребностям. И даже интеллигенция, создающая свои средства не путем эксплуатации чужого труда, а исключительно собственным умом, — плодит пролетариат, увеличивая число своих потребностей. Виновны и эксплуататоры, и мы, которые не эксплуатируем явно, а косвенно.

Недаром в Евангелии сказано: «Легче верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Фигурально, а выражена та же мысль.

13 марта

Пришла на занятия по Островскому у И. А. Шляпкина. Прежде всего он сообщил нам по секрету, что один из сыновей Пушкина представил директору лицея дневник его с 1832–1835 годов; тетрадь большая, вроде конторской, всего написано около 55 страниц. Так как дневник написан очень откровенно и содержит в себе резкие отзывы о многих придворных лицах, потомки которых живы, — печатание его теперь невозможно, и сын передал его на короткое время в лицей под секретом. И. А. хорошо читает руку Пушкина и, основательно познакомившись с дневником, благодаря своей превосходной памяти запомнил наизусть несколько отрывков и прочел нам их, а мы записали. Здесь могу привести только некоторые…

Какой-то Деларю взял и перевел стихи, в которых встречается такое выражение: «если бы я был Богом, я отдал бы рай за ее поцелуй». Митрополит Филарет, у которого всегда находилось время заниматься чтением литературных произведений, донес в Синод о богохульстве. Крылов узнал об этом и сказал:

Когда бы я был Бог,
Такой бы глупости
Сказать бы я не мог.

После торжественного празднования совершеннолетия наследника (Александра Николаевича), на другой день на параде поэт проскакал галопом мимо Государя, и тот его отправил на «обвахту» (по выражению Пушкина).

Взгляды Пушкина на русское дворянство сходны с взглядами и Карамзина. Та же тенденция о старых русских родах, — исключающая придворную знать, большею частью «случайного происхождения». В этом смысле замечания дневника являются сходными с «Моей родословной». Вообще, в дневнике масса любопытных замечаний; некоторые из них, — по цинизму, — профессор отказался сообщить нам.

После этого сообщения начались занятия. Я-ко читала избранные отрывки об Островском по воспоминаниям Максимова, а пред этим И. А. прочел несколько анекдотов о писателе по воспоминаниям Нильского.

Я слушала равнодушно… В голове упорно бродит мысль о своем сословии, о том, как мало знают его в обществе и в литературе… Ушел

Островский и… точно все затихло… Кстати, И. А. повел разговор на эту тему. «Г-да, положим, что вы вращаетесь постоянно в среде интеллигенции, а ведь не забывайте, что есть масса людей, которые и понятия не имеют ни о Пушкине, ни о значении этого празднества, разговоры о котором нам надоели…» Я не выдержала. — «Не все вышли из интеллигентного круга, И. А.». — «Да, да, я знаю, есть среди вас и из других слоев, но все-таки вас немного».

Сколько тяжелых впечатлений, воспоминаний поднялось в душе при этом напоминании! До сих пор и, вероятно, всю жизнь я буду связана с этою средой, где столько тяжелого, столько темного…

Я нахожу, что этим классом литература совсем не занимается. Боборыкин описывает только тот слой московского купечества, где… его принимают. А сколько там таких, откуда его просто выпроводили бы; это именно «настоящие старинные» купеческие дома. И точно нарочно, под впечатлением воспоминаний и чтения об Островском, в голове мелькнула мысль о драме, где выведены были бы все эти так хорошо знакомые лица, вся эта борьба моя с предрассудками среды, смерть дяди, роман Тани… Скомбинировать все это я не могла, но отдельные сцены так и

вертелись в голове… Надо было делать усилие, чтобы прогнать эти мысли и заставить себя слушать… «Вот вздор-то!» — говорила я себе… Но образы, знакомые лица проходили как живые, точно дразнили меня, говоря: «А мы здесь, а мы здесь…»

Ах, как счастливы писатели! Может ли сравниться что-либо с минутой творения! Если б я могла писать стихи…

Так, прерываемое разговором, чтение статьи тянулось до полуночи, и мы разошлись.

Вчера, в ясный и отчаянно морозный день, хоронили интернатку II курса, Софью Степановну Кильдюшевскую; бедняжка 19 лет приехала сюда только для того, чтобы умереть! И хворала недолго, около трех недель. Мы вышли встречать ее и провожали на кладбище, отслужив литию против курсов. На отпевании нас собралось около 200 человек с директором и двумя инспектрисами. Обедня была очень длинная, и тяжело было видеть лица родных и знакомых (она из Самары).

Я вышла из церкви, когда внесли гроб, и простояла обедню в притворе. Почему именно служила эта религия, а не какая-либо иная? Ведь у меня своя религия: я из чувства товарищества пришла провожать совсем незнакомую мне девушку…

Стремление к науке, связывая всех нас, сделало ее для меня близким человеком, из чувства сожаления я пришла к ее могиле, — вот моя религия.

«Религия чувства…» Дальше реализма мои мысли не шли. А что с ней дальше будет? Ну, умерла, и… все? Здесь замолкает разум. Вот где его границы: смерть. Дальше мы пускаемся именно в область верований, фантазий, откровений — словом, на почву религиозную.

18 марта

С 16-го снова начались волнения. В провинции — в Киеве — студенты уволены все, и ранее приняты были 54 человека, вследствие чего беспорядки продолжались, и университет был закрыт. В Варшаве многие заключены в цитадель, многие высланы. В Дерптском и Томском забастовки продолжаются. Из Киева сюда приехал депутат, в университете начались сходки, в результате которых за обструкцию высказалось 826 против 601; меньшинство подчинилось большинству. Делается формальное исключение для держащих государственные экзамены, но студенты полагают, что нравственная обязанность всякого, еще не успевшего снять студенческий мундир, — поддержать своих товарищей. Мотивировка

забастовки та, что события в провинциальных университетах являются отсутствием гарантий личной неприкосновенности, несмотря на следствие ген. Ванновского. «Стоя на почве этого принципа и для предупреждения подобного произвола, мы снова требуем возвращения всех студентов высших учебных заведений». Успехи нового движения: Лесной институт большинством 10 голосов присоединяется к движению; в Горном институте происходят сходки, сегодня решающая; в Технологическом тоже. Было собрано делегатское собрание 17 марта, и сегодня повсюду известят о причинах движения и устроят сходки. — Вот содержание бюллетеня от организационного комитета.

17-го университет был закрыт, и, конечно, сегодня у нас была назначена сходка. Накануне В-енский объявил IV курсу свои лекции законченными, простился с нами, пожелав всего хорошего; потом он прислал письмо, что не может читать лекции II и I курсам, так как будто бы за недосугом не мог подготовиться к ней. Ну, просто предлог: из желания угодить молодежи не читает лекции.

В 11 часов началась сходка, страшно бестолковая, тянувшаяся до трех часов. Сперва все

говорили об университете, читали бюллетени и галдели, кого выбирать в председательницы. Предлагали — чтобы не подвергнуть уже раз исключенных опасности — выбрать из других кандидаток, но толпа не соглашалась, большинства же не выходило, рев и гвалт был ужасный. Наконец изменили решение: выбрать кого-нибудь из ранее бывших председательниц, как уже опытных, и остановились на Д-н. После шума снова началось чтение известий, а затем приступили к решению «принципиальных вопросов»: какое это движение, новое ли или продолжение старого, как его понимать — как общую круговую поруку? Вот около этих вопросов и вертелись все речи ораторов. Но было ясно из них, что никто еще не осведомлен хорошо. Известиям из Киева противоречат упорные слухи, что там движение имеет совсем другую подкладку, на национальной почве, и, таким образом, не относится к общестуденческому движению. О Томском — говорили, что там исключены 17 человек за то, что не подавали прошений об обратном приеме, когда было вывешено объявление… Все это передавалось и комментировалось на все лады, часто среди взрыва шума слышались речи, но ясно было одно: в глубине души каждый был сбит с

толку и не мог себе уяснить точно, какого рода это движение. Сомнение в известиях из Киева взяло наконец верх, и сходка была объявлена закрытой, ввиду отсутствия точного ознакомления с делом.

Не дождавшись конца сходки, я вышла вниз на лекцию И. А. Шляпкина. На этот раз он, читая записку Карамзина о Старой и Новой России, не выдержал и провел свои любимые консервативные взгляды — о значении единой самодержавной власти в идеале, как она, не заинтересованная ни в чем, может идти навстречу желаниям рабочего класса. Он высказал свое предположение (от него я слыхала это и раньше), что при парламентской форме правления не могло бы совершиться освобождение крестьян. Все это, может быть, и так в идеале.

…Я еле-еле досидела до конца лекции и, едва он кончил, начала ему возражать. До чего он договорился! «Масса всегда консервативна, и поэтому ей приятнее консервативные меры, нежели прогрессивные». — Ну а, по-вашему, разве и земские начальники — мера консервативная, — может ли она нравиться массе (я нарочно говорила резким тоном)? И. А. стал говорить, что я его не поняла, что он употреблял эти слова в другом смысле, но, как он ни объяснялся, мне все-таки было что-то

неясно, и я никак не могла уразуметь его точки зрения. Он, как и всегда, говорил очень добродушно, очень пространно и… очень симпатично как человек, и я не могла на него сердиться, хотя некоторые его взгляды положительно невозможны с моей точки зрения. Он говорил со мною долго. Одни за другой начали выходить товарки из аудитории, и наконец мы остались вдвоем, проговорив до $4^1/_2$ часа.

Боясь остаться без обеда, я поспешила в студенческую столовую; там успела только пообедать, — новостей нельзя было узнать, так как было уже поздно.

19 марта

Лекции кончились. Вчера вечером был совет профессоров, и решили лекции прекратить. Несколько профессоров заявили, что они не кончили своего курса; им было предложено прочесть последнюю лекцию по соглашению со слушательницами. Пока мы на курсах толковали об этой неожиданной и ловкой мере, пришел Шляпкин и попросил у нас позволения прочесть лекцию. Мы, конечно, согласились, и во второй аудитории человек 7–8 просидели два часа, выслушав записку Карамзина и указания пособий для преподавания

новой литературы. Простились.

К 11 час. на курсы начал собираться народ, но, в общем, не много. Ходили группами, разговаривали. В студенческой же столовой было весьма оживленно: читала изъявление негодования на кассу взаимопомощи, которая под своим штемпелем позволила себе напечатать бюллетень от имени организационного комитета, объявив настоящее движение — движением политическим; организационный комитет заявил, что с этих пор он заводит собственный штемпель и пользовался ранее штемпелем кассы лишь потому, что у него не было своего. Письмо Шарапова с увещанием студентам опомниться и не губить себя, очень длинное, я не успела хорошо прочесть, — бюллетеня же никак не могла добиться. Ходила карикатура довольно вызывающего содержания…

После я пришла домой в самом грустном настроении и никак не могла от него отделаться. Но, проанализировав себя, я сейчас же нашла причину: мне было грустно от сознания того, что я не свободна, что мы не равноправны с мужчинами и, вступая в жизнь, одновременно подчиняемся и тому положению, которое нас в ней ожидает. У нас нет свободного выбора пути и движения

по службе педагогической. Вечно связанные, вечно подчиненные и с высшим образованием-то! Немудрено, что нам дышится легко только в столицах. Надо открыть для женщин еще путь юридический, в ряды адвокатуры — решила я.

20 марта

Вот уже, что называется, «был денек»! Сходка началась в 10 час. утра и тянулась весь день — почти до 6 час. вечера.

Собрались в IV аудитории. Я с самого начала увидала, что сходка незаконна: нас было с небольшим 470 душ. Д-аш тоже признала сходку незаконной и, взобравшись на кафедру, предложила всем, разделяющим это мнение, уйти, так как налицо было менее $^2/_3$ наличного состава слушательниц. К ней присоединилось около 70 слушательниц, и мы направились в VI аудиторию. В негодовании прибежали к нам из IV аудитории, крича, что Д-аш хотела сорвать сходку, что не имела на это права, что сходка законна, так как будто бы было заявлено всем (?), но не пришли, следовательно, приходится решать все дела наличным составом сходки. Раньше, при начале сходки, когда все-таки видели, что число незаконно, и чтобы сделать его как-нибудь

бóльшим, выдумали еще, что представительницы меньшинства (182 в первой забастовке) будто бы заявили, что не придут на сходку, и, таким образом, их голоса надо заранее считать в противной партии (т. е. против забастовки). Ложность такого хитросплетения и подтасовки слишком явно бросается в глаза, чтобы говорить о ней. Наконец многие решили подождать открывать сходку до $12^1/_2$, так как надеялись, что к этому времени подойдут слушательницы: многие думали, что сходка будет в 12 часов. Толпа же рассуждала иначе, и мало того, что об этом вопросе спорили до перерыва, возобновили его и после перерыва, когда набралось действительно больше: 520 человек. Но так как нас свыше 900, то и это число не сочли законным, так как первая забастовка решена была, по крайней мере, 600 и более голосов. После переговоров постановили окончательно не считать этих 182 человек (так как с таким присчетом вышла бы сходка законной), а считаться лишь с наличным составом сходки. После второго подсчета баллотировкой большинство голосов объявило сходку законной, приступило к выбору председательницы, и сходка открылась.

Удивительно, до чего понижается интеллект

в толпе! Не принято было во внимание соображение, что в четверг на сходке народу было сравнительно немного: многие задолго до окончания лекций перестают посещать их, начав готовиться к экзаменам. Узнать о сегодняшней сходке могли лишь те, кто присутствовал на первой, и те немногие, которых знакомые известили. Остальные слушательницы, за отсутствием у нас организационного комитета, не могли быть извещены и поэтому не явились. Ничего этого не было принято во внимание; большинство твердило, что эти 400 знали и не пришли, ибо не хотели, а в таком случае мы и вправе решать все дело без них. Но я не думаю так дурно о товарищах; допустим, что индифферентных три четверти, — не хватало все-таки 100 человек, которые ни в чем не были виноваты. И я сделала большую ошибку, не заявивши об этом собранию, но не было физической возможности пробиться вперед, поближе к кафедре, которая уже с 10 час. была занята ораторшами и руководительницами.

Все были настроены… электрически, если можно так выразиться. Сходка открылась чтением известий, причем совсем забыта была наперед неясность известий из Киевского университета, и на первом плане в умах всех было вчерашнее

объявление в «Правительственном вестнике» об увольнении всех студентов по случаю беспорядков. Я прослушала известия. Но, когда приступили к речам о движении, дело переходило на почву принципиальных решений, и я сочла несовместным с нравственным достоинством присутствовать на сходке, которую считаю незаконной, и оставила аудиторию. Из залы слышно было, как начала ораторствовать К., а затем Д-аш. Последняя меня возмутила: я просила ее заявить, что сходка незаконна (она ближе меня стояла к кафедре); она обещала и не только не сделала этого, а еще начала говорить на той сходке, которую сама считала незаконной. О, люди, люди! ради честолюбия, ради случая говорить перед сотенной толпой они поступали совсем бестактно и даже нечестно! Опять надо бы было мне сказать об этом на сходке перед уходом, — но я так и не могла ничего сказать, не имея возможности двинуться ближе вперед, голос же у меня слабый и говорить из толпы я не могу.

Вышла в зал. Слоняясь бесцельно по залам, говорила со знакомыми… Около трех часов заглянула в аудиторию: там приступили уже к голосованию, наговорившись вдоволь. Был поднят вопрос: решать ли забастовку большинством

$^2/_3$ голосов наличного состава сходки? Решили утвердительно.

Я опять ушла вниз. Что было дальше наверху, я не знаю, но потом видела подходивших ко мне с вопросом: отчего я не иду на голосование? Я отвечала, что всякое постановление незаконной сходки для меня не имеет значения.

А наверху, должно быть, происходило черт знает что… Незаконно начавшееся собрание в конце концов запуталось, и случилось что-то невероятное: при счете голосов за забастовку подали 307 с лишком, а против забастовки 40 человек. А если на сходке было 525 чел., — куда же делись остальные 178 человек? — Они не подали голоса вовсе. Те, которые подали голос за забастовку, — в отчаянии и громко обвиняли уклонившихся от голосования, говоря, что в таком случае их партия не взяла бы верх, так как 178 + 40 = 218 чел. против 307, — не составилось бы $^2/_3$, необходимых для забастовки, и таким образом она не была бы решена. Они забывали об одном: раз уклонились от голосования — следовательно, вовсе не сочувствуют забастовке, и они должны были бы кассировать свое решение. Но… так и быть: решено было 307 против 40, — подавляющим большинством голосов за обструкцию.

Но куда же, действительно, подевались эти 178 человек? Таких, как я, прямых и стоящих на почве строгой законности людей, было немного, т. е. таких, которые ушли с самого начала. А между тем — оставались же те, которые считали сходку незаконной, но ораторствовали.

Когда я в $2^1/_2$ вошла вторично в аудиторию, то толпа уже была вновь заряжена электричеством. Председательница Д-н громко обвиняла Д-аш в непоследовательности, за то, что она, присутствуя на незаконной сходке, говорила речи. Этого я и опасалась, и наконец-таки заняла стул, с которого слезла Д-аш, и сказала, что действительно Д-н права, что с самого начала сходка ведена была не так, как нужно, что все, считавшие сходку незаконной, должны были уйти, сосчитаться отдельно, и полученную цифру нужно было вычесть из наличного состава; а Д-аш и К. не имели права говорить. Толпа, раздраженная, несколько раз перебивала меня ревом (председательница Д-н за свою неумелость была сменена Д-гой перед моею речью). Сказав то, что считала своим долгом, я ушла. А затем и началась подача голосов…

Сейчас, пока пишу, вспомнила, что после этого мы, считавшие сходку незаконной, собрались внизу во II аудитории, и нас было около 100 че-

ловек; таким образом, трудно произвести общий подсчет, но если 347 подавали голос + 100 считавших незаконной сходку, то останется еще около 78, вдруг раздумавших подавать голос почему-либо. Подобная крупная ошибка произошла от бестолкового ведения сходки, так как с самого начала не были удалены все, считавшие сходку незаконной и, следовательно, оставшиеся любопытными зрительницами. Когда же дело дошло до голосовки, они не подали голоса, и с ними смешались и те двусмысленные или нерешительные, которые считали сходку законной, но не подали голоса. Трудно отделить этих госпож от нас, людей честных, признающих законность. А все из-за того, что все были смешаны в этих 525. Постановившие забастовку 307 сразу почувствовали ложность своего положения, и, обвиняя в бессильной ярости уклонившихся от голосования, чувствовали все-таки, что они — 300 — решили такой серьезный вопрос за 600.

Какая у них происходила голосовка после того, как я ушла, — за или против обструкции, — не знаю… ибо не спрашивала пока никого из бывших там; знаю только, что они, 307, послали объявить директору, что курсы закрыты. Насколько в первой забастовке на стороне большинства бы-

ла лучшая часть курсисток, настолько в этой, второй, в состав 307 входили крайние радикалки, неопытные первокурсницы, вообще, люди недальновидные и несерьезного образа мыслей.

Несчастные инспектрисы бродили как сонные мухи. Бедная княгиня В. еле держалась на ногах; и ушли они лишь в 7 час., когда уже все разошлись, а оставшихся немногих в раздевальной просили уйти. Директор бродил по зале с многозначительным видом…

Вечером я поехала на концерт Шевченки. Пели много и хорошо. После концерта тотчас же уехала домой.

Устала отчаянно.

21 марта, 12 часов ночи

Что день грядущий нам готовит?
Его наш взор напрасно ловит…[129]

Что будет завтра? — Вот вопрос, на который все мы сегодня днем долго и напрасно ждали ответа: директор не приехал от министра домой, как мы надеялись, чтобы сходить к нему и узнать все. Коридор был полон народа, разбились на кучки

---

[129] Примечания: 129
Неточная цитата А. С. Пушкина из романа в стихах «Евгений Онегин».

и разговаривали. А наверху в это время было общее собрание Общества для доставления средств курсам; оно кончилось к двум часам, и члены расходились. Баронесса Икскуль, как всегда изящная и щегольски, но просто одетая во все черное, шла по лестнице с Е. И. Максимовой. Воображаю, каковы были чувства большинства членов при виде нас, толпой собравшихся в коридоре.

Конечно, курсы теперь мудрено закрыть совсем, но все-таки неопределенное их положение дает многим повод опасаться за их судьбу в случае репрессии. А, без сомнения, она будет — и… довольно значительная. Уже в ночь на сегодня арестовали Дубягу, Веру и студентов: Волькенштейна, Лодыженского, Аванова, Коршунова, Иорданского, Салтыкова, Могилянского, Перовского, Косаря, Петрова, трех братьев Ноздриных, Шапшала, Щепотьева и Лохова.

Университет профильтруют к 24-му. Но что же будет у нас? Во враждебном отношении партии 300 нет и сомнения. Еще вчера было видно, что крайние из них на все пойдут, — то же и сегодня. Едва я вошла, как черненькая С-ова задорным тоном спросила меня: «Вы что думаете предпринять теперь, Дьяконова?» — «Ничего, — спокойно отвечала я. — Завтра держать экзамен я ведь не

намеревалась». «Ну еще бы!» — грозно перебила она. «Да и вообще я не намерена была сдавать нынче экзамены», — поскорее ответила я, чтобы отделаться от этого неожиданного допроса, и отошла.

Что завтра не будет экзамена — это очевидно, но что и сходки не будет — тоже очевидно. У директора в субботу все время был такой вид, как будто бы он хотел сказать: «Ну уж, господа, как вы хотите, а больше собираться вам здесь не позволю. Сегодня вы еще хозяева здесь, завтра — я». Да и не нужно сходки. Волнение началось и будет продолжаться, если будут экзамены.

Перед начальством теперь возникает еще вопрос: что делать с партией трехсот? Они сами себе надели петлю на шею из благороднейшего побуждения, они пришли к решению, но оно, к сожалению, страдает отсутствием законности. Какая разница: 6 марта мы толковали, 20-го — весь день бунтовали. Вот уж подлинно переживаешь дни полной неизвестности перед будущим, точно во времена Великой французской революции.

Без сомнения, нас могут закрыть и исключат на тех же условиях, что и студентов, профильтруют, как и их. Но вот вопрос: поступят ли с нами так же или выдумают какую-нибудь полумеру?

Самое лучшее — это завтра вовсе не допускать никого на курсы. Партия трехсот и добивается именно того, чтобы курсы были закрыты, подобно университету, Технологическому и Горному институтам. А в сущности, самое рациональное было бы закрыть все учебные заведения на два месяца с перенесением экзаменов на осень. Время — великий врач, и все успокоилось бы. А то в профильтрованном университете на 26-е опять назначена сходка, опять найдется партия, которая восстанет за непринятых обратно товарищей… и вновь повторится взрыв. Нет, уж лучше не играть с горючим материалом…

Как посмотришь на все происшедшее, — право, так и должно было случиться… Что ж из того, что сходка незаконна: надо было ожидать такого решения — забастовки во что бы то ни стало. Нельзя иначе — и мы по роковому закону сходства катимся по наклонной плоскости.

Борьба, борьба… страсти разгорелись, сколько взрывов гнева, сколько разорванных дружб, знакомств, хороших отношений… Пусть завтра закроют курсы, это единственный способ предотвратить неминуемое столкновение. И завтра чем свет надо бежать покупать «Правительственный вестник» — нет ли каких-нибудь сообщений.

Ну что же теперь будет? И ложась спать и засыпая — буду сознавать себя в положении необыкновенном, вот уж подлинно, как перед дуэлью:

Что день грядущий нам готовит?
Его наш взор напрасно ловит…

22 марта

Собрались на курсы в 10 часов и ждали директора, думая, что он привез какое-либо решение от министра. Когда тот явился и пошел наверх, вся толпа, собравшаяся в коридоре, бросилась за ним. Он в недоумении спросил меня: «Зачем они все за мной бегают?» — и на мой ответ, что ждут от него какого-нибудь решения, сказал, что министр ему ничего не говорил и он пока решить ничего не может.

На назначенные три неофициальных экзамена (ускоренный по латинскому языку, у математика и еще чей-то третий) явились экзаменаторы. Большинство приготовившихся, понятно, решило не держать экзаменов, чтобы не вызвать взрыва, но нашлось три, которые явились. Ввиду благоразумия — профессора воздержались от производства экзаменов и исчезли незаметно.

Мы бродили по нижнему коридору; а партия 300 собралась наверх на сходку с воинственным настроением, и я не знаю, что там происходило. Говорили, что директор приказал инспектрисе переписать всех присутствующих на сходке, заявив об этом с самого начала сходки (не знаю, насколько это верно). Я видела, как постепенно в опустевший нижний коридор начала спускаться масса народу, крик и шум росли и росли… Наконец я ушла в библиотеку, где были Е. И. Балабанова, ее помощница О. К. Нечаева, Ростовцев; вскоре пришел директор. Разговор, понятно, вертелся все на одном — на нашем положении. Все понимали, что партия трехсот не есть 900, и что вторая забастовка не такая, как первая, и что решение этих трехсот выходит за пределы всякой законности даже в товариществе, но все-таки факт беспорядка был налицо, возбуждение обструкционисток — вне всяких сомнений. Возникал вопрос: как быть дальше? Ведь было жаль и этих 300, которые сами в петлю лезли, и это опять-таки все понимали.

Я вышла в коридор. Спрашиваю — скольких переписали? — «С небольшим 400». Это значит, что к 307 прибавилось еще около 100 добровольных мучениц, пожелавших «разделить судьбу това-

рищей», так как все почему-то сразу решили, что их исключат, и нашлись тотчас же добровольные мученицы, которые и на сходке вовсе не были и забастовки не желали, но «разделили судьбу» по желанию. Я высказала директору свое мнение относительно результатов его приказания, — очень невыгодных, бесполезно увеличивших только число жертв. «К чему было переписывать? Ведь все равно точного числа вы не получили, так как нашлись добровольные мученицы», — с упреком говорила я. «Ну уж такие лица всегда неизбежны, — спокойно отвечал он. — С ними ничего не поделаешь. Желают „разделять судьбу“ — и конец...» С этим мнением, конечно, согласились все знавшие жизнь более меня, но все-таки было досадно. Директор достаточно догадлив: он нарочно допустил сходку, чтобы всех переписать и иметь возможность сразу подвергнуть обструкционисток какому-либо наказанию, исключающему возможность поднятия ими беспорядков во время экзаменов, которые официально начнутся 26-го. Теперь нет сомнения, что их исключат. На этот раз нам нечего ждать пощады...

В библиотеке говорили, что сегодня состоится совет министров по поводу курсов, и милая О. К. Нечаева была настроена тревожно. А я надеюсь,

что курсы потерпят репрессию наравне с прочими учебными заведениями, не больше, так как всякий министр поймет, что решение трехсот — не есть решение 900 (хотя тоже неизвестно, какое бы решение мы постановили, если бы собрались в законном количестве — 600). Так и в университете: решение 800 — неизвестно, согласны ли с ними остальные три тысячи.

Я ушла с курсов в три часа в столовую, оттуда к Щ-ным. Там Ек. Ник. возмутила меня наивным отношением к такому серьезному делу своим ребяческим восторгом перед решением студентов забастовать: «Ах, как это хорошо! Ах, как хорошо!» — и смеялась, как девочка. Меня взорвало. «Хорошо вам хохотать да восторгаться, а каково студенчеству выносить это на своей шкуре! Общество только на словах нам сочувствует, а на деле — отказываются от „Нового времени“, и все! Этого мало…»

Ужас что за черствая душа у этой женщины! Быть с ней теперь тяжело, я еще больше расстроилась и от нее поехала прямо к М. П. Мяс-вой, к счастью застав ее дома. Она говорила мне что-то о том, какое я время переживаю теперь и как обрабатывается мой характер. Я слушала машинально, мне было просто хорошо быть с ней,

слушать ее слова… и мне вдруг хотелось спрятать лицо в складках ее платья и заплакать, как ребенок. Но нервы теперь у меня гораздо крепче стали, и я легко владею собой… Иногда душа этой девочки мне кажется благоухающей розой, запах которой вдыхаешь с наслаждением, и хочется подольше подержать эту розу в руках, подольше ею наслаждаться.

Она дала мне книгу члена «Армии спасения»; я прочту для ознакомления с этими людьми и их учением. Потом мы читали с нею отрывок из сочинения Джона Рёскина[130] о воспитании, о женщине.

23 марта

Вчера, говорят, в 4 часа вывесили ненадолго объявление, что курсы закрыты. Сегодня никакого объявления на дверях нет, но швейцар никого на курсы не пускает, за исключением тех, у кого есть дело в канцелярию. Так как я потеряла свой вид на жительство, то нужно было спросить совета Скрибы — в каком участке записана я, чтобы заявить о потере. В канцелярии уже был

---

[130] Примечания: 130

Джон Рёскин (1819–1900) — английский писатель, художник, теоретик искусства, литературный критик и поэт.

директор и другие, но, едва я успела получить ответ Скрибы, директор попросил меня ему не мешать, так как он занят. Интернаты были тоже разобщены с курсами, и швейцарам отдан приказ никого не пускать посторонних. Мне нужно было повидать С., и я, забрав швейцара, явилась к инспектрисе возмущаться этою мерой. Само собой разумеется, что она мне разрешила войти к С. Она сама не одобряла этой меры и оправдывалась своею подчиненностью директору, ссылаясь на устав. Я никогда не видывала этого устава и прочитала с любопытством § 2, — действительно, она была права, так как более ясных правил, строго разграничивающих пределы власти начальства, так и не было выработано, несмотря на обещание в уставе. Она даже предложила мне пойти к директору и просить отменить эту меру, но я благоразумно не сделала этого, ибо бесполезно требовать гарантий каких-либо там, где уставом дан полный произвол, и особенно в такую минуту.

В прихожей интерната все письма были вынуты из клеток и положены на стул, а стул поставлен между дверями так, что первые были отворены, а у вторых стоял швейцар с ключом.

Курсы не открылись и в два часа: почему-то раз-

несся слух, что к этому времени кончится совет министров по поводу наших курсов. Насколько все это правда — судить трудно. Мы потолкались на улице и разошлись. В студенческой столовой кипела работа… Читались бюллетени, воззвания… Ох, что-то будет?

24 марта

С утра пошла в интернат, а оттуда, конечно, на курсы. Было пусто. Временное правление уже не заседало. Только в канцелярии шла усиленная работа да служитель таинственно тащил в инспекторскую целый ворох мелких бумажек… Несколько интернаток и я, через интернат тоже, ходили по коридорам… В инспекторской заседали 4 инспектрисы, и все писали, директор бродил по лестницам и зале. Наконец к 12 часам вынесли из канцелярии доску со списком: исключено 15 человек, уволено на два года 46, на год — 88 и до осени — 51, итого — 200 человек. Я поскорее списала весь список и передала его на улицу, где толпились курсистки, которых не пускали на курсы. Список исчез моментально среди десятка протянутых рук. Побежала за другим.

Так протянулось время до 2 часов. Потом пошла в столовую; там уже ходили списки исключен-

ных курсисток и производили впечатление. В бюллетенях перечисляются все высшие учебные заведения, в которых идет движение. Электротехнический институт принял забастовку на последней сходке. В Академии художеств сочли возможным оскорбить университетского депутата. В Институте путей сообщения начальство заявило, что, надеясь на благонамеренность студентов, игнорирует всякие сходки. В Медицинской академии назначена сходка. Бюллетень Лесного института очень радикальный, в тон студенческим.

25 марта

Те же небольшие группы около курсов. Грустно как-то. Я еще с воскресенья отложила об экзаменах «всякое попечение» и теперь решила только «следить» за всем. В столовой по-прежнему оживление необыкновенное, известий масса. Выходит «Вестник обструкции», нечто вроде журнала… Между прочим, женский медицинский институт отличился курьезной сходкой: по поводу пропажи коллекций профессора Заболотного. Быть может, на самом деле это и очень необходимо, но среди всех известий эти короткие строки возбуждают улыбку.

Я снялась у Мрозовской[131] с распущенными волосами, не то мадонной, не то кающейся грешницей — с виду, но, в сущности, это и есть мой первый вполне удачный портрет. Он выражает мою духовную сущность, мое «я»… Так как никто из моих знакомых хорошо меня не знает или не понимает, то поэтому все и удивляются этой карточке…

Вечером я была у Ч-сов. Старший брат даже рассердился: «Ах, какая вы, Е. А.! на этой карточке вы совсем не та, идеализированная какая-то…» — «Ах, дайте еще раз посмотреть на это лицо! только женщины могут быть так *лживы*! Нет, какова!» — И в то же время он глаз не мог оторвать от карточки. Потом, за чаем, вдвоем мы имели любопытный разговор. Он пустился в объяснения того, как он меня «понимает». — «Вы — тип любопытный. Смесь буржуазии с интеллигенцией… да, в вас именно и есть эта смесь. Воспитанная в чисто буржуазной среде, вы попали в студенческую, интеллигентную и, конечно, восприняли многие ее воззрения. Вот и получилась смесь…»

---

[131] Примечания: 131

Е. Л. Мрозовская (умерла в 1941 г.) — одна из первых профессиональных русских фотографов. Среди работ Мрозовской — портреты Н. Римского-Корсакова, Матильды Кшесинской, Веры Комиссаржевской, Анастасии Вяльцевой и др.

Он долго еще говорил на эту тему.

Я молчала. Да, смесь! И какое-то горькое чувство поднималось в груди… И казалось мне, что я такая ничтожная, ничего не сумею, ничего не сделаю в жизни…

26 марта

На курсах день первого официального экзамена: на первом курсе психология. Главный вход был закрыт, во избежание обструкции — на улице, что ли, не знаю; но экзаменующихся пускали лишь через главный интернат… Обструкционистки-первокурсницы, около 17 человек, запаслись входными билетами и явились вместе с экзаменующимися на курсы. Когда я утром пришла в интернат, то увидела такую сцену: они, человек 10, стояли в телефонной около двери и никого не пропускали на курсы. А наверху, на курсах — мне рассказывали потом сами — дело было так. С входными билетами их пропустили в аудиторию Введенского, где шел экзамен по психологии. Дав ответить одной, эта группа заявила профессору, что пришла мешать экзамену и просит его прекратить. Введенский разозлился и сказал, что экзаменовать — будет, и погрозил сообщить директору. Ответили еще

две. Те продолжали выражать свое порицание. Вошел директор и объявил, что они уже более не курсистки, и велел возвратить билеты, что они и исполнили. Экзамен был прерван; потом опять возобновился. В это время другая группа, человек 7, производила обструкцию Буличу; профессор прекратил экзамен. Две слушательницы третьего курса пробовали было просить их пустить экзаменоваться по латыни. Вот смех-то! Как будто бы эта раздраженная группа могла исполнить такую просьбу! Эх, люди!

Все это мне рассказывала сама бывшая в числе обструкционисток у Введенского. Все они были тотчас уволены: навсегда — 19 человек, на один год — 6 человек; в числе исключенных находилась и наша ярославка — Д.

В 2 часа, по обыкновению, пошла в студенческую столовую. Настроение общее — радикальное, борьба, борьба… «до последнего вздоха борьба!» — так и звучит в этих голосах, юных и возбужденных. Из Москвы получена телеграмма такого содержания: «Выслано 2100 бочек. Склад открывает союз. Настроение твердое». Так иносказательно извещают об исключении товарищей. Интересно постановление делегатского собрания: представители всех институтов,

Медицинской академии и университета — все обструкционисты и антиобструкционисты — высказались за то, что экзамены в настоящее время невозможны, за исключением универсантов-обструкционистов, которые сочли возможным ответить «да».

27 марта

За попытку произвести обструкцию на экзамене исключено еще шесть человек. На курсы, равно как и в интернат, без билетов никого не пускают, народу мало. Около ста уходит с курсов добровольно, берет свои прошения, не желая оставаться на курсах «при таких условиях», — как будто «эти условия» не продиктованы поведением той же партии 300.

Я отказываюсь от экзаменов на таких основаниях: 1) мне тяжело кончать курс среди полного разгрома; 2) я считаю себя не вправе нравственно получить диплом, после того как я не занимаюсь два месяца, и наскоро выучивать лекции к экзаменам. Но директор пока не позволяет откладывать до осени. Лучше бы уж закрыли все высшие учебные заведения до осени — повторяю я: утихли бы все волнения и прекратились бы все беспорядки. Теперь же, действительно, суще-

ствование курсов подверглось в одно заседание министров опасности, но г-да студенты храбро заявляют, что «есть благо выше науки...». О да, милые товарищи! Но женщине для того, чтобы додуматься до этих благ, — все же нужно образование.

Перестают появляться бюллетени антиобструкционистов, и вместо них ходят «воззвания» к товарищам о продолжении борьбы. Об участи студентов все еще неизвестно. В Горном институте вчера арестовано 12 студентов, я знаю одного из них... Лесной институт закрыт. В Институте гражданских инженеров состоялась сходка 144 против 128. Директор продолжает настаивать, что в движении нет ничего политического, и хочет просить министра внутренних дел о закрытии института. Из Одессы известие лаконическое: все, за исключением IV курса юристов, решили: в университет не ходить, экзаменов не держать, зачетов не получать и выразить солидарность прочим университетам. В Варшаве до сих пор еще не возвращены 31 студент.

28 марта

В «Вестнике обструкции» наши экзамены называют «позорным событием». Вот наивность!

Неужели же студенты не знают, что у нас забастовку постановили 300 против 600? Просто поразительно. Этак можно, драпируясь в геройскую тогу, сказать и сделать все, что угодно. Студенты напечатали стихотворение исключенным курсисткам и озаглавили: «Студенткам», подпись — «Товарищи».

3 апреля

Была на вечере в Мариинском театре в память Пушкина, устроенном Союзом писателей. Программа была обширна, так что вечер затянулся до часу ночи. Вначале артист Писарев прочел известное стихотворение Полонского; затем были прекрасно поставлены «Пир во время чумы» и «Цыгане», — последнее особенно хорошо, но обе пьесы производят более сильное впечатление в чтении, нежели на сцене. Впрочем, «Пир во время чумы» еще ничего; но в «Цыганах» особенно резко бросается в глаза нам, воспитанным на реальных драмах, приподнятость тона, незаметная при чтении и страшно заметная на сцене. Напр., когда старик после убийства дочери говорит Алеко: «Мы дики, нет у нас законов…» — со сцены это звучит почти фальшиво, так как невольно ожидаешь, что старик, пораженный горем, бросится

к трупу дочери. Да и актеры провели эту сцену довольно холодно… Апофеоз вышел, по-моему, неудачно. Белая гипсовая копия с памятника Пушкина в Москве не настолько велика, чтобы производить впечатление; ее поставили в глубине сцены, среди зелени, довольно низко, и Муза — женская фигура в белом, с распущенными волосами, — протягивала к ней лавровый венок. По программе значилось, что памятник будут окружать литераторы. Они встали на почтительном расстоянии от него, на заднем плане, по обе стороны; хоры любителей тоже разместились по сторонам сцены. Три женские фигуры в белых модных платьях — при вторичном поднятии занавеса — скромно уселись на ступеньках у подножия памятника, держа лавровый венок. Во всем этом — ни складу, ни красоты. Зато в глубине сцены, по обеим сторонам памятника, блистали две картины, мастерски поставленные К. Е. Маковским: «Убиение детей Бориса Годунова» и «Русалки»; последняя особенно была хороша.

Мы сидели в ложе большой компанией, для меня представлявшей мало интереса. Хотелось бы на месте этих курсисток видеть других людей, более умных, более оригинальных, — но, видно, нельзя требовать от жизни более того, что она

может дать… Профессор Ш. пришел в один из антрактов в нашу ложу и приглашал всех к себе на второй день Пасхи. Я думаю, что, наверно, уеду к тому времени в голодающие губернии.

4 апреля

Дни бегут и бегут… Волна жизни захватывает так, что нет ни времени, ни возможности писать дневник. Масса интересного, чувствуешь, что необходимо, нужно записать, и… все-таки не пишешь, некогда, забываешь даже.

Прочтя объявление от организационного комитета, чтобы студенты приходили к университету с 10 ч. утра 31 марта, в этот день иду на курсы. Перед входом — толпа. Думаю: где интереснее — здесь или около университета? — Решила сначала захватить, что далеко, и пошла к университету. Там масса полиции, масса студентов около дверей университета и на тротуаре. Я шла по набережной и остановилась против главного входа. «Барышня, проходите», — сказал городовой. Я не сочла нужным подымать историю и прошла мимо. Очевидно, было еще рано. Пошла домой. Навстречу мне, по 10-й линии, шли курсистки и сообщили, что обструкционистки собрались у дверей, с целью уговаривать шедших

на экзамен не экзаменоваться, и не пускали тех, кто все-таки хотел идти; часть приходивших им удалось отговорить, а 16 человек прошли с помощью швейцара. Была вызвана полиция. Только что говорившая успела окончить этот рассказ, как около курсов явились околоточные и с ними городовые. Часть ушедших вернулась опять, так как сказали, что будут переписывать. Перепись эта кончилась что-то очень скоро, и толпа разошлась.

Я увидела Надю Б., усердно отговаривающую какую-то молоденькую первокурсницу, шедшую на экзамен. Глупенькая девочка побледнела, и у ней были слезы на глазах. Я сказала Наде, что нельзя так насиловать. «Да какое же тут насилие? — воскликнула она. — Мы ее только отговариваем!» — Десять человек столпились над глупой девочкой и кричали ей в уши; та дрожала и плакала. Это ли не насилие! По-моему, не следует вовсе удерживать желающих экзаменоваться. Порядочный человек в такое время — без слов ясно — не будет держать экзаменов; люди же с недохваткою такта всегда добьются своего с ролью полиции и с помощью швейцаров: так идет в университете, так и у нас. А кого шкурный вопрос заставляет держать экзамены, того жестоко,

в сущности, и осуждать; к тому же — экзамены держит самая незначительная часть.

По обыкновению, от 2 до 4 пробыла в студенческой. Но в это время произошло событие: 489 студентов были загнаны в Манеж. Очевидно, полиции надоело бездействовать. Когда, после обеда, я и Саша П. пошли к университету, манеж представлял очень интересное зрелище. В окнах и амбразурах стояли группы студентов; фигуры в пальто нараспашку картинно выделялись на мрачном фоне окон и еще более красиво на светлых стенах манежа в амбразурах. Полиция стояла кругом; на противоположном тротуаре — несколько околоточных. Между манежем и университетом вдоль тротуара толпилась публика. Мы прошли мимо — раз, два; наконец стали думать, что бы им передать. Я хотела было цветы, но Саша, более практичная, решила купить яблок. Купили. Как передать? Полиция никого не пропускала. Вдруг мы увидали студентов, убегающих из-за угла Манежа. «Передайте яблоки!» — «С удовольствием! мы сейчас туда сами папиросы передали!..» И яблоки мгновенно были ловко брошены в окно, и студенты бегом бросились удирать от полиции. Мы ободрились и решили купить булок. По дороге в булочную мы

встретили несколько студентов, нагруженных свертками: очевидно, попытки к передаче удались, и мы им отдали булки. На обратном пути встретили С. с двумя лесниками, из которых один мне знаком. Они тоже захотели передать булки. К счастью, далеко не пришлось идти — попался по дороге булочник, и у него мы живо расхватали хлеб; наш пример подействовал на публику и студентов, и те подошли к нам. Но в это время отряд городовых в два ряда загородил улицу между Академией наук и Манежем. Приходилось проходить сквозь городовых. Стоявшие около Манежа не пропускали. Тогда студенты стали пробегать в противоположном конце шеренги и, пробравшись к манежу, бросали им в окна свертки с хлебом. Мы опять пошли за хлебом. Какой-то булочник уже стоял во дворе Манежа. Мы бросились к нему, и студенты тоже; мы совали булочнику деньги в руки, сами забирая у него из корзинки хлеб; студенты подставляли нам полы своих шинелей, и мы складывали туда булки, а потом понесли их к Манежу. Ближайшие городовые наконец смягчились: один из них стал принимать в свою шинель хлеб и уносил его к окнам. И странное дело: в то время как на глазах у всех и у полиции студенты передавали хлеб, та

же полиция арестовывала нескольких студентов именно за эту передачу, и мы встречали то и дело одного-двух студентов в сопровождении городовых, которые вели их куда-то.

Не могу не отметить отрадного факта, что в данном случае студенты охотно помогали нам… На мгновение мы соединились в общем братском чувстве помощи, и холодные петербургские улицы и публика увидали живое дело, невиданное, быть может, давно.

Рассказывали, что среди публики, стоявшей кучкой перед шеренгой городовых, нашлась одна француженка, которая на обычное: «Проходите» — отвечала ломаным русским языком: «О нет, это очень интересно! кормление зверей!» Но «зверей»-то было много — 400 с лишком, и мы сами видели, что надо бы побольше им послать.

В 7-м часу мы пошли домой. Курсистки, проезжавшие мимо университета в 11-м часу, — еще слышали пение оттуда… Начали развозить по «частям» поздно вечером и окончили это дело только к трем часам утра.

На другой день у дверей курсов опять толкались околоточные… но обструкционисток уже не было.

8 апреля

Движение продолжается. После приезда делегата из Киева у молодежи вновь один ответ: «Нас вернули, а их нет! Вот мы и покажем, каково не возвращать всех!»

Что это? Какая сила движет эту массу, потому что самая простая логика здесь отсутствует: быть может, в Киеве были такие причины, что нельзя сразу вернуть всех; там волнения начались еще в декабре и продолжались после того, как прекратились здесь. Ничего этого не было принято во внимание: «За пострадавших — пострадаем!» — разнесся благородный крик негодования… и началась вторая забастовка.

Все это очень благородные мысли у большинства из толпы обструкционистов. Но какие цели скрывают ее вожаки? Я, к сожалению, не имела у себя под руками того знаменитого бюллетеня, в котором студенческое движение характеризовалось как политическое. Без сомнения, к этому движению примешалось многое; социал-демократы радуются и благословляют молодежь, большинство из которой и не подозревает, сколько тайных надежд и дум всякого рода связано с этим движением у лиц всевозможных лагерей и

оттенков. Я чувствую себя в таком положении: я стою именно среди толпы, не зная, где вожаки ее, и пред моими глазами проходит лишь то, что доступно толпе студенчества, т. е. бюллетени, воззвания, стихи; но закулисная сторона всего — для меня закрыта. Я читаю известия, но не знаю, кто их пишет и где печатают, — вот как могу я охарактеризовать свое положение.

Теперь взглянем на это движение с философской точки зрения. Всякий бунт, всякое движение протеста, особенно среди студенчества, имеют свою причину. Как бы ни были странны поводы к его началу (как было, напр., в данном случае), все-таки самая легкость его возникновения указывает на ненормальное положение учащихся, которое на самом деле таково, что ждут только повода, — сейчас же готов взрыв. Не надо забывать, что для взрыва бочки с порохом, если она удобно расположена, достаточно небольшой зажженной светильни, которую могли зажечь случайно и бросить ее в бочку тоже случайно. А взрыв происходит, и с жертвами. Но если б та же бочка была наполнена сырою землею, то мы можем трудиться годы — и не добьемся взрыва. Так и в этом деле. Студенчество не может успокоиться с 1884 года; нет-нет да и вспыхнет взрыв,

то тут, то там. Так сказать, поместное воспаление обратилось вскоре в антонов огонь, охвативший весь организм; или, лучше сказать: маленькие вспышки с разных концов запылали ярче, и наконец все слилось в одном грандиозном пожаре. Кто тут прав, кто виноват — разобрать теперь трудно. Будущему историку русского общества яснее представится вся картина, а мы, современники и участники движения, подобно деятелям великой революции, охвачены потоком и не всегда можем правильно и бесстрастно судить о деле, в котором сами участвуем.

Где нет любви — там борьба и зло. Любви нет ни в нашем обществе, ни в сфере правящих, ни среди учащихся… И вот выступает борьба, которая направляется разгоревшимися страстями. Нельзя и осуждать за нее. Осуждение возможно лишь в том случае, если злоба и ожесточение вспыхнули бы в царстве любви. Но, раз его нет, все естественно вытекает из установившихся отношений. Дайте нормальную жизнь бедной учащейся молодежи; дайте ей возможность вздохнуть спокойно и свободно; дайте ей возможность свободно собираться в кружки разного рода, общества, ассоциации, — поверьте, что у нее тогда не будет того повышенного нервного

настроения, какое замечается теперь. Человек так создан, что не может жить спокойно при ненормальных условиях. Он или умирает, или поднимает бунт. Русский народ теперь мрет с голода, студенты — бунтуют вследствие нарушения прав личности.

В горестном негодовании многие думают, что молодежь неблагодарна, что ее не успокоило даже назначение Высочайшей комиссии 20 февраля. Не могут понять этого и в правящих сферах и обвиняют молодежь в неблагодарности. На деле же — вторая забастовка вспыхнула легко потому, что горючий материал еще не успел остыть. Молодежь, в сущности, и сама не может дать себе отчета, отчего так легко вспыхивает движение повсюду. Говорят: удивительная солидарность! Да, она развилась, потому что везде условия жизни ненормальны. Такова настоящая, коренная причина, все же внешние поводы — только предмет к проявлению того смутного недовольства, неудовлетворенности, которая лежит в глубине сердца каждого учащегося чуткого человека.

Вот отчего я сочувствую студенческим движениям. Нельзя иначе. Я и сама учусь, и сама душевно не удовлетворена, и вот при первом поводе заявляю о своем недовольстве. Если бы это

могли понять и смотреть на движение именно с такой точки зрения — не стали бы никого обвинять в подстрекательстве, а скорее обвинили бы самих себя, общество, правительство. Но, к сожалению, никто не понимает нас.

Переживаемый момент приносит пользу: он действует не только на нас, но и на общество, которое бойкотировало «Новое время»; даже простой народ, который приходит в столкновение с учащимися, — газетчики все стали чрезвычайно внимательно следить за новостями и, продавая студентам номера, в которых пишется против Суворина, — сами невольно заражаются общим повышенным настроением…

У нас из всех оставшихся 240 человек (140 удалились добровольно — 246 уволенных) около 200 не держат вовсе экзаменов. Я 19 марта еще занималась, но на другой же день закрыла книги: не такое время настало, чтобы держать экзамены. Ведь вот каков ход событий: по строгой логике, можно бы держать экзамен, так как только 300 человек постановили забастовку; и, однако же, совесть подсказывает, что лучше не ходить на экзамены, лучше не держать. Жаль товарищей; лучше им уступить, нежели восстановлять их против себя. Я не сочувствовала незаконной сход-

ке, смеялась над курьезным постановлением 300 против 600. Но, подумав более глубоко, пришла к убеждению, что нельзя оценивать события с точки зрения чистой логики, а надо принимать в расчет все сопутствующие обстоятельства: volens-nolens мы должны идти с университетом. Еще довод против экзаменов: мы два месяца не занимались, и неужели же будем так нечестны, что, не зная курса, будем сдавать экзамены ради правила?

Неделю тому назад появилось в «Правительственном вестнике» длинное сообщение, подробно излагавшее события… и сегодня в 5 часов закрыли студенческую столовую. Но студенты не глупы: на бумажке, приклеенной к двери столовой, написали карандашом: рекомендуем столовую… такую-то. И она была переполнена народом.

Газеты не обмолвились о «сообщении». Только одни «Биржевые ведомости» за статью «Доброта все побеждает», где сообщение обсуждалось с точки зрения гуманности, запрещены на два месяца. А между тем эта статья — сама правда.

Как жаль, что не пришлось вести поденную запись событий!

9 апреля

Два дня назад я подала в нашу канцелярию заявление об отложении экзаменов, ясное, короткое, без всяких «причин». Вчера был совет математиков, который рассматривал каждое прошение отдельно, и те, при которых не было приложено медицинских свидетельств, оставили без внимания, как не «мотивированные»; следовательно — на второй год… Сегодня утром приходит ко мне Х. и рассказывает… Я вспылила: а, так им надо и мотивировку?! Ладно, я им ее дам! Сейчас — в канцелярию, беру прошение обратно, вместо него пишу «мотивированное», ссылаясь на участие в студенческом движении и сходках, что мешало мне готовиться к занятиям, а следовательно, держать выпускные экзамены и получать диплом считаю нечестным после двухмесячного перерыва в занятиях. Откровенно донельзя, смело — очень, и поэтому понравилось всем; но Скриба, наш милый, всеведущий Скриба, ахнул: «Да это вы на себя донос написали?!» — Я смеялась… Знаю, что много впереди предстоит и условностей, и формальностей, — так неужели же нельзя раз в жизни, среди цвета интеллигенции (позволяю так выразиться о про-

фессорах), — нельзя сказать живое слово правды? Неужели же эти ученые мужи так поглощены канцелярщиной, что им выше всего условность; медицинских свидетельств такая масса, что просто смех, — ведь каждый профессор знает настоящую причину уклонения от экзамена.

10 апреля

Уже четвертый день у меня болит нога, и вот до сих пор я вожусь с ней. Опять повторяется та же история, что и в прошлом году. Теперь лежу в интернате, надеясь хоть этим как-нибудь не дать расшириться ранке. Посылают на Кавказ, на серные ванны в Пятигорск. Ах, как я не люблю этих курортов! Неужели же мне придется изведать их прелесть? Никогда не думала.

Вчера вечером я с О. Ю. Ка-нской была у проф. В., который предложил мне медицинское свидетельство, но я сказала, что нарочно подала такое прошение, так как мое решение было принято ранее, нежели заболела нога.

12 апреля

Сегодня я все-таки встала и поехала в редакцию «Русского богатства» — раньше никак не могла

застать Короленку. Он по-прежнему любезно меня принял, но относительно моей просьбы сказал, что затрудняется ее исполнить: «Не могу сейчас ничего вам сказать… всего вернее это вы сами узнаете по нескольким удачам или неудачам». И посоветовал мне направить один из рассказов в «Журнал для всех», сказав, что в таком журнале, как «Р. б.», он не пригоден вследствие своего малого объема. И даже предложил сам передать рассказ, на что я охотно согласилась, так как прихожу в ужас при мысли о беготне по редакциям. Другой рассказ — «Выстрел» — неудобно печатать, так как для среднего читателя он вряд ли подходит. Короленко сказал, что по мысли — оба рассказа хороши и написаны вполне литературно. Но, очевидно, он отозвался так потому, что не хотел огорчить меня. А мне, по правде сказать, хотелось главным образом одного: чтобы он сказал мне — «бросьте» и прибавил бы несколько таких пояснительных фраз, при одном воспоминании о которых перо выпадало бы у меня из рук, а с ним вместе пропадала бы и охота писать. Должно быть, я такая уж несчастная, что даже в этой просьбе — и то неудача[132].

---

[132] Примечания: 132

Один из рассказов впоследствии был напечатан. «Отчего?» — эскиз Е. Нерехтской.

15 апреля

ДВА ПОКОЛЕНИЯ

Посвящается настоящему и будущему студенчеству

Среди сухих, бездушных формалистов,
Среди жрецов насилия и тьмы,
Средь канцелярщины ученых эгоистов
Живем мы, пылкие и юные умы.

Друг друга мы понять никак не можем;
Жалеть ли нам об этом, господа?
Наш путь – иной; нам говорят: он ложен;
Нет, никогда! Нет, никогда!

Жалеть ли нам, что, жизнию рискуя,
За правое мы дело поднялись?
И, всей душою юной негодуя,
Мы смело за оружие взялись?

Жалеть ли нам, что ум и сердце наше
Еще не тронул пошлой жизни яд?

Что правда, равенство, свобода – краше
Для нас чинов, отличий и наград?

Да, не поймем мы никогда друг друга:
Они для нас – практичные дельцы,
А мы для них – рушители порядка,
Мечтатели, наивные юнцы.

Два поколения теперь восстали;
Кто победит? они иль мы?
Наступит ли свободы день желанный,
Иль вновь настанет царство тьмы?

Друзья, но если б даже царство мрака
Вернулось вновь, – надежды не терять!
Борьбою долгой и упорной будем
Врагов своих мы побеждать.

18 апреля

Терпеливо лежу… Хорошо, что не дома провожу эти дни Пасхи.

Вчера я заснула в 11 часов… Старые воспоминания — о былых встречах этого праздника, о той торжественности и таинственности, которою окружена была заутреня для меня в детстве, о

том умилении и восторге, которые охватывали душу в эти минуты, — не встают передо мною, так как я тщательно избегаю их. Оттого ли, что мне от этого больно? — Нет: оттого, что я узнала свое заблуждение, поняла всю неизмеримую пропасть между этой теорией и своей жизнью и, как честный человек, порвала связь с прошлым, перейдя Рубикон…

В голове у меня вертится план иронического письма, вроде «Lettres Persanes» Montesquieu[133]. Пусть, например, читает Узбек-Реди о нашем праздновании Пасхи…

«Расскажу тебе еще об одном удивительном явлении, которое повторяется здесь ежегодно весною. Оно начинается обыкновенно в феврале или конце января; люди пекут на обед круглые лепешки, которые они называют „блинами“, и едят их в большом количестве, с разными приправами, целую неделю, причем предаются самому бешеному веселью. Через неделю — внезапно наступает тишина, как на улицах, так и в домах; с высоких зданий, называемых „колокольнями“, несется особенный, заунывный звон, все церкви вдруг наполняются народом; нет ни веселья, ни

---

[133] Примечания: 133

«Персидские письма» *(фр.)* — сатирический роман Ш.-Л. де Монтескье.

спектаклей, ни балов. Они называют это „первой неделей Великого поста“, — который когда-то продолжался семь недель, но это нашли утомительным и скучным, и теперь постятся только первую и последнюю. Целый месяц между этими двумя неделями проходит как и обычные дни года. Потом опять церкви наполняются народом, ежедневно совершаются богослужения; люди называют эту неделю „Страстной“. Но почему-то последние дни ее особенно оригинальны: на улицах появляются горы съестных припасов, особенные хлебы, особенные сладкие пироги, называемые „пасхами“. Они говорят, что последние дни этой недели очень важны и знаменательны, так как их Бог, по воспоминаниям, именно в эти дни страдал и умер на кресте; но почему-то целые дни суетятся, покупая разные съестные припасы, очень вкусные и дорогие иногда, яйца всяких сортов, и прибирают свои жилища. Мне кажется, что они в эти дни забывают не только о том, что случилось когда-то, по их летоисчислению, 1899 лет тому назад, но даже о том, что было вчера. Так велика суета и работа везде. К полночи, в субботу — она достигает своего апогея: улицы полны народа, церкви набиты битком… Совершается торжественное богослужение. И странная вещь!

На другой день все газеты, как одна, на первых же страницах заявляют о величии и святости праздника, о том, как велико и свято учение их Бога и как они, т. е. люди, далеки еще от совершенства. Но это только на первой странице. А на дальнейших статьи все обычные, — и не видно, чтобы с этого дня стремились к совершенствованию, о котором говорят в статьях. С людьми же происходит странное превращение: во время полночного богослужения они вдруг начинают целоваться, лица их сияют улыбками. В три или два часа ночи они идут домой и начинают есть заготовленные яства уже без всяких молитв и без всяких пределов осторожности, что они называют разговеньем. Доктора их говорят, что никогда не бывает стольких желудочных заболеваний, как именно в эти дни. Так усердно они исполняют обряды, — часто во вред здоровью. И, — что всего удивительнее, — как это по их же рассказам я мог заключить, — в учении их Бога, Которого они называют Христом, никогда не было ничего подобного. Он, по их же словам, проповедовал любовь ко всем людям, сам был беден, кроток и умерен в пище; словом — жил как мудрец. Когда Он умирал, то не завещал ничего подобного, потому что в те времена, когда Он жил, — конечно,

никто не знал об искусстве делать такие сладкие пироги из творога, которые они теперь называют пасхами. В Его учении, наоборот, есть много мест, воспрещающих напрасные и безумные траты денег, говорится о помощи ближним, о всеобщем братстве. Удивительно хорошие мысли, но все те, кто признал Его своим Богом, должно быть, плохо знакомы с Его учением… Меня всегда поражало вышеописанное явление, периодически повторяющееся ежегодно. И мне кажется, что не для того ли они выдумали себе праздник, чтобы без стыда наедаться и напиваться? Женщины к этому дню шьют такие дорогие наряды, одна стоимость которых обеспечила бы не одну тысячу бедных семейств на год. Их религия говорит о целомудрии, но они в этот день предпочитают оголять верхнюю часть своего тела и, покрыв драгоценностями уши, руки, шею, приходят на богослужение. Так делают богатые. Бедные же, конечно, одеваются весьма скромно.

Вообще, чем более всматриваюсь в жизнь этих людей, тем более нахожу странного и необъяснимого в их жизни. Конечно, ты будешь удивлен этим письмом, но будь уверен, что дружбе не свойственна ложь, и я пишу тебе, что видел сам…»

Ярославль, 2 мая

Скриба пишет мне, что совет профессоров исторического отделения состоится 4 мая. Я была весь день в нервном настроении… А если… оставят на второй год? — мне это вовсе не желательно. Справиться у Скрибы — некогда: как только заживет нога, уеду на голод.

«Бывают дни, когда душа пуста»[134]. Вот такое-то время, кажется иногда, и у меня теперь: после всех этих волнений, забастовок — особенно во время пребывания в ненавистных мне стенах нашей квартиры — я чувствую тоску и именно пустоту души. Хотелось бы видеть около себя всех сестер, братьев, но без того ядовитого раздора, который сеет наша мать. Хотелось бы как страннику прийти отдохнуть в семье, мирной, дружной; семьи этой нет — и вот я снова беру свои пожитки, и снова в дорогу… И, чем дальше от Ярославля, тем легче на душе. Не возвращаться бы туда подольше… Да, сильно пострадали мои нервы за эти четыре тяжкие года!

Что-то будет?

---

[134] Примечания: 134
Цитата из стихотворения Н. П. Огарёва «Хандра».

По Волге, по дороге в Казань, 8 мая

С ранней весны я с тревогой следила за известиями из голодающих губерний. Надвигающаяся гроза студенческого движения на время отвлекла внимание от газет, но после 6 марта, когда вновь начались лекции, я снова стала усердно посещать читальню, за недостатком помещения переведенную в верхний зал интерната. В те дни я читала в «С.-Петербургских ведомостях» перепечатанную из газеты «Курьер» телеграмму князя Шаховского из Уфимской губернии о скорейшем выезде на помощь голодающим и тотчас же, узнав в редакции адрес газеты «Курьер», послала туда письмо с просьбою указать — куда ехать и к кому обращаться за указаниями по приезде на место. Когда же был получен ответ из Москвы — письмо потонуло в разгаре истории чуть не в буквальном смысле слова: в этот день был заперт главный подъезд (опасались натиска обструкционисток с улицы), и вся корреспонденция брошена на стол в коридоре перед столовой, заваленный жакетками и шляпами. С трудом найдя конверт среди платья, я прочла ответ — по приезде в Бугульму обратиться к доктору Андрееву, — и этот ответ уже не произвел на меня такого впечат-

ления, как чтение телеграммы. Разразившаяся буря подхватила меня в свой водоворот, и среди беготни на курсы, в студенческую столовую за известиями, к знакомым со сборами денег на пострадавших, чтением и собиранием стихов и бюллетеней, среди этой лихорадочной деятельности — только изредка вспоминала я телеграмму: «торопите отъездом… маршрут на г. Бугульму удобен…» Сердце готово было разорваться от двойственного сознания: как часть русского народа, я должна была идти на помощь мужику; как часть студенчества, как человек, имеющий свои определенные убеждения и признающий товарищество, — не могла не принимать участия в истории, не могла не следить за судьбою товарищей, не могла решиться уехать в тот момент, когда на Совете министров поднят был вопрос о закрытии курсов на три года.

Я осталась в Петербурге. Но вот в первых числах апреля положение дел достаточно выяснилось, вывешено было объявление, что прошения об отложении экзаменов на осень должны быть поданы в совет профессоров. Уже можно было уехать, но злая судьба и тут мне поставила препятствие, уложив на целый месяц в постель. Теперь, как только оправилась, — я решила

воспользоваться тремя неделями, бывшими в моем распоряжении до отъезда на Кавказ для лечения. Надо было торопиться, времени было так мало, и я выбрала Казанскую губернию, как ближайшую… Вместо писем, которых я не взяла из Питера, указаниями для меня будут №№ газет, где печатались письма о посылке пожертвований Куприяновой и Останкову, председателю губернской земской управы.

С такими сведениями выехала я в Казань.

Казань, 9 мая

В Адмиралтейской слободе я уже не застала Куприяновой, уехавшей в Тетюшский уезд, не застала дома и Останкова. В отчаянии от неудачи иду обедать в Волжско-Камскую гостиницу, читаю «Новое время» и из него узнаю, что проф. Высоцкий тоже организует помощь голодающим. Не сообразив того, что, быть может, он, как лицо официальное, состоит в Красном Кресте, которого я решила избегать, — я отправилась тотчас же к нему, чтобы получить сведения о частных организациях помощи голодающим. Он спал; пришлось снова зайти через час.

В небольшой комнате стоял высокий господин в мундире Министерства народного просвеще-

ния, с сердитым лицом. Не подавая руки, он приветствовал меня лаконически: «Что вам угодно?» Я ответила, что желаю работать в голодных местностях. «Видите ли, я представитель Красного Креста; я председатель медицинской комиссии; быть может, вы обратились ко мне, думая, что я устраиваю частную помощь». — «Вот тебе и раз!» — подумала я, но, вспомнив, что времени у меня мало, а Куприянову и Останкова дома не застала, сказала, что мне все равно, где бы ни работать — в Красном ли Кресте или частной организации, так как времени у меня немного, три недели. — «Три недели?! В таком случае совершенно не стоит и ехать! — авторитетно воскликнул проф. Высоцкий. — Помилуйте, вы откроете столовую и вдруг уедете! Да вы знаете ли, как у нас работают?! оттуда приезжают ведь как тени; вы что думаете — это не шутка, работать в голодных местностях!» — горячился он. Недоумевая о причине такой резкости, я объяснила ему, что не поехала раньше по болезни. «В таком случае вам и вовсе не следует сюда ехать, я как врач советую ехать вам спокойно в Пятигорск…» — нахмурившись, объявил профессор. Я вежливо заметила, что мое решение неизменно и врачей не всегда можно слушать. Я второй год

хочу сделать хоть что-нибудь для голодающих; в прошлом году не удалось; нынче — опять неудача. Неужели я такая пария судьбы, что она не даст мне удовлетворения законнейшего из желаний? Относительно же того, что на три недели не стоит ехать, я указала на газетные корреспонденции, где сообщали, что многие ездили на месяц… «Да ведь есть такие любительницы, которые сюда едут, воображая, что это так легко работать, — едут ненадолго; нет, нам таких любительниц не надо», — уже совсем рассердился профессор, приняв меня, должно быть, за одну из таких «любительниц» модных поездок. — «Впрочем, — он вдруг смягчился, — если вы так хотите, я могу вас послать не в качестве самостоятельного лица, а в качестве помощницы. Ко мне завтра приедет одна медичка, человек опытный, работавший уже и ранее на голоде; я переговорю; с ней — вы можете ехать как помощница». — «О, конечно», — с радостью согласилась я. Мне было решительно все равно, ехать в качестве прислуги, лишь бы ехать скорее, и я только спросила, когда он мне сообщит ответ. «Приходите ко мне в канцелярию завтра в 10 час. утра. Не можете? Ну, тогда я телефонирую вам в гостиницу часов в 12 или $12^1/_2$. А если вы хотите работать в частной организации,

то обратитесь к редактору „Казанского телеграфа“ Ильяшевичу, у него все сведения».

Я откланялась и вышла с облегчением. Нельзя сказать, чтобы это свидание произвело благоприятное впечатление.

10 мая

Не получив до часу никакого уведомления, я отправилась в редакцию «Казанского телеграфа». Долго искала я вывески: «Казанский вестник», а «Телеграфа» — нет. «Где же он?» — в отчаянии спрашиваю городового. — «А вон там, вывеска-то старая!» Вошла в крошечную, низкую комнату, дрянную, но с телефоном; за столом сидело несколько человек, фигура редактора выделялась среди них. Он любезно сообщил, что в настоящее время дело частной организации помощи голодающим сосредоточено у Петра Матвеевича Останкова. Наученная опытом, я предварительно сообщила ему, что дольше трех недель работать не могу… — «Вполне достаточно», — успокоительно сказал он и стал телефонировать в земскую управу; ему ответили, что О-в там. — «Вы поезжайте прямо туда», — посоветовал Ильяшевич.

Несколько ободренная, явилась я в городскую управу. Шло заседание; земцы горячились, рас-

суждали, разумеется, о деньгах и, конечно, на кого-то негодовали, говорили, что писали шесть раз о 40 тысячах и напрасно, а Курбатовы счета шлют, требуют… Словом, заседание было в разгаре, и я слушала его, стоя в ожидании у конторки. Председатель, очень симпатичный пожилой господин, подошел ко мне, узнал о цели приезда и тотчас же дал письмо к своей жене, которая тоже принимала деятельное участие в работе для голодающих.

Через полчаса я уже сидела в гостиной г-жи Останковой. Эта дама без лишних слов объявила мне, что они едут сегодня к себе в имение и отвезут меня на своих лошадях вместе с Ждановой, молоденькой, очень славной курсисткой-педагогичкой из Москвы; она ехала в дер. Большие Нырсы, татарскую, на $2^1/_2$ мес., я же была направлена в село Б. Меретяки в помощь батюшке, так как, ввиду краткости времени, мне одной столовую поручить было неудобно. Мне оставалось только собраться; через два часа мы уже были в пути.

День был жаркий; до Елани — имения гг. Останковых — было около 35 верст. Я с любопытством смотрела на встречные деревни и, проезжая через одну из них, невольно ахнула, увидев на малень-

кой избушке надпись: земское училище. — «Еще и хуже бывают!» — отозвалась моя спутница, более меня знакомая с деревней. Невольно защемило сердце при мысли, что еще не то увидишь… И вспомнилась мне виденная где-то на выставке картина, изображающая комнату сельской учительницы: я тогда была на первом курсе и мечтала стать народной учительницей. Увидев эту картину, эту бедную обстановку, я остановилась, и какой-то смутный страх наполнил душу… Я испугалась предстоящей бедности, отречения от того комфорта, к которому привыкла от рождения. Помню, как мне потом стало стыдно и как я нарочно долго стояла перед картиной, чтобы глаз мог привыкнуть к этой обстановке. Так и теперь, при замечании Ждановой, мне опять стало стыдно. Я перевела разговор на педагогические курсы в Москве.

К вечеру приехали мы в Елань. Большой старый барский дом был оживлен; часть семьи О-вых уже переехала туда, и дети бежали навстречу матери. Усталые, мы с удовольствием думали об отдыхе. Нам отвели отдельную комнату…

12 мая

10-го утром проснулась я рано. Все спали. Хотела выйти в сад — двери заперты; недолго думая — в окно, причем сломала нечаянно одну из скамеек для цветов, проклиная свою несчастную способность вечно сделать что-нибудь не так. Утро было чудное; сад, пруд, поэтическая обстановка, среди которой не верилось даже, что едешь на голод.

Мне страшно хотелось ехать поскорее, но выехали только во 2-м часу дня в другое имение — Гремячку, куда приехали только к вечеру; там мы должны были тоже переночевать и уже оттуда выехать в наши деревни.

Вчера утром, перед отъездом, в открытой здесь столовой мы попробовали кушанье, и оно показалось нам очень вкусным: пшено, капуста, с приправою из масла, луку, перцу и лаврового листа.

Пока мы рассуждали о предстоящей работе, пришли сказать, что две бабы из с. Большие Меретяки просят милостыни. «Вот оно, начинается!» — подумала я и пошла в сени. Две бабы бросились в ноги. Ошеломленная неожиданностью, я стала их поднимать. Бабы говорили плачущими голосами, перебивая одна другую. Я

могла разобрать только, что у одной 6, а у другой 7 человек детей, что они голодают, что в столовой не все записаны…

Мы дали бабам по двугривенному. Пора было ехать. Приехал управляющий имениями Останковых — П-ков, который и должен был отвезти нас на место; помещица снабдила нас рекомендательными письмами к священнику и к студенту, командированному Красным Крестом, в участке которого находились наши деревни.

Нам оставалось каких-нибудь верст 15. По дороге мы остановились в деревне Шебулатово (русская). Управляющий хотел показать нам столовую, — раздача еще не начиналась, но приварок был готов. Он оказался совсем пресным. Хозяин отговаривался тем, что забыл послать за солью. П-ков сделал ему замечание, велел послать за солью. Сели и поехали дальше. В Шамках столовая Красного Креста, ею заведовала монахиня. Где смех, а где горе. Бедная «шамковская матушка» очутилась поистине в безотрадном положении: в татарской деревне, у муллы! Сначала она проливала горькие слезы, потом привыкла. Г. П-ков спросил о ней у муллы: «А что матушка делает?» — «Да ничево; сначала плакал, теперь смеялся». Мулла и не подозревал всего остроумия

своего ответа.

Мне вспомнилось, с каким самодовольным видом развертывал проф. Высоцкий отчет Красного Креста… Здоровый народ кормится в невозможных столовых: на 20 человек 1 фунт пшена (позже, в день нашего приезда, прибавили по фунту капусты) — и только. Мы попробовали жиденький приварок и вздохнули. Командировано 50 монахинь… 50 монахинь! Как это звучно. А как они ехали, сколько слез пролили, хороши ли были эти подневольные работницы — отчет умалчивает… Недаром вся эта казенная организация помощи с самого начала своих действий, вроде командировок генералов из Петербурга, как-то не внушала к себе доверия.

Село Большие Меретяки только в 2 верстах от Шамков; мы поехали прямо в деревню Большие Нырсы — за 3 версты, чтобы там оставить Жданову и повидаться с Шишкиной, заведовавшей столовой. Пошел дождь. Мы сели за чай, когда вышла высокая, стройная девушка с лицом простым, но симпатичным, в мокром платье, — это и была Шишкина. Мы поздоровались. Управляющий начал вести с нею разные счета и соображения относительно столовых; я сначала слушала с интересом, наконец и самой захотелось поскорее

на место… Непривычная азиатская обстановка несколько развлекла внимание. Я торопила П-кова ехать скорее, чего, по-видимому, ему не очень хотелось.

Днем мы приехали и были у батюшки. Я подала ему письмо г-жи О-вой, познакомилась с матушкой; подали чай… Батюшка, из крещеных татар, еще очень молодой, оказался очень любезным и предложил мне переночевать у себя. Заведывание столовыми он не счел удобным для себя сдавать мне, — так как на три недели стоит ли сдавать, да потом опять принимать? — совершенно резонно рассудил он и предложил мне заняться больными.

13 мая

Наняв квартиру у одного из «уцелевших» от голодовки мужиков, я с батюшкой утром отправилась в столовую. Она помещалась в избе довольно просторной. Народ начинал собираться. Поклонившись хозяевам, я села на лавку и не без внутреннего смущения осматривала этих голодающих. Ничего ужасного не было. На деле оказалось все гораздо проще, нежели представлялось издали, при чтении газетных корреспонденций. В углу стоял стол, за которым

сидел мужик средних лет с тетрадкою в руках и вызывал: «Владимир Ерофеев, на троих, полтора фунта, — получай!» Другой мужик, замечательно красивый старик, отвешивал хлеб и выдавал. У печки с двумя котлами пожилая баба, в красном сарафане, степенно разливала ковшами приварок. Каждый получивший хлеб подходил с своей кринкой к бабе, и та наливала в нее порцию на троих, на двоих, смотря по количеству записанных в столовую. Остальные, по большей части ребятишки, несколько баб и два-три мужика, дожидались своей очереди.

Вдруг одна из женщин, которой только что выдали обед, бросилась мне в ноги: «Спасибо, кормите вы нас!» — потом встала и ушла, удовлетворив свой порыв благодарности. А мне было очень стыдно принимать невольно изъявления чувств, не сделав еще ни шагу на помощь крестьянам.

Я потихоньку расспрашивала батюшку, кто это читает, как устроена столовая и проч. Так как батюшка сам лично, разумеется, не мог присутствовать при раздаче каждый день, то назначил доверенных из крестьян. И надо ему отдать справедливость — он выбрал их очень удачно, особенно этот мужик — был грамотный

и единственный в селе любитель «почитать», выписывавший «Сельский вестник». Далее узнала, что столовая открыта была на 200 человек (всего наделов в с. Б. М. 319), впереди предстояло сделать прибавку на 50 человек, но батюшка, уже давно получив уведомление от Останковых, никак не может найти больших размеров котел. Я, конечно, предложила пойти поискать самой, он любезно вызвался сопровождать меня, и мы отправились в дер. Удельные Меретяки, 62 в. от села. Там были две столовые — от Красного Креста на 45 чел. и от Останковых на 66–67 чел. (наделов 84, сколько же душ — точное число батюшка не мог мне сообщить. От Кр. Кр. в Б. М. столовой не было, но выдавали на 165 чел.).

Уд. Меретяки — маленькая деревенька; пока мы шли туда, раздача уже окончилась. Искали котла, ходили по избам, но нигде не было подходящего. Возвратясь домой, решила продолжать поиски и после обеда пошла в дер. Верхние Меретяки с о. дьяконом (тоже из крещенцев). Это крещено-татарская деревня. Меня уже предупредили раньше, что татары крещеные не признают себя за татар, но, не зная русского языка, не считают себя и русскими, а весьма оригинально — крещенцами. «Они обидятся, если вы назовете

их татарами», — говорила мне матушка, а я не верила, пока не увидала на деле.

Верхние Меретяки — большая деревня на открытой безлесной местности, как и первые две. Речки тоже нет, но зато много ключей и оврагов; поэтому здесь местность сырая и много хворают лихорадкой. Дорогой я расспрашивала о. дьякона о столовой, о крестьянах, приходе. Здесь столовые помещаются в 6 домах — 3 от Красного Креста и 3 от Останковых. Во всех столовых Останковых кормились 186 чел. (наделов 248) и от Красного Креста — 160 человек.

Так как теперь было много больных, то мы пошли прямо к старосте, у которого просили список. Староста, бойкий и подвижный мужик, так и рассыпался перед нами. Доставлен был список, мы пошли по избам, мне хотелось ознакомиться хотя немного с положением больных. Не обладая никакими медицинскими знаниями, я, конечно, не могла ничем помочь, но могла заключить, что цинга, должно быть, здесь есть.

Что меня поразило во всех виденных деревнях — изобилие крестов на улицах и кругом деревни. Ставятся кресты такие, как на кладбищах, только весьма внушительных размеров, или же похожие на часовни: на столбах иконка, прикрытая

крышей, и внизу болтается нечто вроде «пелены» из полотна или платка. Я спрашивала и батюшку, и о. дьякона о причине такого явления — оба объяснили это религиозностью народа, которая здесь, мол, очень сильна, так как они окружены иноверцами. Точно так же меня удивило и то, что все деревни, все села были обнесены околицами. Читая книжки, я, разумеется, слыхала о них, но, не видав ничего подобного в фабричных деревнях Ярославской и Владимирской губерний, думала почему-то, что их теперь уже не делают. Здесь же мне объяснили, что без них нельзя — скотина в поле выходит…

Внутренность изб отличается от русских большими нарами, которые везде занимают половину избы, да большим количеством подушек в разноцветных наволочках. У женщин характерный головной убор — нечто вроде наушников, унизанных монетами, и красный платок, завязанный сзади; уши открыты. Платье в виде длинной голубой рубашки домашнего тканья обязательно с красными ситцевыми оборочками, с глухим воротом, а шею плотно охватывает коралловое ожерелье с подвесками из старинных серебряных рублей, числом иногда до 8 штук (у бедных не менее 5), попадаются иногда и очень старинные

— времен Петра II, Екатерининские же и Елизаветинские рубли почти у каждой бабы. Широкие рукава рубашки засучены по локоть; вместо подверток на ногах носят толстые шерстяные белые валеные чулки и лапти. Одежда мужчин ничем не отличается от русских. «Наш крештёнский норма (форма) такой», — отвечали мужчины, когда я их спрашивала, отчего носят эти наушники. Женщины, за самыми ничтожными исключениями, вовсе не говорят по-русски, объяснялись кое-как, но почти постоянно переводчиком был о. дьякон.

17 мая

Вот уже четвертый день, как я «знакомлюсь с экономическим положением народа». Впечатлений много, и все неотрадные. Я знала заранее, отправляясь сюда, что не имею понятия о настоящем русском мужике, так как наши ярославцы народ очень развитой, бойкий и «просвещенный» той полугородской, полуфабричной культурностью, которая так соблазнительна по внешности и так малосимпатична по своему содержанию. И вот, читая в газетах, журналах иеремиады о мужичке, я видела всю разницу между нашим ярославцем и мужиком из земледельческих гу-

берний. Но когда я увидела всю эту разницу на месте — то от всей души повторила с поэтом:

Их нищета, их терпенье безмерное
Только досаду родит…[135]

Да, не столько жаль, сколько досадно! А иногда вырывается бессильная злоба на вековой гнет, который в результате дал молодцов по внешности, но ребят по складу ума. Тьма-то, тьма-то кромешная!

Народ здесь благодушествует во время урожая и бедствует при неурожае, — та же первобытная зависимость от природы и беспомощность, что и в доисторические времена. Эти взрослые дети с трогательною наивностью отвечают на вопросы, отчего не идете на заработки: «Мы портняжим (в Верхних Меретяках), почитай, вся деревня… в Чистопольский уезд ходим, ну а нынче и там заработки-то плохие, потому и там голод… Ну, мы и вернулись». А куда-нибудь идти в другое место, приняться за другое дело — им и в голову не пришло и не умеют.

Кто виноват?

Даровая помощь развращает народ, говорят.

---

[135] Примечания: 135

Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Литература с трескучими фразами…».

Отчасти я это вижу и здесь: ко мне приходят так, попрошайничать зря, а что делается в Больших Нырсах со столовыми, сколько там злоупотреблений, как народ обкрадывают, обвешивают, варят жидкую кашицу, как врут и изворачиваются, — об этом знает лишь заведующая столовой. В голод 1891 года, когда здесь была одна англичанка и оказывала помощь хлебом и одеждой, ее обманывали без зазрения совести и потом над нею же смеялись.

21 мая, днем

В столовой шум… нечто похожее на битье в набат, когда полдеревни сгорело… Всех, конечно, не прокормишь, а та часть, которая кормится, все равно делится своим приварком с прочими членами семьи, разбавляя его водой. По-настоящему сыт никто, наверно, не бывает, но и не голодны.

Народ в силу своего невежества не может правильно смотреть на столовые и вообще на подобного рода помощь; даровая раздача чего-либо представляется ему чем-то обязательным для всех, несмотря на разницу положения семьи. Сегодня, например, пришел ко мне бедный «крещеник» просить картошки для посева в огороде, одновременно с ним пришел и состоятельный

с такою же просьбою. Хорошо, что хозяева предупредили меня, а то выдала бы деньги совсем зря. В Больших и Малых Нырсах — татарских деревнях — еще того хуже: кража, ложь и общее замалчивание всякого мошенничества, сплочение массы, делающее очень затруднительным борьбу с этим злом. Русские еще скорее выведут на свет лганье, но татары стоят друг за друга и не выдадут ни вора, ни плута, а поддержат его.

Мало-помалу меня охватывает какая-то усталость от сознания бесплодности своей работы. Ясно сознаешь, что в конце концов вышло более пользы из этой поездки для себя лично, для опытности и знакомства с положением народа, но для него, для народа-то… вряд ли что-нибудь сделала…

Вот и теперь: больные у меня в деревнях, — что я могу для них сделать? — Раздавать лекарства, которых очень мало и в аптеке-то (в с. Казылях), чай, сахар и лимон? Белый хлеб? — Но ведь его так немного, 5 пуд. 30 фунтов уже раздала, а всего-то по $^1/_2$ ф. в день на человека, — много ли этим поможешь? Вот и студент, командированный от Красного Креста, говорит, что его цинготные пока поправляются, а его командировка кончается 10 июня и столовая Красного Креста закрывается.

«Что же потом?» — Он пожимает плечами: «Потом, быть может, начнется та же цинга… что ж я сделаю?»

Стоило ли ехать сюда на три недели: много ли пользы я принесла? — И в то же время не можешь не сознаться, что, если б не поехала, — кто бы позаботился о здешних больных? А выздоровеют ли?

25 мая, дер. Верхние Меретяки

Завтра день великого праздника народа русского, а я — открываю питательный пункт здесь для цинготных больных. Таким образом, сбылось, хотя и помимо всякого содействия с моей стороны, желание одного писателя, который вместо торжеств, стоящих больших денег, предлагал в этот день кормить голодающих «именем Пушкина». Помню это письмо в «СПб. ведомостях»: оно мне понравилось, и я тотчас же отправила его автору сочувственное письмо, без подписи.

А все-таки хотелось бы, ах как хотелось бы в этот день в Москву, в Святые Горы, поклониться могиле его, посмотреть на выставку Пушкинскую. Грустно, грустно проводить этот знаменательный день здесь, среди полнейшей азиатчины, среди тьмы невежества, бедствия и с сознанием

слабости своих сил.

Тем не менее я не колебалась в выборе: вместо Москвы, или Святых Гор, или Петербурга поехала сюда, желание «послужить народу» переломило всякие эгоистические соображения, и я здесь; но вот в этот день — моя прежняя страсть к литературе просыпается, почитание Пушкина, увлечение его творениями с детства — все вспоминается мне, и я переживаю борьбу, запоздалую, конечно, но все-таки борьбу…

Дня три назад получен здесь сборник избранных сочинений Пушкина, изданный редактором «Русского чтения», составленный довольно плохо, но я и ему обрадовалась: точно благоуханием повеяло на меня при чтении этих гениальных страниц, полных поэзии, такой поэзии, выше которой вряд ли что-либо есть на свете… Я перечитала его уже два раза, выбирая отрывки для чтения крестьянам, которое намеревалась устроить завтра — в день рождения поэта. Но вчера, встретившись в Больших Нырсах с Игнатовичем, получила от него предложение устроить столовую и чайную для больных цингой в Верхних Меретяках. Ввиду предстоящего скорого отъезда, надо было спешить пользоваться временем, и вот вчера я наняла квартиру, сегодня я переехала

и открыла чайную…

Как досадно, что это — крещено-татарская деревня, где почти никто не говорит по-русски! Будь это среди своих мужиков — я непременно сообщила бы им в этот день о Пушкине. От мысли же устроить чтение все-таки не отказываюсь: 27-го Вознесение, и народ свободен — только бы успеть мне накормить моих больных, — и между обедом и чаем будет промежуток времени, достаточный вполне, чтобы прочесть несколько стихотворений, две-три сказки и несколько глав из «Капитанской дочки» — словом, все то из сборника, что выбрано без доморощенных сокращений. Даже досадно за нахальство составителей книги: за 25 коп. не могли они дать цельного «Руслана и Людмилы», более толково написанной биографии и более умело выбранных отрывков…

Завтра, в первый день столовой, много хлопот, ляжешь усталая, а Шурка в это время, наверное, будет пожинать актерские лавры, читая на гимназическом вечере «Братьев разбойников».

Мне хотелось бы посетить могилу Пушкина ночью, остаться хоть минуту наедине с дорогим памятником. Надо бы еще посетить могилу Лермонтова — это тоже моя мечта. Досадно, что не

пришлось нынче же весною окончить курсы, — тогда «Пушкинский выпуск» связал бы меня навеки с воспоминанием о Пушкинских днях.

Какое противное лицо у матери Пушкина! Черствое, грубое, чувственное, в нем есть что-то животное. По характеру своему — взбалмошному, упрямому — она напоминает мне мою собственную мать. Она тоже любила дуться и не говорить после ссоры…

26 мая, 10-й час вечера

Громко плачет ребенок, внучок моей хозяйки-«крещенки»… Движение в деревне заметно. Я одна, покончив со всеми делами по столовой и чайной, составила примерную программу для чтения пушкинских произведений крестьянам завтра, в праздник. Просматриваю и волнуюсь, удастся ли, оповестит ли батюшка народ о чтении после обедни, как я попросила? К несчастью, это вполне «батюшка», дрожащий перед начальством, сознающий свою зависимость от мужиков, хотя это и прикрывается угрозами… Будь я вполне свободна — не поленилась бы обойти все село Б. Меретяки и созвать народ, да некогда теперь…

Мысли мои были далеко-далеко, в Москве, в Святых Горах, в Питере, в Ярославле… Цвет

русской интеллигенции чтит память великого поэта, а здесь, в Азии, собирается голодный и больной народ поесть в «столовые», по здешнему произношению.

Грустно! За эти дни сердце притупилось к страданию, чему более всего способствовало попрошайничество и обман самих же несчастных, которым помогаешь. Привезешь, напр., доктора в дер. Большие Меретяки, пропишет лекарство и белый хлеб — за хлебом ходят аккуратно, а в аптеку не посылают. Я прихожу навестить — больная не поправляется. Отчего? — Сознаются, что еще ничего не брали из аптеки — изба полна народу. Строго взглядываю на рослую девку и говорю: иди завтра же в Казыли! — «Боюсь!» — «Что-о? средь бела дня? Я барышня, и то хожу вечером одна, а ты днем боишься? Иди без разговоров!» — Внушительный тон производит впечатление; идут; и так еще в нескольких домах… Руки опускались при сознании бесплодности всей своей работы, и я очень обрадовалась, когда Игнатович предложил мне открыть здесь питательный пункт Красного Креста. Здесь, по крайней мере, будешь сознавать пользу работы, будешь знать, что хорошая пища — для цинготных спасение, а то — не угодно ли наблюдать за лечением таких больных,

как лихорадочные, с разными туберкулезными и желудочными заболеваниями, которые, кроме пищи, требуют и лекарства, — аптека же далеко, а земский врач Игнатович нагнал почти панический страх на этих первобытных детей природы. В конце концов боишься помогать, всякая помощь вызывает только попрошайничество, опротивеет и слушать просьбы, и не является желание их удовлетворить.

11-й час… В то время, как по всей интеллигентной Руси еще не замолкли звуки празднества, — другая Россия, темная, полудикая, мирно спит в своих лачужках, с тем чтобы завтра — начать снова то же темное, полуголодное существование… Всеми силами души я ненавижу крепостное право! Ненавижу и дворянское сословие, умевшее только жить даровым трудом! Оно распадается теперь, чинное, праздное, и разоряется, несмотря ни на какие поддержки. С злобной радостью слежу я за этим историческим возмездием!

Я принадлежу к тому классу, который издавна, от дедов, унаследовал пренебрежение к дворянскому сословию; встарь — купцом они помыкали, а теперь к нему пошли на поклон. Помню рассказы, слышанные в детстве, о любви дворян к богатым купеческим невестам, и глубокое пре-

небрежение к тунеядству этих бар всосалось в мою кровь, теперь же вдруг всплыло с необыкновенною ясностью при виде народного бедствия, тьмы и невежества…

31 мая

На голоде

Романс

(Николаю Дмитриевичу Игнатовичу, студ. – медику Казанского университета)

По длинной и пыльной дороге,
Лишь солнце блеснет в небесах, —
Несется студент длинноногий,
Несется на двух лошадях.

Согнувшись под тяжестью шубы,
Он боком в корзинке сидит
И молча на путь свой далекий
Уныло и грустно глядит.

Что с молодцем красным случилось?
Откуда такая печаль?

Кто очи его затуманил?
Что тянет его туда, вдаль?

В газетах досужий писака
Черкнул, что здесь помощь нужна, —
И вдруг в этот край заявились
Три барышни, – вот тебе на!

Он думает горькую думу:
Стряслась же такая беда,
Что именно в мой-то участок
Нелегкая их принесла.

Простите, спокойные ночи,
Когда, утомясь от трудов,
Он ехал домой поскорее
Под мирный родительский кров.

Теперь он не знает покоя
Ни днем, да и ночью нигде, —
Девицы следят за ним зорко;
Разыщут, наверно, везде.

Разыщут, и каждая с просьбой:
Одной – надо хины опять,
Другой – надо чая, лимонов,

И все не забыть, все послать...

И сколько бы раз он ни ездил,
И сколько б подвод он ни слал,
Курсистки цингу вновь отыщут, —
И снова он к ним поскакал.

И вот – голова пошла кругом
От этих Нырсов, Меретяк,
Больших Николаевок, Малых,
Шатков, Кар-Баян, Ботеряк...

И думает с грустью бедняга:
Уж, видно, мой близок конец,

И эти курсистки плетут мне
Жестокий терновый венец.

И вот отчего так уныло
И молча все вдаль он глядит,
И вот отчего безнадежно,
Согнувшись, в корзинке сидит.

По дороге из с. Казылей в с. Б. Меретяки.

1 июня

ПЕСНЯ

(Ему же)

Милый друг, когда унылый,
Полинялый, запыленный,
Ты в корзинку сел,

И согнувшись по привычке,
С папиросою и спичкой
К Шишкиной летел, —

В это время ожидали,
Нетерпением сгорая,
Мы втроем тебя:

Ты приди, наш сокол ясный,
Поспеши, наш друг прекрасный, —
Ждем тебя любя.

Мы к тебе навстречу выйдем,
Мы тебя с корзинки снимем
И к мулле введем;

И возьмем мы длинный список

И с ним целый ряд записок, —
По больным пойдем.

Обойдем домов хоть двести,
А потом опять все вместе
В чайную зайдем.

Там больных совсем немного;
Ну, – душ сорок, – ради бога —
Поскорей пойдем!

Так тебя мы призываем,
От тебя мы ожидаем
Всяких благ земли.

Ты лимонов для цинготных
Да и чаю плиток плотных
Не забудь – пришли!

Не сердись, когда порою
Мы, озлоблены нуждою,
Побраним тебя.

Мы так долго ожидали,
Что сердца наши устали
Ждать тебя любя.

Средь Нырсов, Больших и Малых,
Азиатов одичалых —
Мы втроем сидим,

И, томимы ожиданьем,
На дорогу с упованьем
Все глядим, глядим...

Поспеши же, друг наш нежный,
«Врач унылый, безнадежный»,
Поспеши скорей!

И в Нырсы, и в Меретяки,
И в Шатки, и в Ботеряки,
Погоняй быстрей!

С. Бол. Меретяки.

2 июня

А. И. Шишкиной

Прощай, коллега дорогая!
Среди Нырсов своих Больших,
Среди трудов – не забывай же
Своих сотрудниц молодых.

Ты вспомни нас, когда приедет

К тебе цинготных навестить
Наш азиат – коллега милый,
С ним вместе будете ходить

Вы по селу; а мы в Казани,
В пыли, жаре и духоте —
Вновь возвращаемся к обычной
И скучной жизни суете.

Нам жаль оставленного дела,
Нам жаль народ; его нужда,
Его невежество глухое —
Вот наша русская беда.

И грустно, грустно поневоле…
Среди неведомых равнин
Влачит, покорный тяжкой доле,
Свою нужду наш селянин.

Мы волею судьбы суровой
Работать долго не могли;
Осталась ты одна, – но смело
Дорогой прежнею иди.

И пусть среди твоих волнений,
Борьбы со страшной силой зла —

Тебе сияет утешенье:
Ты сделала все, что могла.

По дороге в Рыбную слободу, в Казань.

Пятигорск… июня

Глубокоуважаемый Лев Николаевич.

Судьба устроила так, что пришлось ехать к голодающим с одною из курсисток, которая знакома с Вами, – Ждановой. Вы близки сердцу всякого мало-мальски думающего человека не столько как писатель-художник, сколько как человек, писатель-моралист, затрагивающий идеи, вечно близкие человеческому сердцу. Когда я, впервые в жизни, услыхала передачу Ваших слов не из книги, а в живой речи, – переживала странное впечатление: мне казалось, что Вы еще ближе подошли ко мне, подошли как человек с такими душевными качествами, перед которыми исчезли та застенчивость, тот страх перед неизвестностью приема, которые охватывали душу всякий раз, как на ум приходила мысль о личном свидании с Вами или о письме к Вам.

И вот теперь я хочу написать Вам свои впечатления от поездки к голодающим и спросить Вашего совета относительно одного намерения.

По приезде в Казань я обратилась к г. Останкову за советом – куда ехать; жена его взяла меня и Жданову, чтобы отвезти на место. Нас направили в Лаишевский уезд, меня – в Ключищенскую волость, село Большие Меретяки, Жданову – верстах в 4 от меня, в татарскую деревню Малые Нырсы. Но мое назначение оказалось очень неудачным в смысле работы: дела мне было очень мало, так как я не заведовала столовой самостоятельно, а была дана в «помощь» батюшке, который заявил мне, что на три недели (я дольше пробыть не могла) он не находит удобным сдавать мне столовую. Оставалось или уезжать назад, или же послушаться батюшки, который заявил еще, что здесь много больных. Но и больных в двух русских и одной крещено-татарской деревне в районе батюшки оказалось не так много, чтобы не иметь свободного времени. И вот я, волей-неволей, не могла

работать так, как мечтала, – весь день без отдыха, и могла посещать в свободное время те татарские деревни, в которых работала Жданова с одною курсисткою тоже из Москвы. У меня же были две русские деревни и одна крещено-татарская. Оставалось только сравнивать и изучать жизнь.

Такой бедности, такой грязи, которые господствуют в татарских деревнях, я не видывала среди русских, которые, в общем, живут сравнительно с татарами даже недурно. В с. Большие Меретяки тоже все пользовались столовыми, но в избах по большей части чистота, и бедняки живут в плохеньких избенках. Беднейшие же татары – роют землянку, покрывают ее соломенной крышей, ставят внутри печку, делают из земли нечто вроде нар, забеливают все это – и хата готова. Всюду грязь, всюду бедность; чисто азиатская страсть к украшениям, наивное любопытство дикаря. То, что в детстве мы читали в книге «Робинзон Крузо», повторялось в действительности: татары хватали нас за одежду, щупали

ее, хвалили материю, в комнату входили во всякое время дня и ночи. Особенно татарки любили приходить в комнату Ж., когда мы сходились у нее: придут и, облокотясь на печку, смотрят без конца, слушая непонятный им разговор и наивно улыбаясь.

И подумаешь: 300 с лишком лет прошло со времени взятия Казани, а уровень культурного развития покоренного народа – тот же. Те же невежественные муллы, то же примитивное лечение чтением Корана, то же образование, ограничивающееся изучением кое-каких религиозных начал. Не только не заметно никакого русского влияния на некрещеных татар, но наоборот: скорее русские мужики отатариваются.

Наши правящие сферы любят хвалиться пресловутой гуманностью русской политики относительно подчиненных нам народностей. Да, мы не располоняваем Польшу; но зато мы не растатариваем и татар. В результате получается, что мы не более как через 4–5 суток езды от Петербурга попадаем в Азию, Афри-

ку, к дикарям – куда угодно, только не в культурную страну! Право, нам незачем ездить в Абиссинию, в дальние путешествия – и у себя дома диковинок много! Глупо соваться нам с идеей обрусения к народам, по культуре стоящим выше нас; но если волею судьбы мы господствуем над дикими народностями, то приобщить их к свету просвещения – составляет нашу нравственную задачу. Обидно, больно при мысли, что мы истратили массу средств на то, чтобы заставить всех служащих немцев в Остзейском крае говорить по-русски, – немцев, которые несравненно культурнее нас и в глубине души ненавидят и презирают нас за эти стремления; а в татарской деревне ни один мулла не сумеет двух слов сказать правильно по-русски, и то лишь в узкоправославном духе. По крайней мере, у крещеных татар я не видала ни одной путной книги в переводе на татарский язык, даже Евангелия нет, но зато знают… об явленных иконах и отрывки из богословских молитв – вот и вся умственная пища татар, выносимая из уменья

читать.

Для татар необходима русская школа, знание русского языка, знакомство с русскими писателями. Шаг в этом направлении уже сделан покойным Ильинским, но лишь для крещеных татар; для некрещеных – так и не делается ничего. А между тем надо бы начать с духовенства. Необходимо было бы требовать от муллы хорошего знания русского языка, знакомства с лучшими русскими писателями и при назначении на должность подвергать особому экзамену по этому предмету. По-русски образованный мулла не может быть таким невежественным азиатом, каким он является в настоящее время. Влияние же их на своих соплеменников огромно.

Я не имела возможности ознакомиться подробно с экономическим положением, да это и трудно было из-за незнания языка и невозможности иметь всегда переводчика. Сами татары говорили, что их наделы меньше русских, русские же мужики обвиняют татар в лености. То же повторяет Молчанов в «Новом времени» –

быть может, это справедливо. Но странно обвинять нам татар *в лени,* когда мы сами не делаем ни шага, чтобы хоть немного озарить эту кромешную тьму азиатчины. Как можем мы удивляться на приниженное положение женщины у татар, когда на наших глазах духовенство оставляет без внимания чисто магометанский обычай крещеных татар по отношению к их женам: молодая крещенка не может говорить вслух при родственниках мужа, пока они не дадут ей денег, а этого подарка ей приходится ждать долго, иногда два-три года.

Русская земская школа в селе Б. Меретяки не имеет никакого значения и влияния на население: при ней нет библиотеки, хотя местные крестьяне не особенно бедные, – и по выходе из нее разучиваются читать, как они мне сами же сообщили. Помещения отдельного для нее нет, и она кочует из избы в избу: мирской сход с 4 р. в месяц сбавил плату до 2 р. 50 к. (с дровами), и поэтому для нее не находится порядочного помещения, а учащихся до 70 чел. В деревне Малые

Нырсы тоже земская школа – в крошечной избушке, хоть и чистой, но низкой и душной. В обеих школах учителя из крестьян-крещенцев; я их не видала, так как они, окончив с экзаменами, уже давно уехали на каникулы.

Лев Николаевич! Я уехала оттуда с сознанием необходимости помощи населению не только теперь, в голодный год. Мужик русский и татарский там до того беспомощен во тьме своей, что ничего не знает, кроме земледелия. Не знает никаких ремесл, а о кустарных изделиях и помину нет. Я много раз беседовала с мужиками на эту тему, и в ответ всегда получала сожаления о прежних временах, когда и урожаи были хороши, и лесов много было… – «Ну а теперь везде все по-другому пошло, – допытывалась я у мужиков, – значит, надо же за что-нибудь другое взяться, надо ремесла…» – «Так-то оно так, да мы, сестрица, к этому не привычны… мы не умеем… – слышала я со всех сторон, – а вот в старые те годы… куды как хорошо было», – повторялась сказка про белого бычка.

И вот в результате столовые хотя и являются как плод благородного порыва, – но похожи на битье в набат, когда полдеревни сгорело. Голод 1891 года не натолкнул русское общество на серьезное исследование всех причин народного бедствия, и, оказав народу помощь столовыми, мы успокоились; опять пришла беда – мы опять за столовые. А между тем именно такой вид даровой помощи взрослому работнику, ставящий его на один уровень с детьми и неработниками, скорее дискредитирует нравственное воззрение народа на помощь. Не в голодный год надо помогать мужику, а учить его в урожайные годы, как переживать голодные. Тогда взрослый работник справился бы сам, и помощь осталась бы для неработников, детей, стариков, и в более солидных размерах, нежели теперь. Необходимо так или иначе разбить заскорузлый вековой слой невежества, дикости, азиатчины. «Что же я могу сделать?!» – спрашивала я себя с отчаянием, которое невольно охватывало душу при мысли, что ведь голод опять может повториться, – и опять те

же столовые… Необходимо прежде всего – просвещение, школы с какими-нибудь ремесленными классами, – тогда легче будет учреждать в голодные годы дома трудолюбия. Школа с библиотекой может хоть немного двинуть вперед спящую мысль, расширить умственный горизонт… На все село Большие Меретяки в 500 душ только один мужик получает «Сельский вестник», в котором огромное место занимают статьи вроде: «Как чтить Николая Чудотворца?», а в соседних деревнях, конечно, и помину нет о книжке…

Обращаюсь к Вам с просьбой, не можете ли Вы оказать содействие сбору на устройство хотя бы одной хорошей школы в татарской деревне Малые Ныpсы? И в Бол. Мер., и в Мал. Ныр. школы есть, надо только устроить их, получше обставить, перевести в собственное хорошее здание, завести библиотеки, фонари для чтений, а если можно будет – то и ремесленные классы. Я, конечно, не надеюсь, чтобы можно было собрать деньги на две школы, но хоть в первой деревне необ-

ходимо поднять школу и ее значение в глазах местного населения.

Если же для Вас это окажется неудобным, то не можете ли Вы посоветовать мне, как вести дело, обратиться ли еще к кому-нибудь или же напечатать письмо в газетах с просьбою о пожертвованиях? Устроение же школ можно поручить священнику села Большие Меретяки о. Григорию Петровичу Петрову, который сам мечтает о постройке для школы собственного дома и заговаривал об этом не раз. Знаю, как Вы заняты, но все-таки прошу ответа. Не о себе лично пишу я Вам, а о них, которые принадлежат к числу тех несчастных, темных, униженных, о которых Вы же сами всегда заботитесь. Какое ужасное это сознание – чувство собственного бессилия, – особенно когда оно охватывало среди работы… Руки опускались невольно, и думалось: ну, сейчас – помогаем, а потом?! уедем, – цинготные выздоровеют и… останутся теми же азиатами, среди такого же мрака невежества, дикости, до нового голодного года?!

Поймите это сознание, Вы, знаток души

человеческой, и ответьте.

В настоящее время я нахожусь на Кавказе, где должна пробыть около двух месяцев, из них до 10 июля в Пятигорске и потом в Кисловодске; оттуда же поеду в Петербург. Поэтому адрес мой таков: Пятигорск, Терской области. До востребования. Елиз. Ал. Дьяконовой.

Всей душой уважающая Вас

Елизавета Дьяконова, сл. СПб. В. ж. к. [136]

В Пятигорске

1

С тех пор как вечный Судия
Мне в Пятигорске пребыванье
Определил, познала я
Всю тяжесть жизни и страданье.

С больных дерут здесь доктора,
Дерут хозяйки, – всяк, кто может;
Здесь алчность хищная с утра

---

[136] Примечания: 136
Было ли отправлено это письмо — неизвестно.

Уже карманы наши гложет.

С хозяйкой раз хотела я
Поторговаться... о, мой Боже!
Я – в лавки, на базар, – везде
Ответят вам одно и то же:

«Уступки нет, цена одна!
Вы не берете? – как хотите!
Дешевле нашего нигде
Вы не найдете, поищите!»

Но уж не пробую искать!
Я календарь беру в объятья;
С надеждой буду отмечать
Дни испытанья, дни проклятья, —

То есть леченья моего...
Они проходят... о, мой Боже!
Ты за грехи мои не дай
Мне испытать еще раз то же.

17 июня.

2

(Отрывок)

…Когда же через шумный сад
Я пробираюсь торопливо, —
Друг другу дамы говорят
С улыбкою самолюбивой:

«Смотрите, вот она, горда,
Знакомства с нами не желает, —
Все бродит целый день одна
И книжки разные читает…»

3

(Переход от царства ощущений через царство разума к царству любви; от веры слепой к вере сознательной…)

Расшатались старые устои,
Рухнули преданья вековые.
Нет еще основы новой веры,
И стоят развалины немые.

Гордо вышли на свободу люди.
Ведь сидели долго в заточенье
Вековой тюрьмы – пора на волю!
Смотрят на развалины с презреньем.

Жадно дышат воздухом свободы,
Солнце разума сияньем ослепляет…
Он настал, день света долгожданный!
Радость ум и сердце опьяняет.

«Прочь с дороги, старые обломки,
Жалкие остатки слепой веры!
Прочь, жрецы разрушенного храма,
Старые лгуны и лицемеры!

Разум – вот одна основа жизни;
Свет науки – истина святая;
С нею только можем мы достигнуть
Здесь же, на земле, блаженства рая».

Стали жить по-новому все люди;
Свет науки-истины сияет
Яркою звездою путеводной
И дорогу жизни освещает.

Но несчастья с жизнью неразлучны.
Смерть приходит, жертв своих уносит…
Где ж цель жизни? Для чего живем мы?
—

Тщетно человек ответа просит.

Нет ответа у науки! Только
Спор ведут жрецы ее седые —
Есть ли душ бессмертье; в чем смысл жизни?
Как решить вопросы основные?

Жизнь без цели – тяжкою казалась;
Где ж ответ? откуда ждать решенья?
И как стая воронов зловещих —
Налетели на душу сомненья…

Нет ответа, нет! бессилен разум,
И ответить может только вера;
Но чтоб люди верили как прежде —
В наше время не было примера.

И душа, истерзана сомненьем,
Смертного покоя лишь желала;
Но, томима вечной жаждой знанья,
До конца ответа все искала.

Как в пустыне путник истомленный
Отдохнуть к оазису стремится —
Человек, чтобы решить задачу

Смысла жизни, – к вере обратится.

Но не к прежней, темной вере,
Страшной суеверьями преданий, —
Он пойдет навстречу новой вере,
Полной жизни, светлых упований.

Новый Бог сойдет с небес на землю —
Бог любви, добра и правды света.
Засияет лучезарным блеском
Старая и мрачная планета.

1–6 июля.

Петербург, 15 августа

Сегодня мне исполнилось 25 лет. Страшно написать эти слова… Сколько в эти годы можно было бы сделать, если бы я была рождена свободным человеком! если бы я давно могла окончить курсы и вступить в жизнь! Ровно 4 года тому назад в этот знаменательный для меня день я чувствовала то внутреннее перерождение, которое совершилось во мне при сознании и неизбежности близкой борьбы. А теперь, ровно через месяц — 15 сентября — я окончу курсы и… с пристани должна буду отправиться в плава-

ние по волнам моря житейского. Общественная жизнь нашего времени уже требует образованных деятелей; частной инициативе — в деле образования народного и среднего — дана известная возможность действия. Я знаю, что здесь я могла бы принести пользу, — и не какую-нибудь, а настоящую, солидную пользу. С мыслью стать народной учительницей поступила я на курсы, — согласно с нею была и моя научная подготовка и избранный мною факультет. Но… четыре года назад, накануне этого самого дня, за всенощной в Ярославском соборе, в темном углу — стояла пламенно молящаяся девушка; через четыре года, сегодня — за столом сидит она… и только внешность осталась прежняя… Я бы хотела, чтобы кто-нибудь мне указал, что во мне осталось прежнее?..

Недаром один родственник называл меня Татьяной; да, я стала ею невольно в области мысли. Вместо кающейся грешницы — холодный скептик с усмешкой говорит «que sais-je?»[137], взамен прежней полуосознанной веры — скептицизм и холодный анализ; жаркую молитву — заменили тяжелые раздумья…

---

[137] Примечания: 137
Как знать? *(фр.)*

Я пришла к убеждению, от которого уже невозможно отказаться, раз оно ясно сознано и подтверждается самою жизнью, что причина долгого и упорного существования религий, причина существования веры вообще — смерть.

Мы можем познать все земное, открыть все тайны земли и неба — и никогда не можем познать тайны собственного существования. Наука бессильна пред лицом смерти; смерть — вот граница знания и начало веры. Мы знаем все до ее предела, мы не знаем ничего за этим пределом. И так как он для каждого из нас неизбежен, то невольно в душе индивида встает вопрос: а что же потом? И вот, в разные времена, в разных местах земного шара возникали разные учения, удовлетворявшие массы, и массы жили, веруя слепо, но твердо, потому что иначе они не могли бы жить, а жить было надо в силу жизненного инстинкта. Отчего в наше время так часты самоубийства? — Оттого, что интеллигентный человек — не веря — ясно видит невозможность решения загадки, и если он не особенно ценит жизнь, если он не одушевлен никакою идеей — тогда его ничто не удерживает от смерти.

Отравилась нынче в марте медичка 1-го курса Юлия Цингер; застрелилась нынче в июне в Ки-

еве наша слушательница 2-го курса, прелестная Наталия Дебагорий-Мокриевич, чудные глаза которой и драматический талант производили на всех, видевших ее, неизгладимое впечатление… Как сейчас вижу ее — на Пушкинском празднике, в роли Марии в сцене сумасшествия с Мазепой… «Подумай, эта голова совсем не человечья, а волчья, видишь какова?» — слышится в зале низкий грудной голос, и забываешь обо всем, глядя на эту прелестную малороссиянку с дивными глазами и распущенными волосами… С какой картины сошла она?..

Теперь жаль их обеих… А почему жаль? Ведь они ушли отсюда потому, что были решительнее нас, которые живут, не зная цели жизни. Обе были молоды, красивы, развиты, умны; не знаю Цингер, но у Д.-М. была чудная душа, которая отражалась в ее неземных глазах… Почему же мне ее так жаль? Я хотела бы, чтобы она наслаждалась радостями жизни, которых она вполне достойна… но к чему и радости жизни? Ах, — que sais-je, que sais-je!!

Все попытки научных доказательств бытия Божия — бессильны, потому что иначе — человек был бы лишен свободного выбора, его воля была бы несвободна в признании Бога. Христианство

же одним из первых своих постулатов ставит — свободный выбор человеческой личности между верою и неверием. Поэтому напрасны все теоретические споры. Они противоречат коренной основе веры. Какая была бы свобода воли, если б могли нам доказать бытие Божие? Если мне дадут неопровержимые доказательства бытия Бога, то я, даже против воли, вынуждена буду признать Его существование, я буду знать, что Он есть; и подобно тому, как будет нелепостью сказать: я научно знаю, что 2 х 2 = 4, но не верю, что оно = 4, так и в этом вопросе неверие было бы окончательно устранено, если бы было *знание.* Но знать нам невозможно, и остается свободный выбор воли. И доказательство истинности христианской религии не должно вовсе состоять в теоретических отвлеченных спорах. Нет; ее превосходство и действующую в ней божественную благодать, если она есть, — скорее можно было стараться доказывать в социальных формах — в сфере общественной жизни, в содержании человека, в его духовном облике. Вот, о сочинении Неплюева «Что есть истина?» проф. Шляпкин отозвался: «Все он говорит о вере, но не указывает, каким путем приобретается эта вера». По-моему, и не надо, да и нельзя доказать. Веру

свою всяк приобретает в большинстве случаев не из теоретических споров, а сам по себе; но истинность-то ее доказывается самою жизнью, ее деятельностью, ее плодами.

Я очень рада, что судьба меня столкнула именно сегодня с членом Неплюевского братства — Иваном Саввичем Н-ко. Мне очень нравится этот юноша, и я с удовольствием всегда беседую с ним. Удивительно, как интересно и непринужденно идет беседа с человеком хотя и разных убеждений, но хорошим душевно. Если у Неплюева и все такие воспитанники, то можно без сомнения назвать его одним из первых русских педагогов.

18 августа

Сегодня узнала, что не будут разрешены экзамены ни одной из тех 140, которые нынче весною добровольно ушли с курсов и теперь возвращаются с прошениями. Мера довольно строгая, но — говоря откровенно — заслуженная. Члены этой партии просто осрамили ее глупыми детскими выходками: из них уходили без возврата очень немногие, чуть ли не 20 человек только, остальные же, подавая бумаги, спрашивали Скрибу: «А когда нам можно будет вернуться?» Если бы

эти умницы были вполне солидарны с партией исключенных, как они заявляют, то не должны были бы подавать прошения ранее, нежели их товарки будут возвращены. А они все явились с прошениями теперь же… Да, не умно, совсем не умно. И такая глупость не может проходить безнаказанно, только этим путем мы и поучаемся чему-либо.

Сегодня же узнала ошеломляющее известие: Кареев и Гревс ушли с курсов и из университета. Они в числе тех профессоров и приват-доцентов, которые «уволены» заодно, так сказать, со студентами после второй забастовки.

В Карееве мы теряем «имя», в Гревсе — человека. Как человек, и как профессор даже, Кареев для нас был малозначителен; за все четыре года я не припомню ни одного случая, чтобы у нас с ним были оживленные отношения, чтобы ему аплодировали, как Гревсу. Я бы хотела у него заниматься, но, боясь его тяжеловесного многоречия, у меня, право, не хватало мужества на подвиг — выдержать с ним даже получасовую беседу, хотя он и любезен вообще в обращении, но холоден. Весь ушедший в книги, в ученость, человек, составивший себе имя, — он только и замечателен этим. А как живое существо — он

недоступен нам.

Гревс — наоборот: большая потеря для курсов, как незаменимо умелый, одушевленный преподаватель, учитель науки и руководитель семинария. Магистрант, еще без всякого «имени» (да вряд ли он и составит его: он не отличается талантливостью), у нас он был уже значительным лицом: к своим лекциям и занятиям он относился всегда с большою энергией и любовью; он стремился сблизиться с нами, сплотить нас в кружок, читая ежегодно вступительные речи о значении науки, которые жадно слушали не одни его слушательницы второго курса, — все это придавало ему большое значение среди наших профессоров. Правда, его многие упрекали в холодности, в исключительности отношений — «хорош лишь с теми, кто у него занимается». Я, лично не зная его, замечала у него всегда некоторый недостаток во вступительных речах: говоря о значении науки, вместо того чтобы обрисовать нам значение различных семинариев — не призывая нас к работе, — он, казалось, находил единственно нужное для нас только в одном своем убеждении, что было уже странно, так как странно было бы всем 200–300 сразу усердно окунуться в море Средневековья; поэтому отчасти я и не входила в

сношения с ним. Странно тоже, что он, постоянно твердя нам о Фюстель де Куланже, — ни разу не упомянул о Васильевском, своем учителе, о котором по смерти написал очень симпатичную статью в «Журнале Министерства народного просвещения». Я даже не знала, чей он ученик, — это мне сказала Е. Н. Щ-на, и на мое удивление, отчего он никогда не упоминает нам о нем в своих речах, ответила очень резко… Да, очевидно, нет идеала на земле.

На днях я кончила свой реферат о М. Стюарт. Думаю, что во всяком случае тон взяла верный, и питаю честолюбивую надежду, что исполнила работу удовлетворительно. Хотя, по сравнению с моей работой, которую мне нынче пришлось исполнить у Л.-Данилевского, — сущая игрушка, просто пересказ содержания «Histoire de règne de Marie Stuart» Philippson[138]. Вся моя забота была о слоге, а он у меня плох, совсем не умею писать… Вот то ли дело письма Плиния Младшего! Как обработаны, как тщательно отделаны! Я от них в восторге, хотя вовсе не в восторге пред предстоящим экзаменом.

---

[138] Примечания: 138

«История Марии Стюарт» немецкого историка Мартина Филиппсона (1846–1916).

19 августа

Что такое жизнь? Жизнь есть творчество, — ответила бы я, если б мне кто-нибудь задал такой вопрос. Творчество — непрерывное, в нем радость, в нем счастье… Самое высшее счастье — обладать творческою способностью в области духа; в этом нечто священное — более священное, нежели все чудеса природы, которыми верующие доказывают существование Бога. Есть нечто невыразимо-прекрасное в минутах вдохновения, когда фантазия разгорается и уносит далеко-далеко.

Мне пришлось пережить только раз в жизни подобную минуту: я была на втором курсе и писала конец одной сказки, посвященной вопросу о смысле жизни. Я сама не помню, как меня охватило это удивительное настроение, но знаю, что лучше этих минут я ничего не переживала. И когда я кончила — точно спустилась с неба на землю.

Смотрю сегодня на милое личико своей племянницы — и мне так живо представляется радость матери при виде своего ребенка, при его постепенном росте, его попытках говорить, его медленное знакомство с миром. Нам достав-

ляет наслаждение воспроизвести себя в другом существе и видеть, как оно переживает ту часть жизни, о которой мы сами не в состоянии помнить…

Воспроизведение жизни везде — в природе, в человечестве — есть простейший и всем доступный дар творчества.

29 августа

Завтра свадьба Тани с Д-сом. Соединение двух родственных душ, двух туманных мистиков, двух больных детей нашего болезненного времени, полного всяких аномалий. Будет ли она с ним счастлива, как думает? Ах, отчего так мало на свете сильных духом, отчего так мало героев, отчего так мало борцов за идеи?! Отчего?!

Из всего курса римской литературы я прихожу в восторг только от поэмы Лукреция «De natura rerum»[139]. Это гениальное произведение! Какая мощь мысли, какое величие и истинная скорбь разлита в нем! Если б я застрелилась, то не иначе как с этою книгою в руках…

Felix quod potuit rerum cognoscere causas

---

[139] Примечания: 139
«О природе вещей».

Atque metus omnis et inexoribile fatum
Subiecit pedibus strepitumque Acherontis avari.

(Verg.)[140]

Мрачное и глубокое познание, познание природы, отрицающее всякие религиозные прикрытия, — человек смело подошел к завесе, отдернул ее, — все увидел, познал и… не нашел в этом ни радости, ни счастья, прежняя вера разлетелась, как дым, но и лицом к лицу с познанием — человек не удовлетворился…

До чего все старо в мире! То, отчего стреляются теперь, — сказано уже тысячелетием раньше…

Мне скучно, бес…

(Фауст)

29 августа

Все антиномии Канта сразу выскочили из голо-

---

[140] Примечания: 140

Счастлив, кто мог познать причины вещей
и поверг под ноги все страхи и неумолимую судьбу
и шум волн жадного Ахеронта.

(Вергилий) (лат).

вы при известии об осуждении Дрейфуса[141].

Что теперь?! Совершилась величайшая историческая несправедливость! Позорное обвинение остается в силе… да падет на голову этих подлецов-судей вся кара земли и неба! Право, — после этого если и стоит жить, то разве лишь для того, чтобы бороться во имя торжества правосудия. И что за дело обвиненному, если его приговорили к 10 годам заключения вместо пожизненного?!

Осудить — после самоубийства Анри, после того, как были опровергнуты все показания против Дрейфуса, после официального заявления Германии, после разоблачения всех темных сторон и злодейских махинаций этого дела — осудить! Ничем иным не может быть мотивировано это осуждение, как только боязнью судей-офицеров — оправданием Дрейфуса — осудить своих генералов, «честь армии». Что должен переживать несчастный, его семья, Лабори, Деманж[142], Золя,

---

[141] Примечания: 141

Дело Альфреда *Дрейфуса* (1896–1906) — судебный процесс во Франции по делу о шпионаже в пользу Германской империи офицера французского Генерального штаба, еврея родом из Эльзаса, капитана Альфреда Дрейфуса, разжалованного военным судом и приговоренного к пожизненной ссылке при помощи фальшивых документов и на волне сильных антисемитских настроений в обществе. Это дело вызвало множество споров и разногласий не только во Франции, но и в России.

[142] Примечания: 142

Лабори, Деманж — знаменитые судебные ораторы Франции.

благородный писатель, который так доверчиво и преждевременно-радостно приветствовал пересмотр? Совершенно справедливо г-жа Дрейфус говорила: радоваться еще рано!

«Новости» или лекции? Там — стенографический отчет, а тут — интуиции, субстанции, антиномии, категории… Право, я не в состоянии буду сдать экзамен, до того меня взволновало это событие, хотя из предыдущего № уже можно было предвидеть исход. И точно нарочно! До экзамена остается один день, а у меня повторен всего 21 билет из 59, причем труднейший отдел остается за флагом — весь Кант…

Вот два месяца, изо дня в день, с напряженным вниманием читаешь газеты… Неужели же правосудие остается побежденным, неужели на пороге XX столетия история Франции будет заклеймена преступлением?! Справедливость! — вот моя религия, религия справедливости! С самых ранних лет, первое, что стало выделяться в моем сознании, — была справедливость. Во имя ее я отстаивала и боролась за свое человеческое право образования; во имя ее выносила массу всевозможных неприятностей с родными, когда видела угнетение слабого сильными; во имя ее — протестовала вместе с товарищами в первой

студенческой забастовке; во имя ее — отстаиваю и буду отстаивать права человеческой личности. И все, что нарушает эту справедливость, малейшее посягательство на мою богиню, нарушение священных прав ее — возмущает меня до глубины души. И теперь — как же я могу быть спокойна, когда совершилось такое вопиющее, такое безобразное нарушение всех ее начал! Нет!

Конечно, Введенскому нет никакого дела до таких рассуждений, и он с логической точки зрения прав, если поставит мне двойку. Но ведь жизнь-то построена не на одной логике.

Да, немалое требуется мужество, чтобы жить на этом свете! Я бы не прочь умереть, — с условием достоверного знания того, что меня будет ожидать после смерти. Если бы оказалось хоть на йоту лучше, чем здесь, — умерла бы с радостью, сию же минуту.

Дрейфус осужден; а тут — перед глазами программа: почему субстанцию можно назвать монадой? Что представляет собою монада??

31 августа

Сегодня сдала философию. Отвечала о формулах нравственного закона — хорошо, но гораздо хуже, нежели знала на самом деле, даже на один

из вопросов, касающихся гносеологии Канта, совсем не ответила. Введенский поставил 4. Он был болен и поэтому экзаменовал небрежно. К сожалению, я была лишена того спокойствия духа, которое мне необходимо для занятий… и чуть было не сказала об этом Введенскому. Стыдно было перед ним за свое незнание, но поделать с собой ничего не могу. Способности, должно быть, плохие у меня. Где та быстрота соображения, острая проницательность суждений, уменье сразу схватывать и приводить в связь однородное… где все это?.. Способности! Что они у меня есть, доказывается, впрочем, тем, что я, несмотря на сильную неврастению на первом курсе, все-таки сдала экзамены в общем на 4, на втором — на $4^1/_2$ (Скриба врет, впрочем, баллы, наверное, выше), на третьем — на 5… Мне просто смешно писать эту градацию баллов, которую Скриба предупредительно сообщил мне, едва только мы увиделись после лета. Я его и не спрашивала, но он добросовестно сообщил, что мне экзамены — разрешены, ибо у меня в общем итоге балл более $4^1/_2$ — признанного балла нашими учеными мужами для допущения к экзаменам тех дерзких, которые подали прошение без медицинского свидетельства. Как глупо, как глупо!

Да, осуждение Дрейфуса отзывалось на моих занятиях, и теперь мне досадно за такой непростительный промах на экзамене; но… в то же время — дело Дрейфуса слишком великого значения, чтобы я не проводила драгоценных часов накануне экзамена за газетами, вместо повторения лекций. Немудрено, что, когда я шла на экзамен, — у меня вместо стройной системы был хаос, хаос знания, не приведенного в систему, от которого я сама первая отвернулась с ужасом.

Сегодня — только что сдала экзамен — бегу вниз, на столе лежат «Новости», и там защитительная речь Деманжа. Читаю ее с замиранием сердца — все окружающее как бы не существует для меня, и когда спросил кто-то — сдала ли экзамен — я даже удивилась.

На этих днях получила письмо от Ч., который пишет, что интересуется Таней, — она существо необыкновенное, оригинальное, сфинкс, влекущий к себе. Грустно даже стало, как подумаешь — до чего люди любят строить себе воображаемые существа! Утонченный, индивидуальный эгоизм, на подкладке изящных искусств — вот истинная сущность Тани, вот ее сокровенное «я». Она, правда, много выстрадала, но из этого страдания унесла не любовь к несчастным, не горечь

негодования, а одно страстное желание личного счастья; желание, в сущности, вполне законное, но у нее возведенное на степень какого-то культа, утонченного до болезненности, со страшными следами надломленности. Она создана, чтобы так прожить, о чем сама говорила мне: «Я знаю, что не проживу долго, и хочу в данное время, которое мне дано судьбою, — испытать счастье». И смотря на ее наружность — я невольно молчала и не возражала ей: да, пожалуй, она долго не проживет! И она права, стремясь к наслаждению, — отчего ж? — ведь от жизни надо брать все, что она может дать. Ах, Таня, Таня! Если бы ты могла любить меня, как я тебя! если бы ты на минутку вышла из своего индивидуализма и была способна понять чью-нибудь душу, кроме своей собственной!

Нет, не суждена мне дружба ни в родственном кругу, ни в товарищеском… Несчастная странница — одинокая душа — чего же ты ищешь?!

И невольно приходит в голову сюжет для повести или рассказа… Содержанием книжки служило бы все пережитое за эти годы: знакомство с миром науки, потом — искание чего-то, неудовлетворенность, потеря веры, знакомство с Неплюевским братством, описание этого уголка, где жизнь построена на идеальных основах,

наконец, — ясное сознание невозможности какой бы то ни было веры, двойственное сознание — привязанности к этим людям идеи, и невозможность вполне слиться с ними — приводящая к самоубийству над книгою Лукреция «De natura rerum». Это было бы в своем роде «Годы странствования», но не Вильгельма Мейстера, а никому не ведомой курсистки.

Мне страшно сделалось, когда я увидела, какую волю дала я своей фантазии. Еще рассказ небольшой написать — позволительно, — но чтобы потратить столько времени даром, чтобы написать нечто большее, нежели рассказец, — это уж никогда! никогда! И всего досаднее, что разыгравшаяся фантазия отрывала от занятий, от философии и уносила далеко-далеко, действительно — «в мир идей».

Если бы «вечное блаженство», о котором так твердят все религии, состояло в творчестве — о, тогда я понимаю его! Это воистину блаженство, и человек, обладающий этим блаженным даром, — блажен уже и в этой жизни.

Если б я могла написать все, что приходит в голову? Да беда в том, что все только и ограничивается игрою фантазии, а с пером в руках выходит сущий нуль.

Это значит, что я ни к чему не пригодна.

15 сентября

Вот и месяц прошел, а все еще не кончены экзамены. Мне даже как-то страшно думать, что уже месяц прошел: кажется, время остановилось, живешь — точно в пустом пространстве, день за днем тянутся однообразные, похожие один на другой как две капли воды — все за книгами. Я нигде не бываю, и ко мне приходят очень немногие, да и то ненадолго, так как некогда. Лето, проведенное без занятий, дало себя знать, пришлось усиленно заниматься, и каждый потерянный час очень чувствительно отзывается на ходе занятий.

4-го мы все приготовились к новой истории, но Кареев не приходил; за ним посылают, он отказывается экзаменовать, так как более уже не состоит профессором на курсах. Я в этот день долго повторяла лекции и, кончив всю программу очень поздно — около 4 часов, пошла на курсы в полном убеждении, что опоздала, что экзамен кончен, и хотела только просить профессора проэкзаменовать меня в следующий раз. Встречаю Скрибу, у самых курсов: объявляет, что экзамена… не было. Больно было услышать еще раз

напоминание о потере Кареева, но я чувствовала также и некоторое облегчение, ибо слишком было бы тяжело держать экзамены, сознавая, что отвечаешь человеку, которого так… «уволили» из храма науки, которой он так честно служил. И вот, все 30 человек, сдающих экзамены, напрасно прождав несколько часов, — разошлись, а экзамен отложили до совета, который решит — у кого нам держать и «быть или не быть» экзамену.

Через несколько дней, вечером, была на курсах. Счастливая Б., вышедшая замуж нынче летом, сбегала с лестницы, спеша домой, так как утром уезжала в Севастополь к мужу; внизу В-цева и Х-стова были с нею. Прощаясь, мы все целовались, и я, за все четыре года не сказавшая с ней ни слова, вообще не имевшая с ней никаких сношений, — все-таки чувствовала какую-то грусть… Это было знаком, что мы скоро-скоро, через несколько дней, все расстанемся и рассеемся по всей России.

Грустно думать о разлуке; все товарки — знакомые ли, незнакомые ли — все кажутся мне теперь дорогими, четыре года связывали нас одна аудитория, одни профессора, одни науки, общее стремление к образованию. И вот теперь, на пороге разлуки, — тяжело и жаль как-то расстаться.

Хотя среди них, среди этой массы не нашлось у меня ни одного друга, ни одной души, которую я с восторгом признала бы родственною себе и слилась бы с нею в одном братском чувстве, хотя грустное чувство одиночества постоянно живет в душе — все-таки по отношению ко всем товаркам могу сказать положа руку на сердце: у меня нет и тени озлобления. Среди них было много, с которыми я хотела сойтись, и делала попытки сближения сама первая, но им, должно быть, я не нравилась как человек, и они явно старались не сближаться со мною, иногда даже нисколько этого не скрывая, как, например, Д-аш…

Да и могло ли быть иначе? Жестокая неврастения, мучившая меня страшно еще и до курсов, усилилась с поступлением сюда, вследствие перенесенных потрясений я чувствовала себя положительно больною, мучилась и страдала невыразимо от душевной боли и страшной, угнетающей душу тоски, ища, как спасения, хоть искры любви и дружбы, которые одни могли бы исцелить мои душевные раны… и… не нашла ничего. Я не могла нравиться людям своею нервностью, резкостью, которую принимали за грубость и которая с первого знакомства произвела дурное впечатление. Я видела, что моего

общества избегают, гордость же заставляла скрывать свои душевные страдания — и принудила наконец замкнуться в себе. Позднее, курсе на третьем, когда я немного начала оправляться, то же чувство гордости, разумеется, мешало мне снова искать сближения с прежними, а новые как-то не являлись. Мне было очень смешно, когда некоторые из прежних приходили ко мне с заявлениями, что моя репутация переменилась к лучшему, что я стала не так резка и проч. Я усмехалась: мне просто стало физически лучше, нервы поуспокоились, и вот измученный, больной человек начал оправляться — и с дружеским чувством смотрел на мир. «Ларчик просто открывался» — и все толки о моем дурном характере оказались мыльным пузырем.

Я не приобрела такой известности и влияния, как, например, Д-аш, но и не старалась добиться этого. И теперь, даже против тех, которые мне казались умнее, интереснее других и которые не захотели сойтись со мною, — и против этих у меня нет озлобления… Чего же мне претендовать на них? Что они не поняли меня? Но как же можно требовать от людей, чтобы они поднялись выше самих себя? Можно жалеть лишь о том, что мало на свете истинно проницательных людей, — и

теперь на сердце остается только тихая грусть… И рядом с нею уживается пламенная ненависть ко всем притеснителям свободы, ко всем обскурантам, принижающим дух человеческий, и вместе с этим — благоговейное почитание борцов за идеи, за человечность, свободу, науку — словом, всех, кому мы обязаны тем, что стали лучше, нежели были, всех, кто двигал и двигает вперед человечество в области духа. И живет во мне в то же время грустный скептицизм во всем, глубоко скрытое недоверие, вечно замаскированное совестью, которая обязывает меня относиться хорошо к людям и не оскорблять их ничем.

18 сентября, 10 часов вечера

Я окончила курсы. Сегодня вечером совет профессоров должен был решить, быть или не быть экзамену новой истории на нашем курсе. Постановили: освободить всех, кто доволен отметкою, полученною при переходе с III на IV курс, — желающие повысить ее могут экзаменоваться у Форстена, но таких вряд ли кто найдется. Следовательно, мы кончили.

Теперь мы на пороге жизни… Среди полного разгрома вступаем в нее. Точно молния ударила и разбила наш курс, — и вот кто куда…

Вчера я была в библиотеке и долго беседовала с Б-новой, у которой находится пока бюро для приискания занятий окончившим. Весною кончило человек 27, осенью 30 с лишком, из ста остальных нашего курса исключены 32, прочие вышли. Теперь требований получается много, и так как кончивших мало, то очень многие получают места часто на выгодных материальных условиях. Например, требуется помощница начальницы гимназии в Читу — 600 руб. при готовой квартире и без уроков, в Пермскую губернию — учительницей математики в старших классах — жалованья 1000 руб., но на эти места — удивительное дело — не нашлось желающих. А сколько вышло замуж нынче весною! На экзамене латинского языка я просто считала кольца обручальные… Нынешнее студенческое движение много способствовало сближению учащихся и повело к бракам. Правительство должно приветствовать такие результаты движения: оно повело к усилению семейного начала.

Между нами идут оживленные споры: сначала обсуждался вопрос об адресе Карееву и Гревсу, потом вопрос от адреса перешел к проекту устроить обед и пригласить на него их же и Введенского. Поднялись возражения: отчего не пригласить

и других профессоров? Мнения разделились, и вопрос, кажется, провалился, так как приглашать всех, из которых очень многие не стояли в непосредственной связи с курсистками, — не нашли удобным; а пригласить только двух уволенных профессоров не решались, потому что Кареев далеко отстоял от нас и контраст между отношениями нашими к нему и Гревсу резко бросился бы в глаза. Словом, как всегда и везде, в нестройно сложенном организме идет разлад. Мы не привыкли быть солидарными. А мне очень хотелось бы, чтобы поскорее был решен вопрос об адресах: хочется видеть их готовыми при себе и подписаться на них.

Сегодня И. А. Шляпкин сообщил мне, что из нашего коллективного перевода небольшой книжки «Скандинавская литература и ее современные тенденции», Марии Герцфельд[143], цензура не пропускает 8 страниц, а их-то всего с небольшим сто или даже меньше. Ужасно досадно стало. Воспользовавшись случаем, я спросила И. А., когда можно будет приехать к нему проститься, — голос мой вдруг задрожал… Я едва могла выслушать его приглашение к себе в

[143] Примечания: 143

Перевод слушательниц Высших женских курсов под редакцией И. А. Шляпкина. СПб., 1899 г.

имение и поспешила отойти к вешалкам, чтобы скрыть слезы, невольно выступившие на глаза.

Придя домой, я заперлась и заплакала. О чем? — Право, трудно сказать. Экзамены как-то заслоняли разлуку с курсами, и когда я сама сказала слово «проститься» — вдруг поняла, что ведь я уже расстаюсь с курсами, с студенческою жизнью, с первым светлым лучом, озарившим мою тяжелую жизнь… И я плакала без стыда, так как не стыдно оплакивать то, что хорошо и что проходит… Да, странна психология человека: пока я не сказала этого слова — точно завеса какая-то скрывала от меня близкое будущее… и вот при слове «проститься» — я как бы отодвинула ее и вдруг увидела, что предстоит…

Из профессоров ближе всех знала я только И. А. Друзей среди товарищей у меня не было, но тем не менее вряд ли кто-нибудь более меня привязан к курсам. Я так люблю и ценю их, так люблю всех остальных товарищей, знать которых физически немыслимо, но они дороги мне уже тем, что являются моими товарищами по стремлению к знанию. В этом смысле у меня взгляд на товарищество самый идеальный, и с ним далеко не многие согласны, особенно те, которые стремятся провести узкопартийные взгляды и признают

равными себе лишь таких, кто одинаково с ними мыслит.

Когда я вчера читала книгу В. В. Стасова о Надежде Васильевне Стасовой — меня наполняло доброе и радостное сознание успехов в деле созидания курсов. И невольно мысль переносилась на Москву, и хотелось положить все силы, все способности на созидание высших курсов там. Мне почему-то кажется, что я способна на выполнение этой задачи. Живая фантазия тотчас же рисовала картины борьбы, неудач, среди которых только растет моя энергия, прибавляются силы, и наконец цель достигнута — курсы созданы, и я — одна из самых деятельных участниц их созидания… Всякие планы полезли в голову: захотелось ехать к Герье, справиться у него — почему не были открыты курсы нынче осенью, как предполагалось? хотелось сказать ему, что я всю жизнь мою готова посвятить на это дело… и представляла уже себе, что ответит мне Герье, как я буду действовать… и так далее, и так далее… Вот глупо! Без средств, без связей и знакомств соваться в такое дело! Хорошо, что трезвый разум указывает границы мечтам и моментально сбрасывает на землю, когда уж слишком далеко заберешься в воздушные замки… И вместе с тем я

гораздо более интересуюсь женским вопросом во всех его ступенях, нежели на одной какой-либо частности; моя мысль всегда стремится к политическим правам женщины, не успокаиваясь на одном высшем образовании… Невольно подымается в груди горькое чувство негодования на ограниченность свободы женщины, ее прав.

Мне душно, мне хочется простора, широкой деятельности. Моя натура никогда не уляжется добровольно в узкие рамки жизни, разве жизнь сама ее уложит, и это, конечно, вероятно. «И погромче нас были витии», а ты чего носишься с широкими планами, вечно думаешь о больших задачах!

20 сентября, вечером

Весь день сегодня в беготне. Все наши разъезжаются с каждым днем, дело же с адресами Гревсу и Карееву стоит, и я написала решительное письмо к Д-аш, заявив, что все хлопоты относительно художественной стороны обоих адресов могу взять на себя и найду художника. Где, какого? — я еще не знала, но знала, что найду, так как надо найти.

У меня уже раньше сложился в голове проект адреса Карееву, сегодня передала его кому следу-

ет и побежала искать художника.

22 сентября

Сейчас только что вернулась с товарищеской вечеринки… Что же написать?

Собралось нас человек 40. Прежде мы с трудом помещались в маленьких аудиториях, теперь же — совершенно свободно в ботаническом кабинете: исключенные — партия «крайних» — в большинстве не пришли, и вот «обломки» собрались здесь в последний раз. Речей не говорили. Я сначала намеревалась сказать о женском вопросе, о курсах, о нашей обязанности всегда и всюду являться защитницами и поборницами прав женщины, но когда пришла и увидела общее настроение — решила не говорить ничего. Вечеринка носила действительно простой, симпатичный, с виду совсем задушевный характер.

Мы собрались вместе — в последний раз. Я немного отвлекала себя от грустных мыслей тем, что собирала подписи для адресов, но скоро это было кончено, и… я осталась одна. Все собравшиеся — за исключением двух — были мне симпатичны, к ним я чувствовала дружеское, хорошее отношение, но… душевной связи не было. Одиночество развило во мне глубину чувства,

вдумчивость и поэтому большие требования к людям, бóльшие, нежели они могут дать.

Но я уже привыкла не думать о своем «я», и теперь мне все-таки хотелось произнести страстную речь «к товарищам», победить их силою своего слова… и вдруг насмешливый скептицизм шепнул мне в ухо: будто и впрямь можно? — в несколько минут людей вновь не воспитаешь, и если им покажется страстность — фразами, а женский вопрос их интересует не так глубоко, как тебя, — то стоит ли тратить слова зря?.. И какая-то смутная уверенность говорила во мне, что я когда-нибудь непременно это скажу, не устно — так в печати, и они, мои товарки, все-таки услышат о моих мнениях.

Да, будь у меня литературные способности — это мне доставляло бы большое нравственное утешение в моем одиночестве. Во мне уже нет острой, щемящей тоски, мучившей меня последние годы жизни дома и на курсах; острое неврастеническое состояние, очевидно, немного улеглось; мне физически лучше, и я отношусь к своему одиночеству трезво и спокойно ясно. И как опытный анатом произвожу я теперь вскрытие своей души…

Первые годы моей молодости прошли в тяжкой

нравственной и физической неволе, последующие — тоже не принесли мне счастливого настроения, сознания полного, глубокого нравственного и умственного удовлетворения, чудной гармонии ума и сердца, — что ж, могу ли я из-за этого со злобою смотреть на мир? — И с грустной улыбкой смотря на окружающих, я думала: твое «я» так ничтожно в сравнении с великим мировым целым, — ты такая маленькая частица его. Вот почему в единении лежит сила: она малых в отдельности соединяет в одну большую величину. Великие умы и в одиночестве велики сами по себе.

Эти грустные мысли лишили меня возможности подходить к тем группам, где шли веселые разговоры, — таких, впрочем, было немного, и я, по старой памяти, решила беседовать с Д-ди. Вскоре Д-аш прервала общий разговор, предложив чокнуться с теми, которые скоро уезжают; их нашлось девять человек, — преподавательницы гимназий, на частные места или домой. Вина, конечно, не было, смеясь чокнулись стаканами чая. После затеяли пение, оно удалось плохо, но все же слушали. Товарищи уже незаметно расходились, осталось человек 20. Д-аш опять позвонила и произнесла небольшую речь, отчаянно путаясь

в словах, о том, что мы, собравшись здесь, все же не относимся дурно к «известной партии», не пожелавшей в большинстве быть с нами, и поминаем добрым словом Б. (кассиршу), К. и С. (бывших депутаток, исключенных без права поступления). Все молчали, только одна заплакала, отвернувшись к шкафу… Мне вдруг вспомнилась Надя «Бибиша», теперь — учительница в школе. Милая, хорошая девушка, с душою честною и открытою; четыре года назад мы в этот день все мирно сидели под общей кровлей интерната, не предчувствуя, как печально будет наше вступление в жизнь.

Да, на нашей вечеринке было оживление, но не было того торжественного, приподнятого настроения, которое, несомненно, явилось бы, если бы мы собрались в полном составе, с профессорами, если бы говорились интересные речи. Наше собрание было назначено лишь сегодня утром; обед, сначала предполагавшийся с профессорами Гревсом, Кареевым, Введенским, Котляревским и Шляпкиным, — провалился, так как они несочувственно относились к ресторану. На курсы мы не хотели приглашать их, так как тогда приглашение директора становилось неизбежным, а из-за этого пропала бы вся прелесть вечеринки —

он явился бы посторонним элементом. Устроить же вечеринку в частном доме при современном положении дел нельзя было вовсе, — никто, конечно, не дал бы своей квартиры. Вот почему мы и принуждены были собраться одни, без профессоров, 40 человек, — с сознанием грустных событий и на этот раз явно разрозненные.

Ни у кого во весь вечер не было хорошо на душе, если вдуматься глубже, все знали, что в последний раз видятся вместе…

Всем товарищам, всем вам говорю искреннее пожелание — сделать возможно больше добра, внести больше света в тьму провинции — и иметь побольше сил для борьбы со злом. Прощайте! Все вы так никогда и не узнали меня, но — вы одинаково со мною стремились к свету знания, и все одинаково дороги мне… Время нас соединило на четыре года, оно нас разделяет теперь, оно же и вновь соединит. Чрез сто лет оно не только давно вычеркнет всех из ряда живых — оно загладит и память о нас. Да, интересно бы знать — о ком из нас она останется?

И вот сказывается несвобода женщины. Мужчины могут строить широкие планы, мечтать о будущем, им принадлежит политическая власть. Нынче, напр., окончил в университете

брат нашей Нольде и поступил в Министерство иностранных дел; ему предстоит блестящая будущность, — он очень способен, умен, имеет связи. Он может шире мечтать о своей деятельности, и такое самосознание много помогает при работе.

Мы же — можем двигаться только узкими, ограниченными путями, — и вот почему у нас не может быть такого широкого политического горизонта мышления: у нас нет дороги к власти, мы все-таки в конце концов — рабы.

Мы — существа без прав, без широкой перспективы наши пути, — как покорно введенные в хомут лошади, должны плестись по узкой колее…

Не так еще обидно быть женщиной в России, при монархическом неограниченном правлении. При парламентском строе я чувствовала бы просто кровное оскорбление, неизлечимую душевную рану от сознания невозможности действовать на пользу страны — только потому, что родилась женщиной.

Будь я свободна — у меня могли бы создаваться иные планы относительно педагогической деятельности; я знаю, что я выдвинулась бы из среды педагогов — кончи я курс студентом, а не

курсисткой. А теперь самое большее, на что я могу надеяться, — это сделаться начальницей гимназии — и только. Влиять на жизнь глубже, сильнее — переработкою всего учебного строя, его главного основания — мы не можем, так как нас никогда не назначат членом совета каких-нибудь комиссий для пересмотра программ, и мы принуждены вечно изворачиваться как белки в колесе, чтобы в отведенных нам узких рамках деятельности — сделать нечто такое, что исправляло бы основные недостатки системы. Сколько уже тратится сил на устранение этих недостатков, но непроизводительно, а почему? — Потому что господа мужчины считают себя непогрешимыми авторитетами в области мысли, и благодаря их косности, их невежеству, их рутинности — у нас вся учебная система ни к черту не годится, наше просвещение движется еле-еле, точно арба какая с отчаянным нестройным скрипом немазаных колес, и люди в ужасе от этого скрипа затыкают уши и жмутся, не хотят ни смазать колес, ни придумать новый экипаж.

Я уверена, что в будущем в России роль женщины будет интересна: в стране утвердится мысль о высшем женском образовании, и явится целый ряд женщин, способных к участию в управлении

страною. Что тогда придется делать с ними, если в России будет введена конституция? И если мы будем вновь унижены отнятием у нас этого драгоценного права, — неужели мы сдадимся без борьбы?

Нет! нет, товарищи! Если мне жизнь поставит veto на работу, — то пусть останется этот дневник и послужит памятником моего самосознания.

23 сентября

На адресах Гревсу и Карееву вчера подписались: Левенец, Мерц, Н. Диомиди, А. Коробицына, С. Платонова, А. Шаповалова, А. Сулим, Е. Дьяконова, В. Васильева, Ю. Малюга, В. Докучаева, А. Бакулина, Л. Обломкова, Л. Уварова, В. Резанцева, И. Стрекалова, В. Николаева, М. Хаскина, Ел. Афанасьева, О. Чернышева, Н. Карпинская (только на адресе Гревсу), М. Левдикова, А. Савицкая, А. Тихонравова, Завадская, Тургенбекова, Т. Казакова, И. Уткина, О. Добиаш, Прохорова, Котляревская, Красильникова, Н. Нилло, А. Мелентьева, Е. Матерно, О. Виноградова, З. Чернякова, Бурэ; четыре человека — Ступина, Кремлева, Киселева и Исаева — не подписались, так как часто бывают на курсах. Значит, на вечере было 42 человека.

Никто не возразил против проекта адреса Ка-

рееву, и он был принят молчаливым согласием всех присутствовавших, причем привычка Д-аш первенствовать дошла до смешного: когда всех присутствовавших надо было ознакомить с моим проектом этого адреса и вообще сообщить о предполагаемом внешнем виде адресов — она, с моих слов, развязно начала сообщать присутствовавшим об этом, хотя сама хорошо ничего не знала, и только под конец просила меня объяснить подробнее. А проект адреса она просто взяла у меня, говоря, что сама прочтет его: «Мне сделать это будет удобнее, нежели вам». Я только усмехнулась и плечами пожала — до каких мелочей может дойти честолюбивый человек! Она сама не понимала, как это было смешно с ее стороны читать то, что не она писала, не будучи никем уполномоченной брать у меня бесцеремонно мое же создание…

Адрес Гревсу до сих пор еще не составлен, несмотря на то что давно бы надо сделать это. В сравнении с ученым слогом Д-аш — адрес Карееву написан так ясно, просто и кратко, что не только никто ничего не возражает, но даже мне самой иногда кажется, не чересчур ли это просто, — не лучше ли было бы написать иначе, более изящно? Адресы эти стали моим детищем… Я не могу

доверить никому переговоров с Шнейдер. Третьего дня Ки-ва ходила вместо меня, но она так грубо не поняла идей художницы, что передала все в извращенном виде, и мне стоило немалого труда среди этой путаницы понять истинные мысли художницы.

27 сентября

Заказала сегодня диплом, по счету 59; 22 (с математичками) — кончили весной, 37, значит, — осенью. А всех нас было принято на первый курс — 150 человек исторического отд. и 50 математичек. Допустим, что ушло 40 человек, все-таки осталось — 160. Где же остальные 100? Исключены, ушли после этой истории.

28 сентября

Надо спешить с приведением в исполнение планов, над которыми я давно думала…

Сперва я решила поехать в деревню, заниматься физическим трудом, изучать народную жизнь, заниматься с крестьянскими ребятами, отдохнуть — и так жить, до весны, а потом уехать за границу. Приведение в исполнение этого плана затрудняется только тем, что у меня нет ни

одного знакомого помещика, не к кому ехать в имение, а забраться в глухую деревню и жить по-крестьянски, да еще учить детей без надлежащих «разрешений» — это значит наверняка подвергнуть себя надзору бдительной ярославской полиции.

Другой план — делать попытки проникнуть на поприще юридическое. Подать прошение на Высочайшее имя Государыне Александре Федоровне о разрешении сдавать экзамены параллельно со студентами-юристами. — Этот план, разумеется, не столько практический, сколько теоретический: мне не разрешат никогда быть адвокатом, но к небольшому ряду женщин, добивавшихся этого права, — пусть прибавится еще одно имя. Надо быть хоть застрельщиком, если судьбою не суждено принять участие в настоящем сражении. При этом нельзя забывать, что уже 30 лет назад три женщины добивались высшего сельскохозяйственного образования. Им было отказано. Через 30 лет вопрос не только поднят, он уже решен в утвердительном смысле, и скоро возникнет Сельскохозяйственный институт. Так и здесь. Отчего же не проложить женщине новый путь?

Или: ехать за границу теперь же, на осенний семестр — запасшись, конечно, рекомендатель-

ными письмами профессоров. Затруднение только одно — денежное, так как я ничего не хочу просить у матери.

Или: остаться здесь, практиковаться в школах и продолжать занятия по русской истории у Лаппо-Данилевского. Это — самый простой, не представляющий никаких затруднений план; практически даже очень полезный, так как дает мне возможность приобрести необходимый педагогический навык. И на этот раз препятствием является только моя личная воля.

Я всегда говорила, что для меня по окончании курса не так будет важен вопрос «что делать», а «как делать», так как я уже при поступлении решила быть народной учительницей. Теперь же оказывается не то: мои воззрения на религию делают для меня невозможным не только поступление на казенное место, но и открытие собственной школы в селе, где так близко приходится сталкиваться с «батюшкой» и чуть ли не быть под его надзором!

Вот и еще план: открыть частную гимназию в Ярославле, с солидною программою и с педагогическим персоналом исключительно из курсисток. Такая гимназия необходима, так как у нас всюду раздаются жалобы на недостаток

вакансий в обеих гимназиях, конкурс с каждым годом увеличивается. Дело только в деньгах… А было бы хорошо, очень хорошо.

Словом, я в конце концов очутилась в затруднительном положении. Изобретательный ум создает один план за другим, — точно утешить хочет за то, что по окончании курсов все-таки являешься не вполне свободным человеком.

12 октября

На днях, в приемный день, я отправилась к министру юстиции, как к высшей инстанции для выяснения вопроса, хотя и знала заранее, что мне будет наверное отказано.

Никогда в жизни я не бывала ни в каком министерстве. Поднимаясь по лестнице большого дома Министерства юстиции на углу Екатерининской улицы, я ясно ощущала ту атмосферу казенщины, казарменности, которую мужчины с таким необыкновенным искусством вводят всюду, где только простирается их власть. Поднявшись во второй этаж, на длинной площадке я заметила, как одна из дверей была отворена и из нее входили и выходили одетые в полную форму чиновники… — Где приемная? Мне сказали — здесь, и я прошла в эту же дверь. Высокая комната

в одно окно была полна народом. В следующей большой комнате было несколько дам смиренного, запуганного вида с прошениями в руках; все они были немолоды, иные стары. За столом сидел молодой человек и записывал фамилии. Пришлось сказать ему свою. Несколько мужчин сидело у стены на стульях, другие ходили по комнате и разговаривали. Я встала у дверей. Ни один из сидевших не тронулся предложить мне свой стул. Очевидно, здесь, в присутственном месте, эти господа забывали свою пресловутую «вежливость к дамам» и, видя в них только смиренных просительниц, не стеснялись. Среди сидевших в мундирах я заметила одного молодого, миловидного брюнета во фраке и почему-то подумала, что, наверно, он умеет ухаживать за барышнями, а вот здесь, небось, — сидит и не уступит места.

Я с любопытством наблюдала. Мундир, некрасивый, одного покроя, придавал всем чиновникам какой-то однообразный, казенный вид: это были точно ходячие присутственные места. У всех плечи спускались почти под прямым углом, у всех мундир сидел безукоризненно, как на манекене, и шпага сзади чинно вытягивалась. Полная невежда в чинах и знаках звездочек на погонах, я и не знала, конечно, кто именно представлялся

министру.

Высокая комната с серыми обоями, казарменная мебель вдоль стен, серый свет петербургского осеннего дня и эти казарменного вида люди — все это, вместе взятое, производило угнетающее впечатление. Передо мной вдруг раскрылась незнакомая доселе страничка жизни — чиновничество и, как свежему человеку, — показалась невыносимой. Я с гордостью сознавала, что происхожу от людей независимых, что и братья мои, по своим склонностям, не годятся в чиновники, и ближайшие родственники — тоже не имеют в среде своей чиновников.

У дверей к министру стояли вытянувшись два курьера с медалями. Один из чиновников бегал с какою-то запиской, суетился и наконец подлетел ко мне. «Вам что угодно? подать прошение?» — «Нет», — отвечала я. — «В таком случае, о чем же вам нужно просить министра?» Мне не хотелось говорить этому господину о своем личном деле, но видела, что иначе нельзя. — «Мне нужно знать, позволено ли будет сдавать в России государственный экзамен по юридическим наукам». — «В таком случае вам лучше обратиться в Министерство народного просвещения». — «Нет, кроме того, мне важно знать, возможна

ли будет какая-либо практика», — возразила я. Чиновник молча улетел к следующей даме.

Дверь отворялась и затворялась, в нее входили разные люди, но толпа судейских все ждала. Вдруг бегающий чиновник с бумагой опять подлетел к мужчинам и начал их выстраивать полукругом. Мне было смешно и странно видеть этих взрослых бородатых мужчин, которых устанавливали, как школьников, и вытягивали полукруг ровнее, а они — повиновались, как автоматы. Наконец выстроились. Дамы же остались сидеть (я уже перешла к ним в большую комнату). Все затихло. И от этой тишины у меня невольно замерло сердце. Мне было смешно.

Вот оно, — вот эта игра с психикой человека; как это все действует даже на человека независимого, философски настроенного; что же говорить об этих бедных просительницах, об этих несчастных чиновниках? Это так действует, развивает такое благоговение к власти, что человек гораздо легче ей подчиняется, а власти только того и нужно. Она импонирует, она господствует.

Вдруг двери распахнулись, и быстрою походкой вышел Н. В. Муравьев в сопровождении двух чиновников. Он начал обходить с ближайшего молодого человека; задал ему вопрос; я услышала

слово «следователь», вопрос: «которого участка?» — затем видела короткий поклон министра, и молодой человек с поклоном удалился. Так было и с следующими. Походка министра, при высокой, видной фигуре, его властная манера говорить, короткие, быстрые вопросы — все так и говорило, до какой степени он проникся сознанием своей власти, до какой степени отожествлял себя с нею. И две фигуры сопровождавших его чиновников, подобострастно наклоненные вперед, точно ловившие каждое его слово, и с записками в руках, и этот безмолвный полукруг чиновников, вытянутых в струнку, и эти бедные просительницы — были для него вполне соответствующей декорацией… Шла власть неумолимая, твердая и старалась окружить себя подходящими атрибутами.

«Откажет! — думала я, — нечего и спрашивать!» Но уходить было невозможно. Министр все приближался к концу полукруга, где стояла я. Вот он подошел к молодому человеку во фраке, совсем близко от меня, и отрывки разговора можно слышать ясно. — «Я явился сказать вашему высокопревосходительству, что все заявленное обо мне… ложь…» — тихим взволнованным голосом заговорил проситель. Министр не дал ему про-

должать: «Позвольте… вы уже на втором месте… и о вас я снова слышу жалобы… вы ни с кем не можете ужиться». Молодой человек перебивает, возражая что-то, я не могу разобрать его слов… но рука властно поднимается: «Позвольте!.. итак, я не могу принять вас более на службу по Министерству юстиции; а пособия в виде выдачи годового оклада жалованья — нигде и никогда не выдается при таких случаях». Короткий поклон, и молодой человек проходит мимо меня, лицо его спокойно, но — почем знать? — какую бурю унес он в душе? каково чувствовал он себя после двойного отказа: не выслушали его оправдания и не дали денег? Очевидно, и то и другое было для него не существенно важно. Но я вспоминаю, как этот же самый субъект сидел передо мною, и чувствую вдруг некоторое удовлетворение, что один из этих имеющих преимущества перед женщинами и так явно их здесь высказывавший — свержен, лишен части своих прав и уходит побежденным. Виноват ли он или нет, — трудно сказать; его миндальная физиономия не внушает доверия, министр же судил таким тоном, как будто бы сам он — непогрешим.

Стоявшая со мной дама просила его о помиловании, и он тотчас же отпустил ее и обратился

ко мне. Несколько путаясь от желания высказать как можно короче — я спросила его о юридическом образовании женщины и возможно ли применить свои познания к делу. — «На это я могу вам ответить справкой из закона, по которому женщинам запрещается заниматься адвокатурой. Кроме того, этот вопрос рассматривался в комиссии и был решен отрицательно». Я сочла нужным объяснить ему, что спрашиваю потому, что осенний семестр начинается за границей и тратить даром время на изучение юридических наук мне бы не хотелось. «Вот, можете сами справиться в законе. Во всяком случае я бы вам не советовал», — закончил разговор министр, направляясь к другой даме. Я поклонилась и вышла.

На душе было смутно, скверно и тяжело от сознания своей зависимости, своего рабства... «Запретили»... Мужчинам легко решить этот вопрос. Но отчего запретили? — Потому что мы — женщины? — и в эту минуту я готова была ненавидеть свою любовь к родине, удерживающую меня здесь. Она одна мешает мне переменить подданство, уехать в ту страну, где женщина наиболее свободна.

Мне вспомнились образованные крепостные.

Не в таком ли положении отчасти находимся и мы? Недаром же нам не дают изучать права.

12 ноября

Вчера вечером скончался М. Н. Капустин. Я была сегодня на панихиде… Лицо покойного нисколько не изменилось. Вот он лежит спокойный, неподвижный, — и та рука, которая подписала разрешение на моем прошении о поступлении на курсы, — уже не шевельнется более. С каким-то невыразимо глубоким чувством смотрела я на лицо умершего; мне вспоминалось близкое прошлое, всего за четыре года назад, вспомнился мой разговор с ним, — и все тяжелое время перед поступлением на курсы. Чувство благодарности живо в моей душе, хотя и сознаю, что Капустин, в сущности, обязан был принять меня на курсы и он сделал только то, что должен был сделать; но его два письма к матери, его старания добиться ее согласия — все это глубоко тронуло меня, и я никогда в жизни не забуду светлый, благородный образ действия Капустина.

Согласно последней воле покойного, на гроб не возлагается венков, но они все-таки есть и сложены сбоку, у стены; среди них и от университета, и «от профессоров, администрации и слушатель-

ниц В. ж. курсов».

У меня всегда было желание иметь его фотографическую карточку с автографом; но этому желанию, как и многим моим сильным желаниям, не суждено было осуществиться. Два года назад, на акте, я лично просила Капустина дать свою карточку — он любезно согласился и потом, конечно, забыл. Теперь приобрету сама его портрет и поставлю на свой письменный стол.

10-го, вечером, в Пскове я гуляла с Л-тиным и рассказывала ему свое поступление на курсы. Я никогда и ни с кем не говорила об этом — и вся взволновалась, и тяжело было мне вновь коснуться душевной раны; и оказывается, в это время М. Н. уже умирал… И всегда у меня было какое-то предчувствие, что с окончанием курсов — кончится и жизнь того, с кем связано так тесно мое поступление на них…

Спокойствие смерти… Хорошо оно, когда человек умер, прожив жизнь недаром… Капустин… не знаю о нем как об администраторе, но для наших курсов он сделал много. Сколько курсисток обязаны ему своим приемом сверх комплекта! при нем число слушательниц дошло до 900 с лишком — немного не хватало до прежней цифры.

Он умер; но что ж? Ведь мое благодарное чув-

ство к нему умрет со мною. Это своего рода молитва… Поклонясь гробу — я перекрестилась… зачем?

14 ноября

Завтра надо пойти на вынос.

Смерть вызывает на размышления о бессмертии души. Если оно есть, то представление о загробной жизни у нас, интеллигенции, должно складываться сообразно нашему умственному и нравственному развитию. Ведь так же, сообразно своей культуре, складывали представление о рае народы всех времен. Я представляю себе загробную жизнь как высшее, непрерывное удовлетворение всех нравственных и умственных стремлений, близость того идеала, который мы называем словом «бессмертие», а верующие — Богом; глубокая гармония духа, происходящая от внутренней удовлетворенности, вечная любовь, преображение душ, совершающееся под влиянием этой любви, делает для людей доступным тот идеал братства и равенства, который недостижим здесь на земле. И эта божественная гармония, эта дивная музыка души, единение всех людей, возвысившихся, облагороженных, чуждых всей грязи, которая остается на земле

вместе с оболочкой тела, — вот такое представление о блаженстве должно бы создаться у нас. Это ведь своего рода религия…

Прочла как-то в воспоминаниях Пассека[144], что Герцен в детстве был очень религиозен и с утратою детской веры — он обратил всю свою энергию, всю любовь своей души, все ее силы на служение человечеству. Я, конечно, далека от мысли сравнивать себя с таким замечательным человеком, но сущность-то души часто бывает сходна у людей. Не я одна была религиозна — и потом отказывалась от прежней веры, и не я одна обращала свои духовные силы на мысли об общем благе. Натуры не религиозные в детстве, холодные, спокойные — не могут понять этого переворота. И вот я чувствую, как мои душевные силы незаметно обращаются на работу для идеи. Справедливость — вот моя религия, вера в прогресс — вот моя вера…

Я не могу жить, как живет Ч., с ясным сознанием неспособности ответить на вопрос о причине своего существования и все-таки жить, — нет, не могу, не могу! У меня должен быть свой идеал, своя вера. В этом и сказалась религиозность моей

---

[144] Примечания: 144

Вадим Васильевич *Пассек* (1808–1842) — русский писатель, историк и этнограф.

натуры. Что ж! я от этого не отрекаюсь…

Первым шагом к осуществлению своих мыслей — была моя статья, которую я написала ровно две недели тому назад, о женском образовании, где я разбираю вопрос о средней женской школе. Теперь как раз своевременно поднять его — идут толки о реформе средней мужской школы, а о женской никто ничего не пишет. Вот я и написала эту статью в силу неудержимого внутреннего стремления — изложить свои мысли, поднять вопрос существенный, важный, необходимый. Что выйдет из этого — не знаю, но мой нравственный долг обязывает сказать то, что я считаю нужным сказать. Эту статью прочли Ч. и педагог Н. Ф. Арепьев, сказав оба, что годится для печати, последний же посоветовал направить ее в «Женское дело». Я сегодня была в редакции, передала ее А. Н. Пешковой-Толиверовой, и она обещала поместить в декабре или январе. А впрочем, вдруг не напечатают?

17 ноября

Я получила из Ярославля 100 руб. и внесла их как пожизненный взнос в Общество для доставления средств курсам. Мне так хотелось ко дню акта быть уже в числе членов, что прямо с почты

с деньгами я отправилась в канцелярию, внесла их директору и получила квитанцию.

21 ноября

На курсах — большое торжество: открытие нового здания, в котором помещаются: актовый зал на 1000 человек, библиотека, большая аудитория на 600 человек, две поменьше, профессорская и инспекторская. Дом еще не был вполне готов, но зал с прилегающими к нему инспекторской и профессорской были отделаны и обставлены вполне, большая аудитория — также.

Сегодня же была назначена отправка депутаций к Гревсу и Карееву. К Гревсу, как водится, ехали все депутатки — от каждого курса по одной представительнице, к Карееву же отправили четырех неназначенных депутаток, в числе которых была я. Сбор был назначен в комнате одной из нас к 12 часам. Я пришла раньше, — вынула адресы и все приготовила к отправке. Вскоре одна депутация уже уехала, к Карееву же нечего было спешить, так как он живет на той же линии, где и курсы.

Юлинька М. принарядилась и, по обыкновению, болтала без конца. Изящная, тонкая и высокая Д. вполне подходила в качестве депутатки,

и К. тоже. Я оделась в темное платье с кружевным шарфом на шее, — должно быть, было вполне корректно, так как заслужила замечание Д., что из всех их у меня наиболее депутатский вид. А между тем я никогда не была депутаткой… но смутное чувство уверенности, что я смогла бы быть представительницей и защитницей интересов товарищей, не оставляло меня. Решено было, что я скажу сначала несколько слов профессору и передам адрес Юлиньке для прочтения и передачи. Нельзя сказать, чтобы на душе у меня было хорошо. За адрес Гревсу мне нечего было бояться — он был исполнен безукоризненно с художественной стороны, и текст, хотя и длинноватый, дышал теплотою и искренностью; текст адреса Карееву был написан мною, и я ясно сознавала все его недостатки: «Николай Иванович! С чувством глубокого сожаления узнали мы, что Вы принуждены прекратить чтение лекций в университете и на курсах. Мы теряем в Вас не только профессора, выдающегося представителя науки, но и человека, в котором всегда находили сочувственный отклик наши нравственные и материальные нужды. Примите, глубокоуважаемый профессор, выражение нашей искренней признательности за все сделанное Вами для рус-

ской науки и учащейся молодежи». Написано было сдержанно, ясно, кратко и, в сущности, вполне честно, без всякого преувеличения выражая наши чувства по поводу потери Кареева, но… пожалуй, уже чересчур кратко. Кроме того, не было подчеркнуто значение его сочинений, не было сказано, что они навсегда останутся для нас источником знания и проч., — это все надо было бы сказать, да не было сказано.

Мы пришли и разделись в прихожей. Кареев вышел к нам, и, войдя в зал, я обратилась к профессору с коротенькой речью; содержание ее приблизительно было такое: «В день нашего курсового праздника, в который мы привыкли видеть Вас среди нас, глубокоуважаемый профессор, мы приходим к Вам, чтобы выразить чувство бесконечного сожаления о том, что Ваша долголетняя связь с молодежью насильственно прекращена». Я хотела сказать это как можно глаже, лучше, но, как водится, последняя фраза вышла у меня не очень-то литературно сказанной, и я поспешила окончить: «Мы являемся к Вам в качестве депутации от всех наших товарищей». Прибавив еще какие-то слова, передала адрес Юлиньке. Та спокойным тоном прочла адрес.

Кареев, слегка наклонив голову, заложив руку за борт сюртука, неподвижно стоял перед нами; он был, как всегда, величествен и спокоен, и я тщетно старалась уловить на его лице следы какого-нибудь душевного движения. Юлинька передала ему адрес, он пригласил нас сесть. «Да, я надеялся, что еще буду продолжать чтение лекций на курсах, предполагал даже открыть специальный курс, и вот… не пришлось», — сказал он. Так как из всех присутствовавших он знал только одну меня немного в лицо, то и обратился ко мне с вопросом, что делается у нас на курсах. Я отвечала, что лекции г-на Гримма посещаются мало, что мы никак не можем забыть нашей потери; перед каждой вечеринкой поднимается история — приглашать или не приглашать г-на Гримма, так как, к сожалению, среди наших товарок находятся люди, готовые пригласить на том только основании, что он читает лекции. Мне было стыдно сказать эту правду, но Кареев, конечно, мог понять, что эта кучка не велика во всяком случае. «Вопрос был решен так, — продолжала я, — ему продали билет на вечеринку на общем основании; но вам и Гревсу будут присланы почетные билеты на дом». — «Будьте так добры, скажите той, которая

будет у меня с билетом, чтобы она оставила мне свой адрес», — сказал профессор. Потом заговорили об акте… — «Хотя я и получил приглашение, но вы понимаете, конечно, что не могу быть у вас. Жена моя будет, как член комитета. Но я не пойду, так как могу же встретиться с директором, который меня уволил, и с министром. Я ничего не имею против директора, но как с человеком, уволившим меня, — встреча невозможна». Мы выразили сожаление, что не увидим его. Разговор продолжался еще несколько минут… Всегда нетерпеливая и церемонная Юлинька поднялась первая, мы тоже все встали и простились.

Дневник русской женщины
1900–1902
Париж

1900 год

Париж, 1 декабря

Я дошла до такого состояния, что уже не сплю большую часть ночи, вся вздрагиваю при каждом шорохе, засыпаю только под утро…

Холодно… Сквозь окна едва пробивается тусклый свет серого дня… Грязные обои, маленький столик вдоль стены, кровать, занавеска для платьев, небольшая печка в углу, стул, умывальник — вся эта обстановка на пространстве трех аршин в квадрате — вот моя комнатка, — cabinet, как поздешнему называют… Света мало, воздуха тоже, зато самая дешевая во всем нашем маленьком пансионе…

Хозяйка — швейцарка родом — предобрая, утешает меня:

— Вам нехорошо, мадемуазель? Болит голова? Ну что ж делать! Это пройдет…

К несчастью — не проходит, а все усиливается. И однако, у меня нет никакой физической болезни — так что нечего рассчитывать ни на избавление смертью, ни на то, что ее опасность вызовет реакцию, борьбу организма. Я совер-

шенно здорова и в то же время не пригодна ни к чему… хуже всякой больной. Делаю все как-то машинально… И бумаги переписывала, и прошение подавала о приеме на юридический факультет… А выйдет ли толк какой-нибудь из этого, раз я не в состоянии работать?

6 декабря

Кажется, опять начинается со мной старая история. Опять это ужасное состояние. Оно подкрадывается так тихо, так незаметно, будто ядовитая змея… А я уже чувствую ее жало.

Точно обруч какой сжимает голову, сначала слегка, потом сильнее и сильнее… Ничего не хочется делать, читать, работать — сил нет, умственных сил… Эта проклятая головная боль уничтожает их. И от сознания своего бессилия, своей неспособности к работе — отчаяние, ужас. Душа вся болит, в ней нет живого места — и тоска безграничная, отчаяние страшное охватывает ее…

Чего-чего я не делала, чтобы вылечиться! Ко скольким знаменитостям обращалась в Петербурге… Нам, учащимся, это ничего не стоило. Придешь — знаменитость слегка выслушает, потом промычит: «мм… отдохните»… сунет рецепт,

с достоинством отклонит деньги!.. Я заказывала лекарства, ездила на отдых, на морские купанья; пока лечишься — как будто бы и ничего… новые места, впечатления — развлекают… Но потом — опять, опять то же. То слабее, то сильнее, — смотря по обстоятельствам.

Когда кончила курсы, думала — год отдохну, брошу книги, занятия — авось оправлюсь. Пока перемена места и впечатлений — мне легче. Возвращаешься к старым местам, к старым воспоминаниям и делам семейным — опять хуже… Но ведь нельзя же всю жизнь путешествовать?! Особенно больно и плохо делается мне, когда вспоминаю о Вале, об ее браке… Вот уже тогда поистине можно сказать: вы, воспоминанья, — не мучьте меня!

Они меня именно мучат…

Страшное сознание своей вины вновь встает перед совестью, тяжелый обруч сжимает голову еще больше, я без сил падаю на постель.

До чего тяжело, до чего тяжело все это!

8 декабря

Сегодня получила письмо от Вали.

По обыкновению грустное, точно придавленное чем-то. В каждой строчке — так и кажется

— смотрят ее печальные глубокие глаза, из-за писаных слов слышится ее голос: «за что загубили меня». Не переписываться с ней нельзя. Ей без того тяжело живется.

А каждое ее такое письмо — точно раскаленным железом проводит по незажившей ране. Я заслужила, заслужила эти страдания.

Но нет. Я не так виновата, ведь я была так молода, всего на два года старше, — и не могла лучше ее понять последствия. Мы одинаково росли, одинаково мало знали жизнь и людей. Нет, эти упреки совести слишком мало заслужены.

11 декабря

Я совсем больна. Сегодня утром голова так закружилась, что чуть не упала.

Придется, видно, обратиться к доктору…

Есть у меня здесь одна знакомая женщина-врач Бабишева, приехала сюда с дочерью. Добрейшая дама, курит папиросы и по-дворянски нерасчетливо тратит деньги. Уже заняла у меня 20 франков до первого числа. Дочь — студентка медицинского факультета, тонкое, хрупкое существо, вся поглощенная медициной. Она только что перевелась из Лиона на первый курс. Спрашивала ее — к кому обратиться, — она ничего и никого еще

не знает; целыми днями сидит над книгами — к экзамену готовится. Мать ее — специалистка по женским болезням — тоже ничего не знает.

Дочь посоветовала справиться в École de Médecine[145]. Пойду завтра. Совсем измучилась.

12 декабря

Пошла в эту École de Médecine. Спросила консьержа — где консультация по нервным болезням?

Тот сказал — в Сальпетриер, от 9–11, спросить клинику д-ра Raimond. Я посмотрела на часы — было половина десятого. Можно было надеяться попасть на прием.

Стояло холодное, серое утро. Парижане не шли, а бежали по улицам, подпрыгивая на ходу, чтобы согреться…

Скверно здесь зимою: холод, по-моему, сильнее, чем у нас, в России, потому что нет снегу, — под ногами холодный камень; в доме тоже холодно… Солнца нет, тусклый, серый дневной свет, серые дома… При моем теперешнем настроении — такая погода тяжело ложится на сердце…

Консьерж весьма обстоятельно указал мне ом-

---

[145] Примечания: 145
Школа медицины *(фр.)*.

нибус. Я села на бульваре Сен-Жермен, и дорога до Сальпетриера показалась мне бесконечной. Salpêtrière! Это имя у меня по ассоциации идей тесно связано с Шарко.

И я даже обрадовалась, увидя его статую при входе в больницу…

Вот она, эта знаменитая больница…

За высокой каменной стеной — точно город, выстроенный на свой особый лад: пять огромных серых каменных корпусов, между ними — тихие пустынные улицы…

— Где клиника доктора Raimond'a? — спросила я у служащих.

— Третий дом налево.

Это был маленький, чистенький, одноэтажный домик с двумя дверями.

Я отворила наудачу одну из них, вошла… и… остолбенела.

Большая, с низким потолком комната была переполнена студентами и студентками. Впереди возвышалась эстрада, а на ней, небрежно развалясь в кресле, сидел, очевидно, один из 32 медицинских богов, окруженный своими жрецами-ассистентами.

Перед ним стоял стул, на нем сидела женщина в трауре и горько плакала; рядом с ней стоял

мужчина средних лет — очевидно, ее муж.

— Ну? По-прежнему плачет, по-прежнему мрачные мысли? — презрительно-свысока ронял слова профессор, не глядя на больную.

Несчастная женщина молчала, опустив голову и тихо всхлипывая.

— С самой смерти сына все так, — ответил за нее муж.

И за свой почтительный ответ был удостоен:

— Ну?

Еще вопрос, еще ответ мужа, и опять снисходительное: «Hein?» — «Ну?»

Опрос больной, очевидно, кончился.

Ее свели с эстрады по лесенке; профессор написал рецепт и протянул его мужу. По их уходе — он стал объяснять студентам болезнь, ее симптомы и следствия. То, что он говорил, было, очевидно, умно, очевидно, хорошо, но, по-моему, не хватало одного, и самого главного: сострадания к несчастному человеку, — и своим грубым обращением с больной ученый профессор подавал самый плохой пример своим ученикам.

Бледный худенький мальчик, в сопровождении родителей-рабочих, робко взошел на эстраду и растерянно озирался кругом.

— Ну, посмотрим, что тут у нас? — снова раз-

дался снисходительно-повелительный голос знаменитости, которая даже не шевельнулась при появлении больного.

Сердце болезненно замерло и остановилось…

Так неужели же и мне надо взойти на эту эстраду, вынести весь этот допрос перед сотнями любопытных глаз, мне — и без того измученной жизнью — перенести еще все это унижение своей личности, служить материалом для науки, да еще с которым обращаются так презрительно??

И эстрада показалась мне эшафотом, а профессор — палачом.

Взойти на нее добровольно?!

Голова кружилась все сильнее и сильнее…

— Monsieur… что это?..

Стоявший рядом со мной студент, усердно записывавший все время лекцию в тетради, — обернулся с недовольным видом.

— Это демонстрация больных и лекция. Идите в приемную и ждите своей очереди.

— А нельзя… иначе?..

— В клиниках всегда так делается.

Он вовсе не был расположен давать объяснения, профессор читал, и ему надо было записывать. Все стоявшие и сидевшие кругом тоже сосредоточенно записывали каждое слово.

Я вышла из залы, прошла немного вперед и отворила другую дверь.

Небольшая комната, вся заставленная скамейками, на которых сидели больные, ждавшие своей очереди.

Маленькая худенькая женщина в белом холщовом платье и кокетливой черной наколке с лентами подошла ко мне:

— Вы опоздали к приему, номеров больше не выдают.

Из соседней маленькой комнатки выглянул молодой человек в белой блузе.

— Когда профессор принимает у себя на дому?

Молодой человек в белом исчез в комнатке; я слышала, как он спросил кого-то, потом вышел снова и посмотрел в записную книжку. — «По средам и пятницам».

— А как зовут этого профессора и какой его адрес? — догадалась я спросить.

— Dejerine.

— Сколько платят ему за визит?

— От 40 до 50 франков.

— Merci, monsieur.

Я опять была на дворе, среди этих огромных серых каменных зданий. Отчаяние, холодное, безграничное отчаяние охватило душу…

Что мне оставалось делать? Идти на прием и взойти на этот эшафот… Да ведь тут душа живого человека, все горе, все несчастье — служит материалом, вещью, с которой не церемонятся.

Нет, уж лучше пойду к нему на дом. А где взять 40 франков? Ведь этот господин не сказал, что с учащихся не берут… значит, здесь другие порядки, чем в Петербурге… должно быть, здесь бесплатно только в клиниках… Что же мне делать, что же мне делать?!

Как в тумане, не сознавая ясно, что происходит кругом, шла я домой.

На меня наезжали извозчики, звонила под самым ухом конка.

Я ничего не замечала, точно в первый раз попала на площадь Сен-Мишель.

— А, это — вы, Дьяконова! Здравствуйте и прощайте, некогда, бегу!

Навстречу мне действительно не шла, а бежала Кореневская, единственная студентка-юристка второго курса на всем факультете. Я познакомилась с ней, когда ходила подавать прошение. Веселая, бойкая, жизнерадостная особа с типическим лицом поповны.

— Куда вы?

— Иду Жанну Шовэн смотреть, — сегодня при-

сягает.

— Как, неужели сегодня?!

— В 12 часов… в газетах было… ну, до свиданья — бегу, меня знакомые ждут там — на мосту.

Это была самая животрепещущая для меня новость. С тех пор как в палате депутатов прошел закон, предоставляющий женщинам право заниматься адвокатурой, — я все время жду — скоро ли будет присягать Жанна Шовэн, первая французская женщина-юрист, доктор прав Парижского университета. И вдруг — она присягает сегодня! А я и не знала! И поэтому удержала Кореневскую.

— Постойте, погодите минуту, ведь народу будет наверно масса, есть у вас билет?

— Да, один знакомый адвокат проведет.

— А можно попасть без билета?

— Попробуйте, кажется — трудно. Ну, до свиданья!

И Кореневская исчезла в толпе. Этакая эгоистка. Занимает у меня деньги постоянно, а чтобы оказать услугу просто, по-товарищески пригласить пойти с собой — этого нет.

Я вздохнула и посмотрела на часы. Было половина двенадцатого. В пансионе у нас завтрак в двенадцать часов, хозяйка очень аккуратна и

терпеть не может, когда опаздывают.

Но присяга Жанны Шовэн стоила завтрака, к тому же и есть не хотелось…

Я решила пойти в Palais de Justice[146]. Публика толпилась у дверей первой палаты, где назначена была присяга. Я с любопытством осматривалась кругом, когда вдруг чья-то рука ласково взяла мою. Сквозь толпу пробиралась ко мне румынка, Бильбеско, красивая блондинка историко-филологического факультета — по-здешнему ès-lettres.

Я познакомилась с ней на одной из лекций. Это милая, изящная девушка, почти девочка, всегда так ласково заговаривает со мной — видно, не прочь познакомиться поближе, да кто-то мешает ей в этом, должно быть, родители. Но всякий раз, как только меня увидит, — всегда подходит, улыбается:

— Добрый день, мадемуазель!

— Добрый день! Как поживаете?

— Хорошо, благодарю. А вы?

Это уже неизбежное вступление. И хотя на этот раз я вовсе не была расположена к любезности, все же отвечала как всегда.

---

[146] Примечания: 146
Дворец правосудия.

— Так и вы пришли посмотреть на присягу Жанны Шовэн? Мы тоже. Позвольте представить вам мою старшую сестру, медичку последнего курса.

Высокая, стройная, красивая брюнетка, ласково улыбаясь, протянула мне руку.

И вся еще под впечатлением виденного в больнице, я заговорила с ней о своем состоянии, о том, что не могу работать и т. д.

Я смутно чувствовала, что с точки зрения светских приличий поступаю, может быть, не совсем тактично, рассказывая так, сразу о себе. Но какой-то инстинкт подсказывал мне: «говори, говори».

— Будьте покойны. Я могу вам это устроить. Я дам вам рекомендательное письмо к интерну. Он очень хороший врач, мы были добрыми товарищами. Моя сестра принесет вам письмо на лекцию.

— С удовольствием. Приходите послезавтра на литературу Фагэ, амфитеатр Декарт, в половине второго, — сказала младшая Бильбеско.

Мне хотелось спросить — что это такое «interne» — как прилагательное — les maladies internes[147] — напр., я понимаю; но что бы это

---

[147] Примечания: 147
Внутренние болезни *(фр.)*.

значило как существительное, в области медицины — не понимаю. Но постеснялась спросить. На душе стало немного легче. Неожиданное сочувствие точно успокоило меня.

А Жанна Шовэн все не приходила.

Очевидно, присяга не должна была состояться сегодня. Публика стала расходиться.

Вышли и мы втроем. На улице простились. Сестрам Бильбеско надо было идти вправо, а мне влево.

Ох, как устала писать!

И к чему пишу-то, интересно знать. Просто пробуждается старая привычка. К тому же так тяжело, так скверно на душе… не хочется ничего делать…

Ну и пишешь, точно развлечение какое, благо бумага все терпит.

14 декабря

Сегодня пришла, как было условлено, в Сорбонну, к амфитеатру Декарта, в половине второго… нет Бильбеско. Она пришла только к самому началу лекции Фагэ и извинилась: сестра забыла дать письмо.

Я с трудом сдержала слово упрека. Зачем?

А мне ведь с каждым днем хуже.

17 декабря

Вчера вечером вернулась с лекции. Прохожу коридором, на полочке для писем — два письма. Одно на мое имя от младшей Бильбеско, другое — незапечатанное на имя monsieur Lencelet, interne de médecine Hôpital de la Salpêtrière. Это и было обещанное рекомендательное письмо. Младшая Бильбеско сообщала мне, чтобы я шла туда к 9 часам утра: «Вы найдете его без труда».

Я нашла, что это очень деликатно со стороны медички — не запечатать письмо, — значит можно прочесть. Впервые в жизни пришлось мне пользоваться рекомендацией к врачу. Что бы такое она могла написать? Интересно.

Мне вспомнился анекдот, как одна барыня, ехавшая на воды, догадалась вскрыть рекомендательное письмо, данное ей русской знаменитостью к заграничному собрату: «Посылаю тебе жирную гусыню, — ощипли ее хорошенько». Барыня благоразумно не поехала на воды.

А это письмо было не запечатано нарочно, — очевидно, чтобы я могла его прочесть.

И без всяких угрызений совести я вынула письмо и прочла:

«Дорогой мсье, я рекомендую Вашему забот-

ливому попечению мадемуазель Дьяконофф, которая страдает головными болями, головокружениями и так далее…»

Да, etc!.. Вот как врачи определяют такое состояние! Коротко и ясно.

Далее шли какие-то сообщения о каких-то книгах. Это уже меня не касалось, и я, не дочитав, вложила письмо в конверт. По общему тону письма видно было, что это был хороший товарищ Бильбеско. Наконец-то! Пойду завтра.

18 декабря

Постаралась встать как можно раньше, чтобы поспеть в Сальпетриер. Это мне удается с трудом: всю ночь не сплю, заснешь под утро и встаешь всегда поздно.

По обыкновению остановила консьержа:

— Вы к кому?

— …Monsieur Lencelet.

— Прямо, третий корпус направо.

Такой же домик, как и в клинике доктора Raimond'a. Только одна дверь со стеклом, над ней надпись черными буквами «parloir»[148].

Я отворила. В небольшой комнате сидела моло-

---

[148] Примечания: 148
Приемная *(фр.).*

дая женщина в холщовом платье, белом чепце и что-то шила. «Должно быть, здесь сиделки носят такую форму», — сообразила я и спросила:

— Мсье Ленселе?

— Его еще нет, мадемуазель. Возможно, вы найдете его вот там, в клинике доктора Шарко.

Эта клиника уже наполнялась народом: больные и студенты собирались. Рыжеволосая кокетливая сиделка, играя глазами, шмыгала из аудитории в комнату, где ждали очереди больные, и обратно.

— Будьте любезны, сударыня, — мсье Ленселе здесь?

— Нет, возможно, вы найдете его в приемной.

Это начинало походить на игру в прятки.

Очевидно, здесь было столько служащих, что трудно было добиться толку у кого бы то ни было, я пошла в parloir сказать сиделке, что из клиники Шарко меня послали обратно. В это время высокий старик, лет семидесяти, бедно, но чисто одетый, с гладковыбритым лицом, подошел с визитной карточкой в руках.

— Monsieur Lencelet?

— И вы к нему? Вот видите, барышня тоже ждет. Он еще не пришел.

И, заметив на моем лице явное нетерпение, —

повторила:

— Сходите в клинику Шарко, быть может, он теперь там.

Я со стариком пошла туда. Опять тот же ответ… Такая прогулка из клиники Шарко в parloir и обратно надоела старику. Он устал ждать и ушел. Я оставалась еще с полчаса. Была половина одиннадцатого, столько потерянного времени, так устала, и все напрасно! И эта румынка пишет, что он приходит к 9 часам утра! Как же! очевидно, и не думает являться ранее 11…

Неужели же еще раз идти туда?

А ведь надо… как же быть иначе?

И какое-то злобное горькое чувство шевелилось в душе. Нечто подобное должны переживать и бедняки, ожидающие очереди в приемной богача, когда им вдруг говорят, что приема сегодня не будет. Эх, жизнь, жизнь! И из-за чего же переносить такое унижение?

Все из-за того, что нет сорока франков заплатить за визит на дом хорошему врачу, а идти к простому — не к профессору — не стоит.

Это такая упорная болезнь, я чувствую себя так плохо; только очень хороший врач может помочь мне…

20 декабря

Вчера так голова болела, что пролежала целый день.

Сегодня уже не спешила; встала поздно и в Сальпетриер пошла только к одиннадцати часам… Сиделка в parloir'е набросилась на меня с фамильярным упреком:

— А вы тогда только что ушли — и пришел monsieur Lencelet. Вы столько ждали, — не хотели подождать еще немного!

Еще немного! Да что же эти люди воображают, что мы созданы для врачей, и если нам надо их видеть — так хоть умри, дожидаясь?

Но я благоразумно воздержалась высказать это вслух и спросила только:

— А теперь он здесь?

— Да, мадемуазель… Вот он идет…

Она показала на двух мужчин, выходивших на двор, из которых один был в белом, а другой — в черном пальто и шляпе.

Они прошли мимо ворот и куда-то исчезли. «Ну вот он и ушел, и опять неудача», — с отчаянием подумала я.

Но сиделка в порыве усердия была до крайности внимательна и любезна. Видя мое растерянное

лицо, она обняла меня за талию и повела к воротам.

В эту минуту двое мужчин опять показались на дворе.

— Тот, что в белом, — это мсье Ленселе… — тыкала она пальцем по направлению к нему. Мне стало смешно и неловко: эта женщина обращалась со мной уж чересчур по-детски.

— Спасибо, мадам, теперь я сама его найду.

Но сиделка все-таки подвела меня к нему:

— К вам мадемуазель, — и ушла, очевидно очень довольная собой.

— Мсье, у меня письмо для вас, — робко сказала я, опустив голову и подавая ему письмо.

— Спасибо, мадемуазель, — серьезно сказал он, принимая письмо.

Это показалось мне излишней вежливостью. К чему? Ведь он должен был мне оказать услугу, и уж никак не ему надо было благодарить меня.

Он внимательно прочел письмо до конца.

— Мне сказали, что вы уже приходили ко мне?

— Да, мсье.

Он извинился; в свою очередь я из вежливости сказала, что это лишнее, так как он не виноват, если неверно указали часы пребывания его в больнице.

Он подошел к дверям клиники Шарко, заглянул в аудиторию. Там никого не было. Лекция кончилась, и только стулья, стоявшие в разных направлениях, напоминали о том, что всего несколько минут тому назад она была полна веселой, деятельной учащейся молодежью.

— Войдите сюда, мадемуазель!

Большая комната, вся увешанная по стенам изображениями больных женщин в разных позах, с обнаженными руками и плечами, с распущенными волосами, казалось, производила впечатление чего-то таинственного и страшного. Он указал мне стул около письменного стола и сел сам.

Я дрожала, не смея поднять глаза.

Обстановка комнаты давила меня.

— Откуда вы? Давно приехали в Париж? Чем занимаетесь? Давно вы больны?

На все это я могла ответить, так как язык был обыкновенный, разговорный. Но когда вопросы перешли на чисто медицинскую почву, — я понимала уже с трудом, о чем он спрашивает. Внимание напрягалось до последней степени, в виски стучало.

— Сколько часов в день вы занимаетесь? — спросил он, покончив с чисто медицинскими

вопросами, на которые я отвечала отрицательно, так как у меня нет никаких болезней. Мне было страшно больно отвечать, что не могу совершенно заниматься умственным трудом. И одно мучительное опасение всегда приходило в голову — а что, если такое состояние является предвестником потери умственных способностей? Что, если я сойду с ума?

На такой вопрос петербургские знаменитости, снисходительно улыбаясь, как глупости больного ребенка, — всегда отвечали: вот фантазия! да это у вас просто переутомление… отдохните недельки две-три в деревне — и все пройдет… Но если такое состояние делает из меня ни к чему не пригодное существо, — та же мысль инстинктивно пришла в голову, и я высказала ее вслух.

— Ну, за это вам вовсе нечего опасаться, — отвечал он тоном, не допускавшим никакого возражения. — Видите ли, жизнь в Париже слишком сложна, сюда надо приезжать уже вполне сложившимся человеком, лет 25–28.

— Но мне уже 25 лет.

— Совершенно невозможно дать вам столько! — сказал он с самым искренним удивлением.

Мне было не до смеха, чтобы улыбнуться на это восклицание.

Однако это вечное людское недоумение становится, наконец, смешно. Я росла под общий говор сожалений о своей «старообразности». И вдруг начиная с 17 лет — точно застыла на этом возрасте, и теперь мне самое большее дают 21 год.

«Маленькая собачка до старости щенок!» — хотелось мне ответить ему насмешливой русской пословицей, да не знала, как перевести по-французски «щенок». И ограничилась тем, что устало возразила:

— Вполне возможно, почему бы нет?

Я слишком горда, слишком привыкла скрывать от людей свое состояние, — даже разговор с врачом казался унижением. И я страдала от этого допроса, как раненые, когда исследуют их раны.

Наконец он перестал спрашивать и замолчал, что-то соображая.

— В том состоянии, в каком вы находитесь теперь, вам лучше всего вернуться домой, в свою семью.

Эти слова точно ножом резнули по сердцу.

— В свою семью! — вскрикнула я и… не помню ясно, что было дальше. Перед глазами все завертелось, в ушах зазвенело, и я зарыдала горько, отчаянно, неудержимо.

«Не причиняйте себе вреда, не причиняйте себе

вреда!» — смутно, точно откуда-то из-за стены, слышала я и не понимала.

Все, что до этой минуты еще поддерживало меня, вся гордость, вся сдержанность — рухнули как карточный домик от этих слов — таких простых, таких естественных, но и таких ужасных.

Зачем он сказал мне об этом, зачем напомнил?

«Не причиняйте себе вреда, не причиняйте себе вреда!»

Но я не могла.

Когда наконец опомнилась и могла справиться с собой — я чувствовала себя совершенно разбитой. Мне даже не было стыдно, что вдруг позволила себе выказать такую слабость, плакала, как ребенок, перед чужим человеком. Мне было как-то все равно, хотя по привычке, годами воспитанной, я сказала не своим, а точно чужим голосом традиционное:

— Прошу прощения, мсье.

А потом, опираясь на спинку стула, закрыла лицо руками и молчала… Страшная усталость охватила меня. Он заговорил:

— Видите ли, вы больны не физически, а нравственно… Вам не надо жить одной… непременно надо иметь около себя кого-нибудь, кто мог бы заботиться о вас, развлекать. Вам необходимо

иметь знакомых. Хотя, конечно, в Париже мы живем все очень уединенно, — тут же оговорился он. — Я вам дам лекарство, но при том образе жизни, какой вы ведете сейчас, — при таких условиях — вам трудно вылечиться. Одни лекарства не помогут.

Я сидела неподвижно и молчала.

И, как бы поняв всю жестокость своего приговора, он спросил:

— Скажите, где вы живете? Я пришлю вам человека… даму, чтобы развлечь вас.

«Мне никого не надо», — хотела я сказать.

Вся моя гордость возмутилась, но страшная физическая слабость мешала двинуть пальцем, не то что с достоинством выпрямиться. И я машинально отвечала:

— 36. Rue de L'Arbalete.

Он вынул книжку и записал адрес.

— Я дам вам лекарство. Одно — камфорный спирт — его продают в любой аптеке, без рецепта. Делайте растирание всего тела, два раза в день, утром и вечером, только не сами… ни в каком случае.

— Некому мне этого делать. Я живу в пансионе, где все жильцы — студенты; комната моя наверху, хозяйка — живет внизу, она занята с утра до

вечера, и мне, право, даже неловко обращаться к ней с такой просьбой…

— Как-нибудь устройте, — я говорю только, что вам это полезно. Потом пилюли. Принимайте по три раза в день перед пищей. Нравится вам электричество?

— Да, в Петербурге я пробовала.

— Ходите сюда три раза в неделю на электризацию. Я вам дам рецепт. С ним придете вы сюда в понедельник к доктору Fourchon. Он даст вам билет на пользование ваннами. Только помните мое слово: не ждите прямой пользы от этих лекарств. Одни они вам не помогут.

Он протянул рецепт. Я встала.

И, провожая меня до дверей, он сказал:

— Заходите ко мне время от времени… мы сможем немного поговорить…

Я шла домой, как в тумане.

«Нельзя вылечиться при таких условиях» — и смутное сознание подсказывало мне, что это правда. Так вот отчего не помогали мне ни морские купанья, ни лекарства! Он прав, он прав, он прав…

Мне невозможно, немыслимо изменить условия своей жизни, нельзя создать семью, раз ее нет, — мне не с кем жить.

А если я совершенно одинока — кто же позаботится обо мне?

А главное — кто изгладит из моей совести эти воспоминания, этот ужас невольно совершенной ошибки, кто изгладит последствия семейного деспотизма?

Как я ни боролась со средой, как ни поднялась высоко над всем, что меня окружало, — все же и я человек, и моя душа уязвлена.

Приговор простой и ясный: меня нельзя вылечить — значит приходится жить под гнетом этого ужасного состояния.

И хотелось бы мне сказать громко: «Люди! вот среди вас гибнет человек, которому нужно так мало, так мало… искра любви, ласки, участия… Дайте мне ее — и я оживу! я буду снова в состоянии работать!»

Но я знаю, что гордость запрещает мне показывать людям, как я страдаю… она и на курсах заставила меня замкнуться в себе… И люди все равно не поймут, что мне надо… Так что некому мне этого дать…

23 декабря

Получила билет на электризацию в Сальпетриер. Сиделка и служитель, которые ее делают, —

без стеснения обирают больных, хотя на стене висит печатное объявление: «Служащим принимать деньги и какие бы то ни было подарки от больных строго воспрещается».

По окончании сеанса сиделка становится у дверей, и серебряные и медные монеты так и сыплются в ее передник. Никто не ускользает от этого обязательства, но меня, как студентки, она побаивается, хотя каждый раз, как я ухожу, — провожает долгим, яростным взглядом, потому что я из принципа — понятное дело — не стану давать взяток.

25 декабря

Вот и Рождество. Два дня не будет лекций. Вчера вечером пошла немного пройтись по улицам. Нарочно выбрала ближайшую от нас, где живет рабочее население, — rue Mouffetard. Узкая и длинная улица извивается, точно коридор. Здесь в обычае праздновать канун Рождества — как у нас Пасху: в церквах служат messe de minuit и в домах устраивают веселье и едят кровяную колбасу — по-здешнему «boudins».

Было десять часов вечера. Улица-коридор кишела народом, точно муравейник. Все лавки были открыты и ярко освещены; пение, шум,

музыка, крик, смех… И так везде в эту ночь, на всех улицах Парижа.

Какая разница между пестрой, шумной, веселой Рождественской ночью — и нашей, в России! И мысль уносится далеко-далеко, и в воображении — бесконечные снежные равнины моей родины, среди которых затерялись столицы, города и деревни.

Как хороши эти деревни при лунном свете, как фантастичны леса зимою!

Среди величавой тишины зимнего вечера раздаются колокольные звоны, и эти звуки, мерные, плавные, протяжные, так гармонируют с настроением природы.

Чудная, таинственная, мистическая северная ночь!

Сколько в ней поэзии, сколько странной грусти… Хочется отрешиться от себя самой, хочется уйти, улететь куда-то, — и не знаешь куда… хочется уйти из этого мира, жить вне пространства, вне времени…

А здесь, здесь!

Тоска еще более сдавила сердце, когда среди крика и шума пробиралась я к себе, в свою холодную одинокую комнату.

Что может быть прозаичнее встречи праздника

в таком шуме и гвалте?..

Сегодня — как оделась — легла. Не вышла ни к завтраку, ни к обеду… Студенты-агрономы, такие ограниченные малые, только и умеют говорить о своих репетициях да экзаменах. Так как я с ними не кокетничаю, то на меня они нуль внимания. Хозяйка опять пришла ко мне в комнату, утешает меня, как умеет. Добрая душа! Но помочь она мне вряд ли может.

Мне хотелось бы, чтобы пришла эта дама. Зачем?

Ведь все равно она ничем мне не поможет.

29 декабря

Встретилась сегодня с Бабишевой.

— А-а, Дьяконова, пойдемте к нам! — и потащила к себе. Хоть у меня и очень мало с ними общего, но одиночество так угнетающе действует на меня, что я все-таки пошла. Среди болтовни о всяких пустяках, о том, как она устроилась, как она начала ходить слушать лекции, в какие дни, — она вспомнила, что я хотела идти к доктору.

— Ну что? как? где были?

— В Сальпетриере.

— А-а, ну? как там?

Я знаю, что ее интересует вовсе не то, что

мне сказали, а просто профессиональное любопытство: как, что, какой госпиталь и прочее. И поэтому рассказала ей о внешнем виде больницы, о своих впечатлениях, о том, что мне нельзя всего осматривать…

— Ну а вам что сказал врач?

Меня передернуло от внутренней боли.

Это так напомнило его приговор — сознание своего безвыходного положения. И я как можно короче ответила: «ничего… сказал, что мне вредно жить одной… велел делать растирания — тоже нельзя самой. Лекарства одни не помогут. Вот и все».

Я говорила спокойным и ровным тоном.

Бабишева очень близорука и в буквальном смысле слова дальше собственного носа ничего не видит. Она не могла рассмотреть ни выражения моего лица, ни скрытой иронии, которая звучала в моем голосе.

Дочь ее в это время возилась со спиртовой лампочкой, приготовляя кофе.

— Да? — сказала Бабишева своим обычным добродушным тоном. — Только как же вам это сделать-то? Здесь у вас никого нет. Ишь какой! Лекарства одни не помогут, надо изменить условия жизни. А коли их нельзя изменить? Тогда

постарайтесь так, чтобы одни лекарства помогли. Это вздор. Я никогда не поверю, чтобы обстановка могла так много значить. Ведь он вам и пилюли дал, и электрические ванны. Подумайте только, э-лек-три-ческие ванны! Покажите-ка мне его рецепт… М-м-м… н-да, верно! Так вот и принимайте-ка их, — берите ванны и растирания делайте — сами. Конечно неудобно, — но что же делать? А что он про обстановку жизни вам говорит — вздор это, голубчик мой; раз изменить ее невозможно, так и не думайте лучше об этом…

И Бабишева, удобно развалясь в кресле, свернула и закурила новую папиросу.

— Лялька, да что это ты сегодня с кофе долго возишься? или опять голова болит? опять вчера долго сидела? Поди ляг, отдохни, а я уже сама тебе в комнату его принесу.

— Ах, оставьте, мама, право! — капризно возражала бледная Ляля. — Мне это надоело. И голова не болит, и легла я не поздно, все сама сделаю. Сидите, не беспокойтесь, я сейчас кончу и вам подам.

Мать с дочерью соперничали во взаимных услугах и нежности.

Они читают много хороших книг, говорят умно и либерально о любви к народу, к рабочим, ко

всем несчастным, униженным, оскорбленным.

Перед ними был несчастный человек, и, однако, ни мать ни дочь не предложили мне и сотой доли своих услуг, не дали мне ни лепты участия, симпатии, которые так существенны, нужны мне.

И я ушла, отказавшись от кофе, ушла, ушла из этих меблированных комнат, где отношения матери и дочери создали почти домашнюю семейную атмосферу и придали им уютность. Я ушла в холоде декабрьской ночи в свою ужасную одинокую комнату.

31 декабря

Еще несколько часов, и человечество встретит Новый век.

Когда подумаешь — какое море печатной и писаной бумаги оставит по этому поводу девятнадцатый век своему преемнику, — перо падает из рук и не хочется писать. На всех углах земного шара люди ждут его, пишут, рассуждают, подводят итоги, пытаются заглянуть в темную даль не только «нового года», как они привыкли это делать, но и «нового века».

И есть отчего работать фантазии… Ведь ни один из предшествовавших веков не вступал в жизнь при такой интересной обстановке. Прогресс —

эти сто лет — летел буквально на всех парах, и то, на что раньше требовались годы, десятки лет, — в наш век делалось в месяц и недели.

Никогда человеческий гений не работал с такою силою, не охватывал столько сторон жизни, не проникал так глубоко во все ее изгибы. Кажется, что человечество вышло из детства, из бессознательного грубого состояния дикаря, и вступает в новый век юношей, при полном биении всех своих жизненных сил. Юноша не сознает вполне, что ему надо делать, но в его сознании нет уже той животности, дикости, зверских инстинктов, которые так сильны в детском возрасте. Он стыдится этих порывов, и в нем развивается совесть, просыпаются нравственные вопросы. Мы вступаем в двадцатый век с Толстым и Ибсеном, — пусть помнят наши потомки…

Через сто лет не только мы умрем, но и дети наши, которые рождаются теперь, на которых мы возлагаем столько надежд и упований.

Умрет и моя племянница — о рождении которой недавно известила меня Валя и которую на пороге двадцатого века назвали Надеждой.

Не сказать ей слов: «двадцать первый век». А между тем мы живем и не думаем о смерти, и

каждый раз она является для нас неожиданностью. Смерть — это нечто чудовищное, страшное, но вечно новое, как любовь. Недаром людская фантазия так часто соединяет их вместе.

В любви творческая сила, потому что она создает будущее — детей…

Люди так часто изображают ее аллегорическими фигурами, женщинами в разных позах. Я бы выбрала проще — нарисовала бы толпу детей. В них — будущее человечества, которое создает жизнь. Почему не избрать ребенка эмблемой будущего? Жизнь — творчество, которое поддерживается надеждой.

И на пороге двадцатого века — мысли летят к родине.

Увижу ль я, друзья, народ неугнетенный

И рабство, падшее по манию царя,

И над отечеством свободы просвещенной

Взойдет ли наконец прекрасная заря?[149]

---

[149] Примечания: 149
Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Деревня».

1901 год

3 января

Мы кончали обед, когда madame Dores вызвала меня в коридор. «Вас спрашивает какая-то дама». Пожилая особа, в скромном черном платье и такой же шляпе, поднялась со стула.

— Я пришла от мсье Ленселе.

— Пожалуйста, пойдемте со мной, мадам.

Ей пришлось подняться на третий этаж. Я затопила печку, зажгла лампу и стала приготовлять чай, не без любопытства рассматривая свою гостью.

Пышные волосы с проседью обрамляли ее еще свежее, симпатичное лицо с живыми голубыми глазами. По всему внешнему ее виду можно заключить, что она небогата, вернее всего, вдова.

Она заговорила первая, просто и непринужденно.

— Я пришла к вам от г-на Ленселе. Он иногда посылает меня к своим больным. Так и теперь он сказал: Marie, есть у меня одна пациентка, молодая девушка — сходите к ней… Вот я и пришла.

Она ласково взглянула на меня, и лицо ее све-

тилось доверчивой детской улыбкой.

И я невольно улыбнулась ей в ответ:

— Вы очень добры.

— О, полноте. Я вполне понимаю, как ужасно быть больной на чужой стороне. Но вы ободритесь. Не падайте духом, не поддавайтесь печальным мыслям, и тогда у вас легче будет на душе. Вы студентка?

— Да.

— Вы знаете библиотеку Св. Женевьевы?

— О, конечно.

— Я тоже там бываю.

— Что же вы там изучали? — спросила я осторожно, не без некоторого недоумения, так как по внешнему виду моей гостьи уже никак нельзя было думать, что она студентка или писательница, — а почти все немногие женщины, посещающие эту библиотеку, принадлежат именно к этим классам.

— А мне нужны были книги и словари… я изучала дагомейское наречие.

— Это зачем же? — от всей души изумилась я.

— Знаете ли, на выставке была колония — маленькие негры из Дагомеи. Я с ними познакомилась и в течение шести месяцев выставки — бывала у них ежедневно. Это было очень ин-

тересно. Сначала мы не могли разговаривать, а объяснялись просто жестами. Потом они выучили меня говорить несколько слов по-ихнему, потом я догадалась — сама пошла в библиотеку Св. Женевьевы, спросила там словари и грамматику… так и научилась немножко, чтобы понимать их. Я приходила к ним в колонию с работой, садилась, — около меня собирались женщины и дети. Я учила их шить, вязать, рассказывала им Священную историю… Ах, как они меня любили! Вы себе представить не можете, как нам жаль было расстаться! Они звали меня к себе в Африку, обещали отвести самое лучшее жилище, только бы я приехала.

Я с интересом смотрела на добрую даму. То, что она говорила, было так просто и… оригинально. Сколько народу бывало на выставке, и вот нашелся человек, который увидел в неграх не простой выставочный материал для зрелища, а существа с живыми человеческими интересами.

«Скрыл Бог от премудрых и открыл младенцам», — вспомнилось мне когда-то и где-то читанное изречение. Эта простая женщина бессознательно давала дикарям тот свет цивилизации, которым так любят оправдывать колонизаторы свои вторжения со штыками и пушками в дебри

Африки. И я живо, всем сердцем чувствовала в этой женщине ту непосредственную доброту, сердечность, которой так часто не хватает умным, ученым людям, — и мне стало отраднее и легче на душе. А она продолжала:

— Да вот, что хотите, — но все равно они очень милые, эти маленькие негры. И я к ним очень, очень привыкла и ужасно жалею, что они уехали.

Она вздохнула и замолчала.

— Отчего же бы вам к ним не съездить? — пошутила я.

— Ах, что вы! это невозможно! Такое путешествие… и дорого, и боюсь я моря…

Тем временем большой чайник вскипел на спиртовой лампочке, и я предложила ей чаю.

— Ой, как хорошо… русский чай. Наш французский чай никуда не годится в сравнении с вашим! Он дорогой здесь, в Париже, и, к сожалению, не всем доступен…

— Вы здесь живете одна? — наконец решилась я спросить, считая неловким и неудобным расспрашивать, кто она такая, откуда и чем занимается.

— О, нет. У меня есть дочь — четырнадцати лет. Очень веселая и добрая, — учится в школе. Ее зовут Жанна. Я, знаете ли, даю ей религиозное

воспитание, — это такая опора для женщины.

Мне всегда был ненавистен подобный взгляд на религию. Наша мать, сама не верующая ни во что, кроме денег, — держалась его с нескрываемым цинизмом, насильно посылая нас, дочерей, когда мы были детьми, в церковь, предоставляя сыновьям полную свободу совести. Но эта женщина была трогательно наивна в простоте и доброте души своей. И я спросила только:

— Почему же?

— Потому что жизнь женщины более трудна; ей нужна опора, поддержка, утешение… Все это она находит в религии. К счастью, у моей Жанны прекрасный, веселый характер, она всегда и всем довольна. Мы живем с ней в двух комнатах. Одна гостиная, другая спальня. Вот и теперь — приду от вас — как приятно сознавать, что ляжешь в теплую, нагретую постель.

— Чем же можно нагревать постель? — удивилась я.

— А кувшинами с горячей водой. Видали вы такие белые глиняные? Мы кладем их в ногах… вот постель и нагревается.

Я не могла удержаться от смеха. Здесь так холодно в домах зимою, такая отвратительная система топки: камины вовсе не нагревают комнаты,

тепло только пока топишь, печки выдвижные — немногим лучше. Все мерзнут зимою, и эти усилия нации во что бы то ни стало согреть хотя постель — казались мне такими смешными.

— Однако я долго у вас засиделась, — сказала добрая дама, поднимаясь с места. — Уже скоро десять. Мне еще минут двадцать ходьбы до дому.

— Далеко вы живете?

— Нет, — тут на Avenue d'Orléans; позвольте, я вам напишу свой адрес: M-me Blanchard — 5, Rue Brézin, — написала она неверным детским почерком.

— Если что вам понадобится — напишите… Ну а теперь спать пора… Доброго вечера, мадемуазель.

— Доброго вечера, мадам.

Посещение этой дамы действительно как-то развлекло меня, и стало легче на душе.

7 января

Сегодня на лекции в Collège de France, в узком коридоре, среди массы публики, мне бросилась в глаза фигура высокой, стройной красавицы. Я узнала ее. Это была Сорель.

Помню, как четыре года тому назад, будучи уже на последнем курсе, — она вошла в нашу ауди-

торию первого курса, и мне показалось, точно сильный солнечный луч осветил ее. Мы тогда же познакомились. Потом она кончила, и я не теряла ее из виду; недавно слышала от кого-то, что она вышла замуж за журналиста Сореля. И теперь мы встретились здесь. Я нерешительно подошла к ней.

— Здравствуйте, Сорель, узнали меня? Мы были вместе на курсах.

Она приветливо улыбнулась.

— Как же, как же, помню… только фамилию вашу забыла.

— Дьяконова.

— Давно вы приехали сюда? Куда поступили?

— Около двух месяцев; поступила на юридический факультет.

— И я тоже думаю, на будущий год. Теперь у меня ребенок, сама кормлю, некогда. Заходите к нам, пожалуйста, вот адрес. — И Сорель написала его на визитной карточке.

Лекция началась, и мы сели в разных концах залы.

Я очень обрадовалась этой встрече: все-таки хоть отчасти свой человек. С моего курса никто не уехал за границу.

12 января

Как тянется время! Дни не идут, а ползут один за другим — ужасные, серые, тоскливые… Не хочется никуда идти. Понемногу перестаю посещать свой факультет. Он здесь убийствен: все мало-мальски интересные курсы по наукам общественным, экономическим — отнесены на докторат. На нашем первом курсе читаются только политическая экономия, история права, конституционное, гражданское право. Ни истории философии, ни энциклопедии права, как у нас в России… Мальчики-студенты — почти все сплошь буржуа, чистенькие, элегантные, практичные дельцы уже со школьной скамьи. Я пока еще не познакомилась ни с кем из них. Каждый студент юридического факультета имеет право на карточку факультета ès-lettres — в Сорбонну.

А там лекций такая масса, что растеряться можно — и не знаешь, куда идти, кого слушать.

Я первое время столько бегала по этим лекциям… Теперь напало такое отвращение ко всему, такая апатия, усталость.

Хожу на электризацию в Сальпетриер, — только не три, а два раза в неделю, — по средам и пятницам, а в понедельник как раз в этот час чи-

тает историю искусств Лемоннье. Я всегда хожу его слушать… очень люблю искусство.

Искусство необходимо мне, оно точно существенная часть моего существа.

А между тем я в художественном смысле очень малообразованна, как все русские. Но что-то инстинктивно влечет меня к старинным вещам, гравюрам, книгам, к старинному жанру… и я подолгу засматриваюсь на старую итальянскую живопись. Люблю Теньера, люблю фламандцев; люблю подолгу вглядываться в эти изображения повседневной, обыденной жизни, и воображение переносит в прошлое — воссоздает его, и люди становятся как живые. Так лучше понимаешь историю. Десятки лекций не стоят прочтения одного старинного документа, старинных гравюр. Ведь главное что? — уметь понять, уметь перевоплотиться в этих исчезнувших людей, и тогда вся эта прошлая жизнь станет понятной, а также и то, почему они жили, думали, действовали так, а не иначе.

На лекциях Lemonnier показывает массу фотографий, гравюр, книг, и я не в силах отказаться от этого удовольствия. А заниматься серьезно все же не могу… сил нет.

15 января

Чтобы хоть немножко развлечься, пошла к Сорель.

Она живет недалеко от Observatoire, — прекрасный тихий квартал, близко от Люксембургского сада. Я поднялась во второй этаж тихой улицы Leverrier — она сама отворила дверь.

— А, очень-очень рада! — все так же приветливо улыбаясь, заговорила Сорель, вводя меня в небольшой, изящно меблированный салон. — Садитесь, поговорим. Мужа нет дома, и я одна.

Я с любопытством осмотрелась кругом. Ведь я была в первый раз в парижской квартире. Большие окна, сверху донизу покрытые кружевными занавесками; мягкие диваны и стулья; ковры на полу — очевидно, чтобы было теплее зимою. Все просто и вместе с тем изящно. И сама Сорель в элегантном парижском туалете казалась еще красивее, чем прежде.

Она подложила дров в камин и жестом пригласила меня сесть к огню.

— Ну, как вы поживаете? занимаетесь? А мне так вот некогда, пока нынешний год кормлю свою девочку.

— Сколько ей месяцев? — спросила я.

— Пять. Она теперь спит, и я не могу вам показать ее. А-а-х, как я устала! Сегодня ночью она была нездорова и плакала… я до шести часов не спала…

Сорель устало потянулась в кресле… но все лицо ее освещалось улыбкой полного, безмятежного счастья. И она начала рассказывать мне о том, как встретилась с мужем, как вышла замуж. Среди ее оживленного рассказа раздался звонок, и в комнату вошел красивый брюнет с матовым лицом и чудными темными глазами.

— Мой муж, — представила его Сорель, и невольная нотка счастливой гордости прозвучала в ее голосе.

И было чем гордиться. За такого пошла бы всякая женщина. Кроме красоты, в его лице, манерах, тоне голоса было что-то неотразимо привлекательное, простое, — что-то напоминающее русского интеллигента из южан.

—

Очень рад с вами познакомиться, mademoiselle; жена уже говорила о встрече с вами. Надеюсь, вы будете бывать у нас так, запросто, — не правда ли? А меня сейчас извините… Я зашел только на минуту. Где бумаги по делу Голье? там на письменном столе лежат? — обратился он к жене.

— Да, там. Так ты к обеду вернешься?

— Да. До свиданья, — протянул он мне руку и быстро прошел в кабинет.

— Извините, я сейчас вернусь, — сказала Сорель, уходя за ним.

Я осталась одна в гостиной.

Эта пара действительно могла считаться исключительной.

Они сошлись с двух концов Европы в Парижском университете, оба одних лет, оба южане; оба красавцы, талантливые, интеллигентные писатели-социалисты. Они точно созданы друг для друга, и всякий, кто их видит, — невольно поражается таким счастливым совпадением обстоятельств. Точно судьба, создавая столько несчастных браков, — решилась вдруг сделать человеку подарок — соединить мужчину и женщину, в которых бездна всяких достоинств, начиная с внешности. Счастливы те, на чью долю выпало быть таким подарком!

Я так задумалась, что и не заметила, как вошла Сорель.

— Нельзя говорить хорошо о своем муже, но я, право, скажу, что это редкий человек. Он такой идеалист, никогда не идет на компромиссы с совестью… Вот сейчас, например, куда он пошел,

как вы думаете? К одному депутату, хлопотать по делу рабочего… Или, например, ему предлагают выставить на будущую сессию свою кандидатуру в Вала. Но он отказывается: из принципа не ставит свою кандидатуру там, где уже есть другой кандидат-социалист… для единства партии. Нет, право, другого такого нет…

И Сорель заговорила о своей девочке, как она растет, как она думает воспитать ее… Она говорила, время летело; я просидела часов около двух… И за все это время Сорель ни разу не спросила обо мне, как мне живется, что я делаю… Точно только у нее есть жизнь, а у меня ее нет…

Да это и правда, в сущности, — есть ли у меня жизнь! А Сорель так поглощена своим личным счастьем, что ей ни до кого дела нет…

20 января

Это состояние становится невыносимо. Пойду опять туда, в Сальпетриер, к одиннадцати часам.

И консьерж, как цербер, охраняющая вход, остановила:

— Кого вам?

— Monsieur Lencelet.

— Корпус «С», первый этаж, зал направо.

Я прошла на третий двор, поднялась по грязной

лестнице, отворила дверь направо и… к величайшему своему удивлению, очутилась прямо в палате. Каким образом в такое холодное время года больные не простужаются от притока воздуха прямо с улицы — уму непостижимо.

Большая палата была вся выкрашена голубовато-серой краской; белые постели, высокие, выше, чем у нас, с отдернутыми занавесками — были все заняты больными. У меня защемило сердце при виде этих несчастных женщин. Хорошенькие и некрасивые, молодые и старые — но все лишенные разума, — они сидели, читали, вязали, тихо разговаривали, а некоторые просто лежали неподвижно, тупо смотря в потолок.

Тихо и плавно двигаясь, точно неся осторожно на голове свой черный тюлевый чепчик с лентами, подошла ко мне надзирательница.

— Подождите немного, monsieur Lencelet сейчас придет.

Я села у стола и развернула газету. Вся обстановка и вид этих несчастных угнетающе действовали на меня, и я не смела поднять глаз от газеты. И когда я решилась наконец посмотреть — увидела, что надзирательница ходила с ним по палате.

Они медленно переходили от одной постели к другой; по мере того как кончался обход и оба

они приближались к столу у дверей, — обрывки фраз явственно долетали до меня.

На первой от дверей кровати лежала пожилая женщина, которая, едва увидела его, горько заплакала и стала на что-то жаловаться.

Я прислушивалась напрасно. Ничего нельзя было расслышать сквозь рыдания. Он что-то сказал ей; больная отрицательно покачала головой и расплакалась еще больше.

Мне вспомнилось, как Бабишева поражалась грубостью здешних врачей в госпиталях, — и стало страшно: что, если он, выведенный из терпения этой бесконечной жалобой, — вдруг резко и грубо оборвет ее.

Я чувствовала, что если только он так сделает — уйду сейчас же и никогда более не обращусь к нему.

Но нет… женщина все рыдала, а он все стоял перед ней, тихо и ласково говоря ей что-то.

— Успокойтесь, ищите исцеление в самой себе… — удалось услышать. Наконец больная успокоилась, подняла голову, вытерла слезы.

Он сказал несколько слов надзирательнице и подошел к столу.

— Здравствуйте, мадемуазель. Как ваши дела? Сейчас я буду весь к вашим услугам, подождите

меня, пожалуйста.

Надзирательница положила на стол целую кипу каких-то листочков, и он быстро начал подписывать их один за другим.

— Ну, теперь я к вашим услугам, — сказал он, подписав последний листок. — Пойдемте за мной.

Мы вышли опять на тот же двор, где я встретила его в первый раз. Он пошел было в ту же клинику Шарко, но скоро вернулся.

— Эта комната занята. Пойдемте в другую.

В том же домике сзади была дверь с надписью: «cabinet médecin». Он заглянул туда:

— Здесь свободно. Войдите.

Кабинет — немного темноватый — был обставлен просто и уютно; топился камин, на нем мерно тикали черные часы.

— Вам не лучше, мадемуазель?

— Нет, мсье, — тихо ответила я.

— Вы ходите сюда на электризацию? Не хотите ли, я дам письмо в госпиталь Брока. Это гораздо ближе к вам и удобнее ходить…

— Merci, monsieur…

— Как же так… Вы все в том же состоянии! Не занимаетесь? не ходите на лекции?

— Нет… Я совершенно не в состоянии работать…

Я потеряла все свои умственные способности…

— Ну, это вздор, — с живостью перебил он меня тоном, не допускающим возражения. — Вы просто находитесь в угнетенном настроении… Вам надо выйти из этого состояния.

— А так как я не могу, то… не надо жить…

— Я ожидал, что вы это скажете. Вы, славянская раса, слишком чувствительны, мистичны, скажу даже — иногда слишком экзальтированы. К чему думать о самоубийстве? Ведь вы вовсе не так безнадежно больны. Вам надо справиться с собою — и только. Чтобы жить в этом мире, надо иметь цель. Какая ваша цель?

— Какая цель? — повторила я. И машинально, как заученный урок, проговорила: — Я поступила на юридический факультет, чтобы открыть женщине новую дорогу… чтобы потом добиться ее юридического уравнения с мужчиной… чтобы ее допустили к адвокатуре…

— Вы хотите посвятить свою жизнь защите интересов женщины? Хорошо. Так вот и сосредоточьте ваши силы и постарайтесь овладеть собою, чтобы потом быть в состоянии работать.

— Но я не могу, не могу… у меня нет сил, эта беспрерывная головная боль измучила меня совершенно… Лучше умереть… — И голос мой

дрогнул и оборвался.

— Полноте! Выкиньте эти мысли из головы, успокойтесь.

Но ужасное воспоминание снова — как призрак — встало предо мною, и я сказала, рыдая:

— Но… если вы… в своей жизни сделали ошибку… разбили жизнь человека… что тогда?

— Что вы сделали? какую ошибку? Скажите мне… вы смело можете довериться врачу…

— Не спрашивайте меня об этом, monsieur, я не скажу… не могу…

— Врачу вы можете сказать все.

Как ни была я взволнована — все же мне показалось, что в его тоне прозвучало что-то холодное: этим вопросом, точно анатомическим ножом, — он хотел вскрыть мою душу…

— О, нет… нет…

И вся охваченная тяжелыми воспоминаниями, я зарыдала, и все былое встало с такой же ясностью, как будто это случилось вчера.

— Скажите, скажите мне, мадемуазель, — настойчиво повторил он.

Голова у меня закружилась…

— Ну да, ошибка! и за эту ошибку отдана жизнь моей сестры! Слушайте, слушайте, monsieur… Это было шесть лет тому назад. Мы были так молоды,

совсем еще дети… Мы — сироты, отца у нас нет, мать — деспотка — держала нас взаперти, мы совсем не знали мужского общества. Он давал уроки братьям и влюбился в мою младшую сестру… Та сначала его не любила… Тогда он устроил целую драму: признался мне в любви, а потом написал сестре письмо, что он солгал, что он клеветал на себя нарочно, с отчаяния, что он с ума сходит от любви к ней… Я так была занята мыслью поступить на курсы, читала, занималась целыми днями, только и ждала совершеннолетия, чтобы ехать в Петербург. Сестре тоже хотелось учиться, а она на два года моложе меня… Так он притворился, что сочувствует нам… обещал сестре отпустить ее на курсы, только бы она согласилась выйти за него замуж… Я вообразила, что он и в самом деле может помочь сестре, стала содействовать их браку, помогла переписываться, — мать не хотела из деспотизма, из каприза… она не допускала, чтобы у нас была своя воля.

И вот, сестра вышла за него… И тотчас же после свадьбы он изменил свою тактику. Ему не к чему было больше притворяться. С первых же дней сестра была беременна. Она такая бесхарактерная. Он стал убеждать ее, что теперь нечего и думать о курсах, — что я фантазерка и учусь

совершенно напрасно. Вместо того чтобы ехать жить в Петербург — взял место в N… Так и пошла жизнь сестры в узком домашнем быту… Теперь сестра не говорит мне прямо, что несчастлива с ним, но и не перестает упрекать меня в содействии ее браку. Но разве я в то время не была так же наивна и неопытна, как она? разве я больше ее знала мужчин? У меня романов никаких не было… я только и мечтала о курсах…

Я совсем задыхалась от рыданий. Казалось — сердце разорвется от боли… о, если бы я могла умереть!

В комнате было тихо, только мерно тикали часы…

Он заговорил:

— И вас так угнетает сознание своей ошибки?.. Но ведь вы сделали ее невольно… вы сами говорите, что были неопытны и мало видели людей. Да и так ли несчастна ваша сестра, как вам кажется? Есть у нее дети?

— Да, две дочери…

— Значит, есть и утешение… И если бы она была действительно очень несчастна — наверное, оставила бы мужа. Но раз живет с ним — значит все-таки находит в нем что-нибудь такое, что привязывает ее к нему… И притом, очевидно,

у нее не было такого твердого и определенного стремления к знанию, как у вас.

— Это правда… она всегда больше говорила, чем делала…

— Ну вот… вы вовсе не так виноваты перед своей сестрой, как думаете… А если она упрекает вас за то, что способствовали ее браку, видя и зная, как вы страдаете, как мучитесь сознанием своей ошибки, — это уже прямо жестоко с ее стороны… Скажу более: неблагородно… лежачего не бьют.

Он говорил твердо, с убеждением… И от тона, каким он произносил эти слова, — мне становилось легче на душе… А он продолжал:

— Вы должны теперь сосредоточить свое внимание на том, что можете сделать для других. Старайтесь восстановить свои силы, чтобы работать с пользою…

И замолчал.

Мне показалось, что он искоса, бегло взглянул на часы. Я встала. Было ровно полдень: священный час для всех французов — завтрак.

— Повторяю, — успокойтесь и не мучьте себя… Это и напрасно, и бесполезно… Я уже доказал вам, что вы вовсе не так виноваты, как вам кажется.

Он проводил меня до ворот и повторил, прощаясь:

— Если что понадобится — обращайтесь ко мне… я всегда к вашим услугам.

8 февраля

Если бы меня спросили, для чего я живу и как живу, — я бы не нашлась, что ответить.

Разве это жизнь?

Влачить свое существование с трудом, медленно, точно одряхлевшая старуха… Я еще так молода, а между тем жизни нет, сил нет.

Страшная тоска сжимает сердце, полное отвращение ко всему…

Передо мной на столе лежат Карл Маркс, Nietzsche — «Also Sprach Zaratustra», и я не могу прочесть ни одной строчки — руки бессильно опускаются, книга падает… Точно со мной делается нравственный прогрессивный паралич.

21 февраля

Бабушка умерла…

Я пишу с трудом. Это несчастье окончательно сломило меня… Бабушка умерла… и уже в могиле, а я узнала об ее смерти только вчера. Шла мимо почтового отделения на Claude Bernard, по обыкновению зашла и спросила, нет ли писем.

Смотрю, — вынимают из клеточки одно письмо, другое, третье. Я не избалована перепиской и тут обрадовалась — вдруг целых четыре письма! Один из них был билет с черной траурной рамкой. Кто бы это умер? — равнодушно подумала я, недоумевая, какой смысл извещать меня таким способом о смерти дальних родственников, — разве нельзя в письме сообщить, а на похороны все равно не поспею… Развернула, читаю…

Бабушка умерла!

Моя милая бабушка, которую я так любила, нет уже ее больше!

Мне вдруг показалось, что это чья-то дикая, нелепая шутка, что нарочно послали этот билет на похороны, а на самом деле неправда, не может быть… Ведь телеграммы не было… Разорвала конверт с почерком брата Володи. Тот писал, что бабушка скончалась первого февраля, что мне посылали телеграмму…

— Где телеграмма на мое имя?! — бросилась я к решетке.

— Разве вы не видите, что здесь есть пришедшие раньше вас? ждите своей очереди! — резко крикнула из-за решетки служащая.

Я опомнилась и отошла к стене… и потом уже в очередь справилась, — никакой телеграммы

не было получено. Значит, не дошла. Придя к себе, заперлась на ключ, перечитала все письма о внезапной смерти бабушки, о телеграмме, на которой брат перепутал адрес, цифры, — и она не дошла…

Бабушка умерла!

Все как-то не верилось, чтобы это была правда…

Страшная боль точно обручем сдавила голову, все закружилось перед глазами, и я упала…

А когда сегодня посмотрела на себя в зеркало — похожа была на привидение в черном траурном платье…

28 февраля

Целую неделю пролежала в постели.

Сегодня пришла знакомая американка, с которой постоянно встречалась на лекциях в Сорбонне, и потащила меня гулять.

— У вас бабушка умерла? старая?

— Да.

— И вы так огорчены, что были больны! Да ведь должны же умирать старые люди… ведь это же закон природы… Полноте, вам надо развлечься, пойдемте погулять…

И она потащила меня на шумную, веселую

улицу Риволи!

Шум экипажей мешал разговаривать, толпа утомляюще действовала на меня.

— Вы устали? — спросила мисс Джесси. — Зайдемте отдохнуть в кафе. Я знаю, тут есть одно очень хорошее. Спросим кофе.

И прежде чем я успела что-нибудь сообразить, — очутилась в кафе-концерте, где с эстрады гремел оркестр в красных фраках.

Мисс Джесси выбрала место на виду, поближе к эстраде, и что-то заказала себе и мне.

Раздались звуки веселого опереточного вальса… И под его звуки мне вдруг представилась далекая родина, ее кладбище, на котором под снежным холмиком успокоилась вечным сном дорогая старушка… и присутствие мое в этом кафе показалось какой-то чудовищной профанацией своего чувства к памяти покойной… Рыдания подступили к горлу.

— Мисс Джесси… извините, я оставлю вас… я уйду… не могу…

— Отчего же? — искренно удивилась американка. — Отчего вы не можете здесь остаться? Неужели из-за того, что недавно потеряли бабушку? Но ведь она же была стара… Вот тоже вы траур одели… У нас в Америке только муж носит

траур по жене… Странные обычаи на континенте… — недоумевала мисс Джесси.

— Извините, я пойду домой…

Американка пожала плечами:

— Ну, если это так против ваших чувств, — конечно идите…

И она принялась за кофе, а я, торопливо пробираясь между столами, — почти бегом выбежала на улицу…

9 марта

Получила письмо из дому. Оказывается, бабушка написала духовное завещание и назначила меня душеприказчицей. Практичная сестра Надя уже справилась у адвоката. За утверждение завещания по доверенности он спросил ни с чем не сообразную цену — двести пятьдесят рублей. А ведь еще не известно, сколько придется на долю каждого из нас: бабушка была очень небогата…

«Приезжай лучше на сороковой день и сделай все сама. Тебе вся поездка обойдется дешевле, чем нам платить N.», — пишет сестра. Она права. Обойдется дешевле, и нам, братьям и сестрам, не придется платить ни гроша…

Но… ехать опять туда, в семью, опять в эту ужасную обстановку, которая мне всю душу из-

мотала.

Опять видеть мать… Какой ужас!

Я не могу… не могу…

Один взгляд на календарь — так немного осталось дней до отъезда.

Нет, не могу, не могу… Что же мне делать, что же мне делать?!

13 марта

До сих пор не решилась написать ответ домой. Дать уже лучше доверенность, пусть сделают все без меня…

И не исполнить самой последней воли дорогого человека… Бабушка, значит, надеялась на меня, а я-то откажусь… Поеду завтра в Сальпетриер.

14 марта

И поехала. Та же важная сиделка сообщила, что его тут уж больше нет, он переведен в новый госпиталь Бусико.

Я вспомнила, что читала в газетах об его открытии первого марта.

Сиделка любезно рассказала, как туда ехать. От моста Аустерлица до моста Мирабо, — больше часу пришлось ехать по Сене.

Улица Convention тиха и пустынна. Точно не в Париже. От набережной до госпиталя расстояние довольно значительное.

В новом здании все блестело чистотою: и ложа консьержа, и двери, и стекла, и каменные плиты коридора. Внутри, среди сада, были разбросаны небольшие кирпичные павильоны, а вдали — на колонне виднелся белый мраморный бюст госпожи Бусико, основательницы знаменитого Bon Marché[150], на средства которой выстроен этот госпиталь.

— Мсье Ленселе?

— Второй павильон направо.

Я вошла в небольшой коридор и села на деревянную скамейку. Длинная траурная вуаль, спускаясь на лицо, — по здешнему обычаю, — закрывала меня всю.

— Вам кого? — спросил какой-то субъект в больничном костюме. И на мой ответ услужливо сказал: — Сейчас, сейчас, — и исчез.

Под гнетом самых тяжелых мыслей я сидела, опустив голову и не глядя никуда…

— Добрый день, мадемуазель. Как вы? Вы потеряли кого-то из членов вашей семьи? — с

---

[150] Примечания: 150
Старейший универсальный магазин в Париже.

участием спросил меня знакомый голос.

Я встала:

— Да, мсье.

— Вы можете немного подождать? Я вернусь через несколько минут.

— Да, мсье.

Ему, очевидно, надо было кончить обход палат… Через четверть часа он вернулся.

— Что случилось? Кто у вас умер? — спросил он, жестом приглашая меня следовать за ним.

— Бабушка. Я назначена душеприказчицей по духовному завещанию, и надо ехать…

— Она что-то оставила вам в наследство? — спросил он, отворяя дверь.

Подобный вопрос покоробил меня, как ни была я расстроена.

А для него, очевидно, было так просто и естественно задать подобный вопрос.

— Я не знаю, — ответила я тоном полнейшего безразличия.

— Пойдемте за мною наверх… по каменной лестнице.

И там все так же блестело — стены коридора, двери, ручки их. Он отворил одну из комнат, где стояла только складная кровать, в углу сложенный матрац. Очевидно, только что отстроенный

госпиталь был еще не весь окончательно устроен. Он пододвинул мне стул, сам сел на подоконник.

— Вы были больны?

— Когда я получила письмо с этим известием…

— Вы потеряли сознание?

— Не помню, что со мною было…

— И с тех пор вы чувствуете себя хуже?

— Мне надо ехать в Россию, — сказала я, из всех сил стараясь овладеть собой и говорить внятно, но это не удалось, рыдания подступили к горлу, и я замолчала.

— Не можете? почему?

— Опять быть там… в своей семье… я не могу. Не знаю, что делать.

— Что же я могу для вас сделать? Вы свободны сегодня вечером? В восемь часов?

— Да, мсье.

— Приходите сюда. Я расскажу вам, как надо ехать. По трамваю бульвара Port-Royal до вокзала Montparnasse, а там садитесь на трамвай St.-Germain des Près Vanves, сойдете на улице Лекурб… она пересекает Convention, — а тут уже близко и госпиталь.

— А я приехала сюда на пароходе.

— Это из Сальпетриера? Слишком далекий путь. Так приходите в восемь часов вечера. До

свиданья.

Я поехала к себе домой. И ровно в восемь часов была уже на бульваре Port-Royal. Трамвай St.-Germain des Près был переполнен. Пришлось ждать. На этот раз ехала не долго — сравнительно с пароходом, — минут через двадцать была уже на улице Лекурб.

Опять консьерж, опять вопрос:

— Вы куда?

— Мсье Ленселе?

— Первая дверь налево.

Я позвонила. Дверь открыла горничная, такая же чистенькая, свеженькая, как и весь госпиталь.

— Мсье Ленселе?

— Он сейчас выйдет.

И действительно, он тотчас же вошел в коридор.

— Добрый вечер, мадемуазель. Пойдемте за мной.

Я пошла за ним по темному коридору; он отворил дверь, нажал в стене одну электрическую кнопку, другую… мягкий свет лампочек под зелеными абажурами озарил небольшую комнату с светлыми обоями и мебелью moderne style из желтого дерева. Два стола с книгами — вдоль сте-

ны и посредине комнаты. Неизбежный armoire à glace[151], к которому я до сих пор не могу привыкнуть — он все кажется мне принадлежностью дамской спальни, а уж никак не комнаты мужчины. А тут еще был и туалетный столик, тоже с зеркалом.

Топился камин.

— Садитесь здесь, — сказал он, подвигая кресло к огню, а сам стал подкладывать дрова в камин. Я села, держась, по обыкновению, чрезвычайно прямо, в длинном траурном платье; длинная креповая вуаль, спускаясь на лицо, скрывала совершенно и его выражение, и следы слез. Мне стало вдруг как-то хорошо… Не хотелось ни двигаться, ни говорить. Эта светлая уютная комната, кругом тишина. Дрова весело трещали в камине, и приятная теплота разливалась по всему телу…

Я точно отдыхала после какого-то длинного, трудного пути и молчала, неподвижно сидя в кресле.

И мне не хотелось отвечать на его вопрос:

— Итак, вы опять расстроены и не знаете, что делать?

— Не могу я ехать… слишком ужасно… дома…

---

[151] Примечания: 151
Зеркальный гардероб *(фр.)*.

там опять…

Мой голос был спокоен и ровен. Или я очень устала, или просто нервы упали — не знаю.

— Вам необходимо ехать?

— Да, я назначена душеприказчицей по духовному завещанию. Я так люблю бабушку, надо исполнить ее последнюю волю, а все-таки не могу решиться — как вспомню, что ждет там меня.

Я чувствовала себя в эту минуту такой слабой, бессильной, и мне стало стыдно и захотелось сказать ему, что я не всегда была такая.

— Вы не думайте, впрочем, что я перед ними показываю такую слабость. Я из гордости всегда скрываю ото всех свои страдания, всегда притворяюсь веселой и оживленной… но зато эта комедия отнимает у меня последние силы.

Он помолчал несколько времени, как бы соображая что-то.

— Что ж, поезжайте в Россию: делайте, что должны, выполняйте свой долг, — сказал он вдруг повелительным, не допускавшим возражения тоном.

Я удивилась, но не рассердилась. Мне даже было приятно, что он так говорит. Я, никому еще не подчинявшаяся, — чувствовала, что послушаюсь его… И было мне приятно это послушание, как

контраст, как нечто новое, до сих пор чуждое моей самостоятельной натуре…

— И знаете ли, что я вам скажу, мадемуазель… — и какая-то грустная нотка послышалась в его голосе, — в Евангелии есть прекрасные слова: «violenti rapiunt illud»… это значит, что прилагающим усилие воздается. В этой жизни нужно уметь много бороться и терпеть. Будьте добры с людьми, не показывайте им своего страдания… они все равно не поймут вас. Я дам вам еще один совет: выходите замуж. Вы слишком одиноки. Мужчина не создан, чтобы жить одному, и женщина тоже…

— Выйти замуж? Никогда! — вскричала я, возмущенная таким неожиданным советом.

— Почему же нет? Мужчина не враг вам… Совместная жизнь с положительным человеком облегчит вас: общие интересы, взаимная поддержка — много значат в этой жизни. И когда вы встретите такого человека, который понравится вам, — будьте осторожны, не говорите ему, что вы его любите, а ждите, пока он сам вам скажет. Надо быть осторожной…

— Я не хочу замуж, — упрямо возразила я.

— Напрасно. Так лучше для вас. Повторяю, вы не созданы, чтобы жить в одиночестве. Вы где

предполагаете жить по окончании курса? Остаться здесь или в России?

— Конечно в России.

— Так вот, и не надо вам терять связи с родиной. Непременно поезжайте… быть может, там вы встретите подходящего человека. Не падайте духом, будьте спокойны, горды перед людьми. Когда вернетесь, приходите ко мне сказать, как себя чувствуете.

Я взглянула на часы: стрелка подходила к половине одиннадцатого.

— Мне пора ехать… Благодарю вас… Я… поеду в Россию.

Он проводил меня до ворот и, проходя мимо ложи консьержа, крикнул:

— Отворите, пожалуйста!.. До свидания. Счастливого пути!

Дверь отворилась и закрылась за мною. Я пошла по тихой, пустынной улице, успокоенная и немного озадаченная его неожиданным советом.

Выйти замуж!

Как это ни странно может казаться, но я об этом ни разу не думала. Выйти замуж! Это значит полюбить. И одно новое соображение впервые пришло мне в голову.

А ведь в самом деле — я еще никогда никого не

любила и меня еще никто никогда не любил…

Некогда было…

До совершеннолетия я была так занята одною мыслью — поступить на курсы, вечной борьбой с матерью, отстаивая каждый свой шаг от ее самодурства и деспотизма, тщетно стараясь развивать сестер, направить детские умы братьев к учению. А потом — там на курсах — так была поглощена наукой, книгами, занятиями, занятиями без конца… Выработка миросозерцания, беспрерывные размышления и слезы с товарками: «зачем живем, как надо жить», умственная жизнь Петербурга — после провинции, казалось, била ключом и захватывала своим потоком… Было ли тут время думать о любви?

А тут еще брак сестры. Эта тихая, невидимая для посторонних глаз семейная драма, одной из причин которой была я, — внушила мне такое недоверие, такую злобу к сильной половине рода человеческого, что я на курсах и не старалась попадать в студенческие кружки. Под гнетом сознания своей ошибки, я с головой ушла в книги, стараясь забыться. Книги, написанные мужчинами, — составляли мое избранное мужское общество, да несколько товарок — женское. И я удивляюсь только — как другие влюбляются,

выходят замуж, кокетничают, увлекаются…

Вот была охота! Да стоят ли мужчины того, чтобы мы кокетничали с ними, увлекали их, старались нравиться? И когда другие удивлялись на меня — я удивлялась на них и пожимала плечами. И вдруг такой совет…

Однако, поздно! А завтра надо рано вставать и начать собираться…

17 марта

Все эти дни бегала, разнося обратно книги, данные для прочтения, собиралась… И еще надо было занять сто франков на дорогу — денег не хватало.

Нерехта, 24/11 марта

Первые лучи мартовского солнца начинали согревать Париж, когда я выехала из него. Двое суток на скором поезде, и я въехала в бесконечные снежные равнины моей родины…

Здравствуй, милая, дорогая, любимая! Впервые в жизни я еще так надолго рассталась с ней… и радость опять видеть родные места заставляла забывать, что меня в них ждало…

Как хорош весенний воздух…

Холодный, свежий — он проникает в самую глубину легких и, кажется, освежает, оживляет все существо… Снег блестит на солнце, какая прелесть! Этого не увидишь за границей… кое-где проталины… Я радовалась всему — даже грязи на улице…

Я проехала прямо в Нерехту, на могилу бабушки… В сенях нашего большого дома — бросилась ко мне на шею верная Саша.

Она с плачем рассказала о последних днях жизни и смерти старушки, с которой прожила неразлучно двадцать восемь лет, и мы вместе отправились на кладбище. Рядом с могилой тети высился небольшой холмик, покрытый снегом… вот все, что осталось от бабушки.

Не нравятся мне парижские кладбища, в них каменные памятники поставлены тесно, точно дома: настоящий город мертвых, — нечто холодное и жуткое.

Нет природы — деревьев, травы, ни приволья, которое так идет к месту вечного покоя и придает столько поэзии нашим провинциальным кладбищам.

Тут нет ни богатых памятников, ни роскошных цветников, ни красивых решеток… Зато трава и полевые цветы одинаково покрывают могилы

богатых и бедных… и покосившиеся деревянные кресты придают какое-то своеобразное выражение общему виду пейзажа.

И каждый раз, как я вхожу на кладбище, — атмосфера мира и покоя охватывает душу. Кругом, около церкви — родные могилы. Там дедушка, там прадедушка, там тетя, там двоюродные дяди. И здесь в родной обстановке — среди тех, кого она знала при жизни, нашла себе вечный покой и бабушка…

Приехала сестра. Она, кажется, была рада увидеться со мной. Рассказала обо всем; завещание у нее в Ярославле.

— И знаешь ли что, Лиза, — мы в сундуке нашли на три тысячи ренты. А по завещанию надо сделать вклады в две церкви, в богадельню и Саше, в общем, как раз тысячи две с половиной, все остальное — нам. Расписки на вклад в Государственный банк у меня хранятся. Так вот, ты подай завещание на утверждение, а из этих денег и сделай тотчас же все вклады — так скорее будет.

Я могла только согласиться с этим практическим советом. А потом сестра с Сашей занялись хозяйственными хлопотами.

23/12 марта

«Справляли» сороковой день. Именно — справляли, согласно всем правилам уклада старинной жизни, — под взглядами всех родных, прислуги, которые зорко следили, что мы, молодые, пожалуй, вот-вот ошибемся, не так что-нибудь выйдет, или обед, или что…

Напрасно. С помощью Саши сестра Надя отлично справилась со своей задачей. Я не вмешивалась ни во что и не препятствовала ничему. Из уважения к памяти любимой старушки, — она всю свою жизнь справляла годины, дни девятые и сороковые, — и было бы нечестно с нашей стороны не исполнить ее желания — в свою очередь не справить по ней тех поминок, которые она так добросовестно проделывала всю жизнь.

Когда все родные разъехались, — я прошлась по опустелым комнатам большого дома. Саша торжественно вручила мне ключи от комода и сундуков: эти шесть недель все было под замком, и ни одна вещь не передвинута со своего места, пока душа покойной, по их понятиям, обитала в доме.

Мы стали разбирать бумаги и вещи. Завтра еду в Ярославль.

Ярославль, 26/13 марта

Я хотела остановиться в гостинице, но бабушка, теперь уже единственная, которая у меня остается, — не пустила и оставила у себя.

Я совершенно не понимаю любви к родителям. Отца — не помню, а мать… зачем она не умерла, когда мы были маленькими?

Лучше остаться круглой сиротой, чем иметь мать, которой даны по закону все права над детьми, но не дано нам никаких гарантий от ее деспотизма.

Бедные дети, бедные маленькие мученики взрослых тиранов!

Но мое детское сердце так жаждало любви, привязанности, ласки… И я любила бабушку с отцовской стороны — за то, что она была несчастна, бабушку с материнской — за то, что она своею лаской и участливым словом как лучом согревала мое безотрадное существование.

Теперь — она одна у меня осталась. И, бросившись перед ней на колени, я целовала ее руки, ее платье.

— Бабушка, милая, здравствуйте!

— Лиза, матушка, наконец-то приехала! — Мы обнимались, целовались без конца.

Растроганная старушка плакала от умиления и чуть было не отправилась в церковь служить молебен.

— Что же ты теперь, делом будешь заниматься? — спросила бабушка, когда мы обе наконец сели за самовар.

— Делами, бабушка. Вот сделаю все и уеду опять за границу, экзамен сдавать.

— А на лето приедешь, — на вакации?

— А деньги где? Ведь дорога-то не дешева… нет, уж до будущего года.

Бабушка вздохнула:

— Ну и то хорошо, что хоть теперь ты здесь! Хоть посмотрю я на тебя! Ишь ты какая стала нарядная, хорошенькая… платья-то уж больно хорошо в Париже шьют, не по-нашему работают…

И бабушка долго качала головой, со вниманием рассматривая настрочки из крепа на корсаже моего траурного платья, купленного по самой дешевой цене в Bon Marché. При виде настоящего парижского платья она вся проникалась почтительным удивлением. И я невольно рассмеялась и крепко ее поцеловала.

Пришла Надя и принесла завещание и расписки.

— Что ж ты с мамой-то не повидаешься? —

нерешительно спросила бабушка.

— Лиза, приходи, — тихо сказала сестра.

Я видела, что им страшно хочется, чтобы я побывала дома. И поэтому ответила:

— Что же, зайду… Хоть я и отрезанный ломоть, но если хотите — отчего же?

Лица сестры и бабушки прояснились. Обе они, в сущности, дрожали перед железной волей матери: бабушка всю жизнь ее побаивается, а о несчастной Наде и говорить нечего, — робкая от природы, она до того забита, что у нее нет собственной жизни, ни дум, ни желаний, и вместо энергии — капризы, с которыми она готова всегда нападать на того, кого не боится.

И теперь они были довольны, что я согласилась.

— Какая ни на есть, а все-таки мать, все-таки повидаешься, — примиряющим тоном произнесла бабушка.

— И кажется, она хочет просить тебя съездить в Извольск к Саше, он что-то опять поссорился с своим воспитателем, так вот разберешь их, — сказала Надя.

— А ты сама… не сможешь туда съездить?

— Я-то в Извольск? да что ты, Лиза… — ответила Надя тоном, в котором ясно выражался страх

при одной мысли: как это она поедет в Извольск, чтобы там вести самостоятельные переговоры с воспитателем брата. Возражать было бесполезно. Я вздохнула:

— Хорошо. Приду. Только не сегодня… завтра…

27/14 марта

Все было по-старому в этой квартире, из которой я буквально убежала на курсы. Ни одна мебель не передвинута, ни одна лампа не переставлена; только прислуга новая: кухарки и горничные не могут уживаться с таким характером.

Я вошла в спальню — это была когда-то моя комнатка, вся оклеенная светлыми обоями, с белыми кружевными занавесками и цветами на окнах, веселая и ясная, как майское утро. У меня мороз пробежал по коже, когда я переступила порог этой комнаты, где столько пролито было слез в годы ранней молодости, где в ответ: «Я хочу поступить на курсы» — слышала: «Будь публичной девкой!» — и от звонкой пощечины искры сыпались из глаз.

— Терпите, терпите… — слышался кругом благоговейный шепот родни, преклонявшейся пред силой родительской власти. — Христос терпел и

нам велел…

Нет, — не все же терпеть!

Прошло время, выросла воля, высохли слезы… и я, в день совершеннолетия, ушла из этого дома с тем, чтобы более туда не возвращаться…

Теперь комната была обезображена тяжелыми темными занавесками на окнах; загромождена безвкусной мягкой мебелью, обитой полинявшим от времени кретоном. Хорошо знакомый мне низенький шкафчик, битком набитый лекарствами, стоял у постели, и на нем по-прежнему — свежая стклянка из аптеки Шнейдера…

Мать сидела на диване. Она слегка приподнялась при моем входе.

— Здравствуйте, ю-рист-ка… — с насмешкой протянула она, по привычке протягивая руку для поцелуя.

Я смотрела на нее.

За эти пять месяцев болезнь сделала свое дело: организм истощился еще больше, кожа на лице слегка сморщилась и пожелтела, уши стали прозрачнее. И вся эта фигура — худая, вся закутанная в теплые шали — представляла что-то жалкое, — обреченное на медленное умирание…

Сердце болезненно сжалось и замерло… Мне стало жаль эту женщину, жаль, как всякого

больного, которого я увидела бы в больнице… Но зная, как она боится смерти, я сделала над собой усилие, чтобы ничем не выдать своего волнения.

— Здравствуйте, — тихо ответила я, целуя пожелтевшую худую руку, и села напротив. — Как ваше здоровье?

— Ни-че-го… Как ты живешь в Париже?

— Хорошо.

— Приехала делами заниматься после бабушки?

— Да.

— Когда уедешь?

— Не знаю еще… там видно будет, как все устрою.

Воцарилось молчание. Нам больше не о чем было говорить друг с другом.

«Что же, надо уходить», — подумала я и встала.

— Постой. Ты должна съездить в Извольск. Там Александр опять что-то с воспитателем напутал… Экий мерзавец, — вторую гимназию меняет и все не может ужиться, — проговорила мать.

Я от души порадовалась в эту минуту, что брат далеко и не может быть ни прибит, ни выдран за уши, как бывало в детстве. А она продолжала:

— Я письмо на днях получила от Александра. Пишет, что уходит от Никанорова. А я не хочу.

Так вот поезжай туда и узнай, в чем дело.

— Хорошо. Съезжу. До свиданья.

Вечером бабушка помогла мне разобрать вещи и приготовить что нужно для небольшой поездки. Завтра еду в Извольск.

Ярославль, 30/17 марта

Ох, как устала. Точно не двести верст по железной дороге проехала, а прошла тысячу пешком. И как скверно на душе, когда подумаешь — какая масса усилий и денег тратится на образование всяких умственных убожеств и ничтожеств только потому, что они родились от состоятельных родителей. С какою бы пользой для страны могли быть употреблены они иначе!

Когда извозчик повез меня с вокзала в гимназию, дорогой он выболтал все новости города Извольска вообще, о гимназии в частности.

— Сказывали, инспектур новый — из Питера… ве-ежливый такой… подтянет, говорят, распустил, знать, старый-то — емназистов больно.

Я с тревогой соображала, поладит ли мой братец со столичным педагогом и имеют ли какие-нибудь отношения его неприятности с воспитателем, у которого он помещен на пансион, с новым инспектором… Старый, тот, который был

тому два года назад, когда я переводила брата в эту гимназию, был человек простой и недалекий. Теперь этот… да еще из Питера… как-то надо будет с ним говорить? Чего придерживаться?

Извозчик подъехал к гимназии. Я поднялась по лестнице в приемную. Служитель пошел «доложить» инспектору. Через несколько минут дверь отворилась, и на пороге показался человек среднего роста, в золотых очках и форменном вицмундире щеголеватого, столичного покроя. Лицо его с высоким покатым лбом, прямым, выдвинутым вперед носом, тонкими поджатыми губами так и дышало той своеобразной неутомимой педагогической энергией, которая выражается в умении «следить» и «подтягивать». Его глаза, казалось, видели насквозь все существо ученика, и даже его ум и сердце.

«Поладит ли с таким наш Шурка?» — мелькнула у меня в голове тревожная мысль.

И, стараясь произвести как можно более благоприятное впечатление, я грациозно поклонилась, улыбнулась.

Чиновный педагог, видя хорошо одетую молодую даму в трауре, да еще приезжую, не захотел ударить лицом в грязь.

Он тоже приятно улыбнулся, поклонился с

утонченной любезностью, придвинув кресло.

— Чем могу служить?

— Я — сестра воспитанника вашей гимназии… Он переведен сюда два года назад. У него вышли неприятности с воспитателем. Мать наша очень больна и послала меня узнать, в чем дело.

Улыбка бесконечного снисхождения промелькнула на губах педагога.

— И вы из-за этого приехали сюда? о, помилуйте, стоило беспокоиться!

— Но брат писал такие письма… мы перепугались…

Он улыбнулся еще ласковее и снисходительнее: чего, мол, вы там испугались… Это просто так, ничего, — не бойтесь.

— Да, да, есть грешки за вашим братцем. Знаю я его историю… Впрочем, его поведение и учение теперь стало несравненно лучше. Все эти четверти у него за поведение пять… пять… — повторил он многозначительно и с ударением.

— Можно надеяться, что он кончит курс?

По лицу педагога проскользнуло нечто неуловимое. Он, видно, соображал — что сказать: не очень обнадежить, чтобы я, пожалуй, не передала брату и чтобы тот не «зазнался», — и в то же время не хотел ответить отрицательно, чтобы не

очень противоречить тому, что сам же сказал об успехах брата.

Поэтому он дипломатично заметил: «Это теперь вполне от него зависит: если дело будет обстоять так же, как теперь, — кончит, если нет — пусть на себя пеняет. Вы думаете, легко справляться с подобными натурами?»

«Да что вы делаете, чтобы справляться с ними?» — хотелось мне поставить вопрос прямо и откровенно, но, зная, как строго охраняются тайны чиновно-педагогической лаборатории, — благоразумно удержалась. И поэтому сочувственно поддакнула:

— О да, — я вас вполне понимаю.

Это польстило инспектору.

— Поговорите с Никаноровым. Что у него вышло с вашим братом — мне неизвестно, только можете быть спокойны, на его перевод в седьмой класс это не будет иметь влияния. Частные отношения воспитателей с воспитанниками вне стен гимназии нас не касаются, — проговорил он тоном великодушного благородства и посмотрел на меня, как бы желая узнать, в состоянии ли я понять и оценить эту свежую струю новых воззрений, привезенных из столицы в провинциальное болото.

— Такое беспристрастие делает вам честь… это здесь такая редкость, такая новость… — спешила я попасть ему в тон.

Педагог был очарован и растаял окончательно.

— Что поделаешь… Стараемся по мере сил… Поговорите, поговорите сами с Никаноровым. И знаете, я бы советовал вам взять домой брата… теперь он и ярославскую гимназию кончит…

— К сожалению, это невозможно — у него в гимназии уже установилась очень скверная репутация…

Мне хотелось скрыть от этого человека наши тяжелые семейные обстоятельства.

— Ну, полноте, какая там репутация! Ведь он ушел оттуда из 4-го класса, а вернется в седьмой… Факт говорит сам за себя и сразу создаст ему лучшую репутацию.

— Но есть и некоторые семейные обстоятельства. Мать очень больна, у нее неизлечимая болезнь, ей нужно спокойствие, а брат своим резким характером и выходками будет ее раздражать. Вы можете понять, что мальчики ничего не смыслят в женских болезнях, — объясняла я, внутренне страдая оттого, как мало было чутья у этого человека. Не могла же я сказать ему всю правду: что брат с детства был нелюбимый сын

и его от природы далеко не кроткий характер немало способствовал тому, что мать в конце концов возненавидела его и рада была отделаться, бросить в другой город, как только увидела, что он плохо идет в ярославской гимназии.

— М-м… Но отчего же у него такие отношения с матерью? — бесцеремонно продолжал педагог свой мучительный допрос.

— Очень понятно. Вот и вы говорите, что с ним трудно справляться, а для него вы чужие; со своими же он стесняется еще меньше. Все это очень тяжело, очень неприятно, но что же поделаешь… разные бывают натуры.

— Да, разные, разные, — сочувственно вздохнул инспектор и встал, протягивая руку. — До свиданья. Так переговорите же с Никаноровым и успокойте вашу матушку. Честь имею кланяться.

Я поехала к Никанорову. Это человек добрый и умный, — пишет по педагогическим вопросам, прекрасный отец семейства и очень тактичен… даже чересчур. Брат живет у него уже второй год. Никаноров встретил меня, по обыкновению, ласково и сдержанно. После неизбежного разговора о заграницe я перешла к щекотливому вопросу о брате.

— Не знаю, не знаю — он недоволен житьем у меня, это очевидно. Нервен, озлоблен, на что — не понимаю. Положим, он переживает теперь такой возраст… В декабре он был болен и страшно испугался, я тоже.

— Что с ним было?

— Этого я вам не скажу… вы все-таки девушка.

И сколько я ни упрашивала Никанорова отбросить в сторону предрассудки и говорить со мной так же свободно, как если бы я была медичка, — он стоял на своем.

— Нет, не скажу… Все-таки вы — девушка. Я писал вашей матери.

«Ну, напрасно; такой матери все равно незачем писать», — с досадой подумала я. И сколько мы ни говорили — я никак не могла понять причины неудовольствия брата. Никаноров пожимал плечами, беспомощно разводил руками с видом угнетенной невинности: видите сами, как трудно с таким характером. И так как брат платит ему за пансион довольно высокую плату, то я ясно увидела его тактику. Ему не хотелось самому ничего говорить против брата, как выгодного пансионера, и в то же время он не хотел показать этого мне. Поэтому он избрал позицию среднюю: все сваливал на брата, на его капризы, оставаясь

сам в стороне. Я была в очень затруднительном положении, и кто прав, кто виноват — становилось невозможным разобрать.

— Скоро придет из гимназии ваш брат. Поговорите с ним сами, — сказал наконец Никаноров, провожая меня в его комнату.

Ждать пришлось недолго. Высокий юноша с ранцем на спине вошел и небрежно швырнул его в угол.

— А-а… — протянул он, увидев меня.

Я радостно бросилась к нему на шею. Как-никак, а все-таки очень люблю этого юношу, который причинил мне столько горя и хлопот.

— Шура, милый, здравствуй, я…

Он высвободился сильным жестом из моих объятий, передернул плечами и сел.

— Без нежностей, пожалуйста. Из дому? Маменька послала разбирать мои дела с Никаноровым?

Он расставил ноги, уперся руками в колено и смотрел на меня в упор. Серая гимназическая куртка оттеняла его свежее, миловидное лицо, которому не хватало правильности линий.

Голубые глаза сверкнули из-под тонких черных бровей.

— Так вот мой ответ: убирайся отсюда с чем и

пришла!

Я пробовала успокоить его, уверить, что и не думаю вмешиваться в его дела, что только исполняю поручение.

— Ну хорошо, я отвечу, — сказал наконец брат и вдруг заговорил патетическим тоном: — Живу я у Никанорова уже второй год, и он обращается со мною точно с чужим. Мне так тяжело. Поэтому я хочу бросить его и уйти к другому. Я не хочу у него жить. Нельзя сказать, что мы поссорились, но мы и не сходились.

Я знаю, что Никаноров строг и не одобряет увлечения брата театром. Поэтому надо было проверить, насколько брат искренен и не играет ли ловкой комедии, чтобы перейти на житье к другому, более снисходительному воспитателю.

— Шура, милый, — но если тебе так тяжело живется — отчего ты не напишешь мне? Ведь ты знаешь, что я всегда готова помочь тебе, чем могу.

— Я тебе еще прошлым летом сказал, что не хочу с тобой иметь дела — раз навсегда. Ты мне не сестра.

— Так ты еще помнишь эту глупую ссору? Пора бы забыть, я даже успела совсем забыть, в чем дело, — с удивлением сказала я.

— Она забыла! скажите пожалуйста! Рылась в моих бумагах, читала мою драму, — и потом еще смеет уверять, что забыла! — вскричал брат тоном прокурора, уличающего преступника. Он был наивно убежден, что всякая мелочь всю жизнь важна и ее необходимо помнить. Ему и в голову не приходило, что в Париже в университете — можно было забыть об его тетрадках.

— Шура, да ведь я тогда же сказала тебе, что перерыла твой ящик по ошибке, — никакой твоей там драмы не читала и не видала…

— Врешь!

— Шура?!

— Врешь, подлая лгунья! Нечего выворачиваться. Как я тебе сказал — ты мне больше не сестра, — так и будет. И ни ты, ни твоя заграничная жизнь меня не интересует, и дела мне до тебя никакого нет.

Я совсем растерялась. Эта сухость и грубость натуры, сказывавшиеся в нем с детства, к восемнадцати годам только развились. Напрасно старалась я доказать ему, что это глупо, что я не способна на нечестные поступки, приводила в доказательство любовь и уважение, которыми пользовалась на курсах. Брат был непоколебим.

— Ну, как хочешь, — сказала я наконец, — я не

стану насильно навязывать тебе братских чувств. Но раз мать меня послала узнать о тебе — надо же сказать ей что-нибудь.

— Можешь передать ей, что я решил гимназию кончить — я теперь пришел к этому убеждению, — с снисходительною важностью произнес брат.

Он пришел к этому убеждению только в восемнадцать лет, после девятилетней борьбы с учащим персоналом двух гимназий, кое-как, правдами и неправдами добравшись до шестого класса.

— Наконец-то!

Брат не понял сарказма моего тона. И весь преисполненный важности от природы ограниченного человека, нахватавшегося «верхушек», продолжал:

— Я готовлюсь к сцене или к опере, еще не знаю куда. У меня, говорят, прекрасный баритон. Но в Императорское театральное училище, если без среднего образования, надо держать конкурсный экзамен. А мне не выдержать. Так уж лучше гимназию кончу. Так маме и передай. Пусть она не беспокоится.

— Хорошо. Передам.

— Ну а теперь — и разговаривать больше не о

чем. Можете отправляться.

Эта дерзость, это самодовольство, самоуверенность ограниченного ума — до глубины души возмутили меня. И мне захотелось доказать ему, что, в сущности, он сам не прав, что вся его жизнь построена на несправедливости закона.

— Ты обвиняешь меня в нечестности, а честен ли ты сам?! Подумай только: мы, сестры, получили наследство после отца только седьмую часть, тогда как ты и брат Володя — все остальное. Ты можешь учиться и платить дорого за пансион только потому, что у тебя денег вдвое больше нашего, тогда как мы, сестры, — как учились? и где? — по самым дешевым ценам, без новых языков. На что ты тратишь свои проценты? На театры, на извозчиков, — тогда как я в Париже едва свожу концы с концами, и все-таки мне не хватает годового дохода, беру из капитала. А ведь мы — дети одного отца. Вот ты и подумай — раз ты спокойно пользуешься своими деньгами, которые дал тебе устаревший закон о правах наследства, — честен ли, справедлив ли ты сам?

— Ф-ф-ью! Вот она о чем заговорила! Ну уж, это дудки! Мне деньги, брат, самому нужны. А тебе не хватает — так заработай, ха-ха-ха! — и он нагло и дерзко рассмеялся.

Я крепко стиснула зубы и сжала руки, задыхаясь от негодования. Вот к чему привели все старания, все заботы об его образовании! Только к тому, чтобы было одним дипломированным подлецом на свете больше!

— Посмотри, сколько я покупаю книг! — и он широким жестом указал на полки. — Сколько я в долг даю! — хвастался брат. — Еще недавно дал полтораста рублей…

— Но ведь ты великодушничаешь на чужой счет! Если мать с детства не внушала тебе понятий честности и справедливости — я говорю тебе это — я, твоя старшая сестра. И ты еще смеешь упрекать меня в нечестности, тогда как сам, сам…

Голос мой оборвался, я не могла продолжать от рыданий — и отвернулась, чтобы скрыть выступившие на глазах слезы.

— Без драм, пожалуйста. Я своих слов не изменяю. Разговор наш кончен, можете отправляться.

Брат сел в кресло у письменного стола и закурил папиросу. Оставалось только — уйти и уехать.

Передала матери, что ей нечего беспокоиться, что дела брата идут хорошо.

— Чего же он пишет такие письма, — негодяй! Только здоровье портит, беспокойство причиняет!

Теперь она наверно

…пишет себе на отраду
Послание, полное яду.

20 марта/2 апреля

Приготовилась к поездке в Кострому: духовное завещание подать к утверждению, и разменяла на наличные деньги одну сторублевую ренту, чтобы дополнить недостающие суммы по рентным бумагам на каждый вклад по завещанию. И совсем было кончила считать, как пришла Надя.

— Здравствуй, Лиза. Бабушка где?

— За всенощной.

— Так ты завтра думаешь ехать в Кострому? И вклады сделаешь?

— Да.

Надя взяла рентные бумаги, лежавшие тут же на столе, и увидела билеты и золото.

— А к чему же эти деньги? — с удивлением спросила она.

Я объяснила ей, что в завещании цифры вкладов написаны «рублями», — значит надо вносить

наличными, а рента по курсу упала низко.

— Это что же за новости? Да разве рента не деньги? Ведь ты в таком случае истратишь около полутораста рублей.

Я тщетно пробовала ее урезонить. Бедная невежественная голова ее отказывалась понимать разницу между юридическим термином и нашим общим, ходячим понятием о деньгах.

— Рента — те же деньги! Мы получаем с нее проценты! Это ты сама выдумала, что надо наличными! Ты не смеешь так тратить деньги, ведь это наше общее наследство! — кричала сестра.

Тяжелый обруч стиснул голову… крик раздраженной Нади болезненно отзывался во всем моем существе. Но успокоить ее было невозможно.

— Оставь всякие объяснения, — раз на рентной бумаге написано «тысяча рублей» — значит и есть тысяча рублей. Ишь ты, выдумала — вкладывать наличными! Глупая честность какая! Растрачивать общие деньги, — ду-ше-при-каз-чица! Посмей только завтра увезти эти деньги в Кострому! Посмей! — кричала Надя с угрожающим видом.

Я должна была сказать ей, что не возьму, и перед ее глазами взяла рентные бумаги ровно на все четыре вклада, указанные в завещании…

— А деньги эти я возьму и унесу к себе. Теперь — можете ехать.

Надя взяла деньги и ушла…

А я осталась наедине со своими мыслями. Что это с ней сделалось — она совсем не скупа, а тут вдруг из-за полутораста рублей. Это, очевидно, был один из ее капризов, которыми она раздражается иногда. Вся личность ее с детства так придавлена, что это является единственным напоминанием об ее человеческих правах. Но все-таки, каково переносить такие сцены?

И после ее ухода проклятый обруч еще сильнее стиснул голову… и я без сил бросилась на кровать…

24 марта/6 апреля

Так и поехала в Кострому без наличных денег. В Окружном суде немного удивились, когда я заявила о своем желании написать сама прошение об утверждении духовного завещания, и не без любопытства посмотрели на студентку-юристку: как когда-то, во времена оны, женщины-врачи, так мы для большой публики пока — еще нечто вроде любопытного зверя.

В банке, конечно, спросили доплаты: вклады на вечное поминовение иначе как наличными не

принимают. Пришлось разменять одну сотенную ренту: это был вклад, назначенный в Нерехтскую богадельню.

Нерехта от Костромы всего полтора часа езды. Я так и рассчитывала все дела устроить за один раз, — проездом обратно, в Нерехте, вложить деньги Саше в казначейство и передать вклад тете — председательнице местного благотворительного общества. Но каприз сестры разрушал все: денег не хватало, приходилось приехать вторично в Нерехту. К счастью, тетя выручила: узнав, в чем дело, — добрая душа выдала расписку вперед. «Свой человек! верю. Завтра из Ярославля вышлешь». Сегодня, как приехала, послала за сестрой.

Та выслушала все, как ни в чем не бывало.

— Ну, невелика важность!

Вечером мы с бабушкой сидели за чаем. Я рассказывала ей о своей поездке; она молча слушала и вздыхала с каким-то особенным взволнованным видом.

— Бабушка, милая, что это вы? — спросила я.

— Ничего, Лиза, ничего… так.

— Да вы скажите, — допытывалась я. — Случилось что-нибудь? неприятность какая? да?

Бабушка молча покачала головой и вдруг ска-

зала серьезно и торжественно:

— Вот бабушка твоя умерла… честь честью, как следует быть: и причастили ее, и завещание написано, и в нем никого не забыла — и вам оставила, и бедным, и Саше, и на помин души… Хорошо… дай Бог всякому такую кончину. Вот я теперь и думаю… про твою маму, плоха она стала, — ах, плоха. Пора о завещании подумать. Ведь у нее денег-то немало. Опять все мальчикам пойдет, как после отца… велика ли ваша восьмая часть? Опять же в церкви надо бы, в монастырь, на помин души. Пора и об этом подумать… Живем — грешим, после смерти кто помолится? Вы, молодые, в Бога не верите… Ох, надо, надо Саше подумать об этом… поговорила бы ты с нею, Лиза.

— Бабушка, что вы говорите? — в ужасе вскричала я. — Да разве можно говорить с ней об этом? Ведь вы знаете, как она смерти боится…

— А Бога она не боится? как подумаешь, будет лежать в могиле… без вечного поминовения… как собака какая, прости, Господи.

Голос бабушки дрогнул, и она заплакала.

— Бабушка, дорогая, поймите, что это — немыслимо. Ведь вы же знаете, она всю жизнь прожила, делая только то, что ей нравилось… Смерти

она боится до безумия… всю жизнь лечилась от всяких болезней — и действительных, и воображаемых. И вдруг говорить с ней о завещании! Да что вы, что вы, бабушка! Пусть уж лучше я сама дам за нее, куда вы велите — на всякие поминовения, только молчите, только не говорите с нею об этом!

Но у бабушки свои убеждения. Ее горячая, наивная вера придает ей твердость фанатика… Она молча покачала головой…

— А Бог-то! а грехи-то! а вы, дочери, чем же хуже сыновей? Хоть бы о вас подумала, пожалела бы. Шутка ли, законы-то какие, все у вас для братьев отымают… Нет, коли ты не хочешь, я уж сама с ней поговорю.

Этого еще только не хватало! Я в отчаянии умоляла ее ничего не говорить. Бабушка молчала. Она, очевидно, раскаивалась, что завела со мной этот разговор, а теперь я мешала ей привести в исполнение уже назревшую мысль.

Что-то будет? Как устроить так, чтобы она и в самом деле не вздумала высказать матери своих мыслей? Как помешать? Не пускать ее одну без себя ехать к матери? Но как это устроить? Пожалуй, с своей стороны бабушка догадается, рассердится — и все-таки поедет.

26 марта/8 апреля

Смешно, что мы с бабушкой ведем такую дипломатическую игру; она старается скрыть от меня свои думы, — а я стараюсь всячески не допустить ее ехать к матери без меня. Сегодня удалось уговорить идти ко всенощной, пока я вечером буду у адвоката.

28 марта/10 апреля

Сегодня утром прихожу из библиотеки — бабушки дома нет. Я тотчас же сообразила, что она наверное поехала к матери, и поскорее пошла туда. Еще подходя к столовой по коридору, сквозь все затворенные двери долетел до меня раздраженный резкий крик. Это был голос матери. Сердце у меня так и замерло… Не удержалась-таки бабушка! говорила!

Я пробежала столовую и распахнула дверь гостиной. Бабушка с платком в руках сидела в кресле и плакала. Около нее стояла дрожащая Надя. Мать полулежала на низеньком диване.

— А-а, вот она, вот кто это вас научил! — злобно воскликнула она, указывая на меня. — Как посмела ты, подлая тварь, — нет, отвечай, как только

ты это посмела?!!

Я остолбенела и не могла сразу сообразить, в чем дело… В голову точно молотком ударило, в глазах помутилось…

— Что такое? при чем я тут? — с усилием выговорила я.

— Она не понимает!

— Саша, побойся Бога, не взводи на нее неправды, это я сама, сама, — я только на монастыри, на помин души, — умоляюще твердила бабушка.

Бедная Надя, совсем уничтоженная, тихонько всхлипывала.

— Неправда, знаем мы, в чем дело! Вы не о монастырях, а о внуках хлопочете! Так нет же! Я вам дам себя знать!

Глаза матери сверкали хорошо знакомою мне ненавистью к нам, детям, и все ее существо, казалось, оживилось злобной радостью от сознания, что она может отомстить нам, дочерям, даже из могилы.

— Не на-пи-шу! Пусть все идет мальчикам, — я очень рада! Какие они мне дочки? Одна замуж вышла, другая на курсы поехала…

Я не выдержала.

— Вы же сами вышли замуж тоже против воли бабушки? Или вы произвели нас на свет только

для того, чтобы воспитать из нас себе рабынь? — сказала я с негодованием и вдруг опомнилась, сознавая, что с этим чудовищем бесполезно тратить слова.

Сколько слез было пролито мною когда-то, в годы ранней молодости, перед этой женщиной, когда я на коленях умоляла ее отпустить меня на курсы! Как плакали мы, сестры, в детстве от ее побоев, придирок, наказаний!!

— Уйдем отсюда, бабушка, милая, уйдем скорее, — старалась я поднять ее с кресла. Но старушка не двигалась с места, точно загипнотизированная гневом дочери.

— Ишь чего захотели! что выдумали. Пусть все идет мальчикам, так вам и надо… подлые…

И каждое слово этой женщины, как удар ножа, отзывалось во всем существе моем. Я столько выстрадала от нее, что, кажется, сил нет более, а она все-таки ищет еще что-нибудь новое.

А бедная Надя тихо шептала:

— О, как мама рассердилась! Лиза, Лиза, и зачем это ты выдумала?

Бедная, глупая девочка! Напрасно ее разуверять, все равно не поверит.

Я поспешила скорее увести бабушку.

И среди этой бездны нравственной мерзости,

среди всего, что приходится мне переносить, — воспоминание об этом вечере в Бусико являлось единственной светлой точкой в моей измученной душе. Как хорошо он говорит! Как он добр ко мне!

Казалось, что его слова издалека поддерживали во мне бодрость духа, энергию, гордость…

Вечером бабушка долго молилась и, укладывая меня спать, по обыкновению — перекрестила с особенно торжественным выражением лица.

— Спи, Бог с тобою! И ты ведь немало от нее натерпелась… Ох-хо-хо, грехи наши тяжкие!..

30 марта/12 апреля

Я совсем устала от переездов по железной дороге, устала от всего. Я разбита и физически, и нравственно, чувствую себя совсем плохо… Сил нет оставаться здесь после всей этой истории… Не стану дожидаться утверждения духовного завещания, уеду в Москву к тете, она зовет к себе на Пасху. Вчера послала за сестрой и целых три часа упрашивала ее принять доверенность и окончить дело. Она не соглашалась, все боялась «напутать» и «не так сделать». А чего проще? теперь осталось только деньги получить да разделить поровну. Наконец она поняла и согласилась.

Бабушка поглощена говением и бесконечными великопостными службами. Мое присутствие в маленькой квартире, постоянные поздние возвращения домой — беспокоят ее и отвлекают от сосредоточения на благочестивых мыслях. Когда я вчера сказала ей, что собираюсь уехать, — она не стала удерживать меня.

— Кабы другое время — а теперь поезжай. Дни такие великие настали… Доживу ли до будущей Страстной седьмицы, Бог весть, — так надо теперь помолиться…

Все это не мешает ей самой приготовлять мне ежедневно к утреннему чаю яйца всмятку… Накануне Страстной-то недели! Но бедная бабушка молчит, подчиняясь требованиям неведомого, чуждого ей прогресса…

Москва, 2 апреля

Приехала к тете. Она, по обыкновению строгая, сдержанная, всегда критически смотревшая на курсистку-племянницу, — на этот раз обняла и поцеловала меня, с видимым удовольствием оглядывая мое парижское траурное платье.

— Наконец-то на человека стала похожа! Одета прилично и прическа по моде, и как ты похорошела! Боже мой! Повернись-ка… Да-да! Вот что

значит Париж!

Все двоюродные братья, женатые и неженатые члены многочисленной семьи, тоже говорили мне комплименты. Я удивлялась. Туалет — до сих пор оставался для меня непроницаемой тайной, и я была радехонька вместе с поступлением на курсы одеть традиционное платье курсистки: черную юбку и простенькую блузу. Прическа — то же самое. Сколько ни учили меня завиваться, причесываться — я не изменяла гладко причесанным волосам в одну косу. В Париже я невольно усвоила общую манеру — пышно взбивать волосы и делать тщательную прическу. И никак не воображала, что вместе с платьем это произведет такой эффект. И под влиянием всех этих похвал и комплиментов — посмотрелась в зеркало. Ну да, действительно, что-то не видать прежней курсистки.

Тетя была очень довольна и не удержалась, намекнув, что ее приглашение было не без дипломатической подкладки: есть жених в виду…

Я вспомнила совет Ленселе и рассмеялась. Как кстати! Если бы тетя знала! Что же, посмотрим, что за жених!

И я последовала за тетей в изящную маленькую гостиную, любимое место ее интимных разгово-

ров. И, садясь у ног ее, на пушистом бархатном ковре, шутливо сказала:

— Если вам пришла такая охота заниматься сватовством… к вашим услугам.

— Нет, Лиза, — на этот раз нечего смеяться. Пока ты училась на курсах, — тетя с сожалением вздохнула, в тоне ее голоса зазвучало бесконечное снисхождение к людской глупости, — так уж и быть… Но теперь — курсы кончены, пора и замуж. Ты вздумала еще изучать юридические науки — а много ли потом заработаешь? Тебе уж 25 лет, средства у тебя небольшие, — вечно одна. А ведь в Писании сказано: «не добро человеку быть одному»… помнишь?

Еще бы не помнить! С детства заученные тексты точно выжжены в памяти, и несмотря на все желание — никак не забываются.

— Ну так вот. Партия представляется превосходная. Не только для тебя — для своей дочки я не желала бы лучше.

И тетя горестно вздохнула. Бедная, она второй год страдает в своей уязвленной материнской гордости: ее единственная дочь, которую предназначили неведомо какому миллионеру и шили приданое во всех монастырях Поволжья, — влюбилась в бедняка репетитора-студента и

обвенчалась самым романическим образом. Второй год прошел; он очень мало зарабатывает литературным трудом, и кузина должна сама себя содержать… Этого ли ожидала тетя, мечтая о дворце для своей Тани!

Наши курсистки из интеллигенции, бывало, возмущались, когда слыхали подобные воззрения на брак. А я так вполне понимаю их: в нашем купеческом быту все счастье, все благополучие жизни построено на деньгах. И вот, тетя искренно думала устроить хоть мое счастье, если не удалось создать его для родной дочери.

И я, тронутая, протянула руку.

— Очень вам благодарна, милая тетя, но…

— Послушай, Лиза, зачем «но»? Дело серьезное. Это товарищ по университету Таниного мужа, Соколов, прекрасно кончил курс, занимается у отца на фабрике… богачи страшные… Он слыхал о тебе; хочет познакомиться. Вот завтра ты поедешь к Тане, он у нее бывает каждый день.

Я молчала. Все это говорила тетя так ясно, так неоспоримо разумно… Одного только тут не хватало: любви.

5/18 апреля

Сегодня день рождения кузины. Тетя не поехала ее поздравлять, очень устала от церковных служб, а послала подарки со мной.

Кузина — нарядная, веселая, счастливая — встретила меня в прихожей, смеясь с особенным лукавым видом. Очевидно, она действовала заодно с тетей…

Я сделала вид, что ничего не замечаю. В столовой сидели друзья ее мужа — их было двое — один пожилой, а другой молодой.

Кузина представила их. Пожилой оказался художником, а молодой — тем «женихом», о котором говорила тетя. Я взглянула на него с предубеждением. Но нет, в нем ничего особенного не было: спокойные, слегка расплывчатые русские черты лица, внешность если не красивая, но и не безобразная. Он свободно, непринужденно заговорил со мною о заграница, о литературе, об искусстве, оказался чрезвычайно начитанным и очень интересным собеседником. Кузина с тонким тактом вставляла в разговор свои замечания; муж ее и художник спорили о каких-то вопросах. Время пролетело незаметно до полуночи. Я стала собираться домой.

Кузина живет на Пречистенке, тетя на Покровке, а он — на Таганке. Дорога предстояла длинная, и мы пошли вместе пешком.

Я уже начинала находить моего собеседника симпатичным, когда он случайно упомянул о своей сестре.

Я слыхала, что у него есть сестра — некрасивая и очень несчастная одинокая девушка. И мне хотелось узнать, как он к ней относится, такой ли он хороший брат, как говорила кузина. Кстати, он как раз рассказывал, что ездил с ней прошлым летом в Норвегию, и жаловался, что с ней «невозможно путешествовать, — все устает, ходить не может…».

— Отчего же вы не сообразовались с здоровьем вашей сестры? — спросила я.

— А мне-то что до нее за дело! — откровенно признался он. — Я ведь не для нее ехал, а для собственного удовольствия.

Он рассуждал так в тридцать лет. Откровенный эгоизм и грубость — в такие годы! Я пришла в ужас и невольно инстинктивно сравнила его с тем, кого видела там, в Париже… какая разница! как в том развито тонкое, глубокое понимание души!

И мне он стал не так интересен. Дойдя до ворот,

мы простились…

6/19 апреля

Несмотря на Страстную пятницу, на то, что у всякого в доме хлопот по горло перед праздником, — кузина все-таки приехала сегодня к тете. Я сидела у себя в комнате и читала, когда горничная передала, что тетя просит прийти к ней в спальню.

Едва я вошла — «поздравляю, поздравляю!» — вскричала тетя.

— Это с чем? — удивилась я.

— Не притворяйся, полно, нечего, ты ему очень понравилась — первое впечатление было самое прекрасное, остается только продолжать.

— Конечно, конечно, — подтверждала кузина. — Не к чему вовсе за границу ехать. Оставайся-ка лучше здесь.

— Но я уже подала прошение о выдаче паспорта.

— Эка важность! Дело серьезное, а она с паспортом. Оставайся, — сказала тетя.

Я все еще думала обратить разговор в шутку. Но ни тетя, ни кузина не шутили.

— Тебе уже двадцать пять лет! В твои годы я уже пятерых родила! А она по белу свету скитается!

Тут о ней заботишься, а она заладила свое «еду» — прости, Господи, мое прегрешение — в Страстную пятницу и то рассердила. Ну, как хочешь. Некогда мне долго с тобой разговаривать, сейчас к вечерне зазвонят, надо в церковь, — раздраженно сказала тетя, подымаясь с места. — Делай как знаешь, только после на себя же пеняй.

И тетя торжественно вышла из спальни. Шлейф ее роскошного черного шелкового платья, казалось, укоризненно шуршал, медленно удаляясь в коридоре.

Мы с кузиной остались вдвоем в спальне.

— Ну вот, мама на тебя рассердилась, а я добрее ее несколько, — проговорила Таня своим серебристым нежным голоском, который составляет одну из ее прелестей и немало сводил с ума поклонников.

— Охота тебе, Таня, заниматься сватовством, — примирительно заметила я.

— Видишь ли, моя милая, есть одно хорошее житейское правило — лови момент. Тебе пора выйти замуж. С этим все согласны. В глубине души и ты сама, быть может, согласна, да только не говоришь. Ну, пусть, твое дело.

Я опять вспомнила в эту минуту совет Ленселе — и порадовалась, что его никто не слыхал. То-то

бы торжествовали эти житейские мудрецы!

А кузина продолжала:

— Так вот. Представляется случай сделать прекрасную партию. Ты ему понравилась. От тебя зависит продолжать. А ты едешь там сдавать какие-то экзамены, да еще больше чем на год. Пойми, — что ты делаешь: упускаешь такой случай. Чего еще тебе нужно: молод, образован и, — кузина добавила деловым тоном, — и очень богат. В наше время это одно из существенных достоинств, которым пренебрегать нельзя…

Мне хотелось сказать ей: и так рассуждаешь ты, сама вышедшая замуж по любви, против воли родных? И вдруг я вспомнила, что тетя очень богата, что кузина вполне и навсегда обеспечена.

Да! ей, богатой невесте, можно было выбирать себе жениха по сердцу, она могла идти за кого хочет… ее средств хватит на двоих… А я…

И передо мной промелькнула перспектива предстоящей трудовой серенькой жизни. Именно серенькой… Деятельность, вечно ограниченная рамками закона, который не позволяет нам, женщинам, создавать более широкие планы будущности… однообразие одинокой жизни…

А демон-соблазнитель в лице элегантной молодой женщины сидел в качалке и, улыбаясь,

говорил: «Останься лучше…»

Я вспомнила курсы и наши пылкие мечтания о работе на пользу народа… и мою гордую радость при мысли, что, изучая юридические науки, я прокладываю женщине новую дорогу и потом буду защищать ее человеческие права… И за один призрак буржуазного существования — я откажусь от своей цели, пожертвую своими убеждениями!

— Нет, Таня, — как только выдадут паспорт — уеду… Надо скоро вносить деньги за последнюю четверть года.

Кузина молча пожала плечами. И когда в прихожей, прощаясь с ней, я протянула руку, то прочла в глазах ее невысказанное слово «дура».

9/22 апреля

Вчера у тети целый день был прием по случаю первого дня праздника. Визитеры, попы, яйца, поцелуи, пасхи, куличи… В роскошно убранных комнатах, среди живых цветов, среди разодетых по-праздничному людей — праздник, казалось, совершался медленно и важно. Несмотря на все мои уверения, что я не хочу снимать своего траурного платья, — тетя купила-таки белый шелковый корсаж, заставила меня его надеть и

выйти к гостям.

— Такой великий грех — быть на Пасхе во всем черном! В моем-то доме! уж извини — я этого не допущу…

Увы! как хорошо знаю я с детства эти слова: «не допущу» — «не потерплю»!

Но из-за корсажа не стоило спорить и смущать душу набожной тети. И я покорно надела его, причесалась и вышла к гостям.

Вечером, усталая от этой беспрерывной церемонии празднования первого дня Пасхи, я укладывалась к отъезду. Паспорта еще не прислали, начинаю беспокоиться. Тетя не сочувствует моим сборам и молчит. Она, очевидно, оскорблена в своей гордой уверенности, что я послушаюсь ее.

Мне это больно и неприятно.

Я вовсе не хочу ни ссориться с ней, ни огорчать ее… но и поступаться своей свободой не согласна ни на шаг. Поэтому я всячески стараюсь угождать ей в мелочах, спрашиваю — не надо ли поручений, вообще — изъявляю полную готовность быть в Париже комиссионером по части мод. И кажется, немного успела. По крайней мере, от моих разговоров тетя призадумалась и решила дать какие-то поручения.

А я стала какая-то бесчувственная… точно дере-

вянная… все делаю машинально…

11/24 апреля

Паспорт получен; сегодня же вечером выезжаю скорым поездом в Париж.

Тетя дала поручение — купить накидку у Ворта или Пакэна. Мы простились дружелюбно, хотя со стороны тети все же заметна была некоторая сдержанность.

Париж, 30 апреля

Вот уже третий день, как я здесь. За эти пять недель весна вступила в свои права: деревья покрылись зеленью, сады пестреют цветами, фонтаны бьют, на улицах серые платья и шляпы… Передо мной был светлый, веселый, ласкающий Париж, весь залитый яркими лучами весеннего солнца. Меня опьянял этот блеск, шум, эта ослепительная красота города в весеннем наряде…

Вот как отдохну немного — исполню тетины поручения — так и пойду туда, в Бусико…

4 мая

Если когда-нибудь женщина может искренно

повторять слова молитвы — «и не введи нас во искушение» — так это переступая пороги храмов моды в rue de la Paix. Название этой улицы неверно. Какой там мир! Те зрелища роскоши, на которые натыкаешься на каждом шагу в этой улице, — прогонят скорее последние остатки душевного спокойствия и мира и поселят смуту, злобу, недовольство…

Ее вернее надо бы назвать rue de la Mode.

Ворт, Ворт! платья от Ворта! У меня от этого слова с детства осталось воспоминание чего-то недосягаемо-далекого, идеально-прекрасного, — чуть не волшебного.

Помню, как у нас в Ярославле указывали на красавицу, жену миллионера, говоря, что она носит «платья от Ворта», — а я широко открывала глаза и спрашивала с недоумением: что это такое?

Умер Ворт… и в Париже теперь славятся Пакэн, Дусэ, Феликс…

Я начала с Пакэна. И сразу попала точно в волшебное царство. Вся квартира была белая: белая мебель, белые потолки, стены, лестницы. Легкая лепная работа придавала им что-то воздушное. Казалось, что вошла в какой-то легкий белый храм… и в этом храме, среди сдержанного говора, совершалось благоговейное служение идолу

моды.

По мягким коврам бесшумно и грациозно скользили взад и вперед высокие, стройные красавицы — essayeuses[152] — в разных туалетах. Сверкали шитые золотом и серебром газовые бальные платья, пестрели костюмы для прогулки, медленно и лениво волочились шлейфы, дезабилье из тончайшего батиста и кружев… валансьен. Это были не платья, а поэмы в красках, в тканях, такие же создания искусств, как картины в Лувре.

И от этой пестрой, почти фантастической картины кружилась голова… Эта ослепительная красота роскоши, блеск, изящество гипнотизировали взгляд и властно притягивали к себе…

Я стояла неподвижно и с трудом соображала, зачем пришла, — когда подошла продавщица спросить, что мне нужно.

— Накидку летнюю… для пожилой дамы.

Вдоль стены в открытых шкафах висели модели; в стороне на столах они были наброшены целыми грудами… Заказчицы подходили и выбирали, а надзирательница звала свободную примеряльщицу, надевала на нее платье, и живая модная картинка начинала прохаживаться взад

---

[152] Примечания: 152

Здесь: женщины, на которых покупательницы могли увидеть выбранный наряд *(фр.).*

и вперед… а дамы сидели и следили, соображая, оценивая эффект костюма.

Продавщица подошла к одному из шкафов.

— Вот модель, — сказала она, вынимая из массы вещей нечто вроде хитона из розового шелкового креп-де-шин с греческими рукавами, по которому потоком бежали черные кружева и бархатки… Я сначала не поняла, что это такое, и можно ли серьезно носить такую необыкновенную вещь, какой у нас даже на сцене не увидишь.

— Mademoiselle Léontine, — позвала продавщица.

Молодая девушка в гладком черном шелковом корсаже с небольшим декольте откуда-то вышла и встала перед нами.

Это была живая кукла, совершенно похожая на те бюсты, которые выставляют парикмахеры у себя на окнах как модель. Великолепно сделанный цвет лица, безукоризненная прическа и лицо, неподвижное как маска, без мысли, без выражения… Все существо ее, казалось, заключалось в высокой, стройной, грациозной фигуре, которая одна жила и существовала.

Продавщица надела на нее непонятную розовую вещь.

— О! Как это красиво! — невольно вырвалось

у меня.

— Не правда ли, мадемуазель? — довольным тоном сказала продавщица.

Это была легкая накидка, сделанная на античный лад: вся красота заключалась в складках легкой материи, которые грациозно бежали с плеч вниз, черные кружева и узенькая бархатная лента рельефнее выделили их. Искусство, с каким древние римляне драпировали тогу, перешло в совершенстве к их потомкам… Я всегда любовалась одеждами античных статуй…

Живая кукла грациозно выступала, поворачиваясь вправо, влево; казалось, она родилась в Древнем Риме и всю жизнь только и делала, что драпировалась в пеплум.

— Годится вам эта модель? — заставил меня очнуться вопрос продавщицы.

Тут я сообразила, что к тяжелой русской купеческой фигуре тети античный пеплум мало подходит.

— Н-нет… покажите что-нибудь другое… дама очень полная. Надо такое, чтобы скрыть полноту, и солидное в то же время.

Продавщица тотчас же поняла мою мысль.

— Вот лучше этого — вряд ли найдете, — сказала она, надевая на essayeuse широкий шелковый

жакет цвета marron[153], отделанный черным же, с широкими рукавами фасона тридцатых годов.

— Эту модель можно сделать из черного креп-де-шин на подкладке из тафты mauve, покрытой шелковым газом с цветочками. Вот таким.

И она откуда-то вмиг вытащила картонку с шелковым газом, нежным и легким, тафту, быстро и ловко набросила на нее газ.

— Вы представьте себе, как это хорошо будет… черный шелковый креп-де-шин и эта подкладка mauve.

Я представила себе черный шелковый креп-де-шин, на подкладке из тафты mauve, покрытую этим газом с легким рисунком васильков…

Выходило хорошо, солидно и изящно.

— А на рукавах мы поставим отделку из настоящего кружева — увидите, как хорошо будет, — уверяла продавщица.

Но я и без нее видела, что все хорошо будет, только какая цена?

— Пятьсот пятьдесят франков. У нас накидки начиная от пятисот… дешевле нет. Посмотрите, какой материал мы ставим — кружева настоящие, шелк самый лучший… Право, — пятьсот

---

[153] Примечания: 153
Коричневый *(фр.).*

пятьдесят франков за такую вещь — недорого.

«На русские деньги это будет около двухсот рублей…» — соображала я, не зная, в сущности, как решить — дорого это или недорого; вообще — на одну накидку истратить такую сумму дорого, а относительно качества материала и работы выходило недорого, дешевле, чем в России. А навязывать свои мнения о нравственности и безнравственности дорогих покупок богатой и уже немолодой женщине — было бы глупым бросанием гороха в стену.

И я сказала:

— Да, так хорошо будет. Только я предварительно посмотрю еще, зайду к Ворту и Дусэ, и если не найду ничего более подходящего, то вернусь к вам.

Продавщица с достоинством поклонилась. «Идите, мол, ищите, — напрасно! лучше, чем у нас, не найдете…»

Пошла к Ворту и Дусэ. Знаменитый портной императрицы Евгении помещается на простой квартире, и залы были пусты. У Дусэ, наоборот, была давка страшная, и в светлом салоне так же мелькали живые куклы, как и у Пакэна. Я быстро пересмотрела несколько моделей — действительно, не нашла более подходящего, и вернулась

к Пакэну.

Тут за это время успела прийти целая семья американок. Мать, две дочери и старуха — чуть ли не бабушка, гувернантка — заняли большую часть салона, как привычные, постоянные посетители. Перед ними прохаживалась essayeuse в простом бумажном платье.

— Сколько? — своим гортанным английским акцентом спросила дама.

— Четыреста франков.

На этот раз я подумала, что такая цена действительно дорога: за бумажное-то платье… Но когда рассмотрела ткань — батист тончайшей работы, и фасон — простой, но исполненный прямо художественно, — опять нашла, что недорого. И на мелькнувшую мысль, что это безнравственно — тратить такие деньги на летнее платье, — вдруг нашла оправдание: «но зато как оно красиво! какое изящество!»

А продавщица, думая, что я куплю еще что-нибудь, повела меня к картонам с вставками и блузами. Самая дешевая вставка стоила сто франков, блуза — полтораста. Я смотрела и никак не могла сообразить, как же за такой ничтожный кусок ткани — платят такие деньги? С ценами на платье я еще могла помириться, но с этими

мелочами — нет.

Я сказала продавщице, что имею только один заказ. Записала имя тети, ее адрес и поскорее ушла из этого дома, где теряешь разницу между понятиями, что дорого и недорого, нравственно и безнравственно: изящество и роскошь так тесно сливаются с искусством, с красотою, что решительно все в голове путается и почва ускользает из-под ног…

6 мая

Сегодня утром поехала в Бусико.

Как красив этот новый госпиталь теперь, в яркие весенние дни! Небольшие красные павильоны разбросаны среди зелени направо и налево… вдали в центре шумит фонтан.

Я прошла к знакомому павильону направо, в коридор. Там никого не было, только больные в халатах выходили погреться на солнце.

Я сидела не двигаясь. Только теперь почувствовала я, до чего устала — и физически, и нравственно. Один из больных полюбопытствовал, кого мне надо.

— Мсье Ленселе.

— А, он сейчас пройдет с старшим врачом… вон слышно, выходят из палаты.

Действительно, через несколько минут в коридоре послышался шум, и мимо меня быстро прошла группа мужчин в белых блузах и направилась к павильону напротив.

— Чего же вы? ведь вот сейчас и прошел мсье Ленселе, — говорил больной.

— Но я, право, не могла его увидать… — оправдывалась я.

— Погодите, я сейчас сбегаю! — И, подобрав полы халата, он побежал по направлению удалявшейся группы.

Я увидела, как одна фигура в белом отделилась и тоже бегом направилась к нашему павильону.

Это был Ленселе.

— Добрый день, мадемуазель! Давно ли вы вернулись из России? — услышала я вновь его голос.

— Около недели назад, мсье.

— Не могли бы вы подождать меня немного? Я вернусь через полчаса.

— Хорошо, мсье.

И он ушел, а я по-прежнему неподвижно сидела на скамейке… Мне было как-то хорошо под лучами солнца; я и не заметила, как он вернулся.

Как и в прошлый раз, мы пошли в другое здание, опять в ту же комнату, где я была в марте. Теперь, вся залитая солнечным светом, она каза-

лась еще лучше.

— Как вы поживаете, мадемуазель? — спросил он, подвигая мне стул.

Я почувствовала, что вся энергия, до сих пор поддерживавшая меня, вся гордость пришла к концу… что нет сил больше… и разрыдалась, как дитя.

— Я так устала, так устала…

Он что-то говорил, я не слушала, мне было совершенно все равно; долго сдерживаемые слезы лились неудержимо…

— …Успокойтесь, мадемуазель… Если ваши родные не были добры к вам — постарайтесь забыть. Я не говорю — простите их, потому что знаю, как это трудно — прощать. Просто забудьте все. Вы сейчас здесь, в Париже, у вас впереди работа, вам нужно подготовиться к экзамену, — что ж, возвращайтесь и начинайте работать… — наконец начала я слышать и понимать.

И вдруг в моем сознании мелькнула мысль, что ведь я ни разу не платила ему, а, в сущности, не знаю — надо или нет платить.

— Мсье, я еще забыла вам сказать… эти визиты… бесплатные…

Рыдания совсем задушили меня, и я упала головой на стол.

Его рука легла на мою.

— Замолчите, замолчите! Разве об этом стоит говорить? Что вы думаете, что у нас во Франции учащаяся молодежь, артисты, художники, литераторы — не пользуются бесплатной медицинской помощью, как у вас в России?

— Но я иностранка, мсье…

— Разве не во всех странах беда одинакова? — с упреком сказал он. — Оставьте раз навсегда этот разговор, слышите? Теперь поговорим о серьезных вещах. Подумайте, чем бы вы хотели теперь заняться.

— Я привезла вам из России портрет Толстого, только я не принесла его с собой; я не знала, могу ли предложить его вам взять его на память.

— Вот и все, что вы мне должны, мадемуазель, — с живостью возразил он. — Принесите мне его, этот портрет.

Я понемногу успокоилась. Вуаль скрывала следы слез. Надо было уходить.

Провожая меня до дверей, он говорил:

— Вам надо гулять. Париж сейчас прекрасен. До свидания, мадемуазель. И обязательно приходите еще.

Я вышла из госпиталя и, пока шла до трамвая, — смотрела на деревья, покрытые свежей

зеленью, на ясное голубое небо…

На душе было как-то легче, спокойнее: точно солнечный луч заглянул в нее.

Париж сейчас прекрасен…

10 мая

Ну зачем я пойду и понесу ему сама этот портрет?

Я так устала… К чему? Ведь все равно меня трудно вылечить, а вот заодно напишу ему, спрошу, чем был болен брат, что его воспитатель не хотел мне сказать? в какой медицинской книге можно об этом прочесть?

12 мая

Я еще спала, когда постучали в дверь. Заказное письмо! Странный здесь обычай: почтальоны обязаны передавать заказные письма лично, без церемонии входят в комнату во всякое время дня. Я набросила пеньюар, приоткрыла дверь из опасения, чтобы почтальон не вошел ко мне неодетой, взяла книгу, расписалась. Вместе с толстым пакетом подали и изящный белый конверт, подписанный незнакомым почерком, по городской почте. Я вскрыла толстый пакет: это Надя

добросовестно писала отчет о своих похождениях по духовному завещанию, как его утвердили, как она делала раздел. Меня это не так интересовало, как конверт с незнакомым почерком.

От кого бы могло быть это письмо?

Я разорвала конверт и прочла.

Мадемуазель.

Выражая глубокую благодарность за все усилия, что вам пришлось приложить, отправляя мне прекрасный портрет Толстого, я должен предупредить вас, что между тем моментом, когда вы передали его почте, и тем, когда он был получен мною, с ним произошел прискорбный несчастный случай. Картон упаковки был порван, и портрет я получил с несколькими царапинами.

Поскольку ущерб был непоправим, я не счел нужным предъявлять почте бесполезные претензии. Если бы я осмелился себе это позволить, то словно бы упрекнул вас, что вы не принесли мне портрет лично. Я сохраню его таким, какой он есть, и таков, какой он есть, он будет мне приятен, поскольку я не вижу урона, при-

чиной которому несчастная случайность, но только лишь красоту мыслей и благородство фигуры Толстого.

Я не буду пытаться утешить вас немного в этой краткой записке, но я приглашаю вас приехать как-нибудь утром или вечером в пятницу, после ужина, в Бусико, и мы побеседуем обо всем, что вы мне написали. *Надобно, чтобы вы одержали победу над собой*; вы непременно одержите победу.

С самыми почтительными и преданными чувствами,

Э. Ленселе. 11 мая 1901 г.

P. S. Если желаете, я одолжу вам несколько медицинских книг. Но они не будут вам полезны по причинам, которые я объясню, когда мы увидимся.

Чудное майское утро начиналось. Вся моя комната была проникнута его светом. Я сидела на постели с этим письмом в руках, читала и перечитывала его с каким-то безотчетным удовольствием.

Как хорошо он пишет!

Впрочем, неудивительно: ведь все французы — прирожденные стилисты и ораторы… Почерк элегантный, тонкий, ясный, мелкий — точно бисер. Как красива у него буква Д! так еще никто из моих корреспондентов не писал: маленькая палочка посредине и линия кругом идет таким красивым изгибом…

В душе поднималось какое-то чувство облегчения: он пишет, чтобы я пришла в госпиталь. Напишу ему, что приду в пятницу, а портрет Толстого можно и другой выписать из России.

14 мая

Сегодня — предпоследний день для взноса платы за право учения. Пошла в университет. Давно я там не была. Пока нас, женщин, там очень мало: всего две — Кореневская одна на втором, да я одна на первом. Обе совершенно теряемся в толпе студентов. И как там скучно! Студенты-юристы, должно быть, во всех странах мира одинаковы; нигде, ни на одном другом факультете нет такого наплыва богатых, ограниченных и праздных буржуа. Французское студенчество не то, что русское: почти сплошь буржуазно. Все они хорошо одеты, получая от 150–200 фр. в месяц, — искренно считают себя небогатыми людьми. На первом курсе

все мальчишки лет 17–20. Не посещая лекций — я и знакомств ни с кем не завела. Но перед экзаменами — это необходимо. Встретила сегодня Кореневскую, у которой есть знакомые с первого курса. Она обещала привести одного в субботу.

17 мая

Сходя с лестницы вниз в столовую — я еще издали увидела на полочке для писем конверт с изящным почерком. Значит, от него.

> Мадемуазель, – читала я, – я совершенно не хочу, чтобы вы выписывали из России другой портрет Толстого, я сохраню тот, что у меня есть, поврежденный, как будто бы он совершенно невредим.
>
> Что касается медицинских книг, о которых вы меня спрашиваете: я бы хотел обсудить это, когда вы приедете, поскольку необходимо объяснить вам то, что в книге может оказаться неясным.
>
> Не приходите вечером в пятницу, в тот день я не смогу задержаться в больнице.
>
> Но если пожелаете, я могу подождать вас в субботу днем до 18:00.

Пожалуйста, поверьте, мадемуазель, в мои самые почтительные и преданные чувства.

Э. Ленселе. 16 мая 1901 г.

Идти туда в субботу! но я не могу: придет Кореневская с французом. Досадно. Надо написать отказ.

19 мая, воскресенье

Еще осенью один приезжий русский познакомил меня с своим приятелем химиком. Этот молодой человек очень добр, очень мил, но у нас, в сущности, мало общего. Он специалист, погруженный в свои колбы и реторты, и выразился как-то, когда прошел закон о женщинах-адвокатах: «Ну хорошо; только могут ли женщины-адвокаты быть хорошими матерями?» — «Ах, какое горе! — сострадательно ответила я ему в тон, — а могут ли быть мужчины-адвокаты хорошими отцами?» Он растерялся и не нашелся, что ответить.

Но все-таки он славный человек. И поэтому мы хоть и изредка, но видимся. Я еще не была у него по приезде и сегодня пошла.

Он давно собирался брать уроки немецкого языка в обмен на французский, и я не удивилась,

когда встретила в его комнате студента-немца.

Он познакомил нас. Herrmann Карльсен — студент одного из бесчисленных германских университетов, не то Боннского, не то Берлинского.

— Мы собираемся ехать в Сен-Клу, погода такая хорошая. Не хотите ли — поедем вместе? — предложил Дриль.

Я согласилась. И пока он искал какие-то записные книжки, — я рассеянно взглянула на письменный стол. На нем лежал развернутый лист приложения к «Presse Médicale» — список всех парижских госпиталей, их врачей — интернов и экстернов.

Я взяла его, и глаза инстинктивно искали госпиталь Бусико. Господи, — какой большой лист! сколько фамилий! вот рубрика интернов — Cresson, Chifoliau, Heitz, Meuriot, Pécharmant… где ж он?

А, вот — внизу, в левом углу госпиталь Бусико, и там Lencelet! Какое красивое имя! Оно все состоит из мелких ласкающих звуков, самое красивое из всего списка… все остальные звучат как-то грубо в сравнении с ним. В самом деле: Pécharmant… Carrignes, или еще лучше: Bisch… даже смешно стало.

— Дайте мне, пожалуйста, этот лист… — попросила я Дриля.

— Зачем вам? — удивился он.

— А это для статистики. Мы с одной медичкой давно интересуемся — какой процент иностранцев между экстернами.

— С удовольствием, берите… мне, кстати, он больше не нужен, — согласился добрый Дриль.

А мне даже и совестно не было за свою ложь. И я, в благодарность, была как можно внимательнее и любезнее с ним и его немцем, рассказывала им разные разности, спорила — словом, развлекала их до самого Сен-Клу.

Немец оказался «с душою прямо гёттингенской». Сначала дичился и говорил мало, но под конец прогулки читал из Гейне и, прощаясь, торжественно заявил, что «такой женщины, как я, он еще никогда не встречал…».

23 мая

Herrmannsen попросил позволения бывать у меня, в восторге от того, что я как-то зашла к нему в его комнату на rue des Feuillantines. Немедленно вытащил свой альбом, показал портреты всех родных, всех барышень, в которых был влюблен…

Я в двадцать два года была куда серьезнее его… Оттого что я внимательно выслушала все его признания относительно прошлого, все мечтания о будущем — он пришел в восторженное настроение и чуть не клялся в преданности до… самой смерти, в том, что оказать мне какую-либо услугу — составит величайшее счастье его жизни. Это меня рассмешило.

— Ну а если я поймаю вас на слове — и действительно пошлю с поручением? — спросила я.

— Я даже буду просить вас об этом! — пылко воскликнул юноша.

— Хорошо. Я сейчас напишу письмо, а завтра рано утром вы пойдете в госпиталь Бусико, спросите monsieur Lencelet и подождете ответа.

И я внутренне смеялась от души. Забавно было видеть, как он весь насторожился при слове «monsieur», как явное огорчение отразилось на его лице. Пришлось для его успокоения объяснить, что посылаю его к интерну за нужными мне книгами, а посылать письмо по почте — долго ждать ответа, так удобнее, он скорее принесет.

По мере того как я объясняла, лицо его прояснялось, и наконец — вполне убежденный, что «ничего тут нет», — он с тем же восторгом принес мне бумагу, перо, чернила и конверт, и я наскоро

написала записку…

24 мая, пятница

В одиннадцать часов утра Herrmannsen стучался в мою дверь.

— Войдите.

Он вошел сияющий. Я знала, что ему доставит удовольствие подробно рассказать об исполненном поручении, — а мне — выслушать. Недаром немцы — народ обстоятельный. Он начал с того, как нашел конку, как сначала перепутал и не на ту попал, и потом догадался, пересел на другую и т. д. Наконец, как пришел в Бусико, как его впустили, как он долго ждал в павильоне. «И вот он вышел. Я ему передал ваше письмо, он взял, прочел, спросил, как вы себя чувствуете, я сказал, что не знаю, — и потом куда-то ушел и принес ответ. Вот».

И Германсен достал из бокового кармана своего сюртука вчетверо сложенный желтый листок, на котором было напечатано «Бесплатные консультации», — там наскоро, его рукою были написаны две строчки: *«Приходите сегодня вечером после ужина. С уважением, Ленселе».*

— Но вы знаете, мадемуазель, — прибавил честный немец, — он очень красивый молодой

человек, и очень серьезный.

Так он красив? А ведь в самом деле, я еще до сих пор не успела рассмотреть его лицо.

И так же добросовестно ответила немцу:

— Нет, мсье, не знаю: каждый раз при встрече с ним я так сильно нервничала, что была не в силах поднять глаза. — И я от всей души благодарила милого юношу.

В восемь часов я одевалась, чтобы ехать в Бусико. Наступающее лето заставило расстаться с траурным платьем, и вместо черного корсажа я купила несколько белых. Большая белая шляпа à la Bergère… Впервые в жизни я одевалась с удовольствием: зеркало отражало прелестную молодую женщину, которая счастливо улыбалась мне.

Мне казалось, что электрический трамвай идет медленно… и еще пришлось ждать бесконечные десять минут у вокзала Montparnasse, так как трамвай St.-Germain des Près Vanves оказался переполненным…

Вот наконец — rue Lecourbe… а там немного дальше Бусико… Опять неизбежный вопрос консьержи:

— Куда вы, мадемуазель?

— К мсье Ленселе.

— Первый этаж направо.

Перед тем как позвонить, я посмотрела на маленькую аспидную доску, на рамке которой черными буквами напечатано — «interne de garde», а на доске мелом написано было Lencelet.

Так вот отчего он бывает здесь по пятницам! значит, это его дежурство.

Я позвонила. Горничная отворила дверь.

— Мсье Ленселе просит вас подождать здесь, — сказала она, вводя меня в библиотеку.

Дверь соседней комнаты тотчас же отворилась, и из нее вышел Lencelet.

— Добрый день, мадемуазель… прошу вас подождать в моей комнате… Мы сейчас обедаем…

— Конечно.

Мы прошли в его комнату. Он зажег электричество. Окно было открыто, и поток майского воздуха лился в комнату.

— Извините, что я вас оставляю. Вы, конечно, читаете по-немецки? — спросил он, подавая «Frau Sorge» Зудермана.

— Да.

— Так вот, почитайте пока, а если хотите — вот и медицинские книги. Я скоро вернусь.

И он быстро ушел.

Оставшись одна, я с любопытством осмотре-

лась. Дверца зеркального шкафа была приотворена. Я заглянула туда: толстые книги в красивых переплетах стоят там… Ни вещей, ни платья — ничего! как странно… Туалетный стол — пустой. Чем больше вглядывалась я в обстановку комнаты, тем более она производила впечатление чего-то двойственного — точно она служила каким-то временным пребыванием. Письменный стол был буквально завален книгами на французском и немецком языках с массою рисунков… среди них валялась пачка запыленных визитных карточек. Я взяла и прочла: «E. Lencelet. Interne en médecine des hôpitaux. 5, rue Brézin».

Так вот оно что! Значит, он живет не здесь, а где-то в городе.

Ящик письменного стола был не вполне задвинут: в нем лежала масса всяких бумажек, писем…

Я плотно задвинула ящик и рассеянно перелистывала толстый медицинский том. Из книги выпала закладка — узенький клочок бумаги, вырванный из тетради — как мне сначала показалось.

Я подняла его, чтобы вложить обратно на место, и вдруг нечаянно прочла: «…не застал дома…»

Письмо от женщины, — а-а!

И только тут заметила, что клочок бумаги был элегантной голубой узенькой карточкой с золотым обрезом, такой узкой и длинной формы, какой я еще не видала.

Так вот как…

Я вертела в руке бумажку. Взглянула еще раз… какой неразборчивый почерк! только и видно, что «pas trouvée chez moi», должно быть, извинение, что не застал ее дома. Вверху стояло число: 2 Février 1900…

Мне стало стыдно, что я нечаянно прочла хоть одну фразу из чужого письма. Но черт бы побрал эти модные бумажки, похожие скорее на клочки, чем на письма. Знай я, что это письмо, — никогда бы в руки не взяла. Хорош тоже и он — употребляет женские письма на закладки своих книг…

Я села у стола и взяла «Frau Sorge».

Как хорошо в этой уютной, светлой комнате! Уже одно то, что я в ней была, действовало на меня успокоительно. Я читала «Frau Sorge»; уже давно, и знаю, что в конце есть прелестная сказка. Но не успела начать ее, как вернулся Ленселе.

— Много прочли? Прошу прощения, мы сегодня поздно сели обедать.

Я подумала, что он мог бы и поторопиться, но часы обеда и завтрака священны для каждого

француза, и сократить их нельзя. И из вежливости, вслух отвечала:

— Ничего страшного, мсье… Я скоро уйду…

— О, нет, я сейчас свободен, вы можете оставаться до десяти часов… Я обещал вам книгу, сейчас я ее вам дам.

Он вернулся через несколько минут с толстым томом.

— Я был в большом затруднении, у нас в библиотеке нет таких книг, — и притом я не знаю, в чем дело.

— Да я и сама не знаю. Воспитатель брата наотрез отказался сказать, чем был болен брат…

— Удивляюсь. Отчего он не мог сказать? вот предрассудки-то! — говорил он и сел напротив, перелистывая книгу. — Видите ли, я не знаю, вряд ли эта книга будет вам полезна. Вы ничего не поймете.

— О, нет, нет — пойму! ведь понимают же медички, — живо возразила я.

— Как хотите. Вот тут говорится о болезнях мужских половых органов, о влиянии этих заболеваний на нервную систему…

Он говорил, а я смотрела на него. Свет лампы ярко освещал его голову. Тонкие, правильные черты лица. Темные, изящные брови казались

почти черными, и голубые глаза с длинными пушистыми ресницами смотрели серьезно и внимательно сквозь стекла пенсне. Черная бархатная шапочка интерна очень шла к нему. Это была красивая, изящная голова, какой я еще никогда не видала…

Я слушала и смотрела и переживала чудные минуты…

Человек, который сделал мне столько добра, — так хорош, так симпатичен… в эту минуту он мне казался совершенством, в котором так гармонично сливались красота души с красотой внешней; и это сознание доставляло такое глубокое, такое невыразимое наслаждение, что все существо мое, казалось, жило какою-то новою жизнью…

Да, немец был прав…

— Но вряд ли это даст вам что-нибудь. К тому же, если бы вы даже и узнали кое-что из этой книги, — все равно вы теперь от него далеко, все равно не можете ничего сделать. Сосредоточьте лучше свое внимание на том, что сейчас непосредственно важно для вас самих. Помните, что у вас впереди есть цель, которую вы должны достигнуть… Занимайтесь, готовьтесь к экзамену…

— Но я так устала… мне кажется, что я совершенно ни к чему не способна — памяти нет.

— Это вам только так кажется. Вы просто на время потеряли волю, а память восстановится опять, за это нечего бояться. Поддерживать в самой себе упадок духа, уныние — совершенно бесполезно, это убивает вас. Вы должны овладеть собой; помните, что вы — человек интеллигентный, что ваша работа может быть полезной для женщин.

Говори он так целую вечность — я все слушала бы… Слова его поддерживали, оживляли меня…

И я вспомнила его совет выйти замуж, и как в Москве представился случай, — и мне захотелось рассказать ему об этом.

— С вашей стороны вполне естественно было уехать, если молодой человек вам не нравился. Выходить замуж нужно не иначе, как по взаимной любви или симпатии!!

— По любви! Но я знаю, что такое любовь! Читали вы Шопенгауэра в «Мире как воля и представление», главу «Метафизика половой любви»?

— Да.

— Ну так вот, там верное представление о любви… Вот что это такое, как я смотрю на нее — это мираж, обман и больше ничего, — сказала я с отчаянием, чувствуя, как вновь зашевелились

в душе ужасные воспоминания о браке сестры…

— Если так… — примирительно возразил он.

Мне захотелось узнать, как он смотрит на брак.

— И потом — замужество! С человеком, который вдоволь пользовался молодостью; с таким еще рискуешь быть обманутой… А я этого не допускаю в браке…

— Я также.

— Выйдя замуж по вашим законам — женщина окончательно теряет права над своей личностью. Ее имущество принадлежит мужу. Это возмутительно, это несправедливо!

— А я нахожу, что вполне справедливо. Деньги заработаны не женщиной, — ее приданое дает ей отец — значит естественно, что она и не может ими распоряжаться, а муж.

Мне стало больно… Зачем он так говорит?

Я не выдержала и с упреком возразила:

— И не стыдно вам так рассуждать? Да разве можно насильно учреждать опеку над взрослым человеком? Вам важен не факт происхождения состояния, а в данном случае способность распоряжаться им. Неужели женщина, раз она замужем, должна быть на положении ребенка? У нас в России на этот счет гораздо справедливее:

имущества мужа и жены раздельны…

— Я не знаю, как у вас, в России… но наша, французская женщина в среднем — стоит неизмеримо ниже мужчины… и она в настоящее время не может еще требовать правоспособности в браке. Посмотрите на наши лицеи — они пусты, туда отдают дочерей только чиновники.

О, зачем он так говорит! Ведь это же грубо, несправедливо, — узко, эгоистично.

И главное — он так говорит!

Но стрелка показывала без четверти десять. Надо было уходить. А он, очевидно, и не заметил, какое впечатление произвели на меня его слова. И, провожая до дверей, говорил:

— Все мы страдаем, более или менее… И единственное утешение — это делать добро. Творите добро, облегчайте страдания… Знаете ли, я пожил среди людей всех слоев общества, слышал самые разные мнения… и я стал ярым скептиком. Все повторяется в этом мире. И люди здесь — они всего лишь пыль!

Противоречит, подумала я. Если люди на земле — прах — то к чему же им делать добро?

— Но в таком случае жизнь теряет всякий смысл! — воскликнула я.

— А в чем ее смысл? — насмешливо-грустно

спросил он.

— В том, чтобы идти к прогрессу… Цель жизни — добро…

— Как знать, что есть добро?

— Добро — это справедливость, — убежденно ответила я.

— Добро в утешении страждущих… — поддерживать своего ближнего — вот наша задача. А сами мы, люди, — слишком ничтожны… Не более чем пыль…

Мы стояли на крыльце. Теплая майская ночь спустилась над Парижем, и в ее тишине, среди наступившего безмолвия ночи, как-то особенно безотрадно прозвучали слова молодого скептика, точно подавляемого тяжестью собственного убеждения, что он — прах на земле…

Я опустила голову… и задумалась…

— Мне нужно идти, мадемуазель, — тихо сказал он.

— В самом деле! Извините, я вас задерживаю.

И, простившись с ним, потихоньку пошла по тротуару, не зная, на какой трамвай сесть. Было темно, и я забыла направление. На углу стояла группа в ожидании трамвая. Я присоединилась к ней.

Вскоре господин в пенсне и в цилиндре подо-

шел ко мне.

— Добрый вечер, мадемуазель… Вы здесь дожидаетесь трамвая?

Это был он, уже переодетый. Я подумала: очевидно, он носит цилиндр, потому что знает, как это к нему идет.

— Я узнал вас по белой шляпе. Вы здесь дожидаетесь трамвая?

— Да.

— Это не ваш. Надо пройти дальше метров триста. Я вас провожу. Я еду в Mont-Rouge, к одному из своих друзей, который болен.

Он дождался, пока подошел мой трамвай, посадил меня и скрылся в темной пустынной улице… А я — поехала домой в каком-то странном настроении, которое поглощало меня всю…

И когда в пансионе madame Odobez сообщила мне, что приходили двое русских, которых я ждала, — мне это было уже безразлично…

30 мая, четверг

Сегодня утром была в секретариате — вынимала жребий, когда сдавать экзамен. Вынула номер 1029-й.

— О, это на последнюю неделю! — сказал чиновник.

Сама не знаю почему, но я была довольна, что еще долго останусь в Париже… Увижусь с ним…

Написала ему сегодня письмо, что, если не получу ответа до 3 часов в пятницу, — значит он свободен и я приду вечером.

31 мая, пятница

Я одевалась, чтобы идти в Бусико. Накануне принесли полутраурное серое платье; я сама придумала фасон — гладкий лиф с белой косынкой Marie-Antoinette. Я очень люблю этот жанр. Но насколько наши русские портнихи не умеют понимать идей заказчиц и исполнять их, — настолько здесь всякая последняя швея — художница. Теперь, в эту минуту, одеваться доставляло мне такое же наслаждение, как год тому назад — чтение Лаврентьевской летописи. Я любовалась своим отражением в зеркале, и сознание того, что я молода и хороша собой, — наполняло меня чем-то новым.

Как могла я прожить на свете столько лет — и не знать и не замечать своей внешности!

Я уже прикалывала шляпу, как в дверь постучалась наша madame Dorez…

— Телеграмма! О, да вы стали совсем парижанкой! — сказала она, с улыбкой смотря на меня

и подавая городскую телеграмму — carte-lettre. До чего чувствительны к внешности эти француженки! Они не пройдут молча мимо того, что красиво. Я сейчас же догадалась, что это была телеграмма от него.

Мадемуазель.

Не приходите сегодня вечером, у нас не будет времени поговорить.

Пожалуйста, примите мои глубокие сожаления, а также самые почтительные и преданные чувства.

Э. Ленселе.

Вечером пришел немец, и мы пошли с ним гулять в сквер Observatoire. Он что-то говорил… я не слушала…

Какое-то досадное чувство наполняло мою душу, и я не могла дать себе отчета — почему…

2 июня, Троицын день

Отчего все чаще и чаще думаю о нем? Неужели полюбила его? До сих пор я не знала, что такое любовь… и не понимала. Ну что ж? все надо знать, все надо испытать в этом мире… А любовь для меня — нечто такое новое-новое…

Какое-то радостное и гордое чувство наполняет душу. Мне кажется, будто я не жила до сих пор, точно чего-то ждала… а теперь — начинается жизнь…

7 июня, пятница

Серенький конверт с знакомым почерком. Это было от него.

> Мадемуазель,
> на несколько дней я уезжаю из города и до моего возвращения не смогу сообщить вам, в какой день вы сможете прийти в Бусико. Надеюсь, что до того момента ваше недомогание не будет вас тревожить и что вы начали работу. Работа – лекарство от многих умственных недугов. Пожалуйста, примите, мадемуазель, мои самые лучшие и преданные чувства.
>
> ***Э. Ленселе.***

Так он уехал!

Работа — лекарство от многих умственных недугов… Точно ли, правда ли?

И я взяла с полки желтый томик — «Современная история» Анатоля Франса и читала там:

«Труд полезен человеку. Он отвлекает его от собственной жизни, отвращает от мучительного заглядывания в самого себя; он мешает ему всматриваться в того двойника, который живет в нас и делает страшным одиночество. Это безошибочное средство от всяческих нравственных и эстетических страданий. Труд хорош еще и тем, что льстит нашему тщеславию, тешит наше бессилие и ласкает нас надеждой на приятный оборот событий. Мы мним, что благодаря ему распоряжаемся своей судьбой. Не улавливая необходимой связи наших усилий с механизмом вселенной, мы считаем, что они направлены нам на благо и в ущерб всему прочему миру. Труд создает иллюзию воли, силы и независимости. Он обожествляет нас в собственных глазах, благодаря ему мы смотрим на себя, как на героев, гениев, демонов, демиургов, богов, как на самого Господа Бога. И действительно, Бога никогда не представляли себе иначе как в образе труженика»[154].

Да… так вот, кому верить?

Прав, конечно, этот тонкий скептик, сквозь вечную ироническую улыбку которого проглядывает тоска, грусть, сострадание к несчастному

---

[154] Примечания: 154
Перевод И. Татариновой.

человечеству…

Я взялась за книги, раскрыла программы…

При мысли о том, что он отдыхает там, на даче, тогда как я должна сидеть здесь, в душном городе, — как-то хорошо делалось на душе. Если бы эти мои занятия могли заменить его! Пусть бы он отдыхал, я работала бы за него…

9 июня, воскресенье

Когда он должен вернуться?

— «На несколько дней я уезжаю из города…» Ну, значит, скоро…

Когда вернется, он напишет… Наверное в пятницу, так как это его дежурство в госпитале…

11 июня, понедельник

Еще только начало недели! как долго…

Сегодня на электризации в Брока познакомилась с интересной сиделкой, madame Delavigne. Бывшая коммунарка, член партии социалистов-революционеров, очень энергичная и неглупая женщина. M-elle Angèle, которая электризует больных, — тоже очень симпатичная и простая. Гораздо лучше, чем в Сальпетриере. И с больных взяток не берут, хотя на стене и нет объявления о

том, чтобы их не давать…

Пока, сидя на скамье, мы разговаривали во время электризации, дверь растворилась, и вошел пожилой господин, окруженный толпою студентов. Взгляд его прекрасных черных глаз, казалось, проникал прямо в душу — и сразу выделял его из толпы. Он подошел к нам и стал спрашивать каждого, кто его послал.

— А вас, мадемуазель?

— Меня послал мсье Ленселе.

— Что это за человек с таким необыкновенным взглядом? — спросила я m-elle Angèle, когда он ушел.

— О, это знаменитость по накожным болезням, доктор Дрок.

— Действительно, он очень симпатичен.

— Так-то так, да все-таки он клерикал… — со вздохом сожаления прошептала мне на ухо madame Delavigne. — Я нарочно вам это говорю потихоньку. Не стоит спорить с Анжелой. Та — сама католичка… верит в весь этот вздор.

Мне было жаль, что человек с таким чудным взглядом оказался не безупречен…

14 июня, пятница

Сегодня, когда вернулась из Брока, подали утреннюю почту, и madame раскладывала для пансионеров письма по клеточкам. Я с замирающим сердцем смотрела, не появится ли конверт с его почерком. Нет, ничего нет.

19 июня, среда

Поздно вечером я отбросила в сторону толстый том конституционного права… и выглянула в окно. Хорошо бы выйти пройтись в такую чудную ночь.

Вдруг я вспомнила его адрес — 5, rue Brézin… и мне захотелось непременно пройти по этой улице, мимо дома, где он живет.

Какие это вздорные предрассудки, что опасно ходить одной по Парижу поздно вечером! Раз навсегда освободившись от всех предрассудков, я всюду и во всякий час хожу одна. И теперь, конечно, не стала отказывать себе в исполнении этой фантазии.

Я отыскала по плану Бедекера, на последнем сером листе, семнадцатое деление и на нем — rue Brézin. Дорогу нетрудно запомнить: rue Berthollet,

любимое место русских — бульвар Port-Royal, — там прямо по rue Denfert Rochereau, rue avenue d'Orléans — третья справа — и будет rue Brézin.

Было ровно полночь. У нас нет консьержи, — не надо неизбежного «отворите, пожалуйста!» — у каждого из пансионеров есть свой ключ от входной двери.

Я шла по бульвару Port-Royal, с наслаждением вдыхая свежий ночной воздух. Кругом ни души не было.

Я шла быстро. Вот и Бельфорский лев на площади Denfert Rochereau. В темноте ночи его громада вырисовывается как-то особенно внушительно. Я забыла, которая по счету с avenue d'Orléans будет rue Brézin. Кого бы спросить? Полицейских не было; кабачок на углу был ярко освещен, две-три женщины обнимали поздних посетителей.

Я подошла к кассирше.

— Прошу простить, мадам, скажите, где rue Brézin?

Сказала и испугалась откровенно-любопытного взгляда, каким уставилась на меня хозяйка. Мне показалось, что она догадалась, зачем я иду… Я смутилась, покраснела, и в голову не пришло, что в такой поздний час «порядочные» женщины не входят в кабаки.

— Это дальше, мадам, вторая улица направо.

— Благодарю вас, мадам.

В самом деле — вторая направо — это и была rue Brézin. На какой стороне четные и нечетные номера? направо — 4, 6… значит, налево… вот он, 5, с красной решеткой, небольшой, пятиэтажный. Только в двух-трех окнах виднелся свет; которое из них его окно?

Я прошла улицу до конца. Какой сюрприз! небольшая площадь, усаженная деревьями, и сквер!

Я села на одну из скамеек… Тишина, чудная тишина ночи охватила меня. Кругом — громадный город спал со всеми своими разнообразными горестями и радостями, надеждами и неудачами. А когда люди спят — начинает говорить природа. Деревья, посаженные в каменной мостовой, окруженные железными решетками около корней, — как закованные пленники, исполняют днем свою службу, украшают город, дают тень… Звон конок и уличный шум заглушают поэтический шорох их листьев… И казалось, вечером они рассказывают друг другу о том, что видели и слышали за день…

Торжественное спокойствие ночи захватывало и меня.

Сидя неподвижно на скамейке, я слушала тихий шелест листьев и голос ночи, таинственный и странный, и думала — где он теперь?

Когда я возвращалась по улице Brézin, какие-то люди подходили к подъезду его дома. Что, если это он возвращается домой? Что подумает он, если встретит меня здесь? ведь я не от него узнала адрес, а случайно сама прочла на его карточках… Сердце так и замерло… Но нет, это оказались две дамы и старик.

Этот дом… все, что есть у меня самого дорогого на свете, все там…

И я уходила домой, должно быть, в том же настроении, с каким бабы-богомолки возвращаются с поклонения святым местам…

Мне самой стало смешно при этой мысли. А ведь верно, хоть и знаю, что надо мной могут смеяться…

Но если бы кто-нибудь предложил мне годы успехов, — реальной удачи в делах — нет, — не отдам я за них этот час!

21 июня, пятница

Еще пятница — и нет письма! Как бы узнать — вернулся ли он? Идти в Бусико? Тогда он, пожалуй, узнает… К нему на квартиру? — немыслимо.

22 июня, суббота

Просматривала вечером в читальне русские газеты. Напротив сидел юноша — лет двадцати и усердно читал «Русские ведомости». Мы одновременно вышли из читальни; сходя с лестницы — разговорились и познакомились. Он оказался одесским евреем, кончившим среднее техническое училище. Приехал сюда поучаться культуре и поступил рабочим в литейную мастерскую.

Вечер был слишком хорош, чтобы благоразумно возвращаться домой.

Он живет недалеко от укреплений и предложил пройтись до парка Монсури. Я согласилась. На обратном пути, когда мы шли по avenue d'Orléans, мне вдруг пришло в голову — попрошу его узнать, вернулся ли Ленселе в Париж.

И я сказала, как бы мимоходом:

— Если не ошибаюсь, здесь где-то близко должна быть улица Brézin. Там в № 5 живет некий г. Ленселе, и меня давно еще просила одна товарка справиться — вернулся ли он в Париж? А я такая лентяйка, все откладываю… Так вот теперь мы проходим мимо, но я боюсь ночью разыскивать эту улицу.

— Позвольте мне вам помочь, — с готовностью

возразил юноша. — Вот тут неподалеку — справлюсь у городового, где эта улица, и сейчас все вам узнаю. Посидите здесь, на скамье, я сейчас вернусь.

И пока он ходил к полицейскому, я старалась овладеть своим волнением… Вот сейчас… вернется и узнает… rue Brézin тут близко, в трех шагах.

— Я никак не мог дозвониться, но с удовольствием справлюсь завтра и приду вам сказать, если позволите.

Я мысленно от всего сердца поблагодарила милого юношу, но вслух небрежно сказала:

— О, конечно, это не важно… зайдите завтра — если время будет…

23 июня, воскресенье

Я заранее сказала madame, что если кто-нибудь придет ко мне во время завтрака — так не заставляла бы ждать в моей комнате, пока я кончу, а вызвала меня тотчас же: есть спешное дело.

Я ждала этого молодого человека, так как он обещался прийти в обеденное время.

И, не дожидаясь конца этой церемонии, которая тянется целый час и называется завтраком, — я быстро побежала вверх, в свою комнату, едва сказали, что меня спрашивает какой-то молодой

человек.

— Я вам помешал, вы еще не кончили? — спросил он.

— О, нет, нет… очень рада… терпеть не могу этих длинных завтраков.

— А я ваше поручение исполнил. Консьерж сказал: «Он никогда не уезжает из Парижа. Вчера вернулся из своей больницы и весь вечер провел дома в одиночестве». И предложил мне пройти к нему, если надо. А я не знал, что сказать. Поблагодарил и говорю: приду в другой раз…

Так он давно вернулся! И однако — и не подумал написать мне. Чувство какой-то острой обиды наполнило душу.

— Большое вам спасибо, садитесь, пожалуйста; я сейчас приготовлю чай.

Юноша расстегнул сюртук, удобно развалился в кресле и немедленно с ожесточением закурил папиросу. Пока он курил, пил чай и говорил, — я делала вид, что внимательно слушаю… а у самой мысли были далеко-далеко… Сердце так и ныло от боли…

26 июня, среда

Он не думает обо мне; зачем же я буду думать о нем? или уж потеряла всякую власть над собой?

Надо готовиться к экзамену. Весь год ничего не делала — теперь так трудно приходится.

Представленный Кореневской товарищ André Morthon бегает ко мне чуть ли не каждый день, приносит программы и учебники, — начали заниматься вместе… Ему это страшно льстит: я — одна женщина на всем курсе, и он из сил выбивается, стараясь угодить мне…

28 июня, пятница

Сегодня шла по улице, навстречу сломя голову бежал уличный мальчишка с пачкой каких-то пестрых листов под мышкой. Он сунул мне в руку развернутый лист и промчался дальше, что-то крича.

Это было иллюстрированное начало романа-фельетона, который завтра должен был появиться в «Petit Parisien», — «La Grille d'or». Большая картина в красках занимала почти всю первую страницу и изображала мужчину, лежавшего на кушетке, и вдали женщину в пеньюаре с видом преступницы, которая что-то сыпала в стакан. Много здесь печатается этой дряни — романов-фельетонов, и я хотела было уже бросить лист, как вдруг увидела слово «интерн» внизу в тексте. А… что бы это такое могли писать об интернах в ро-

мане-фельетоне? Во всяком случае — интересно.

И я внимательно прочла весь текст, напечатанный на листе. Начало было очень интересное: жена отравляла мужа, бывшего интерна, одного из молодых парижских врачей, отравляла так искусно, что никто этого и не подозревал, — и муж погибал медленною смертью от непонятной для своих коллег болезни. И фельетон ловко обрывался на самом интересном месте…

Тут говорилось о врачах, буду читать этот фельетон…

1 июля

Подготовка к экзаменам притупляет мозг. Не могу читать ничего серьезного, но каждое утро — покупаю «Petit Parisien» и перед тем, как сесть за книги, — с интересом читаю фельетон.

Что герой романа отравляется женой, это наконец стало ясно одному из действующих лиц, которое и увозит его к себе. Потом двое откуда-то появившиеся старые товарищи встречаются после долголетней разлуки, и один спрашивает другого: почему он не женился? А тот, вместо ответа, говорит ему сонет д'Арвера:

Святую тайну глубь моей души скры-

вает, —

В ней вечная любовь оттиснула печать.

Но, мучась без надежд, я принужден молчать:

Виновница любви о ней совсем не знает.

Увы! Она меня всегда не замечает,

И, рядом с ней идя, я одинок опять…

Так дни мои пройдут… Но ничего мне дать, —

Не смевшему просить, – она не пожелает.

Ее Господь создал и нежной и не злой.

И все ж, не слушая слов страсти за собой,

Рассеянно она пойдет тропой своею.

И, строго чистая, невинная, шепнет,

Читая этот мой сонет, весь полный ею:

«Кто ж эта женщина?» И знаю, не поймет[155].

---

[155] Примечания: 155
Перевод М. Богдановича.

Газета выпала у меня из рук, когда я прочла эти строки: это точно про меня написано:

Переменить только «она» на «он» — и будет то же самое.

Но, мучась без надежд, принуждена молчать:

Любви виновник о ней совсем не знает.

Его Господь создал и нежным и не злым.

И все ж, не слушая слов страсти за собой,

Рассеянно пойдет тропой своею.

Даже в газете, случайно — и то нахожу такое совпадение!

Что ж?! Не могу же я разлюбить его. Ну и пусть —

Святую тайну глубь моей души скрывает, —

В ней вечная любовь оттиснула печать.

Но, мучась без надежд, принуждена молчать:

Любви виновник о ней совсем не знает.

5 июля, пятница

Иностранцы нашего пансиона понемногу разъезжаются. Уехал студент Упсальского университета, и немец — преподаватель французского языка в какой-то семинарии для приготовления пасторов. Те немногие студентки Сорбонны, с которыми познакомилась за эту зиму, — тоже уехали, скоро я останусь совсем одна в пансионе. Меня усердно навещает только немец да Бертье с программами и книгами. Я усиленно занимаюсь.

8 июля, понедельник

Пошла слушать Кореневскую: она сегодня сдает экзамен и выдумала надеть тогу, как студенты, хотя женщины и избавлены от этой формальности. И, боже, — до чего она была смешна! Эта красивая старинная одежда очень идет к фигурам высоким и стройным, но уж никак не к низенькой женской, с симпатичным, круглым, простым лицом русской поповны.

Нет, ни за что не надену эту тогу, что за интерес быть смешной и некрасивой.

Усердно занимаясь весь год уголовным правом, — Кореневская по остальным подготовилась

только-только чтобы сдать и поэтому отвечала неважно. Но с какой тревогой следили за ней ее товарищи! Надо было видеть, как они боялись за нее: как бегали взад и вперед по двору, пока тянулся экзамен, около двух с половиною часов.

Как ни мало расположен французский студент смотреть на женщину как на товарища — все же и среди них, как и везде, можно встретить порядочных людей.

10 июля, среда

Все безнадежно… Так нет же! не поддамся я этому настроению!

Надо уехать… Скорее, скорее, не буду ждать экзамена до 3 августа, слишком долго. Скажу Бертье, чтобы он уладил дело, переменюсь с кем-нибудь номером. Буду заниматься день и ночь — но сдам экзамен и скорее уеду в Англию. Чтобы не терять даром времени вакаций — научусь по-английски. Буду работать как вол, чтобы только овладеть собою.

12 июля, пятница

Стоит невыносимая жара. Я никак не могла себе представить — до какой степени может быть

жарко… Я задыхаюсь… Кажется, что в голове не мозг, а раскаленные уголья. Кладу на голову компресс, раздеваюсь и завертываюсь в сырую простыню — и, несмотря на это, с трудом могу заниматься.

Сквозь закрытые окна и ставни доносится шум с улицы: это начинается национальный праздник.

15 июля

Вчера вечером ходили смотреть с Бертье и немцем фейерверк на Pont-Neuf и танцы на улицах.

Французы умеют и любят веселиться. Этот праздник тем интересен, что является действительно народным — буржуазия теперь уже покинула свои роскошные отели в Елисейских Полях, аристократия — Сен-Жерменское предместье; в столице остается рабочий народ, — его предки разрушали Бастилию, — он же и празднует этот день.

Чем у́же улица — тем она оживленнее: висят гирлянды зелени, бумажных цепочек; фонари, точно разноцветные глаза, светят в темноте, покачиваясь на невидимых проволоках. Всюду маленькие эстрады для музыкантов, которые скрыты драпировкой, флагами, зеленью. То здесь,

то там раздаются польки и вальсы, и веселье бьет ключом… Молодежь танцует; старики сидят у столиков кафе…

Атмосфера заражена весельем, как электричеством, — оно захватило и меня, и я с увлечением танцевала с моими спутниками на всех площадях, где проходили. Немец, кажется, влюбился и вздумал ревновать. Глупый мальчишка!

Как опасно позволить при себе смотреть на луну и читать Гейне…

17 июля, среда

Madame Odobez постучалась ко мне в дверь и таинственно сообщила:

— Мадемуазель, вас внизу спрашивает какой-то мужчина, какой-то мсье. Думаю, это русский нигилист…

Так как все ее образование ограничивается умением читать, писать и считать — то доказывать ей, что «nihiliste» — в России давным-давно не существует, — бесполезно. И я, заинтересованная, быстро побежала с лестницы, стараясь угадать — кто бы это мог быть.

Вот сюрприз! передо мной был один из сотрудников нашей газеты «Север» — Иван Николаевич Корельский.

Маленький, некрасивый, застенчивый — он всегда носит блузу и говорит очень медленно. Вот эта-то совсем необычайная для французского глаза внешность и заставила madame Odobez произвести его в «нигилисты».

Я его мало знаю, но он славный человек. И конечно, сразу предоставила себя в его распоряжение. Устроила его, наняв комнату в нашем же пансионе, который совсем опустел.

Он видел братьев перед отъездом. Никто из семьи и не подумал прислать мне ни письма, ни чего-нибудь с родины. Но я была так рада, так рада увидеться с кем-нибудь из Ярославля.

С его приездом на меня точно пахнуло ветром с Волги и на парижском горизонте мелькнули необъятные родные равнины, поля, луга, леса…

Он сидел и рассказывал, что делается на родине, а я жадно ловила каждое слово.

11 ч. 40 м. ночи. Толстой умирает! Сейчас постучалась в дверь madame и сообщила, что в «Signal» телеграмма в две строчки — «Состояние Толстого безнадежно». Что?!

Моей родине грозит новое, страшное несчастие, — ко всем прежним прибавится еще одно ужасное, непоправимое!

Что будет с нами?!

Что будем мы, русские, без Толстого?

Ведь единственное, чем мы можем гордиться, что мы создали действительно своего за это столетие, — это наша литература. Она — наша слава, наша гордость, и Толстой явился миру как мощное проявление народного русского духа, как совесть русского народа, которая, расширяясь и отбросив национальные рамки, стала всемирною совестью.

Твой стих, как божий дух, носился над толпой.
И отзвук мыслей благородных
Звучал как колокол на башне боевой
Во дни торжеств и битв народных…

Его слово было этим божиим духом. В гениях есть нечто сверхъестественное.

Моя любовь к нему — безгранична, и горю моему не будет конца, если случится то ужасное, неизбежное, о чем пишут в газетах.

Madame ушла. Я бросилась на колени перед его портретом и молилась… кому? какому неведомому мне Богу? какой высшей силе?

Сердце было полно; слезы навертывались на глаза, и ужас и горе охватывали душу…

Ведь в его годы — все может случиться… Хотя…

74 года… Гёте умер 82 лет… Живут и дольше. Отчего же Толстому не жить.

Мы и так достаточно несчастны. Что ж — неужели еще мало?! неужели судьба отнимет у нас нашу славу, нашу гордость — как раз в тот момент, когда, быть может, мы переживаем подготовительные минуты перед неизбежной впереди революцией?

Лев Николаевич! Если б этот крик сердца любящей вас России мог выразиться в звуке — кажется, содрогнулся бы весь земной шар. Пусть Синод занимается «отлучениями» и запрещает… «божественную службу» — наше горе народное, горе всех мыслящих людей всего земного шара будет великой вселенской панихидой над могилою великого человека.

Я смотрю на его портрет в блузе, и мне кажется, что его глаза смотрят еще печальнее…

О, Господи, если Ты есть, — спаси его, спаси ради нас, ради миллионов живых существ, которым он светит, как живой светоч истины, любви, совести, добра, — всего, чем жив человек!

Или мы, или наше горе, наши слезы — ничто для Тебя?!

Мы ничтожны, да, но ведь все же мы — люди…

И если Ты создал нас — не презирай наших

просьб…

Спаси его, отдай его нам, погоди брать Себе!

Погоди, погоди!! а если завтра… прочту в газетах…

19 июля, пятница

Сорель пишет корреспонденции в наш «Север», — и Корельский хотел зайти к ней, но она уже уехала в деревню. Он пожалел, что не удалось познакомиться с этой интересной женщиной.

Я с жаром стала описывать ему ее красоту, талант, ее мужа, их безмятежное семейное счастье…

Иван Николаевич внимательно слушал и вдруг сказал, по своему обыкновению — медленно, с расстановкой, точно заикаясь:

— Все это хорошо. Но все-таки жаль, когда русские интеллигентные женщины выходят замуж за иностранцев. Они нужны нам в своей стране. Смотрите и вы… не выйдите здесь замуж.

Хорошо, что в комнате было темно от затворенных ставней и он не мог видеть моего лица. Сердце точно остановилось, что-то холодное-холодное прошло по телу, и в глазах помутилось.

Я молча подошла к умывальнику, налила воды в чайник и поставила на спиртовую лампочку.

И только потом могла сказать, как можно более беззаботным тоном:

— Ну вот еще, глупости какие, — за это нечего опасаться. Я слишком люблю Россию, чтобы остаться здесь. Смотрите — как я рада вас видеть, как я за вами ухаживаю… Нет, нет — пусть придет сюда какой угодно красавец и умница француз — я не променяю на него ваше общество.

Я говорила быстро, задыхаясь, что-то сжимало горло… И мне страшно было, что он вот-вот перебьет меня, и хотелось заразить его уверенностью, с какой сама говорила.

А он внимательно посмотрел на меня прекрасными голубыми грустными глазами — и покачал головой, точно не доверяя моим словам:

— Хорошо вы говорите… смотрите только…

Я с жадностью схватила его за руку, радостно улыбаясь:

— Иван Николаевич, милый, и как же вам не грешно! Да вы взгляните только на меня. Ведь от одного сознания, что вы здесь, — я вся преобразилась, сразу чувствую себя лучше, спокойнее как-то. Да не стоит и толковать о таких несуществующих вещах, — давайте лучше чай пить…

А когда он ушел, я заперлась на ключ и упала на кровать, задыхаясь от слез. Я плакала не от-

того, что любовь моя — без ответа, я знаю это, и еще ни разу слезы не навертывались на глаза… Я плакала оттого, что полюбила чужого, которому все наше непонятно и чуждо, как наш язык…

Отчаяние, страшное, безграничное отчаяние охватило душу, и я была бы рада умереть…

И, перебирая в уме всю свою прошедшую жизнь, — нахожу один вопрос: отчего, отчего я не встретила раньше человека, которого могла бы полюбить? Если я на курсах жила замкнуто в тесном кружке товарок — то по России пришлось мне поездить немало.

Отчего — ни на голоде, в глуши русской деревни, ни на Кавказе, ни в Финляндии, ни во время бесконечных переездов из края в край России, в вагоне железной дороги, — отчего, отчего я не встретилась с ним?

И я рада была ухватиться за мысль, что тем более не надо мне его любить… что это безумная любовь — так лучше вырвать ее из своего сердца и победить себя самое…

Все равно нет выхода…

Если бы даже он и полюбил меня?

Что ж, поехал бы он, этот изящный парижанин, со мной в нашу русскую деревню лечить баб и мужиков? согласился бы он променять

весь блеск, всю прелесть цивилизации «города светоча» — ville lumière — на нашу русскую тьму и бедность?

Нет, нет и нет…

А беспощадный внутренний голос спрашивал: а если бы он, твой милый, любимый, сказал: я люблю тебя, останься здесь со мною навсегда… отвечай, отвечай, — согласилась бы ты?

И при одной этой мысли целый ад поднимается в душе…

Нет, так лучше, что он не любит меня… по крайней мере, одна я страдаю…

21 июля, воскресенье

Бертье сломя голову прибежал с извинением, что ему наконец удалось найти товарища, согласного перемениться номером. Сдаю в пятницу.

А как быть с книгой? придется написать ему, спросить — куда и кому ее отдать.

23 июля, вторник

Получила ответ.

Мадемуазель.

Единственная причина, почему я вам

не отвечал, в том, что у меня не было свободной минуты. Я был занят операциями, которые требовались членам моей семьи, и было невозможно найти времени увидеться с вами. Если вы желаете вернуть мне книгу, пожалуйста, принесите ее как-нибудь утром к девяти часам в Бусико на этой неделе.

С самыми лучшими и самыми преданными чувствами,

Э. Ленселе. 22 июля 1901 г.

24 июля, среда

Чтобы приехать в Бусико к девяти часам утра, — надо было встать рано. Я сплю долго, по русской привычке, — и очень торопила madame Odobez с утренним завтраком. Я старалась не думать о нем… как будто бы иду только по делу. Но зеркало предательски отражало мое оживленное лицо и всю стройную фигуру в белом платье.

Я решила надеть что-нибудь темное, старое, некрасивое, но на улице такая жара, такая жара, — иначе как в белом днем и выйти нельзя.

Когда я приехала к Бусико — его еще не было. Ждать пришлось долго, чуть ли не целый час.

Я усердно читала «Конституционное право» — Esmein'a[156], чтобы не терять времени даром. И все-таки увидела его еще издали, когда он быстро подходил к павильону. На этот раз он был без черной шапочки — мне бросились в глаза редкие волосы на голове. Такой молодой и уже… лысый. Видно, хорошо провел молодость!

Он увидел меня в коридоре, остановился, поздоровался.

— Извините, — я опоздал и очень спешу. Все это время я был так занят. Одна из моих кузин больна — ей делали операцию… вероятно, она умрет.

— Вот ваша книга, — сказала я, не смотря на него. — Очень вам благодарна. Вы правы — читать ее было бесполезно, я все равно ничего не поняла.

Он взял книгу и пошел немного проводить меня. Я шла быстро, опустив голову, стараясь не слышать звуков этого чудного тихого голоса, который, казалось, проникал прямо в сердце.

— Прощайте, — сказала я.

— До свидания. Извините, что не провожаю вас до дверей, — я должен скорее вернуться.

---

[156] Примечания: 156

Адемар Эсмейн (1848–1913) — французский юрист, автор множества учебников по истории французского публичного права и французского конституционного права.

Мне и не надо было, чтобы он провожал меня до дверей. Я спешила уйти из этого госпиталя и, едва сев в конку, раскрыла «Конституционное право». Экзамен скоро…

28 июля, суббота

Сдала экзамен. Теперь скорее бежать отсюда. Взяла билет на Лондон прямого сообщения — Париж-Руан-Диепп-Ньюгавен.

Иван Николаевич пробудет здесь еще с неделю, а потом идет пешком путешествовать по Швейцарии. Звал меня пойти с собой — отдохнуть от занятий. Я отказалась: там такая чудная природа, все расположит к мечтам.

Нет, я уеду лучше в такую страну, где все для меня ново, где язык непонятен, где ничто, ничто не напоминает о нем.

В совершенно другой обстановке я, наверное, скорей забуду о нем, а масса новых впечатлений — не дадут мне и опомниться. Я составила себе целую программу, что делать: по приезде прежде всего — овладеть немного языком, а потом — ознакомиться с женским движением и физическим воспитанием детей, с народными университетами. Все это полезно — и пригодится в моей будущей деятельности.

Лондон, 1 августа

Город громадный, город-чудовище раздавил, уничтожил меня, бесконечные улицы, однообразные дома… до такой степени однообразные, что можно позвонить, войти и не заметить, что это чужой дом.

На улицах — движения еще больше, чем в Париже, беспрерывно снуют на велосипедах мужчины, женщины и дети. Язык гортанный, шелестящий, которого я не понимаю… все ново и чуждо…

Я поселилась на одной из окраин города, в одном из бесчисленных красных уютных домиков. Мой случайный знакомый по русской читальне дал адрес одного из своих земляков, который служит наборщиком в одной из здешних типографий. Этот услужливый и милый юноша помог мне устроиться первое время и будет показывать Лондон.

3 августа, суббота

После французских семей, где самое большее — двое, трое детей, — английские невольно удивляют своею многочисленностью. Я уже успела

отвыкнуть от наших русских больших семей, — и теперь как-то странно снимать комнату в семье, где пятеро-шестеро детей. Но что здесь особенно поразительно — численное преобладание женщин над мужчинами. Всюду — пять-шесть дочерей, один-двое сыновей, или даже вовсе ни одного, и так как все англичанки ездят на велосипедах, то на улицах велосипедисток больше, чем велосипедистов.

Несчастные мисс! им не хватает мужей… и в стране насильственно образуется «третий пол».

Отчего же такое явление? чем оно объясняется?

Я тщетно ломаю себе голову. Знаю, что есть разные теории, из которых одна: темперамент более страстный производит пол себе противоположный — кажется мне наиболее вероятной. Я проверяла ее на своих родных — выходило верно. И в недоумении поделилась своими соображениями с моим знакомым. Тот был поражен. Его, оказывается, тоже занимал этот вопрос, и теперь он уверял, что эта теория верна.

— Теперь мне ясно! Я, как мужчина, знаю отношения полов ближе, чем вы, и могу сказать, что англичанки страшно холодны, англичане же

с женщинами — прямо звери. Я живу здесь три года, я не аскет и от сношений с женщинами не отказываюсь. Так уж довольно навидался… ох, какие они звери! Надо видеть, как они бросаются на жен…

И юноша вдруг запнулся и покраснел, вспомнив, что зашел слишком далеко в разговоре с незамужней женщиной.

Я рассмеялась и поспешила успокоить его взволнованную совесть. Но загадка — так и остается загадкой. Верить справедливости слов этого юноши — рискованно; — чем же, чем это объяснить?

5 августа, понедельник

Осматриваю Лондон. Была в Вестминстерском аббатстве, в Национальной галерее.

Огромные расстояния и трудность объясняться очень утомляют меня. Для англичан — мало знать язык, надо уметь произносить по-ихнему — они не могут понять самого простого слова, если оно сказано неправильно.

Догадки, сметки, — на которую такой мастер русский мужик, понимающий любого иностранца по соображению, — у них никакой. Мозг какой-то негибкий, односторонний.

Это начинает меня раздражать: ищешь-ищешь слова, а его нет, а догадаться они не могут.

На днях пришлось быть на почте. Мне хотелось, чтобы чиновник сам заполнил бланк для пересылки денег, я боялась сделать ошибку. А он хоть и понял, но не хотел этого сделать, и стоял как истукан, качая головой и хладнокровно повторяя — «но-о».

Это вывело меня из себя, — и я даже по-английски сумела послать его к черту.

Русский, француз, конечно, тотчас же вспылили бы тоже, но англичанин даже бровью не повел. Я рассердилась еще больше и в конце концов настояла-таки на своем, заставив его заполнить бланк…

Моим недоразумениям и затруднениям, по незнанию языка, не было бы конца, если бы в Лондоне не было полицейских.

Это действительно — идеал. Скромно одетые в синюю куртку и синюю фетровую каску — они стоят всюду и исполняют свою должность слуг общества: помогают старым, слабым, указывают дорогу, провожают до омнибусов — подсаживают туда детей. Мы, жители континента, так привыкли, чтобы полиция знала одно: «тащить и не пущать», что английские полицейские являются

существами какого-то высшего порядка.

Сначала я не верила себе, как подошла к одному из этих высоких, стройных, симпатичных джентльменов, и он указал мне все, что надо, объяснил, написал на бумажке, так как я не понимала, — и все это вежливо, как любой молодой человек «из общества».

Я начинаю думать, что, должно быть, дух нации отражается на ее блюстителях порядка.

В Берлине, где все дышит воспоминаниями победы 1870 года, где что-то воинственное носится в воздухе, где воздвигнут гордый памятник Вильгельму Первому, украшенный львами с разинутою пастью и оскаленными зубами, цепями и ружьями, — там и городовые в блестящих медных касках с военной выправкой напоминают задорных индейских петухов.

Французский полицейский, одетый просто и изящно, в фуражке и пелеринке, имеет вид элегантного и легкомысленного папильона, готового ежеминутно упорхнуть с дамой в ближайшее кафе.

О нашем русском городовом и говорить нечего: он прост, мешковат, сероват и… груб.

И каждый день, усталая от похождений по городу, я засыпала, вспоминая об услугах этих

джентльменов, и с наслаждением думала, что их в Лондоне — пятнадцать тысяч… С такой полицией можно спать спокойно, и нечего опасаться за свою личную безопасность.

8 августа, четверг

Когда читаешь английскую газету — точно чувствуешь биение пульса мощной мировой жизни… Со своего небольшого острова англичане следят за всем, что делается на свете, получают известия буквально со всех концов земного шара. Названия, которые мы когда-то, давным-давно учили в учебниках географии, — здесь оживают: Кан, Новый Южный Валлис, Мадера, Бомбей, Суматра, Ява — все шлют известия о своей жизни. И статьи! жизнь во всех ее проявлениях отражается в них: политика, местные самоуправления, собрания, спорт, и наряду с этим — заграничные корреспонденции из всех государств континента. Поэтому английские газеты превосходны. Куда до них французским! Помню, как я была разочарована ими. При полной свободе печати французы не сумели сделать ничего другого, как обратить печатное слово в орудие партий. За исключением более или менее передовых по направлению статей — на первой странице,

вторая и третья наполнены мелкими известиями, анекдотами, обстоятельной хроникой убийств и происшествий, неизбежным романом-фельетоном, а четвертая — объявлениями. Вот и все. Нет ни провинциальных корреспонденций, ни иностранных, ни колониальных. Зато личная партийная перебранка на первом плане, и непосвященному в тонкости политики трудно разобраться в этой путанице личных мнений: один ругает другого, а кто из них прав — попробуй разбери... Газеты, наиболее обстоятельно осведомленные — «Temps» и «Journal des Débats», — консервативны и дороги, 15 сантимов, тогда как в Англии за 2 копейки можно купить газету любого направления, но одинаково хорошо осведомленную обо всем, что делается интересного на свете. А это — самое важное для читателя газеты.

Беспрерывная личная перебранка в печати, вместо воспитывающего, — оказывает развращающее влияние на читающую массу: приучает и ее сосредоточивать свое внимание на узких личных спорах и не открывает более широких горизонтов. Не оттого ли французы и не видят, и не понимают ничего на свете, кроме своей страны, что их сосредоточенность на самих себе

поддерживается печатью, которая изо дня в день преподносит им одну и ту же стирку собственного белья.

12 августа

Продолжаю осмотр Лондона. Сегодня суббота, и с двенадцати часов работа всюду прекращена; деловая жизнь замирает… Завтра все англичане пойдут в церковь, а потом поедут в парки…

Купила себе старый велосипед: без него немыслимо жить при здешних расстояниях. Англичанки, в отличие от француженок, ездят в юбках, тогда как те большею частью в шароварах. Я быстро усвоила себе здешнюю посадку: англичанки ездят, держась чрезвычайно прямо, и не делают никакого видимого усилия, чтобы управлять велосипедом. Так мне очень нравится.

И вообще, я неожиданно открыла в своем характере некоторые черты, сходные с английскими. Не говоря уже о внешности, хотя я чисто великорусского происхождения, — я не обладаю фигурой русской женщины — с пышно развитой грудью и боками. Я тонка и держусь всегда чрезвычайно прямо.

Нравится мне также и внутренность английских домов, их комфорт, то уменье, с каким

англичанин умел устроить свое помещение. В их комнатах нет французской пестроты, они не заставлены мебелью, как в Париже, — повернуться негде, из боязни, чтобы не опрокинуть столик с какими-нибудь bibelots. Они высоки, светлы, просторны и убраны, если можно так выразиться, с спокойным, благородным изяществом. Камины больше и уютнее французских. Они пока еще не топятся; но по одному внешнему виду можно себе представить, — до чего хороши они в длинные зимние вечера, когда вся семья собирается около огня.

Английский камин — это такая же поэзия домашнего очага, как у нас самовар. Недаром поэты воспевают его…

Принято почему-то считать англичан неспособными понимать поэзию, искусство… Какая ошибка! Да, они обладают очень своеобразной артистической жилкой: уменьем устраивать свое жилище. И их практичность сделала это уменье народным, распространило его на рабочие классы. Характерно, что Вильям Моррис и Джон Рёскин — эти апостолы религии красоты, старавшиеся распространить ее, сделать доступной для масс, — были англичане.

Я мало ценю роскошные художественные

французские салоны в разных стилях, раз они доступны массе.

А здесь — рабочий живет в чистом домике, устроенном так разумно и уютно, что любой русский столичный интеллигент может позавидовать ему в удобстве.

Англичане у себя на острове создали своеобразную моду — носят белые пикейные платья, живописные шляпы с широкими полями и перьями и еще какие-то очень красивые и оригинальные, каких на континенте не носят: газовые оборки, пришитые к соломенной тулье, обрамляют лицо и образуют как бы вроде капора. Такие шляпы очень идут к юным лицам, обрамленным локонами.

Я всегда любила белый цвет и шляпы с большими полями. Также и спорт. И моя любовь к лодке, к плаванию — немало возмущала мать. А велосипед я могла купить себе, только когда была совершеннолетняя. Такая, ничем не объяснимая любовь к спорту окончательно потеряла меня в глазах матери.

Я столько перенесла от непонимания окружающими моих склонностей — и теперь наслаждаюсь сознанием, что то, что далось мне с таким трудом, здесь — достояние всякой женщины чуть не с

детства.

А как хороши английские парки! Это, пожалуй, самое лучшее, что я видела в Лондоне. У нас, в России, природа в городах точно торт — разрезана и аккуратно расположена по кусочкам. Немудрено, что для сохранения их в приличном виде «по траве ходить, деревья ломать, цветы рвать и собак водить — строго воспрещается».

А здесь — все идут в громадные парки, как к себе в дом, располагаются, где хотят; завтракают, читают, спят на лоне природы… С непривычки я сначала все озиралась кругом: казалось, вот-вот вырастет знакомая фигура блюстителя порядка и внушительно произнесет: «ходить по траве не приказано».

Англичан можно не любить, но им нельзя не удивляться. Есть в этой нации какая-то железная энергия — сила, которой нам недостает.

Когда подумаешь, что́ сделано на этих островах, на пространстве меньшем двух-трех наших губерний, — только тогда представишь себе ясно, до какой степени интенсивна здесь жизнь и насколько она у нас экспансивна.

Национальный характер англичан — прямое следствие географического положения страны. И поэтому мне положительно смешно слушать

выражения порицания их эгоизму, гордости и пр. Очевидно, у нас в обществе еще мало распространены знания о влиянии географического положения на характер жителей. Чем они виноваты, что природой отделены от остальной Европы, что у них необыкновенно предприимчивый дух, практичность? И если бы мы были на месте англичан и при своей изолированности создали бы то же, что они, — неужели и в нас не развилось бы то же гордое домосознание?

12 августа, понедельник

Страшно устала…

Сколько уже дней прошло, как я здесь… если б получить письмо от него?

Но как, но что могу я написать ему? — как врачу, конечно, — хотя и чувствую себя хорошо. Но иначе нельзя… и вот я пишу.

Мсье.

Это выше моих сил, я больше не могу. Знаю, что не должна вам писать, — я знаю это, — но эта мука побеждает все: гордость, самолюбие, мне кажется, что мне ничего не осталось, ничего, кроме этого ужасного состояния, единственным верным средством от которого является смерть. Она меня не страшит, но впереди ждет неизвестность. «Где

я найду теперь силы жить и как мне пережить этот день смерти?» Никто не смог ответить на этот вопрос Ницше, кто ответит мне?

15 августа, четверг

Это еще ничего не значит, что я ему написала: это только так. Я веду теперь такую деятельную жизнь; жаль только, что успехи в английском языке подвигаются медленно, так как, когда мой знакомый свободен и приходит ко мне, — мы говорим по-русски, остальное же время осматриваю Лондон одна. Практики в языке слишком мало…

16 августа, пятница

Сегодня утром увидела я на столе белый конвертик с изящным почерком… Какое счастье держать его в руках, какое страдание читать письмо, которое в нем лежит!

> Мадемуазель, – читала я, – вы слишком цельны, слишком умны, слишком философичны, слишком очарованы своими идеями! Помните ли слова Священного Писания: «Блаженны нищие духом, ибо

их есть Царство Небесное»… Истолкуйте их, как хотите, найдите им применение, какое пожелаете, я же расскажу вам в двух словах, как я их перевожу и понимаю: «Кто ищет, не найдет; кто думает – повредится в уме от своих мыслей, кто хочет знать – не узнает; человек заперт в малости своего мозга, он пытается достичь величия, посредством науки приблизиться к конечному и бесконечному, но лишь встречает границы своего бессилия: чем больше он знает, тем яснее понимает, что не достигнет знания; чем яснее понимает, что не достигнет знания, – тем больше он страдает; чем больше он страдает, тем сильнее проклинает свою жизнь; чем сильнее он проклинает свою жизнь, тем больше ему хочется умереть. Вот в чем, мадемуазель, ваша беда. Вам не покинуть замкнутого круга, который предопределен человеку в жизни так же, как и в смерти. Смиритесь с тем, что вы никто, даже если вам кажется, что вы можете стать кем-то. Потому что невозможно быть меньше, чем ты есть, и вряд ли можно быть больше. Вы

– одна из форм универсальных вещей, – необходимо, чтобы нечто объединяющее оживляющие вас атомы было либо в вас, либо вне вас. Но сама вы не более чем случайность. Научитесь помнить об этом и этим довольствоваться; ваша беда будет так же бессмысленна, как и ваша жизнь.

Поэтому я закончу тем, что скажу: вы не несете ответственности ни за что, даже за те мысли, что вас переполняют, даже за самоубийственное стремление, вас обуревающее, – ибо вы не знаете и не можете быть не собой, а кем-то другим. Если вам предопределены страдания – вы перенесете их, если суждено жить – будете жить. Единственная для вас возможность использовать свою энергию и применить себя в деятельности – работать, не задавая себе вопросов, никаких вопросов о вашей дальнейшей судьбе или о вашем будущем. Когда вы приехали во Францию, вы знали не больше, чем сегодня, каким окажется будущее, и все же вы приехали сюда.

Ну же! Делайте и сейчас то же, что вы делали все это время: действуйте и не

задавайте себе столько ненужных вопросов; человек лишь тогда становится хозяином себе, когда научится не требовать от себя отчета.

Прошу, поверьте, мадемуазель, что мои пожелания вернуться к равновесию искренни – это не пустая формула вежливости, призванная завершить письмо.

Искренне ваш,

Ленселе.

15 августа 1901 года

Какое холодное, разумное письмо! И как хорошо написано. Таким слогом, каким владеет здесь всякий обыкновенный образованный человек, — у нас пишут только немногие талантливые писатели…

Несмотря на то что все это письмо — одно бесстрастное, отвлеченное рассуждение, — каждое слово, каждая буква в нем — дороже мне всех сокровищ мира.

Только… немного поменьше бы рассуждения, побольше инстинктивного движения сердца. Я была бы счастлива уже и тем, что в его душе есть симпатия ко мне; но даже и этого нет… и к чему

только подписался он «искренне ваш»?

О, если бы он действительно был таким!..

18 августа, воскресенье

Зачем только я написала ему?! Теперь все декорации, которыми я так тщательно загораживала от себя действительность, — разрушены. Ни новые места, ни новые впечатления — не отвлекают меня теперь от мысли о нем… Одиночество в стране, где не знаешь языка, — еще страшнее, — все чаще и чаще думаю о Франции…

Что мне делать, что мне делать?!!

18 августа, воскресенье

Немец устроил глупую историю. Поехал за мной сюда, преследует ревностью. Я рассердилась и указала на дверь. Нет, решительно — надо уехать отсюда.

Вот что значит так мало знать жизнь и мужчин и быть вечно погруженной в книги, как я! Готовясь к экзаменам — и не заметила, что мальчишка за мной ухаживает, думала — ничего серьезного, а вышло вон что, — и Париж он бросил, и сюда поехал, и чуть с ума не сходит! Еще, пожалуй, история выйдет.

Да, устала я и от Лондона, и от этой глупости… Уеду куда-нибудь в провинцию, на берег моря, — там отдохну. Только выберу сторону поближе к Франции.

Недалеко от острова Уайта есть курорт Barnemouth, говорят — очень красивая сторона. Вблизи — маленький городок Southborne on Sea, там можно отлично и недорого устроиться на берегу моря. Вот туда и поеду…

Southborne on Sea, 23 августа

Из окна моего деревянного коттеджа открывается спокойный английский пейзаж: деревья на зеленой лужайке; белая лента безукоризненной шоссейной дороги, обсаженная с обеих сторон кустами ежевики, протянулась передо мной; кругом — красивые домики с неизбежным садиком впереди. Море — в четверти часа ходьбы. Везде тишина, но не мертвая тишина нашей русской провинции, а скорее спокойствие: дорога очень оживлена — часто проходят автомобили, омнибусы, ездят торговцы, велосипедисты, словом — она действительно служит путем сообщения.

Живу теперь очень спокойно и однообразно: занимаюсь по-английски, купаюсь в море, помогаю своей хозяйке — миссис Джонсон — в работах

на огороде.

Узнала, что по соседству живет друг великого писателя. Я была в восторге. Вот-то интересно познакомиться! Наверное — это человек выдающийся по умственным и душевным качествам.

Наверное, в его обществе можно забыть о многом и многому научиться.

25 августа, воскресенье

Сегодня миссис Джонсон разоделась по-праздничному и что-то начала мне объяснять. Я никак не понимала.

Она повела меня через дорогу к цветной афише, приклеенной на стене, и я прочла, что сегодня в Christchurch'е выставка садоводства и огородничества, всего один день. Я тотчас же изъявила свое согласие сопровождать мою хозяйку, и мы отправились вместе с ней и ее подругой в Christchurch. Это небольшой соседний городок, один из самых красивых в Англии. Там могила Шелли.

Выставка помещалась в очень живописном уголке — среди развалин старого замка, обвитых плющом; на свежей зеленой траве раскинулись белые палатки. Там в образцовом порядке на тарелках были разложены фрукты, овощи, цветы в горшках и вазах. Публика толпилась перед ними.

Я мало что понимаю в сельском хозяйстве и, не будучи в состоянии оценить достоинств выставленных предметов, — любовалась их красотой.

Когда стемнело — началась оригинальная, еще не виданная мной игра: женщины стали в круг, держась за руки; молодые люди прохаживались в этом кругу, бросая на плечи то той, то другой пучок ниток, и тотчас же убегали. Девушки гнались за ними — те, конечно, давали себя поймать, — и дело кончалось поцелуями. Очевидно, здесь игра эта одна из самых любимых: она не прекращалась почти весь вечер, и чем более темнело, тем становилась оживленнее.

Я стояла, смотрела и думала, что в этой игре есть свой резон для женщин: ведь сколько англичанок осуждено на безбрачие! — Для многих из них эта игра представляет иллюзию романа: под покровом темной ночи так приятно и поэтично очутиться в сильных объятиях.

Но сама в круг не шла. Моя хозяйка, молодая женщина, и ее подруга, уже не молодая девушка, были в полном упоении от этой игры. Им то и дело летели на плечи белые пучки ниток, они убегали, ловили и возвращались на свое место — розовые и запыхавшиеся от бега и поцелуев.

И, помирая со смеху, миссис Джонсон и мисс

Эдит тащили меня в круг.

Я энергично мотала головой и всячески выражала свое несогласие, но с двумя сильными женщинами трудно было сладить. Их, очевидно, очень забавляла мысль — как иностранка будет участвовать в их игре, и они, смеясь, втащили меня в круг.

Через минуту на плече моем лежал пучок ниток — высокий красивый юноша потихоньку убегал, оглядываясь на меня. Мне быстро выпустили руки и толкнули меня вперед. И я вмиг очутилась в объятиях юноши. Его голова наклонилась…

«Да ведь этак и в самом деле он меня поцелует!» — и, изгибаясь как змея, я высвободилась и выскользнула из его рук, так что он успел поцеловать только газ на моей шляпе.

Раздался громкий смех… хохотали все окружающие; юноша ничего не понимал… Миссис Джонсон говорила что-то, я никак не могла понять. Если бы я свободно объяснялась по-английски, я сказала бы ей, что лично для себя нахожу такую игру вдвойне излишней: во-первых — не имею никакой надобности заменять мимолетными поцелуями настоящие романы, которых у нас в России достаточно — у нас мужчин много, а во-вторых — мне казалось унизительным созна-

ние, что меня выбирает мужчина… еще если бы я выбрала его — тогда так. А то — вечная женская пассивность! вечно нас выбирают, и мы лишь следуем желанию того, кто удостоил нас этой чести…

26 августа

Я очень люблю русскую одежду и никогда не расстаюсь с ней. Летом, да особенно на работе в поле — что может быть удобнее сарафана?

И к большому удовольствию англичан, я надела его, и теперь меня всюду провожает одобрительный возглас: очень, очень красиво!

В темноте ночи, возвращаясь домой, часто слышишь привет: доброй ночи!

Гортанные звуки на мгновение нарушают общее безмолвие и гармонично сливаются с ним; темная фигура проходит мимо… и что-то хорошее шевелится в душе от этого приветствия. На минуту соединяешься с неизвестным братом по человечеству и от всей души отвечаешь тоже: доброй ночи!

28 августа, среда

Познакомилась с своими питерскими соотече-

ственниками.

«Друг великого человека»! — уже одно это облекает личность каким-то ореолом: ведь когда солнце отражается в воде, то она блестит так, что глазам больно…

И я была вся полна ожиданием увидеть существо высшего порядка.

Он встретил меня просто и приветливо.

— Очень приятно познакомиться. Вы где же учитесь?

— В Париже, на юридическом факультете.

— Это почему же вы избрали себе такие науки?

— Я хотела бы быть адвокатом.

— А-а… мужиков обирать будете?

Я была озадачена и обижена.

— Ну, перестань, пожалуйста, — видишь, как ты смутил барышню, — примирительно заметила его жена, уже немолодая, замечательной красоты женщина.

Я горячо стала доказывать ему, что у нас, юристок, и в мыслях нет замышлять что-либо против мужика, что мы, наоборот, хотим идти к нему навстречу, развивать в деревнях подачу юридической помощи населению; что, кроме того, я лично хочу отстаивать право женщины на само-

стоятельное существование, чтобы она имела те же гражданские права, как мужчина.

— К чему права?

— Если отрицать всякое право вообще — то конечно да; но мы живем не в мире грез, и женщине, при ее юридическом неравноправии, куда как трудно бороться с тяжелою действительностью. Мы одинаково рождаемся на свет, хотим жить, а в беспощадной борьбе за существование — как мы вооружены, позвольте спросить? Вот я и Высшие курсы кончила, а прав у меня — все равно никаких. Даже заведовать учебной частью в женской гимназии не могу — на это есть директор, хотя я образованна не менее его…

Он слушал молча, и мне казалось, что слова мои для него звучат чем-то странным — точно все, о чем я говорила, имело самое ничтожное значение. Потом разговор принял менее острую форму — перешел на Париж, на университет, студентов…

Я все-таки осталась очень довольна. Наверное, когда рассмотрю его поближе — увижу в нем то необыкновенное, что привлекло к нему сердце великого писателя земли Русской.

31 августа, суббота

Я мало-помалу перезнакомилась и ориентировалась в обществе моих соотечественников.

Они живут тут целой дружной семьей — в большом доме на берегу моря. Сад, огород, чудное местоположение делают этот уголок очаровательным. Русские путешественники все находят здесь самое радушное гостеприимство, и поэтому можно увидеть самых разнообразных людей. Приезжают и литераторы, и ученые, и просто так путешествующие; некоторые из более близких знакомых хозяев — остаются подольше…

Брат хозяйки дома — бывший офицер, очень симпатичный молодой человек — усердно занимается хозяйством, работает в саду и огороде; ему помогает один из гостей — сын богатого московского купца, называющий себя толстовцем. Я присоединилась к ним и усердно работала. Тут мы называли друг друга — я его «хозяином», а он меня — «работницей». Не знаю — что может быть лучше физического труда на свежем воздухе, он действует на меня прекрасно: развивает силу, пробуждает энергию, поддерживает какое-то ровное, спокойное настроение…

Утром — занимаюсь по-английски, затем —

ухожу на работу, и к вечеру усталая возвращаюсь домой, чтобы заснуть крепким сном без сновидений…

2 сентября, понедельник

Никогда, кажется, не забыть вчерашнего дня.

Мы ехали на собрание какого-то общества в Вагпетошье. Он предложил мне сесть в экипаж, которым правил сам. И дорогой завел разговор о смысле и цели жизни и попросил позволения указать их мне.

Хотя я и не нуждаюсь ни в чьих указаниях и выработала свое мировоззрение не с чужих слов, а собственным нелегким и упорным трудом, — все же приготовилась выслушать с почтительным вниманием.

— Цель жизни — служение добру. Вы призваны здесь совершить свое служение и сделать столько добра, сколько можете…

«Вот наконец начинается интересный разговор», — с восторгом подумала я и спросила, ожидая проникнутого необыкновенной мудростью ответа:

Что же мне делать?

— Добро.

Это было совсем даже неопределенно. Добро

— добро, но мне хотелось бы, чтобы он говорил более реально и менее отвлеченно.

— Но вы объясните мне, в чем оно должно заключаться, как проявляться… Хорошо, — вы можете жить, не ломая себе голову над вопросом о заработке, — а мне в будущем он необходим. Помнится, я уже как-то объяснила вам, что педагогики не люблю и считаю нечестным ею заниматься, раз не чувствую в себе призвания. Медицина меня никогда не интересовала. Так что вы, если хотите дать совет мне лично, — должны принять сначала в соображение то, что я, рано или поздно, должна буду считаться с вопросом: чем жить?

— Живите и распространяйте кругом себя свет добра, насколько вы можете.

— Да вы сначала ответьте на мой вопрос, — настаивала я, начиная терять терпение от этого уклонения в сторону.

Он пожал плечами:

— Поступите в гувернантки.

«О, лучше бы ты была нема и лишена вовсе языка!» — вспомнилось мне отчаянное восклицание героя гоголевского «Портрета», — и я едва не повторила его вслух.

Сразу разлетелся весь ореол, каким я так по-

чтительно окружала друга великого писателя, и передо мной был он тем, каким и есть на самом деле: богатый аристократ, никогда серьезно не думавший о женском вопросе. Кровь бросилась мне в голову, и я почувствовала себя оскорбленной… Не его поверхностным советом, достойным ума самого мелкого, ограниченного буржуа, — а тем, что мое доверие, мой энтузиазм были безнадежно подломлены им же самим…

Было темно, и он не мог видеть, какая горькая усмешка исказила мое лицо.

Сколько раз приходилось слышать мне такие же мужские речи — самоуверенные, самодовольные, — но эта своею поверхностностью, своим невероятным легкомыслием — превзошла все слышанные мною раньше.

Я даже и не возразила ему ничего; а он был, очевидно, убежден, что делал хорошее дело, наставляя на путь истины…

4 сентября, среда

Сегодня пришла в огород. Мой «хозяин» куда-то исчез. Отыскала его на заднем дворе, он накладывал навоз в тачку и, против обыкновения, не сказал мне, на какую работу идти.

— Что же, или праздник сегодня? — шутя спро-

сила я.

— Н-нет… да видите ли, сегодня дело такое: я хочу под капусту гряды приготовить, так вот навоз надо возить… я в тачку накладываю и отвожу.

— Так чем вам одному два дела делать — давайте я буду возить, а вы накладывайте.

До сих пор я полола гряды, копала их и проч. Но чтобы студентка Парижского университета возила навоз — это показалось ему непривычным.

Он нерешительно помялся на месте.

— Да ведь это же навоз… гм-м…

Я рассмеялась:

— Так что же, что навоз? Или вы думаете, что я не сумею справиться с такой работой?

И для доказательства — схватила вилы, быстро наложила полную тачку, свезла ее на огород и вернулась — с пустой.

Он, уже не возражая, тем временем приготовил и наложил другую тачку.

Работа закипела.

Его смущение понемногу изгладилось, и через несколько минут то, что показалось странно с непривычки, — было уже обычное дело.

По окончании работы он одобрительно пожал мне руку, и я увидела, что в глубине души он все-таки не ожидал, что я соглашусь взяться за

такую работу.

И чего он удивлялся? Я на каторгу рада уйти от себя самой, не то что на эти мирные работы…

5 сентября, четверг

И несмотря на все эти ежедневные работы — в тихие лунные ночи я ухожу мечтать на берег моря. Вдали едва-едва видны очертания острова Уайта… а там, за ним — так близко берега Франции… Париж. Из всего этого громадного города для меня существует пока одна улица Brézin и в ней — только № 5, где он живет.

И мысль улетает далеко-далеко…

Закрою глаза — опять вижу эту улицу тихой июньской ночью… и опять иду по ней и, проходя мимо его дома, ускоряю шаг, точно боясь, что он меня увидит…

Под влиянием красоты природы и торжественного спокойствия ночи разгорается фантазия и думаю я:

«Что, если бы он любил меня? Ведь тогда ни одна женщина в мире не могла бы считать себя счастливее меня! Тогда… тогда я сказала бы ему; полюби мою родину — пойдем вместе работать туда».

И мы вернулись бы в Россию. Я стала бы учить

его по-русски, он сдал бы государственный экзамен, и мы поселились бы в одной из деревень родной Костромской губернии. Он лечил бы крестьян, я — оказывала бы им юридическую помощь… а в свободное время — длинные зимние вечера — рассказывала бы им житейские истории, которыми полны страницы наших журналов и которые мне самой так часто приходят в голову, — только я не пишу ничего.

У нас не было бы детей… и не потому, что я не люблю их, а именно потому, что слишком люблю, — и считала бы преступным при жизни, так скверно устроенной, как она есть теперь, — произвести на свет существо для страданий и горя…

Мы прожили бы всю жизнь и ушли бы из этого мира с сознанием исполненного долга, как усталые работники, заслужившие отдых и покой…

И — быть может — как последнее слово счастья — смерть пришла бы к нам одновременно…

А в народе осталась бы добрая память о нем, — как иностранец полюбил русскую и покинул свою прекрасную Францию и пошел за русскою в холод, снега ее родины, утешать несчастных и помогать им…

Так мечтала я, и мое бедное сердце на минуту утешается призраком счастья…

7 сентября, суббота

На днях приехали еще двое молодых людей; один на несколько дней, проездом, направляясь в Петербург, с матерью, домашний учитель в одном из русских семейств, живущих в Кембридже; другой — ученый, занимающийся исследованием о сектантах; этот надолго, — ему доктор посоветовал на некоторое время оставить Лондон и пожить в деревне — работать для здоровья на воздухе. Он приехал не один, а с женщиной-врачом, которая тоже с приездом в Петербург сдает государственный экзамен.

Так нас собралась в огороде целая компания.

Какие это славные молодые люди, добродетельные и… неинтересные! Толстовец явно не симпатизирует мне. Он какой-то односторонний, — видно, что не одобряет во мне абсолютно ничего: ни моих идей о равноправности женщин, ни того, что я на юридическом факультете; даже то, что я усердно занимаюсь физическим трудом, не располагает его в мою пользу. И он при всяком удобном случае готов читать мораль о братском отношении к людям. И каждый раз мне так и хочется сказать ему — что в нем-то я как раз братского отношения к себе и не вижу,

а только скрытое молчаливое осуждение всего моего существования.

Учителя видела мало, — он уезжает сегодня, разговаривали о том о сем… Впечатление получилось обыкновенного среднего интеллигента, только на рояле хорошо играет — вот его талант.

От молодого ученого я ожидала несравненно больше и с удовольствием ждала все эти дни часа, когда он выходил в огород на работу: ему велено копаться в земле ежедневно часа два-три.

Мы работали рядом. Я начала было подходящий разговор… Ответы «да» и «нет»… правда, весьма вежливым тоном. Но все-таки это немного.

И как только его знакомая показывается — всегда перед окончанием срока его работы, — он быстро бросает все и идет за ней.

— Не разберешь их отношений… всегда путешествуют вместе, — сказал «хозяин».

А я так отлично разобрала. И только одного не понимаю: отчего, если он влюблен в одну женщину, — относиться с такой беспощадной сухостью и сдержанностью к другой, которую судьба случайно, на время поставила рядом с ним?

Ведь я с ним не кокетничаю; не может он, что ли, держать, что называется, золотую середину — не будучи влюбленным — относиться ко вся-

кой другой интеллигентной знакомой женщине более просто, более по-товарищески?

Тщетно позондировав почву научную и литературную, я попробовала обратиться к действительной и спросила сегодня, как он смотрит на физический труд, нравится ли он ему.

— Терпеть его не могу; только по приказанию врачей и работаю… — снисходительно отвечал он.

— Что же вам нравится?

— Работа умственная.

— Но за что же с такой неприязнью относиться к физическому труду? Ведь он, в сущности, необходим. И как это у вас самих иногда не является желания упражнять свои мускулы, свою силу не на гире, не на гимнастике, а на полезном, здоровом труде.

— Неприятно это… работать… Ну, вот — копаю, копаю, — скоро ли кончу, скорее писать пойду.

Мне хотелось доказать ему, что еще неизвестно, насколько талантливы, полезны будут его ученые труды, а что хорошо вскопанная им гряда будет полезна — это вне сомнений, и поэтому он не имеет никакого нравственного права так относиться к тому роду труда, которым живут миллионы людей…

Он выслушал меня с снисходительным вниманием, потом повторил:

— А все-таки не люблю этой работы… то ли дело сидеть за письменным столом.

Я внимательно посмотрела на его голову, правда большую, с сильно развитым лбом, но далеко не с тем выражением, которое отличает людей, открывающих миру новые горизонты.

И я подумала про себя: «Да, то ли дело — сидеть за письменным столом и писать одну из тех только полезных книг, каких наш век оставит последующему целое море; надрывать этим свое здоровье — и презирать необходимый первичный труд человечества… логика!»

Но ничего не сказала. А он не говорил больше ни слова, и едва в обычный час вдали показалась фигура его знакомой — бросил лопату и поспешно пошел за ней.

Мой «хозяин» — всех симпатичнее. В нем есть та непосредственная доброта, сердечность — какая, увы! — теперь все реже и реже встречается в людях.

Как бывший офицер, он, конечно, не отличается всесторонним образованием, но в нем чувствуется природный ум с большим тактом сердца. И поэтому мы часто и подолгу беседуем

на разные темы. Мне нравится в нем та простота, с которой он исполняет самые черные работы, — он, не верящий буквально ни во что, своим личным поведением доказывает изречение: «иже хощет быть первый между вами — да будет всем слуга…»

На днях мы всей компанией катались на велосипедах. Я ехала с ним рядом. Разговор зашел о жизни, браке, любви и проч.

— Любили ли вы когда-нибудь? — вдруг спросил он.

Неужели я так сразу, просто, в болтовне и скажу ему то, в чем себе едва смею признаваться?

— Никогда, — смело солгала я.

— Сколько вам лет?

— На днях исполнилось двадцать шесть…

— Не может быть! — воскликнул он, пораженный.

— Отчего же нет? — продолжала я лгать и крепче нажала педали… Мы выезжали из лесу, и дорога шла как раз под гору. Велосипед покатился с страшной быстротой. А когда он догнал наконец меня — я уже сидела внизу на поляне, в обществе остальных спутников, и разговор перешел на другие темы.

9 сентября, понедельник

Я все присматриваюсь к этим людям и чего-то жду от них… Жду, чтобы они встали ко мне ближе, поняли бы, насколько нужны, необходимы мне нравственная поддержка и участие.

Но нет… каждый из них слишком занят своими делами. Все, за исключением «хозяина», относятся просто, вежливо, но, в сущности, безлично… И я чувствую, что невидимая стена отделяет меня от них, перешагнуть которую невозможно…

Я начинаю приходить к убеждению, что никакая проповедь любви не в силах изменить природы человека. Если он рожден добрым, обладает от природы чутким сердцем — он будет разливать кругом себя «свет добра» бессознательно, независимо от своего мировоззрения. Если же нет этого природного дара — напрасно все. Можно быть толстовцем, духобором, штундистом, можно проповедовать какие угодно реформаторские религиозные идеи и… остаться, в сущности, человеком весьма посредственного сердца.

Потому что как есть великие, средние и малые умы — так и сердца.

Человечеству одинаково нужны и те, и другие.

Характерно, что близкий друг нашего великого

писателя обладает этим «добрым сердцем» отнюдь не более, чем другие обыкновенные люди. Сейчас видно, что он пришел к своим убеждениям сначала головой и уже потом сделал себя таким, каким он воображает, что должен быть.

Однообразный, точно заученно-спокойный тон голоса, одинаковый со всеми; а в жизни, в привычках — остался тем же барином-аристократом, каким был и раньше.

Он пишет книги по-русски, по-английски, принимает посетителей, упростил до крайности внешнюю обстановку: всюду, вместо дорогих письменных, стоят столы простые, некрашеные, а весь его большой дом держится неустанной работой мужика, беглого солдата Мокея.

— Что бы мы стали без него делать! — с комическим отчаянием восклицает он. — Мы точно щедринские генералы на необитаемом острове!

А Мокей, копая со мной картошку, жалуется, что очень трудно жить:

— Работы много, вертишься-вертишься день-деньской без устали, то туды, то сюды, а нет того, чтобы для себя, значит, свободного времени.

В сознании этого мужичка встает неясная мысль необходимости регулировать его работу.

Я предпочитаю мою миссис Джонсон, гости-

ная которой обставлена элегантно, но которая сама моет полы, стирает белье и делает все это совершенно просто, без всяких нравственных проповедей, потому что с детства привыкла к труду.

Сколько раз хотелось мне сказать ему: «Откажитесь от прислуги, работа которой обеспечивает ваш досуг, который вы употребляете на писания, издания, приемы, разговоры, споры и т. д.»

А то между словом и делом лежит такая пропасть, такое противоречие, что глухое раздражение так и поднимается во мне.

Но вспоминаю изречение: «Легче верблюду сквозь игольные уши пройти, нежели богатому внити в царствие Божие…»

Бесполезно, значит, говорить!

На днях рубили капусту под окнами его кабинета. Он высунулся и спрашивает:

— Что это такое?

— Капусту рубим, — отвечала горничная.

— А-а-а! — снисходительно удивился он.

Я остолбенела. И этот человек, прожив столько лет в деревне, бывший гласный земства, столько раз приезжавший в Ясную Поляну, демократ, — не видал никогда, как рубят капусту.

А великий писатель сам тачал сапоги и клал

печи…

В том и разница между гениальным и обыкновенным человеком, что тот, раз пришел к известному убеждению, — старается провести его прямо и цельно, его богатая натура способна обнять и проникнуть все стороны жизни.

Не знает великий писатель земли Русской, что он один из тех избранных, которые всегда и во все времена являлись как бы для того, чтобы показать миру, до какой нравственной высоты может подняться человек. И всегда они находят себе последователей, которые отстоят от них далеко; друзей — несравненно ниже себя. Потому что они выше остального человечества и не должны быть окруженными равными себе.

Удел великих — одиночество.

И они как бы искупают этим то, что им дано более, чем другим.

Мое разочарование глубоко, больно и… обидно…

11 сентября, среда

В Barnemonth'е живет семья петербургского журналиста Дервальда, берлинского корреспондента газеты «Слово». Несмотря на свою немецкую фамилию — это чистейший русак,

с славной физиономией, в которой виден ум с хитростью и безобидной насмешкой. Он поселил свою семью здесь, в этом курорте, находя, что не стоит таскать ее за собой всюду, куда пошлет его редакция, и приезжает к ней на время вакаций.

Время от времени он заглядывает сюда. Заводятся бесконечные русские споры, любимые споры нашего времени — о марксизме и народничестве, о фабриках и общине и т. д.

Я с интересом наблюдаю их.

Мужчины любят уверять, что женщины болтливы. Это неверно. Они сами ужасно любят говорить и себя слушать.

Женщине трудно, почти невозможно переспорить их.

Говорят и кричат все зараз.

Я не глупее и образованна не хуже любого интеллигента. И однако, когда вчера вечером приехал Дервальд и завязался один из этих бесконечных споров, и я попробовала вставить свое замечание — на меня посмотрели с каким-то снисходительным удивлением. Как, мол, — неужели и она суется?

Я вообще мало говорю, и в этот вечер к тому же занималась хозяйством — разливала чай, мыла чашки… И они, эти сильные мужчины, нахо-

дили совершенно естественным, что, пока они кричали, спорили, говорили прекрасные слова о слабых, угнетенных, — на них работали именно слабые: я мыла чашки, перетирала их, разливала чай, а внизу, утомленная дневною работою, дремала женская прислуга и тихонько роптала.

— То ли дело у англичан! Там дольше десяти часов вечера никакая прислуга работать не станет. А у нас — постоянно гости. Сколько посуды лишней перемоешь, сколько раз в день чай подашь... вертишься, вертишься целый день, а тут еще нельзя и спать лечь — дожидайся, когда гости уедут, — тихо говорила бледная, грустная Дуняша.

— Что и говорить! Ох, слыхала я эти ихние споры: мужик, община, фабрика, капитализм и всякие такие слова. И все это — болтовня одна, по-нашему, а по-ихнему это называется «чуткие люди...» — сказала ее сестра Лидия, высокая стройная блондинка с интеллигентным лицом.

Я наконец перемыла всю посуду и принесла ее в кухню.

— Спасибо вам, по крайней мере, нам полегче: скорее спать ляжем, — сказали сестры.

И я весь этот вечер испытывала какое-то своеобразное наслаждение от сознания того, что вот

мне, интеллигентной женщине, и двух слов вставить в разговор не дают, — а я все-таки смиренно прислуживаю им, и они находят это вполне естественным, а сами спорят, без конца спорят… и каждый из них воображает, что открыл истину и один владеет ею…

И вспомнились мне слова грустного скептика Анатоля Франса: *«Будем скромны. Не стоит приписывать себе величие, поскольку мы им не обладаем. Взглянув на себя, уясним, что наша истинная натура груба и жестока, как и у наших отцов, и наше преимущество перед ними лишь в более давних традициях, по которым мы можем судить о преемственности нашего невежества».*

Будем смиренны, будем смиренны!

Этого именно не хватает всем проповедникам… Или забыли они, что в конце концов — все сводится к одному: «знание».

13 сентября, пятница

Вчера прихожу в кухню — а за столом сидит Николай Николаевич и пьет чай с молоком. Он налил мне чашку и стал рассуждать:

— Вот как я скверно делаю. Пью молоко. У меня есть для этого средства. А есть такие, у которых этих денег нет. Значит, я отнимаю его у других,

более бедных. Это молоко, — он взял и налил себе еще стакан, — могло бы быть отдано какой-нибудь бедной женщине, которой не на что купить его для грудного ребенка…

Он рассуждал в таком духе с добрых четверть часа, все время усердно подливая себе молоко в чай и выпивая чашку за чашкой…

Я сидела молча, с опущенной головой. Мне было мучительно стыдно за него… К чему эти фразы? к чему эта праздная, ни к чему не ведущая болтовня?

А он, окончив свою проповедь, взглянул на меня:

— Я, кажется, испортил ваш чай? Ничего, ничего, вам полезно послушать, — и ушел, в полном убеждении, что сделал доброе дело.

И этот человек вздумал учить меня!

Я из деликатности раз промолчала, теперь — опять… Нет, довольно!

Если он вздумает сделать это еще раз, — я, хорошо узнавшая теперь всю нравственную стоимость этого человека, брошу ему в лицо гордый вызов:

Замолчите!

Чистой деве

Доступно всё великое земли.

Гениальные люди — прозорливы. Шиллер заглянул в самую глубь женского существа и сказал правду.

Да, я чувствую, я знаю это — мне доступно всё великое земли…

Мое сердце честной женщины способно не менее его понимать все, а мой ум, не менее его развитой, способен рассматривать явления жизни, пожалуй, еще с большей ясностью, так как я не заражена духом сектантства.

Пусть я не верю. Что ж? неужели поэтому я менее идеалистка, менее люблю свою родину, менее понимаю великие задачи человечества?

Да, в моей жизни менее компромиссов, чем в его, уже по одному тому, что я не богата, что я никогда не буду зарабатывать много, что с самой ранней молодости боролась и старалась жить согласно своим убеждениям — не читая мораль другим.

4 сентября, суббота

А однако, становится скучно! Куда ни взглянешь — везде одни и те же великолепные ленты дорог прорезывают зеленый пейзаж во всех на-

правлениях. И нельзя выйти из этих лент — они на всем протяжении обсажены колючими кустами ежевики; кругом — вся земля заселена; небольшие пустые пространства все возделываются, люди живут тесно, всюду красные домики… все одинаково благоустроено и… однообразно.

Мне не хватает простора необъятных зеленых лугов, чащи лесов… мне душно в этой цивилизованной тесноте, — и сердце начинает ныть от тоски по родине.

Перед моими глазами ежедневно мчатся изящные экипажи, полные туристов, — это компании совершают экскурсии по окрестностям; а я, глядя на этих чопорных, точно накрахмаленных людей в безукоризненных летних туалетах, — вспоминаю наши деревенские пикники на телегах с самоварами, с чаепитием где-нибудь в лесу… — ну как же можно сравнить, где больше поэзии и прелести.

Эти идеальные дороги до такой степени похожи одна на другую. То ли дело у нас! Тут канава, там — рытвина. Здесь можно пройти, но не проехать. А там — ехать можно, только осторожно. По крайней мере — разнообразие, и я до того к нему привыкла, что теперь безнадежно путаюсь и теряю направление — все дороги одинаково

хороши.

А сколько поэзии в наших больших дорогах, обсаженных деревьями! Сколько бесконечной грусти в проселочных, которые серыми нитями проползают между деревьями… Милая, милая родина!

Эти белые селенья,
Эта бедная природа —
Край великого терпенья —
Край ты русского народа!
Не поймет и не отметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В бедноте твоей смиренной…[157]

15 сентября

— Какая вы, должно быть, способная, — сказал сегодня мой «хозяин».

— Это отчего вы так думаете? — удивилась я.

— Да так. За что ни возьметесь, — все хорошо выходит. В саду, в огороде работаете — выходит ловко, хоть вас и воспитали как барышню. И

---

[157] Примечания: 157
Цитата из стихотворения Ф. Тютчева «Эти бедные селенья».

по-английски — какие быстрые успехи делаете…

Мне стало больно-больно…

К чему все это, если он не любит меня?..

16 сентября

Нет, — не могу больше!

Все, все опротивело мне здесь: и эти дома, и это однообразие, а шум моря неустанно напоминает, что только оно одно отделяет меня от той страны, где он живет. Только море! Как я завидую птицам! легкие, свободные — они играют с расстоянием, с пространством…

Я читала Страхова «Мир как целое». Ученый автор посвятил целый толстый том на доказательство того, что человек — венец творения.

А я так рада была бы теперь все отдать, если бы какой-нибудь волшебник мог обернуть меня в птицу… чтобы улететь туда, за море, в Париж, к его окну…

17 сентября, вторник

Все удивляются, почему я уезжаю. А я удивляюсь — как могла так долго прожить здесь?

Теперь иногда и днем ухожу на берег моря, сажусь на песке и смотрю, смотрю, не отрываясь, на

бледные волны, которые то резво бегут к берегу, ласкаясь как дети, то бьются с сердитым шумом.

Не люблю я моря. Меня пугает эта чуждая стихия, такая величественная, такая грандиозная, беспокойная, перед которой мы, люди, словно пигмеи какие… Никогда так ясно не сознаешь ничтожества и бессилия человека, как во время бури на море… Мы, жители равнины, привыкли к природе мирной, ласкающей. Не оттого ли и характер у нас, русских, мягкий, что мы не закалены борьбой с грозными стихийными силами?

Я впервые увидела море и горы, уже будучи взрослой. И я полюбила горы.

От них веет впечатлением спокойной, неподвижной, охраняющей силы, которая внушает чувство безопасности. В то же время они таинственны, так как всегда скрывают за собой новые, еще неведомые места.

Следя взглядом за их вершинами — и душа иногда возвышается над мелочами и пошлостью жизни…

18 сентября, среда

Собираю вещи и укладываюсь. Приехал милейший Дервальд.

— Отчего вы уезжаете? что за фантазия? Ведь

у вас начало лекций еще не скоро, в ноябре. Пользуйтесь случаем, когда-то еще раз попадете в Англию, изучайте язык; уезжать непрактично.

Я и сама знаю, что непрактично, но как сказать мне ему, что я не могу, не могу более оставаться здесь.

Я всем объясняю, что у меня есть своя программа пребывания в Англии, что раз я немного выучилась говорить и понимать по-английски, то надо выполнить и другие пункты: ознакомиться с существующими в Лондоне женскими обществами, физическим воспитанием детей, посмотреть театры, музеи…

А на самом деле — пробуду в Лондоне ровно настолько, чтобы сделать самые необходимые покупки, побывать хоть в одном женском клубе, посмотреть журналы, относящиеся к женскому движению в Англии, — и скорее, скорее во Францию!

Лондон, 20 сентября

Вчера утром уехала из этого хорошенького местечка.

Дождь лил как из ведра, и ветрено было. Прощай, море, белые ленты дорог, красные домики! Увижу ли я вас когда-нибудь?

Я оставляю этот уголок без всякого сожаления. Сердце так и замирает при мысли, что меня теперь отделяют от Парижа всего какие-нибудь двадцать четыре часа пути.

23 сентября

Чтобы быть ближе к центру — взяла пансион около British Museum. Каждое утро, для экономии времени, составляю подробный маршрут, список всех омнибусов, трамваев, записываю, что надо сделать, — словом, принимаю все меры, чтобы как можно скорее покончить с покупками, поручением — и все-таки расстояния так велики, что на примерку платья в магазине теряешь полдня.

Лондонские магазины несравненно лучше парижских; таких, как на Regent-Street, я в Париже не видывала. Англичане отлично одеваются у себя дома. Но, попав в Париж, как и большинство иностранок, делают одну и ту же ошибку: стремясь одеться во все «парижское» — покупают все в больших магазинах, не руководствуясь никакой другой идеей. Впрочем, мои соотечественницы в этом отношении еще хуже: покупают красные шляпы, голубые платья, белые зонтики и башмаки, и в такой яичнице красок самодовольно гуляют по Парижу, воображая, что одеты «как

парижанки».

Все никак не могла отыскать адрес Women's Institute — одного из главных женских обществ.

Я совсем не умею справляться с здешними адресными книгами, — эти невероятно толстые томы повергают меня в столбняк отчаяния, и я чувствую себя перед ними словно на берегу моря: маленькой, жалкой, ничтожной, как пигмей. По счастью, в магазине встретилась с поляками, прекрасно говорящими по-русски. И один из них любезно разыскал в этих книгах нужный адрес. Завтра пойду искать этот институт.

26 сентября, четверг

Наконец-то удалось! Оказалось, что Women's Institute переменил квартиру — и пришлось потерять немало времени, пока-то разыскала новое помещение.

Women's Institute — нечто вроде женского клуба: в большой удобной квартире находится библиотека, читальня, по стенам — картины с обозначением цен. Тут же и справочное бюро — за полтора шиллинга можно получить какие угодно сведения по женскому вопросу. Какие англичанки практичные! Я обрадовалась такому облегчению своей задачи, заплатила шиллинг

и шесть пенсов и написала все интересовавшие меня вопросы.

Сегодня получила ответы: адреса редакции «English Women's Review», клуба журналисток и список колониальных журналов, посвященных женскому движению.

Вчера огромные разноцветные афиши с изображением автомобиля, летящего в пропасть, привлекли мое внимание. В театре Адельфи шла «Великий миллионер» — большая мелодрама. Я столько бегаю, так устаю, что даже рада тому обстоятельству, что теперь не сезон: по крайней мере, не так досадно, что некогда ходить в театр. Но афиша-реклама заинтересовала меня: как это будет на сцене лететь в бездну автомобиль — этого я еще не видала; взяла билет и пошла.

Действительно, это была большая мелодрама. Богатый и добродетельный юноша и прекрасная бедная девушка на протяжении шести актов боролись с разными препятствиями и злодеями, чтобы в конце концов благополучно соединиться браком. Тут было все: и бунт голодной толпы в Уайтчепеле — на сцене летали разбитые стекла, хлеб из разграбленной булочной, каменья… и роскошный обед у миллионера — настоящая выставка туалетов, фраков, цветов и мебели, и,

наконец, автомобили, из которых один — правда, издали — действительно полетел с обрыва. Мелодрама была только текстом к большим живым картинам, поставленным с замечательным искусством. Становилось досадно при мысли о том, сколько денег затрачено на роскошную и тщательную постановку такой грубейшей профанации искусства…

Была и в Тойби-Холле. Но этот знаменитый народный университет был почти пуст по случаю вакационного времени. Заглянула и в Уайтчепельскую Free Library и при ней музей естественных наук.

Там неожиданно мне повезло. Заведующая музеем, мисс Кэт Холл, оказалась чрезвычайно любезной и милой особой. Она не только дала мне все объяснения, рекомендательное письмо к викарию церкви Св. Иуды, чтобы он показал мне наиболее интересные места знаменитого квартала пролетариата, но и пригласила меня к себе.

Я была очень тронута таким вниманием.

27 сентября

Еще удача! Пошла в The Writers Club — и попала на так называемый five o'clock tea, — там они бывают по пятницам. Конечно, мисс Элен

Блэкбери — редактор журнала «English Women's Review» — была там. Меня тотчас же представили этой большого роста, хромой и очень некрасивой женщине на костылях. Несмотря на неблагодарную внешность, она сразу привлекла к себе симпатичным, умным и добрым выражением лица. Она очень порядочно говорит по-французски, и это сразу много облегчило знакомство.

Так как у меня остается очень мало времени до отъезда, то мисс Элен Блэкбери предложила приехать к ней сегодня же вечером, чтобы просмотреть интересующие меня журналы.

Я согласилась и после обеда, к восьми часам вечера, была уже у нее.

Она ждала меня в уютном кабинете, уставленном мягкою мебелью и освещенном электричеством. На особом столе лежали журналы с разных концов земного шара: австрийские, американские, итальянские, французские, немецкие, датские, шведские, финляндские, греческие обозрения и газеты. При взгляде на них — у меня невольно забилось сердце: все эти неведомые сестры с разных концов света — одушевлены одной идеей.

Я взяла «The Australian Women's Sphere». На первой странице был рисунок: в средине молодая

девушка в тоге и шапочке студентки, с книгою в руке, окруженная другими маленькими рисунками, изображавшими пьяных, оборванных мужчин. Над ними была надпись: «Они имеют право подачи голоса», под изображением студентки — «А я не имею».

Мне очень хотелось получить сведения о тех английских колониях, где женщины имеют одинаковые с мужчинами избирательные права. Мисс Элен Блэкбери сообщила, что в Новой Зеландии они введены, кажется, с 1893 года, в следующем году — в Южной Австралии и недавно, в 1900 году — в West Australia.

Разговор коснулся и французских женщин, их полной зависимости от духовенства. Мисс Элен Блэкбери была, видимо, au courant всего, что делается во Франции. Но о России, о нашем женском университете — С.-Петербургских Высших женских курсах — она и понятия не имела и была очень довольна, когда я с гордостью сообщила ей сведения о нашей alma mater.

28 сентября, суббота

С письмом мисс Кэт я отправилась сегодня к мистеру Ричардсу, викарию церкви Св. Иуды, который оказался очень любезным, веселым и

добрым духовным отцом своего стада.

Он немного понимает по-немецки. После неизбежной чашки чая мы пошли по Уайтчепелю.

Я знакома и с Хитровым рынком, и с Вяземской лаврой, — жизнь городского пролетариата везде одна и та же. Только здесь впечатление получалось грандиознее. В Лондоне все принимает колоссальные размеры: его пространство, богатство, нищета… И сердце сжалось, когда мы проходили по одной из улиц — это был, должно быть, рынок, и толпы народа двигались по нем.

При тусклом свете серого сентябрьского дня, под мелким дождем, нищета, сама нищета, казалось, шла нам навстречу, смотрела сотнями глаз с голодных измученных лиц мужчин, женщин и детей, едва прикрытых оборванной одеждой. Кругом каменные мешки домов, каменная мостовая, тяжелый спертый воздух…

Глаз искал отдохнуть на чем-либо в этой ужасной картине — и не на чем было: все безотрадно, голо, серо; всюду человеческое бедствие и камень — ни дерева, ни цветка, ни куста зелени… Казалось, природа испугалась этого современного ада и исчезла. Да это так и есть на самом деле: проходя по одной из улиц, викарий вдруг указал на чахлое жалкое деревцо, почти без листьев,

которое сиротливо приютилось в углу двора, залитого асфальтом…

— Вот это — единственное дерево во всем Уайтчепеле, — сказал он.

И я с симпатией посмотрела на этот жалкий, выродившийся остаток природы, который, очевидно, должен был скоро погибнуть.

Мы побывали в нескольких квартирах, где жили бедняки, покровительствуемые добрым викарием. И, глядя на эту грязь, бедность, лохмотья, бледных, больных детей, которые жили, не зная, что такое природа, — можно понять, что цивилизация может произвести своеобразных дикарей.

До сих пор мы считали за дикарей тех, кто не знал ничего, кроме природы; теперь узнаем тех, кто, наоборот, — не знает вовсе, что такое природа, а родился и вырос среди отрицательных сторон жизни.

Что видели эти несчастные существа со дня рождения? Один камень кругом, да сердца людские, такие же твердые. У них нет ни поэзии детства, ни молодости, ни куска хлеба на завтрашний день…

Им все равно — убивать и грабить, потому что им — нечего терять.

29 сентября, воскресенье

С утра уложила все вещи и послала мисс Кэт телеграмму спросить — когда она дома. Получила ответ — в пять часов. При моем незнании путей сообщения я должна была поехать за два часа.

Мисс Кэт живет ужасно далеко: на другом конце города. Прекрасный каменный дом-особняк, как и большинство здешних домов, с обязательным садиком впереди. Я захватила с собой фотографии в русском костюме, чтобы хоть этим выразить свою признательность мисс Кэт за ее любезность; утром послала такую же викарию.

Вся семья была в гостиной. Мисс Кэт представила меня матери, племяннику — молодому человеку, консерватору из Британского музея, который оказался счастливым исключением среди англичан — он был очень способен к языкам и порядочно говорил по-немецки и по-французски.

Отец его, художник, брат мисс Кэт, был в России в свите герцога Эдинбургского — и теперь сопровождал наследного принца в его путешествии по колониям.

Я не чувствовала ни малейшего стеснения, разговор завязался просто и непринужденно о России, — видно было, как все члены семьи до-

рожили тем, что одному из них удалось увидеть такую далекую страну.

Акварель — внутренность Успенского собора — висела на стене, на большом бархатном щите. Среди медалей, блюд и всяких других редкостей — я увидела и нашу икону. Принесли альбом и показали фотографию отца в большой русской шубе. Потом, в свою очередь, показали мне весь дом, выстроенный, как и все дома здесь, удивительно разумно, обставленный комфортабельно и уютно.

Когда мисс Кэт вернулась со мной в гостиную — к five o'clock tea пришли еще друзья дома: немолодой мужчина с дамой и еще молодой человек.

Завязался общий разговор; меня расспрашивали, что я изучаю, трудны ли юридические науки. Я вспомнила — мне рассказывали, что один из наших соотечественников, приговоренный здесь за подстрекательство к убийству на полтора года каторжных работ, по окончании срока вышел из тюрьмы в злейшей чахотке. Он ежедневно вертел в одиночной камере огромное колесо, перепрыгивая беспрерывно со ступеньки на ступеньку; механизм верчения был устроен так, что в случае остановки он рисковал раздробить себе ноги…

И я воспользовалась теперь случаем, чтобы вы-

сказать этим, более нас цивилизованным людям все свое возмущение жестокостью и бессмыслием такого наказания.

— О, нет, вертеть колесо — это не бессмысленно, — с живостью возразил один из гостей. — Насколько мне известно — это мельничное колесо, — они таким образом мелют себе хлеб.

— Но согласитесь, что такие наказания жестокостью своей превосходят самое преступление, — настаивала я. — Надо же иметь сострадание.

— Сострадание? — с холодным удивлением спросил англичанин, точно я сообщила какую-то новость.

— Ну да, — продолжала я, с недоумением глядя на этих интеллигентов. — Сострадание к преступнику.

— Для преступника нет сострадания. Он нарушил законы общества и должен быть за это наказан, — медленно, с расстановкой сказал один из гостей, который пришел с дамой.

— Но ведь этот человек еще и не убил никого, — сказала я наконец.

— А если убил — за жизнь должна быть отдана жизнь, — с живостью сказал другой гость. — Он должен быть повешен.

— Он должен быть повешен, — как эхо повто-

рили остальные.

У меня язык прилипнул к гортани при виде того, до чего чуждо было этим людям то чувство, которое с детства воспитывается в нас почти религиозным отношением к «несчастным», которое заставляет мужика, крестясь, подавать копейку арестанту, а других, кто побогаче, — посылать в тюрьмы подаяние.

Это было свыше моих сил. Я забыла совсем, что нахожусь в чопорном английском салоне, и вскочила с места.

— И вы ходите в церковь, читаете Библию, — как смеете вы считать себя христианами, раз в своем законодательстве держитесь ветхозаветного правила «око за око, зуб за зуб»?! — закричала я в негодовании, от волнений мешая французский, немецкий и английский языки. — Ведь смертная казнь бессмысленна уже потому, что не достигает цели. Кого «вознаграждает» отдача одной жизни за другую? Родных убитого? да ведь казнью преступника нельзя оживить его жертву. Если вы, общество, присваиваете себе право судить преступника, — докажите ему, что вы достойны этого права, что вы нравственно лучше, выше его… а для этого, прежде всего, — отнеситесь к нему с состраданием, постарайтесь исправить

его. А вы — ведете его на виселицу… Чем же, скажите, чем вы лучше его?!

Что-то подступило мне к горлу — я не могла больше говорить…

— Но ведь у вас, в России, есть смертная казнь?

— Нашему уголовному процессу и общественному мнению — чужда смертная казнь, — с гордостью сказала я, с трудом переводя дыхание.

И только тут ясно поняла, какое счастье, что нашему народу так чуждо это холодное, вполне сознательное жестокое отношение к преступникам, на какое я неожиданно наткнулась в этом интеллигентном обществе.

— Бороться с жестокостью народа малоцивилизованного — еще можно, надеясь на то, что просвещение смягчит нравы. Бороться же с жестокостью цивилизованного гораздо труднее: он умеет создавать себе разные опоры в виде общественного мнения, науки и проч.

Никто не смеялся над моей ломаной, из трех языков речью… и все ее поняли, — мое лицо, глаза и жесты говорили яснее всяких слов… Все молчали… молчала и мисс Кэт… она совсем не принимала участия в разговоре. Молодой человек встал и подошел ко мне…

— Да, вы правы, мы действительно следуем Вет-

хому Завету, тогда как в Новом сказано: «возлюби ближнего твоего…» Вы говорили так хорошо… благодарю вас.

Я была тронута, что хоть одного удалось убедить, и чуть не со слезами на глазах пожала руку этому молодому человеку, фамилия которого так и осталась мне неизвестной.

Подошла мисс Кэт и показала мне пчельник, который помещается в комнате: красивый, искусно сделанный ящик, где под стеклом видны были соты и ползали пчелы. Она с любовью смотрела на них, рассказывая, как нынче вечером повезет свой пчельник в один из народных университетов для демонстрации и будет читать там реферат.

А я, смотря на ее уже немолодое лицо, думала: какая масса женщин в Англии осуждена на безбрачие, — и какой-то холод пробирался в душу при мысли о молодости без любви, об одинокой жизни… И глубокое сострадание охватывало душу… Заменять страшную пустоту личной жизни — пчелами… какой ужас!

Скорей в Париж! Как могла я так долго пробыть здесь, вдали от него, как могла?! Я теперь удивляюсь сама себе. Кажется, если бы пришлось пробыть здесь еще неделю — я умру…

Стрелка близилась к семи. Гости ушли. Семья мисс Кэт радушно пригласила меня отобедать у них; скоро девять часов вечера — я еду прямым путем на Дувр-калэ.

Париж, 30 сентября

Наконец-то!

Облетели листья… Париж уж не блестит яркой свежей красотою, как в мае, — но после Лондона он кажется еще прекраснее, а расстояния и совсем невелики.

Все мое существо сияет от радости при мысли о том, что я опять там же, где он живет…

1 октября, вторник

Ищу комнату в прекрасном доме на той же rue de Arbalète, которая носит громкое название Villa Médicis. Действительно, улица достойна этих господ: четыре прекрасные большие дома, выстроенные по всем правилам современных удобств и гигиены. Дворы безукоризненной чистоты с садиками. В первом здании в пятом этаже меблированная квартира, комнаты которой сдаются исключительно женщинам. Я осведомилась — кто жилицы. Оказалось, все порядочные. Пан-

сион надоел так, что я последнее время только и ждала — скоро ли оставлю его. Наученная горьким опытом прошлого года, не буду больше жить в студенческих квартирах, а поищу комнату в семье, чтобы быть одной жилицей. Это очень трудно…

3 октября, четверг

На этот раз, кажется, нашла: правда, не в семье и не одной жилицей, но зато и нет студентов, — комнаты в этой маленькой квартире сдаются исключительно женщинам. Две румынки — одна с медицинского факультета, другая с lettres — живут в одной комнате, две другие еще не заняты. Я взяла одну из них, подешевле, — очень светлая, чистая, уютная. Другую по дороге рекомендовала какой-то русской, тоже, кажется, студентка. Так что вполне можно будет рассчитывать на покойную жизнь. Возьму пианино напрокат — здесь это стоит всего 10 фр. в месяц.

Однако как полезна жизнь в деревне и работа на свежем воздухе! Чувствую себя прекрасно. Несмотря на трехдневную беготню по лестницам, возню с вещами, — не только не устаю, а кажется, что расходую самую небольшую часть своей силы, что ее мне некуда девать.

5 октября, суббота

Вчера первый свободный вечер — пошла гулять… и конечно туда, на rue Brézin.

Она была по-прежнему тиха и пустынна, только сквер изменился — печально смотрели пожелтевшие листья… Было холодно… и все кругом так печально, так способствовало моему настроению…

Не знает он, что я вернулась… Сердце замирало от радости, едва я коснулась его родной земли…

Он спит теперь, утомленный дневной работой, и не узнает, и не догадается… никогда…

6 октября

А ведь я совершенно не знаю, кто он. Как бы узнать хоть что-нибудь о нем?..

Когда я уезжала и приходила прощаться к Анжеле, та сказала, что знает его. Тогда я не смела спросить ничего, это было бы слишком явно заметно… А теперь… Если я не могу его видеть — то услышать хоть слово о нем!

Какое благодеяние — дождь для земли во время засухи.

Сегодня воскресенье, как раз приемный день;

надо же по возвращении навестить Анжелу — и непременно незаметно наведу разговор на него.

И я пошла в госпиталь Брока.

Анжела очень обрадовалась моему приходу.

— Давно ли вернулись? Как это мило с вашей стороны — сейчас же вспомнить обо мне… очень, очень рада, что вы пришли.

Я вся вспыхнула: ведь я пришла не просто чтобы повидаться…

Но шел дождь, и в маленьком кабинете электротерапии, где живет Анжела, было темновато, так что она ничего не заметила.

Мы заговорили о госпитале, перебрали всех больных, которые ходили на электризацию одновременно со мной; вспомнили и о докторе Дроке и его необыкновенном взгляде…

— Он скоро вернется из отпуска.

— Судя по его взгляду — это, должно быть, необыкновенный человек, — направляла я на него разговор: помню, что «мистер Ленселе — близкий друг доктора Дрока…».

— О, это действительно чудный человек, и притом знаменитость… Вы знаете ли, сколько стоит визит у него на дому?

— Сколько?

— Два луи — двадцать франков! — торжеству-

ющим тоном сказала Анжела, точно это она сама получала такую плату.

— О, — сказала я с уважением.

— Да, да… это такая знаменитость по накожным болезням.

— А эти, которые ходят с ним по палатам, — это тоже… доктора? — нарочно ошиблась я, зная что Анжела сейчас же объяснит, как иностранке.

— Нет, это экстерны и интерны. Каждый шеф имеет своего интерна. Доктор Dossi, акушер, — своего, доктор Дрок — своего… теперь у него Собатье, в прошлом году был Кур де Глеквинье… я их всех отлично знаю.

— И Ленселе тоже был? — наконец решилась я спросить, думая, что вопрос как будто вскользь будет незаметен.

— Как же! он был здесь интерном у доктора Дрока. Это его близкий друг. Они действительно работают вместе. Ой! Мсье Ленселе совсем не щадит себя во время работы. Он очень хороший врач, и почти везде его хорошо принимают…

Так вот кто он…

Анжела увлеклась и рассказывала о том, как хорошо иметь протекцию, как шефы, уезжая на лето, передают интернам своих больных, как для врача необходимо устроиться, как доктор

Гроссерье устраивает кабинет электротерапии, который стоит ему 50 тысяч франков в год.

— Вы понимаете, что он не может дешевле брать у себя на дому. За сеанс, который он здесь делает даром, — у него на дому платят 10 франков. И вообще, жизнь докторам страшно дорого стоит: им нужно поддерживать отношения, устраивать приемы. Не может же доктор Дрок жить в Латинском квартале, а надо — около L'arc de Triomphe de L'Etoile… А какие связи у доктора Dossi! Он — сенатор. Вы видели, как его павильон украшен живописью? Это художники сделали для него любезность, работали даром. Это был, что называется, — bel homme. Красавец замечательный! Вот кто имел успех у женщин. Теперь стар стал, да…

И долго еще она рассказывала мне об этом специальном мире, где медицина служит усовершенствованным орудием в борьбе за существование, где связи, протекция, наука, знания, энергия, способности прочно сплелись в одно крепкое целое — карьеру.

А в ушах у меня звучало: «Ой! Мсье Ленселе совсем не щадит себя во время работы. Он очень хороший врач, и почти везде его хорошо принимают…»

9 октября, среда

Познакомилась с румынками. Одна сестра-медичка — такая красавица, что я тотчас же прозвала ее «La belle Romaine»; другая — с lettres — не так хороша, но с лицом очень симпатичным и интеллигентным, обе чрезвычайно симпатичные девушки.

Сестры посвятили меня в свои намерения и планы жизни.

Медичка готовится к экзамену на экстернат — и объяснила, что это такое. Студенты медицинского факультета — École de médecine — могут держать конкурсный экзамен при Assistance Publique — на экстернат и интернат. Экстерны состоят как бы помощниками врачей — делают перевязки, присутствуют при обходах; интерны — уже самостоятельно заведуют палатой, нечто вроде наших ординаторов. Экстернат и интернат — по четыре года каждый, причем экзамен на интернат можно сдать и ранее этого срока. Стать интерном — идеал всякого студента-медика, так как, будучи студентом, — интерн уже имеет за собой большую практику и, когда кончает курс, — выходит опытным и знающим врачом. Некоторые из них читают и частные лекции,

подготовляя к конкурсным экзаменам на экстернат. Они много работают, но зато и веселятся же! Для них в каждой больнице отведено особое помещение: «охраняемая комната», что они там выделывают! Комната для свадеб!

Слушать такие разговоры для меня и величайшее наслаждение, и мучение. Я все-таки узнаю что-нибудь о нем, какая его жизнь, в чем состоит его работа, но это… точно кто-то вкладывает нож в сердце…

У него такие редкие волосы на голове. И как подумаешь, что люблю всеми силами души, со всей искренностью первого чувства — этого преждевременно истасканного парижанина… ужас!

Несмотря на свою буржуазность, медичка все-таки выражается более свободно.

— Вас возмущает эта безнравственность. Что же? Ведь для мужчины женщина — это первая необходимость.

— Ну, я с вами не согласна. Я бы не хотела выйти замуж за… такого…

— Мужчина — девственник! что может быть хуже! — с ужасом восклицает прекрасная румынка, лениво раскидываясь на постели. — Ни за что! А ты? — спрашивает она сестру.

Та, в своем качестве немедички, считает нуж-

ным конфузиться и молчать.

— А я спорю с ней и доказываю, что такой брак — самый нравственный…

И я не могу не ходить к румынкам, не могу не слушать этих бесконечных разговоров… Нет! все же я услышу о нем. Я показываю необыкновенный интерес ко всем мелочам, касающимся экстернов и интернов… и мы, сидя втроем у камина, болтаем целыми часами.

11 октября, пятница

Пошла сегодня в музей Гимэ. Мне говорили, что там находятся мумии Таисы и Серапиона. Я читала прелестный роман Анатоля Франса «Таиса» — и интересно было взглянуть на эти мумии.

О, какой ужас! В стеклянном ящике, в почернелой от времени одежде, лежит то, что было некогда красавицей Таисой… желтый череп с остатком темных волос; рядом с нею бесформенная темная масса почерневшей одежды с куском пожелтевшей кости сбоку — должно быть, рука, обвитая железными веригами, — это что-то было когда-то Серапионом…

Неужели когда-нибудь и он, мой милый, любимый, — будет таким же?!

Жить можно только тогда, когда не думаешь

о смерти…

Стремясь уйти от этого ужасного зрелища — я свернула в одну из зал. Там со всех сторон сидели статуи Будды, и на лицах их отразилось торжественное спокойствие нирваны. Модели индусских храмов дивной красоты — настоящие чудеса искусства.

Впервые за все время пребывания в Париже я почувствовала себя как бы в своей сфере — меня окружал сказочно-таинственный мистический Восток, знакомый с детства по сказкам, — который так близок к нам.

Я бродила по этой зале точно в волшебном царстве.

13 октября, воскресенье

Снова была в этом музее.

Но сегодня зала с Буддами была закрыта; открыты другие — японского искусства.

Это было для меня настоящим откровением. Почти все, что принято называть «современное искусство и современный стиль», — стало мне вдруг понятно. Это совершенно несправедливо по отношению к японцам: следовало бы назвать «японское искусство, японско-современный стиль», как говорят о стиле дорическом, иониче-

ском. Все эти афиши, все издания, современная манера живописи, предметы искусства, переплеты с рисунком, идущим от угла, — все, все японское и существовало в этой удивительной стране за сотни лет до нашего времени. Я видела рисунки, относящиеся к 1513–1685 годам, — они сделали бы честь любому современному художнику… И как у нас, в России, мало об этом знают! Как невежественны мы в художественном отношении! Право, жаль, что все знакомство с историей искусства у большинства моих соотечественников ограничивается знанием того, что Фидий жил в Афинах во время Перикла, а Антокольский сделал статую Ермака…

15 октября, вторник

Одна только мысль — как бы увидеться с ним?

Но как? Притвориться больной и позвать его к себе — но я не умею притворяться. Пойти к нему самой, как будто бы у меня опять начались головные боли, — я так не привыкла лгать… Как быть?.. надо придумать.

А времени не теряю. Для изучения французского языка записалась во Franco-English Guild, занятия начались сегодня. Побывала и в секретариате своего факультета; там мне сообщили,

что нынешний год подали прошения о приеме четверо русских…

Прекрасно! Значит, идея носится в воздухе, если мы, в разных концах России, приходим к одной и той же мысли… Начало лекций еще через месяц…

18 октября, пятница

Неприятный сюрприз! Оказывается, хозяйка сдала салон, и еще кому — консерваторке, с пианино! Эта новость меня поразила как громом. Вот тебе и раз!

Когда моя русская соседка почти одновременно со мной взяла пианино, я была не очень довольна. Нанимая комнату, я предварительно осведомилась, нет ли инструментов — я не могу заниматься при музыке, — оказалось, что нет. С русской мы условились, что она будет играть тогда, когда меня не бывает дома, я — когда ее нет… Но с третьим пианино, да еще с консерваторкой, в пяти комнатах — это уже совсем неудобно, и я прихожу в ужас при мысли, что только будет?!

Консерваторка! это слово для меня, как жупел для купчихи Островского. Ведь это беспощадные гаммы и упражнения по шести часов подряд. Здесь было так хорошо, покойно, и вдруг — три

пианино! Вот тебе и квартира исключительно с жилицами… Три пианино — этого не могло бы быть, если бы жили студенты. Проклятое женское воспитание, — и к чему только музыке учат?!

19 октября, суббота

Пробовала урезонить хозяйку — не сдавать комнаты этой девице, обещала ей рекомендовать какую-нибудь жилицу — напрасно: консерваторка уже дала задаток и переехала сегодня, а к шести часам водворилось и третье пианино… Я сразу искренно возненавидела нашу новую жилицу — немецкую еврейку с типичным носом и лицом, обсыпанным пудрой.

21 октября, понедельник

Мне надо было писать перевод с русского на французский — консерваторка села упражняться. Я пробовала сосредоточиться, несмотря ни на что, и настойчиво искала в словаре и старалась составить фразу… напрасно! Фраза не шла на ум, несмотря на усилия воли; в ушах звучала беспрерывная, точно барабанная дробь, гамма упражнений.

Голова тяжелела… вдруг острая, резкая боль

пронизала висок, я невольно ахнула — и в отчаянии отбросила книгу и словарь…

Голова болит весь вечер; заниматься нет возможности; консерваторка знай дубасит то гаммы, то этюды…

Но странное чувство радости охватило меня: ведь теперь я могу обратиться к нему! и это будет правда!

И сейчас же написала ему:

Мсье,

пожалуйста, будьте так любезны, сообщите мне день, когда я могу приехать в Бусико.

Пожалуйста, мсье, примите мои самые исключительные чувства.

24 октября, четверг

Мадемуазель.

Если сможете, приезжайте в четверг к двум часам, поговорим о вашем здоровье.

Верьте, мадемуазель, в мои самые преданные и лучшие чувства.

Э. Ленселе.

И сегодня в два часа поехала в Бусико.

При дневном свете лестница показалась мне грязной, также и библиотека, куда ввела меня горничная, поражала общим небрежным видом… Можно было удивляться, как в новом госпитале все так быстро теряет чистоту.

Волнение от сознания того, что я сейчас его увижу, — отнимало у меня все силы. Я сидела неподвижно у стола, опустив голову и глаза, чтобы не выдать себя, увидя, как он войдет…

— Добрый день, мадемуазель. Как вы поживаете? — Слова эти как музыка прозвучали около меня.

И я едва могла ответить:

— Мне очень плохо, мсье.

— Головные боли снова возвращаются? — спросил он, садясь к столу, против меня. — Ну, рассказывайте, что случилось с вами с тех пор, как я вас не видел?

Я сказала ему о влиянии музыки на мои занятия.

— Но этому очень легко помочь! Стоит только переменить квартиру! — И его серьезное лицо на минуту осветилось ласковой, доброй улыбкой.

— Но мне жаль оставить эту комнату… там так хорошо и удобно. И потом — что же это будет,

если при всяком подобном случае будет болеть голова? Чем так страдать от нервов — лучше смерть, чем такая жизнь.

— Вы не имеете права…

— Нет, — перебила я, — теперь есть уже другие юристки, кроме меня, на первый курс нынче поступают четверо… Они будут работать во всяком случае лучше меня и принесут больше пользы. Значит…

— Значит, вы не даете мне высказать, — спокойно возразил он. — Я хотел сказать, что вы не имеете нравственного права распоряжаться своею жизнью. Каждый ответствен за себя. Другие будут работать на этом поприще — прекрасно, но у вас, быть может, есть способности, которыми они не обладают. И вы должны развивать их и стараться быть полезной, сами лично.

Я сидела и слушала, и слова его пробуждали во мне что-то хорошее, какую-то веру в себя. Его голос звучал так ласково, так гармонично, и весь он со своим серьезным лицом, прекрасными голубыми глазами казался мне существом лучше, выше всех, кого я когда-либо знала.

— Ну а как теперь ваше настроение?

Он меня спрашивал об этом! Страдание, острое, как лезвие ножа, охватило меня всю… Ведь этот

человек, которого я так люблю, — не любит меня. И, несмотря на все самообладание, глухое рыдание вырвалось у меня, и я отвернулась.

— Значит, вы находитесь по-прежнему — в угнетенном состоянии? Что ж… Надо же быть мужественною. Помните одно библейское изречение: надо бороться… Что же делать, если жизнь так устроена. Она тяжела — согласен… я сам не хотел бы иметь детей. Но раз мы уже родились, то наш долг стараться делать все возможно лучше и совершенствоваться самим.

Он вздохнул, подвинул к себе чернильницу и взял лист бумаги.

— Я дам вам лекарство… Вот, Valériane d'ammoniaque de Pierlot. Принимайте ежедневно три раза чайную ложку в полстакане сахарной воды. Когда кончите — приходите сюда. И если вы думаете, что я могу служить вам нравственной опорой, — всегда сделаю все, что в моих силах…

Он проводил меня до дверей, и я ушла… почти счастливая тем, что опять могу увидеть его.

25 октября, пятница

Мой товарищ Андрэ Бертье вернулся с вакаций. Тотчас же побежал в пансион, где я жила весной, узнал мой настоящий адрес… и сидел в моей

комнате весь сияющий, счастливый…

— Oh, mademoiselle! Я с ума сходил от отчаяния, не видя вас! Так долго тянулись эти вакации, так долго! И какая вы жестокая! Отчего не написали мне? отчего не ответили на мое последнее письмо?

Я с трудом припоминала… да, ведь это правда, — он писал, и я, кажется, один раз ему написала, после этой истории с немцем; потом, право, не до того было.

Я хотела так и ответить ему шутя, но при взгляде на его лицо запнулась. Столько искренней любви, столько преданности было в этих больших черных глазах, во всем выражении его красивого юношеского лица.

Вот что значит вместе готовиться к экзаменам по утрам в Jardin des Plantes! Мне стало жаль бедного Андрэ. И я сочинила какую-то историю, из которой он мог ясно понять, что невозможно было ответить ему, что в Лондоне решительно теряешь голову.

Он успокоился и смотрел на меня, блаженно улыбаясь, пока я приготовляла чай… и, уходя, — робко, почтительно поцеловал мне руку… Что с ним делать?

27 октября, воскресенье

Лавочка Мерсье в Villa Médic служит справочным бюро для ее обитателей; я беру у них молоко.

Сегодня спустилась туда, рассказала о своем несчастном положении и о трех пианино, чем и вызвала живейшеее сочувствие лавочника и его жены. И они тотчас же сообщили мне, что сдаются две комнаты в двух зданиях; одна в квартире, другая комната — в семье! О, счастье! одна жилица — и нет другого пианино! Уже одно это заставляло снять комнату, не раздумывая долго и даже не видав ее…

Я оделась получше, наученная горьким опытом; во все время переговоров не переставала любезно улыбаться, — и хозяйка, которая сдавала салон и не хотела взять менее 40 франков, что мне было дорого, — сбавила два:

— Вы так любезны, мадемуазель, поэтому вы мне нравитесь, я хотела бы, чтобы вы здесь поселились.

Я с торжеством вернулась и заявила madame Torchet, что переезжаю, из-за трех пианино. Хитрая старуха притворилась, будто она тут ни при чем, и потребовала было платы за две недели. Но

я храбро пригрозила ей довести дело до мирового судьи — за неисполнение условий тишины и спокойствия, — она струсила и замолчала.

28 октября, понедельник

Сегодня в Guild был реферат Пелиссье о поездке в Севенны. По окончании, когда мы все столпились около стола, чтобы рассмотреть фотографии, — мисс Williorux подвела к референту высокую полную даму в пенсне.

— Позвольте представить вам одну из моих учениц… мисс Норт, из Новой Зеландии. Знаете, в этой колонии женщины вотируют, не то что мы здесь.

Пелиссье любезно раскланялся, а я во все глаза смотрела на женщину, имевшую политические права. Ничего особенного: женщина как все женщины, а все-таки уже одно сознание, что у нее есть права, которых нет ни у одной женщины в Европе, — отличает ее от других смертных.

Мисс Норт и Пелиссье подошли к карте Новой Зеландии, повешенной на стене. Он, очевидно, спрашивал ее о чем-то, и я увидела, как она указывала ему на карте города и реки.

Я подошла и встала рядом с ними.

— Вот это — антипод Парижа, здесь — непода-

леку от Christ-Murch'a, — указала мисс Норт город на южной части острова, как раз под нами.

Было как-то странно слышать эти слова. Действительно, Париж — своего рода центр мира, куда съезжаются люди обоих полушарий. В прошлом году я встречалась только с американцами да неграми; теперь — увидала и австралийцев.

Я смотрела на черную точку и думала, что и под антиподами те же люди, и у них те же страдания, те же радости, что и у нас… Как велика, как важна наша личность в нашем сознании — и как мы ничтожны сравнительно с миром!

29 октября, вторник

Зашла еще раз в музей Гимэ. Меня влечет туда какая-то сила.

Спокойствие нирваны!

Когда смотришь на эти бесчисленные статуи Будды, на эти лица, полные глубокого внутреннего спокойствия, — точно отрешаешься от земли, и кажется, что от этих статуй исходит и передается такое ясное, безмятежное, сверхчеловеческое состояние души.

30 октября, среда

Понемногу переношу свои вещи к Madame Тессье. Бертье вызвался помогать, и у меня не хватило духа отказать ему в этом удовольствии.

1 ноября, пятница

Пошла сегодня на русскую вечеринку. Давно не видала соотечественников. Узнала, что в зале находятся муж и жена Муратовы, приехавшие из Петербурга. Они меня очень интересовали. Оба — известные в интеллигентных кругах Москвы и Петербурга общественные деятели, он, кроме того, и беллетрист… и я обрадовалась возможности познакомиться с ними. Дервальд их знает — они работали в одном журнале. Я подумала, быть может, им приятно будет узнать что-нибудь о нем, как он живет в Англии, и попросила представить меня им.

Они казались очень симпатичными и милыми людьми, у нас нашлись общие знакомые в Петербурге. Я поспешила им сообщить, что знакома с Дервальдом и его семейством и что могу сообщить им самые последние новости относительно него.

— Да, я знаю, я виделась с его женой в Петербурге перед отъездом, — ответила Муратова, и тон ее голоса из любезного вдруг стал холодным и резким.

— Виделись? Когда? — озадаченно переспросила я.

— В сентябре.

— Но не может быть! Его жена живет в Англии с декабря прошлого года, на берегу моря, в Боримаже! У нее еще недавно родился ребенок.

— Его жена живет в Петербурге, на Васильевском острове, на Большом проспекте… и дети — у него трое — все большие, в гимназию ходят… — холодно, почти враждебно проговорила Муратова, и лицо ее приняло мрачное выражение.

— Значит… — и слова застряли у меня в горле, и я почувствовала, что погружаюсь в какую-то тину, из которой нет выхода…

— Значит — вы знаете в Англии одну Дервальд, я в Петербурге — другую, настоящую Дервальд, и никакой другой не признаю, так как она не имеет права носить его имя…

Я больно ущипнула себя за руку, чтобы удостовериться — не снится ли мне все это…

Нет, не снилось…

Возможно ли, этот милейший, талантливый умница Дервальд — двоеженец?! Отец шестерых детей от двух матерей, из которых одна не имеет права носить его имени и, однако, всюду выдает себя за Дервальд; — тоже интеллигентная женщина, чуть ли не на курсах была…

— И она согласилась с ним жить?! Но, быть может, — он ее уверял, что свободен, и она — жертва? — робко спросила я Муратову.

— Петербург не так велик, и Дервальд слишком известен, все знают, что он женат.

— Но… как же относится к этому его первая жена? Отчего она не разведется с ним?

— Она ничего не знает. Это болезненная женщина, мало где бывает. Он же человек занятой, целый день его дома нет, куда хочет, туда и едет. Там его другая семья, — жила на другом конце Петербурга. Нет ничего легче, как спрятать концы в воду. Жена и подозревать ничего не может, так как он очень ее любит и ведет себя с нею как самый примерный муж. В прошлом году на Рождество он уезжал в Англию «по делам редакции»…

— В прошлом году в это время у него как раз родился ребенок, — задумчиво сказала я, вся подавленная нечаянным открытием.

А Муратова, которой этот разговор, очевидно, был неприятен, — отошла и заговорила с какой-то дамой.

— Вы танцуете? — раздалось над моим ухом.

Я отказалась. Мне было не до танцев.

Впервые в жизни столкнулась я с таким явлением, и где же? В среде писателей, о которых мы, простые смертные, наивно думали, что они раз пишут хорошо, то и сами стоят выше нас…

А тут вдруг — открывалась такая странная психология умного человека, что я решительно теряюсь и не знаю, что о нем думать. Примерный муж — для двух жен. Отец двух семейств — в разных концах Европы.

Я вспоминала, как у нас мужья ездят к своим любовницам и незаконным семьям — потихоньку; а талантливый передовой писатель устраивает свою жизнь вполне по-передовому: под предлогом здорового климата английского курорта переселил туда свое второе семейство, и там она носит его имя, а в Петербурге — окончательно нет риска, что первая жена узнает что-нибудь…

Хороша тоже и та, его вторая жена… на все согласилась… Говорят — любовь все извиняет. Я согласна в данном случае, если у человека такая странная психология, что ему, как татарину, —

нужно многоженство; это дело его совести. Но меня возмущает ложь, нравственная трусость этих двух людей, не имевших мужества открыто заявить о своем свободном сожительстве.

И главное — если бы его вторая жена вращалась в обществе не интеллигентном, — а то ведь в доме Ярцева бывают все самые передовые, либеральные, с самыми широкими взглядами люди… казалось бы, чего же перед такими скрываться? — Нет, все-таки трусят… И даже искренно убеждены, что они просвещенные люди и до полуночи готовы кричать о предрассудках и невежестве массы…

А сами-то каковы??

4 ноября, понедельник

Устроилась в новой квартире. Кажется, мои хозяева — славные старички: офицер в отставке с женой и теща, дряхлая восьмидесятилетняя старушка. Трогательно видеть, в каком мире и согласии живут они. Хозяйке моей шестьдесят четыре года, но на вид нельзя дать более сорока пяти: так она свежа, а главное — молода душой.

Я только удивляюсь, как у нас быстро старятся! Все безразлично — мужчины и женщины, и как долго они сохраняют молодость здесь! И видно,

что эта любовь к молодости служит преобладающей чертой характера хозяйки. «Первое, что старится у женщины, — это шея», — сообщила она мне деловым тоном в первый же вечер. Я с трудом удержалась от смеха и вежливо выслушала такое интересное сведение.

Положим, она употребляет косметики: подводит брови, мажет губы, пудрится. Сначала с непривычки мне казалось это странным, и я готова была осудить ее. Но она такая добрая и такая живая, с широкими взглядами… Я еще не верю своей удаче: да неужели же и впрямь попала к порядочным людям?

И как трудолюбива эта французская женщина! С утра она занимается хозяйством: сама прибирает комнаты, готовит завтрак; потом одевается, причесывается, и, видя изящную парижанку, — трудно верить, что какой-нибудь час тому назад она в капоте, с засученными рукавами, прибирала комнаты, мыла посуду, — словом, была и горничной, и кухаркой. При всем этом она наблюдательна, остроумна и обладает каким-то неиссякаемым источником молодости души. Приходится сознаться, что в среднем мы, русские женщины, такими достоинствами не обладаем.

У нас одно из двух: если интеллигентная жен-

щина — и тогда почти не занимается хозяйством, или же — мать семейства, хозяйка, опустившаяся, преждевременно состарившаяся, небрежно одетая и причесанная, вечно на кухне, вечно сердитая и в хлопотах. Мы не умеем, что называется, держаться золотой середины. При дешевизне прислуги, если только в нас преобладает интеллигентная жилка, — тотчас же сваливаем на нее всю работу и идем заседать в разные общества, говорить и слушать хорошие слова.

Жаль, что женщины всей латинской расы, за исключением энергических румынок, — подавлены клерикализмом и Наполеоновым кодексом. Не будь этих двух препятствий — они пошли бы вперед…

Наши русские женщины справедливо могут считать себя передовыми, но чтобы не останавливаться на пути самосовершенствования — надо признать, что, в среднем, они далеко не так трудолюбивы, и остроумны, и изящны, как француженки. И чем объяснить, что у нас так быстро все стареются? Должно быть, климат такой…

Кажется, и я понравилась старикам. Моя любезность, мой внешний вид, безукоризненно изящный туалет, модная прическа, быстрая и легкая походка — очаровали madame Tessier, и

она не перестает говорить мне комплименты.

— Какой у вас чудный цвет лица! И как вы хорошо одеваетесь, с каким вкусом… точно парижанка, право! — говорила она, глядя на мои платья, когда я разбиралась в своих вещах.

Я уверила ее, что не трачу много денег на платья, что привезла из России кое-какие старые вещи и только переделала их здесь.

Madame Tessier с видом знатока качала головой:

— Во всяком случае, вы отлично справляетесь с своим туалетом. А вот я так ленива стала. В прошлом году купила пеньюар. — И она притащила из cabinet de toilette светло-голубой пеньюар с белой вставкой.

Мне надо было сделать над собой усилие, чтобы не рассмеяться, но бесконечное добродушие, с каким madame Tessier рассказывала о своем пеньюаре, уничтожало в корне всякую насмешку… Ну что ж, ведь она действительно выглядит моложе своих шестидесяти четырех лет, — отчего бы и не носить ей голубых капотов?..

Я иногда сама на себя досадую, зачем так скоро усвоила эту французскую внешнюю любезность. То ли дело англичане: те всюду возят с собой свои привычки, не подчиняясь ничьим обычаям. А мы

— наоборот: ничего, кажется, кроме чаю, да и то без самовара, с собой не привозим. С удивительной легкостью и быстротой схватываем чужое произношение, с готовностью подчиняемся чуждым обычаям.

Пресловутая славянская гибкость натуры! Не в этом ли причина нашей слабости — что мы недостаточно тверды сами в себе?

5 ноября, вторник

Все смотрю на стеклянку — много ли осталось, скоро ли можно будет написать ему.

7 ноября, четверг

Сегодня ровно две недели, как я видела его… и впереди увижу опять. О, какое это чудное время, между двумя днями, когда вся живешь воспоминаниями о прошедшем и надеждой на будущее!

Я не думаю о том, что будет дальше. Я закрываю глаза на будущее, оно слишком страшно, чтобы думать о нем…

Мне так хорошо теперь… Я — здесь, вблизи от него и скоро увижу его…

9 ноября, суббота

Вчера пригласила madame Tessier пить чай. Она пришла в восторг от thé russe, и мы дружески беседовали целых два часа.

Она рассказала о соседях, но не о всех, а только о выдающихся — их ведь так много, что и знать трудно.

Напротив нас, оказалось, живет французская женщина-адвокат Жанна Шовэн, — под ней в прошлом году жила романистка Marcel Finayre, а внизу, в нашем доме — как раз под нами — тоже писательница Кларанс.

И madame Tessier знает ее лично и бывает у нее.

— Это преинтересная особа. У нее вторники, собираются артисты, писатели. Я, конечно, стара для этого общества и воспитана была иначе, но все-таки люблю иногда сойти к ней. Там так весело, и мне приятно смотреть на эту молодежь. И сама Кларанс очень милая девушка. Конечно, эта среда артистов и писателей очень свободная, но — не мое дело, как она живет, я знаю только, что это очень симпатичная молодая особа.

Madame Tessier, при ее возрасте и воспитании, — уже не раз приятно удивляла меня своими

широкими, терпимыми взглядами, хотя бы самому передовому интеллигенту впору.

— И у ней бывает ваш соотечественник, скульптор Карзи… Карей… какие трудные эти русские имена… вот — вспомнила — Karsinsky. Я рассказала, что сдала комнату русской студентке, и он тотчас же спросил: «Красивая она?»

— Он мог бы и не спрашивать, — заметила я, задетая бесцеремонным тоном этого вопроса за глаза.

Но для madame Tessier, как для француженки, вопрос этот был вполне естествен.

— Отчего же не спросить? Я ответила: «Она очень и очень мила, ваша соотечественница, мсье Карсинский». Ему очень интересно познакомиться. И Кларанс тоже говорила: «Вы ее приведите ко мне». Если хотите, я познакомлю вас с ней. Вам будет интересно.

Я с удовольствием согласилась и спросила, что же пишет эта Кларанс, какие романы?

— Знаете ли, я нахожу их немного слишком… вольными… для женщины… Есть у меня один ее том, если хотите, я дам вам прочесть, только…

И madame Tessier запнулась. Я рассмеялась и стала уверять ее, что она все-таки с предрассудками, что нравственность должна быть одна для

обоих полов и отчего же женщине и не написать более или менее «вольного романа», когда мужчины на практике проделывают ежедневно то же?

Но madame Tessier на этот раз стояла на своем: «Вы не читали, вот сначала прочтите».

И она принесла мне небольшой томик «Ужасные страсти».

О, какое забористое заглавие! посмотрим, что это за роман!

10 ноября, воскресенье

Сегодня написала ему письмо… Если бы он мог между этими сухими краткими строчками увидеть всю бездну страдания моего сердца, все мое горе, все мое отчаяние…

11 ноября, понедельник

Пробежала роман Кларанс. Действительно, права madame Tessier, с той только разницей, что писать такие романы одинаково «чересчур» и для женщины, и для мужчины. Это был такой откровенно-сладострастный роман, какого я никогда еще не читывала. Тут были и «гибкие тела», и «шелковистые ткани», и «надушенные юбки», и

«оргия ночи», и «горячая кровь похоти»… Смелая и откровенная фантазия, но без таланта Золя… И если роман сам по себе, кроме слога, никаких других достоинств не имеет — его автор должен был представлять очень интересную личность…

12 ноября, вторник

Madame Tessier после завтрака предупредила меня, что сегодня в пять часов мы сойдем вниз к Кларанс. Это значило — одеться.

В пять часов я вошла в столовую — и ахнула. Madame Tessier была великолепна: черное атласное платье с бархатным воланом и тюлевой вставкой; черная шляпа с белыми розами; подвитая, напудренная, с ярко-розовыми губами от фиксатуара — под вуалеткой с круглыми черными мушками, — она казалась совсем свежей сорокапятилетней женщиной… Я рассыпалась в комплиментах и скорее докончила свой туалет, стараясь не ударить лицом в грязь рядом с такой великолепной дамой.

Внутренне вся эта церемония очень забавляла меня: я надевала нарядный корсаж, меховую пелерину и большую черную шляпу à la Rembrandt с длинным пером… для того, чтобы сойти с лестницы и позвониться внизу.

Это было смешно и весело.

Мы сошли с торжественной медлительностью: полнота madame Tessier, несмотря на корсет, мешает окончательно свободе ее движений, и она не может ходить быстро.

Мы позвонили. Отворилась дверь, и в полумраке прихожей мелькнуло бледное, красивое молодое лицо; маленькая тонкая фигурка — хромая — отошла, чтобы дать нам войти.

— А, это вы, madame Tessier? и с своей новой жилицей? Очень, очень рада, — быстро сказала она, протягивая руку. — Проходите, пожалуйста, в гостиную…

И она, затворив входную дверь, отдернула портьеру.

В небольшой уютной комнате ярко горел камин, и кругом на стульях сидело несколько мужчин и одна, уже немолодая, дама.

— Дорогая мадемуазель Кларанс, позвольте вам представить мадемуазель Дьяконофф, — представила меня хозяйка.

Я раскланялась по всем правилам здешних обычаев первого знакомства: сдержанно и церемонно, — не протягивая руки, слегка наклоняясь вперед.

— Очень, очень рада познакомиться; я уже слы-

шала о вас. Господа, позвольте вам представить mademoiselle Lakoff, — тут же переврала Кларанс мою фамилию.

Присутствующие так же церемонно раскланялись.

Я села рядом с madame Tessier, которая торжественно поместилась в широком кресле, и с любопытством осмотрелась.

Кларанс была действительно очень интересная особа, начиная с внешности. Короткие, черные, завитые волосы обрамляли ее бледное лицо с правильными чертами и блестящими темными глазами; черные, как бархатные, брови оттеняли белый лоб. Ее хрупкая, тонкая фигурка, несмотря на физический недостаток, отличалась необычайной подвижностью. Черное платье фасона Tailleur, безукоризненной простоты и изящества, сидело на ней ловко, и вся она казалась какой-то оригинальной, живой картиной, откуда-то зашедшей в эту гостиную.

Разговор, на минуту прерванный нашим приходом, возобновился. Ловко усевшись на ручку кресла, Кларанс рассказывала о чем-то страшно быстро и громко смеясь. Один из гостей — молодой человек с длинной белокурой бородой и ленивыми голубыми глазами — вставил заме-

чание, которого я не поняла. Все рассмеялись, и Кларанс громче всех.

— Перестаньте, будет, Дериссе! Хоть бы постыдились перед русской барышней… Mademoiselle Lakoff, я должна вас предупредить: не судите, видя нас, о парижском обществе… Вы попали в самую свободную среду, самую что ни на есть парижскую… Мы здесь почти все художники, артисты, литераторы. Мы не богема, но все-таки свободная артистическая среда, где всякий говорит, что хочет…

— Еще бы, между друзьями! — И из угла поднялась грузная русская фигура и неуклюже, размашисто охватила сильной рукой тонкую талию хозяйки.

— Убирайтесь, русский медведь! хоть для первого раза постыдились бы перед соотечественницей! — крикнула на него Кларанс, вырываясь и ударяя его по руке.

— Ну, ничего, это я так, немножко, — нимало не смущаясь, отвечал «русский медведь» и подошел ко мне.

— Очень рад познакомиться с вами… я — скульптор Карсинский, — отрекомендовался он, протягивая руку и широко, добродушно улыбаясь.

И я улыбнулась, глядя на этого человека. Про-

звище, данное Кларанс, подходило к нему как нельзя более. Его высокая, мощная фигура, широкое лицо, пышная борода, волосы, небрежно откинутые назад с низкого лба, — ничто в нем не гармонировало с этим изящным парижским салоном, и весь он, большой, сильный, грубоватый, — казалось, попал сюда как редкость, как кукла самоеда в женском будуаре…

— Вот и она, мсье Карсинский, — ваша соотечественница… — любезно обратилась к нему моя madame Tessier…

— Да, я уже говорил о вас с ней, — сказал он. — Вы недавно приехали?

— Второй учебный год в Париже.

— А-а… а я так здесь живу уже четырнадцать лет… Но Россию люблю и не забываю… О памятнике Белинскому, быть может, слышали? Я его автор…

— Как же, как же, слыхала, — сказала я, обрадованная такой встречей. — Так что вы и есть автор проекта?

— Да, я. Если хотите, дам вам фотографию с бюста Белинского, рисунок «Апофеоз Белинского»… Я знаком с его дочерью и внуками, они были в моей мастерской, когда приезжали делегаты из Пензы…

— Очень вам благодарна… — радовалась я такой счастливой случайности. Шутка ли, читала об этом в газетах, а тут вдруг — судьба сводила с самим автором памятника…

— Mademoiselle, вот видите у камина даму — это madame Emile Carsolle, я вам говорила о ней, — пишет сентиментальные романы, нравственные и очень хорошие… признанные Академией; я очень люблю ее жанр, — прошептала madame Tessier, наклоняясь ко мне.

Я с любопытством посмотрела на автора нравственных романов. Это была уже немолодая женщина, без признака французской грации и кокетства, — как наши провинциальные дамы, — одетая в простую черную юбку и скромный шелковый немодный корсаж. Гладкая прическа, и ни следа косметики на еще свежем лице. Она задумчиво просматривала газету, сидя у камина и не обращая никакого внимания на окружающих.

Двое молодых людей — блондин с длинной бородой, маленького роста и брюнет с живыми глазами и черными бровями полукругом, что придавало в высшей степени комическое выражение его молодому лицу, — смеясь, о чем-то спорили с Кларанс.

Madame Tessier сидела важно и неподвижно, не говоря почти ни слова и с удовольствием смотря на веселую молодежь.

Художник, очевидно, сказал что-то особенно смешное, — и Кларанс, хохоча во все горло, опрокинулась в кресло…

— Ох, ох, ох… — задыхалась она от смеха, скульптор расхохотался тоже, madame Tessier улыбалась.

Я ничего не понимала и во все глаза смотрела на них: говорили по-французски, но совершенно новые, непонятные слова.

— Вы не смущайтесь, mademoiselle, — сказала Кларанс, стараясь перестать смеяться. — Вы часто услышите здесь такие слова, которых не поймете. Это — сленг, что называется. Так как здесь народ вольный — артисты, художники, — то мы не стесняемся в выражениях. Я очень дурно воспитана.

— Скажем так, Clarence, — перебил ее художник.

— Молчать. Дайте мне предупредить русскую. Она может невесть что о нас подумать. Что мы — чудовища, а на самом деле — право, вовсе не злые люди. Мы любим пошутить и посмеяться без стеснений — это верно, но ведь это же не грех. Мы мало того, что друзья, мы и земляки — почти

все из Тулузы.

— Мы — бедные артисты, чающие славы и утешения! — сказал художник, вскакивая со стула и опускаясь предо мной на колени; он приложил руку к сердцу и мечтательно закатил глаза кверху.

Эта выходка была так неожиданна, выражение его лица так комично, что все присутствующие рассмеялись.

— Смотрите — это он вам в любви признается… скоро же, скоро же, Henry! — крикнула Кларанс.

— Я из страны снегов и льда… Они тают не так-то быстро, — ответила я, улыбаясь.

— Под солнцем юга растает лед севера! — с комическим пафосом воскликнул художник.

Я опустила глаза, придумывая, что бы ответить, как вдруг он вскочил и повелительно протянул руку:

— Сидите так… Смотрите, Кларанс, смотрите все — как хороша mademoiselle в этой позе.

Я почувствовала на себе несколько пар любопытных глаз и невольно покраснела.

— Ах, как хорошо! какая вы чудная модель! Что у вас за цвет лица — настоящий, розовый, живой, не искусственный, как у парижанок…

— Да, с моей соотечественницей можно сде-

лать прекрасные вещи не шутя. Вы должны быть хорошо сложены, — серьезно сказал скульптор, внимательно смотря на меня.

Я не знала, что отвечать… Я чувствовала, что здесь надо выйти из рамок общепринятого буржуазного понятия о «приличии» и, так сказать, — суметь воспринять эту новую атмосферу.

И в то же время мое артистическое чувство было польщено.

У меня совсем нет женского самолюбия, но есть любовь к искусству, к прекрасному и понимание его. И мне приятно было слышать, что я своею внешностью могу возбудить художественный восторг, — дать идею…

Madame Tessier взглянула на часы и поднялась. Ей пора было идти приготовлять обед своему Шарлю. Я встала тоже. Кларанс ласково простилась с нами, прося не забывать ее вторников.

— Ну что, понравилось вам? — спросила madame Tessier, поднимаясь по лестнице. — Они держат себя немного вольно, но в общем милые люди.

И я искренно ответила, что весьма благодарна за такое знакомство и что это все действительно милые люди…

13 ноября, среда

Зашла сегодня к Муратовым. Уходя с вечеринки, мы встретились на лестнице, и они звали зайти, жаловались, что плохо устроились. Я побывала у них — и действительно, неудобно и нехорошо. Предложила им переехать в наш пансион, там как раз есть две свободные комнаты. Сводила, показала, поторговались с мадамой и упросили ее отдать комнаты именно им, а не другому семейству, которое тоже имелось в виду. Они были очень довольны, я тоже: оказать услугу таким людям считаю за честь, и очень рада, что теперь у меня в пансионе есть такое симпатичное знакомство.

14 ноября, четверг

Сегодня утром получила от него визитную карточку — «Э. Ленселе. Интерн в больнице». А его почерком внизу написано: «Приезжайте в Бусико в четверг около четырех часов, если этот день вам подходит».

«Если этот день вам подходит!» — да будь у меня хоть тысяча дел — все брошу и пойду!

Сегодня начало лекций на нашем факультете.

Когда я появилась в аудитории в парижском зимнем костюме, не то что в прошлом году — в черной шляпе и нескладной русской жакетке, — студенты устроили овацию. Я несколько растерялась от такого выражения симпатии. Положим, я одна на своем факультете, и это немало занимает их…

Я рассеянно слушала профессоров, заглянула в библиотеку и после завтрака, чтобы убить время, — зашла и в Guild, на уроки, которые мне страшно надоели своей скукой и элементарностью. Нет, мне решительно нечего делать в этом учреждении для учительниц языков: я настолько хорошо знаю язык, что практически говорю очень бегло, а изучать грамматику — не хватает терпения, и я умираю от скуки на уроках.

Потом поехала в Бусико. Горничная отворила дверь.

— Мсье Ланселе просит его извинить, он не мог дождаться вас; по телефону его вызвали к больному, он вынужден был уйти. Он назначит вам другую встречу.

— Спасибо, мадам.

Я ушла. Сердце мучительно сжалось. Ну что ж? Он вынужден был уйти… значит, нельзя было остаться. Но если бы… он все-таки захотел

остаться… Ведь мне он нужен не меньше, чем тому больному.

16 ноября, суббота

И опять по-прежнему жду письма… Напрасно буду ждать! Но нет, — ведь он же сказал горничной, что назначит другой день.

Сегодня, по окончании лекции, Бертье по обыкновению вышел со мной в коридор. Бедный мальчик не отходит от меня ни на шаг. К нему подошел высокий, стройный, красивый брюнет, очень хорошо одетый.

— Позвольте вам представить моего товарища Danet, — сказал Бертье.

Брюнет почтительно поклонился.

— Впрочем, он не столько студент, сколько художник.

— Ну, просто любитель, — вы ему не верьте, он и впрямь расскажет так, что можно подумать, будто я настоящий художник, — перебил его Danet.

— Вы много рисуете? — спросила я.

— Да. Во всяком случае — это интересует меня гораздо больше, чем юридические науки. Особенно теперь работы много: с одним художником рисуем ложу в госпитале Брока для бала

интернов.

Я вся насторожилась.

— Это еще что такое — бал интернов?

— А это очень интересно. Видите ли, интерны дают бал в зале Бюлье. И вот некоторые госпитали делают ложи и устраивают процессии. Мы выбрали текст из Тита Ливия: богатый помпеянец дает праздник в честь освобождения своего любимого раба. После празднества он отправился в храм Юпитера и возвращается к себе домой, окруженный друзьями. Вот мы и рисуем вид Помпеи у подошвы Везувия, — наша ложа должна быть римская. И оденемся все в античные костюмы.

— О, так это должно быть очень интересно! — воскликнула я.

— Да, будет весело, — улыбаясь, отвечал Danet.

Значит, он будет на этом балу, я могу увидеть его…

— А мне… можно попасть на этот бал? — робко спросила я.

Danet рассмеялся, а на детском лице Бертье отразился явный ужас.

— О, нет, нельзя… это бал веселый и… очень свободный. Жаль отказать, но, право, это не для вас. До свиданья, спешу в Брока. Работы много.

Он пожал нам руку и скрылся в толпе.

— Надеюсь, вы спрашивали Danet о бале интернов не серьезно? Ведь вам же нельзя туда идти… — сказал Бертье, тревожно заглядывая мне в лицо.

— Конечно, конечно, — нет… я пошутила. А вы сами туда не пойдете?

Детское лицо Бертье приняло совсем испуганное выражение:

— Я-то? Да как это можно?! Меня родители не пустят. Danet живет самостоятельно, у него нет отца, он очень богат, что хочет, то и делает. А я не могу, у меня родители очень строгие.

Я успокоила бедного мальчика, — но уже решила, что буду на этом балу. Если я не могу видеть его нигде, неужели потеряю такой случай?

А вечером сидела у румынок и слушала рассказы медички о больнице и интернах. Отчего бы и мне не сходить с ней в Hôtel-Dieu, это так напомнит его, — вдруг сообразила я. И попросила na belle Romaine взять меня с собою.

— С удовольствием, — любезно согласилась она. — Это действительно очень интересно. Одного Dieulafoy стоит посмотреть.

— Это, кажется, знаменитость? — неуверенно спросила я.

— Еще бы! — воскликнула медичка, чуть не

негодуя на мое неведение светил медицинского мира. — Еще бы! Вот вы увидите — замечательный красавец, и как сохранился для своего возраста! Совершенно шикарно! Он читает по средам и субботам. Пойдемте в среду. Заходите за мной к 9 часам утра.

18 ноября, понедельник

Поздно встала сегодня: накануне у Кларанс был вечер.

Она прислала мне с утра записку. И madame Tessier — пока я одевалась — заботливо следила, все ли хорошо. Когда я сошла вниз, небольшая гостиная была уже полна. Молодые люди — пианист, скрипач и виолончелист — играли трио. Я тихо пробралась по стенке, чтобы не мешать, и села рядом с Кларанс.

Было несколько новых лиц. Кроме писательницы сентиментальных романов, еще две: одна — молодая красивая брюнетка, в ярко-красном платье, другая — блондинка неопределенных лет, высокая и тонкая, с пышно взбитой прической и подведенными глазами.

Я уже начинаю привыкать, что в Париже употребление косметики не есть признак какой-либо одной категории женщин, как у нас, — а обще-

распространенная привычка. Первое же время по приезде я со всей провинциальной наивностью всякую накрашенную женщину принимала за кокотку.

Музыканты играли очень недурно, как настоящие артисты. Henry, живой как ртуть, не мог спокойно сидеть на месте: он, казалось, с нетерпением ожидал, скоро ли кончится концерт, чтобы показать свои таланты.

Кларанс потихоньку, чтобы не мешать игре, рассказывала мне его биографию.

— Вы услышите от него всякие анекдоты… скабрезные, а в сущности, он сам ведет очень скромную жизнь, работает не покладая рук, беден, как Иов: живет всего на 55 франков в месяц, стипендиат города Тулузы. Сам готовит себе обед, при этом — всегда весел, всегда в хорошем настроении, ни на что не жалуется. Предупреждаю вас, что бы вы ни услышали здесь, знайте одно — здесь нет дурных людей.

Henry легким прыжком очутился около нас и признался мне в любви.

Кларанс готова была опять разразиться смехом во все горло, но музыканты кончили играть, раздались аплодисменты.

Опять надо было представить меня новым по-

сетителям. Henry сел за фортепиано, перебирая клавиши.

— Ну, теперь, господа, споем нашу родную песню, — предложила Кларанс. — Madame Carvolli, к пианино! Henry — сюда, вы, Дериссе, поете? нет? Ну, начнем… Henry — вы запевайте.

Лицо художника стало вдруг серьезно, и он запел прекрасным баритоном.

Звуки бесшабашной веселой песни, казалось, раздвигали стены этой маленькой гостиной и далеко уносили всех присутствующих под благодатное южное небо — в счастливую страну, залитую солнцем.

«Ah, Toulouse!» — раздался мощный, гордый припев, и волна беззаботного веселья разливалась в комнате и захватывала всех… У меня сердце замирало, — не знаю отчего… И невольно вспомнились печальные напевы моей родины…

И когда Henry, весь красный, усталый, отирая пот со лба, отошел от пианино, — все не сразу заговорили, точно эти чарующие звуки удерживали еще всех в своей власти…

— Какова же должна быть у вас жизнь — там, на юге Франции? — с невольной завистью к этой способности наслаждаться жизнью воскликнула я.

— О, жизнь у нас хороша! Солнце сияет, мы вечно веселимся! Поэзия, искусство, женщины, любовь — что может быть лучше такой жизни? — с увлечением объяснял мне Henry, становясь на колени. — Полюбите меня. А? Отчего? — И он вертелся как волчок, возбуждая общий смех.

Я и не заметила, как высокая блондинка с подведенными глазами подошла к пианино, музыкант взял первые аккорды аккомпанемента:

Прекрасные дни наконец возродятся,
Вот и он, ароматный апрель!
Меня пронизывает трепет любви…
Приди же, мой любезный друг! —

пронеслись и замерли нежные, ласкающие звуки.

И этот музыкальный призыв заставил смолкнуть начавшиеся было разговоры, и Henry затих, присмирел, сидя у моих ног.

Я вся встрепенулась и жадно ловила каждый звук, каждое слово.

Все длились долгие мрачные вечера,
Но уже благоухает сад
И наполняется птицами и розами…
Приди же, мой любезный друг!

И я не могу ему это сказать. Никогда… Все мое сердце зовет его, но сказать… невозможно…

Эти нежные звуки острою болью проникали в душу, и однако я слушала и слушала, вся дрожа, стараясь удержать рыдания, сидеть спокойно, чтобы никто ничего не заметил…

Солнце, твое пьянящее сияние,
Я чувствую, воспламенило мое сердце.
Но еще более пьянит твоя ласка…
Приди же, мой любезный друг!

Все тихо; сетью миллионов звезд
Покрыто бездонное небо,
Когда опускается завеса ночи…
Приди же, мой любезный друг! —

замер в последний раз призыв любви. Я поскорее вышла в коридор и приотворила входную дверь… слезы душили меня.

Струя холодного ночного воздуха освежила, привела меня в себя.

Я слышала за собой шорох женского платья и обернулась: в темноте краснело платье брюнетки.

— Я последовала вашему примеру — тоже вышла освежиться, в гостиной так жарко.

Я подвинулась, чтобы дать ей место у приотворенной двери, радуясь, что все объясняется так просто и легко для других.

А красивая дама продолжала:

— Вы часто здесь бываете? Я в первый раз.

— Я второй. Меня недавно познакомила с ней хозяйка, я снимаю комнату наверху.

— А, так вы студентка? Я тоже недавно кончила Высшую школу.

— Чем вы занимались?

— Латинской эпиграфией. Моя теза была напечатана на счет факультета. Профессора одобрили… — скромно прибавила она.

Это меня заинтересовало. Она говорила по-французски слишком хорошо для иностранки, но француженкой быть не могла: здесь женщины не станут заниматься археологией. Я спросила, откуда она.

— Я румынка, муж тоже, моя фамилия — Васкареско. Он занимается здесь в психометрической лаборатории. Целый день занят. Мне было ужасно скучно одной дома, я и поступила в École des Hautes Etudes. Все-таки на три года были занятия.

Я с любопытством посмотрела на эту красавицу, которая занималась латинской эпиграфией и писала тезу… от скуки.

Прежде развлекались всяким вздором, теперь, в наше время всяческого прогресса — и наука уж не так недоступна.

Нам стало холодно, и, затворив дверь, мы вернулись в гостиную. Румынка посмотрела на часы и извлекла из кресла своего мужа, высокого господина с правильным бритым лицом, что придавало наружность актера. Он сидел неподвижно и, казалось, что-то созерцал, не принимая участия в общем разговоре. Оба они, и муж и жена, своими сдержанными, корректными манерами совсем не гармонировали с остальным обществом, и видно было, что они тут случайные гости. Кларанс стала их удерживать, они настаивали и простились. Около полуночи встали и музыканты, которым надо было ехать далеко на Монмартр.

После их ухода — веселье оставшихся, не сдерживаемое более ничьими посторонними элементами, — разошлось вовсю.

Henry был неистощим: он прыгал, представлял балерину, певцов, певиц — сочинял целые комические сцены, рассказывал неприличные анекдоты.

Все покатывались со смеху.

— Henry, чаша, представьте чашу! — кричала

Кларанс.

Что бы это такое могло быть? — недоумевала я и, видя, что все смеются, — тоже улыбалась. Должно быть, это уж что-то необыкновенное, — все очень оживились и хором поддерживали просьбу Кларанс.

Henry ушел за портьеру. Все присутствующие притихли, молча улыбаясь. Кларанс давилась от смеху, закрывая рот платком.

Раздался как будто плеск воды — голос Henry удивительно верно передавал этот звук; потом аханье — как погружаются в холодную воду летом, — страшно и приятно, потом — поцелуи, брызганье, снова плеск воды…

В комнате стон стоял от смеха.

Я ничего не понимала. По-моему, Henry представлял, как жена уговаривает мужа брать холодный душ, а тот боится и не сразу идет под струю холодной воды; она хлопает его по голому телу, целует… Это было, конечно, смешно, но меня еще более смешило безумное веселое настроение присутствующих.

Я попробовала было спросить Кларанс, но та при взгляде на мое лицо закричала:

— Посмотрите, она не понимает, ох-ох-ох…

— Ха-ха-ха-ха-ха…

Мы уже не могли сидеть, а лежали от смеха… кто удерживался за спинку стула, а Дериссе буквально катался по пушистому ковру. Я утирала слезы, как и все, ничего больше не спрашивала, не думала, не соображала… Веселье опьянило меня, голова кружилась.

Я смутно слышала комплименты у Henry, чувствовала, как он поймал мою руку и поцеловал ее при общем одобрительном смехе присутствующих.

Гости стали расходиться; я поднялась по лестнице к себе наверх и заснула как убитая, без всякой мысли в голове.

20 ноября, среда

Проспала, по обыкновению, долго, до без четверти девять. В четверть часа оделась и скорее побежала за медичкой. Надо было идти в Hotel-Dieu.

Мы пришли туда еще рано. По обширной палате, стены которой были выкрашены светло-зеленой краской, неслышно расхаживали несколько студентов.

Это была женская палата.

Румынка заговорила с одной из больных, а меня вдруг охватил страх: а ну как вдруг кто-нибудь

заметит чужое лицо, подойдет и спросит… Но Ja. belle Romaine вполне успокоила меня: на визитах Dieulafoy бывает столько посторонних посетителей, столько иностранцев, что все привыкли и не обращают внимания на незнакомые лица. Я вздохнула свободно.

Раздались три звонка — и на пороге палаты показалась высокая, стройная фигура в светлом вестоне и фартуке, — это и был Dieulafoy.

Действительно, на него стоило посмотреть: прекрасная, совершенной формы голова, с правильными чертами лица, орлиным носом и взглядом хищной птицы. Я смело вмешалась в толпу студентов и последовала за профессором в мужскую палату. Но идти вместе с ними оказалось не так-то легко: меня скоро оттеснили назад; группа остановилась; с минуту я увидела на кровати совершенно обнаженную мужскую фигуру, и потом спины студентов скрыли от меня и ее, и профессора.

Впервые в жизни видела я так близко от себя совершенно нагого мужчину и не чувствовала никакого смущения — больница убивала все предрассудки. И когда профессор подошел к другой кровати, я ловко, как змея, изгибом, проскользнула между студентами и встала впереди.

Красивый мальчик лет 14, с чудными черными глазами. У него была болезнь сердца. Бледные восковые руки неподвижно лежали на одеяле. Из толпы выделился интерн и стал читать о ходе болезни. Dieulafoy внимательно выслушал, утвердительно кивая головой, потом взял руку мальчика и показал студентам на кончики пальцев. Те с любопытством посмотрели и взяли другую руку… Я могла только смутно догадаться, что, должно быть, он указывал на сосуды.

Минуя несколько кроватей, он опять остановился, велел выдвинуть одну из них на середину, чтобы студенты лучше видели, и попросил обнажить больного.

Это был рабочий лет пятидесяти. Среди белой простыни темным пятном выделилось волосатое, худое, донельзя истощенное тело; ужасная краснота и опухоль покрывала ему правую руку и шла по боку. Тонкие худые руки медленно задвигались, больной поднял на нас свои растерянные глаза и тихо ответил на вопрос интерна, — как вы себя чувствуете?

— Теперь гораздо лучше, только сил нет.

Это, очевидно, был «интересный» случай. Интерн говорил долго, Dieulafoy после него — еще дольше, но, увы! среди массы непонятных специ-

альных слов я могла понять только одно, — что больной был ушиблен вагоном и, очевидно, произошли какие-то осложнения. При взгляде на эту ужасную опухоль у меня мурашки пробегали по коже, и я инстинктивно опускала глаза, боясь, что в них все прочтут сострадание и ужас и поэтому узнают, что я не врач.

Наконец длинное объяснение кончилось. Dieulafoy перешел на другой конец залы, где к своей кровати быстро подошел какой-то рабочий; Dieulafoy велел выдвинуть ее, — и рабочий лег, раздеваясь донага… Это, очевидно, был больной, только что пришедший в больницу. Все студенты с любопытством столпились около него. Dieulafoy начал осмотр.

— Сколько вам лет?

— 38.

— Давно вы больны?

— С первого ноября.

— Уже три недели? Отчего вы раньше не обратились к врачу?

— Я думал, что это пройдет.

Насмешливая улыбка проскользнула по лицам студентов. Но лицо знаменитого профессора оставалось бесстрастно и спокойно. Он ничего не сказал и жестом полководца, призывающего

войска на поле сражения, пригласил интернов сделать диагноз.

— Daniel, начните вы!

По некрасивому лицу бойкого интерна пробежала смешная ужимка.

— Ну, это очень сложный случай, — откровенно признался он.

Студенты засмеялись.

— Ничего, ничего, — ободрил его Dieulafoy.

Интерн исследовал больного, потом осторожно начал выводить свои заключения.

— Это язва, — объявил он.

«Язва — думала я… — В русском языке есть такое слово, что-то такое слыхала, но что это за болезнь — не припомню».

— Теперь вы, Marignan, — вызвал Dieulafoy другого интерна.

— Я должен заявить, что мой диагноз будет диаметрально противоположный диагнозу моего товарища, — так же откровенно признался маленький брюнет еврейского типа, выступая вперед.

Студенты опять рассмеялись.

Опять исследование, лупа, тряпочки, и опять — длинная речь.

— Это сифилитическая язва, — решительным

тоном заключил он.

А-а, так это венерическая болезнь, — и я без всякого сожаления, с чувством какого-то злого удовлетворения посмотрела на эту жертву слишком усердного поклонения богу любви. Поделом тебе, не развратничай! Наверно, какая-нибудь проститутка отплатила ему за все, что он сделал подлого, пользуясь в домах терпимости женским телом для своего удовольствия…

А тем временем исследовал еще интерн, и еще другой. Их мнения разделились: одни определяли шанкр как сифилитический, другие — как мягкий.

Наконец заговорил сам «maître»:

— Я совершенно согласен с диагнозом Marignan — это шанкр сифилитический. Почему не мягкий? Мягкий шанкр, господа, образуется несравненно дольше, месяца два, а здесь — смотрите — в три недели какое образование, какие ясные симптомы…

Я расскажу вам аналогичный случай из моей практики. Тридцать лет тому назад, когда у меня был интерном Paillard, — к нам пришел такой же больной. Он определил шанкр как мягкий, я — как сифилитический. Больной возмутился — как это у него находят сифилис, сказал, что это

невозможно, и ушел.

Через несколько времени болезнь захватила горло, нос, и потом я лечил этого больного пятнадцать лет от сифилиса.

Пред вами теперь такой же случай, очень интересный. Этого больного надо оставить здесь на неделю.

— Вы можете остаться? — обратился он к пациенту.

— Могу.

— И прекрасно. Мы ему предпишем лечение, а там увидим…

Такой диагноз был ясен, логичен, и я поняла все, тогда как у интернов ничего нельзя было разобрать — они точно брели ощупью.

Визит в палату был окончен. Монахиня подала профессору массу листков, похожих на те, которые при мне подписывал Lencelet. Dieulafoy присел к столу, быстро подписал их все, сделал то же в женской палате и прошел по лестнице вниз в аудиторию.

Там его уже ждали студенты. Dieulafoy поместился в средине длинного стола, покрытого зеленым сукном; около него заведующий больницей, заведующий лабораторией, рядом — интерны, а сзади, у самой стены — экстерны.

Демонстрировали больного — бравого служаку из муниципальной охраны, который страдал разлитием желчи; после него — препарат печени недавно умершего больного.

Молодые врачи были, очевидно, очень учены: то и дело ссылались на толстые тезы, на последние журнальные статьи, говорили складно и бойко.

Я сидела, слушала, ничего не понимая, и думала — наверно, и он так теперь сидит и слушает или, быть может, сам тоже демонстрирует больных.

Лекция кончилась. Dieulafoy вышел, за ним потянулись студенты…

Элегантный экипаж, запряженный парой лошадей, ожидал его на дворе. Он вскочил в карету быстро и легко, как юноша.

— Вот зарабатывает в Париже, как никто, — говорила красотка Romaine, задумчиво глядя вслед удалявшемуся экипажу. — Собственный отель на avenue Alarignal. А какие деньги ему в Лондоне платят! Не правда ли, хорош?

— Очень; только… в его взгляде есть что-то хищное… это несимпатично.

— Ну? а мне так очень нравится. Как вы думаете, сколько ему лет? 61 год.

— Неужели? — искренно удивилась я. — На вид

невозможно дать более 50, и даже меньше. Как французы долго сохраняют молодой и свежий вид…

Мы пошли домой. И всю дорогу я думала о нем.

Посещение больницы — напомнило его еще ярче, приближало к нему… Ведь в этот же час он так же обходил палаты с своим главным врачом…

21 ноября, четверг

Сегодня приемный день в Брока. Давно не видалась ни с Анжелой, ни с madame Delavigne.

Когда я пришла — почти у всех кроватей уже сидели посетители; а около m-me Delavigne было общество молодежи. Анжелы не было: к ней тоже пришли, должно быть, посетители в маленьком павильоне.

Madame Delavigne представила меня: красивая молодая пара были муж и жена Пеллье, а высокий стройный брюнет — их общий знакомый, тоже интерн из госпиталя Сент-Антуана — monsieur Рюльер.

Madame Pellier заговорила со мной, расспрашивая, где я учусь; madame Delavigne продолжала начатый разговор с интерном.

— Он был с Ленселе, вы знаете этого иезуита…

— О, да! — ответил Рюльер, вдруг услышала я.

Они смеют называть его иезуитом! За что, почему? И кто же? Сама m-me Delavigne, добрейшая душа, которая мухи не обидит… Что же, как же… и мне надо было сделать над собой страшное усилие, чтобы отвечать m-me Pellier на ее вопросы…

Рюльер, веселый и подвижный, рассказывал m-me Delavigne о больнице Сент-Антуана, а monsieur Pellier, пассивный и молчаливый, внимательно слушал, посматривая на свою хорошенькую жену, которой наконец надоело интересоваться юридическим факультетом и она воскликнула с живостью, обращаясь к m-me Delavigne:

— Вот он в мае кончает… надо и о женитьбе подумать.

— Мне жениться? Ни за что! — воскликнул Рюльер. — Хватит с меня.

— Да уж, хватит с него, — важно подтвердил Pellier.

На лице m-me Delavigne выразился живейший интерес.

— Почему же, в самом деле? — спросила она.

— Да потому, что я хотел жениться… год тому назад у меня была любовница.

Я несколько опешила от такой откровенности. У нас в России молодой интеллигентный человек не станет говорить перед нами, курсистками, так

развязно о своих любовницах…

А тот продолжал:

— Я жил с ней, а потом надумал жениться. Так вообразите — она соглашалась быть моей женой и в то же время хотела оставаться любовницей. Как это вам нравится? Бился, бился я с нею — ничего не поделал, разошелся.

— Возмутительно! подлая женщина! — подтвердили супруги Pellier.

Я не выдержала.

— Позвольте, да ведь вы сначала жили с нею как с любовницей?

— Ну конечно.

— Вы, образованный человек, пользовались бедной невежественной женщиной; вы, привыкший ее покупать, и она — себя продавать, — так как же вы хотите, чтобы она вдруг стала добродетельной, если вы осчастливили ее своим предложением? Если бы вы ее любили — надо было начать с предложения, тогда, быть может, она и поняла бы, что вы смотрите на нее так, как все, и могла бы исправиться.

— А-а… ну, признаюсь, я об этом не думал, — небрежно ответил Рюльер.

Madame Delavigne сочувственно кивала мне головой. Она была феминистка и всегда очень

рада, когда заступаются за женщин.

А я с нетерпением смотрела на часы и думала, скоро ли уйдут, чтобы спросить m-me Delavigne, отчего она назвала его иезуитом?

Стрелка приближалась к трем — час, когда кончается прием. И я соображала, как быть, если они тоже будут сидеть до конца и уйдут вместе со мною?

К счастью, Рюльеру надо было спешить куда-то, он поторопил своих друзей, и они все вместе ушли.

Я осталась одна с m-me Delavigne и, когда пробило три часа, стала прощаться. Она вышла проводить меня; мы шли по длинному темному коридору, я спросила ее небрежным тоном:

— А, кстати, — почему вы назвали Ленселе иезуитом? Ведь вы знаете — я была его пациенткой, и я боюсь, — неужели есть тайные, переодетые иезуиты? Я этого не знала.

M-me Delavigne, бывшая прачка, не очень сведуща в истории и не может догадаться, что студентка университета не должна говорить подобных нелепостей. Но все-таки я вся вспыхнула за эту ложь — хорошо, что в темноте коридора нельзя было этого заметить.

И она серьезно ответила:

— Вам нечего бояться. У нас называют иезуитом всякого фальшивого, неискреннего человека. Ну вот и он такой. Все его ненавидят… Он сделал мне много зла, когда был интерном в Брока…

У меня вся кровь прилила к сердцу. Он делал зло… все его ненавидят… неискренний человек… Ведь и в самом деле — назначил мне час прийти, а сам ушел; обещал написать — и не подумал; он лжет мне, как и другим…

И я спросила, стараясь придать своему голосу как можно более спокойствия:

— За что же он преследовал вас? Как это нехорошо с его стороны… вы такая добрая.

— Тут была история. Когда он был интерном в Брока, он любил одну больную. У нас по правилам — больные без сопровождения сиделок не могут ходить к доктору в лабораторию, я за этим слежу, — так вот он за это соблюдение правил и придирался ко мне. Как бы я ни сделала мазь, все было нехорошо…

Так он любил больную… кого? кто она?

Я быстро опустила вуаль на лицо, так как мы были уже у выходной двери… и, простившись с m-me Delavigne, пошла к себе домой.

Так вот что…

Он любил больную… Я не чувствую ни малей-

шей ревности к этой неизвестной женщине. Ну, любил, — очевидно, она была из простых, очевидно, этот роман кончился ничем, так как он не женился. Но почему же он не может полюбить меня?! Или я хуже, ниже ее? Нет, нет, — не может какая-нибудь ограниченная хорошенькая женщина сравняться со мной… Я не менее той неизвестной достойна его любви…

И возмущенное чувство заглушило все остальное… Сердце разрывалось при мысли о том, что он лицемер и делал зло другим. В душе был целый ад. Я не помню, как пришла домой. И после того, что я сегодня узнала, — как еще можно жить?

Действительно, человек удивительно живучее существо: чего-чего только не переносит…

22 ноября, пятница

Если он делал зло другим — что же из того? Ведь это только доказывает, что и он, как все, не лучше других.

Когда-то художник создал статую и влюбился в нее. Так я люблю создание своего воображения, над которым работала как артист, с восторгом, с увлечением…

А беспощадная действительность рано или поздно должна была разбить этот идеал…

«Мы любим живых существ и даже вещи за те качества, что им приписываем сами», — вспоминается мне отрывок из «Etudes Littéraires» de Faguet.

Но глубокое, острое страдание охватывает меня всю, и я была бы рада умереть…

Кончено со мной… Все равно: невидимая цепь приковала меня к этому человеку. И теперь — кто бы он ни был, — я уже не в силах не любить, разлюбить его…

26 ноября, вторник

Бегала сегодня часа четыре, чтобы разыскать адрес m-lle Léontine, — работа которой так понравилась Муратовой, что она хочет отдать шить платье непременно ей. И когда, усталая, прибежала к Кларанс, — никого уже не было — все гости разошлись, и она, переодетая в длинный капот с открытым воротом, отворила дверь с пером в руке.

— А, это вы! я уже села работать. Но все-таки войдите, ничего, — успокаивала она, когда я извинилась, что опоздала.

— Пройдемте ко мне в спальню. Это будет менее церемонно, чем в гостиной. И там еще теплее, потому что там я топлю день и ночь, — приветливо

сказала она, обнимая меня за талию.

Мы вошли в спальню. Уютная большая комната, все стены которой были покрыты художественными афишами, рисунками. У стены, против камина, стоял большой диван. Я села на него и сидела не двигаясь, пока Кларанс в кухне приготовляла чай.

Я так измучилась за эти дни, что очутиться здесь, в этой уютной теплой комнате, где меня встречали приветливо, — было как-то отрадно… А Кларанс вернулась в спальню с чайником и чашками, придвинула стулья и маленький столик к камину, перед которым была разостлана медвежья шкура.

— Идите сюда, будем чай пить… — позвала она меня.

Я села у ее ног на мягкий пушистый мех. Приятная теплота разливалась по всему телу. Казалось, век бы не ушла отсюда.

— Я очень рада познакомиться с женщиной независимой и без предрассудков. Это такая редкость у нас, во Франции. Вы, русские женщины, такие энергичные, учитесь, всюду ездите одни. Вы заметили, что у меня бывают почти исключительно мужчины? Это потому, что наши женщины такие буржуазки, с предрассудками,

клерикалки — ужас!

— Да, действительно, мы в среднем умственно более развиты, согласна, но все-таки и у француженок есть достоинства, которых нет у нас, — добросовестно сказала я, не желая, чтобы Кларанс очень нас идеализировала.

— Нет, нет, — наши женщины невозможны, пропитаны самой узкой буржуазной моралью. Раз замужем — может иметь десять любовников, и все будет шито-крыто… какое лицемерие! Вот почему я их и ненавижу и не имею знакомых так называемых дам «comme il faut».

Она посмотрела на меня, негодующее выражение сошло с ее лица, и по нему пробежала ласковая улыбка.

— А вы — как посмотрю я на вас — какая вы чистая! Боже, какая вы чистая — точно дитя… Сколько вам лет?

— Двадцать шесть.

— Поразительно! Вам по виду нельзя дать более восемнадцати.

— Да ведь и вы, я уверена, кажетесь моложе своих лет, ничего тут нет удивительного. Сколько вам лет? — спросила я.

— Двадцать девять. Но я не люблю об этом говорить, — откровенно призналась она.

Я извинилась.

— Ничего, ничего… это я только так, к слову… Между нами только три года разницы, но вы еще дитя… Скажите, вы еще девственница?

Я широко раскрыла глаза.

— Конечно!

Я была так удивлена этим вопросом, что обидеться как-то и в голову не пришло.

Кларанс разразилась громким смехом. Вообще, она любит смеяться, хохочет всегда громко, и тогда вся ее худенькая фигурка качается, как тростник от ветра.

— Ох-ох-ох… простите, моя милая… ну, нечего сказать, спросила. В наши-то годы… ну, я бы не могла, ни за что не могла бы… Хо-хо-хо… — И она снова закачалась на стуле, в припадке неудержимого смеха.

Я недоумевала.

Но Кларанс объяснила мне сама.

— Извините… вы можете подумать, что я над вами насмехаюсь: не обижайтесь, ради бога, — нет. Я смеюсь просто потому, что это было так смешно. Как это можно так жить? Вы еще не любили?

— Нет, — отвечала я, опустив голову, стараясь говорить как можно ровнее и спокойнее.

— Не может быть! Невероятно! — воскликнула Кларанс.

— Я вам говорю правду, — лгала я, как когда-то в Англии «хозяину».

Мне казалось, что я оскверню свою тайну, если ее выдам, — а ведь это, моя любовь — самое священное, самое дорогое, самое лучшее, что только есть у меня.

Кларанс покачала головой:

— Странно… Во всяком случае, так жить нельзя. Мы все созданы из души и тела, а вы… — И она громко рассмеялась этой удачной насмешке.

Я покраснела. Впервые в жизни приходилось мне слышать такой откровенный разговор, и простота и искренность Кларанс располагали в ее пользу, а интерес мешал сказать буржуазную фразу — «об этом говорить неприлично».

— Должно быть, вы стоите за добродетель? И охота вам поглощать ее принципы.

— Позвольте, но…

— Видите ли, по-моему, люди напрасно так рассуждают о добродетели. Девственность отнюдь не добродетель, а скорее — противуестественный порок. Ведь мы как созданы? а? К чему же нам атрофировать то, что дано природой? Мы должны жить согласно ее законам. И величайшая ошибка

всех религий лежит в том, что они возводили девственность и воздержание в культ. Вот почему я и ненавижу буржуазную мораль. Она вся построена на культе именно такой добродетели. А добродетель вовсе не в этом, а в отношении к другим людям.

Я инстинктивно чувствовала, что в ее словах есть доля истины, и не возражала… Я заинтересовалась этой женщиной, и у меня вдруг невольно вырвалось:

— А сами вы девственны?

Кларанс почти покатилась со стула.

— Вот так вопрос!.. Ох, какое же вы дитя, какое дитя! Конечно, я люблю, как хочу, свободною любовью, и замуж никогда не пойду.

— Отчего же вы не живете открыто, перед всеми? — спросила я.

— Оттого что не хочу, чтобы все видели мою интимную жизнь. Общество так полно буржуазных предрассудков, что оно, не задумываясь, забросает меня камнями… а ведь вы видите, какая я, — жалкая калека, совершенно одна на всем свете. Мне бороться с ним не под силу, и вот я для всех — барышня, m-lle, сохраняю все приличия, а на самом деле живу как хочу, и никому до этого дела нет… У меня бывает так много народа, что

никто никогда и не догадается, с кем я живу… Жить без любви — невозможно! Это единственная радость в нашем печальном существовании.

Лицо Кларанс стало вдруг серьезно и печально. Ее прекрасные темные глаза устремились куда-то вдаль, казалось, она рассматривала там свое прошлое.

— Если бы вы знали, какую ужасную юность провела я. У меня не было детства. — И вся ее худенькая фигурка содрогнулась под наплывом тяжелых воспоминаний.

Я тоже вспомнила, сколько пришлось перенести мне, и с симпатией взяла ее за руку…

— Я — круглая сирота. Отец умер, когда мне было два года, мать я потеряла десяти лет от роду. И я с сестрой воспитывалась у опекуна… И что за жизнь должна была я вести у него, что за жизнь! Он был полковник, и уже стар; так можете себе представить, когда мне исполнилось пятнадцать лет, его жена стала меня ревновать к нему и шесть лет не говорила со мной ни слова, а жили мы в одном доме… Я оставила его дом за полгода до совершеннолетия, он дал позволение, так как выходил в отставку и уезжал в деревню. И я, как молодой жеребец, выпущенный на волю, устремилась в Париж.

Кларанс замолчала на минутку, мешая уголья в камине. Потом продолжала:

— О, счастливое время! Хорошо было жить… я веселилась, увлекалась…

— И тогда вы встретились с тем, кого полюбили?

— О, нет, позже. Двух первых — я не любила… их я просто любила из любопытства. Но это было так себе, мимолетные связи. Мне было 24 года, когда я встретилась с ним, ему — двадцать пять… О, какое счастье встретить родственную душу… какое счастье найти человека, который понимает вас!

Мы встретились с ним в одном доме и в течение года каждый день писали друг другу письма. А потом — в один прекрасный день он пришел ко мне… Я пережила чудное время. Мы виделись часто, очень часто… Он приходил ко мне с вечера, уходил в четыре…

— Отчего же вы не вышли за него замуж?

— Замуж? Ни за что, ни за что! Видите ли, замуж нужно выходить только тогда, когда хотите иметь детей. А я не хочу. Кроме того, я обожаю свободу. Муж… я не могу себе представить, как бы я была на содержании у другого человека. Я привыкла быть независимой. Был у меня неболь-

шой капитал — я его прожила; теперь — так как литература не приносит ничего — я занимаюсь ремеслом: пишу романы-фельетоны… Но зависеть от мужчины в денежном отношении — ни за что!..

— И никто не знал вашей связи? — удивилась я.

— У меня бывает масса народу; кроме того — в доме много жильцов, консьерж не может знать, к кому пришли, кто крикнет ночью: «Отворите, пожалуйста!»

— А где он теперь? — спросила я.

— Вот уже девять месяцев, как он уехал на Мадагаскар… Он мало зарабатывал в Париже, служил в банке; так чтобы улучшить свое положение, и уехал в колонию. Какое это было для меня горе! Я два месяца никого не принимала…

Я не знала, что подумать об этой женщине. С точки зрения буржуазной морали, в которой я была воспитана, — предо мной была чуть не преступница; с точки зрения человечности — одна ее искренность стоила всех проповедей.

— Почему же вы так упорно не хотите иметь детей? — спросила я.

— Это страшная ответственность. Детей надо хорошо воспитывать. Отчего наше общество

плохо? Оттого, что все воспитание молодого поколения, как мужчин, так и женщин, дурно, очень дурно. И большинство родителей об этом не думают. И дети являются на свет как случайное следствие нашей похоти. Подумайте только! Является мыслящее, чувствующее существо. А? какова ответственность! И никто об этом не думает. Сами посудите, какая я мать? Жалкая калека. В детстве у меня была страшная болезнь… я осталась жива, но ноги — как последствия ее — атрофированы. Я немного истеричка. Какую бы наследственность я им передала?

Я вспомнила одну из своих близких родственниц, истерическую особу, которая за семь лет замужества родила шестерых слабых, больных существ, из которых двое умерли; а муж, выведенный из терпения беспрерывными родами, пеленками, болезнями, — стал с горя пить. Вспомнила я свою мать, эту ужасную женщину, для которой все мы, пятеро детей, — случайные последствия… Всю жизнь были тяжелой обузой, развязаться с которой насильственно она не смела только потому, что за это грозила Сибирь и каторга…

И в порыве искреннего чувства, со слезами на глазах, я крепко обняла Кларанс.

— Вы — честная, хорошая женщина, и как я вас люблю!

Кларанс взяла мою руку в свои, тихонько пожала их и печально вздохнула.

— Да, жизнь надо производить осторожно… она слишком тяжела. В этом земном существовании мы искупаем ошибки предшествующих…

— Что вы хотите этим сказать? — спросила я в недоумении.

— Мы живем — грешим, не так ли? — спросила Кларанс.

— Ну да.

— Так вот, для искупления их душа после нашей смерти входит в тело другого человека, чтобы в новой жизни изгладить ошибки старой.

И, видя явное недоумение на моем лице, объяснила:

— Я занимаюсь оккультизмом и магией.

— Это еще что такое? — удивилась я.

— Видите ли, человек состоит из трех начал: тела физического, тела астрального и души. Из каждого человека исходит ток — fluide, посредством которого он может влиять на других людей: хорошо или дурно, смотря по тому, какой ток от него исходит.

Мое удивление не имело границ. Я испытывала

такое ощущение, будто предо мной открыли дверь в какую-то таинственную темную комнату и заставили смотреть туда, и я ничего не видела. Так и из этого краткого спутанного объяснения я ничего не поняла.

— Душа наша бессмертна. Я — не боюсь смерти. Я убеждена, что возвращусь в этот мир снова в виде новорожденного младенца… и опять буду жить новою жизнью.

— И у вас не останется никакого воспоминания о предшествовавшем существовании?

— Нет.

— Какое же это «бессмертие души», раз от нашего «я», со всеми нашими мыслями и чувствами, не остается ничего? — недоумевала я над такой теорией своеобразного «бессмертия».

— Душа наша меняет свое содержание. Проходя через несколько существований, она совершенствуется нравственно. Это объясняет кажущееся несправедливым с первого взгляда. Почему, например, одни с детства уроды, калеки? Ведь они сами не сделали никому ничего дурного. А между тем этой теорией все объясняется: значит, душа эта в предшествовавшем существовании делала очень много зла и теперь искупает свои грехи… Я, например, калека — значит раньше много

грешила и теперь я должна совершенствоваться нравственно.

«Однако, каких только нелепостей не придумают люди; уж подлинно — фантазия человеческая неистощима», — подумала я, но ничего не сказала, желая дать ей высказаться до конца.

— Каждого человека сопровождает дух — Guide. У меня руководитель дух 18-го века. Я его вижу. Я ведь провидец. И мать свою вижу: вон она тут, в саване, около меня на диване.

Я инстинктивно обернулась — на диване никого не было. «Что с нею?» — с опасением подумала я.

Но Кларанс сидела совершенно спокойно, — не думая, очевидно, вовсе, что такие речи могут внушить опасение за целость ее умственных способностей. Она была глубоко убеждена в том, о чем говорила.

Я пожала плечами. Суеверие в Париже в двадцатом веке принимает формы соответственно требованиям прогресса. Что ж с этим поделаешь?

— Объясните мне, пожалуйста, как же вы занимаетесь магией и что это за штука такая? Какие книги написаны об этом?

— Не спрашивайте, не спрашивайте меня, —

вдруг заволновалась Кларанс. — Я ничего больше не могу вам сказать. Это невозможно. Книги читать — бесполезно. Это изучается на практике, меня научила одна женщина из Шербурга. Она сказала, что, если только я расскажу кому-либо, что я делаю, и я и она — мы обе умрем… Я и то болтаю много… а ведь по-настоящему — если кто занимается оккультизмом — не должен никому говорить. Я вам скажу только одно: что для этого нужно поучиться управлять своей волей, почему и необходимы пост и молитва и строгая нравственная жизнь, не в физическом, буржуазном смысле, а в духовном. Нужно в отношении к другим людям быть доброй, снисходительной, не делать никому зла. Поэтому я занимаюсь белой, а не черной магией. Я не хочу никому делать зла…

Мне казалось, что я наяву переживаю волшебную детскую сказку.

Огонь догорал в камине; черная кошка тихо терлась у ног странной женщины в черном, и вся она, с своим прекрасным бледным лицом и блестящими темными глазами, казалась фантастическим видением в этой уютной комнате, со стен которой смотрели странные и страшные рисунки.

28 ноября, четверг

Встретилась с Danet на лекции.

Он приходит, как и я, не каждый день. Хитростью отделавшись от Бертье, чтобы остаться одной с ним в коридоре, я спросила, как идет работа ложи.

— Отлично! Вчера особенно весело было: мы были приглашены завтракать, и с нами в зале интернов было одиннадцать женщин.

И он был интерном в Брока! Я стиснула пальцы так, что кости захрустели, но все-таки шла рядом с Danet, улыбаясь и глядя на него.

— Вот как вы веселитесь!

— Это не мы, а интерны. Они-то веселятся вовсю. Их положение очень выгодно, впереди — карьера, живут в свое удовольствие. Впрочем, иногда — до безобразия доходят. Вчера, например, один пристал ко мне с непристойными предложениями, я, понимаете, с трудом сдержался дать ему пощечину. Я люблю женщин, но слава богу, не так еще извращен, чтобы… Что с вами? вам дурно?

— Ничего, ничего… я рано встала… не завтракала… голова кружится…

Я сделала сверхъестественное усилие, чтобы не

упасть и держаться прямо. И это удалось. Danet дружески упрекнул меня за небрежное отношение к гигиене и утренним завтракам и советовал скорее идти в ресторан.

Но мысль о том, что надо попасть на бал и просить Danet достать билет, вернула мне силы.

— Послушайте… я хочу попасть на этот бал… слышите? Просто как иностранке мне нужно посмотреть, что есть наиболее интересного в Париже.

Danet с сожалением развел руками:

— С удовольствием бы, но… не могу.

Так вот как?!

Я буду на этом балу…

29 ноября, пятница

Был Бертье. Преданная любовь этого юноши глубоко трогает меня. В те дни, когда я не прихожу на лекции, он заходит ко мне, справляется, не нужно ли чего, исполняет всякие поручения. И при этом перед всеми держит себя как товарищ, так что никто на курсе и не догадается о его настоящем отношении ко мне. Сколько бы я ни разговаривала с другими — никогда ни слова упрека или ревности. Словом, он безупречен. И я понемногу начинаю привыкать к его любви…

Я так одинока, так несчастна, и это сознание, что существует хоть один искренно преданный мне человек, — немного поддерживает меня. У нас не может быть общих умственных интересов, он слишком молод; но душа его прозрачна, как кристалл, и не загрязнена пока житейскою пошлостью.

Как хороша любовь! Настоящая, искренняя, преданная любовь!

Он показывал мне сегодня Консьержери; по возвращении домой сели у камина чай пить… Я не зажигала лампы… в сумерках комнаты видно было, как красивые темные глаза Бертье смотрели на меня.

И я смотрела на него… и потом, сама не знаю как, — меня обхватили сильные руки, и горячие губы прижались к моим губам. Я закрыла глаза.

— Милая, дорогая, любимая… полюбите меня — хоть немножко. Я буду и этим счастлив… Вся моя жизнь — ваша… — слышала я шепот Бертье.

Ласка, давно, с детства не испытанная, окружала меня словно бархатным кольцом. Я инстинктивно обняла Андрэ и прижалась к нему.

Потом тихо отстранила его и сказала:

— Что же… что же мы делаем?

— Я люблю вас!

— Но я серьезно любить вас не могу… слишком много для этого причин…

— Я ваш паж… Керубино… будьте моей крестной, знаете — как в «Свадьбе Фигаро»… — шептал Бертье.

— Андрэ, мы делаем глупости.

— Позвольте мне любить вас и любите меня немножко. Мы уж и так друзья, — настаивал Андрэ.

И я позволила быть ему моим пажом.

30 ноября, суббота

Я сидела с книгой, но не читала; мысли были далеко — на будущем балу интернов. Звонок, и ко мне в дверь постучали.

— Войдите.

Вошла Полина Декурсель.

Я познакомилась с ней в прошлом году в Сорбонне.

Робкая и застенчивая, эта худенькая брюнетка, с лицом испанки, блуждала по коридорам, не смея спросить студентов — где секретариат? Я показала дорогу, проводила ее до дверей.

Студентки-француженки в Сорбонне — явление редкое, поэтому я заинтересовалась, на какой факультет она поступает и что скажут ей в

секретариате. Подождала ее у дверей. Она вышла расстроенная, чуть ли не плача. Даже вольнослушательницей не принимают! У бедняжки, получившей воспитание в монастыре, не было аттестата.

Мы разговорились, и она рассказала мне всю свою историю — о смерти отца, умершего после того, как в одном из крахов Аргентинской республики потерял все свое состояние, о том, как они с матерью остались одни, без средств, среди большой американской родни, которая ничем не хотела помочь. Жажда учиться, при недостатке средств, заставила ее поступить на курсы Association philotechnique, где ее литературное дарование было замечено преподавателями. Ей советовали учиться дальше, но Сорбонна требовала диплома.

Я стала убеждать ее готовиться прямо на аттестат зрелости и поступить действительной студенткой. Она видимо колебалась. Потом, както случайно весной, она встретила меня на улице, сообщив, что решила готовиться на аттестат зрелости. Мы обменялись адресами и потеряли друг друга из виду.

А теперь она пришла ко мне расстроенная. M-lle Naguet, содержательница курсов для подготовки

на аттестат зрелости, не соглашается сбавить ни гроша из 50 франков месячной платы, а она могла платить 20. За остальные тридцать она должна была давать несколько раз в неделю уроки в школе для детей, которую содержала все та же m-lle Naguet. Слабое здоровье не позволяло ей делать два дела зараз, а m-lle Naguet беспощадно упрекала за дурные успехи и не уступала ни гроша из назначенных условий. И вот она в отчаянии пришла ко мне, иностранной студентке, за советом.

Я возмутилась. В Москве на курсах латинского языка Шамониной чуть не половина слушательниц обучается с пониженной платой; а здесь m-lle Naguet, феминистка, член Лиги прав женщины, отказывалась помочь бедной способной девушке. Что стоило ей принять ее одну даже и совсем бесплатно в число учениц?

— Вы только узнайте, на каких курсах подготовлялась m-lle Шолль, та самая, что поступила нынче на первый курс юридического факультета, быть может, там дешевле плата…

— Бедное дитя! Я знаю Шолль, она дочь богатых родителей и брала частные уроки.

На худеньком личике Полины Декурсель отразилось полное отчаяние, — очевидно, теперь у нее исчезла последняя надежда… И она, безна-

дежно махнув рукою, поднялась с места.

— Постойте! Неужели же я вам дам так уйти? Надо же что-нибудь придумать… Я обращусь к своим товарищам, авось они что-нибудь сделают. Я сама никого в Париже не знаю, но попробуем, вы не отчаивайтесь.

И я добилась того, что черные глаза засветились радостью и надеждой, тоненькие ручки крепко сжали мои… и она ушла успокоенная.

А я послала телеграммы Бертье и Шолль, прося их прийти ко мне завтра по спешному делу.

1 декабря, воскресенье

Визиты у французов делаются в послеобеденное время. Sholl не заставила себя долго ждать, хотя и живет далеко, — и в три часа маленькая, грациозная, элегантная парижанка как птичка впорхнула в мою комнату.

— А-а, здравствуйте, моя дорогая! В чем дело? Очень, очень рада быть вам полезной, — щебетала она, оправляя перед зеркалом шляпу, прическу, вуаль.

Я рассказала ей историю Декурсель, в полном убеждении, что она, дочь секретаря Лиги прав женщины, воспитанная в самых передовых убеждениях, примет участие в судьбе этой девушки и

что-нибудь сделает.

Она внимательно выслушала и пожала плечами:

— Что ж вы хотите, моя милая? M-lle Naguet вполне права.

Я не верила своим ушам.

— Да как вам не стыдно так рассуждать? Ведь вы же сами учитесь? Как же у вас нет сочувствия к положению несчастной девушки?

— О, дорогая, в данном случае о сочувствии и речи быть не может. Есть у нее деньги — пусть учится, нет денег — пусть делает что-нибудь другое.

— Но ведь это не посредственность какая-нибудь — у нее несомненное литературное дарование. Быть может, из нее выйдет писательница, журналистка…

— А она хорошенькая?

— Что за вопрос?!

— А вот, если эта ваша protégée вздумает потом заниматься журналистикой — для этого прежде всего надо иметь внешность, уметь нравиться мужчинам, членам редакции, а главное — редактору. И вообще — не быть… очень добродетельной. Та же сцена… Только при этих условиях она и может добиться успеха. А то ее

затрут — не дадут ходу. Теперь такая масса женщин-журналисток.

Я извинилась, что напрасно побеспокоила ее приехать.

— Ничего, ничего, — любезно щебетала m-lle Шолль. — Я очень рада повидаться с вами. Кстати, мама просила передать вам приглашение, — у нас второй четверг каждого месяца собираются некоторые феминистки. Впрочем, я вам об этом напомню, напишу.

И она, поболтав еще четверть часа о лекциях и погоде, уехала домой.

Потом пришли Андрэ с одним из товарищей — Деметром, которого я немного знаю. Из пансиона, куда хожу обедать, тоже пришел студент és-lettres — серьезный и вдумчивый юноша, который сразу вызвался ей давать бесплатные уроки по математике; Деметр и Андрэ тоже обещали сделать с своей стороны все возможное.

Я немного успокоилась.

Вечером за обедом, болтая по-русски с Муратовыми, я рассказала о салоне Кларанс, о том, как там весело и какая свободная среда. Я думала, Муратову как литератору интересно будет узнать. Но вдруг спокойное замечание его жены — «Так вас это интересует?» — обдало меня как

холодной водой. Я почувствовала, что сделала непоправимую глупость, болтая так откровенно с этими передовыми людьми.

Муратова не сказала больше ни слова. Сконфуженная, я хотела переменить разговор, спросила ее, как работа платья, довольна ли она портнихой. Она отвечала односложно.

2 декабря, понедельник

Перечитываю Лермонтова; особенно люблю его стихотворение «11 июня 1831 года».

У меня нет ни самолюбия, ни тщеславия. Я не честолюбива, но теперь, кажется, все бы отдала, чтобы иметь талант и сказать как поэт:

> *…и ты, мой ангел, ты*
>
> *Со мною не умрешь: моя любовь*
>
> *Тебя отдаст бессмертной жизни вновь,*
>
> *С моим названьем станут повторять*
>
> *Твое: на что им мертвых разлучать?*[158]

И вспомнила читанное где-то в газете стихо-

---

[158] Примечания: 158

Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «1831-го, июня 11-го дня».

творение:

Увы! Лишь для тебя я желал славы,

Лишь для тебя ждал блистательной победы,

Которой могут добиться разумные,

Восторжествовав над равнодушным, легкомысленным миром,

Что преклоняет слух лишь к слову глупца,

Который его забавляет и которому он улыбается…

…Я сознаю, что во мне что-то есть… не могу выразить это словами, но, быть может, при других условиях из меня вышло бы что-нибудь… а теперь — не выйдет ничего…

О, если бы он любил меня! хотя бы один час, — миг один!

Для меня началась бы новая, лучшая жизнь. Он совершил бы чудо: дал человеку новую жизнь.

3 декабря, вторник

Сегодня в гостиной Кларанс было серьезнее обыкновенного. Henry рассказывал о смерти мо-

лодого художника Monnier — я только что прочла его некролог в «Jôurnal».

Очевидно, он был один из постоянных посетителей Кларанс и имел много друзей в ее салоне.

Каждому вновь прибывающему Кларанс с серьезным лицом сообщала печальную новость, и разговор возвращался снова к этой смерти.

И мне легко было узнать, что это был красивый молодой человек, умер двадцати шести лет от чахотки, до которой сам себя довел беспрерывным трудом и неумеренными наслаждениями жизни.

Странно было видеть серьезную Кларанс: я так привыкла, что она вечно смеется, — мне так и казалось, что она не выдержит и вот-вот разразится опять громким смехом. Но она оставалась серьезной.

— Я ему говорила в июле: слушайте, monsieur, что вы из себя делаете? Или хотите умереть? — И знаете, что он ответил? — «Не ваше дело».

— А, здравствуй, Леснер, что — как Медный Цветок? — обратилась она к вновь вошедшему молодому человеку, которого я еще у нее не встречала.

Тот сначала раскланялся со всеми, потом сел у камина и ответил:

— Она очень убита… ведь, в сущности, сама немало виновата в его смерти. Чем бы стараться удержать его от такой безумной жизни, — она его еще больше увлекала. Да, можно сказать, что она убила своего жениха.

— Кто это Медный Цветок? — тихо спросила я Кларанс.

— Это одна из моих приятельниц. Она была невестой этого Monnier, который умер.

Вновь пришедший господин рассказывал о пережитых тяжелых впечатлениях, когда пришлось убирать опустевшую мастерскую художника, его картины, наброски…

— Так и казалось — вот-вот он войдет… Ох, как грустно сознавать, что его уже нет больше! он мог бы жить…

— Он делал точно нарочно; ведь знал, что никакой организм не выдержит такой безумной жизни: спал по три часа в сутки, — неодобрительно отозвалась Кларанс.

— Значит, вы против такой жизни?

— Конечно, конечно; она дана нам не для того, чтобы мы безумно швырялись ею. Я против самоубийства. Это тоже грех, мы не должны уходить самовольно из этого мира, так как искупаем в нем свои грехи.

— А кстати, Кларанс, погадайте-ка мне на картах, — попросил один из гостей, небольшого роста, шатен, с узкими карими глазами, лениво поднимаясь с места.

— Пойдемте в спальню, — охотно согласилась Кларанс и, обращаясь к гостям, прибавила: — Извините, я вас оставлю: уединяемся на консультацию.

Я с недоумением смотрела им вслед.

— Что это они, серьезно?

— Вполне серьезно, m-lle, — подтвердил Henry. — Кларанс прекрасно гадает… удивительно верно. Разве вы не слыхали про ее таланты? Она и хиромантией занимается, и физиономистка замечательная.

— Ах да, мне что-то говорила про нее madame Tessier, — припоминала я. — Но, по-моему, — все это вздор, фантазия.

— Как фантазия?! Послушайте, Дериссе, вот m-lle Diaconoff не верит в то, что по линиям руки можно узнать человека.

— Конечно можно, — лениво протянул Дериссе, комфортабельно развалившись в кресле и следя глазами за кокетливой madame Мопре, которая сидела напротив.

— А по-моему, это вздор. Помню, как-то раз одна

барышня посмотрела мне на руку и сказала, что у меня необыкновенные линии и она не настолько знает, чтобы прочесть их.

— Ну, покажите… Действительно, у вас очень странные линии. Смотрите, господа, — не так, как у всех.

Все показывали свои, сравнивали, и, однако, у меня линии были не такие, как у большинства.

— В самом деле? — вмешался в разговор небольшого роста брюнет в штатском, но с военной выправкой, с добродушной круглой физиономией.

У Кларанс каждый раз видишь новые лица. У нее бывает масса народу, и этот господин, очевидно, был введен к ней одним из ее друзей.

— Вот вы не верите, m-lle, — так же лениво говорил мне Дериссе, — а доказательства будут налицо. Этот молодой человек здесь в первый раз. Кларанс его совсем не знает, а я — очень хорошо. И вы увидите, как она его сейчас узнает.

Я с трудом удерживалась от смеха, но Дериссе и его друг были серьезны, и когда Кларанс показалась на пороге гостиной, Дериссе схватил ее, как маленького ребенка, и посадил в кресло.

— Теперь мы собираемся вас эксплуатировать!

Кларанс смеялась:

— Хорошо, хорошо, подойдите сюда, молодой человек. Дайте вашу руку.

Она взяла его руку в свои, подержала с минуту, потом посмотрела на линии, коснулась пальцем его затылка и начала:

— Вы родились от молодых родителей. Характер у вас положительный, но есть известная доля сентиментальности. Иногда под влиянием гнева вы способны на жестокость.

На лице молодого человека выразилось удивление.

— Верно, верно!

— У вас прекрасное здоровье. Вы любите женщин… о, как любите! Ваша молодость прошла в борьбе, в тяжелых испытаниях. Но вас ожидает спокойная, счастливая старость.

Лицо молодого человека прояснилось.

— Вот это хорошо! Действительно, я провел ужасную молодость.

— Вы упрямы, но в общем — очень добродушный человек. Вот все, что я вижу… но можно сказать гораздо больше, — я мало знаю.

И Кларанс вскочила с места.

Дериссе с торжеством смотрел на меня:

— Что? Я знаю его как самого себя, — все верно. Убедились теперь?

Офицер с довольным лицом качал головою:

— Удивительно, как вы это знаете.

— Посмотрите на нее и скажите что-нибудь о ней, Кларанс, — не унимался Дериссе.

Я была удивлена и озадачена тем, что Кларанс сказала офицеру, — как вдруг она очутилась на ручке моего кресла.

— Вы с характером, но вами можно управлять — кротостью, — сказала она, глядя на меня.

Я не могла сдержать удивления проницательности, с какой Кларанс схватила самую основную черту моей натуры.

— У вас аналитический ум, о, вы все, все анализируете, — разбирала меня Кларанс.

— Правда, — подтвердила я.

— Вы нисколько не чувственны, ничуть; и если полюбите кого-нибудь, то главным образом со стороны нравственной или умственной.

«Как хорошо, что по лицу нельзя угадать, кого люблю», — подумала я.

— Вы мечтаете об отдаленном путешествии.

— Но как это вы узнали?! Действительно, я очень интересуюсь Новой Зеландией, так как там женщины имеют политические права, мне хотелось бы съездить туда…

— Я вижу. А вот теперь вы поверили, что мож-

но узнавать людей по лицам, по линиям руки? Дайте-ка вашу руку.

Но я вспомнила, что линии моей руки не похожи на линии других людей, — и какой-то смутный страх перед возможностью узнать что-нибудь страшное вдруг охватил меня.

— Нет, нет, — не покажу!

— Да ведь вы же не верите! Полноте, дайте! — настаивала Кларанс.

— Не дам. У меня, говорят, линии особенные…

— Так я вам ничего не скажу, сама только посмотрю.

И она взяла мои руки. А я смотрела на нее, и в душу забирался какой-то тайный страх перед этой странной женщиной, которой, казалось, было открыто все существо человеческое.

Я ушла к себе гораздо ранее обыкновенного.

5 декабря, четверг

Danet давно собирался ко мне прийти; встречаясь на лекциях, спрашивал, когда можно застать меня дома. Но все не шел.

Сегодня я вымыла волосы и сушила их, распустив по плечам. Мягкие, длинные, они покрывали меня как шелковистым покрывалом.

Пришел Danet.

— Добрый день, мадемуазель… — и он запнулся, с восторгом глядя на меня. — Какие волосы! Боже, какие волосы! Я никак не подозревал… вот так красота!

Он забыл и раздеться и, стоя посредине комнаты в пальто и шляпе, любовался мною.

«Он в моих руках», — подумала я и, не говоря ни слова, быстро подошла к трюмо, вынула большую черную фетровую шляпу с широкими полями à la Rembrandt, надела и медленно повернулась к нему. Я знаю — это так ко мне идет, что его артистическое чутье не должно было устоять.

Danet действительно терял голову.

— О, как вы хороши!.. картина! Если вас одеть в пеплум и так, с распущенными волосами, а я буду одет римлянином — да ведь это чудно хорошо будет! Произвели бы такой эффект! Слушайте, — мы поедем вместе на бал интернов, я сегодня же нарисую для вас костюм, а дома, у нас, его сошьют.

Я нарочно молчала.

— Хотите? Я готов сделать для вас все, все, только бы вы позволили видеть себя такой… Что за волосы! я никогда таких не видывал… Что ж вы молчите? Так едем вместе на бал, да? Ведь это такое интересное зрелище! Это нужно увидеть хотя бы раз в жизни.

— По-е-дем… — с расстановкой проговорила я и, медленно подняв глаза, окинула его взглядом, в котором он мог прочесть, что хотел.

Он с жаром поцеловал мою руку.

— Теперь давайте чай пить, русский чай, с лимоном. Вы никогда еще не пили? Так вот, попробуйте…

И, сняв шляпу, занялась хозяйством. Вся душа моя так радовалась… Я увижу его на балу интернов! Я увижу его!

И я кокетничала с Danet и позволяла ему целовать мои волосы. Ведь только через него я и могла попасть на этот бал, и чем больше он увлекался мной, тем вернее было то, что он сделает все, и этого только мне и было нужно.

7 декабря, суббота

Вчера достала для Декурсель письмо к редактору газеты «Разум». Та пошла, но редактор ничего для нее сделать не мог, дал ей тоже два-три адреса. Она везде была, все сочувствуют, и все ничего не могут сделать, всем некогда. Я уже совсем было пришла в отчаяние, и даже приход Danet с рисунками костюма и образчиками фланели не мог обрадовать меня.

Звонок… Я расслышала в прихожей голос Бер-

тье:

— Мадемуазель… она дома? — И, поскорее схватив со стола образчики фланели и рисунок, сунула все это в карманы Danet.

В комнату влетел сияющий Андрэ.

— Я устроил ваше дело! нашел учителя! согласен за двадцать франков в месяц давать два раза в неделю уроки по древним языкам и поправлять французские сочинения. Это мой бывший преподаватель, превосходный педагог. Вот его адрес. Пишите поскорее…

— Да неужели правда?! правда?! — И только присутствие Danet удержало меня броситься на шею Андрэ, и я ограничилась тем, что протянула ему обе руки:

— Не знаю, как вас и благодарить!

Андрэ видел, что он не один, и поэтому не хотел остаться ни на минуту.

— Я только забежал вам сказать, спешу в библиотеку. До свидания!

Он пожал руку Danet; я пошла проводить его в коридор.

— Для вас, для вас! — шептал он, обнимая меня. — Паж исполнил поручение крестной… теперь — награда.

Я чувствовала, как в темноте коридора бле-

стели его глаза, и, взяв его голову, поцеловала беззвучным долгим поцелуем, чтобы никто ничего не слыхал, и потом потихоньку освободилась от его объятий… Заперла за ним дверь.

Danet, сидя в моей комнате, усердно рисовал детали костюма…

— Как хорошо будет! — повторял он.

А я с трудом, рассеянно слушала его соображения, думая — как напишу Полине, как увижу его.

— Скоро ли бал?

— 16 декабря.

Как еще долго ждать! как долго! Кажется, и не дожить до этого дня.

Когда Danet ушел, я вынула его последнее письмо и, не отрываясь, смотрела на сухие краткие строки…

Я увижу его там! найду! Глаза влюбленной женщины отыщут любимого из тысячи тысяч, узнают во всяком костюме, под всякой гримировкой…

10 декабря, вторник

Я понемногу привыкла к свободной атмосфере гостиной Кларанс. Некоторые слова все еще остаются для меня тайной, но откровенность и смелость выражений — уже не шокируют меня больше. Я нахожу это даже оригинальным — все

говорят так, как думают, все очень искренни, и никогда не возникает ни малейших недоразумений. И ведь вся эта молодежь нисколько не хуже других, тех, которые подходят к нам, молодым девушкам «из общества», с безукоризненно почтительной манерой, вполне цензурной речью…

Мне интересно изучать эту мужскую подкладку. Кларанс, хохоча, по своему обыкновению, во все горло, уверяет меня, что они нигде себя так не держат, как у нее. И прекрасно. По крайней мере, я могу изучить мужчин такими, как они есть. Иначе для нас, буржуазно воспитанных девиц, — это почти невозможно.

Скульптор так и вертится около меня, впрочем — это слово не идет к его неуклюжей грузной фигуре.

— Как вы хороши, как вы хороши! Вы вся создана для искусства… С вами можно сделать хорошие вещи, — говорил он сегодня по-русски, усевшись около меня.

— Перестаньте… уверяю вас, мне надоели эти комплименты, — отвечала я.

— Это правда, а не комплименты. Я оцениваю вас с художественной точки зрения. Вы никогда не носили корсета?

— Нет.

— То-то и видно, что вы не изуродованы, как большинство женщин. Знаете что — позируйте мне! Я сделаю с вас красивый бюст и статую… и вам дам; конечно… Право! сделайте мне такое удовольствие.

— Для головы я согласна.

— А так, вся?

Я строго взглянула на него.

— Отчего нет? — нисколько не смущаясь, продолжал Карсинский.

— Оттого, что… подобное предположение…

— Вот тебе и раз! а еще считает себя передовой женщиной! Вот вам и развитие! Что ж, по-вашему, нечестно, неприлично — позировать для художника? А восхищаться статуями, картинами, где изображены обнаженные тела, — это не неприлично? Так ведь это срисовано же с кого-нибудь? По-вашему выходит, что ремесло модели как труд — презренно? А туда же, кричат всякие громкие фразы об уважении к труду… — неожиданно заговорил Карсинский серьезно, искренно и убежденно, чего я от него никак не ожидала, — и явное презрение зазвучало в его голосе.

Что можно было ему возразить? Ведь я же сама осуждаю Сорель за ее презрение, с каким она относится к черной работе. Я чувствовала, что

скульптор, в сущности, прав: простая честность требовала в этом сознаться… но общественный предрассудок был слишком силен, — и я молчала.

— Что? небось, не находитесь, что ответить… Это все ваше воспитание виной. Вбили вам с детства понятия «это прилично» и «это неприлично», и, несмотря на все ваше образование и развитие — социализм и прочее такое, — в сущности, вертитесь в таком же заколдованном кругу бесспорно отживших понятий. Неприлично позировать голой! А почему? Да ведь самый ваш отказ, в сущности, очень безнравственен: вы предполагаете — раз стоите перед мужчиной обнаженной, то невесть какая грязь. А ведь нет чище взгляда художника на модель; мы не смотрим на нее как на женщину, а просто как на одно из проявлений божественной красоты природы, которое стараешься воспроизвести. Оно не возбуждает в нас ничего, кроме чистого восторга. Сколько моделей я видал на своем веку! И верьте мне: полуобнаженная женщина куда безнравственнее голой модели. Ведь на балах-то вы декольтируетесь, обнажаетесь настолько, чтобы возбудить восторг и нехорошее любопытство мужчины. А позировать — ах, как это можно! Фу,

какое гадкое лицемерие! Какая подлая, буржуазная мораль!

И Карсинский, грузно поднявшись с места, шумно двинул стулом и отошел в другой угол.

Мне стало стыдно. И я подошла к нему.

— Послушайте…

Он поднял голову:

— Ну?

— Я хочу вам сказать, что вы не должны быть так резки; в данном случае и непривычка играет большую роль.

Он посмотрел уже более смягченным взглядом.

— Хорошо, от непривычки можно избавиться — привычкой… Я вас приглашал к себе в мастерскую, обещал показать бюст Белинского. Приходите, все покажу — и его маску, и письмо его дочери… Придете, а?

Я обещала.

12 декабря, четверг

«Надеюсь, вы не забыли, что второй четверг каждого месяца у мамы собрание феминисток», — читала я сегодня на элегантной, раздушенной карточке ярко-синего цвета с золотым обрезом почерк Шолль.

Неловко было не поехать. Я не отказалась тогда, и теперь она могла объяснить мой отказ нежеланием познакомиться, могла заподозрить меня в неискренности, что я на самом деле вовсе не так интересуюсь феминизмом, как говорю.

Ехать пришлось далеко, — за Sacré Coeur. Шолль квартирует в третьем этаже, в одной из бесконечных улиц, которые тянутся от Монмартра, как от главной артерии, вправо и влево.

Большой салон в стиле Louis XV, весь уставленный мебелью и разными безделушками, с большими окнами, до такой степени увешанными кружевными занавесками, массивными шелковыми драпировками, что они едва-едва пропускали дневной свет. В этом полумраке женщины казались моложе и интереснее.

Их было четверо, когда я вошла в салон, — не считая m-lle Шолль и ее матери: высокая стройная молодая дама, две старухи и одна — того неопределенного возраста, который в Париже может тянуться до старости лет, если нет предательских седых волос.

Единственный мужчина, находившийся тут же, оказался известным журналистом, имя которого, как ярого защитника женских прав, было мне уже известно — Оливье Даркур.

Все дамы были одеты с тем безукоризненным изяществом, которое от светской дамы до последней прачки свойственно всякой парижанке.

Mademoiselle Шолль представила меня своей матери — пожилой даме, с типичным лицом английской старой девы, говорившей по-французски с сильным английским акцентом, которого не могли изгладить долгие годы пребывания во Франции. Потом последовало представление всему обществу — как «m-lle Diaconoff, russe, étudiante en droit».

И в сотый раз со времени моего приезда в Париж пришлось повторять те же ответы, что у нас юридический факультет для женщин закрыт, что адвокатом быть тоже нельзя, что этот вопрос только что поднимается и т. д.

Но на этот раз я была в салоне феминисток, и дамы отнеслись к вопросам более серьезно. Две старушки, с кипой газет на коленях, так и накинулись на меня.

— Правда ли, что у вас замужняя женщина независима от мужа? Правда ли, что она может сама управлять своим имуществом, делать подписи на бумагах?

— Конечно.

Я знаю, что здесь замужняя женщина как са-

мостоятельное существо — сведена к нулю; хотя и жаль каждый раз так отвечать при француженках, однако подобный вопрос постоянно возбуждает невольное удивление — до того у себя, в России, мы привыкли к этому.

— А у нас — нет, — печально вздохнули дамы.

— Вот мы специально занимаемся этим вопросом, — у нас своя группа, — сказала мне молодая стройная дама, указывая на свою соседку, одну из пожилых дам.

— И успешно идут ваши занятия?

— Среди женщин — конечно, да. Но ведь для того, чтобы мы чего-нибудь добились, надо, чтобы этот закон прошел в палате депутатов. Ну а мужчины, пока они одни будут выбирать депутата, — никогда не дадут пройти такому закону. Ведь большинство депутатов женаты, у жен есть приданое, — как же они будут вотировать закон, который идет вразрез с их личными интересами? О, если бы вы знали, до чего трудна жизнь женщины во Франции!

— Она и у нас немногим легче. И вы не думайте, что если замужняя у нас независима — зато у нас сестра почти совсем лишена наследства в пользу братьев.

— Как это так?! — с негодованием закричали

все. — Разве дочь не такое же дитя, как они?

Пришлось объяснять, что у нас понятие равенства детей в праве наследства не существует ни в законе, ни в большей части общества.

Удивлению и негодованию присутствующих не было конца. Они совсем забыли о том, как сейчас восхищались положением замужней женщины у нас. Несправедливость по отношению к детям, в связи с сознанием, как трудна для женщины борьба за существование, — вытесняла из их представления преимущество положения замужней женщины…

Это и немудрено: у большинства присутствующих были дети, и инстинкт материнской любви заставлял их возмущаться гораздо более несправедливостью по отношению к детям.

А я с интересом слушала и думала: как много значит, что за сто лет это основное понятие справедливости так глубоко вошло в плоть и кровь общества, что теперь ему кажется невозможно, невероятно, — то, что прежде было в порядке вещей… Точно у нас теперь — крепостное право.

И я думала: когда же с таким же чувством возмущения и негодования закричат все при словах: «женщина не имеет права подачи голоса…»

Когда? Когда знаменитые принципы «равен-

ства, братства, свободы» будут распространены и на другую половину рода человеческого?..

Дама без возраста, до сих пор молчавшая, вмешалась в разговор:

— А знаете ли, Маргарита Дюрамбер недавно открыла дешевые квартиры для девушек-работниц. Я там была — все очень, очень мило: и комнаты, и пища — дешево и хорошо. Это она — чтобы предохранить их от падения. В Париже такой разврат. И кажется, она хочет заняться устройством подобного же общества для таких милых молодых девушек, как mademoiselle, — любезно кивнула она головой в мою сторону, — которые приезжают в Париж одни и первое время не знают, как ориентироваться в чужом городе.

— Я с вами не согласна, — с видимым замешательством сказала хозяйка дома. — Не Маргарите Дюрамбер заниматься устройством общежития для студенток.

Дама взволновалась:

— Отчего же, отчего?

Я заметила, как m-lle Шолль пересела поближе к матери, а журналист принял чрезвычайно заинтересованное выражение. Только старушки и с ними молодая женщина, перейдя на другой конец салона, усердно разбирались в кипе жур-

налов.

На лице m-me Шолль отразилось затруднение.

— Оттого, что всем известно — кто такая Маргарита Дюрамбер.

— Я ничего не понимаю… Что хотите вы этим сказать? По-моему, это просто богатая женщина, издательница газеты «Права женщин».

— О, нет, — у Дюрамбер нет никакого состояния, — с живостью заметила m-me Шолль.

— Так как же она может вести такие дела? — удивилась я.

— Вы видите? — торжественным тоном обратилась m-me Шолль к даме. — Теперь — как вы объясните этой молодой девушке, кто такая Маргарита Дюрамбер?

Та пожала плечами:

— Ну что ж тут особенного? Всему Парижу известно, что эта Маргарита Дюрамбер — бывшая актриса, содержанка Ротшильда.

— Что-о?! — с негодованием вскричала я. — Да ведь это же позор для французского феминизма, что его самая большая газета издается кокоткой!

— Вот, — торжествовала m-me Шолль, — вот какое впечатление производит подобное открытие на честных людей… Так, так, верно, дитя мое, я с вами согласна, и поэтому предпочитаю не

иметь с ней дела и сама на свои средства поддерживаю ежемесячный листок «Наше право»…

У журналиста вырвалось живое движение протеста, но он смолчал и продолжал следить за разговором.

Дама вспыхнула:

— Вы не имеете права ни называть ее кокоткой, ни считать это позором для феминизма! Что тут позорного? Она получает деньги от богатого человека и тратит их на общую пользу. Это прекрасно и благородно. Другие и этого не делают.

— Я удивляюсь вашей строгости, — произнес наконец журналист. — Я знаю историю основания этой газеты и Маргариту Дюрамбер. Во время дела Дрейфуса, с целью пропаганды, Ротшильду был нужен орган; феминизм — явление новое, им и воспользовались. А Маргарита Дюрамбер — женщина очень умная, прекрасно говорит, хорошо пишет; естественно, что газета и была дана ей в руки. Что она содержанка — это не мешает ей быть передовой женщиной. И потом — разве вы забыли, что во все времена именно такие женщины и были наиболее передовыми. Вспомните Аспазию, Нинон де Ланкло…

— Но в том-то и прогресс, что современному обществу не нужны более ни Аспазии, ни Нинон

де Ланкло, — резко возразила я, возмущенная тем, что воззрения дамы нашли себе защитника в лице такого известного журналиста. — И не стыдно вам так рассуждать?! Кажется, в наше время нравственные понятия должны быть немного… выше времен афинских гетер, да и строй общества уже не тот…

— Так, так, так, — одобрительно кивала мне m-me Шолль.

— Ну, ну, — примиряющим тоном сказал Даркур, — к чему такая строгость? Ведь важен результат, а не его причины. Что же делать, если во Франции богатые женщины все клерикалки и дают деньги на… на что, спрашивается? Вот недавно в приходе Св. Фомы Аквинского собрали десять тысяч франков на усиление средств миссионеров…

— Я же сказала, — с жаром подхватила дама, — я же сказала, что другие и этого не делают! Поэтому и надо ценить великодушие и щедрость Маргариты Дюрамбер.

Я была так возмущена этими «снисходительными» понятиями, что мне захотелось припереть эту даму и Даркура к стене, побить их собственным же оружием.

— Ну, хорошо. Допустим. Но как вы согла-

сите факт, о котором сами же рассказывали. Маргарита Дюрамбер устроила приют, с целью предохранять молодых девушек от падения, от продажи себя.

— Это опять-таки нас не касается. Хочет она делать добро — пусть делает.

— Да я не об этом. А, по-вашему, выходит так, что вы допускаете, чтобы женщина, которая сама себя продавала, имеет нравственное право учить бедных женщин добродетели. Так что выходит — продавать себя за дорогую цену — можно, за дешевую — нет, безнравственно? — с насмешкой сказала я.

— Браво, браво! — аплодировали мать и дочь Шолль.

Журналист одобрительно усмехнулся.

Дама поднялась с места.

— Когда спор принимает подобный оборот, я не нахожу уместным продолжать его. До свидания, милая m-me Шолль, m-lle, monsieur, — раскланивалась она. — Мне надо еще сделать несколько визитов. А вам, m-lle, советую поменьше высказывать вслух ваши мысли… о Маргарите Дюрамбер. Это может дойти до нее. И эта умная женщина может вам так отомстить, так повредить, что… одним словом, не советую. До свидания.

И, окинув меня всю ехидным взглядом, с утонченной любезной улыбкой, дама вышла из гостиной.

— Кто эта особа? — спросила я Даркура.

— Право, не знаю. Сам вижу ее здесь в первый раз.

— Это m-me Дюрсо… она недавно поступила в члены Лиги прав, — объяснила m-lle Шолль.

— Она очень рассердилась на вас и наверное все передаст Дюрамбер. Я и не знала, насколько она с ней близка, но, судя по всему, ее сторонница.

— Я совершенно против нее, — объявила m-me Шолль, вернувшись в гостиную. — Я во всем согласна с вами, m-lle.

Мне захотелось убедить и упрямого Даркура.

— Ну хорошо, по-вашему, Дюрамбер права, пусть делает, что хочет. А допускаете вы, чтобы она занималась устройством общежития для студенток? Ни одна из нас в отдельности не согласилась бы продавать себя, и однако мы соглашались бы принимать деньги от женщины, которая выручает их за продажу себя?.. Этого еще только не хватало, чтобы парижские кокотки строили дешевые квартиры для учащихся женщин! Как вы думаете, не было бы это немного… подло?

Даркур в затруднении перебивал пальцами по столу…

— Это… действительно… немного чересчур… даже как будто неловко, — согласился он.

Я и обе Шолль торжествовали.

— А все-таки вы согласны с нами!

— Нет, видите, — если в силлогизме в первой посылке поставить компромисс — получится он и в заключении.

— И вот, во избежание таких компромиссов с совестью, я и не поступила в члены Общества студенток, — сказала m-lle Шолль, — так как оно соглашается принимать от Дюрамбер даровое помещение.

— Да, быть может, эти студентки и не знают про ее репутацию, если они иностранки и приезжие? — сказала я.

— По уставу председательница и члены комитета должны быть француженки, — сказала Шолль. — Я лично знаю председательницу де Орелиа, у этой знакомств — масса. Она парижанка и не может не знать, кто такая Дюрамбер. И однако согласилась, и члены комитета тоже. С одной стороны, я, как феминистка, должна бы принимать участие в студенческом обществе, с другой — как честная девушка — не могу со-

гласиться стать членом общества, которое так легко компрометирует себя, принимая подарки от подобной особы.

Я порадовалась, что не состою членом подобного общества. Сколько иностранок, попадая в него, делают невольную ошибку!

И я ушла вместе с Даркуром, который, несмотря на спор, был очень любезен и проводил меня до самого дома.

13 декабря, пятница

Я сказала Danet, что еду с ним на бал — с условием, чтобы никто не знал об этом ни в Брока, ни на курсе.

— Не беспокойтесь, никто ничего не узнает, — обещал Danet. — Так и вам удобнее, и мне достать билет не представит никакого затруднения. А то бы удивились, да еще стали спрашивать, как и почему. Я просто скажу, что вы — модистка или цветочница, — «мой маленький друг».

— А так как по моему акценту догадаются, что я иностранка, то скажите, что я — полька.

— Хорошо. С нами будет и мой двоюродный брат — Charles Danet, с первого курса, но за него опасаться нечего, что разболтает, — это могила.

— Смотрите, Danet… я вам верю.

Вместо ответа он поцеловал мою руку…

…А однако Муратовы совсем переменились ко мне. Она почти не говорит ни слова. Он, прежде простой и любезный, — теперь уже не заговаривает со мной за обедом и только изредка, бегло, будто боясь чего-то, обратится с каким-нибудь незначительным замечанием.

Даже madame Dorez заметила и говорит:

— А ведь что-то странно: monsieur, когда встречает вас в коридоре один, — подает вам руку, а когда с madame — только кланяется; и вообще они к вам очень переменились, отчего это?

Ах, я бы сама была рада, если б кто-нибудь объяснил мне отчего. Мне как-то не верится, чтобы эти интеллигентные люди, к которым я так искренно расположена, для которых так старалась быть полезной, — могли придраться и составить обо мне нелестное понятие на основании только одного моего рассказа о знакомстве с Кларанс. Неужели эти люди настолько узки, настолько нравственно близоруки, что могут, не заглядывая глубже, так, сразу осудить беспощадно и закрыть навсегда для меня свою дверь?

Впрочем, я теперь и сама из простого чувства собственного достоинства не пойду к ним.

Но мне больно переносить их скрытое холод-

ное презрение, больно видеть, как муж трусит своей жены и старается подражать ее поведению со мною: видно, что это, в сущности, вовсе не свойственно его мягкой и добродушной натуре.

За что все это?!

14 декабря, суббота

Получила от Danet письмо, что костюм готов и я могу примерить его. Что я примерю у него на квартире — это было условлено и раньше, чтобы не узнала хозяйка.

Danet живет с кузеном Шарлем на отдельной квартире, поближе к факультету, — мать и замужняя сестра — около Триумфальной арки. Он ждал меня в изящно убранном рабочем кабинете, который одновременно служил ему и мастерской.

На широком турецком диване, обитом красным плюшем, лежал костюм: туника цвета mauve и пеплум crème — все из дешевой бумажной фланели. Но этот материал казался дорогим и красивым в изящных складках костюма, который был сшит так, как шьют только здесь, и нигде больше. Где, как, у кого научилась его мать, богатая женщина, которой, наверное, никогда и не приходилось учиться ни шитью, ни кройке, этому искусству

драпировать ткани так художественно, с таким тонким вкусом и, главное, пониманием красоты античного платья? Она, как и все француженки, родилась с этим умением…

Danet все обдумал, как настоящий артист… Купил чулки, сандалии, ленту на голову и камни на нее наклеил…

Я, не раздеваясь, тут же на платье надела тунику и пеплум… Очень хорошо, как раз для меня. Как Danet снял мерку — я уж и забыла, — кажется, только длину и ширину груди, — однако все впору.

И он смеялся над моим восхищением работой…

— Ну вот, пустяки… Дома прислуге делать нечего, а мама только задрапировала на манекене. Она у меня предобрая, совсем идеальная мать. Отчего же, говорит, не доставить удовольствие молоденькой иностранке?

Я сняла пеплум и тунику. Danet аккуратно сложил все и усадил меня на диван.

— Ну, теперь я покажу вам пригласительные билеты. Надо вписать ваше имя. В Брока мне выдали дамский билет, не вписывая имени, по доверию. Я сказал, что приведу с собой маленькую цветочницу… польку. Но все-таки имя

вписать нужно, это формальность… Так какое же мы придумаем? По кортежу я буду римлянин, а вы — моя вольноотпущенница.

Это слово мне напомнило что-то… Вот! да ведь в романе «Quo Vadis?» есть вольноотпущенница Лигия… По-французски это только выходит не так красиво — Lygie, а лучше Lydia, — это и по-русски так же.

— Так и впишите — Lydia.

— Да, это красивое имя, — согласился Danet, развертывая билеты.

— Смотрите, вот это белый — мужской, а это зеленый — дамский. Пока вы читаете, что написано на моем, я впишу ваше имя.

Я взяла билет, отпечатанный крупным красным шрифтом на белом, элегантном, узком листе толстой ватманской бумаги со вставками из белой глянцевитой. Вверху — красивая виньетка весьма откровенного содержания: римлянин в каске, покрытый только плащом, обнимающий голую женщину; внизу — переплетающееся тело такой же женщины и сатира. Сбоку, в длину текста приглашения, шла надпись буквами одна под другой: «Бал интернатуры».

Дорогой друг,

в понедельник, 16 декабря 1901 года, мы празднуем в Буллье прибытие в школу-интернат наших будущих преемников; мы рассчитываем на вашу помощь.

Интерны по медицине в больницах Парижа.

Внизу была подписана фамилия — *Danet.*

На другой половине мелким красным шрифтом были отпечатаны правила.

БАЛ ИНТЕРНАТУРЫ

Карточка строго персональная. Должны присутствовать: имя приглашенного лица, имя приглашающего интерна, подпись начальника охраны и больничный штамп.

Вход на бал будет ВОСПРЕЩЕН любому лицу не в костюме (за исключением шефов) или в костюме, не удовлетворяющем требованиям. Разумеется, некоторая художественная непоследовательность допустима.

Следующим лицам будет отказано во входе без объяснения причин: монахам, мошенникам, велосипедистам, водите-

лям, больным, интернам в медицинских блузах, клоунам, Пьеро и другим зевакам. Однако, если один из этих персонажей необходим для шествия, на контроле это должен подтвердить заведующий шествием.

И опять на вставке из глянцевитой бумаги подписи:

Г-н Данет,
приглашен Гарсье из больницы Брока.

Внизу обязательное предупреждение:

Двери откроются в половине десятого и закроются в полночь.

— Какой красивый билет! — сказала я.

— А вот еще лучше и интереснее. Посмотрите, какой изящный, — сказал Danet, подавая темно-зеленый, еще более толстый лист со вставками из серебристой бумаги и такою же виньеткою в заголовке.

«Mon coco», — прочла я и остановилась в недоумении: что же такое значит «coco»?

Danet рассмеялся:

— Ничего, это просто так, имя ласкательное…

Приглашаем вас посетить шествие, службу и похороны скучной премудрости, которые свершатся в ночь с 16 на 17 декабря 1901 года под веселые звуки оркестра Булье.

Передайте матушке, что никакой беды с вами не случится.

— Зачем же мать-то предупреждают? — с недоумением спросила я Danet.

Тот опять рассмеялся:

— Да просто потому, что там бывает как раз наоборот. Ну это и смешно.

Внизу на отдельном сгибе, предполагаемом для контроля при входе, тоже мелким шрифтом было написано:

БАЛ ИНТЕРНОВ ГОСПИТАЛЕЙ ПАРИЖА

Вход на бал СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ лицам, не одетым в костюм или одетым в костюм, не удовлетворяющий требованиям.

Домино, волк и костюм велосипедиста будут бесповоротно отвергнуты у

дверей.

И еще ниже — опять имя *Madame Lydia,* и то же обязательное предупреждение о времени открытия и закрытия дверей.

— Итак, вы будете madame Lydia, маленькой цветочницей… Предупреждаю, что на этом балу все говорят друг другу «ты». И мы, значит, должны делать то же… и вообще вести себя как все… Я должен обнимать и целовать вас, — иначе нельзя, мы обратим на себя внимание.

— Что ж… я согласна… — И про себя подумала: с Danet это можно. Он слишком хорош собой — и в нем есть что-то, что нравится женщинам… какое-то неотразимое обаяние беззаботно уверенной в себе силы, без тени фатовства.

— Ну так начнем теперь же… надо приучаться… вы будете мне говорить — ты, Georges, а я вам — ты, Лидия…

— Хорошо, хорошо…

— Теперь условимся относительно времени. Вы приедете ко мне в понедельник к 5 часам. Отобедаем в ближайшем ресторане. Оттуда — ко мне, оденемся и поедем в Брока, а потом в Бюллье. Ночуете вы у нас. Вот здесь, в кабинете, я вам все устрою, диван очень удобный. Я предлагаю это

потому, что неудобно вам в костюме возвращаться к себе… А потом — во вторник — в 11 часов встаем и идем, куда кому надо. Не так ли?

Я была тронута таким вниманием и деликатностью Danet. Действительно, он хотел доставить мне удовольствие и избавить от всех последствий такого шага.

И я ушла, почти счастливая при мысли о том, что завтра наконец-то увижу, увижу его…

16 декабря, понедельник

С трудом дождалась конца урока Franco-English Guild. В четыре часа бросилась бежать домой, — и, вся запыхавшись, влетела в столовую, где madame Tessier с матерью спокойно дремали в сумерках, сидя у камина.

— Madame Tessier, вообразите, какая радость: встретилась только что с подругой, которая проездом в Париж: всего на два дня. Мы так давно не видались, сейчас ухожу к ней в номер и не вернусь до завтра, полудня, — ночую у нее, вернее — всю ночь проговорим. Так что обо мне не беспокойтесь. Я сейчас ухожу, тороплюсь. До свиданья.

Madame Tessier любезно пожелала мне провести приятно вечер с подругой, и я, покончив

с этой неизбежной формальностью, поскорее собрала пакетик с полотенцем, мылом и разной туалетной мелочью — и поехала к Danet на me Varin.

8 часов вечера. Поскорее вынимаю из кармана заветную тетрадку и набрасываю последние строки.

Мы одевались в рабочем кабинете, который предоставлен в мое распоряжение. Danet и Charles — в спальне.

— Ты готова, Лидия? — кричит Danet.

17 декабря, вторник

Когда я вошла в спальню, мои товарищи уже оканчивали свой туалет.

Danet окинул меня быстрым взглядом, схватил карандаш, слегка провел им по бровям, чуть-чуть тронул пуховкой лицо и торжествующим тоном воскликнул:

— Прекрасно! Посмотри теперь на себя — о, как ты хороша, Lydia…

И я увидела в зеркале прекрасную, бледную молодую женщину с темными бровями и волной белокурых волос, которые падали почти до колен, — в тунике цвета mauve и белом пеплуме, который падал с плеч красивыми мягкими

складками… Узенькая ленточка mauve с цветными камнями, надетая на лоб, придавала лицу какое-то таинственное выражение, и глаза из-под темных бровей смотрели печально и важно…

— Lydia, Lydia…

Danet любовался мною с восторгом артиста. В самом деле — такая, какой я была в эту минуту, — разве не была я его созданием с ног до головы? Не он разве придумал и нарисовал этот костюм, настоял на том, чтобы я распустила волосы, загримировал!

Здесь в Париже научилась я ценить и понимать внешность… И искренно, как ребенок, залюбовалась своим отражением. Сознание того, что я хороша, наполняло меня всю каким-то особенным ощущением, делало почти счастливой… Серьезная курсистка, суровая книжница, вся погруженная в науку, — куда они делись?

Я сама себя не узнавала: мне казалось, что какая-то другая, новая женщина проснулась во мне…

Если бы кто-нибудь год тому назад — предсказал, какой стану я, — я воскликнула бы с негодованием: не может быть, немыслимо!

Ведь я четыре года училась в Петербурге и ни разу не полюбопытствовала пойти на костюми-

рованный бал Академии художеств.

А теперь… теперь ради него — пойду не только на этот бал, но спустилась бы во все подземелья ада, если бы знала наверное, что встречу его там…

И я протянула Danet свои руки: merci, merci, Georges.

Он быстро оканчивал свой туалет перед зеркалом и тоже слегка подвел себе брови. Он был очень интересен в богатом костюме римского патриция: красная тога красиво оттеняла гордую темноволосую голову с римским профилем, а такого же цвета плащ свободно драпировался на его высокой, мощной фигуре… Казалось, этому бретонцу нужна была блестящая, театральная атмосфера, что он только и жил в ней, был действительно самим собой.

А бледный, худой, маленький Charles рядом с ним казался еще незаметнее в своей голубой тоге раба. Danet беспощадно торопил его, и бедный мальчик тщетно старался пристегнуть трико к тунике. Я помогла ему.

В девять часов мы уже выехали в Broca. Я сидела, как кукла, в углу кареты, бережно укутанная Danet в его длинный черный плащ, с головой, покрытой черным кружевным шарфом.

Charles сидел напротив, а Georges — рядом со мной.

— Смотри же, не забудь, Lydia, — ты должна быть знакома с… Ты помнишь?

— Я помню, Georges…

Карета остановилась у ворот госпиталя Брока.

Danet быстро выскочил.

— Ждите меня, — и исчез.

Ждать пришлось долго. Я совсем не привыкла быть одетой зимой не в мех, а только в суконный плащ; ноги в тонких чулках и сандалиях замерзали.

Холод мало-помалу пронизывал меня насквозь… Казалось, кровь постепенно застывает в жилах… я закрыла глаза. И мысль о возможности схватить серьезную болезнь, смешанная с сознанием того, что я скоро увижу его, — доставляла мне какое-то невыразимое наслаждение.

Я рада была замерзнуть тут же, на улице, у ворот этого госпиталя, лишь бы он был там…

Сколько времени просидели мы так — не знаю.

Дверца фиакра отворилась, и показалась красивая темноволосая голова в венке из роз. Молодой человек сел рядом с Шарлем, за ним вскочил в фиакр Danet.

— Мой товарищ Michelin — Lydia, мой кузен Шарль… — торопливо представил нас Danet и велел кучеру ехать.

— Ты не очень озябла, Lydia? — тихо спросил он.

— Н-нет… — с трудом выговорила я. У меня все члены онемели от холода, и язык не поворачивался.

Через несколько минут фиакр остановился перед знаменитым Bullier. Перед ним уже собирались зрители, чтобы смотреть на съезд костюмированных.

Danet быстро и ловко высадил меня из кареты и повел куда-то. Я шла с ним рядом как в тумане, не замечая, куда мы идем и каким ходом… и яркий свет раздевальни совершенно ошеломил меня.

Небольшая лестница вела вниз в большой танцевальный зал, разделенный колоннами на три части. Он был пуст и слабо освещен.

— Погоди раздеваться, Lydia… Холодно. Что же ты молчишь? Или замерзла? Пойдем греться к печке.

Он повел меня через всю залу на другой конец, к одной из своеобразных печей не виданной мною доселе системы — не было видно огня, и теплота доставлялась большим медным рефлек-

тором. Danet усадил меня около него, и сам стал тоже греться. Мало-помалу я пришла в себя, могла пошевельнуться и сознательно осмотреться кругом.

Зала была почти пуста. Никого еще не было.

— Чего ж ты так торопился, Georges? — спросила я. — Мы так рано приехали.

— Наш кортеж формировался в Брока. Мне надо было сказать, что мы едем вперед, — объяснил Danet. — Другие ведь идут пешком, а мы ехали — вот и вся причина.

Я увидела, что сидела на эстраде, которая шла вдоль всей залы и была уставлена столиками. Должно быть, это был ресторан. Danet отошел в сторону, рассматривая зал. Я сняла шарф…

— Какие красивые волосы! Какие волосы! — раздалось за моей спиной.

Я обернулась. Некрасивый субъект в костюме нищего римлянина фамильярно погрузил руку в волны моих волос.

— Не для вас! — резко оборвала я его, наклоняясь в сторону.

Он быстро отошел.

Danet все это отлично видел и в ту же минуту был около меня.

— Слушай, моя маленькая Лидия, — прошептал

он, обнимая меня за талию, — так нельзя. Ведь я же тебя предупреждал, что надо быть готовой ко всему.

— Но… это уж слишком скоро… ведь и бал-то еще не начался, — оправдывалась я.

— Все-таки без резких замечаний, надо играть роль до конца… Куда это делся Шарль? Я поведу тебя в нашу ложу, видишь — налево.

Мы сошли в зал и снова поднялись по ступенькам входа в ложу. Он был действительно очень хорош и представлял террасу дома с видом на Помпею у подошвы Везувия. Декорация ложи была до мелочей строго выдержана. Кругом, как бы написанные углем на мраморе, шли надписи. «Кролик для Лидии», «Свинья — герой»… — Это что ж такое?

Danet смеялся.

— «Ты сам герой», — отвечал он, указывая на другую надпись. — А вот тут: «Аптекари умрут», посмотри-ка сюда, Lydia. — И Danet притянул меня за руку к себе: при входе в ложу на невысокой колонне гипсовый бюст сатира улыбался, скаля зубы.

— Кто это сделал?

— Один врач.

— Но ведь это любому скульптору впору! Что

вы за артистическая нация! — невольно воскликнула я.

Danet улыбался:

— Ты не то еще увидишь… Мы любим красоту.

Зал мало-помалу наполнялся народом. Зажгли все люстры и ярко осветили пеструю толпу. Тут была «смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний». Египтяне, финикияне, средневековые монахи и пастушки Людовика XV, русский казак и адвокат, алхимик и пьеро… потоки костюмов, лиц…

Становилось жарко. Danet снял с меня плащ и унес его в раздевальню.

На несколько минут я осталась одна…

Вдруг я скорее угадала, чем узнала его… Он шел прямо на меня, вдвоем с высоким красивым брюнетом, оба переодетые китайцами. Длинная коса смешно болталась сзади, так же как и длинное перо. Общий серьезный вид его и очки составляли странный контраст с пестрым костюмом.

Это он, — нет сомнения — это он!

Но нахлынувшая волна вновь прибывших подхватила и унесла их…

Впервые в жизни находилась я на костюмированном балу. Голова кружилась от массы разнообразных впечатлений.

— А, наконец-то я нашел тебя, Lydia, — обнял меня Danet. — Пойдем в нашу ложу. Там я тебя оставлю, — ты посмотришь, а я пойду танцевать.

Он играл роль, как было условлено. И широким, видимым для всех жестом, но лишь едва дотрагиваясь до плеч, обнял меня и осторожно поцеловал в лоб.

«Как это мило с его стороны, такая деликатность», — подумала я.

— Вот стул, Lydia. Садись. Шарль, побудь с нею, — приказал Danet и исчез в толпе.

Рассеянно разговаривая с Шарлем, я искала в толпе его… Пестрая, многоголовая, она шумным роем двигалась по зале, — и нелегко было в ней найти его.

У меня уже начинала кружиться голова, и глаза устали от этого беспрерывно движущегося потока, как вдруг вновь мелькнули китайские костюмы… Это он! И я скользнула за ним как тень, увлекая за собою недоумевающего Шарля, который никак понять не мог, зачем я вдруг оставила ложу.

— Это для развлечения, Charles, — уверяла я, смотря, не отрываясь, вперед.

Кругом веселье разгоралось… Женщины — молодые, красивые, накрашенные — и все

доступные.

Я начинала понимать, что это за бал… и к чувству радости при виде его примешивалось острое сострадание.

А он шел вперед все такой же серьезный и важный, — не обращая внимания на женщин…

«Зачем он пришел сюда, зачем? Ведь он знает, что это за бал, — и все-таки пошел… значит…»

Я чувствовала, что, если только увижу, что он, как и все, развратничает с женщинами, — я не вынесу этого… убью ее, его, себя…

Я задыхалась… рука инстинктивно искала какого-нибудь оружия, а его не было — я никогда не употребляю и не ношу его из принципа.

А теперь… о, будь они прокляты, эти принципы! шагу мы, русские, никуда без них ступить не можем!

Полина Декурсель, полуиспанка, прямо сказала мне, что в день свадьбы покупает себе кинжал и револьвер, чтобы убить мужа в случае измены. Она так рассуждает: «Если я выйду замуж — не иначе как по любви. А если он изменит мне, то за мою разбитую жизнь — сам не должен жить».

Я люблю его… он должен быть лучше других… а если ничем не лучше — так пусть погибнет и он, и я сама.

Голова кружилась… в глазах заходили красные круги…

И вдруг меня осенила блестящая мысль… именно блестящая, как когда-то Кларанс…

Я вспомнила, как Шарль вместе с носовым платком и портмоне взял еще и большой перочинный нож и положил все это в карман, который кое-как приколол булавкой под тунику.

— Шарль, дайте мне, пожалуйста, носовой платок. Я своего не взяла, у меня кармана нет…

Я знала, что неловкий Шарль, вынимая платок, наверное выронит и нож… Так и вышло. Он вывернул весь карман, и на пол выпал и нож, и портмоне, и какие-то бумажки, и, кажется, даже… шпилька! Я наклонилась и, быстро подобрав нож, спрятала его в складки пеплума.

— Так вот как! Вы приходите на бал точно в классы — с перочинным ножом, — так не отдам же я его вам!

Смущенный Шарль оправдывался, возился с карманом и просил отдать нож. Я отказалась наотрез.

— В наказание оставлю его у себя до завтра.

А сама, под складками пеплума, потихоньку открыла его и сжала ручку. И странно: я сразу успокоилась, словно какая-то сила и твердость от

него сообщилась мне.

Но два китайца шли все вдвоем. Danet разыскал нас в толпе.

— Скоро полночь! Пойдут процессии. Пока очередь не дошла до нас — пойдем в ложу, Lydia, и посмотрим, — предложил он.

Чтобы он ничего не мог заподозрить, я тотчас же согласилась.

Мы с трудом нашли место у барьера ложи; она была переполнена.

Женщины, хорошенькие, молодые, в самых разнообразных костюмах, начиная от величавой египетской жрицы и кончая простой белой фланелевой туникой, рассыпались по ложе.

Вдруг одна из них, сидевшая рядом со мной, исчезла и через минуту вновь появилась — в одной газовой тунике, уже без шелковой подкладки. Она спокойно прошлась по ложе. Две другие последовали ее примеру: тоже сняли подкладку своих туник и отнесли в угол ложи.

Простота и непринужденность, с какими эти женщины разделись тут же, на глазах у всех, — заставили и меня отнестись к этому совершенно спокойно. В такой атмосфере, в такой обстановке — это являлось естественным… Я осмотрелась: кругом мелькали голые женские фигуры или во-

все без одежды, или едва прикрытые прозрачным цветным газом…

Сердце у меня почти остановилось: он входил в нашу ложу…

А вдруг он узнает меня? Как ни было нелепо подобное предположение — он близорук и никогда не видал меня без шляпы, — я все-таки инстинктивно прижалась к Danet. Тот прикрыл меня своим плащом.

— Что случилось, моя маленькая Lydia?

— Так, ничего… мне хорошо с тобой… Зачем только ты все бегаешь к этим женщинам?

— Так ведь ради развлечения.

Он со своим спутником вышли из ложи; очевидно, приходили только посмотреть живопись, не обратив никакого внимания на женщин, которые бегали в ложе.

Я вздохнула свободно! Так он не такой, как большинство… какое счастье!

И я совсем забыла, что не он один вел себя вполне прилично, что многие интерны были тоже одни, не приставали к женщинам, что хорошенький интерн с грустным лицом, который ехал с нами в карете, — тоже был все время один…

Чем было объяснить такое поведение? Принципами или просто пресыщением благами жизни?

Или же — верностью своим любовницам, которых не могли почему-нибудь взять на этот бал?

Кто их знает… я об этом не думала — я видела только, что он все время один, со своим товарищем, что, очевидно, бояться больше нечего…

Пестрая толпа заколыхалась, раздвигаемая распорядителями. Шествие начиналось.

С другого конца зала показалась колесница, на которой высился гигантский фаллос из красной меди, обвитый гирляндами роз и красного бархата. Около него две нагие женщины раскидывались в сладострастных позах. Колесницу окружала веселая толпа пляшущих, играющих, поющих жрецов и жриц…

Красота и откровенность этого зрелища — совершенно ошеломили меня… Колесница медленно двигалась кругом зала, и гигантский фаллос, окруженный женщинами, гордо высился над толпой.

Следующая колесница заставила меня вздрогнуть от ужаса и отвращения.

На операционном столе лежала кукла, покрытая полотенцем. Рядом с ней, в высоко поднятой руке, врач держал вырезанные яичники; его передник и полотенце были покрыты пятнами крови.

— Это госпиталь «des infants Malades» — вот программа, Lydia, — совал Danet мне в руки какую-то бумажку.

«Что-то еще будет?!» — с ужасом подумала я и, обернувшись, — вдруг заметила вверху неприличный рисунок…

— Пойдем, пойдем скорее, Lydia, — скоро наша очередь! — торопил меня Danet и, схватив меня и Шарля, потащил нас обоих куда-то.

В той части зала, где формировался кортеж, — помещается летний сад и было страшно холодно.

Кругом суетились люди, накрашенные женщины взбирались на колесницы. На нашей уже лежал помпеянец — высокий, рослый, красивый юноша, по типу — настоящий наследник римлян.

В первом ряду его друзей должен был идти Danet и с ним — я, его вольноотпущенница — Lydia. Нас окружили патриции, клиенты, рабы, сзади — нищие. Распорядители бегали и суетились, уставляя нас.

Шествие тронулось, Danet обнял меня одной рукой, небрежно бросая другой монеты в толпу. У Danet от природы осанка патриция, так что он был чудно хорош… Я не смела поднять глаз… мне

казалось, что я непременно встречусь глазами с ним…

Мы медленно двигались сквозь живую стену и сотни любопытных глаз. Я набралась мужества, подняла глаза и смотрела куда-то вдаль, стараясь не встречаться ни с одним из этих взглядов.

Мы два раза обошли зал; одну минуту показалось мне, что я прошла мимо него… не знаю… я в эту минуту инстинктивно вновь опустила глаза.

Когда мы вернулись в летний сад — Danet так же поспешно увел меня обратно в ложу, чтобы не пропустить посмотреть другие процессии.

Остальные были очень хороши; вполне художественны по мысли и исполнению.

Госпиталь Неккер — представлял союзников в Китае. Огромный китаец восседал на колеснице, по углам которой сидели курьезные китайские куклы с огромными головами, которые качались в такт.

Я не успела понять, в чем заключалась процессия Hôtel-Dieu, как ворвалась веселая компания поселян времени Louis XV, при сборе винограда под звуки старинной музыки обходя весь зал…

Древние египетские богини госпиталя Сент-Антуана — загадочные, как сфинксы, двигались

таинственно и важно.

И как конец — как дитя нашего века — бежала шумно железная дорога, с локомотивом, вагонами, багажом и музыкантами, которые усердно во всю мочь играли какую-то пьесу, возбуждая общую веселость.

Danet и Шарль исчезли из ложи — на раздачу призов. Я наблюдала женщин.

Одна из них — худенькая брюнетка лет под 40, вся накрашенная, привлекла мое внимание. Она все время вертелась около нас, стараясь привлечь внимание Danet. Ее жалкое, худое, с выдавшимися лопатками тело производило впечатление чего-то детского, беспомощного.

Я видела, как внизу в зале Danet танцевал. Как молодое животное — он наслаждался в этот вечер щедрою прелестью и красотой окружавших женщин…

— Смотри, Lydia, — Диана, Диана.

— Кто эта Диана? — спросила я.

— Она позировала для «Парижанки» на Всемирной выставке.

Молодая красивая женщина в чепце, с завитушками на висках прошла мимо.

— Видишь, она поправилась, — долетел до меня отрывок разговора.

— О чем это, Danet? — тихо спросила я.

— Да была больна сильно эта Niniche… сифилисом.

Он сказал это просто и спокойно, как будто дело шло об инфлуэнце.

Что-то толстое и мягкое, как подушка, терлось около меня. Я обернулась.

Толстый низенький интерн танцевал около меня и силился обхватить. Чувство несказанного омерзения овладело мною. Но помня обещание, данное Danet, я не смела оборвать его и только грациозно уклонилась в сторону.

Danet подоспел ко мне на помощь.

— Римская патрицианка не привыкла к свободному обращению с ней клиентов, — комически важно произнес он, покрывая меня своим плащом и уводя от него.

— А, что? Хорошо я ответил?

— Прекрасно.

Толпа понемногу редела… Его нигде не было. Я проследила все уголки зала… очевидно, он уехал давно.

Начался ужин.

Прислуга торопливо разносила приборы, мелкие картонные тарелки и большие корзины с холодной закуской… Я сидела с Шарлем, а Danet

— за одним столом с большой веселой компанией женщин и мужчин.

Одна из них, толстая блондинка, схватила Шарля. Тот совсем смутился. А женщина хохотала и обняла его еще крепче.

Моя рука инстинктивно поднялась, чтобы защитить ребенка от этих грязных ласк… В ту же минуту кто-то грубо сжал ее, так что браслет до боли врезался в кожу…

Я обернулась. Danet, со спокойным лицом, но все более стискивая руку, прошептал на ухо:

— Оставь… забыла, где ты?

Я видела, как в нем, несмотря на всю его благовоспитанность, проснулся грубый инстинкт, который не мог допустить, чтобы женщина осмелилась заявлять о своей самостоятельности. Я молча высвободила свою руку из его железных пальцев…

Весь зал наполнился дикими, нескладными звуками: интерны отняли у музыкантов инструменты и делали нечто вроде выхода клоунов у Барнума.

Это было какое-то безумие, не поддающееся описанию.

— Пойдем, пойдем, ты не должна этого видеть, Lydia, — тревожно сказал Danet. Голос его был

серьезен, и глаза уже не смеялись.

— Ты, наверно, устала и Шарль тоже… Он уже давно хотел уехать с бала…

Я сейчас же согласилась и, проходя по зале, все-таки, чтобы удостовериться, смотрела направо и налево — его не было.

Danet меня так же укутал и опять, как куклу, усадил в фиакр. И только очутившись у него на квартире, я почувствовала, как устала.

— Спасибо вам… вы доставили мне большое удовольствие.

— Позвольте мне еще раз назвать вас Lydia, это так хорошо… Слушайте, зачем вы такая красивая?

Его руки обвили мою талию, и прекрасная голова наклонилась к моему лицу.

Волна каких-то новых, неизвестных доселе ощущений пробежала по мне. Я хотела вырваться из этих сильных объятий бретонца — и не могла.

Голова закружилась, я едва понимала, что со мной делается, и, обняв голову его обеими руками, — поцеловала… Потом оттолкнула его, заперлась на ключ и, не раздеваясь, бросилась на диван.

А сегодня консьерж поднялась с письмами к двенадцати часам, когда я уже собиралась ухо-

дить. Дверь я уже отперла, и та, не ожидая найти никого в кабинете, вошла, не постучавшись, и, увидев меня, с легким — ах! скромно удалилась.

18 декабря

Видела сегодня сон. Иду по дорожке сада какого-то госпиталя. Полдень, жара страшная… интерны идут обедать и подходят к кассе; их много, белые блузы тянутся длинной вереницей, а среди них — вижу его. Хочу подойти и не могу: какая-то невидимая сила удерживает на месте… и чем ближе он подвигается к кассе — тем я дальше.

19 декабря, среда

Вижу ясно как день, что это безумие… Такая любовь губит меня и — не могу, не могу победить себя, не могу вырвать ее из своего сердца.

Если бы меня спросили, что я делаю, — я могла бы сказать, перефразируя стихи Розалинды Жерар:

Мне кажется, что каждый день
Я люблю его больше:
Сегодня больше, чем вчера, и гораздо меньше, чем завтра.

В подлинном сказано:

Car, vois-tu, chaque jour

Je t'aime davantage,

Aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain[159].

Мне кажется, что впереди стоит что-то страшное, беспощадное, темное, и я знаю это: это — смерть.

Смерть! Когда подумаешь, что рано или поздно она является исходом всякой жизни, а я, молодая, красивая, интеллигентная женщина, и не испытала ее единственного верного счастья — взаимной любви, без которой не может существовать ничто живое, мыслящее, чувствующее.

Невероятная злоба поднимается в душе, и хочется бросить бешеные проклятья — кому? чему? слепой судьбе?

Или я недостойна его?

Нет, нет и нет!

Все мое существо говорит, что нет… Та, которую он полюбит, — не будет ни выше, ни лучше меня…

---

[159] Примечания: 159

«Видя тебя ежедневно, я люблю тебя все сильнее: сегодня больше, чем вчера, и меньше, чем завтра» *(фр.)*.

Так за что же это, за что?!!

Я стала точно инструмент, у которого все струны натянуты, — вот-вот оборвутся…

Мне страшно оставаться наедине с самой собой… мне нужно общество, нужно говорить, действовать, чтобы… не думать… ни о чем не думать…

Сейчас получила письмо от Карсинского — приглашает завтра прийти смотреть его мастерскую, опять будет просить позировать… Что ж, не все ли мне равно?

20 декабря, пятница

Была у Карсинского; он показывал бюст Белинского, его маску, модель памятника…

И опять просил позировать.

— Ну хоть для памятника Белинскому! Смотрите — какой неудачный торс у этой фигуры, которая должна венчать бюст лавровым венком! Я не мог найти хорошей модели. Если согласитесь — я за это придам этой фигуре ваши черты лица, — и вы будете увековечены на первом в России памятнике нашему великому критику.

Как хорошо, что у меня так развита способность наблюдать! Я сразу увидела, что он хочет польстить моему женскому самолюбию, но я

не тщеславна. И молча отрицательно качала головой, в глубине души сама не понимая, зачем еще продолжаю эту комедию отказа — ведь мне, в сущности, так все безразлично.

А Карсинский точно догадался и мягким жестом взял меня за руку.

— Ну, хорошо, не будем об этом говорить… Приходите завтра, попробую начать ваш бюст, а там — увидим.

21 декабря, суббота

Отправляясь к Карсинскому, захватила с собой костюм, в котором была на балу интернов. В нем удобно позировать для бюста и удобно снять.

Мастерская была тепло натоплена. Карсинский в блузе, с руками, замазанными глиной, казался гораздо естественнее и лучше, нежели в салоне Кларанс.

Он работал над чьим-то бюстом, когда я постучалась.

— А, наконец-то! Я уже полчаса жду.

— Ну, с чего же мы начнем? Одну голову? Это неинтересно, а для бюста вы должны снять свой корсаж, но лучше было бы, если бы решились позировать вся. Что вы думаете — не позировали у меня интеллигентные женщины, что ли?

— Не думаю, — сказала я.

— Вот и ошиблись! Взгляните…

И он показал на бюст молодой женщины с лицом необыкновенно выразительным и умным и на большой барельеф во весь рост — св. Цецилию.

— Но ведь это — одетая.

— Да прежде надо слепить фигуру с натуры, а потом и одеть. Ведь и эта фигура — на памятнике Белинскому — неужели вы думаете, что так идет оставлять ее голой в нашем-то климате?

И нам стало смешно.

— Я должна переодеться.

— Вот ширмы.

Я сняла платье и надела тунику, распустила волосы. А когда вышла из-за ширм, Карсинский окинул меня всю взглядом знатока.

— Для бюста надо обнажить себя до пояса, — сказал он, умелою рукою отстегивая крючок сзади. Туника спустилась с одного плеча.

Какое-то желание испытать позы, неизведанное еще ощущение охватило меня…

Я видела, как Карсинский ждал.

Незаметно отстегнула другой крючок, и туника упала, обнажив меня всю.

— Ах! — вырвалось у него… — Стойте теперь,

вот так; повернитесь еще раз; теперь выберем позу. Садитесь сюда на диван. К вам идет что-нибудь такое, например отчаяние…

Мне ли не знать, что такое отчаяние! При одной мысли о нем — вся моя фигура и лицо сами собою выразили такое безграничное отчаяние, что скульптор в восторге вскричал:

— До чего верно вы понимаете мысль художника! Вы — неоценимая модель… Вы меня вдохновляете… Ну, уж и сделаю же я с вас статую! В России опять заговорят обо мне… Так и назову ее: «Отчаяние».

Это будет большая работа… А пока — у меня есть еще бюсты, заказы, которые надо кончить скорее. Я начну с вас один из них… Грудь должна быть видна вся, голову слегка наклоните вправо, волосы — вот так… и назову ее «Лилия». Как хорошо! у вас удивительное выражение лица — задумчивое такое, нежное…

Я пошла за ширмы и оделась; потом расстегнула лиф, приняла позу, какую он указал, и сеанс начался. Умелые пальцы постепенно придавали жизнь и человеческий облик бесформенной глиняной массе…

22 декабря, воскресенье

Недели полторы тому назад получила приглашение участвовать в комиссии по устройству бала, который русское студенческое общество устраивает в первый день Нового года. В прошлом году, оказывается, был такой же бал, но тогда мой адрес, как только что прибывшей, был еще неизвестен обществу. Я не была на первом заседании и сегодня получила второе приглашение.

Теперь я ухватилась за него: мне положительно было невыносимо оставаться наедине с самой собою и книгами. Заседание продолжалось около трех часов; я спорила, горячилась, доказывала, хотя, право, мало смыслила, в чем дело.

Будучи на курсах, я была слишком занята, чтобы принимать участие в подготовительных хлопотах каких бы то ни было вечеров. А тут сразу надо было постигнуть всю премудрость организации этой подготовительной работы.

Мне поручили продавать билеты; дали список адресов — что-то много, около тридцати, надо всех обегать и продать.

Во время заседания один за другим являлись члены первой комиссии с неутешительными известиями, — кто совсем не продал билетов, кто

на 30 франков, кто на двадцать.

— Господа, да что же это?! Ведь мы в прошлом году начали вечер с тремястами франков, а нынче и ста-то нет! Откуда же взять деньги на расходы? — в отчаянии вскричал председатель. — Где список адресов? где самый главный, у кого?

— У Соболевой, она отказывается ехать.

— Слушайте, как же так? Список-то, по крайней мере, возвращен ею?

— Кому же ехать?

— Да вот новый член, Дьяконова, она в первом заседании не участвовала, так пусть теперь поработает, — протянул мне список один из студентов.

Я взяла список и обещала сделать все, что могу.

— Уж вы постарайтесь, а то — на вас последняя надежда.

Хорошо. Постараюсь. Если ни на что больше не годна — хоть билеты продам. И никакие лестницы, этажи и расстояния теперь не пугают меня…

23 декабря, понедельник

Устала смертельно. Бегала с девяти утра до девяти вечера.

24 декабря

То же самое. Поднималась и спускалась по этажам, из квартиры в квартиру. Квартиры в Елисейских Полях и скромные комнатки Латинского квартала. Безумная роскошь обстановки — в одних, скрытая бедность — в других. Какое богатое поле для наблюдений, какой материал для романиста! Только я-то не сумею воспользоваться всем этим.

Чем богаче квартал, чем богаче квартира — тем менее она доступна. Богатый еврейский банкир Caran-Denvière, женатый на русской, не только не принял меня, но даже и билет возвратил под тем предлогом, что жена уехала.

Зато нет ничего симпатичнее русских интеллигентов. Поднимаясь в их скромные квартиры, я знала наверное, что буду принята как человек, что меня не посадят в роскошной гостиной и не вышлют двадцать франков с горничной, — а лично сами дадут пять или десять франков, которые тем более ценишь, что знаешь, с каким трудом они заработаны.

25 декабря, среда

Кларанс уже давно говорила, что у нее будет вечер в первый день Рождества.

Я все более и более втягиваюсь в ее общество. Оно дает мне забвение.

Сыплются неприличные анекдоты, смелые остроты. Скульптор так и вертится, представляя то танцовщицу, то английского полисмена… Наконец я увидела и знаменитый Медный Цветок.

Это была странная женщина, которая с первого взгляда приковывала к себе внимание. Вся в черном, необыкновенно тонкая, гибкая и стройная, с волосами, выкрашенными в ярко-рыжую краску, отливавшую как медь, — она действительно оправдывала такое прозвище. Ее туалет отличался тонким изяществом, и вся она — накрашенная, напудренная, с малиновыми губами — производила впечатление чего-то отравленного, точно Клара из романа Мирбо «Сад пыток». «Такая женщина как змея обовьется около сердца мужчины и ужалит его», — невольно подумала я, глядя на нее.

Она держалась скромно, с достоинством и очень симпатично, не шумела, как Кларанс, не вертелась из стороны в сторону, а сидела прямо,

грациозно перегибая стан во время разговора. Только что перед ее приходом был разговор о ее женихе. И теперь я с невольным интересом смотрела на эту женщину.

Веселье шло по нарастающей. Карсинский представлял миску. Музыкант заиграл вальс. Все стали просить Медный Цветок танцевать, и она согласилась, не ломаясь долго.

Сняли ковер, раздвинули стулья к стенам. Медный Цветок взяла кружевной шарф Кларанс.

Я сидела неподвижно в углу, усталая, разбитая после двухдневной беготни по лестницам. Голова кружилась.

Веселый смех разливался кругом, а Медный Цветок, которая убила своего жениха, изгибалась в грациозном танце.

Скульптор сидел у моих ног и в сотый раз объяснялся в любви.

26 декабря, четверг

Еще день беготни — и завтра сдаю отчет. Последние десять адресов.

Из-за всей этой беготни — еле-еле успеваю позировать скульптору. Бюст подвигается быстро.

Сестра Надя прислала неожиданно сорок рублей, полученные по переводу. Вот прекрасно!

Сошью себе на них русский костюм, благо шелк здесь дешев!

Сошью голубой шелковый сарафан, кокошник вышью в одну ночь… и рисунок есть — из Румянцевского музея давно взят. Это будет чудно хорошо, и ко мне пойдет.

27 декабря, пятница

Сдала отчет. Привезла около полутораста франков. Теперь будет с чем начать вечер.

Я никого не знаю из этих господ, но один из присутствующих подошел и отрекомендовался Самуиловым, «поэт по профессии». Я с любопытством посмотрела на этого субъекта — еврейский тип, неряшлив, в общем — ничего особенного; голова — с претензией на надсоновскую, но несравненно хуже ее.

И так как я спешила домой, то он предложил свои услуги проводить меня. Я не боюсь ходить одна, но из вежливости — не отказала.

Он начал говорить о поэзии — довольно-таки сбивчиво и запутанно; я рассеянно слушала и думала — скоро ли приду домой, напьюсь чаю и согреюсь у камина. И не заметила, как дошла до дому.

Пригласить его зайти напиться чаю или нет?

В Париже наш чай не очень-то всюду предложат, — и русское гостеприимство взяло верх над желанием остаться одной, и я сказала:

— Не хотите ли зайти напиться чаю?

— С удовольствием.

За чаем, в качестве поэта, он повел атаку быстро. Заявил, что давно интересуется мной, что я — очень хороша собой и т. д. и т. д.

Я старалась быть как можно строже и сдержаннее, — это его не останавливало.

— Ведь вы только по внешности кажетесь спокойной, а на деле у вас душа такая… бродящая, по глазам видно.

Он расположился было целовать мне руки, но я отдернула их. Этот нахальный субъект был мне противен.

28 декабря, суббота

Оказывается — сегодня получила по почте еще десять франков за билеты. Надо было отдать их секретарю. Прошла в русский ресторан — там, кажется, его можно всегда застать до 12 часов.

Я там никогда не бывала. И на минуту русский говор ошеломил меня; точно в Россию попала.

За завтраком моим соседом был магистрант Юрьевского университета, высокий блондин с

длинным носом и голубыми глазами. Он долго говорил мне о преимуществах мужчины, стараясь доказать его превосходство над нами…

— Да… женщины вообще не способны к философии, к научному творчеству. Они лишь скорее усваивают, чувствуют тоньше, а наш брат — грубоват. Но в области науки… укажите мне женщину, которая создала бы в области философского мышления свое, новое?

«Гм-м… много ли ты сам-то можешь создать своего, нового», — подумала я, но не решилась сказать, боясь обидеть его мужское самолюбие. И отвечала вслух:

— Женщин, такие как есть, нельзя судить, как вы судите. Мы, половина рода человеческого, тысячелетиями были поставлены в такие условия, в каких мы могли развивать только свои низшие качества. Наш ум, несмотря на всю культуру, которую получили некоторые из нас, — все-таки в своем роде продукт влияния атавизма. Что ж удивительного, если ученые женщины не создали ничего великого в науке? При тех условиях, в которых мы родимся, воспитываемся и живем, — еще удивительно, как это женщины могли сделать и то, что они сделали, — создать те произведения во всех отраслях искусств и науки

и все время, не переставая, состоять под вековым угнетением, рождая, воспитывая детей — словом, свято исполняя обязанности, возложенные на нее природой.

Ученый молча слушал.

— А великие произведения мысли, умы, — закончила я, — и между вами редки. И если сравнить, сколько между вами посредственностей пропорционально числу людей науки и великим умам — и сколько между женщинами, то окажется, что ваша пропорция больше…

Ученый не пытался, по-видимому, возражать и вскоре, увлеченный своими мыслями, заговорил о нации.

— По-моему, государственность и религия необходимы, необходимы… В русском народе есть этакий христианский дух, которого я не замечаю здесь. Как сказал Гекели, люди, проповедующие: «возлюби ближнего своего, яко сам себе», — в жизни рады друг другу горло перерезать; а люди, убежденные, что человек произошел от обезьяны, и материалисты — в жизни следуют принципу: «положи душу свою за други своя».

— Так вы убеждены в том, что и у вас есть христианский дух?

— Убежден.

— Ну а как же связать с этим противоречие ваших собственных слов: вы ведь против того, чтобы женщинам давали права. А между тем в Евангелии сказано: «возлюби ближнего своего, яко сам себе». Без различия пола. И вот, согласно этому принципу, каждое существо должно иметь одинаковое право на жизнь, на существование, тогда как при настоящем положении дела женщина должна жить, не имея равных с мужчинами прав. И если вы признаете это законным, естественным и восстаете против ее освобождения, — какой же это христианский дух? Где тут любовь к ближнему?

Мой собеседник окончательно смутился, не находя выхода из собственных противоречий. И после неловкого молчания — вдруг заговорил о себе…

— Я тороплюсь уехать из Парижа. Заниматься здесь неудобно; Национальная библиотека открыта только до 4 часов, книги приходится покупать… А характер французский — это наружная вежливость, а внутри — человек человеку волк… Немцы откровеннее и сердечнее. С нетерпением жду, скоро ли буду в маленьком немецком городке.

«Книгоед!» — подумала я.

— Робок я очень, знаете ли, — продолжал магистрант, — да нет у меня в голове этой… архитектоники.

— И слога? — спросила я.

— Н-нет… насчет слога я, знаете ли, стараюсь… а вот нет у меня архитектоники, построения, плана книги… и не знаю просто, как быть.

«Да, не знаешь, как быть, оттого что у тебя нет научного гения, творческой жилки», — подумала я, глядя на его ограниченное лицо. Нельзя высиживать из себя насильно книги.

После завтрака к нему подошел поэт Самуилов; начался спор, не возбуждавший моего внимания. И все-таки, несмотря на всю разницу моих взглядов, — ученый был для меня симпатичнее этого самоуверенного нахального субъекта, горячо толковавшего о политике…

— Ах, не говорите вы этого слова «режим», — с гримасой прервала я его речь. — И видно сейчас, что вы — не русский человек. Надо говорить «образ правления».

— Ну вот еще! — небрежно возразил он.

Я вспыхнула.

— Я, как чисто русский человек, стою за систему своего родного языка, а вы, русские евреи, с удивительною легкостью вводите в нашу речь

иностранные слова. У вас нет этого чутья чистоты русской речи, к которой мы привыкли с детства; вам не коробят слух эти выражения! — с негодованием воскликнула я.

— Да я и не русский писатель, а еврейский.

— Ну и пишите по-еврейски! К чему писать на чужом для вас языке.

— Позвольте, да разве можно запретить кому бы то ни было писать по-русски, раз я хочу этого? Я настолько хорошо знаю русский язык, смею сказать, что, быть может, буду блестящим стилистом.

«Недавно сказал, что Максима Горького испортят восхваления критики, — а сам себя еще до всяких критик возвел уже в блестящие стилисты, — эх ты, бахвал!» — с пренебрежением подумала я.

И все мои симпатии были на стороне соотечественника, забитого, робкого, но смиренного. Эта добродетель смирения — великая вещь.

Вечером я сошла к Кларанс. Она была одна. Я просила ее проанализировать его почерк.

— Это мужчина интеллигентный, но есть некоторые прорехи его ума… Человек этот много страдал… и вследствие этого создал себе такой характер искусственно; очень сдержан, очень

скрытен.

— Не находите ли вы, что эти сжатые строчки указывают на любовь к деньгам? — спросила я.

— О, да. Я только что хотела это вам сказать. Но им можно управлять, если вы будете знать его слабые стороны. В общем — хороший характер. По существу он хороший человек.

Напрасно, значит, назвали его иезуитом, он вовсе не так плох на деле… — радовалась я.

Но все-таки — разве достаточно анализа почерка?

31 декабря, вторник

Смотрела Большую энциклопедию и вдруг неожиданно нашла там Lencelet. Сколько их! и все интеллигенция: то ученый, то литератор, то судья. Его это родственники или просто однофамильцы?

И мне казалось, что я видела его…

1902 год

1 января, среда

Вот и Новый год. Здесь обычай рассылать поздравительные карточки в этот день. Как была бы я счастлива получить один узенький лист бристольской бумаги — один из тех, который когда-то видела у него на столе. Но… ведь он даже не считает меня за знакомую, конечно не пришлет.

2 января, четверг

Опять была у Кларанс… Говорили о мужчинах.

— Слушайте, моя милая, меня, — я более опытна, чем вы. Вы не найдете среди мужчин ни одного благородного существа, существа, вас достойного. Вот почему я их беру — как берут игрушки, и бросаю их, когда они меня утомят. По существу все они достойны презрения, поэтому всех их я презираю… Знаете ли вы, как они смотрят на женщин? Мы игрушка для них. И притом — глупое самолюбие самоуважения, да еще посредственность, скучная посредственность… — слышала я тихий, ласковый шепот Кларанс…

Вскоре к ней пришел ее друг, литератор Д., и началась интересная литературная беседа… И как бы случайно Д. спросил меня:

— Не писали ли вы чего-нибудь?

Я со стыдом созналась: да… прежде…

— Что ж вы стесняетесь? Что вы писали? Отчего же не продолжаете?

О, если б он знал, какое страдание причинили мне эти слова! Если б знал, что эта болезнь отнимает у меня умственные силы… Иногда вдруг фантазия пробуждается во мне, «и пальцы просятся к перу, перо — к бумаге», — но тайный голос шепчет мне постоянно: ничего, ничего из тебя не выйдет…

О, литература! бог, которому я молюсь! Мне ли, недостойной, войти в это святилище, мне ли мечтать, мне ли думать о ней!..

Слова литератора возбудили во мне целую внутреннюю бурю, и страдание снова поднялось в больной душе… К чему говорил он мне это, зачем спрашивал?

Литераторы, по профессии публицисты, очень легко относятся к писанию. А я так не могу. Я пишу только тогда, когда не могу иначе, повинуясь какой-то силе, которая выше меня самой. И по-моему — напрасно люди много пишут: надо

писать только в случае крайней необходимости, когда чувство — страдания или радости — дошло до своих границ, ищет излиться, — и только тогда сила этого чувства скажется в произведении, заставив людей жить радостями или страданием…

И вот почему я пишу… дневник. Все-таки это успокаивает меня хоть немного. Я пишу все, что думаю, как страдаю. Так мне немного легче…

В моей душе нет гармонии, нет необходимого для жизни равновесия — и я гибну, гибну, и нет мне спасения…

Кажется иногда — что сердце разорвется под гнетом разнообразнейших ощущений… Как ужасна жизнь! Какое бесконечное страдание причиняет она тем, которых сама же создает!

Один он мог бы спасти меня. Но он и не думает обо мне, и не знает, и не подозревает, до какой степени он дорог мне, необходим…

4 января, суббота

Неожиданно узнала, что любители из русских, живущих здесь, ставят «Дядю Ваню». Я так мало имею сношений с русскими, что решительно ничего не знаю, что у них делается. «Дядю Ваню» я еще не видала…

Что за пьеса! Что за впечатление!

Говорят — пьеса эта скучна. Скучна наша провинциальная жизнь — и со сцены пьеса кажется так же невыразимо скучной. Но здесь, на ярком, пестром фоне парижской жизни — эта картина русской жизни выделялась так резко, производила такое сильное впечатление. Казалось, вся зала, все зрители — переживали одно чувство. И настроение, о котором столько было споров — можно или нельзя ставить его на сцене, — это настроение так и сообщалось зрителю…

И казалось мне, что среди парижского веселья, шума — расслышала я один звук, проникший прямо в сердце, — голос с родины, отзвук ее жизни. Хоть и в Париже живем мы, русские,

Но муки все страны своей родной,
Ее тоску мы унесли с собой…

В самом деле, — что я делаю, что я делаю?! Куда иду?!

Все время спектакля — кругом направо и налево — шли горячие споры, разговоры. Одна я, не имея никаких знакомых среди соотечественников, сидела как чужая… и не могла подойти ни к одному кружку, с которым бы у меня нашлись общие интересы, общее дело… Сколько было разговоров о России, о том, что там делается…

Я вернулась домой вся разбитая, вся подавленная угрызениями совести.

За это время — я забыла обо всем на свете, забыла о России и о том, что у меня, как у всякого, есть долг по отношению к родине, что, живя за границей, не должна терять времени, что всякая минута должна быть употребляема с пользой… и я должна дать в ней как бы нравственный отчет обществу.

Что же я делаю??

И я чувствовала, как стремглав падаю куда-то… Я совсем потерялась… и не знаю, что с собой делать…

7 января, вторник

Когда я оделась в светло-голубой сарафан, кокошник и белая фата спустилась сзади до полу — я невольно засмотрелась на себя в зеркало…

Что, если бы я пришла к нему в этом костюме, опустилась бы перед ним на колени, — устоял ли бы он против моей мольбы? Неужели его сердце не тронулось бы?

И какой-то тайный голос шепчет: попробуй, иди… Что ж? Завлекать его своей внешностью, что ли? Его, который знает лучшее, чем эта внешность, — мою душу…

Я вся блестела холодным блеском, как снег и лед моей родины.

Когда сегодня принесли сарафан — Кларанс просила непременно сойти показаться. Я знала, что опять встречу у нее то же общество… Оно дает мне забвение, туда я убегаю от себя самой… и словно магнит какой-то тянул меня в эту беспорядочную среду художников, литераторов, артистов, где живут надеждами и любовью, — в эту атмосферу бесшабашного веселья.

Общий крик восторга приветствовал мое появление.

И я уже так привыкла к этому обществу, что сама смеюсь, кокетничаю, выучила даже вставлять скабрезные намеки, что возбуждает общий смех. Точно пьющий ребенок в кружке пьяниц… Им надо что-нибудь острое, всем этим пресыщенным людям, и они видят во мне свежее, еще не зараженное их атмосферою существо, забавляются мной как приятной игрушкой… а я ищу забвения.

Но сейчас еду на бал… И там, наверное, будет то же…

8 января, среда

Половина девятого. Только что вернулась с бала. Полный успех. Торговала больше всех. Комплименты так и сыпались; поклонники окружали меня. К чему мне все это?..

Однако холодно, хотя и топится камин. Простудилась я, должно быть, — в коридоре был сквозняк. Все-таки пойду взять инскрипцию.

9 января, четверг

Мне хуже… Должно быть, инфлюэнца. На душе целый ад. И теперь уже не буду обращаться к нему… нет.

14 января, вторник

Три дня пролежала в постели, — стало лучше. Сегодня получила приглашение от Декурсель прочесть реферат об учащихся женщинах в России, — у нее соберутся несколько приятельниц. Это меня взволновало: может быть, я ослабела настолько, что придется отказаться.

Ужасный обруч снова стискивает голову. Пошлю ему телеграмму с оплаченным ответом:

можно ли принять Valeriane d'ammoniaque? Из гордости я не хотела больше обращаться к нему. И когда увидела себя вынужденной сделать это — рука моя дрожала…

15 января, среда

Ответа не получила. Что ж это значит? От волнения и ожидания голова так разболелась, что я послала Полине телеграмму — не ждать меня.

16 января, четверг

Только сегодня в два часа увидела серый конверт с знакомым почерком. На элегантной серой карточке я читала:

> Мадемуазель.
>
> Я смог прочесть вашу телеграмму лишь сегодня утром, поскольку в понедельник и вторник я не был в Бусико. Если есть что-то, о чем вы хотели бы поговорить, приглашаю вас к себе завтра, в четверг, с пяти до шести.

С моими наилучшими пожеланиями, мадемуазель,

Э. Ленселе. Среда. 15 января.

Я получила это письмо, когда отправлялась в Брока. Там m-elle Angele сказала:

— Давно ли вы видели мсье Ленселе?

— О да… не помню, — ответила я равнодушно.

— Он вернется к нам в мае… К доктору Дроку. И возглавит лабораторию, заменит мсье Дурбаля, который отправляется в Les Enfants Malades[160].

…Я сделала вид, что спешу к madame Delavigne, и вскоре простилась с ней.

Вернувшись домой, я быстро приготовила туалет в комнате хозяйки. Она с удовольствием помогала мне, восхищаясь мной в черном костюме.

— Вы стали совсем парижанка. О, да как вы изящны!

— Вы прекрасны, дитя мое. Так приятно видеть хорошеньких молодых девушек… — вдруг продребезжал старческий голос ее мужа, стоявшего у камина.

Нет ничего трогательнее старости, благословля-

---

[160] Примечания: 160

Детский госпиталь; букв. «Больные дети» *(фр.)*.

ющей молодость. Великое дело уметь уходить от этой жизни без озлобления, с чувством всепрощения, примирения с неизбежными горестями, — и на закате дней с удовольствием смотреть на молодежь, которая и создаст будущее.

Я возвратилась к себе в комнату. Смотрю на часы: еще рано. Не надо приходить точно в пять, лучше позже, а то он подумает, что я очень спешила. И, сидя против часов, я стала ждать… Как медленно движется стрелка! Я беру книгу и с нетерпением читаю несколько страниц…

Уже пять часов! Я набросила пелерину и быстро вышла. Бульвар Арого. Denfert Rochereau, Avenue d'Orléans, наконец, вот она, Brézin! вот № 5… ложа консьержа.

— Мсье Ленселе?

— В четвертом этаже над антресолью.

С странным чувством поднималась я по лестнице. Каждая ступенька, каждый шаг приближал меня к нему. Ведь он ежедневно проходит по этой лестнице…

Пятый этаж и в рабочем квартале. Очевидно, он сын мелкого чиновника, что называется, «petit bourgeois», из семьи, где годовой бюджет рассчитан до последнего сантима, где все «только необходимое» — снаружи, и родителям «нужно

идти на жертвы, чтобы вырастить детей». Быть может, он — опора семьи, будущая радость родителей при виде того, что он достиг.

И я ощутила какое-то невыразимое удовольствие, что он не окружен внешним блеском обстановки: так лучше, естественнее, — в богатом человеке всегда есть нечто постороннее, происходящее от сознания превосходства своего материального положения над простыми смертными.

Было бы еще лучше и поэтичнее, если бы он жил совсем бедно, как наши русские студенты. Но в Париже таких не водится…

Я позвонила. Сердце страшно забилось и замерло.

Дверь отворила маленькая кривая женщина с носом луковицей.

Я испугалась: неужели он окружен такими уродами? И дрогнувшим голосом спросила:

— Мсье Ленселе?

— Дверь слева.

Экая бестолковщина. Консьерж сказал: дверь впереди, чего — лестницы или же меня самой? Оказалось, против лестницы. У дверей стояли три раскрытые бутылки из-под молока… Я снова позвонила. Он отворил сам.

— Здравствуйте, мадемуазель. Проходите сюда.

В комнате топилась печка. У окна на большом круглом столе лежали книги, стклянка с клеем, корректурные листы.

— Садитесь. Извините, но я положительно не мог прочесть вашей телеграммы. Разобрать в ней что-нибудь было невозможно. По-видимому, вы не отдавали себе отчета, что пишете…

От волнения я не могла ответить ни слова. Острое чувство оскорбления заглушало все. Он, очевидно, совсем не подозревал, как заставил меня напрасно пойти в госпиталь… и теперь я вновь обращаюсь к нему же! И это моя любовь — требует от меня такого унижения?!

Где же моя гордость, где мое самолюбие?

Я молча вынула из портфеля тетрадь, где было записано крупным неровным почерком…

— Я просила вас ответить — можно ли принимать Val.d amm. каждый раз, как усиливается головная боль?

Он прочел.

— Но это лекарство не производит моментального действия, это невозможно… Но вы не беспокойтесь. Не стоит так расстраиваться. Правильно говорят, что славяне очень нервные люди. Я и сам имел возможность это наблюдать.

Но вам ни в коем случае нельзя расстраиваться, повторяю. Скажите, что произошло за то время, пока мы не виделись?

Я наконец овладела собой и едва слышно сказала:

— Извините, что я пришла к вам сюда… Я не хотела больше обращаться к вам, потому что теперь это было бы слишком унизительно для меня. Но каждый раз, когда я прихожу, — вы сами без всякой просьбы с моей стороны говорите, что я могу обращаться к вам. Я такая доверчивая, такая наивная — верю вашим словам, обращаюсь к вам же, — а вы… вы… Что же вы думаете, — у меня нет никакого самолюбия? Поймите, как я должна страдать… Ведь если б я сама просила вас назначать мне дни, когда я могу вас видеть, а то — я ведь никогда, никогда не просила об этом. Вы даже не представляете, что вы делаете с моим самолюбием, мсье. От волнения я почти не могу говорить… вот… — И голос мой оборвался.

— Извините, действительно я был слишком небрежен к вам. Я был к вам невнимателен. Я говорю это даже не для вас, но поскольку и для меня самого это важно. Мне тогда позвонил один из моих друзей, приехавший из провинции, ему требовалась небольшая операция, и я пошел к

нему домой, — сказал он равнодушно.

Я внимательно наблюдала за ним.

— Еще раз извиняюсь перед вами… Ну, расскажите же, что с вами случилось за это время, пока я вас не видел.

— Вы неискренни, мсье, — не отвечая на вопрос, сказала я.

— Почему же? Почему?

У меня захватило дыхание от боли.

— Случайно услыхала разговор. Клянусь вам, я не искала его слышать. Я беседовала в обществе двух особ, мужчин или женщин — я не скажу. И вот одна из них говорит: «Он был с Ленселе… знаешь, с этим иезуитом?» — А другой ответил: «О да…» Я быстро ушла тогда, я не хотела ничего больше услышать.

Мой голос задрожал, и по щекам покатились слезы.

— А потом, через несколько времени, я встретила одну из них и спрашиваю: «Отчего вы назвали его иезуитом?» — «Потому что он лживый человек… Нельзя верить ни одному его слову…» И тогда я вспомнила, что действительно вы обещаете и не исполняете ваших слов… Вот почему я не могла говорить с вами…

Я не смотрела на его лицо…

— Мадемуазель… это были, вероятно, люди, с которыми я поступил неправильно… и что бы они обо мне ни думали — мне все равно, я их презираю. Но вы же можете так же случайно встретить моих друзей, которые скажут вам прямо противоположное.

Я подумала, что m-me Delavigne вовсе не была достойна презрения, но, боясь, чтобы он не догадался, кто говорил о нем дурно, — промолчала.

Теперь мне страшно хотелось спросить: «А зачем вы делали зло?» — но я опять промолчала.

— К тому же нельзя сказать, что я был неискренен по отношению к вам. Мы беседовали достаточно, чтобы вы смогли уяснить для себя, как я к вам отношусь. Иногда я говорил вам неприятные вещи. Но без каких-либо скрытых мотивов. Мое поведение по отношению к вам…

И я вдруг невольно быстро прервала его:

— О да, мсье, вы не виноваты в том, что я так себя веду с вами. Но я не уверена, что ваше поведение не было бы иным, если бы я пришла к вам домой напудренная, в розовом шелковом белье…

— Почему вы думаете, что мое поведение было бы совсем другое? — поспешно прервал он.

— Потому что… было бы другое… Вы же так любите повеселиться.

— Кто вам сказал, что я люблю веселиться?

— Никто, мсье… но все мужчины любят, а все мужчины одинаковы.

— И женщины тоже. Они ничем не лучше нас. Напротив — они еще более извращенны, чем мужчины. Они хитрее. И поскольку в общем они менее умны, они бесконечно ниже мужчин.

Все это он проговорил быстро, не останавливаясь, точно торопясь высказать свою мысль. Глаза его вспыхнули, и с минуту мы смотрели друг на друга, как бы два врага.

Страшная усталость охватила меня…

— Ну, я не буду вам противоречить. Думайте, что хотите, — машинально ответила я и подумала в то же время: «Очевидно, ты много пострадал от женщин, если такого о них мнения».

И мне стало невыносимо больно от сознания, что именно он смотрит на женщину так же, как и все французы.

И какой же он злой! Как быстро проснулась в нем мужская злоба, мстительность за то лишь, что женщина осмелилась высказать ему правду в глаза.

А он, как будто успокоившись, взял лист бумаги.

— Я дам вам лекарство, облатки, — и быстро

начал писать, покрывая бумагу своим мелким, бисерным почерком.

Я сидела молча и смотрела на его правильно очерченную голову с прямым профилем.

— Вот это будете вы принимать в течение десяти дней, а потом — микстуру. Valériane d'ammoniaque оставим, а после десяти дней вы приходите…

— О, нет, нет, monsieur, я больше не приду, — быстро прервала я его. Мне стало уже невыносимо слышать его слова… эти лживые слова… — Да, я не приду больше. Зачем? ведь у вас нет времени. Вы должны сдавать свои экзамены в мае и защищать диссертацию.

— Экзамены? О, для интернов они ничего не значат, это пустая формальность. Я занят другой работой… Вот…

Он взял огромный толстый том, раскрыл его и показал свою фамилию среди многих других.

«Дерматология», — прочла я заглавие крупными черными буквами.

— И еще это, — добавил он, взяв со стола корректуру…

Подав руку, я простилась. Он проводил меня до дверей. И, уходя, я почувствовала, что не увижу его больше никогда… никогда.

И медленно сошла я с лестницы и пошла по avenue d'Orléans, с наслаждением вдыхая свежий вечерний воздух.

Если б он знал — сколько раз тихой летней ночью проходила я мимо его дома… если б он знал, если б он знал!

17 января, пятница

На меня нашло какое-то отупение. Страдание дошло до высшей точки, и дальше идти некуда.

Я люблю человека чуждых убеждений, которому непонятны самые дорогие, самые заветные мои убеждения… люблю француза, с извращенным взглядом на женщину.

18 января, суббота

Если нет сил для жизни — надо умереть. Нельзя занимать место в этом мире, которое с большей пользою могут занять другие.

19 января, воскресенье

Когда стрелка подошла к часу, — я машинально пошла в Брока. Мне стоило страшного усилия, чтобы разговаривать спокойно с madame

Delavigne. Потом прошла к Анжеле. И та, болтая обо всех новостях, происшедших в госпитале, сказала:

— А между прочим, знаете? Monsieur Lencelet женится на родственнице доктора Д., на племяннице его жены. Очень хорошенькая, воспитывалась в монастыре Sacré Coeur. Очень его любит и ревнива страшно. Уж и теперь забрала его в руки… Теперь он далеко пойдет!..

Я досидела до конца приемного часа. И пошла домой.

На душе вдруг стало спокойно… Что-то умерло во мне…

И я сама больше не живая.

Я прожила на свете целую четверть века и еще два года… срок достаточно долгий для такого бесполезного существа.

Сколько ошибок сделала я в жизни! И кажется мне, что вся моя жизнь была одной сплошной ошибкой, бессмысленной загадкой, которую пора наконец разрешить.

Я и решаю… раз навсегда…

Кто пожалеет меня?

Те немногие интеллигенты, которых я знала. Но они, вечно занятые «принципиальными вопросами» или собственной личной жизнью, — никогда

глубоко не поинтересовались моею душою, моим внутренним миром… Они не поймут и осудят… осудят беспощадным судом теоретиков, которые все стараются подвести под определенные рамки.

Семья? Да разве она есть у меня? О матери и говорить нечего… Братья? Здоровые, жизнерадостные, ограниченные юноши, для которых я была как бельмо на глазу… Валя? У нее двое детей — залог будущего, источник радостей, надежд и печалей, который скоро изгладит следы горя.

Меня пожалеют разве только бабушка, тетя да бедная, забитая Надя.

Надя будет горько плакать над моей могилой и никогда не поймет, отчего это Лиза, которой, кажется, дано было все, чего она хотела — и на курсах была, и за границу поехала, и вела такую самостоятельную жизнь, — отчего это Лиза вдруг покончила с собою…

Бедная, милая сестра! авось потом она выйдет замуж и в новой жизни — скорее забудет меня.

А бабушка — милая, наивная старушка! Она вместе с тетей будет с ужасом молиться об упокоении моей «грешной души», и, наверно, обе будут глубоко убеждены, что, не поступи я на курсы, — все было бы иначе, что все это — послед-

ствия курсов…

Да еще искренно пожалеет обо мне бедный Андрэ. Мне жаль его, я все-таки любила его… немножко… и его любовь доставила мне несколько хороших минут в этой жизни… Спасибо ему!

А Кларанс? Она будет рассказывать своим друзьям убежденным тоном, что я возвращусь в этот мир в другом виде, и, пожалуй, увидит меня на дворе… O, sancta simplicitas…

Все готово. Письма написаны.

Я отворила окно. Стоит холодная зимняя ночь. Как хорошо, как тихо кругом. И страшно мне думать, что завтра в это время я уже не буду существовать…

Страшно… Чего я боюсь?

Боюсь перешагнуть эту грань, которая отделяет мир живых от того неизвестного, откуда нет возврата…

Если бы он мог быть моим — моя измученная душа воскресла бы к новой жизни, но этого быть не может, — следовательно, незачем и жить больше…

Но если выбирать между этой жизнью, которая вся обратилась для меня в одну страшную темную ночь, и этим неизвестным… жить? — нет, нет и тысячу раз нет! По крайней мере, покой и

забвение… их надо мне.

А долг? а обязанности по отношению к родине? — Все это пустые слова для тех, кто более не в силах быть полезным человеком…

Родина, милая, прости…

И ты, любовь моя, — прощай!

Последняя мысль — о нем… на его родном языке…

Soyez
heureux autant que j'ai été malheureuse…[161]

[161] Примечания: 161
Будь так же счастлив, как я была несчастна… *(фр.)*